

А. ВИШНЕВСКИЙ  
**СЕРП  
И  
РУБЛЬ**

**КОНСЕРВАТИВНАЯ  
МОДЕРНИЗАЦИЯ  
В СССР**



**О · Г · И**

---

*Москва 1998*

*Издание осуществлено при финансовом участии*

**Фонда поддержки предпринимательства и интересов среднего класса**

А. Г. Вишневский

Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. — М.: ОГИ, 1998. — 432 с.

*В оформлении переплета использованы  
фрагменты живописных произведений  
Казимира Малевича*

ISBN 5-900241-15-7

© ОГИ, художественное оформление, 1998

© А. Г. Вишневский, 1998

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*Введение* 6

## Часть 1. **Время незавершенных революций**

*Глава 1. Русский кризис начала XX века:  
аграрное общество у последней черты* 11

- 1.1. Отставание и догоняющее развитие 11
- 1.2. Догоняющее развитие и торможение 16
- 1.3. Простое общество: власть земли 18
- 1.4. Сложное общество: власть денег 20
- 1.5. Кризис русского аграрного строя:  
от власти земли к власти денег 24
- 1.6. В поисках образа будущего 26
- 1.7. На пороге «консервативной революции» 31

*Глава 2. Экономическая революция:  
автомобиль на конной тяге* 37

- 2.1. Прусский или американский? 37
- 2.2. Консервативная революция в экономике 45
- 2.3. Мобилизационная экономика: план против рынка 48
- 2.4. Из аграрной в индустриальную 53
- 2.5. Кризис советской экономической системы 58
  - Структурные пороки* 58
  - Бремя милитаризма* 62
  - Техническое отставание* 65
  - Ограничение потребления* 68
  - Погружение в сон* 70
- 2.6. К новой экономической модели 72

*Глава 3. Городская революция: бурги без буржуа* 78

- 3.1. Модернизация и урбанизация 78
- 3.2. Запаздывающая урбанизация 80
- 3.3. Городской взрыв 86
- 3.4. Урбанизация в зеркале поколений 91
- 3.5. Урбанизация по-деревенски 95
- 3.6. Новые городские слои 105

]

*Глава 4. Демографическая и семейная революции:  
демографическая свобода в несвободном обществе* 112

4.1. Переворот в смертности	112
4.2. Переворот в рождаемости	122
4.3. Неомальтузианство по-советски	126
4.4. Кризис патриархальной семьи	129
4.5. Семейная революция	134
4.6. Революция чувств	139
4.7. Второй демографический переход	150

*Глава 5. Культурная революция:  
соборный человек с университетским  
дипломом* 158

5.1. Соборный человек	158
5.2. Автономная личность: «лишний человек» и «мыслящий пролетарий»	162
5.3. Автономная личность: «грядущий Хам»	167
5.4. Автономная личность: «Homo soveticus»	174
5.5. Кризис советской соборности	181

*Глава 6. Политическая революция:  
маргиналы у власти* 185

6.1. Диктатура масс или диктатура «нового класса»?	185
6.2. Тоталитарные идеологии	195
6.3. Социалистическое средневековье	204
6.4. Тотальное государство	210
6.5. Кризис тоталитаризма	215

Часть 2. **Агония империи**

*Глава 7. Поступь Российской империи* 225

7.1. «Мы расширили пределы...»	225
7.2. Восточнославянские колонизационные базы	232
7.3. Колонизация юга России	235
7.4. Заселение Сибири	239
7.5. Продвижение на Кавказ и в Среднюю Азию	242
7.6. Оттеснение инородцев	246
7.7. Имперские традиции в СССР	258

<i>Глава 8. Империя и модернизация</i>	271
8.1. Восточнославянская метрополия	271
8.2. Цивилизаторская миссия метрополии	275
8.3. Восточнославянская метрополия и советская модель модернизации	278
8.4. Незавершенная модернизация: от Москвы до самых до окраин	282
<i>Экономическая революция</i>	282
<i>Городская революция</i>	285
<i>Демографическая революция</i>	286
<i>Культурная революция</i>	287
<i>Общие итоги</i>	288
8.5. Среднеазиатский тупик советской модернизации	290
8.6. Новые региональные элиты	296
<i>Глава 9. Кризис империи</i>	302
9.1. Кризис имперского централизма и федерализм	302
9.2. Кризис локализма и национальный ответ	306
9.3. Кризис локализма и националистический ответ	312
9.4. Между федерализмом и сепаратизмом: пример Украины	318
9.5. «Русская марксистская теория нации»	333
9.6. Практика «национального строительства» в СССР	338
9.7. Кризис советского федерализма	343
<i>Глава 10. Империя и мир</i>	355
10.1. Вхождение в мировую политику	355
10.2. Геополитические козыри России	361
10.3. Российская империя в клубе европейского империализма	366
10.4. СССР на пути ко Второй мировой войне	374
10.5. Уроки Второй мировой войны	380
10.6. Уроки холодной войны	390
10.7. Вариации на темы будущего	394
<i>Возвращение в Европу</i>	394
<i>Третий русский империализм</i>	397
<i>Островная утопия</i>	404
<i>Евразийский союз?</i>	410
<i>Заключение: оглянись без гнева</i>	416
<i>Указатель имен</i>	422

# ВВЕДЕНИЕ

**ЭТА КНИГА** — о модернизации российского общества, то есть о его превращении из традиционного, аграрного, сельского, патриархального, *холистского* в современное, индустриальное или «постиндустриальное», городское, демократическое, *индивидуалистское*. Речь идет о великой социальной мутации, начавшейся в России несколько столетий тому назад и еще не завершившейся. Но перевал пройден, пик модернизационных перемен, который пришелся на XX столетие, уже позади.

Такое видение отечественной истории XX века не вполне соответствует ощущениям современного российского общества, по крайней мере значительной его части, убежденной в том, что страна за 70 лет своего «советского» периода выпала из истории и лишь сейчас с трудом возвращается в нее. Это настроение хорошо выражено в словах Солженицына: «Весь XX век жестоко проигран нашей страной: достижения, о которых трубили, все — мнимые. Из цветущего состояния мы отброшены в полудикарство. Мы сидим на разорище»<sup>1</sup>.

Ход событий, казалось бы, подтверждает такую оценку. Конец XX века в России, 10–15 лет, его завершающие, поразительно напоминают — иногда до деталей — первые 10–15 лет столетия. Противоборство партий, деградация власти, неясные ожидания общества все чаще заставляют вспоминать тревожное начало века. Будто сегодня сказанные, звучат слова С. Булгакова о дореволюционной 2-й Государственной думе, депутатом которой он был. «Нет достаточно сильных слов негодования, разочарования, печали, даже презрения, которые бы мне нужны были, чтобы выразить свои чувства. И это — спасение России. Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите 2-ую Государственную Думу»<sup>2</sup>. Вторую Думу в момент ее избрания в 1907 г. отделил от начала века такой же срок, что и избранную в 1993 г. пятую, преемственную по названию Думу, — от его конца. И слушая или наблюдая на телевизионном экране иных думцев, можно было вообразить, что Россия и впрямь вернулась к исходной точке и надо все начинать сначала.

Я убежден, что нет ничего ошибочнее такого вывода. В истории России не было периода, более напряженного, более насыщенного событиями, более богатого плодами, чем уходящий XX век. Иное дело, что это, мягко говоря, не совсем те плоды, на какие рассчитывали сто лет назад или какие хотели бы видеть сейчас многие интел-

<sup>1</sup> Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию. Посильные соображения. М., 1991, с. 26.

<sup>2</sup> Булгаков С. Автобиографические заметки. Париж, 1991, с. 80–81.

лектуальные и политические утописты и романтики. Но это еще не основание, чтобы считать историю несостоявшейся. Быть может, общество сегодня дышит тем же трудным для дыхания разреженным воздухом больших высот, что и в начале века, — отсюда и сходство. Но тогда предстояло тяжелейшее восхождение, сейчас перевал остался за спиной. Идет спуск, тоже нелегкий, но с каждым шагом местность становится все более и более пригодной для жизни. Период бури и натиска миновал. Позади остались великие победы, великие поражения и великая кровь. Но страна, народ, общество стали другими.

Ушла в прошлое и никогда не вернется Россия серпа, ушло по-своему целостное, органичное, но исчерпавшее свои возможности аграрное российское общество. Россия, повторяя опыт своих западных, а теперь уже и некоторых восточных соседей, становится страной современной экономики, страной рубля. Общество ищет новых целостности и органичности, хотя и они тоже, конечно, не могут быть абсолютными. Золотого века не было в прошлом, его не сулит и грядущее. Рождающееся в муках новое российское общество не будет идеальным. Ему не избежать трудностей, с которыми давно уже столкнулся Запад, «западные» проблемы станут, уже становятся нашими.

Сейчас в России есть немало людей, которые все еще не хотят смириться с этой перспективой и ищут иного, беспроблемного, третьего пути. Большинство из них не считают реальным возвращение к России серпа да и не хотят его. Однако и мир рубля (доллара, марки, франка) им претит. Они бы хотели, конечно, взять из него кое-что: комфорт современной жизни, надежные лекарства, возможность за минуту связаться из Москвы с Нью-Йорком или за несколько часов перелететь туда собственной персоной и т. д. Некоторых также заботят баллистические ракеты с ядерными боеголовками и другие атрибуты современной военной мощи. Но в остальном они — смиренные опрошенцы, сторонники простых, патриархальных деревенских отношений, целомудренной любви — и вообще любви (а не расчета), веры в Бога и уважения к начальству.

Идеи «третьего пути» столь же привлекательны, сколь не новы для России. Агафья Тихоновна из гоголевской «Женитьбы», размышляя о своих женихах, хотела бы «губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича»; выражаясь несколько высокопарно, это была утопия. Но, видимо, Гоголь подметил черту, свойственную не одной лишь его незадачливой героине. Очень многие модернизационные проекты для России строились и строятся по методу Агафьи Тихоновны: все они хотят сочетать то, что мило из мира серпа, с тем, что нравится в мире рубля.

В нашей книге речь идет, главным образом, об одном из таких проектов. Его очень важная для миллионов людей особенность заключается в том, что он долгое время *воплощался в жизнь*. Главная тема книги — уроки советского третьего пути, советской консервативной революции (или консервативной модернизации). Эта всеохватывающая революция, равно как и составляющие ее более частные революции, какое-то время обеспечивали быстрые и довольно эффективные технические и другие инструментальные перемены за счет консервирования многих основополагающих звеньев традиционалистского социального устройства. Консервативно-революционная стратегия

## Введение

---

развития, скорее всего продиктованная обстоятельствами, предопределила противоречивый, ограниченный характер модернизационных перемен и невозможность их завершения в рамках созданной в советское время экономической и политической системы. Но в конце концов именно энергия незавершенных, но ждущих своего часа перемен взломала жесткую скорлупу системы, советское общество превратилось в множество постсоветских, и перед ними с новой силой встала все та же задача продолжения и завершения модернизации — теперь уже в новых условиях. Успех или неуспех решения этой задачи во многом зависит от того, как будут прочитаны уроки нашего недавнего прошлого.



# часть 1

## Время незавершенных революций

# ГЛАВА 1

## РУССКИЙ КРИЗИС НАЧАЛА XX ВЕКА: АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

### 1.1. Отставание и догоняющее развитие

**Русский кризис** — название книги известного историка и политического деятеля, впоследствии министра Временного правительства Павла Милюкова, изданной в США и во Франции в начале XX века, когда Россия вступила в критическую полосу своей истории. Согласно Милюкову, «русский кризис — это в особенности и прежде всего кризис сельского хозяйства»<sup>1</sup>. Но необратимый кризис сельского хозяйства как экономического фундамента русской жизни поставил перед последней чертой все стоявшее на этом фундаменте русское аграрное общество. Это был его кризис.

Он-то и привел к главному событию истории России XX века — гибели деревни. Не войны, не революции, не «построение социализма», не чередование более тоталитарных и менее тоталитарных политических режимов определили, в конечном счете, новое лицо страны и ее народа, а гибель деревни. Ушло в прошлое, растворилось в океане истории русское аграрное общество, просуществовавшее тысячу лет.

Испокон веку Россия была деревенской, крестьянской страной. Как, впрочем, и вся Европа да и почти вся наша планета. Но где-то в середине второго тысячелетия в Западной Европе проросли зерна небывалых перемен, и ее деревенский мир стал постепенно таять, разрушаться. Как писал В. Ключевский, в XVI–XVII веках в Западной Европе «народный труд вышел из тесной сферы феодального поземельного хозяйства... Благодаря географическим открытиям и техническим изобретениям ему открылся широкий простор для деятельности, и он начал усиленно работать на новых поприщах и новым капиталом, городским или торгово-промышленным, который вступил в успешное состязание с капиталом феодальным, земледельческим»<sup>2</sup>.

Россия же, замечает далее Ключевский, «не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и на кормление двора, правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не делавших и неспособных что-либо сделать для экономического и духовного развития народа»<sup>3</sup>.

«Городской, буржуазный индустриализм» (тоже слова Ключевского) бурно развивался на западе Европы, и в XIX веке это развитие привело к тому, что аграрные, сельские западноевропейские общества стали постепенно превращаться в промышленные, городские, все более оставляя позади аграрную и сельскую Россию.

<sup>1</sup> Милюков П. La crise russe. Paris, 1907, с. 323. Название американского издания: Russia and its crisis (1905).

<sup>2</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. III, М., 1988, с. 243.

<sup>3</sup> Там же.

В начале XX века отсталость России была признана всеми — от радикальных критиков из революционно-демократического лагеря до автора официозной книги, изданной по случаю трехсотлетнего юбилея дома Романовых и призванной продемонстрировать успехи России, показать, что «экономический рост страны поражает своими размерами». «Благополучие широких народных масс, их образованность, народное богатство, культурное развитие не могут идти почти ни в какое сравнение с таковыми же на западе Европы и в Америке», — читаем мы в этом верноподданническом сочинении<sup>4</sup>. Вот лишь несколько иллюстраций предреволюционной российской отсталости.

**Промышленность:** по объему промышленного производства в 1913 г. Россия в 2,5 раза уступает Франции, в 4,6 раза — Англии, в 6 раз — Германии, в 14,3 раза — США. Производство на душу населения угля — 209 кг (в США — 5358 кг), чугуна — 30 кг (в США — 326), электроэнергии — 14 кВт·ч (в США — 176). Потребление хлопка на душу населения в России — 3,1 кг, в США — 14<sup>5</sup>.

**Сельское хозяйство:** средняя урожайность хлебов в 1909–1913 гг. — 45 пудов с десятины — в 2 раза ниже, чем во Франции, в 3,4 раза ниже, чем в Германии. Производство хлебов на душу населения в России — 26 пудов, в США — 48, в Канаде — 73. Потребление минеральных удобрений — 6,9 кг на гектар посева, во Франции — 57,6, в Германии — 166, в Бельгии — до 236 кг на гектар<sup>6</sup>.

**Таблица 1.1. Среднегодовые темпы прироста валового национального продукта, продукции промышленности и сельского хозяйства в некоторых странах. 1870–1913 гг., в %**

	Россия	США	Великобритания	Германия	Франция	Италия	Япония
<b>Валовой национальный продукт</b>	2,5	4,3	2,0	2,8	1,6	1,4	2,7*
<b>То же на душу населения</b>	1,0	2,2	1,1	1,6	1,4	0,7	1,7*
<b>Производство:</b>							
<b>Промышленности</b>	5,2	5,0	2,0	4,4	2,6	3,7	5,6**
<b>Сельского хозяйства</b>	1,7	2,3	0,0	1,5	0,7	н.д.	2,0**

\* 1879–1913; \*\* 1874–1913.

**Источник:** *The modernization of Japan and Russia. A comparative study.* Ed. by Cyril E. Black. NY, 1975, p. 194–195.

<sup>4</sup> Мизулин П. П. Экономический рост Русского государства за 300 лет (1613–1913). М., 1913, с. 220, 222.

<sup>5</sup> Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Том II. Капитализм. М., 1948, с. 288.

<sup>6</sup> Там же, с. 276–277.

*Национальный доход:* 102 руб. на душу населения в 1913 г., (по другим оценкам — от 101 до 114 руб.<sup>7</sup>) то есть ниже, чем в Германии, в 2,9 раза, чем во Франции, — в 3,5 раза, чем в Англии, — в 4,3 раза, чем в США, — в 6,8 раза<sup>8</sup>.

*Младенческая смертность:* в 1906–1910 гг. — 247 на тысячу родившихся; во Франции в эти же годы — 128, в Германии — 174, в Англии — 117, в США 121 на тысячу<sup>9</sup>.

*Ожидаемая продолжительность жизни:* в 1907–1910 гг. у православного населения России — 32 года для мужчин, 34 года для женщин. В то же время во Франции — соответственно 47 и 50 лет, в Германии — 46 и 49, в Англии — 50 и 53 года, в США — 49 и 52.

Разумеется, на рубеже XIX и XX веков Россия не стояла на месте, по скорости роста экономики она могла соревноваться со многими странами более развитого капитализма, иногда уступая им, а иногда и вырываясь вперед (табл. 1.1). Быстрый экономический рост был связан в особенности с развитием промышленности. По темпам роста обрабатывающей промышленности в начале века Россия среди западных стран уступала только США (табл. 1.2). Но для России более показательное сравнение с Японией, которая после «реставрации Мейдзи» в конце 1860-х годов находилась примерно на том же этапе исторического развития, что и Россия после отмены крепостного права. Как видно из табл. 1.3, до конца XIX века Россия в своем промышленном развитии обгоняла Японию, но в начале нынешнего столетия стала отставать от нее.

**Таблица 1.2. Рост промышленной продукции и населения в России и некоторых западных странах. 1896–1900 — 1911–1913 гг., в %**

<i>Страна</i>	<i>Продукция обрабатывающей промышленности</i>	<i>Население</i>	<i>Продукция на душу населения</i>
Россия	4,8	1,8	2,9
США	5,2	1,9	3,2
Германия	4,0	1,4	2,5
Великобритания	1,6	0,9	0,7
Франция	3,5	0,2	3,3

*Источник: Хромов П. А. Экономическая история СССР. М., 1982, с. 129.*

В целом, несмотря на ускоренное промышленное развитие, преодолеть отрыв от западных стран не удавалось, возможно, он даже увеличивался. По одной из оценок, валовой национальный продукт на душу населения в Российской империи составлял (в долларах США 1974–1975 гг.) в 1860 г. 350, а в 1913 г. — 600 долларов. Соответствующие показатели для США — 860 и 2500 долларов<sup>10</sup>. Получается, что соотношение ВВП

<sup>7</sup> Вайнштейн А. Л. Народный доход России и СССР. М., 1969, с. 68.

<sup>8</sup> Лященко П. И. Цит. соч., с. 348.

<sup>9</sup> La mortalité des enfants dans le monde et dans l'histoire. Ed. par P.-M. Boulanger et D. Tabutin. Liège, 1980, p. 147–149

<sup>10</sup> Sokoloff G. La puissance pauvre. Une histoire de la Russie de 1815 à nos jours. Paris, 1993, p. 787–790.

на душу населения между Россией и США после пяти десятилетий пореформенного развития стало гораздо менее благоприятным для России: 40% американского уровня в 1860 г. и всего 24% в 1913. Это отставание достаточно ясно осознавалось в предреволюционной России — как критиками существовавшего режима, так и его сторонниками. «Россия, как и все другие культурные государства, сильно шагнула вперед в деле своего экономического и культурного развития, но ей придется еще много потратить усилий, чтобы догнать другие народы, далеко ушедшие от нас вперед», — читаем мы в уже упоминавшейся книге об экономическом росте России<sup>11</sup>.

**Таблица 1.3. Среднегодовые темпы прироста промышленного производства в России и Японии в конце XIX – начале XX вв., в %**

<i>Россия</i>		<i>Япония</i>	
1860–1885	4,0		
1885–1900	6,7	1887–1902	5,5
1900–1913	3,6	1902–1931	6,1

*Источник: The modernization of Japan and Russia, p. 166.*

«Догнать» — ничего нового в этом слове для русского уха не было. Многие страны, целые континенты вступили в полосу догоняющего развития в двадцатом веке. Но для России эта полоса началась на несколько столетий раньше — прежде всего, пожалуй, из-за внешних причин. Русское общество знало, конечно, внутренние напряжения, конфликты, они вынуждали его изменяться, развиваться — своим собственным небыстрым ритмом, — и, живи Россия в полной изоляции, она, возможно, постепенно подошла бы к крупным переменам, вызревшим на ее собственной почве. Но изоляции не было, а была жизнь рядом с европейскими и неевропейскими соседями, и притом жизнь активная, побуждавшая очень сильно заботиться о своем месте на сцене мировой истории.

Место же это было во многом предопределено геополитическими реальностями, сложившимися на европейском континенте еще во второй половине XV века, когда Россия окончательно сбросила с себя татарское иго, а значительная часть южной и восточной Европы оказалась под властью Османской империи. После падения Константинополя естественным было появление нового геополитического полюса на востоке Европы, каковым, в силу географического и политического положения, и стала Москва, все более осознававшая себя «Третьим Римом».

Роль Третьего Рима была почетной, но непростой. Она обязывала к участию в европейских, чтобы не сказать в мировых, делах и притом к участию на первых ролях, требовала энергичного экономического, политического, военного, культурного взаимодействия с соседями, в первую очередь, с западными. Ибо «для многих в конце XV века Запад представляется уже более реальным, чем разоренная и завоеванная Византия. Такое самочувствие довольно понятно и естественно... у людей политического дейст-

<sup>11</sup> Мигулин П. П. Цит. соч., с. 221–222.

вия; но вскоре им проникаются и другие общественные слои»<sup>12</sup>. Запад же, как выяснится вскоре, переживает необычные перемены, стремительно умножающие его силу и богатство, и, чтобы быть с ним на равной ноге, Россия должна и сама позаботиться о переменах. Нужны реформы, нужны заимствования у Запада, нужно обновление.

Эта забота была осознана, видимо, не сразу, но к XVII столетию она стала вполне осязаемой. По мнению В. Ключевского, именно тогда русское общество впервые заметило, что его западные соседи достигли каких-то необычных успехов, и обнаружило «все очевиднее вскрывавшуюся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных средств перед западноевропейскими, что вело к осознанию своей отсталости»<sup>13</sup>.

По мере того, как отставание все больше дает себя знать, «в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей отсталости»<sup>14</sup>.

Россия, уже ощутившая себя мощной державой, уже привыкшая одерживать победы, раздвигать границы и диктовать свою волю сопредельным государствам, неожиданно оказалась перед выбором: смириться с отставанием и отказаться от своего положения влиятельной силы на европейской политической арене или не уступить, броситься вдогонку Западу и утвердиться-таки Третьим Римом среди уважительно расступившихся соседей. Выбор, впрочем, был сделан очень быстро. В России, видимо, уже произошло то, что Бердяев позднее назвал «инстинктом государственного могущества»<sup>15</sup>. Догнать и утвердиться — иного выбора и не могло быть.

Решающее слово произносит Петр I. Он твердой рукой проводит глубокие реформы, охватившие все стороны жизни народа и государства, преобразовавшие в той или иной степени административное управление, экономику, военное дело, церковь, просвещение, частную жизнь, и, казалось бы, вырывает страну из отставания, превращает ее в могучую империю. Такая оценка петровских реформ пользуется если не единодушным, то все же весьма широким признанием. «„Европеизация“ — термин, которым оперировали историки самых разных направлений. „Модернизация“ русского народа, его вхождение в круг европейских наций являются существеннейшими чертами петровской эпохи — причем не только для главного научного выразителя и защитника этой точки зрения С. М. Соловьева, но и для славянофилов и западников... Термин „европеизация“... [которым] пытаются обозначить квинтэссенцию как внутренней, так и внешней политики Петра I, часто используется и западными авторами»<sup>16</sup>.

Однако не случайно русская историческая традиция, воздавая должное деяниям Петра, вписывает их в преемственный ряд событий, начавшихся до его рождения и не

<sup>12</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (Вильнюс 1991), с. 12.

<sup>13</sup> Ключевский В. Цит. соч., с. 243.

<sup>14</sup> Там же, с. 242.

<sup>15</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 15.

<sup>16</sup> Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. М., 1985, с. 34–35.

закончившихся, может быть, по сей день. Ибо отставание от Запада, осознанное еще прежде рождения Петра, остается кошмаром русской государственной, да, пожалуй, и не только государственной мысли уже четвертое столетие. И столько же длятся попытки модернизации, преодоления отставания. Догоняющее развитие, порождаемые им конфликты внутри общества и его культуры надолго становятся главным стержнем исторического пути России. Модернизация *советского общества* — не более чем этап, пусть и очень важный, этого пути.

В допетровской, а тем более послепетровской истории России было множество модернизирующих начинаний: все они либо растворились в политической стагнации последующих лет, либо были обращены вспять контрреформами<sup>17</sup>. И ни одно из них не избавило необратимо российское общество от кошмара отсталости. Поражение в Крымской войне спустя всего четыре десятилетия после победоносной войны с Наполеоном, Цусима после четырех десятилетий энергичного, казалось бы, пореформенного экономического развития, неудачи на фронтах Первой мировой войны — пусть и особенные, но неопровержимые признаки постоянно накапливающегося отставания, против которого были бессильны все реформы.

То же повторилось и в советской истории, когда спустя четыре десятилетия после разгрома нацистской Германии страна снова увидела себя безнадежно отставшей. Снова и снова Россия становилась на путь реформ, очередной их виток, казалось бы, сокращал отставание, порождал оптимизм и надежды, они подтверждались реальными успехами и победами, а какое-то время спустя снова обнаруживалось отставание, говорящее то ли об ограниченности реформ, то ли об отказе от них под давлением контрреформаторских сил. Общество как будто сопротивлялось обновлению, отторгало нововведения.

## 1.2. Догоняющее развитие и торможение

**П**очему же реформы оказывались неэффективными? Может быть, реформаторы неверно понимали отставание и его причины? А может быть, они не вольны были в своих действиях, наталкивавшихся на объективные пределы любой реформаторской активности?

Верно и то, и другое. Долгое время отставание осознавалось довольно поверхностно. Сначала русское общество могло увидеть и признать его с большим трудом и лишь частично. Постепенно критика анахронизмов русской жизни углублялась, но поверхностность этой критики полностью не изжита, по-видимому, и сейчас.

Говорить об отставании можно лишь тогда, когда есть возможность сравнивать. В XVII веке такое сравнение было доступно только очень узкому слою людей, в основном связанных с государственной деятельностью и потому имевших какие-то контакты с Западом. Народ же таких контактов не имел и никаких невыгодных для себя сравнений делать не мог. У него были свои повседневные заботы и трудности, но было и обычное

<sup>17</sup> А. Янов насчитывает 14 попыток реформ в России начиная с 1550 по 1985 г. (см. Янов А. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988, с. 397).

для всякого народа убеждение в превосходстве своего, завещанного отцами и дедами образа жизни, своей веры и своих нравов над образом жизни, верой и нравами любых иноземцев и иноверцев.

Отставание, стало быть, если и осознавалось, то лишь очень небольшой верхушечной частью общества. Но и она видела далеко не все, а возможно даже и не главные стороны этого отставания, по сути, лишь некоторые внешние его проявления: различия в политическом влиянии, военной мощи, богатстве, жизненном комфорте. Эти внешние различия и пытались устранить с помощью реформ. Позднее С. Соловьев искал истоки петровских реформ в экономическом отставании. «Бедный народ, — писал он, — сознал свою бедность и причины ее через сравнение с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которым заморские народы были обязаны своим богатством. Следовательно, дело должно было начаться с преобразования экономического»<sup>18</sup>. Комментируя эти слова Соловьева, Х. Баггер замечает, что их автор, «судя по всему, рассматривал „европеизацию“ не как самоцель, а как средство — прежде всего для стимулирования экономического развития страны»<sup>19</sup>. В. Ключевский видел главный движитель реформ в военной деятельности Петра. «Война указала порядок реформы, сообщила ей темп и самые приемы. Преобразовательные меры следовали одна за другой в том порядке, в каком вызывали их потребности, навязанные войной»<sup>20</sup>. Снова, стало быть, модернизация — не самоцель, а лишь средство. Реформы имеют инструментальную ориентацию, направлены не на переустройство всего социального тела, а лишь на переустройство некоторых его органов — для того, чтобы сохранить целое.

Отставание же было именно в строении всего «социального тела», оно пронизывало все устройство общества, его экономические отношения, культуру, повседневную жизнь и вязало реформаторов по рукам и ногам, обрекая на успех их самые лучшие начинания. Но русскому обществу эта мысль долгое время была недоступна. Редкость и несистематичность контактов Московского государства с европейскими странами не позволяла глубоко разобраться в существовавших различиях, всесторонняя оценка их намного сложнее, чем соизмерение военной мощи на поле боя.

Впрочем, главное было даже не в этом. Само понятие «отставание» не универсально. Оно имеет смысл только в системе представлений, которая выстраивает определенную последовательность исторического движения и отождествляет состояния различных обществ с этапами этого движения по единому для всех эволюционному пути. Для XX века такой взгляд на вещи довольно естествен, хотя и сейчас он разделяется не всеми. Но в России XVII–XVIII веков он попросту немислим, потому немислимо и объективное сравнение отечественного жизненного уклада с иноземными. Это были разные миры, каждый из них был дивен другому. Различия не истолковывались в терминах опережения и отставания, не вели к мысли о необходимости наверстывать упущенное.

Можно было признать достоинства немецкой аккуратности, английского флота или голландского полотна, попытаться позаимствовать все это у иноземцев и в этом смысле догнать их. Но никому и в голову не могло прийти заимствовать у немцев или англичан

<sup>18</sup> Соловьев С. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, с. 30.

<sup>19</sup> Баггер Х. Цит. соч., с. 34.

<sup>20</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. IV, М., 1989, с. 57.



их систему экономических отношений, их политические порядки или их веру. Все это в России было свое, и здесь никакого отставания русские не видели, более того, были убеждены в превосходстве своих экономических, политических и религиозных институтов. Поэтому даже у радикального реформатора Петра I Ключевский отмечает «безотчетную склонность воспроизводить в нововведениях отзвуки минувшего»<sup>21</sup> и говорит, что «Петр взял из старой Руси государственные силы, верховную власть, право, сословия, а у Запада заимствовал технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства, правительственных учреждений»<sup>22</sup>.

Между тем отставание в средствах было вторичным, производным. Главное же, глубинное отставание поначалу, в лучшем случае, лишь смутно ощущалось отдельными наиболее проницательными людьми своего времени. Истинные его масштабы и причины оставались неосознанными еще очень долго. Идея исторической эволюции общества отступала перед мифологизацией и канонизацией неизменных черт народной жизни. Как только критика отсталости становилась более глубокой, выходила за рамки отсталости технической, военной, в крайнем случае, экономической и затрагивала основополагающие пласты российской жизни, непонимание российского общества, его ценностную парадигму, она вызывала столь же глубокую защитную реакцию, порождавшую иную систему оценок. То, что у критиков (радикалов, революционеров) выглядело как отсталость, защитниками (консерваторами) прочитывалось как особенность русского общества и русской культуры. И те, и другие были по-своему правы. Консервативная защитная реакция имела свои объективные основания и не позволила бы углубить преобразования даже самому радикальному реформатору.

### 1.3. Простое общество: власть земли

**В**сякое развитие означает увеличение сложности развивающегося объекта, его внутренней дифференциации — идея не новая, а в последнее время получившая, благодаря успехам кибернетики, особенно широкое признание. Она справедлива и для общества: историческое развитие увеличивает сложность социальных систем, их внутреннее разнообразие. Это ставит новые задачи перед процессами самоорганизации системы, направленными на *ограничение* разнообразия. Рано или поздно старые механизмы самоорганизации — экономические, политические и прочие — перестают справляться с возросшим разнообразием, и становится необходимой их замена новыми.

Простота или сложность обществ могут быть поняты только в сравнении. Русское аграрное, сельское общество, существовавшее вплоть до XX века, свойственные ему формы общежития могли казаться очень сложными и только с высоты сегодняшнего дня выглядят «простыми». Простыми, чтобы не сказать примитивными, были и все его социальные механизмы. Соответствие уровней сложности общества и управляющих его жизнью социальных механизмов обеспечивало его целостность и жизнеспособность.

<sup>21</sup> Там же, с. 194.

<sup>22</sup> Там же, с. 198.

Большинство населения составляли крестьяне. Крестьянин в России жил как бы в самой глубине социальной матрешки: сам он находился внутри семьи, семья — внутри общины, а уж на семейно-общинном основании возводились все остальные этажи русского общества. В середине XIX века И. Киреевский так рисовал всю его иерархическую структуру: «Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же предопределенном порядке подчинялась семья миру, мир более обширный — сходке, сходка — вече и т. д., откуда все частные круги смыкались в одном центре, в одной Православной Церкви»<sup>23</sup>.

«Матрешечная» конструкция системы общественных связей по-своему сложна и эффективна. Она позволяет сочетать достаточно жесткое вертикальное соподчинение уровней социальной пирамиды с относительной самостоятельностью каждого уровня (это относится, в частности, к поземельным отношениям: право на пользование землей как бы распределено между уровнями, ни одному из которых она не принадлежит полностью). В силу малых размеров и значительной замкнутости сельской общины, в рамках которой протекала жизнь большинства людей, человек постоянно находился в непосредственном общении и взаимодействии с односельчанами, с сельским «миром», под его постоянным надзором, был связан со всеми взаимной ответственностью, круговой порукой. Такая система отношений предполагает многообразие неравенства, сложную иерархию личных зависимостей. В то же время все отношения персонифицированы, что придает жизни в этой системе «человеческую теплоту», о которой ностальгически вспоминают люди, оказавшиеся в мире городских обезличенных связей.

Но именно по сравнению с этим более поздним и более сложным миром описанная «матрешечная» социальная организация довольно примитивна. Хотя свойственная ей социальная иерархия может быть очень замысловатой, она малоподвижна, за человеком закреплено постоянное место более или менее ответственной детали раз навсегда сконструированной социальной машины. Сам же он рассматривается как нечто очень простое, внутренне недифференцированное, как элементарная частица, неделимый атом общества. Отсюда и относительная простота, недифференцированность постигающего социальную реальность общественного сознания, его синкретизм.

Натуральное крестьянское хозяйство, простые общественные связи и примитивные формы их опосредования, синкретическое мышление, холистская, «соборная» ценностная парадигма — главные устои русского аграрного общества, гаранты его целостности и жизнеспособности. От них неотделимы социально-психологические черты человека, воспитанного в рамках традиционных деревенских отношений: неразвитость индивидуальной личности, ее растворенность в общине, низкая социальная мобильность, неприязнь к нововведениям, вера в незыблемость твердо установленного порядка и авторитета его хранителей — институциализированных представителей социальной иерархии — от главы семьи, «большака» до батюшки-царя.

Основу всего этого порядка многие думающие люди в России конца XIX века видели во «власти земли» — метафора, с помощью которой они пытались осмыслить внут-

<sup>23</sup> Киреевский И. В. В ответ А. Хомякову. // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 149.

ренною обусловленность и слаженность жизни русской деревни. Глеб Успенский — а именно он ввел в оборот понятие «власть земли» — усматривал в ней то организующее начало, что веками управляло поступками всякого крестьянина, было главным «не только по отношению к народному брюху, но и по отношению к народному духу, к народной мысли, ко всему складу народной жизни»<sup>24</sup>. Люди, из поколения в поколение возделывающие ржаное поле и зависящие от него во всем, не могут жить иначе, чем требует это поле. «У земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые принадлежали бы не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой»<sup>25</sup>. «Для этой травинки, для того, чтобы она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях»<sup>26</sup>.

Концепция власти земли многое позволяла понять и объяснить в жизни российской деревни, а значит и всего российского общества, по преимуществу крестьянского. Но были у нее и свои границы. «Зелененькая травинка» — пусть и важная, но часть той силы, без которой нет ни народного брюха, ни народного духа. А чтобы оценить всю эту силу, надо принять во внимание и те невидимые *социальные* нити, на которых также держалась эта связь крестьянина с землей. Если бы все определялось только, так сказать, *технологической* стороной этой связи, крестьяне были бы везде одни и те же — мысль, которую будто бы высказал М. Горький и к которой с большим сомнением отнесся Ф. Бродель<sup>27</sup>. Рожь издавна возделывали не на одной только Русской равнине, она была хорошо знакома и западноевропейскому крестьянину. Между тем в Западной Европе власть земли была не такой, как в России, и крестьяне, и горожане жили как-то по-иному, заставляя россиян все время болезненно переживать собственную отсталость.

В чем же была причина различий? Ответить на этот вопрос нельзя, если не понять той альтернативы «простому» сельскому обществу российского типа, которая выработалась в ходе развития «сложных» западных городских обществ. Различия здесь не географические, а исторические.

#### 1.4. Сложное общество: власть денег

**П**ричины несхожести крестьян и крестьянской жизни, а позднее и некрестьянских обществ на западе и на востоке Европы, глубинные корни длившейся не один век российской отсталости — прежде всего в давних различиях земельных отношений, принципов, на которых строилось крестьянское пользование землей — главным средством производства и главным богатством аграрных обществ. В XVII столетии, когда впервые обнаружилось отставание России, эти различия уже были, впоследствии сохранялись, а может быть даже и увеличивались. Влияние их не исчезло и по сей день.

<sup>24</sup> Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 5, с. 177.

<sup>25</sup> Там же, с. 119.

<sup>26</sup> Там же, с. 176.

<sup>27</sup> Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М., 1988, с. 247.

Конечно, происхождение различий в поземельных отношениях само требует объяснения. Скорее всего оно также связано с определенным историческим «запаздыванием», попросту говоря, с тем, что земледелие на Руси сложилось намного позднее, чем в Западной Европе. Такому *историческому* объяснению можно противопоставить какие-либо иные. Например, можно попытаться вывести их из особенностей природно-климатических условий, из-за которых продуктивность сельского хозяйства в России была намного ниже, «объем совокупного прибавочного продукта... значительно меньше, а условия его создания хуже, чем в Западной Европе»<sup>28</sup>, что и «вызывало к жизни такой мощный инструмент экономической и социальной поддержки крестьянина-земледельца, каким была община..., сыгравшая главенствующую роль в жизни российского народа»<sup>29</sup>. На полях России был очень короткий рабочий сезон — с начала мая до начала октября по новому стилю, на полях же Европы не работали лишь декабрь и январь. Это обстоятельство и обусловило там «на заре цивилизации» появление мелких земельных собственников-земледельцев, а «раннее упрочение индивидуального крестьянского хозяйства стимулировало появление частной собственности на землю, активное вовлечение земли в сферу купли-продажи» и т. п.<sup>30</sup>

Если это — объяснение, то как же тогда объяснить отсутствие земельной собственности у народов, живущих в южных широтах и снимающих два урожая за сезон? Да и в Западной Европе «на заре цивилизации» все было примерно так же, как и в России, только «заря» там разгорелась намного раньше. Юлий Цезарь еще в I веке до н. э. с удивлением писал о германцах, что «у них вовсе нет земельной собственности, и никому не позволяется больше года оставаться на одном месте для обработки земли»<sup>31</sup>. О том же упоминал Тацит полтора столетия спустя: «земли для обработки они поочередно занимают всюю общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою, смотря по достоинству каждого»<sup>32</sup>. В это время на территории будущего Российского государства вообще никто не пахал землю.

Западная Европа приближалась к частной собственности крестьян на землю долго. О ней нельзя было еще говорить и в XVI веке. Но тогда движение к ней уже шло неотвратимо. Обычная норма — наследственное пользование наделом и его неделимость при наследовании (как правило, одним из сыновей). Барщинная система уже к XIV–XV векам постепенно вытесняется; суживается и сфера натурального оброка. Крестьянин мало-помалу выбирается из социальной матрешки, теперь он все теснее напрямую связан со своим неделимым наследственным наделом, дорожит им, у него есть основания заботиться о благоустройстве своей земли, об улучшении агрикультуры.

<sup>28</sup> Милов Л. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса. // Вопросы истории, 1992, 4–5, с. 53.

<sup>29</sup> Милов Л. Если говорить серьезно о частной собственности на землю... Свободная мысль, 1993, 2, с. 81.

<sup>30</sup> Там же, с. 77.

<sup>31</sup> Цезарь Ю. Галльская война. // Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. М., 1962, кн. 4, 1, с. 52.

<sup>32</sup> Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии. // Тацит К. Сочинения в двух томах. Л., 1969, т. 1, п. 26, с. 364.

В России в это время — в XVI веке — все по-иному. Здесь, по словам В. Ключевского, «мы имеем дело с бродячим и мелко разбросанным сельским населением, которое, не имея средств или побуждений широко и усидчиво разрабатывать лежавшие перед ним обширные лесные пространства, пробавлялось скудными пахотными участками и, сорвав с них несколько урожаев, бросало их на бессрочный отдых, чтобы на другой целине повторить прежние операции»<sup>33</sup>. Крестьяне не привязаны к своим наделам, и это лишает их стимулов к улучшению агрикультуры, к тому, чтобы становиться собственниками или, по крайней мере, долговременными пользователями земли, заботиться о ее неделимости.

При этом Россия и движется совсем не в том направлении, что ее западные соседи. Здесь — настоящая пропасть между ними, главное проявление исторического отставания. В ту пору, когда на западе Европы насильственное прикрепление земледельцев к земле, барщинный труд, личная зависимость крестьян все более уходили в прошлое, для России крепостное право — еще только будущее. На западе Европы всю развиваются рынок и рыночные институты, денежное обращение, аренда земли за деньги почти полностью вытесняет испольщину. Земля все чаще продается и покупается, цены на нее растут. Растет и ипотечная задолженность крестьян, старающихся удержаться на своих — хотя и не собственных — наделах. Власть земли уже далеко небезраздельна, она очень сильно потеснена властью денег, и эта новая власть взломала скорлупу сельского мира, разрушила его замкнутость, втянула человека в сложные и многообразные социальные связи, какие прежде ему и не снились. Идея крестьянской собственности на землю просто стучится в дверь, жизнь сама готовит Кодекс Наполеона.

Не то на востоке Европы. Здесь расцветают барщина и натуральный оброк, в отличие от европейских наследуемых неделимых крестьянских наделов утверждается система семейных разделов и уравнильных переделов земли внутри общины. Крепостной крестьянин — это, конечно, уже не тот «малоусидчивый землепашец» XVI века, о котором писал Ключевский<sup>34</sup>, а все равно он еще очень далек от европейского наследственного землепользователя. И даже столетия спустя, после отмены крепостного права, уже на пороге XX века идея наследственного землепользования, а тем более частной собственности на землю не вызрела в российском обществе, кажется чем-то инородным в русской деревне.

Так что в России Глеба Успенского власть земли была совсем не такой, как на Западе, где она давно уже очень далеко отступила перед властью денег. Житель европейской деревни в гораздо большей степени чувствовал себя хозяином земли, нежели ее подданным. А такая деревня шла навстречу более глубоким изменениям всего общества, его превращению в городское, рыночное. Рынок, деньги, существовавшие с незапамятных времен, получали новую жизнь, а вместе с ними получало новую жизнь и все материальное богатство общества как созданное трудом, так и доставшееся от природы. Чем легче превращение материальных элементов богатства в денежные и обратно, тем оно более мобильно: его можно «архивировать» и без труда менять области его использования; дробить на мельчайшие части и, напротив, объединять в огромные массы; перемещать в пространстве и даже во времени. Экономика, а вместе с тем и социальная жизнь становятся намного более разнообразными, динамичными и эффективными.

<sup>33</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. II, М., 1988, с. 273.

<sup>34</sup> Там же, с. 289.

Новая подвижность богатства и новое разнообразие его форм означают и новую подвижность человека. Рыночная экономика позволяет разорвать прямые межличностные связи и заменить их связями опосредованными. Производитель и потребитель, которые прежде, как правило, лично знали друг друга, теперь могут никогда не встретиться — рынок и деньги свяжут их между собой. Это делает жизнь в городском обществе анонимной, внешний надзор за каждым — невозможным. Теряют смысл прежние социальные регуляторы человеческого поведения, уходят в прошлое личная зависимость, «матрешечные» средневековые социальные структуры, непосредственная цензура крестьянской общины или городского цеха, замысловатая иерархия статусов, сословные перегородки.

Может показаться — и многим кажется, — что общество не усложняется, а упрощается, и говорить надо не о развитии, а о деградации, утрате «цветущей сложности» времен феодальной аристократии, рыцарства, сословий, монастырей, цехов. «Эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития... Прогресс..., борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п., есть не что иное, как... процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически... свойственны общественному телу»<sup>35</sup>. «Европа с XVIII столетия уравнивается постепенно..., стремится... к идеалу однообразной простоты»<sup>36</sup>.

К. Леонтьев, которому принадлежат все эти инвективы, один из самых последовательных русских противников «западного индивидуализма», верно отмечает «сглаживание морфологических очертаний общественного тела»<sup>37</sup>. Сложность средневековых социальных структур и в самом деле была разрушена, власть случайных факторов, предопределявших острее всего разнообразие разделенных перегородками локальных миров, социальных положений, индивидуальных судеб, была резко ограничена. Об этом и в Европе многие сожалели. Но там все сильнее осознавалось, что неподвижное разнообразие одноразовой случайности уступало место подвижному разнообразию постоянного выбора. Мир не просто усложнился, он пришел в непрерывное движение. Изображение из мозаики — сложная вещь, но сравните его с непрерывно меняющейся мозаикой огней ночного города, и вы поймете, как велика разница в сложности статичной и динамичной картин.

Леонтьев, конечно, был прав, подчеркивая значение деспотизма для средневековых общественных организмов, которые он считал вершиной сложности. Но со сложностью нового, динамичного, многомерного мира никакой деспотизм справиться не может, как не может художник, уверенно выкладывающий из смальты заранее продуманный портрет или пейзаж, управлять мерцанием ночных огней: они живут своей жизнью, а не жизнью, предписанной художником. Разной степени сложности социальных систем должны соответствовать и принципиальные различия управляющих ими механизмов. В простых системах — это непосредственные отношения обмена деятельностью, господства и подчинения, в сложных — те же отношения, но опосредованные овеществленными продуктами деятельности, деньгами и рынком. «Рынок» и «город» — главные, выработанные историческим развитием, располагающие неограниченным числом «каналов

<sup>35</sup> Леонтьев К. Византизм и славянство. // Избранное. М., 1993, с. 76.

<sup>36</sup> Там же, с. 94.

<sup>37</sup> Там же, с. 76.

связи» регуляторы, которые позволяют ограничивать резко возросшее разнообразие социального поведения людей и упорядочивать его в соответствии с внутренними целями общества. Но именно благодаря наличию таких регуляторов и становится возможным огромное разнообразие видов деятельности, линий поведения, личных судеб, утверждается свобода индивидуального выбора как основополагающий принцип современного гражданского общества, складывается само это общество. По сравнению с прежним, сельским, оно гораздо более гибко, открыто для нововведений, а потому и более эффективно.

Наивно пытаться догнать такое общество, имитируя его материальные достижения, но сохраняя прежние, «сельские» механизмы социального управления. Сколько ни пытайся добавить к серпу молот, превратить общество из аграрного в индустриальное, сколько ни строй городов, без кардинальной смены механизмов социального управления оно будет оставаться сельским и застойным. Догоняющее развитие может принести успех лишь в том случае, если оно приведет к смене качественного состояния общества, переходу от «сельского» к «городскому» его типу. Но этот скачок непросто совершить, не пережив тяжелейшего кризиса старого общества, избежав жесточайших конфликтов между тем, что должно исчезнуть, и тем, что идет ему на смену. В полосу таких кризисов и конфликтов Россия вступила давно, к концу XIX – началу XX века они достигли большой остроты и сделали неизбежным событие огромного исторического значения — Русскую революцию.

## 1.5. Кризис русского аграрного строя: от власти земли к власти денег

Сколько бы ни говорилось об отсталости дореволюционной России, сама по себе отсталость — еще не свидетельство кризиса. Кризис — это характеристика внутреннего состояния общества, напряженности противоречий, возникающих вследствие рассогласования его основ. Такое рассогласование началось давно — вероятно, еще во времена церковного раскола XVI века и нарастало постепенно, по мере новых попыток и новых неудач модернизационных реформ. К концу XIX века оно охватило значительную часть общества, затронуло все его слои.

Решающее значение имело то, что подошли к своему историческому пределу недавно еще вполне жизнеспособные в России формы деревенской жизни. В деревне, особенно после отмены в 1861 г. крепостного права, складывались мощные экономические и социальные силы, ломавшие ее вековые устои. Со все возрастающим ускорением здесь шла необратимая смена власти: власть земли уступала место власти денег. Новая власть требовала и новых форм общежития. Страна двигалась к ним медленно, ощупью.

Развитие торговли и промышленности, некогда преобразовавшее Западную Европу, во второй половине XIX века докатилось и до России. Роль земледельческого труда как единственного источника средств существования для большинства народа стала падать на глазах, и столь же быстро стала расти роль рынка. Власть денег буквально



но ворвалась в жизнь деревни. И первое, что сделала эта безликая власть, — она стала разрушать вековой лад крестьянской жизни. Литература второй половины прошлого века наполнена примерами наступившего разлада. Вот один из них, заимствованный у Г. Успенского.

«Разлад этот, начавший проникать в семейство, как и во все русские деревни, по мере того, как в деревню сделался возможным доступ заработка не исключительно земледельческого, тронул описываемое мною семейство уже довольно давно. Покуда семья эта была исключительно земледельческая, совместная общинно-семейная жизнь была всем понятна: все работают одно и то же дело, все потребляют вместе выработанный продукт, все озабочены одной и той же заботой — успешностью земледельческого труда. Все ему подчинено, и подчинение это всякому члену понятно... <Теперь же> ...почти все... более или менее расшатаны уже в нравственных основах. Первая расшатывающая новость новых времен — это упразднение сознания рабства, принадлежности другому человеку, барину. Эта новость, самая лучшая из всех, какие только ни посещали семью в последние годы... , тотчас же была заменена новой неудобною новостью, урезкою угодий, земли... Земли стало меньше, но времени для ее обработки прибавилось, а вместе с тем получился остаток сил, прежде поглощавшийся исключительно земледельческим и своим и барским трудом. Этот остаток сил не остался праздным и немедленно же пошел в обиход. Один из средних братьев поехал в Питер в зимние легковые извозчики; другой, тоже средний, сделался лесником и стал получать жалованье, а вместе с заработками того и другого началось и разрушение стройности земледельческого семейного союза... Всей этой разладины невозможно изобразить во всей полноте...»<sup>38</sup>.

Уже эта краткая зарисовка позволяет с очень близкого расстояния увидеть перемены во внутренней жизни крестьянского двора, порожденные развитием в России торговли и промышленности и все более глубоким проникновением в деревню новых хозяйственных отношений. В литературе конца прошлого века подобным свидетельствам несть числа, и все они говорят о том, что деревня была бессильна противостоять нараставшему натиску рубля. «...Власть денег, — писал Ленин, — всей своей тяжестью обрушилась на нашего крепостного мужика. Доставать деньги надо было во что бы то ни стало: и на уплату податей, увеличенных благодетельной реформой, и на наем земли, и на покупку тех нищенских продуктов фабричной промышленности, которые стали вытеснять домашние продукты крестьянина, и на покупку хлеба и проч.»<sup>39</sup>.

Об этом же в несколько иной тональности писал и Милюков. «Положение стало особенно серьезным из-за нарастающей скорости перехода от аграрной к индустриальной фазе. Причины нарастающей скорости перехода, от, так сказать, „домашнего“, „натурального хозяйства“ к „обменной экономике“ многочисленны и достаточно сложны. Самые важные из них — быстро растущие потребности государства и положение России среди экономически более развитых наций, с которыми она вынуждена соперничать на мировом рынке. ...Покупки, которые русский крестьянин вынужден делать на рынке, неизбежны. Увеличение его расходов на питание, освещение и т. д. отнюдь не означают роста благосостояния, напротив, это признак обнищания»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Успенский Г. И. Без определенных занятий. // Собр. соч. в 9 томах, т. 4, с. 447–450.

<sup>39</sup> Ленин В. И. Рабочая партия и крестьянство. // Полн. собр. сочинений, т. 4, с. 431.

<sup>40</sup> Милюков П. Оп. cit., p. 323–324, 326.



«Смена власти» в деревне должна была иметь для нее, а значит и для всего общества огромные последствия. Они сразу же проявились, быстро нарастали, всеми ощущались. Главное и общее заключалось в том, что впервые появилась сила, разрушающая монолит крестьянского общества изнутри. Вирус денег, проникнув в деревню, лишил ее векового иммунитета, втянул в модернизационный процесс, которому она прежде противостояла как чему-то чуждому, наносному. Деревня стала не только объектом, но и субъектом модернизации. С этого времени русское аграрное общество вступило в полосу общего необратимого кризиса.

Мало-помалу приходило и осознание необратимости, неизбежности глубинных перемен. Российское общество становилось все более самокритичным. Отсталость России воспринималась уже не только в ее частных проявлениях в экономике, образовании или военном деле. Объектом критики становится все устройство российского общества, отсталость которого видится как внутренне присущая ему черта. Ее преодоление требует чего-то большего, нежели приток капиталов, развитие внутреннего рынка, увеличение числа специалистов и т. д. Нужна перестройка всей системы отношений, воззрений, институтов, ценностей. Ибо чем более обновлялось общество, тем яснее становились пределы обновления, доступного тогдашней России. Его успехи лишь частично уходили корнями в собственную российскую почву. Многие были заимствованы, перенесены с Запада или вызрели в среде отечественной верхушечной элиты и не находило должного отклика в массовом народном сознании и поведении.

Для дальнейшего развития капитализма, роста торговли, денежного обращения, промышленности, городов, образования и т. д. нужны были изменения самой «почвы», чтобы она могла самостоятельно питать все новые и новые экономические и прочие успехи страны. Задача преодоления отсталости слилась с задачей полного пересмотра экономического и социального строя, смены типа общества. Не все направления российской общественной мысли соглашались с таким пониманием стоявших перед страной задач, но все осознавали глубину и опасность кризиса и напряженно искали верного пути России в будущее.

## 1.6. В поисках образа будущего

**Р**ыночное, промышленно-городское хозяйство с трудом прививалось к стволу русского аграрного общества, долгое время было для него инородным телом, вызвало реакцию отторжения. Но все же перемены шли, и в начале века в России были люди, твердо убежденные в том, что «историческое развитие совершается у нас в том же направлении, как совершалось и везде в Европе»<sup>41</sup>. Сходство с Европой — не подражательная цель, утверждал Милюков, а «естественное последствие схождения самих потребностей» общества. «Само собой разумеется, — продолжал он, — что сходство никогда не дойдет при этом до полного тождества... Мы не должны обманывать себя и других страхом перед мнимой изменой нашей национальной традиции. Если наше прошлое и связано с настоящим, то только как баласт, тянущий нас книзу, хотя с каждым днем все слабее и слабее»<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1992, с. 29.

<sup>42</sup> Там же, с. 30–31.

Похоже, однако, что Милоков недооценивал вес «баласта прошлого». В России утверждался новый тип разделения труда, отношений между агентами экономического процесса, в конечном счете, — новый тип общества и человека, а это угрожало глубинным основам укоренившегося порядка вещей, его традиционной «почве». Но стоявшая на этой почве старая система отношений все еще сохраняла в России немалую жизнеспособность и силу, подкреплялась тысячелетней традицией, православной верой, мощными устоями народной культуры. Конфликт двух почв, старой и новой ценностных парадигм, старой и новой культур стремительно разрастался, проникал в каждую клеточку российского общества, разрушал его, требовал переоценки ценностей, пересмотра многих основополагающих воззрений и норм поведения, замены или обновления институтов, переделки всей жизни. Экономические успехи только обостряли этот конфликт. Они демонстрировали эффективность новых жизненных принципов, но одновременно вызывали отчаянное сопротивление традиционного, патриархального российского общества.

Оно давно почувствовало угрозу и стало возводить свои линии обороны против набравшей силу петровской, «петербургской» традиции, против ценностей наступавшей промышленно-городской цивилизации.

Порой дело доходило до полного отрицания всего нового, даже если речь шла о чисто материальных, технических достижениях. «Зачем эта скорость сообщений? — вопрошал Гоголь. — Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития? ...В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует...»<sup>43</sup>. И К. Леонтьев протестовал против «машин и вообще... всего этого физико-химического умственного разврата...», этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь..., растительное разнообразие, животный мир и самое общество человеческое...»<sup>44</sup>.

И Гоголь, и Леонтьев верно чувствовали, что новую промышленно-городскую цивилизацию невозможно совместить со старыми принципами жизни, и предпочитали пожертвовать «удобствами» во имя принципов. Их позиция была, пожалуй, наиболее последовательной. Но будущего у нее не было. К концу XIX века выбор России полностью определился, она твердо встала на путь ускоренного экономического, в том числе и промышленного развития, а тем самым и на путь безусловной всесторонней модернизации. Становились все более ощутимыми и полезные результаты сделанного выбора, что умножало число сторонников перемен. (Блок о России: «Новым ты обернулась мне лицом, // И другая волнует мечта... // Уголь стонет, и соль забелелась, // И железная воет руда... // То над степью пустой загорелась // Мне Америки новой звезда!») В то же время обострялись и «язвы» раннего капитализма, так что его критика не только не утихла, но становилась все более острой. В общественном сознании должен был каким-то образом уложиться целый ряд плохо совмещавшихся фактов: (1) существование устоявшейся цивилизации с привычными, понятными народу жизненным укладом, культурой, верой и т. д.; (2) вторжение цивилизации иного типа, привлекавшей все новые и новые слои российского общества и потому угрожавшей самому существованию преж-

<sup>43</sup> Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо XXVIII.

<sup>44</sup> Леонтьев К. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. // Избранное, с. 139.

него строя жизни; (3) внутренняя противоречивость как старой, так и новой цивилизаций, легко различимые в них «положительные» и «отрицательные» стороны.

Чисто охранительная позиция в духе Гоголя или Леонтьева могла быть лишь одной из многих, принадлежала одному из полюсов спектра возможных взглядов на взаимоотношение России с «западной цивилизацией». На другом его краю находились полярно противоположные взгляды — их олицетворяли либералы типа Милюкова, считавшего западный путь развития естественным и единственно возможным для России.

Но преобладали не эти крайние, а разнообразные промежуточные позиции, допускавшие всевозможные степени сочетания «старого» и «нового», «своего» и «чужого». Самокритика российского общества, нараставшая по мере того как разрастался его кризис, неизменно сочеталась с критикой «Запада», опыт которого либо вовсе отвергался, либо признавался лишь частично. Эти две критики сопутствовали всем поискам исторической дороги России. Их постоянное сосуществование в общественном сознании и даже в сознании отдельных людей — выразителей общественных дум — все время подталкивало к поискам такого будущего для России, которое было бы лишено недостатков как «допетровской традиции», так и «Запада», но соединяло бы их достоинства.

Проблема заключается, однако, в том, что и «свое», и «чужое» — это бесспорные реальности российской или европейской истории. Что бы ни думали о западной модели развития, она *осуществима*, что и доказано европейским опытом. В отношении же комбинированных проектов будущего таких доказательств нет. Они вполне могут существовать только в головах идеологов, и ни из чего не следует, что они вообще осуществимы или приведут к результату, на который рассчитывают их авторы. Статус таких проектов — это статус благих пожеланий, статус утопий.

Из благих пожеланий созидали свой проект славянофилы. Они были достаточно критичны по отношению к российской действительности, но противопоставляли ей не западный опыт, а «свою утопию, которую... считали поистине русской... Так как все должно быть органическим, то не должно быть ничего формального, юридического, не нужны никакие правовые гарантии... Все должно быть основано на доверии, любви и свободе»<sup>45</sup>. Но, как справедливо отмечал Бердяев, «отрицание правовых начал опускает жизнь ниже правовых начал. Гарантий прав человеческой личности не нужно в отношениях любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на отношения любви»<sup>46</sup>.

По мнению В. Соловьева, у славянофилов не было идеалов будущего, а была лишь идеализация прошлого, Московской и домосковской Руси. Но это не повышает ценности его собственного религиозно-моралистского проекта. Не первый путь — «один господин и мертвая масса рабов», читай, деспотизм старого русского образца. Не второй путь — «всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи», читай, либеральный западный капитализм. Но третий, который «дает положительное содержание двум первым... примиряет единство высшего начала со свободной множественностью частных форм и элементов». «Третья сила... может быть только откровением высшего божественного мира... От народа —

<sup>45</sup> Бердяев Н. Русская идея. (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века.) Париж, 1946, с. 52.

<sup>46</sup> Там же.

носителя третьей божественной силы требуется... равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру Славянства, в особенности же национальному характеру русского народа»<sup>47</sup>.

Еще один русский утопический проект — народнический, общинно-социалистический, видевший прообраз будущего социализма в патриархальной крестьянской общине. Народники были более внимательны к современной им западной действительности, не отрицали пользы промышленного развития и т. п., но тем более явственно выступают в их идеологии поиски «третьего пути», вожденного сочетания достоинств России и Запада без их недостатков. «Желательно развитие производительных сил, но... в процессе некапиталистической эволюции. Для этого должны быть использованы все условия, все формы народной жизни..., которые... существуют вне капитализма и вызваны (или могут быть вызваны) к жизни не им»<sup>48</sup>.

Ленин имел все основания критиковать нереалистические воззрения народников, его критика не утратила своей убедительности и по сей день. Но, парадоксальным образом, вдохновленный им большевистский проект модернизации России, который, неоднократно трансформируясь, воплощался в жизнь на протяжении семи десятилетий, также изначально подталкивал российское общество на утопический, тупиковый третий путь. Большевики не просто унаследовали давнюю российскую традицию «двух критик», но со временем довели ее до предела. Никто не осуждал с такой яростью российскую отсталость, «пережитки феодализма», царское самодержавие и т. д. — и никто не демонстрировал такой враждебности Западу, заклеймленному как «буржуазный», «капиталистический», «империалистический», враждебности, сделавшейся на долгие годы чертой государственной политики СССР.

Эта двойная, временами доходившая до иступления критика, была оборотной стороной осуществлявшегося большевиками проекта модернизации России. Образ будущего, который вел большевистских революционеров, особенно после их прихода к власти, складывался из двух разнородных частей.

**Первой**, «инструментальной» составляющей этого образа была западная материальная цивилизация с ее промышленностью, городами, всеобщей грамотностью и т. д. Это относилось к числу «достоинств» Запада (или, что то же, капитализма) и подлежало заимствованию. Поэтому совершенно естественным образом ядром всей большевистской программы преобразования России стало ускоренное развитие индустриальной экономики как главного орудия достижения эффективности, богатства, военного могущества. Страной овладела идея превращения «из отсталой аграрной в передовую индустриальную». «...Мы доведем дело до того, — настаивал Ленин, — чтобы хозяйственная база из мелкокрестьянской перешла в крупнопромышленную. Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хо-

<sup>47</sup> Соловьев В. Три силы. // Соловьев В. Избранное. М., 1990, с. 57–58.

<sup>48</sup> Чернов В. М. К вопросу о «положительных» и «отрицательных» сторонах капитализма. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX в. Избранные произведения. М., 1994, с. 37.

зайство и транспорт будет подведена техническая база современной промышленности, только тогда мы победим окончательно»<sup>49</sup>.

По-видимому, эта идея была одной из наиболее сильных сторон большевистской идеологии, обеспечившей ей очень широкую поддержку. Она отвечала историческому нетерпению обновлявшегося российского общества, все более осознававшего экономическое отставание от Запада, и в то же время давним вождениям «государственной мысли», озабоченной державными целями, какой бы ценой они ни достигались. Уверенно включая западную материальную цивилизацию в свой образ будущего, большевики выражали, таким образом, настроения весьма значительной части российского общества или, во всяком случае, его политически и социально активных слоев.

Так же, если не еще более определенно, обстояло дело и со **второй** составляющей этого образа — его эгалитаристской, псевдоколлективистской, антирыночной, антибуржуазной, антизападной, одним словом, «социалистической» утопией. Расхожее клише связывает ее с марксизмом, но ничего специфически марксистского в ней не было. «Русская мысль XIX века в значительной своей части была окрашена социалистически... Славянофилы так же отрицали западное буржуазное понимание частной собственности, как и социалисты революционного направления. Все почти думали, что русский народ призван осуществить социальную правду, братство людей. Все надеялись, что Россия избежит неправды и зла капитализма, что она сможет перейти к лучшему социальному строю, минуя капиталистический период в экономическом развитии»<sup>50</sup>. Ленин, конечно, был свободен от многих народнически-социалистических иллюзий, но не от представлений о капитализме как «неправде и зле» и не от веры в возможность построить в России некапиталистическое, нигде ранее не существовавшее новое общество. Оно должно было сочетать в себе материально-технические достижения Запада с экономическими и социальными добродетелями, которые на деле были очень близки добродетелям общинной крестьянской России: безденежности, безрыночности, уравнительности, помещицкому или государственному патернализму.

Понимаемая таким образом «социалистическая» направленность большевизма, стало быть, также соответствовала настроениям, широко распространенным в русском обществе. По мнению Бердяева, вся история русской интеллигенции готовила коммунизм, в который вошли «знакомые черты», в частности жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите<sup>51</sup>.

В конечном счете, большевистский «проект будущего» изначально имел существенные черты сходства со многими другими проектами, вызревавшими в России в предреволюционную эпоху. Как и они, он был навеян успехами Запада и в то же время уходил корнями в реальную российскую жизнь. Он складывался из двух разнород-

<sup>49</sup> Ленин В. И. VIII Всероссийский съезд советов. Доклад о деятельности Совета народных комиссаров. // Полн. собр. сочинений, т. 42, с. 159.

<sup>50</sup> Бердяев Н. Русская идея, с. 101–102.

<sup>51</sup> См. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 100.

ных, плохо совместимых частей, но обе они были взяты из настоящего, и иного материала ни у большевиков, ни у кого другого не было. Когда большевики приступили к реализации своего проекта, они в полной мере познали, что значит «сопротивление материала» в истории.

## 1.7. На пороге «консервативной революции»

**Р**еволуции 1917 г. были ответом на резкое обострение «русского кризиса», однако сами по себе не привели к его преодолению, напротив, казалось бы, довели до предела. Они, конечно, разрушили многие препятствия, стоявшие на пути радикальных перемен. Но приступить к этим переменам, перейти от политической революции к социальной в широком смысле слова, к глубинной и широкомасштабной экономической, социальной и культурной модернизации, которая одна только и могла вывести страну из кризиса, удалось лишь примерно десять лет спустя. Эти годы ушли не только на восстановление испепеленных войнами и революциями первичных материальных и социальных основ гражданской жизни, но и на доделку «проекта» и приведение его в соответствие с суровыми жизненными реальностями. Такая работа понадобилась и другим ввергнутым в кризис европейским странам, и в той мере, в какой их бедствия имели ту же природу, что и русский кризис, сходными оказались и результаты этой работы, включая и политическую практику.

В России чрезвычайно широко распространен миф о ее особом историческом пути, в частности же, о необыкновенной исключительности того, что произошло в России в XX веке. Споры нет, в развитии страны на протяжении последнего столетия явно проявились самобытные, заданные особенностями отечественной истории черты. Их отпечаток лежит и на русском большевизме, на его видении будущего России в начале века и на его последующей эволюции. Но не меньшее, а может быть, и большее значение имели некоторые универсальные процессы — их можно обнаружить при более или менее сходных исторических обстоятельствах, а именно обстоятельствах догоняющей модернизации, в очень многих странах. Россия стоит в общем ряду таких стран, не открывая и не замыкая его. Начинается же этот ряд, скорее всего, с Германии, которой также пришлось догонять своих вырвавшихся вперед западных соседей. Ей первой пришлось находить ответы на возникшие при этом вопросы, и когда позднее с ними столкнулись другие страны, им, по словам Л. Дюмона, «пришлось либо самим придумывать сходные ответы..., либо прибегнуть к немецким рецептам, имевшимся в их распоряжении... В каком-то смысле можно сказать, что немцы подготовили наиболее легко усваиваемые версии модернизационных нововведений для вновь прибывающих»<sup>52</sup>.

И географически, и исторически Россия была ближе к Германии, чем многие другие страны мира, постепенно втягивавшиеся в модернизацию во второй половине XIX или в XX веке. Соответственно и связи России с Германией были более тесными и, если можно так сказать, более интимными. Русские и немцы «по сравнению с другими народами, испытали гораздо более глубокое потрясение от стремительного вторжения в их куль-

<sup>52</sup> Dumont L. Homo aequalis, II. L'idéologie allemande. Paris, 1991, p. 43.

туру того нового, что принесли с собой Просвещение XVIII в. и Французская революция... Оба народа с давних пор консервативно относились к порядкам старой Европы... В результате... запоздалого проникновения духа обновления и конфронтации с ним русско-немецкая близость, существовавшая и до этого исторического момента, приобрела особое качество и измерение»<sup>53</sup>.

Хотя немцы были первооткрывателями, со временем возник немецко-русский диалог, в ходе которого шло уже не простое усвоение Россией немецких достижений, но взаимный обмен опытом, а иногда Россия даже опережала Германию. Эта ситуация отразилась, между прочим, в идее Ленина о перемещении центра мирового революционного движения из Германии в Россию, всерьез воспринятой не только в России, но и в Германии.

Близость России и Германии сказывалась, в частности, в сходном видении идеального будущего. Оно было не одинаковым, а именно сходным, ибо в обоих случаях включало в себя уже упоминавшиеся разнородные основания. Общественные настроения и в России, и в Германии начала XX века все сильнее склонялись в пользу быстрого промышленного развития. Голоса критиков индустриализма постепенно заглушались голосами его поклонников, нередко чрезмерных. Но так как индустриализм здесь был запоздалым и заимствованным, он воспринимался как нечто отдельное от «западной» социальной почвы, которая его вскормила и отношение к которой оставалось весьма критическим. Модернизация не осознавалась во всей ее сложности, как многосторонняя и глубинная перестройка всего социального тела, а становилась чуть ли не синонимом одного лишь промышленно-технического прогресса, который можно сочетать с сохранением социальной архаики.

Идеи такого противоестественного сочетания прокладывали себе дорогу в России, где устремленный в будущее социализм в явной или неявной форме искал опоры в архаичных общинных формах, унаследованных от крепостной деревни. Похожим, хотя и на свой манер, многим виделось будущее и в Германии. Не случайно утверждение Шпенглера о том, что «старопрусский дух и социалистический образ мышления, ныне ненавидящие друг друга ненавистью братьев, представляют собой одно и то же»<sup>54</sup>. В холлистском идеале («Власть принадлежит целому. Отдельное лицо ему служит») Шпенглер видел существующий с XVIII века прусский «авторитарный социализм, по своему существу чуждый либерализму и антидемократичный, поскольку речь идет об английском либерализме и французской демократии... Приспособление этого организма, проникнутого духом XVIII века, к духу XX-го составляло задание организаторов»<sup>55</sup>.

Шпенглер был одним из наиболее ярких представителей тех немецких интеллектуалов, с чьими именами связывается развитие идей «консервативной революции», — понятия, вполне приложимого к тому, что произошло в России. Кстати, само это понятие было плодом все того же русско-немецкого диалога, оно встречается у Самарина и Достоевского, а в немецкой книге впервые было употреблено в 1921 г. в статье Томаса Манна «Русская антология»<sup>56</sup>. Совокупность идей, объединяемых понятием «консерва-

<sup>53</sup> Рормозер Г. К вопросу о будущем России. Россия и Германия. Опыт философского диалога. М., 1993, с. 26.

<sup>54</sup> Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, б.д., с. 9.

<sup>55</sup> Там же, с. 27.

<sup>56</sup> См.: Mohler A. La révolution conservatrice en Allemagne (1918–1932). Puisseaux, 1993, p. 22, 236.



тивная революция», к началу 30-х годов сложилась в политическую концепцию, ставшую одним из главных идейных источников немецкого национал-социализма. По мнению французского историка Л. Дюпе, в 20-е годы именно «консервативные революционеры», а не нацисты «формировали доминирующую контридеологию эпохи»<sup>57</sup>. Но еще в начале 20-х годов при личной встрече с А. Меллером ван ден Бруком — одной из центральных фигур течения — Гитлер сказал ему: «Вы возводите духовный каркас, который сделает возможным возрождение Германии». В дневнике Геббельса есть запись о том, что Меллер выражал «с ясностью» то, что «наша чувствительность и наш инстинкт давно подсказали нам, молодым парням»<sup>58</sup>. Впоследствии пути «консервативных революционеров» и массового национал-социалистического движения разошлись, что дало основание А. Молеру назвать их «троцкистами национал-социализма»<sup>59</sup>.

В концепции «консервативной революции» отразилось немецкое прочтение германских и европейских реальностей, сложившихся после Первой мировой войны, которые воспринимались как свидетельство полного краха унаследованной от Французской революции идеи социального прогресса и доказательство того, что надежной опорой обществу могут служить только «вечные», не знающие никакого прогресса начала. Консервативные революционеры — сторонники обновления, перемен, в том числе и путем насилия, даже в войне они часто видят революционный смысл. Но «вечное» должно оставаться в неприкосновенности, революция «может иметь своим следствием только реорганизацию того, что уже существует»<sup>60</sup>.

При переходе к практике эта философия означала реабилитацию средневековых холистских институтов и всего духа средневековья, против которых вел борьбу Век Прогресса, придание этим институтам и этому духу статуса «вечных» и игру на понижение индивидуалистических, гуманистических ценностей, возвышавшихся европейским XIX веком. Речь, однако, шла не о полном возврате к XVIII веку, а лишь, согласно формуле Шпенглера, о приспособлении социального организма, проникнутого духом XVIII века, к духу XX. Консервативные революционеры «не скупилась на то, что можно назвать поклонами в сторону прежнего доиндустриального общества, аристократии... особенно же крестьянства, неизменно представляемого — и, конечно, с искренним убеждением — как источник силы»<sup>61</sup>. Но «в XX веке истинная основа мощи — это промышленность. „Сталь“ берет верх над „кровью“. Наиболее пронциательные „консервативные революционеры“ хорошо это знали и не стеснялись об этом говорить»<sup>62</sup>. В этом смысле они и были «революционерами», сторонниками модернизации, но она воспринималась ими лишь как «функциональный эквивалент» модернизации западного типа и приобретала чисто инструментальный характер<sup>63</sup>.

<sup>57</sup> *Dupeux L.* Histoire culturelle de l'Allemagne 1919–1960 (RFA). Paris, 1989, p. 45.

<sup>58</sup> *Reichel P.* La fascination du nazisme. Paris, 1993, p. 64.

<sup>59</sup> *Mohler A.* Op. cit., p. 26.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 152.

<sup>61</sup> *Dupeux L.* «Révolution conservatrice» et modernité. // La révolution conservatrice Allemande sous la République de Weimar. Paris, 1992, p. 25.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Goedel D.* Moeller van den Bruck: une stratégie de modernisation du conservatisme ou la modernité à droite. // La révolution conservatrice Allemande sous la République de Weimar, p. 58–59.



Хотя в мировоззрении «консервативных революционеров» многое определялось естественной ностальгией по прошлому, интерес, проявленный к нему политиками, говорит о том, что дело было не только в ностальгии, а стратегия инструментальной модернизации не была лишена прагматического смысла. Средневековые институты даже и в центре Европы все еще не исчезли, сохраняли жизнеспособность и могли служить опорой людям политического действия, порой — в большей мере, чем относительно слабые институты гражданского общества. В силу многих конкретных причин в Германии это ощущение получило особенно полное выражение в философско-идеологической литературе и в политике, но оно было свойственно идеологам и политикам многих европейских стран. Выход из европейского кризиса виделся им в возвращении отбившегося от стада индивидуального человека к его прежнему холистскому бытию и наступлению «нового средневековья».

Если ставка на сохранение и даже возрождение средневековых институтов имела определенные основания в Европе, то тем более они были в России, где многие элементы средневековья сохранялись в почти нетронутом виде. Послереволюционная Россия вызвала симпатии многих европейских, особенно же немецких интеллектуалов и политиков, в том числе и весьма далеких от марксизма, видевших в большевизме в первую очередь проявления «органичности» русской народной жизни. Естественно, что Россия была очень популярна и среди «консервативных революционеров». В свою очередь, идеи «консервативной революции» и близкие к ним встречали большой интерес в русской эмигрантской интеллектуальной среде, где шла напряженная работа по осмыслению феномена Русской революции. Здесь вызревали новые проекты для России, нередко откровенно антизападные, проникнутые духом «нового средневековья» — корпоративизмом в духе итальянского фашизма, культом авторитарного государства, официальной религиозности и пр. Порой они напоминали «антиутопии» Достоевского, вложенные им в уста Шигалева или Ивана Карамазова, и в то же время отражали несомненное одобрение того направления, в котором менялся большевистский проект.

С наибольшей последовательностью русский «неосредневековый» проект, который можно назвать «православно-большевистским», разработали «евразийцы». Он обладал всеми чертами набравшего в 20-е годы силу небольшевистского проекта (государственная экономика, тоталитарная идеология, однопартийная политическая система, антизападничество и пр.) и, подобно ему, был подсказан истинным ходом событий в СССР. В целом евразийцы одобряли этот ход событий, подчеркивая, что объясняют его действием «народной стихии, а не коммунистов, которые были лишь удобными орудиями и, в общем, послушными исполнителями»<sup>64</sup>.

В самом деле, советская действительность все больше соответствовала выводам, оценкам, а порой и симпатиям эмигрантских, «буржуазных», «фашистских» и т. п. авторов. И дело было, конечно, не в их «подсказке». Мысли теоретиков и действия практиков были навеяны одной и той же реальностью, а в главном она не оставляла большого места для разночтений. Модернизация в России могла опираться только на те социаль-

<sup>64</sup> Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 399.

ные силы, которые были в то время в наличии, — силы, все еще очень архаичные, «средневековые». Поэтому такая модернизация могла быть только «консервативной», основанной на организационных формах, соответствовавших внутреннему состоянию раннего советского общества.

Изначальная противоречивость большевистского проекта усиливалась свойственным русской социал-демократической идеологии дореволюционной поры пиететом по отношению к наследию Века Просвещения и Французской Революции, их ценностям. Это придавало большевизму «прогрессистский», «западнический» характер и, вообще говоря, требовало не только «инструментальной» модернизации, но и обновления всей системы общественных отношений, принятия принципов индивидуализма, экономического и политического либерализма и пр. Подобные принципы не слишком вязались с навеянными средневековыми фантазиями образами фаланстеров будущего, в той или иной мере маячившими перед мысленным взором большевиков, но пока шла теоретическая игра, на это можно было закрывать глаза. Когда же дело дошло до реализации проекта, обнаружилось, что близкие узкому кругу социал-демократической интеллигенции западные политические и экономические понятия были чужды массовому российскому сознанию и мало соответствовали реальностям российской жизни, для которой предназначался проект. Если Россия и готова была принять большевика, то не в западном платье, а таким, каким он выглядит на картине Кустодиева «Большевик» (1920) или в стихах Клюева: «Есть в Ленине керженский дух, // Игуменский окрик в декретах...» (1918).

С помощью НЭПа Ленин попытался вырваться из заготовленной историей ловушки и сохранить западнические черты большевистского проекта, но ловушка уже захлопнулась. От Ленина ждали игуменского окрика, а не «невидимой руки» рынка. В России, комментировал ситуацию начала 20-х годов Шпенглер, «покоятся друг на друге два хозяйственных мира, верхний, чужой, результат цивилизации, проникшей с Запада и ферментом которому служит вполне западноевропейский большевизм первых его лет, и внегородской, живущий только в низах... Подобно тому, как ныне города царские разрушены, и человек живет в них снова, как в деревне, под покровом по-городскому мыслящего большевизма, так этот человек освободился и от западноевропейского хозяйства... Русское простонародье примирится с хозяйственными приемами Запада... но внутренне не примет в нем участия»<sup>65</sup>.

Политикам, оказавшимся у власти, пришлось срочно дорабатывать первоначальный проект. У России, а значит, и у любой российской власти не было иного пути, как продолжать линию модернизации и догоняющего развития, которая определилась еще в петровские времена. Революция могла лишь подхлестнуть это развитие. Но модернизация — и не только в России — всегда борьба: между двумя эпохами, двумя способами существования, двумя типами общества. Деятельность Петра I вполне может быть описана словами Ленина: «упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества»<sup>66</sup>. В этих словах, сказанных о диктатуре пролетариата (но пролетариат в них даже не упоминается), Ленин раскрывается как пророк модернизации, по-

<sup>65</sup> Шпенглер О. Деньги и машина. М., 1922, с. 59.

<sup>66</sup> Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. // Полн. собр. сочинений, т. 41, с. 27.

нимаемой именно как борьба. И в них же звучит: «силы и традиции старого общества» еще очень могущественны.

Усиленный революцией порыв российского общества к обновлению был мощным, но до либерального, западнического варианта модернизации «снизу» оно еще не дозрело. Оставался один путь — все тот же петровский путь модернизации с опорой на допотопные механизмы управления «сверху». Он и вышел на первый план в новом большевистском проекте. «Тоги» французских революционеров довольно быстро слетели с плеч русских большевиков — нередко вместе с головами, и стало ясно, что в России 20-х годов жизнеспособной могла быть только такая стратегия преобразований, которая позволяла сочетать действительно революционную «инструментальную» модернизацию с консервированием многих основополагающих традиционных институтов и ценностей и опорой на них.

Согласно Троцкому, разработка такого проекта была выполнена левой оппозицией в партии, Сталин же, разгромив левую оппозицию, присвоил и осуществил этот проект<sup>67</sup>. Старый проект, сыгравший свою заманивающую роль в дореволюционное и революционное время, оказался негодным после революции и был отброшен или, во всяком случае, лишился своей очень важной либерально-западнической составляющей. Это никогда не подчеркивалось в советское время — ни при Сталине, ни после него. Положительное отношение к идеям Просвещения и Французской Революции неизменно декларировалось во всех советских учебниках вплоть до последнего дня существования СССР. Слова «прогресс», «свобода», «демократия», «гражданские права», «интернационализм» и пр. никогда не исчезали с советских знамен. Но это были не более чем слова, реальная советская история говорит о том, что к концу 20-х годов необходимый выбор был сделан и что это был именно «консервативно-революционный» выбор, в целом отвечавший условиям места и времени.

<sup>67</sup> Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991. Левая оппозиция, писал Троцкий, боролась против политики Сталина, направленной на поддержку кулака и денационализацию земли. «Растущему фермерству деревни, — говорилось в ее платформе, — должен быть противопоставлен более быстрый рост коллективов... Задачей перевода мелкого производства в крупное, коллективистическое, должна быть проникнута вся работа кооперации». «Но широкая программа коллективизации упорно считалась для ближайших лет утопией. Во время подготовки XV съезда партии... Молотов... повторял: „Скатываться (!) к бедняцким иллюзиям о коллективизации широких крестьянских масс уже в настоящих условиях нельзя“. По календарю значился конец 1927 г. Так далека была в то время правящая фракция от своей собственной завтрашней политики в деревне!» (с. 27). «Те же годы (1923–28) прошли в борьбе правящей коалиции... против сторонников „сверхиндустриализации“ и планового руководства... Еще в апреле 1927 года Сталин утверждал на пленуме Центрального Комитета, что приступать к строительству Днепровской гидроэлектростанции было бы для нас то же, что для мужика покупать граммофон вместо коровы» (с. 27–28). «Сталин громил „фантастические планы“ оппозиции: индустрия не должна „забегать вперед, отрываясь от сельского хозяйства и отвлекаясь от темпа накопления в нашей стране“. Решения партии продолжали повторять те же прописи пассивного приспособления к фермерским верхам крестьянства» (с. 29).

# ГЛАВА 1

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: АВТОМОБИЛЬ НА КОННОЙ ТЯГЕ

Русская революция привела к власти большевиков, и они принялись осуществлять свою версию будущего, поначалу достаточно «западную». Выступая против средневековых пережитков, сохранившихся в российской жизни, они выглядели радикальными реформаторами, ориентированными на модернизацию в широком смысле слова. На деле же цели модернизации очень скоро оказались суженными до целей *экономической* модернизации, которая, в свою очередь, свелась к *индустриализации*. Именно индустриализация превратилась для советского государства в задачу номер один, задала ритм всем остальным экономическим и социальным преобразованиям. Но прежде всего она отозвалась на судьбе российской деревни.

### 2.1. Прусский или американский?

**С**трана была аграрной, крестьянской. Чтобы она стала индустриальной, из сельского хозяйства в промышленность должны были переместиться огромные массы людей и огромные материальные ресурсы. Такое перемещение началось задолго до революции и сознательно подталкивалось протекционистскими по отношению к промышленности мерами правительства. Оно следовало принципу «не доедим да вывезем», сформулированному министром финансов Вышнеградским еще в 80-е годы XIX века. Податная политика Российского государства создавала огромное давление на крестьян и заставляла их продавать не только излишки хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, но и значительную часть того, что было необходимо для личного и производственного потребления, и притом продавать по дешевым ценам. С начала 60-х годов до конца столетия только вывоз зерна увеличился более чем в 5 раз. В целом же на долю сельскохозяйственной продукции к концу прошлого века приходилось до 80% всей стоимости российского экспорта<sup>1</sup>. Большие доходы от сельскохозяйственного экспорта позволяли непосредственно поддерживать развитие промышленности, железнодорожного строительства и в то же время широко прибегать и ко второму источнику средств для этого развития — иностранным займам и инвестициям.

Экономическая политика правительства способствовала росту современных секторов экономики в России конца XIX – начала XX веков. Но для традиционного крестьянства она была разорительной, делала его все более зависимым от власти денег, заставляла искать «денежных», несельскохозяйственных занятий, иными словами, одноре-

<sup>1</sup> Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Том II. Капитализм. М., 1948, с. 444.

менно обеспечивала приток дешевой деревенской рабочей силы в промышленность, строительство, сферу городских услуг. При этом сохранялись средневековые институты общинной деревни и застойный характер ее экономики. Взять с нее, по бедности, можно было немного, что, конечно, сдерживало и темпы промышленного развития, а недовершенство разорявшихся крестьян все время нарастало.

Революционная и реформаторская мысль в России искала выхода из этого тупика и все больше склонялась к тому, что он лежит на путях капиталистического фермерства: они вели одновременно и к модернизации сельского хозяйства, и к выталкиванию большого числа крестьян в мир промышленных и других несельскохозяйственных занятий. Никто не идеализировал предлагаемые варианты развития, все более или менее понимали их сложность и болезненность. Выступая в Государственной думе при обсуждении Столыпинской реформы, правый депутат Марков 2-й говорил о неизбежном следствии этой реформы: часть крестьян потеряет землю и вынуждена будет уйти из деревни. Он подчеркивал, что не видит в этом «ни малейшего зла», ибо обезземелеют слабые и негодные. «И скатертью им дорога, пусть уходят, а те, кто из них сильнее, те пусть остаются. Говорят о кулаках. Что такое кулак? Это хороший деревенский хозяин, который действительно каждую копейку бережет и умеет извлекать из своего состояния больше, чем это делают растопыри, люди, которые растопыривают руки и землю теряют»<sup>2</sup>.

Примерно так же видели будущее деревни и многие российские левые. Ленин писал о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве — прусском и американском, подчеркивая прогрессивность американского пути капиталистического фермерства. Раздел помещичьих земель (в отличие от Маркова 2-го, Ленин требовал такого раздела) «должен быть разделом между фермерами, а не разделом между крестьянами-«лежебоками», из которых подавляющее большинство хозяйничает по рутине, по традиции, применительно к условиям патриархальным, а не капиталистическим... Раздел, чтобы стать прогрессивным, должен основываться на новой разборке между крестьянами-земледельцами, на разборке, отделяющей фермеров от негодного хлама»<sup>3</sup>.

Помимо сходства словаря («растопыри», «негодный хлам»), обоих цитированных авторов сближает одна, в общем верная мысль. Россия входила в новую жизнь, в которой огромному числу крестьян предстояло навсегда расстаться с землей и деревней. «Но и тут нет ничего страшного, — говорил Марков 2-й. — Слабые в хозяйственном отношении крестьяне могут оказаться сильными в других отношениях, и на других поприщах из них выйдут быть может Ломоносовы... Рабочий пролетариат... необходим для промышленности, необходим и для сельского хозяйства»<sup>4</sup>. Старые общинные порядки отслужили свое, тормозили уход крестьян из деревни и в то же время не позволяли им превратиться в независимых сельских предпринимателей и повысить эффективность сельского хозяйства. Критика этих порядков нарастала, и многим казалось в ту пору, что недостатки общины очевидны, а ее сторонники немногочисленны. «Защитниками общины, — писал Витте, — явились благонамеренные почтенные „старьевщики“, поклонники старых форм, потому что они старые, полицейские администраторы, по-

<sup>2</sup> Прения по Указу 9 ноября в Государственной Думе. СПб., 1911, с. 16.

<sup>3</sup> Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократов в первой русской революции 1905–1907 годов. // Полн. собр. сочинений, т. 16, с. 255–256.

<sup>4</sup> Прения по Указу 9 ноября..., с. 16.

лицейские пастухи, потому что считали более удобным возиться со стадами, нежели с отдельными единицами; разрушители, поддерживающие все то, что легко привести в колебание и, наконец, благонамеренные теоретики, усмотревшие в общине практическое применение последнего слова экономической доктрины — теории социализма»<sup>5</sup>.

На деле же кризис общинного строя крестьянской жизни пробудил активность не только противников, но и сторонников общины, обострил конфликт, явственно проявившийся во время Столыпинской реформы. Столыпин был последовательным противником общинного устройства. «Пока крестьянин беден, — говорил он, выступая в Государственной Думе, — пока он не обладает лично земельною собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы. (Рукоплескания в центре и справа)»<sup>6</sup>. Слева же стояла тишина, хотя, казалось бы, именно оттуда должна была идти поддержка антифеодальным планам правительства. Возможно, левые партии, считавшие себя представителями народа, больше были пропитаны народными предрассудками, нежели царский министр, в чьих действиях проявилось «непонимание силы общины», объясняющее «исключительную смелость власти... не побоявшейся... бросить вызов большинству крестьянства»<sup>7</sup>. Но, скорее всего, дело было не в «непонимании». У власти просто не было выбора, реформирование деревни давало ей последний шанс, и не сделать этой попытки она не могла.

Столыпинская реформа, начавшаяся в 1906 г., встретила двойственное отношение в обществе. «Право закрепления наделов в собственность нашло себе сразу множество сторонников. Но немало оказалось среди крестьян и противников этого права — «разбирать мирскую землю» и «обижать бедняков», — писал участник специального опроса об отношении крестьян к реформе<sup>8</sup>. Литература полна примеров сопротивления крестьян реформе, преследования ими тех, кто выделялся или хотел выделиться из общины. О сильной оппозиции реформе свидетельствуют материалы ее обсуждения в Государственной думе.

Конечно, и здесь не было недостатка в противниках общины. «Я, как крестьянин и член общины, — говорил один оратор, — знаю, что хорошо и что плохо. Я пахал в общине и проклинал ее, думая: где это правительство, которое бросило нас на произвол судьбы? ...Нельзя стеснять крестьян, когда вы дадите возможность крестьянину сбросить оковы этой общины, тогда вы сделаете из хлебопашца свободного гражданина... Если мы будем в общине, то опять все сведется на нет»<sup>9</sup>. Но у общины были и не менее красноречивые защитники, утверждавшие, что из нее «невидимыми путями истекает» все, «что есть на Руси святого, идеального, патриотического», и полагавшие, что нельзя «построить все русское государство на новом фундаменте (частной собственности) — фундаменте в высшей степени непрочном и более чем гадательном»<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Витте С. Ю. Воспоминания. Т 2. Таллинн-Москва, 1994, с. 472–473.

<sup>6</sup> Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете 1906–1911. М., 1991, с. 105.

<sup>7</sup> Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 1. Новосибирск, 1997, с. 303.

<sup>8</sup> Чернышев И. В. Община после 9 ноября 1906 г. (По анкете Вольного экономического общества). Ч. II. Пг., 1917, с. XII.

<sup>9</sup> Прения по Указу 9 ноября..., с. 25.

<sup>10</sup> Там же, с. 21.

Столыпинская реформа не была завершена. Возможно, она не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Но все же никак нельзя сказать, что она совсем не дала результатов. Реформа предоставила крестьянам право получить свои наделы в собственность и выйти из общины. С 1907 до начала 1916 г. в Европейской России такой возможностью воспользовались 2 миллиона общинных крестьянских дворов. Кроме того, еще 470 тысяч домохозяев закрепили за собой участки в так называемых «беспередельных» общинах<sup>11</sup>. Меньше чем за десять лет всего в Европейской России укрепило землю в личную собственность около 24% всех крестьянских дворов — меньшинство, но далеко не ничтожное. Когда советские исследователи оценивали этот результат как неудачу, перед их мысленным взором стояли бешеные темпы коллективизации двадцатых–тридцатых годов. Но ведь она была принудительной! А аграрная реформа начала века — добровольной. Неготовность большинства крестьян немедленно выйти из общины — налицо. Но оказался опыт четверти крестьянских дворов успешным — и у них наверняка нашлись бы последователи. Десять лет по меркам российской истории — срок очень небольшой. Столыпин просил «20 лет покоя» — и не получил их.

Сейчас можно лишь гадать, как сказался бы намеченный Столыпинской реформой поворот на общем экономическом развитии России, в частности, на ее промышленном развитии. Политические события изменили весь ход российской истории, и аграрный, и промышленный вопросы стране пришлось решать в новых условиях.

Консервативная оппозиция Столыпину справа в определенном смысле смыкалась с леворадикальной, «революционной» оппозицией, сообщая они тормозили реформу. Смысл Столыпинской реформы заключался в том, что она была нацелена на создание нового долговременного механизма самовоспроизведения и «самонастройки» сельской жизни, однотипного к тому же со всеми механизмами, регулирующими жизнь современного общества. В этом была ее глубинная революционность. Ей же противостояла поверхностная, но зато куда более эффективная революционность одноразового отчуждения и раздела помещичьих земель, которая сама по себе ничего не решала: ведь дело было не просто в количестве имевшейся у крестьян земли. Тем не менее именно идея «черного передела» владела умами, питала революционные настроения и политическую активность, оттесняя на второй план интерес к глубинным аграрным преобразованиям.

Эта идея и была реализована сразу после Октябрьской революции, когда был принят Декрет о земле, который несколько месяцев спустя получил развитие в законе «О социализации земли». В основе того и другого лежала эсеровская программа уравнительного землепользования. Частная собственность на землю отменялась, помещичьи, церковные, удельные земли конфисковывались и передавались крестьянам. «Черный передел» осуществился — и что же? В свое время Ленин делал расчеты, и у него получалось, что в результате раздела помещичьей земли 10,5 млн. беднейших крестьянских дворов со средним наделом в 7 десятин и еще миллион середняков, имеющих по 15 десятин, превратятся в 11,5 млн. дворов, владеющих 18 десятинами каждый<sup>12</sup>. «На самом деле этого не произошло. После Октябрьской революции раздел помещичьей земли по разным причинам: социальным, демографическим, политическим и иным — не дал та-

<sup>11</sup> Лященко П. И. Цит. соч., с. 266.

<sup>12</sup> Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократов в первой русской революции, с. 205.



кой прибавки. А затем в ходе резкого увеличения числа крестьянских дворов вновь возникла проблема нехватки земли<sup>13</sup>.

Но это стало ясно позднее. Пока же начался дележ земли — где по числу едоков, а где по числу работников. Во многих районах дало себя знать стремление крестьян к выделению на хутора и отруба, то есть, по существу, продолжение линии Столыпинской реформы. Правда, уже тогда явственно просматривалась и противоположная установка властей — на создание «крупных советских хозяйств». Тем не менее окончательный путь развития российской деревни еще не определился. Период с 1922 по конец 20-х годов (НЭП), наступивший после нескольких очень тяжелых для крестьян лет «военного коммунизма», стал временем ее короткого послереволюционного расцвета. Автор многотомной «Истории Советской России» Э. Карр писал, что во время НЭПа «частично преднамеренно, частично случайно крестьянин превратился в избалованное дитя пролетарской диктатуры»<sup>14</sup>. Может быть, это и слишком сильное заявление, но, во всяком случае, деревня быстро стала оживать. Во второй половине 20-х годов экономические показатели сельского хозяйства быстро приближались к довоенным, а по ряду показателей и обогнали их<sup>15</sup>. Частная собственность на землю не была восстановлена, но закон признавал самые разные виды землепользования, крестьянин свободно мог выйти с землей из общины, разрешалось сдавать землю в аренду и использовать наемный труд. Судя по всему, деревня быстро созрела для поворота к фермерству, к рыночной экономике.

Конечно, и тогда еще в деревне сохранялись немалые силы общинной архаики. Но они были основательно подорваны и самими революционными событиями и успешным развитием 20-х годов, так что если бы государство решило продолжить реформаторскую линию Столыпина, оно нашло бы в послереволюционной деревне достаточно серьезную опору в продвинутых, модернизированных и к тому же наиболее активных слоях тогдашнего сельского общества. Но оно не только не пожелало опереться на эти слои, но объявило их своим главным врагом, взяв в союзники самые отсталые, традиционалистские силы деревни.

Этот выбор не был произвольным. Он был продиктован тем, что логика «фермерского» развития деревни, достаточно близкая большевикам предреволюционной поры, вошла в непримиримое противоречие с логикой ускоренной индустриализации, возобладавшей после того, как в их руках оказалась государственная власть.

Роль сельского хозяйства как «источника накопления» для проведения индустриализации после революции даже увеличилась, ибо меньшую роль стало играть привлечение зарубежных капиталов. Прежних же механизмов перераспределения ресурсов от сельского хозяйства к промышленности не было. Рынок был беден, страна испытывала «товарный голод», промышленность была слишком слаба, чтобы вовлечь крестьян в интенсивную торговлю и изъять часть доходов сельского хозяйства через механизм цен и тем обеспечить перераспределение накоплений в интересах индустриализации. Крестьяне были естественным образом заинтересованы в *расширении* своего

<sup>13</sup> Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991, с. 93.

<sup>14</sup> Карр Э. История Советской России. Книга 1. Большевицкая революция 1917–1923. М., 1990, с. 630.

<sup>15</sup> Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1928–1929 год. М., 1929, с. 408–413.



хозяйственного и личного потребления, но у них не было никаких стимулов к *ограничению* того или другого.

В этих условиях в правящих кругах появилась идея (первоначально ее главным выразителем был представитель левой оппозиции Е. Преображенский) усилить экономическое давление на крестьянина за счет искусственного повышения цен на имевшиеся промышленные товары и понижения цен на сельскохозяйственную продукцию и таким образом насильно перекачать ресурсы из сельского хозяйства в промышленность. Возможно, перед мысленным взором сторонников Преображенского витал пример экономической политики Вышнеградского и Витте (Преображенский писал о проведении «такой политики цен, которая будет лишь другой формой налогового обложения частного хозяйства»<sup>16</sup>). Но едва ли кто-либо собирался воспроизводить ее буквально. Ведь замыслы новой власти в отношении индустриализации были очень амбициозными: она намеревалась стремительно вывести Россию в число передовых промышленных стран и доказать тем самым превосходство нового строя перед старым, который с этой задачей не справился. «Если капитализм есть движение, — писал Преображенский, — то социализм есть еще более быстрое движение. И то, что он теряет в скорости в период первоначального накопления в смысле развертывания своей технико-экономической базы, благодаря крайней бедности капиталами, — то он вынужден возмещать усилением накопления за счет несоциалистической среды. Одним из важнейших средств такого накопления... является неэквивалентный обмен ценностей с внесоциалистической средой»<sup>17</sup>.

Считается — мне кажется, без особых оснований, — что концепции Преображенского была противопоставлена гораздо более «прокрестьянская» и рыночная концепция Бухарина. Позиция Преображенского была жесткой, но честной, в ней не было обычного для официальной линии той поры лицемерия по отношению к крестьянству, которому усиленно внушалась идея «смычки» города и деревни в общих интересах. Это Бухарин и заметил прежде всего, обвинив Преображенского в том, что его позиция «угрожает блоку рабочих и крестьян..., на котором строилась и строится вся позиция ортодоксального большевизма»<sup>18</sup>.

Его собственные предложения, казалось бы, предусматривали более медленные темпы индустриализации и делали ставку на повышение зажиточности крестьянства, предъявляющего все больший спрос на промышленные товары, и на переход к социализму через борьбу на рынке и конкуренцию. Однако не были ли они просто попыткой, может быть неосознанной, с помощью словесного фейерверка нейтрализовать неблагоприятный эффект произнесенной Преображенским суровой правды? Кто из них был большим утопистом? Американский исследователь творчества Бухарина С. Коэн замечает, что «возмущенный „безумной утопией“» Преображенского, согласно которой промышленность должна была содержаться за счет эксплуатации крестьянства, он увлекался нравственными лозунгами, в то время как необходимо было трезвое размыш-

<sup>16</sup> Преображенский Е. А. Основной закон социалистического накопления. // Преображенский Е. А., Бухарин Н. И. Пути развития: дискуссии 20-х годов. Л. 1990, с. 89–90.

<sup>17</sup> Там же, с. 89.

<sup>18</sup> Бухарин Н. И. Новое откровение о советской экономике или как можно погубить рабоче-крестьянский блок (К вопросу об экономическом обосновании троцкизма). // Преображенский Е. А., Бухарин Н. И. Пути развития: дискуссии 20-х годов, с. 200.

ление... Нравственные доводы при всех их достоинствах не могли быть ответом Преображенскому. Более того, исходя из этического понимания, Бухарин предлагал невозможное: индустриализацию без тяжких лишений, то есть безболезненный путь к модернизации общества»<sup>19</sup>.

Теоретические споры заняли несколько лет, но жизнь требовала действий. В конце концов был выбран путь, внутренне родственный «безумной утопии» Преображенского, но лишенный ее рыночной окраски, а потому еще более «безумный» — путь экспроприации деревни неэкономическими методами. Он был довольно привычен для России, идеологически близок как наивно социалистическому крестьянскому сознанию, так и «научно» социалистическому сознанию партийной элиты того времени. К тому же он был опробован в недавние годы «военного коммунизма» и казался тогда весьма эффективным. Это был путь принудительной «коллективизации» сельского хозяйства.

Сталин назвал коллективизацию революционным переворотом, «равнозначным по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 года»<sup>20</sup>. Если это и была революция, то во многих отношениях близкая к той, о которой размышляли в то время немецкие «консервативные революционеры». Техническое продвижение было куплено ценой консервирования социальной архаики. Деревня была ограблена и одновременно лишилась — в ходе «раскулачивания» — своей относительно модернизированной элиты. Все, что можно было выжать из деревни, было выжато, и на ее костях была осуществлена форсированная индустриализация. Если же говорить о социально-экономических отношениях, то деревня была отброшена назад на целую историческую эпоху.

В начале века главным доводом большевиков против Столыпинской реформы было то, что она толкала российскую деревню на прусский путь, сохраняя помещичьи латифундии и консервируемые ими средневековые, полукрепостнические отношения в деревне. Но то, что реализовалось стоявшими у власти большевиками в 30-е годы, было худшим вариантом латифундистского прусского пути, его общинным аналогом, идеальным способом сохранить все, что еще оставалось живого от крепостного права. Силой государственного давления, часто прямо силой оружия деревня была возвращена в до-рыночные времена, в эпоху внеэкономического принуждения, личной зависимости, полного бесправия крестьянина.

«Колхозное крестьянство» было отрезано от рынка, торговля почти полностью заменена распределением. Центральное место в системе распределения занимали «заготовки», трактовавшиеся официальной экономической наукой как форма торговли. Сталин лицемерно писал, что «колхозы не хотят отчуждать своих продуктов иначе, как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получить нужные им товары. Других экономических связей с городом, кроме товарных, кроме обмена через куплю-продажу, в настоящее время колхозы не приемлют»<sup>21</sup>.

О том, что это была за купля-продажа, можно судить, например, по статье «Колхозная торговля» в БСЭ (1953). «При заготовках... колхозы и колхозники продают сельско-

<sup>19</sup> Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888–1938. М., 1988, с. 252–253.

<sup>20</sup> История ВКП(б). Краткий курс. М., 1950, с. 291.

<sup>21</sup> Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, с. 16.

хозяйственные продукты государственным и кооперативным организациям *по ценам, устанавливаемым государством*» (подчеркнуто нами — А. В.)<sup>22</sup>. К этому надо добавить, что и объем заготовок также устанавливался государством. Иными словами, речь идет о прямом изъятии продукта у производителя на условиях, на которые он не может влиять. Как сказано почти религиозным языком в другой статье той же энциклопедии, «государственный план заготовок является законом. И. В. Сталин учит, что выполнение обязательств перед государством, плана заготовок — первая заповедь работников социалистического сельского хозяйства»<sup>23</sup>.

Крестьянину была оставлена возможность участвовать лишь в «базарной» торговле — продавать на местных городских рынках то, что у него оставалось от нищенского распределения по трудодням или производилось в личном подсобном хозяйстве, как правило, тоже очень бедном и низкопроизводительном. Но это жалкое послабление, — в общем-то вынужденное, потому что городские «колхозные рынки», базары продолжали играть заметную роль в снабжении городского населения продовольствием, с чем государственная торговля никогда не справлялась, — не могло изменить природу установившихся экономических отношений.

Коллективизация перечеркнула достижения капиталистической эволюции российской деревни, наметившегося прорыва ее к рыночным отношениям. Важнейший сектор народного хозяйства, один из его главных столпов был возвращен в средневековое состояние. Сделавшись еще меньше, чем когда бы то ни было, хозяином своей земли и своей продукции, крестьянин лишился даже той малой возможности проявлять собственную хозяйственную инициативу, влиять на организацию производства, которая у него была в общине и которая постепенно расширялась по мере развития капитализма. Сталин — «со странным удовлетворением», как заметили позднейшие исследователи<sup>24</sup>, заявил как-то, что «теперь крестьяне требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства колхоза»<sup>25</sup>. Сбылось пророчество Столыпина, предупреждавшего, что при отказе от частной собственности на землю и ее национализации «земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, — этого никто не стал бы делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена»<sup>26</sup>.

Так и произошло. Со временем деревня получила огромное количество современной техники, и может показаться, что ее жертвы были оправданы последующей технической модернизацией. Но архаичные средства явно не соответствовали модернизаторской цели. В деревне воцарился социальный застой, разрушительные последствия которого не могла нейтрализовать никакая механизация, никакие финансовые вливания. Советское сельское хозяйство неизменно демонстрировало свою крайне низкую эффективность. Неоднократные попытки его реформировать сводились к второстепенным поправкам, не затрагивавшим созданной в годы «великого перелома» непреодолимой преграды его подлинной мо-

<sup>22</sup> БСЭ, 2-е издание, М., 1953, т. 22, с. 75.

<sup>23</sup> БСЭ, 2-е издание, М., 1952, т. 16, с. 298.

<sup>24</sup> Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? М., 1989, с. 71.

<sup>25</sup> Сталин И. В. О работе в деревне. // Сочинения, т. 13, с. 223.

<sup>26</sup> Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия... , с. 89.

дернизации, движению по «американскому», фермерскому пути, который в свое время так расхваливал Ленин. Ибо на долгие десятилетия предпочтение было отдано отечественной, колхозно-батрацкой версии столь критиковавшегося им «прусского» пути.

## 2.2. Консервативная революция в экономике

**О**днако «консервативная революция» в экономике не ограничилась одним лишь сельским хозяйством, а прусские примеры сочетания технической новизны с социальной архаикой оказались едва ли не более полезными при проведении индустриализации — главного компонента модернизаторской стратегии большевиков.

Обдумывая проект экономической системы для послереволюционной, социалистической России, Ленин писал: «...социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»<sup>27</sup> (но, заметим, не переставшая быть государственной). По Ленину, государственно-монополистический капитализм — это высшее достижение капитализма, он «есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступенек нет»<sup>28</sup>. На практике «высшее достижение» Ленин обнаруживал в Германии. «Мы имеем образец государственного капитализма в Германии. Мы знаем, что она оказалась выше нас... Государственный капитализм был бы спасением для нас; если бы мы имели в России его, тогда переход к полному социализму был бы легок»<sup>29</sup>.

С самых первых шагов советской власти она стала на путь прямых заимствований немецкого опыта<sup>30</sup> — якобы потому, что тогдашняя Германия являла собой эталон наиболее современного капитализма. Насколько была верна такая оценка? Промышленное развитие Германии после 1870 г. шло, конечно, очень быстро. Но все же это была отно-

<sup>27</sup> Ленин В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. // Полн. собр. сочинений, т. 34, с. 192.

<sup>28</sup> Там же, с. 193.

<sup>29</sup> Ленин В. И. Заседание ВЦИК 29 апреля 1918 г. Доклад об очередных задачах Советской власти. // Полн. собр. сочинений, т. 36, с. 255.

<sup>30</sup> Во время Первой мировой войны Ю. Ларин, тогда меньшевик, с 1917 г. — большевик, напечатал в разных изданиях несколько статей о государственном регулировании немецкого сельского хозяйства в военное время. В одной из них говорится о принудительных местных союзах производителей, которым Имперское продовольственное ведомство предписывало «как род, так и объем посева продовольственных и кормовых средств и подлежащего содержанию скота». Далее отмечалось, что «под этими принудительными союзами немецкая военная практика понимает полное лишение владельцев возможности по собственному усмотрению распоряжаться продуктами их хозяйства не только в смысле цен, но и в смысле направления сбыта и т. п.». В 1928 г., накануне коллективизации, эти статьи были собраны и изданы отдельным сборником. В специальной сноске автор отмечал, что описанный в статьях опыт «послужил прообразом той практики принудительного коллективного доставления „излишков“ по разверстке, какую затем мы осуществили в СССР в 1918/19 г. в интересах спасения пролетарского государства». (Ларин Ю. Государственный капитализм военного времени в Германии (1914–1918 гг.). М.-Л., 1928, с. 234.) Не лишены интереса и замечания из авторского предисловия к сборнику. «Когда... Владимир Ильич обдумывал вопрос о введении рабочей повинности, он не ограничился устным обменом мнений, но затребовал у меня некоторые печатаемые в этом сборнике статьи... Вообще предварительный учет немецкого опыта... имел место не раз» (Там же, с. 234).

сительно отсталая страна, сохранявшая немалые пережитки средневековых отношений. Как и в России, промышленность здесь сильно зависела от государственной поддержки, с ее помощью развивалась во многом «искусственно». Как отмечали современники, политика бисмарковского «государственного социализма» «с начала и до конца была протестом против индивидуализма, против принципа *Laissez-faire*»<sup>31</sup>. Эта политика проводилась вопреки довольно популярным в предбисмарковской Германии либеральным, фритредерским идеям и поддерживалась влиятельной Ассоциацией социальной политики (*Verein für Sozialpolitik*), созданной немецкими «катедер-социалистами» «с целью убедить правительство и нацию в необходимости вернуться к старой прусской политике... Она требовала поощрения и защиты государством торговли, промышленности и сельского хозяйства, поддержки государством культуры в широком смысле слова, государственного вмешательства с целью улучшения условий жизни рабочих»<sup>32</sup>. Позднее Шпенглер, писал об этих основаниях государственного социализма как о «прусской идее», о «принципе хозяйственного авторитета государства», вытекавшем из «прусского мироощущения»<sup>33</sup>. «Прусская идея управления хозяйственной жизнью с сверхличной точки зрения невольно направила германский капитализм, со времени введения покровительственных пошлин в 1879 г., в русло социализма, в смысле государственно регулируемого экономического порядка»<sup>34</sup>. Уж не эти ли старопрусские идеи воспринимались в России как последнее слово в развитии капитализма?

Впрочем, следует сказать, что подобные идеи были не только старопрусскими, но во многом и старорусскими — в духе глубоко укоренившейся петровской линии государственного покровительства развитию промышленности в сочетании со слабым интересом к такому развитию «снизу», со стороны частного предпринимательства. Развитие промышленности, торговли, банковского дела в Западной Европе поддерживалось усилиями множества предпринимателей-одиночек, их инициативой, конкурентной борьбой на рынке, возвышением или гибелью, в определенном смысле было естественным, спонтанным процессом. В России все это с давних пор находилось под опекой государства, сама идея спонтанного развития промышленности была плохо понятна. Карр, отмечая, что своим подъемом в конце XIX века русская индустрия «была обязана больше государству и банкам, чем отдельным предприимчивым промышленникам»<sup>35</sup>, цитирует слова из мемуаров Витте: «Говорят, что для развития промышленности я принимал искусственные меры. Что значит эта глупая фраза? Какими же мерами, кроме искусственных, можно развить промышленность?»<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Dawson W. H. Bismarck and state socialism. London, 1891, p. 28.

<sup>32</sup> Там же, с. 38.

<sup>33</sup> Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, б.д., с. 79.

<sup>34</sup> Там же, с. 83.

<sup>35</sup> Карр Э. Цит. соч., с. 414.

<sup>36</sup> Витте С. Ю. Цит. соч., с. 482. Впрочем, Витте очень хорошо понимал, что протекционизм — необходимая, но временная мера. Ссылаясь на Петра I, сторонника сильной государственной опеки промышленности, «понеже всем известно, что наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не приневолены будут», и видя смысл такой опеки в обеспечении экономической самостоятельности России, чтобы «ее товарообмен с другими странами не находился... в зависимости от чисто случайного обстоятельства, что она вступила на путь экономического развития по времени позже своих соседей», он постоянно подчеркивал, что с достижением этой цели «должен наступить конец самому протекционизму. Прямая логика его и заключается в самоупразднении» (Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. СПб., 1912, с. 204, 207, 215).

В Германии, как и в России, существовали объективные основания для государственного покровительства развитию промышленности — пока она не окрепла. В этом смысле между двумя странами действительно было много общего — но не потому, что они были впереди всех, а потому, что обе они были в достаточной степени отсталыми. К этой отсталости и приспособлял Ленин свою теорию, опираясь на которую он намеревался строить будущую экономику России, потому и не мог пройти мимо опыта действий в сходных условиях. Он, конечно, не был ни пруссоманом, ни поклонником Бисмарка. Немецкие образцы, более «продвинутые», чем российские, были важны для него потому, что обладали статусом реальности и помогли усилить убедительность теории. Но как могли Ленин и другие большевистские теоретики не видеть, что именно немецкий опыт ставил под сомнение их наивный социалистический хилизм?

«Капитализм побеждает в рассыпном строю, в условиях свободной конкуренции с докапиталистическими формами хозяйства. Социализм побеждает в сомкнутом строю государственного хозяйства, выступающего как единое целое, амальгамированного с политической властью, в условиях систематического ограничения и почти ликвидации свободной конкуренции»<sup>37</sup>. Как совместить это абсолютное противопоставление с постоянными ссылками все на тот же «опыт военно-государственного капитализма в Германии»<sup>38</sup>? Как можно не видеть, что, хотя Железный Канцлер был крайне неудобной для русских марксистов фигурой, и они всегда, по возможности, избегали разговоров о бисмарковском социализме, им едва ли удалось придумать что-либо принципиально новое. Конечно, они пошли намного дальше Бисмарка — но в том же направлении.

В бисмарковской Германии многие полагали, что рост экономической роли государства — естественный спутник прогресса. Как писал катедер-социалист А. Вагнер, «государство становится все более и более важным для национальной экономики и индивида... Все более значительная и важная доля коллективных потребностей цивилизованного народа, идущего по пути прогресса, удовлетворяется государством»<sup>39</sup>. Именно такая идеология была с предельной полнотой воплощена в жизнь в СССР, где государство стало единственным формальным или фактическим собственником всей производственной сферы, огромным экономическим Левиафаном.

Согласно официальной теории, это было высшим достижением исторического развития, ибо оно позволяло преодолеть главное для капитализма «противоречие между общественным характером труда и частным характером присвоения». Невинное отождествление общества с государством позволяло поклонникам советской экономической модели не замечать глубокого анахронизма найденного в СССР решения и не вспоминать немарксистских имен Бисмарка или Петра I. У этой модели одно время было немало поклонников. Но ослепление все же не было всеобщим. Наиболее проникательные наблюдатели с самого начала понимали консервативность, чтобы не сказать реакционность, огосударствления экономики. Как писал в эмиграции П. Струве, «именно по своей экономической сути большевистская революция есть самая глубокая реакция. Насильно перевернув исторические пласты, она накрыла слоем XVII столетия слои XX, XIX и даже XVIII веков... Никакие тракторы, никакая американизация, никакой атеизм не

<sup>37</sup> Преображенский Е. А. Цит. соч., с. 112.

<sup>38</sup> Там же, с. 111.

<sup>39</sup> Wagner A. Les fondements de l'économie politique. Paris, 1905–1913, t. III, p. 379.

могут скрыть того факта, что «Внешторг» — негодная и мерзкая коммунистическая подделка под торговую монополию московских царей; что принудительные заготовки зерна и «колхозы» напоминают ухудшенное издание реквизиций XVII века... Московская Русь воскресает под коммунистическими знаменами — с искаженным и измазанным лицом, без следа человеческой души и божьего духа»<sup>40</sup>.

Сейчас едва ли можно сомневаться в том, что экономическая революция, осуществленная в СССР под лозунгами «построения социализма», была «консервативной». Но могла ли она быть иной? Для того, чтобы пласты XVII или XVIII веков накрыли все последующие исторические слои, эти пласты должны были существовать в обществе и быть достаточно мощными. Именно в их существовании, в необходимости оглядываться на них и состояла, видимо, главная проблема модернизации как немецкого, так и российского обществ, равно как и причина их постоянной взаимной переклички. Промежуточные решения, компромиссы модернизма и архаики — неустранимая черта догоняющей модернизации, они были неизбежны как в России, так и в Германии. Ускоренное движение в будущее требовало здесь заигрывания с прошлым, уступок ему. «Консервативная революция» и есть такая уступка во имя модернизации. По самой своей природе она может принести только временное решение, рано или поздно подлежащее полному пересмотру.

### 2.3. Мобилизационная экономика: план против рынка

Таким временным решением и стала советская экономическая модель, проницательно предсказанная Преображенским: «ограничение или даже ликвидация свободы конкуренции, всемерное использование преимуществ государственной монополии, борьба единым комплексом государственного хозяйства, комбинация экономических средств с политическими»<sup>41</sup>. Эта модель сложилась в первые послереволюционные десятилетия и была связана прежде всего с принятой тогда стратегией индустриализации. основополагающие особенности модели — государственный монополизм и нерыночность. Все остальные ее черты были следствиями двух названных. Это относится прежде всего к плановости — главному предмету гордости конструкторов модели. Во имя «плановости», собственно говоря, и велась систематическая работа по умерщвлению рынка, выпалыванию малейших его ростков, если они где-либо пробивались, подавлению своеволия экономических субъектов.

В 1902 году при обсуждении Программы РСДРП Ленин критиковал один из пунктов предложенного Плехановым проекта Программы за требование «плановой организации общественного производительного процесса для удовлетворения нужд как всего общества, так и отдельных его членов». «Этого мало, — писал Ленин. — Этакую-то организацию, пожалуй, еще и тресты дадут. Определеннее было бы сказать „за счет всего об-

<sup>40</sup> Strouve P. L'économie communiste et la communion économique mondiale. // La Russie économique et sociale 1930. Recueil d'études et de rapports, présentés à la conférence économique russe à Paris. Paris, 1930, p. 254–255.

<sup>41</sup> Преображенский Е. А. Цит. соч., с. 113. Преображенский подчеркивал временный характер своей модели. «Мы ничего не можем сказать о том, — писал он там же, — в каких формах будет происходить вытеснение социализмом других экономических систем производства в тот период, когда социалистическое хозяйство будет иметь под собой новую техническую базу».



щества” (ибо это включает и планомерность и указывает на направителя планомерности)»<sup>42</sup>. Важна, стало быть, не планомерность сама по себе, а ее «направитель». Это очень существенное замечание, объясняющее многое из того, что произошло впоследствии.

Ни один разумный человек не станет отрицать пользы планирования как способа рациональной организации индивидуальной или коллективной деятельности. «Экономист, который по долгу своей профессии призван изучать человеческую деятельность, неразрывно связанную с планированием, не может иметь ничего против этого понятия. Но дело заключается в том, что... энтузиасты планового общества используют этот термин совсем в другом смысле... Наши адепты планирования требуют централизованного управления всей экономической деятельностью, осуществляемой по такому единому плану, где однозначно расписано, как будут „сознательно” использоваться общественные ресурсы, чтобы определенные цели достигались определенным образом»<sup>43</sup>.

И в самом деле, в советском «плановом хозяйстве» главным была вовсе не планомерность, а централизованность, наличие единственного «направителя планомерности» — государства-собственника, государства-Провидения в абсолютном смысле этого слова. Теоретически это позволяло сосредоточивать в одних руках все экономические ресурсы и жестко контролировать их использование, но на практике все было по-иному. В теории созидался полностью детерминированный экономический мир, в котором торжествовал принцип рационального планирования, на деле же очень скоро утвердился беспредельный монопольный произвол, при котором роль случайности была намного большей, чем при самой разнузданной «анархии производства». Да и как могло быть иначе? Каким мог быть механизм экономического целеполагания, если «невидимая рука» рынка, переименованная в «анархию производства», отвергалась? Этот вопрос возник у самых убежденных сторонников планового хозяйства сразу после революции, но сколько-нибудь вразумительного ответа на него никогда не было дано.

Вспомним уже упоминавшийся спор Преображенского и Бухарина в 20-е годы. Предлагая свою государственно-монополистическую модель, Преображенский, видимо, понимал или, во всяком случае, интуитивно чувствовал необходимость объективных ограничений произвола монопольной экономической политики и — не очень последовательно — оставлял место и рыночным отношениям. Он говорил о «товарно-социалистической системе хозяйства», о сосуществовании двух экономических законов — рыночного закона стоимости и «закона социалистического накопления», отмечая, что советская экономика должна быть ареной «не только борьбы, но и известного равновесия, следовательно объективно известного сожительства двух различных экономических законов. Закон социалистического накопления ограничен демократией товарного хозяйства, с присущей последнему закономерностью, линией развития и методами регулирования. Товарное хозяйство ограничено, охвачено, если хотите, сжато законом социалистического накопления»<sup>44</sup>. Видно, что Преображенский осознавал вопрос, хотя предлагавшийся им ответ едва ли можно счесть исчерпывающим.

<sup>42</sup> Ленин В. И. Замечания на второй проект программы Плеханова. // Полн. собр. сочинений, т. 6, с. 232.

<sup>43</sup> Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1992, с. 33–34.

<sup>44</sup> Преображенский Е. А. Цит. соч., с. 120.



Бухарин же не хотел видеть даже вопроса. Он очень облегченно отнесся к проблеме объективных экономических регуляторов, гарантий от произвола в экономической политике. Похоже, он вообще не чувствовал здесь проблемы. «Что же толкает наше производство вперед? Что? Где стимул, который... гарантирует это движение вперед, заменяет частнохозяйственные стимулы прибыли, идущей в пользу частного владельца предприятий? Мы утверждаем, что гарантия лежит в давлении широких масс, прежде всего рабочих, а затем и крестьянских масс... Мы сами, т. е. руководящие круги в стране, т.е. партия в первую голову, выражаем и отражаем („регулируя“, „контролируя“, „поправляя“ и т. д.) этот рост потребностей массы»<sup>45</sup>. Трудно найти в этом разъяснении что-либо, кроме поверхностного идеологизированного оправдания произвола «руководящих кругов».

Теоретические трудности, порождаемые идеей замены рынка планом, испытывали не одни лишь российские марксисты. В. Зомбарт тоже был убежден, что «в экономической жизни будущего все большее и большее значение будут приобретать... хозяйственные системы, которые так или иначе связаны с плановым хозяйством»<sup>46</sup>, ибо, по достижении зрелости, темпы развития капитализма замедлятся, потребности стабилизируются, техника достигнет высокого совершенства, лишится своей революционности, и капиталистическое предпринимательство станет ненужным. Иными словами, Зомбарт, даже и симпатизируя плановому хозяйству, не мог найти внутренне присущих ему движущих сил. Пройдя путь от марксиста до «консервативного революционера» и поборника национал-социализма, он, на свой лад, конечно, пришел к знакомой идее «руководящих кругов». «Знание целей, к достижению которых следует стремиться, наилучшим образом обеспечивается небольшим числом „лучших“ людей, образующих совет руководителя»<sup>47</sup>. Что же касается самого «руководителя», обладающего решающим голосом, то он «получает директивы... только от Бога... „Всеобщая воля“, которую должен осуществлять руководитель..., не имеет ничего общего с „волей всех“, ее не может подсказать вождю никакой плебисцит, он должен ее знать и может узнать только через откровение»<sup>48</sup>. «Научная» идея централизованного планирования приобрела, таким образом, удивительную законченность.

Недооценка вопроса о внутренних движущих силах и доведенная до абсурда идея целеполагания «сверху» обусловили, по-видимому, самые слабые стороны советской экономической модели, предопределили ее тупиковый характер. Но это было осознано не сразу. Поначалу именно на путях предельно централизованного «планового» регулирования советское общество достигло немалых промышленно-технических успехов. Это и понятно. Задуманный и осуществленный большевиками индустриализационный скачок не оставил места рыночному своеволию, множественности воли производителей и потребителей, истребления спроса и предложения. Он требовал от страны огромного напряжения сил и сосредоточения их на решении ограниченного числа задач, заранее определенных «направителем планомерности». В экономических терминах это означало, что очень большая часть произведенного должна была расходоваться на расшире-

<sup>45</sup> Бухарин Н. И. Цит. соч., с. 197–198.

<sup>46</sup> Зомбарт В. Современный капитализм. Т. 3, второй полумом. М.-Л., 1930, с. 514.

<sup>47</sup> Sombart W. Le socialisme allemand. Paris, Puisseaux, 1990, p. 235.

<sup>48</sup> Ibid., p. 234.

ние производства, в основном промышленного. Потребление же, а значит, и своеволие покупателей-потребителей надлежало предельно ограничивать. За «Центром» признавалось право распределения ресурсов и выбора направлений их расходования, а тем самым узаконивалось ограничение прав миллионов и миллионов потребителей, которые, пусть и со многими оговорками, принадлежат им в условиях рынка.

Вопрос об ограничении потребления в интересах инвестирования и даже о вмешательстве государства с этой целью не нов, он возникает не только в контексте «социалистической» экономики и в связи со стоявшими перед нею задачами. Известно, в частности, что эта проблема занимала Кейнса применительно к рыночной экономике западного типа, и он пришел к выводу о необходимости государственного вмешательства с целью ограничения потребления и стимулирования инвестиций и даже о том, что «достаточно широкая социализация инвестиций окажется единственным средством, чтобы обеспечить приближение к полной занятости»<sup>49</sup>. Если удастся несколько увеличить темпы накопления и тем приблизиться к полной занятости, говорил Кейнс, то, «по крайней мере, одна важная проблема будет решена».

Но, во-первых, «достаточно широкое» вмешательство правительства в экономику с целью «координации склонности к потреблению и побуждения инвестировать» вовсе не означало для Кейнса вытеснения децентрализованных решений централизованными, речь шла лишь о дополнительном корректирующем механизме. Кейнс был убежден, что «преимущества эффективности, вытекающие из децентрализации принятия решений и индивидуальной ответственности, возможно, даже более значительны, чем полагаги в XIX в.», а потеря возможностей личного выбора — это «величайшая из всех потерь в... тоталитарном государстве»<sup>50</sup>. Во-вторых же, Кейнс отмечал, что даже в пределах оправданного централизованного вмешательства всегда остается вопрос: «в каких размерах и какими средствами правомерно и разумно призывать нынешнее поколение к ограничению своего потребления ради того, чтобы обеспечить с течением времени достаточные инвестиции для будущих поколений?»<sup>51</sup>.

Особенностью СССР в 20-е – 30-е годы, сделавшей возможной безграничную экспансию централизованного планирования, было то, что этот вопрос не возникал: вся жизнь была проникнута идеологией жертв во имя будущих поколений. Под действием самых разных факторов — от наивной веры до грубого насилия, не убеждением, так принуждением (при относительно слабом сопротивлении), «Центр» добился того, что потребители поступились своими правами, делегировали их «плановым органам», вследствие чего в СССР была достигнута огромная централизация экономической власти. Началась эра «плановой социалистической экономики», и если бы она рассматривалась просто как временный инструмент мобилизации на период «большого скачка», против этого трудно было бы что-либо возразить. Но, наблюдая первые успехи советской индустриализации, многие поверили, что в СССР и впрямь найден механизм, альтернативный рынку и даже более эффективный, а советское пла-

<sup>49</sup> Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. // Кейнс Дж. М. Избранные произведения. М., 1993, с. 514.

<sup>50</sup> Там же, с. 515–516.

<sup>51</sup> Там же, с. 513–514.

новое хозяйство находится на более высоком этапе развития, чем рыночная экономика передовых западных стран.

Серьезных оснований для такого вывода не было и тогда. Мысль о том, что экономическую жизнь общества можно вогнать в прокрустово ложе единого технологического плана, подобно тому, как это можно сделать с отдельным предприятием или фермерским хозяйством, по-видимому, была утопична с самого начала. Практика советского планирования только и делала, что демонстрировала эту утопичность, ни один из знаменитых пятилетних планов не был выполнен<sup>52</sup>. И все же на ранних этапах индустриализации СССР, пока отраслевая и организационная структура экономики была сравнительно слабо развита, число главных связей — относительно невелико, прямое планирование производства в натуральной форме было еще возможно. Издержки подобного метода управления экономикой до поры до времени гасились выгодами централизованного накопления ресурсов и сосредоточения их на бесспорно главных по тем временам направлениях развития — на создании базовых отраслей промышленности.

Когда же эти отрасли были созданы и экономика стала быстро развиваться на своей собственной промышленной основе, вся хозяйственная система стала настолько сложной, ее внутренние связи — настолько разветвленными, что их контроль из единого центра стал практически неосуществимым. Кризис планового хозяйства стал стремительно нарастать. Уже в 70-е – 80-е годы «корабль экономики фактически потерял управление. Он продолжал плыть дальше, влекомый волнами и ветром в никому неизвестном направлении, но плановики никак не хотели в этом признаться, продолжая игру с обсуждением и принятием планов и отчетами об их выполнении или невыполнении, стараясь во что бы то ни стало сохранить хотя бы видимость централизованного управления, которого на деле уже не было»<sup>53</sup>.

Чем сложнее система, тем более развита ее внутренняя среда и тем большую роль играют вырабатываемые ею механизмы самоорганизации, оттесняя на второй план механизмы внешнего регулирования, к которым и относится централизованное планирование. Поэтому привычное утверждение, будто советской экономикой безраздельно управляли — пусть и неэффективно — центральные плановые органы и стоявшие над ними партийные и государственные структуры власти, пресловутая «командно-административная система», выглядит лишь довольно банальной констатацией очевидно, по существу же весьма неточно.

Если копнуть глубже, то открывается нечто иное. Идеология и практика всеобщего планирования и командного регулирования не могли воспрепятствовать саморазвитию рынка, они лишь придавали ему уродливый характер, порождали и усиливали теневую экономику и коррупцию. «В стране действовала не командная система, а экономика со-

<sup>52</sup> Попов В., Шмелев Н. Великий плановый эксперимент. // Погружение в трясину. М., 1991, с. 115. По оценке авторами статьи фактического прироста производства в натуральном выражении (средняя из приростов для нескольких десятков главных видов продукции), первый пятилетний план (1928–1932) был выполнен на 51% (отправной вариант) или на 41% (оптимальный вариант); второй (1933–1937) — на 70%; выполнение третьего было прервано войной; четвертый (1946–1950) выполнен — на 88%, шестой (1956–1960) — на 74, седьмой (1961–1965) — на 75, восьмой (1966–1970) — на 64, девятый (1971–1975) — на 70, десятый — (1976–1980) — на 55%.

<sup>53</sup> Там же.

гласований — сложный бюрократический рынок, построенный на обмене-торговле, осуществляемой как органами власти, так и отдельными лицами. В отличие от обычного денежного рынка товаров и услуг на бюрократическом рынке происходит обмен не только и даже, пожалуй, не столько материальными ценностями..., но и властью и подчинением, правилами и исключениями из них, положением в обществе и вообще всем тем, что имеет какую-либо ценность»<sup>54</sup>. Такой рынок контролируется монополиями, имеющими в основном неэкономическое происхождение, поэтому он, если можно так выразиться, антиэкономичен. Он враждебен всякой нормальной конкуренции, всякой экономической инициативе. Лишенное внутренних стимулов развития, оторванное от рынка производство обречено на утрату динамизма и постепенное погружение в сон. Такова внутренняя логика развития противоречивой «консервативной» мобилизационной экономической модели.

## 2.4. Из аграрной в индустриальную

Центральным звеном модернизаторской стратегии большевиков было ускоренное превращение страны из аграрной в индустриальную. Приступить к осуществлению своей стратегии они смогли только во второй половине 20-х годов, когда экономика страны стала выходить из кризиса, национальный доход начал увеличиваться, и появилась реальная возможность, ограничив рост непроизводственного потребления, направить прирост национального дохода на создание современной промышленности. К этому времени развеялись романтические иллюзии первых после-революционных лет и созрел жесткий «доработанный» проект действий, который и стал осуществляться с конца 20-х годов. С 1928 по 1931 г. национальный доход в неизменных ценах увеличился в полтора раза, а непроизводственное потребление — всего на 7%, тогда как реальное накопление (прирост запасов и фондов) увеличилось в 3,7 раза. Доля реального накопления в национальном доходе выросла с 14,4 до 36%, а доля непроизводственного потребления упала с 83 до 60%<sup>55</sup>. Так был задан ритм перекачивания ресурсов от потребления к накоплению, который сохранялся долгие годы. Понятно и откуда шло это перекачивание, по крайней мере, первое время, в период «первоначального социалистического накопления». Перед революцией больше половины национального дохода страны создавалось в сельском хозяйстве, и даже к концу 20-х годов его вклад в национальный доход был близок к 50%. Естественно, что деревня и стала главным «источником накопления» для нужд индустриализации, а ее коллективизация создала постоянно действующий и весьма надежный механизм перераспределения средств из сельского хозяйства в промышленность. Позднее постоянное ограничение доли непроизводственного потребления в национальном доходе, иными словами, поддержание дешевизны рабочей силы, обеспечило регулярный источник ресурсов для экстенсивного экономического, опять-таки прежде всего промышленного, развития. Так что однажды ограбленные, пережившие коллективизацию и ушедшие в город крестьяне, их дети и внуки теперь систематически ограблялись уже в качестве промышленных рабочих, вообще работников городских отраслей труда.

<sup>54</sup> Найшуль В. Высшая и последняя стадия социализма. // Погружение в трясину. М., 1991, с. 31.

<sup>55</sup> Вайнштейн Альб. Народный доход России и СССР. История. Методология исчисления. Динамика. М., 1969, с. 98, 102.

Во всех рассуждениях советских поборников индустриализации с самого начала преобладали утопические технократические нотки, а в действиях главное место отводилось материально-техническим инновациям, социальные же нововведения воспринимались как нечто вторичное, автоматически вырастающее из «материально-технических основ». Широкую известность получили, например, слова Ленина о том, что коммунизм — это Советская власть (она уже была) плюс электрификация всей страны<sup>56</sup>. Он был убежден, что если «дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами..., то средний крестьянин сказал бы: „Я за коммунию (т. е. за коммунизм)“»<sup>57</sup>. Десятилетиями рост промышленного производства, его отдельных видов служил главным мерилom общественного прогресса, показателем экономических и политических успехов. В 1946 г., после окончания войны Сталин определял главные экономические задачи страны в тех же «натуральных» терминах: 50 млн. тонн чугуна, 60 млн. тонн стали, 500 млн. тонн угля и т. д.<sup>58</sup>. Логика натурального планирования не была поколеблена и после смерти Сталина. Выступая с докладом по случаю сорокалетия Октябрьской революции, Хрущев снова обозначал цели страны на следующие 15 лет: 100–120 млн. тонн стали, 650–750 млн. тонн угля, 350–400 млн. тонн нефти и т. д.<sup>59</sup>

Если оставаться в рамках подобной натурально-технической постановки задач индустриализации, то они действительно во многом были решены в чрезвычайно короткие сроки. Считается, что только с 1929 до середины 1941 г. в стране было построено 9 тысяч крупных промышленных предприятий<sup>60</sup>. Уже в 1933 г., подводя итоги одного только первого пятилетнего плана (1929–1932), Сталин говорил: «У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь...» Далее таким же образом называются химическая, авиационная промышленность, производство сельскохозяйственных машин<sup>61</sup>. Это монотонное перечисление было необыкновенно знаменито в свое время, постоянно цитировалось, для целых поколений звучало как музыка.

Судить о подлинных успехах советской промышленности не так просто, они, конечно, преувеличивались советской статистикой, а попытки западных, а позднее и советских (российских) экспертов оценить истинный промышленный рост СССР наталкивались и наталкиваются до сих пор на ограниченность или отсутствие информации. Поэтому их оценки также не могут считаться надежными, а лишь указывают на приблизительный масштаб возможных корректировок.

Такие оценки, как правило, ниже официальных, хотя и они не отрицают значительного промышленного роста. В 30-е годы очень быстро росла индустриальная мощь Япо-

<sup>56</sup> Ленин В. И. VIII Всероссийский съезд советов. Доклад о деятельности Совета народных комиссаров. // Полн. собр. сочинений, т. 42, с. 158.

<sup>57</sup> Ленин В. И. VIII съезд РКП(б). Доклад о работе в деревне. // Полн. собр. сочинений, т. 38, с. 204.

<sup>58</sup> Сталин И. В. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы. М., 1946, с. 21.

<sup>59</sup> «Правда», 7 ноября 1957 г.

<sup>60</sup> Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 33.

<sup>61</sup> Сталин И. В. Итоги первой пятилетки. // Соч., т. 13. М., 1955, с. 178.

нии, в 1931–1940 гг. объем промышленного производства здесь увеличивался ежегодно на 8,9%<sup>62</sup>. Это намного меньше, чем в СССР по официальным данным (18,1% за 1928–1937 и 14,6% за 1928–1940 гг.). Но даже если воспользоваться значительно скорректированными оценками (они колеблются в пределах от 9 до 16% роста за 1928–1937 гг. и от 8 до 14% за 1928–1940 гг.<sup>63</sup>), советский промышленный рост в этот период нередко оказывается более быстрым, чем японский. Правда, если взять весь период между началом Первой и Второй мировых войн, то, по темпам роста промышленности, СССР, видимо, уступал Японии, но все же значительно опережал основные западные страны (табл. 2.1).

**Таблица 2.1. Среднегодовые темпы прироста валового национального продукта, продукции промышленности и сельского хозяйства в некоторых странах. 1913–1938 гг., в %**

	Россия	США	Великобритания	Германия	Франция	Италия	Япония
<b>Валовой национальный продукт</b>	2,7-4,7*	2,0	1,1	1,6	0,9	1,7	4,0
<b>То же на душу населения</b>	1,9-3,8*	0,8	0,7	1,1	0,8	1,0	2,7
<b>Продукция:</b>							
<b>Промышленности</b>	4,0-6,8*	1,7	1,7	1,6	0,4	2,0	7,1
<b>Сельского хозяйства</b>	1,0	1,1	0,9	0,0	н.д.	н.д.	1,2

\* По разным оценкам.

**Источник:** *The modernization of Japan and Russia, p. 194–195.*

Сходным образом менялись и макроэкономические показатели, отражавшие развитие всей экономики (а не только промышленности): валовой национальный продукт, национальный доход, валовой внутренний продукт<sup>64</sup>. «Тридцатые годы» были очень неоднородными. Внутри них явственно выделяются три подпериода: 1928–1932, 1933–1937 и 1938–1941 гг.<sup>65</sup> Безусловно успешным был только второй из них, и к

<sup>62</sup> The modernization of Japan and Russia. A Comparative Study. Ed. by Cyril E. Black. NY, 1975, p. 166.

<sup>63</sup> См., в частности, сводки оценок, приведенные в кн.: *Davies R.W., Harrison M., Wheatcroft S.G. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945*, Cambridge, 1994, p. 292; Европа и Россия. Опыт экономических преобразований. М., 1996, с. 104.

<sup>64</sup> Валовой внутренний продукт (gross domestic product) в западной статистике (а теперь и в российской) заменяет показатель национального дохода, которым обычно пользовалась советская статистика. Он отличается от национального дохода на величину затрат на амортизацию основных фондов и сальдо внешней торговли, которые не включаются в национальный доход.

<sup>65</sup> См., в частности: *Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР*. Новосибирск, 1991, с. 175.

1937 г. обозначились успехи СССР на фоне всех крупных промышленных стран. Отставание не исчезло, но стало меньшим, чем когда-либо в прошлом, по отношению же к Японии снова появилось опережение. Конец тридцатых годов был разочаровывающим (табл. 2.2), но в СССР об этом мало кто знал.

**Таблица 2.2. Валовой внутренний продукт на душу населения в Российской империи и СССР по отношению к некоторым другим промышленно развитым странам. 1913–1940 гг.**

Страна	1913	1928	1932	1937	1940
США	0,24	0,19	0,27	0,32	0,29
Великобритания	0,30	0,29	0,31	0,40	0,36
Франция	0,45	0,35	0,41	0,77	0,53
Германия	0,46	0,39	0,49	0,53	0,45
Италия	0,58	0,51	0,53	0,73	0,70
Япония	1,13	0,78	0,82	1,08	0,87

*Источник: Davies R.W., Harrison M., Wheatcroft S.G. The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945, p. 270.*

Тем не менее тридцатые годы были временем промышленного рывка, который невозможно отрицать и который создал основу для превращения СССР в мощную индустриальную державу. Никакие уточнения статистических оценок не могут опровергнуть того факта, что в считанные годы в отсталой аграрной стране были созданы важнейшие отрасли современной промышленности, она ощутила, наконец, свои индустриальные мускулы и продолжала их наращивать. По объему производства главных продуктов тяжелой промышленности она очень быстро вошла в число крупнейших индустриальных держав мира. Согласно официальной статистике, с 1928 по 1955 г. производство электроэнергии увеличилось в 34 раза, с 1928 по 1985 — в 308 раз. Рост производства стали составил соответственно 11 и 36 раз, нефти — 6 и 51 раза, минеральных удобрений — 88 и почти 1300, цемента — 12 и 71, металлорежущих станков — 59 и 109, автомобилей — 529 и 2670 раз и т. д. В середине 80-х годов СССР входил, нередко занимая первое место, в тройку крупнейших мировых производителей электроэнергии, нефти, природного газа, угля, железной руды, чугуна, стали, алюминия, золота, цинка, урана, минеральных удобрений, серной кислоты, цемента и т. д. Созданное в 30-е годы машиностроение выдержало испытание войной, советское оружие с успехом противостояло высококачественной немецкой военной технике. И десятилетия спустя на долю СССР приходилось свыше четверти мирового экспорта вооружения, что, конечно, тоже свидетельствует о немалом промышленном потенциале. Страна первой в мире вышла в космос, обладала огромной военной мощью, владела новейшими ядерными технологиями.



За пять–шесть десятилетий в корне изменились важнейшие макроэкономические пропорции (табл. 2.3). Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась с 75–80 до 20%, а доля занятых в промышленности и строительстве выросла с 9 до 38%. Это само по себе говорит об изменении типа экономики, так же, как и падение вклада в национальный доход сельского хозяйства с 54 до 19% и рост вклада промышленности и строительства с 29 до 56%. Нет сомнения, что промышленная революция в СССР в целом осталась позади.

**Таблица 2.3. Доля населения, занятого в основных отраслях народного хозяйства, и их вклад в национальный доход Российской империи и СССР. 1913–1985 гг., в %.**

<i>Отрасли народного хозяйства</i>	<i>1913</i>	<i>1928</i>	<i>1950</i>	<i>1985</i>
<b>Доля занятого населения</b>				
<b>Промышленность и строительство</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>38</b>
<b>Сельское хозяйство</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>20</b>
<b>Прочие отрасли</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
<b>Вклад в национальный доход</b>				
<b>Промышленность и строительство</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>56</b>
<b>Сельское хозяйство</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
<b>Прочие отрасли</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>25</b>

*Источники: Труд в СССР. Статистический сборник. М., 1988, с. 14; Вайнштейн Альб. Народный доход России и СССР, с. 68, 96; Народное хозяйство СССР в 1989 году. М., 1990, с. 12.*

Но это не значит, что модернизация советской экономики была завершена. Создать более или менее совершенный материально-технический аппарат современной индустриальной экономики — это полдела. Вторая же половина — вдохнуть в него жизнь, «встроить» механизмы саморазвития. На Западе такие механизмы складывались постепенно, вместе с самой промышленностью, тогда как в СССР индустриализация была «искусственной», основанной на заимствовании готовых технологий и некоторых организационных форм. Мобилизационная модель ранней советской экономики сделала возможным такое заимствование в очень короткие сроки, но она же привела к подавлению рыночных механизмов, порождающих стимулы к развитию. В логике ее функционирования воспроизводились, разумеется в измененном виде, средневековые принципы вертикальной иерархии, натурального хозяйства, личной зависимости и т. п. Поэтому она довольно быстро исчерпала свои возможности. В какой-то момент следовало начать переход к «нормальной» экономике децентрализованных



решений и товарно-денежных отношений. Этот момент был упущен. Более того, «мобилизационная модель» зажила собственной жизнью и стала диктовать свои условия, все менее связанные со стоявшими перед страной задачами. Советская экономика оказалась в тяжелом кризисе.

## 2.5. Кризис советской экономической системы

**У**ловить момент перехода от болезненного, лихорадочного но все-таки стремительного подъема периода форсированной индустриализации к застою и кризису не просто, возможно, такого момента и не было, а просто первое мало-помалу превращалось во второе, чтобы затем перерасти в экономическую агонию.

### **Структурные пороки**

Мифология «планового хозяйства» всегда противопоставляла его «анархии производства». Смысл этого понятия не вполне ясен. Его естественно трактовать как неограниченную свободу производителя делать то, что он хочет, но такой свободы при рыночной экономике не существует: любой производитель обязан учитывать потребительский спрос, а это — достаточно жесткое ограничение. Если оно и может быть смягчено, то именно в экономике советского типа, где производитель и потребитель на большей части экономического поля соединяются в одном лице — а именно в лице государства. Но при этом ограничивается не анархия производства, а *анархия потребления* всех остальных, негосударственных потребителей, то есть попросту свобода их выбора. Массовый потребитель в СССР оказался отстраненным от участия в формировании макроэкономических пропорций, а это привело к подавлению обратных связей в экономической системе и в конце концов превратило ее в слепого гиганта, способного двигаться только по подсказке оказавшихся поблизости зрячих. Их роль выполняли западные экономики, с которыми приходилось все время «соревноваться», то есть сравнивать себя с ними и, по возможности, подправлять движение. Но больших успехов такой способ прокладывания курса принести не мог.

Ареной принятия экономических решений был уже упоминавшийся монополизированный «бюрократический рынок». Естественно, что это не ослабляло, а усиливало анархию производства: чем больше монополизма, тем больше произвола. Конечно, на деле решения принимались не абсолютно произвольно. Действовала своя шкала ценностей и приоритетов, соответствовавшая логике жизнедеятельности системы и сложившаяся еще в период «социалистической индустриализации». Формирование отраслевых пропорций было подчинено чему-то вроде общепризнанной, не подлежащей обсуждению иерархии целей. Если говорить о ней в деталях, то она была подвижной и переменчивой, во многом случайной. Но некоторые принципы оставались неизменными, и прежде всего принцип первенства накопления перед потреблением. Экономика была искусственно разделена на два сектора, разгороженных жесткой непроницаемой переборкой. В секторе потребления существовала некая видимость рынка, денежное обращение, нечто, подобное игре спроса и предложения, хотя все это проявлялось в ис-

каженном виде. Твердые низкие цены на товары и услуги, которых не было, наводили на мысль об улыбке Чеширского кота. Наличие или отсутствие спроса на тот или иной товар практически не влияло на инвестиции в его производство. Но все же платежеспособный спрос потребителей был ограничен, что требовало от них экономически рационального поведения.

В сфере накопления таких ограничений не было, здесь действовала другая логика, которую едва ли можно назвать экономически или, во всяком случае, рыночно рациональной. Поведение субъектов, принимающих хозяйственные решения, было обусловлено «внутренним побуждением к расширению производства, сопровождающимся неутолимим, постоянно существующим инвестиционным голодом... Если где-нибудь появляется некоторый ресурс, пригодный для инвестиций, или возник какой-то резерв, спрос на капиталовложения немедленно отсасывает их. Спрос этот почти неудовлетворим, так как бюджетное ограничение на капиталовложения мягкое»<sup>66</sup> (в отличие от «жестких» ограничений в сфере потребления). Поскольку решение об инвестициях принимали не сами инвесторы, а более высокие инстанции и они же несли ответственность за финансирование, стандартным ответом инвесторов на такую ситуацию было неизменное стремление ко все новым и новым капиталовложениям. При этом, как замечает Корнаи, «спрос на капиталовложения не лимитирован боязнью убытков или краха. Это логически следует из того, что претенденты получают капиталовложения как подарок»<sup>67</sup>.

Такой механизм не побуждал экономить капиталовложения, а, напротив, подталкивал к их расходованию, оправдываемому экстенсивным расширением объема продукции; на техническое перевооружение и реконструкцию действующего производственного аппарата расходовалось менее 1/3 капиталовложений<sup>68</sup>. Все это способствовало росту или, во всяком случае, поддержанию на очень высоком уровне доли накопления в валовом национальном продукте (ВНП) или используемом национальном доходе. Уже в 30-е годы в СССР была достигнута норма накопления, невиданная в западных странах в период их индустриализации. В 1918–1937 гг. она составляла здесь 25% ВНП (в Великобритании в середине XIX в. — 13%, в США в 1870–1890 гг. — 20%, в Германии в конце XIX в. — 20%, в Италии в начале XX — 15%)<sup>69</sup>. В 1950 г. доля накопления в национальном доходе СССР равнялась 24%, в 1960 г. — 27, в 1970 г. — 29,5, в 1980 г. — 24, в 1985 г. — 26%. Если же учесть искусственно заниженные цены на средства производства, военную продукцию и жилищное строительство — главные составляющие фонда накопления, то она приближалась к 40%<sup>70</sup>. В конце 80-х годов в СССР начали исчислять общепринятый в мировой практике показатель валового национального продукта. По официальным данным, валовое накопление в 1989 г. составило 32% ВНП (в ФРГ — 27%, во Франции — 22, в Великобритании — 17, в США — 14%)<sup>71</sup>.

<sup>66</sup> Корнаи Я. Дефицит. М., 1990, с. 569.

<sup>67</sup> Там же, с. 213.

<sup>68</sup> Европа и Россия, с. 145.

<sup>69</sup> Seurot F. Les causes économiques de la fin de l'Empire soviétique. Paris, 1996, p. 77.

<sup>70</sup> Европа и Россия, с. 68.

<sup>71</sup> Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. М., 1991, с. 668.

К этому следует добавить, что при использовании фонда накопления в СССР преимущество всегда отдавалось «первому подразделению», то есть производству средств производства, которое в своем росте должно было — по официальной теории — опережать рост производства предметов потребления (а услуг для этой теории вообще не существовало). На его долю приходилось свыше 70% всей промышленной продукции. Внутри же «первого подразделения» четыре пятых приходилось на производство «предметов труда», то есть прежде всего сырья и материалов<sup>72</sup>. Со времен форсированной индустриализации в СССР существовал культ «тяжелой промышленности», которая некогда была символом экономической самостоятельности страны. Но в структуре тяжелой промышленности очень большое место занимали добывающие отрасли и отрасли, производящие промежуточное сырье, а также вооружение, что, как это ни парадоксально, все чаще говорило как раз о растущей зависимости советской экономики от «Запада» — от экспорта сырья, с одной стороны, и импорта продовольствия и промышленной продукции — с другой.

Эта зависимость все время возрастала, поддержание минимального технического уровня собственной промышленности и удовлетворение насущных нужд населения требовали постоянного наращивания импорта (табл. 2.4). Только с 1970 по 1985 г. стоимость импортируемых машин и оборудования выросла почти в 7 раз, а их доля в оборудовании, связанном с реализацией капиталовложений, увеличилась с 13 до 37%<sup>73</sup>. В 1985 г. на долю машин, оборудования и транспортных средств пришлось 37% всего советского импорта (и менее 14% экспорта), на долю продовольствия — еще 21% (табл. 2.5). Страна вынуждена была ввезти свыше 44 млн. т зерна, что покрывало свыше 20% его потребления<sup>74</sup>.

**Таблица 2.4. Зависимость советской экономики от импорта в 1970–1985 гг.**

	1970	1975	1980	1985
<b>Импорт машин и оборудования, млрд. руб.</b>	3,4	8,1	14,2	22,8
<b>Доля импорта в оборудовании в капвложениях, %</b>	13,4	21,0	30,4	36,6
<b>Импорт потребительских товаров, млрд. руб.</b>	14,2	22,9	33,6	48,5
<b>Доля импорта в товарообороте, %</b>	9,1	10,9	12,4	15,0

*Источник: Белоусов А. Структурный кризис советской индустриальной системы, с. 29.*

Для того, чтобы много ввозить, надо много вывозить, на это и была направлена значительная часть советской промышленной мощи, обслуживавшей, в конечном счете, превращение страны в «сырьевой придаток» Западу. В том же 1985 г. главнейшими статьями экспорта были топливно-энергетические ресурсы, а также руды, металлы, химические удобрения, лесоматериалы. В обмен на машины и хлеб ушло 20% произведенной в стране неф-

<sup>72</sup> Там же, с. 353.

<sup>73</sup> Белоусов А. Структурный кризис советской индустриальной системы. // Иное. Т. 1. М., 1995, с. 29.

<sup>74</sup> Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 653, 657.

ти, 11% газа, 14% железной и хромовой руды, 11% марганцевой, 31% калийных удобрений, 24% хлопка и т. д.<sup>75</sup> По некоторым оценкам, до 20% советского экспорта приходилось на долю вывоза оружия<sup>76</sup>, хотя этот вид экспорта часто был рассчитан на получение скорее политических, нежели экономических выгод. Огромная масса оружия, поставлявшаяся в кредит «дружественным» странам Третьего мира, никогда не была ими оплачена.

Впрочем сами по себе объемы вывоза еще не раскрывают всей картины. Скажем, для того, чтобы вывезти нефть или газ, недостаточно их произвести, надо еще обеспечить их транспортировку на многие тысячи километров, а для этого «тяжелая промышленность» должна производить огромное количество металла — не случайно СССР превосходил США по производству чугуна и стали. Он был крупнейшим в мире производителем стальных труб (и еще ввозил их: в 1985 г. более 21% его потребности в трубах были покрыты за счет импорта)<sup>77</sup>. Экспортные отрасли нуждались не только в металле, в частности, они были крупными потребителями электроэнергии — как непосредственными, так и опосредованными — как крупные клиенты той же металлургии. Экспортируя энергетические ресурсы и нуждаясь в энергии, необходимо было найти ее новые источники, каковыми и стали атомные электростанции. Развитие атомной энергетики было, по-видимому, неизбежным, но ее ускоренный рост в 70-е – 80-е годы в СССР носил характер создания еще одного дорогостоящего анклава высоких технологий, обслуживающего экономику, в целом ориентированную на экстенсивные факторы. Существование таких анклавов указывает на противоречия, свойственные структуре советской экономики, но не опровергает общего вывода о ее вторичности и зависимости.

Таблица 2.5. Структура экспорта и импорта. СССР, 1985 г., в %

Статьи экспорта и импорта	Все страны		Капиталистические страны	
	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт
Машины, оборудование и транспортные средства	13,9	37,1	9,8	31,4
Топливо, оборудование, руда, металлы и изделия из них, химические продукты, удобрения, каучук, лесоматериалы, целлюлозно-бумажные изделия, текстильное сырье и полуфабрикаты	68,4	21,6	69,8	33,2
Продовольственные товары и сырье для их производства	1,5	21,1	1,2	20,9
Промышленные товары народного потребления	2,0	12,6	1,5	9,5
Прочие товары	14,2	7,6	17,7	5,0

*Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 году, с. 659–660.*

<sup>75</sup> Там же, с. 651, 659.

<sup>76</sup> Акимов С. Следует ли нам экспортировать оружие? Вопросы экономики, 1991, 4–6, с. 71.

<sup>77</sup> Народное хозяйство СССР в 1990 году, с. 657.

Макроструктурные характеристики советской экономики всегда указывали на то, что, несмотря на огромные абсолютные объемы промышленного производства, СССР не входил в число экономических лидеров XX века. Если сравнить СССР с его главным конкурентом — США, то между ними обнаруживаются громадные структурные различия. В 1985 г. в СССР вклад промышленности и строительства в валовой национальный продукт составлял 45%, в США — 31%. На долю сельского хозяйства в СССР приходилось 17%, в США — всего 2%. Зато участие в создании валового продукта транспорта, связи, торговли и сферы услуг в СССР ограничивалось 38%, в США же на их долю приходилось 67%<sup>78</sup>. Примерно таким же было и соотношение долей занятых в третичном секторе экономики. В 80-е годы по доле занятых в сельском хозяйстве (20%) СССР не мог равняться ни со США (3%), ни с Германией — ФРГ (5%), ни с Францией (7%), по этому показателю он был близок к таким странам, как Испания, Португалия или Ирландия. Что же касается доли занятых в промышленности, то здесь у него было больше сходства с развитыми странами, но, при гораздо более высокой доле занятых в сельском хозяйстве, это неизбежно означало неразвитость сферы услуг.

Структурные различия с экономически развитыми странами сами по себе отнюдь не свидетельствовали о кризисе и легко могли быть объяснены более поздней индустриализацией СССР. Если что и должно было насторожить внимательных наблюдателей, то чрезвычайно вялая динамика сложившейся структуры в 70-е – 80-е годы. Например, доля занятых в промышленности практически не менялась с 1970 года. Очень медленно росла доля занятых в сфере услуг. Это совершенно не соответствовало тому, что происходило в это время на Западе, и вело к увеличению структурных различий с западной экономикой, но советское народное хозяйство, как загнипнотизированное, продолжало двигаться в прежнем, все более терявшем смысл направлении.

### **Бремя милитаризма**

Одной из ключевых особенностей эволюции советской экономической структуры было ее постоянное сползание в сторону все большей милитаризации. Может показаться, что это было следствием международной обстановки или, по крайней мере, ее интерпретации официальными политиками и идеологами. На деле же раздутое военное производство в СССР — прежде всего порождение мобилизационной безрыночной или квазирыночной экономики и в то же время ее главная опора, а милитаризация экономики — одна из ее родовых черт.

После Второй мировой войны СССР, как и другие воевавшие страны, вошел в новый этап экономической модернизации, и, возможно, это породило некоторые реформаторские иллюзии, надежды на появление механизмов, рационализирующих поведение экономических субъектов. Но, по существу, он ничего не изменил в природе системы, ибо не поставил под сомнение ни сам принцип централизованно принимаемых макроэкономи-

<sup>78</sup> Народное хозяйство СССР в 1989 году, с. 675. Интересно отметить, что официальные данные ЦСУ оказались близки к выполненным ранее оценкам ЦРУ США. По этим оценкам, в 1982 г. вклад промышленности и строительства в ВВП СССР составлял 41,4%, а со скрытой частью военного производства — 43,4%; вклад сельского хозяйства — 20,2%, транспорта, связи, торговли и услуг — 35,8%. По альтернативной оценке Стайнберга, соответственно: 47,3; 18,4 и 25,2%. (Steinberg D. The Soviet economy, 1970–1990: a statistical analysis. San Francisco, 1990, p. 189).

ческих решений, ни дух «мобилизационной модели», задававший экономические приоритеты. Даже если и согласиться с тем, что в это время обозначились две конкурирующие между собой экономические ориентации: потребительская и милитаризационная<sup>79</sup>, — то следует признать, что шансы конкурентов с самого начала были неравными.

На протяжении всех послевоенных десятилетий главным официальным приоритетом страны, которой никто не угрожал, оставалась оборона, и это определяло общую направленность всех ее экономических усилий. Насколько можно судить по различным публиковавшимся оценкам, на долю «оборонного комплекса» СССР в 80-е годы приходилось 20–25% валового национального продукта<sup>80</sup> (против 6,5% в США). Третья часть всех занятых в добывающих и обрабатывающих отраслях работала непосредственно на военные нужды<sup>81</sup>. Свыше 60% продукции машиностроения составляли товары военного назначения, на военные цели шло 75% всех ассигнований на науку<sup>82</sup>. В конце 80-х годов потенциал ВПК превосходил потенциал гражданского машиностроения в 2–3 раза, а расходы на исследования и опытно-конструкторские работы в военном секторе были в 5–7 раз выше, чем в гражданском<sup>83</sup>. За 70-е – 80-е годы страна израсходовала на вооружение сверх необходимого 700 миллиардов рублей<sup>84</sup>, при том, что по официальным данным произведенный национальный доход составлял (в текущих ценах) в 1970 г. 290 миллиардов рублей, в 1980 — 579, в 1990 г. — 701 миллиард. По оценке Д. Стайнберга, при росте ВВП за 1970–1985 гг. на 28%, его часть, используемая на военные нужды, увеличилась на 44%, тогда как часть, идущая на потребление, выросла всего на 22%, а в расчете на душу населения — всего на 7%<sup>85</sup>. В конце 80-х годов СССР значительно опережал любую страну мира, включая США, по количеству произведенных танков и другой бронетехники, артиллерийских орудий, многих типов ракет, военных самолетов и вертолетов, боевых кораблей, подводных лодок и т. д.<sup>86</sup>. Военное производство превратилось в важную экспортную отрасль, на долю вывоза оружия приходилось, как уже упоминалось, до 20% всего советского экспорта.

Конечно, милитаризация экономики может иметь и имеет самые разные причины, но, по-видимому, не следует недооценивать глубинную, внутреннюю связь между военной экономикой и государственным социализмом. Эта связь была подмечена давно. Как писал еще накануне Первой мировой войны некий американец, наблюдавший тогдашнее экономическое развитие Германии, «наши прадеды и деды, некоторые из них, читали либо обсуждали эксперименты Сен-Симона, Фурье, Роберта Оуэна, Мориса и Кингсли или Брук Фарм и несомненно верили, что заря XX века извлечет некоторый бальзам из этих теорий для исцеления наших социальных ран. Они бы с удивлением протерли глаза, случись им проснуться в 1912 г. ... Они были бы озадачены тем, что нация, которая

<sup>79</sup> Белоусов А. Цит. соч., с. 18.

<sup>80</sup> Спеклер М., Ожегов А., Малыгин В. Конверсия оборонных предприятий: выбор стратегии. Вопросы экономики, 1991, 2, с. 13.

<sup>81</sup> Салихов Б. Экономический механизм эффективной конверсии. Вопросы экономики, 1991, 2, с. 22.

<sup>82</sup> Там же.

<sup>83</sup> Белоусов А. Цит. соч., с. 26.

<sup>84</sup> Там же.

<sup>85</sup> Steinberg D. Op. cit., p. 226–227.

<sup>86</sup> Seurot F. Op. cit., p. 31.

дальше всех продвинулась в применении теории государственного социализма, имеет самую большую армию, самые высокие налоги и второй по мощности флот»<sup>87</sup>.

В условиях централизованной экономики военное производство наиболее функционально. В отличие от гражданского, оно не нуждается в рынке как в месте непрерывного диалога производителя с потребителем, в самом платежеспособном потребителе, в росте массового потребления. Оно имеет дело с централизованным спросом, который, напротив, тем больше, чем большая часть дохода в той или иной форме изымается государством у граждан, ограничивая их экономическое своеволие. Инвестиционный цикл в военном производстве не зависит от потребительского спроса и отличается поэтому большой устойчивостью, его легко планировать. ВПК живет и развивается в обособленном, замкнутом мире, экономический государственный Левиафан сожительства в нем сам с собой. Если бы вся экономика могла быть только военной, централизованное планирование не имело бы соперников, оно лучше всего чувствует себя в казарме.

Система предпочтений советской экономики сложилась в эпоху ускоренной индустриализации. Но требования индустриализации способны оправдывать подавление «анархии потребления» лишь временно. По мере создания базовых отраслей промышленности, основных элементов индустриальной инфраструктуры, убедительность призывов жертвовать экономическим настоящим во имя будущего ослабевала. А непрерывный рост военного производства мог опираться уже не на временную логику «большого скачка», а на постоянную логику «осажденной крепости». Это позволяло бесконечно долго сохранять экономическую монополию центра, расходовать огромную долю валового внутреннего продукта на накопление, консервировать низкий уровень потребления и дешезвизну рабочей силы. Правдами и неправдами достигалось широкое общественное согласие по поводу необходимости особой военной мощи страны — для победы ли над врагом, для поддержания ли мира; пользуясь этим согласием, военное производство на протяжении нескольких мирных десятилетий поглощало огромную долю национальных ресурсов и непрерывно разрасталось.

Именно в согласованности внутренних механизмов военной экономики, государственного монополизма и казарменного тоталитаризма и заключался секрет долгожительства советской мобилизационной модели модернизации. Но у нее было и свое слабое место. Лишенная обратных связей и диктующая свои приоритеты милитаризованная экономика не знает внутренних пределов экспансии. Она разрастается, как раковая опухоль, поглощает все больше и больше ресурсов и останавливается только перед внешней границей: полным исчерпанием экономических возможностей общества. Это и произошло в СССР. Военная экономика разорила страну, но отнюдь не укрепила ее обороноспособность. СССР обладал мощными видами оружия массового поражения, но был абсолютно не готов к войне экономически: в спокойное мирное время его жители испытывали постоянную нехватку элементарных продуктов питания, товаров повседневного пользования, медикаментов, включая простейшие перевязочные материалы. Милитаризация экономики посадила на голодный паек не только непроизводственное потребление и сферу услуг, но и гражданские отрасли производства, невоенные научные исследования и даже, как ни парадоксально это звучит, саму армию. Она преврати-

<sup>87</sup> *Collier P. Germany and Germans from an American point of view. NY, 1914, p. 591–592.*



лась в главный источник структурных деформаций, а в конечном счете — и экономического кризиса, к какому едва ли способен был привести страну самый большой разгул рыночной стихии.

### **Техническое отставание**

В 1939 г., на волне успехов индустриализации, Сталин утверждал, правда, видимо, и тогда с большой долей преувеличения, что «с точки зрения техники производства, с точки зрения объема насыщенности промышленного производства новой техникой, наша промышленность стоит на первом месте в мире»<sup>88</sup>. При этом не упоминалось, что одним из важных источников технического прогресса в годы первых пятилеток, особенно в начале 30-х годов, было заимствование западных технологий и использование западных специалистов. Жесткая экономическая политика советского руководства в период индустриализации сделала возможными крупные инвестиции в ключевые отрасли промышленности. Но одного этого было недостаточно. Э. Сюттон, автор трехтомного исследования о роли западных технологий в экономическом развитии СССР с 1917 по 1965 г., ссылается на американские данные, согласно которым прирост продукции обрабатывающей промышленности США с 1919 по 1955 г. в расчете на человеко-час на 90% был обеспечен совершенствованием технологии и только на 10% — ростом инвестиций<sup>89</sup>. Не удивительно, что заимствование новейших технологий играло очень важную роль в развитии советской экономики. Вначале об этом много писали в СССР, но начиная с 1932 г. вся информация о научно-техническом сотрудничестве с Западом стала подвергаться цензуре, и такое заимствование превратилось в один из секретов режима. Разумеется, это был секрет только от собственных граждан, потому что на Западе заключающиеся с СССР контракты, как правило, становились достоянием гласности.

Техническая помощь Запада сыграла очень важную роль в становлении советской промышленности. Между 1929 и 1940 гг. в СССР было ввезено 300000 высококачественных станков, нередко закупалось полностью оборудование целых огромных заводов<sup>90</sup>. По некоторым оценкам, более четверти нового оборудования, введенного в эксплуатацию с 1928 по 1941 г., было импортировано<sup>91</sup>. Американские, немецкие и другие западные инженеры участвовали в проектировании и строительстве важнейших промышленных объектов 30-х годов. Как отмечает Сюттон, строившиеся тогда заводы, по общему мнению, использовали самую передовую технологию того времени и часто были самыми большими в мире. Это подчеркивалось советской пропагандой, но было бы неразумно, с ее точки зрения, говорить, например, о том, что крупнейший в мире Магнитогорский металлургический комбинат был просто увеличенной копией металлургического завода в Гэри в штате Индиана<sup>92</sup>. Основная масса импорта технологий (до 80%) пришлось на первую пятилетку, впоследствии сотрудничество с Западом стало свора-

<sup>88</sup> Сталин И. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). Вопросы ленинизма. М., 1952, с. 616.

<sup>89</sup> Sutton A. Western technology and Soviet economic development, 1917 to 1930. Stanford, 1968, p. 3.

<sup>90</sup> Sutton A. Western technology and Soviet economic development, 1945 to 1965. Stanford, 1973, p. 413.

<sup>91</sup> Seurat F. Les causes économiques de la fin de l'Empire soviétique. Paris, 1996, p. 103.

<sup>92</sup> Sutton A. Western technology and Soviet economic development, 1930 to 1945. Stanford, 1971, p. 341, 343.



чиваться, и к концу 30-х годов это, возможно, привело к замедлению технического прогресса<sup>93</sup>.

Война нанесла огромный ущерб только что созданной советской промышленности, но период послевоенного восстановления во всех пострадавших от войны странах открыл возможности кардинального обновления производственного аппарата. К тому же в конце и после войны СССР получил по ленд-лизу и связанным с ним программам американского промышленного оборудования на 1,25 млрд. долларов. Кроме того, в СССР поступило — в порядке репараций или в качестве трофеев — огромное количество западной техники из Германии и других воевавших на ее стороне государств, а также из Манчжурии. Вклад всех этих источников в послевоенное развитие советской экономики в СССР постоянно преуменьшался или замалчивался. Еще Н. Вознесенский подчеркивал, что нанесенный войной ущерб «в ничтожной мере покрывается за счет перемещения, в порядке репарации из Германии в СССР, промышленного оборудования. Стоимость этого оборудования составляет всего 0,6% от размера только «прямых потерь имущества» СССР в период Отечественной войны»<sup>94</sup>. При переиздании книги Вознесенского в 1979 г. этого показалось недостаточным, и редакция добавила свое примечание: «Репарации имели кратковременный характер и вскоре после окончания войны были отменены»<sup>95</sup>.

Между тем, по оценке, сделанной Г. Ханиным на основе официальных советских данных, общий объем немецких репараций (4,3 млрд. долларов в ценах 1938 г.<sup>96</sup>) во внутренних ценах составил 86 млрд. рублей, в том числе промышленного оборудования на 70 млрд. рублей, тогда как капитальные вложения в промышленность в четвертой пятилетке составили 136 млрд. рублей (примерно 40% этой суммы, или 66 млрд., — затраты на машины и оборудование). «Таким образом, — утверждает Ханин, — репарационные платежи Германии полностью покрывали потребности промышленности СССР в оборудовании в четвертой пятилетке», а частично «использовались также в комплектовании оборудованием промышленности в период пятой пятилетки»<sup>97</sup>. Об этом же пишет и Сюттон. В СССР было передано примерно две трети немецкой авиационной и электротехнической промышленности, большая часть ракетостроения, автомобильные, станкостроительные, военные и другие заводы и т.д.<sup>98</sup>. По утверждению Сюттона, утраченные во время войны производственные мощности были более чем возмещены поставками по ленд-лизу и репарациями и к тому же замещены оборудованием, произведенным на 10–15 лет позже, чем утраченное<sup>99</sup>.

Казалось бы, к началу 50-х годов можно было ожидать растущего вклада технического прогресса в развитие советской экономики, тем более, что к тому времени в стра-

<sup>93</sup> Ibid., p. 342. См. также: Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР, с. 182.

<sup>94</sup> Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948, с. 163–164.

<sup>95</sup> Вознесенский Н. Избранные произведения 1931–1947. М., 1979, с. 585.

<sup>96</sup> Сюттон говорит о 10 млрд. долл. (Sutton A. Western technology ..., 1945 to 1965, p. 14, 16).

<sup>97</sup> Ханин Г. И. Цит. соч., с. 265.

<sup>98</sup> Sutton A. Western technology..., 1945 to 1965, p. 414.

<sup>99</sup> Sutton A. Western technology ..., 1930 to 1945, p. 346.

не были созданы мощные научные и конструкторские центры, способные самостоятельно решать сложные технические задачи, была налажена массовая подготовка квалифицированных технических кадров, собственный потенциал технического прогресса быстро нарастал. Однако Сюттон, разграничивая науку и технологию, изобретение и его внедрение, то есть реальное нововведение в промышленной технологии, утверждает, что за весь исследованный им период в Советском Союзе не было внедрено ни одного фундаментального промышленного нововведения отечественного происхождения<sup>100</sup>. Разумеется, можно поставить этот вывод под сомнение, увидеть в нем намеренное преуменьшение советских экономических и технических достижений, навеянное общим духом времен «холодной войны». Но сам факт трудностей, которые постоянно возникали на пути технического прогресса в СССР и обрекали его на постоянное отставание от Запада, отрицать невозможно.

Громкие жалобы на такое отставание прозвучали уже вскоре после смерти Сталина из уст тогдашнего главы правительства Н. Булганина. «Создаваемые нашими машиностроителями многие образцы машин и оборудования по своим техническим характеристикам отстают от лучших образцов, выпускаемых за границей»; «некоторые заводы выпускают станки устаревших конструкций»; «работники автомобильной и тракторной промышленности должны в короткие сроки ликвидировать свое отставание в области техники»; «отставание в автоматизации производственных процессов»; «технология изготовления приборов нередко отсталая»; «техническая отсталость ткацкого производства»; «почему Министерство машиностроения и приборостроения питает столь сильную привязанность к отсталой технике?» и т. д.<sup>101</sup>.

Все последующие десятилетия прошли под знаком безуспешных попыток преодолеть нараставшее отставание. К концу 50-х годов в СССР снова усилился интерес к импорту технологий. Например, в 1959–1963 гг. на Западе было закуплено целиком 50 химических заводов<sup>102</sup>. В тех же отраслях, где передача новых технологий ограничивалась западной стороной из военно-стратегических соображений (например, электроника), отставание стало особенно явным. Советские станки, автомобили, сельскохозяйственное или бытовое оборудование, вычислительная техника — ничто не выдерживало, как правило, сравнения с американскими, западноевропейскими или японскими образцами, было неконкурентоспособно на мировом рынке. В советском экспорте преобладали сырье и промышленные полуфабрикаты или относительно простые машины и оборудование, вывозившиеся, по большей части, в слаборазвитые районы мира. Даже превосходство отраслей, считавшихся передовыми, вызывало все большие сомнения. Американцы, принявшие космический вызов СССР, очень скоро достигли большего: вскоре после появления на Луне советского управляемого аппарата они доставили на нее космонавтов. Видимо, не слишком велики были успехи и в области чисто военной техники. По оценкам западных экспертов, в 80-е годы СССР отставал от США по 17 видам вооружения, лидировал же только по пяти (среди них химическое и бактериологическое оружие)<sup>103</sup>.

<sup>100</sup> Sutton A. Western technology..., 1945 to 1965, p. XXV.

<sup>101</sup> Булганин Н. А. О задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу и улучшению организации производства. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 4 июля 1955 г. М., 1955.

<sup>102</sup> Sutton A. Western technology..., 1945 to 1965, p. 415.

<sup>103</sup> Фальцман В. Кризис Союза и будущее экономики России. Вопросы экономики, 1991, 4–6, с. 24.

Серьезность проблемы нового экономического и технического отставания была осознана не сразу и далеко не в полной мере. Видимо, правды об экономике страны до конца не знал никто — ни рядовые ее граждане, ни высшие руководители. В этом смысле любопытны высказывания А. Сахарова, относящиеся к концу 60-х годов. Пытаясь противостоять иллюзиям «небывалых успехов» советской экономики, он, в частности, писал, что если СССР и догоняет западные страны по некоторым традиционным отраслям экономики, теряющим свое определяющее значение, то в значительной мере благодаря «эффекту лыжни», гонки за лидером. В более же новых отраслях (производство средств автоматики, вычислительных машин и пр.), а также в научных исследованиях он отмечал не только отставание, но и меньшие темпы роста, что «исключает возможность полной победы нашей экономики в ближайшие десятилетия»<sup>104</sup>. Тем не менее даже Сахаров полагал тогда, что «в вопросе обеспечения высшей производительности общественного труда, и в развитии производительных сил, и в вопросе обеспечения высокого уровня жизни большей части населения капитализм и социализм „сыграли вничью“»<sup>105</sup>. На самом же деле до ничьей было далеко, рост советской экономики шел в основном за счет экстенсивных факторов, тогда как «производительность общественного труда» почти не росла. Если за 1966–1970 гг. она выросла на 33%, то за 1971–1975 — на 21, за 1976–1980, как и за 1981–1985 гг., — всего на 14%<sup>106</sup>. По одной из оценок, выполненных на Западе, в 1983 г. производительность труда в СССР составляла 72% итальянской, 60% японской, 51% французской, 46% западногерманской и 38% американской<sup>107</sup>.

### **Ограничение потребления**

В дореволюционной России, как во всякой аграрной стране, к тому же экспортировавшей продовольствие, уровень потребления большей части населения был низким, потребности — неразвитыми. Периодически, в неурожайные годы, огромные районы переживали вспышки катастрофического голода. Качество жилищ, благоустройство населенных мест, бытовой комфорт, потребление непродовольственных товаров — все было на крайне низком уровне. Годы революций и войн, коллективизации и индустриализации, связанных с ними массовых миграций, конечно, не принесли существенных перемен. Поэтому даже минимальные городские удобства и вообще городской тип потребления, которые становились доступными все большей части населения СССР после Второй мировой войны, воспринимались как признаки начавшегося роста благосостояния. Такой рост и в самом деле имел место, и, по-видимому, можно говорить даже о качественном скачке, о своеобразной революции в первичных потребностях и потреблении. У этой революции были свои движущие силы, ибо она была неотъемлемой частью всей советской экономической революции. Но были и свои жесткие ограничения, которые предписывались самой природой мобилизационной экономики: рост благосостояния большинства населения не мог выйти за

<sup>104</sup> Сахаров А. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе.// Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 1990, с. 37.

<sup>105</sup> Там же.

<sup>106</sup> Аганбегян А. Советская экономика — взгляд в будущее. М., 1988, с. 109,125.

<sup>107</sup> Schroeder G. The system versus progress; Soviet economic problems. London, 1986, p. 35.

границы минимального, функционально необходимого, а на практике он едва ли достигал даже этой границы.

В 1985 г., согласно американским оценкам, валовой национальный продукт в расчете на душу населения СССР составлял 8,4 тысяч долларов, тогда как в таких странах, как США, ФРГ, Япония, он находился на уровне 18–20 тыс. При этом в СССР доля ВВП, идущая на потребление, была намного ниже, чем в западных странах. В конце 80-х годов (1989) на конечное потребление домашних хозяйств в СССР расходовалось 48% валового национального продукта (в США — 66%, при том что абсолютная величина ВВП на душу населения в США была в 2,3 раза выше, чем в СССР)<sup>108</sup>. Возможно, что на самом деле домашним хозяйствам доставалось даже меньше. По признанию М. Горбачева, в СССР только 6–8% производственных фондов работало на «товары народного потребления»<sup>109</sup>.

В результате уровень потребления в СССР оставался очень низким. В свое время ЦРУ США подготовило специальный доклад об уровне потребления в СССР в середине 70-х годов. Позднее доклад был проанализирован бывшим советским экономистом И. Бирманом, который предложил свои поправки. Согласно выводам ЦРУ, душевое потребление в СССР в 1976 г. составляло 34,4% от душевого потребления в США, по оценке Бирмана эта величина находилась между 22,4 и 28,4% (минимальная и максимальная оценки). Душевое потребление продуктов питания составляло 53,7% американского уровня (по Бирману, 43,8%), товаров длительного пользования 13,3% (10,9–12,1%), услуг, получаемых домохозяйствами, — 17,8% (13,8–15,3%), услуг системы образования — 76,7% (84,7–93,7%), системы здравоохранения — 33,4% (39,1–51,3%)<sup>110</sup>. Комментируя эти оценки, Г. Ханин писал: «Пересчет И. Бирмана, как он сам отмечает, „все еще приукрашивает действительное состояние“, и я бы добавил, весьма заметно»<sup>111</sup>. Сам же Бирман обращал внимание на то, что, если принять оценки ЦРУ, намного более «приукрашивавшие» уровень советского потребления, то даже этот завышенный уровень примерно соответствовал официальному уровню бедности в США — черте, за которой в 1976 г. находилось около 12% американского населения<sup>112</sup>. В последующие годы уровень жизни в СССР не только не рос, но, видимо, даже снижался. Среднегодовые темпы роста реальных доходов населения падали на протяжении всего послевоенного периода: 6,5% — в пятидесятые годы, 4,7% — в шестидесятые, 3,4% — во второй половине семидесятых, 1,8% — в первой половине восьмидесятых. Но, согласно оценкам, учитывающим скрытый рост цен, последние две цифры превращаются в 2,9% и –0,9%; иными словами, в первой половине восьмидесятых годов реальные доходы снижались<sup>113</sup>.

К этому надо добавить нараставшую бедность потребительского рынка. В начале 80-х годов, после нескольких десятилетий мирной жизни, в СССР стали все больше

<sup>108</sup> Народное хозяйство СССР в 1990 году, с. 668; Statistical Abstract of the United States 1991. Washington, 1991, p. 841.

<sup>109</sup> «Известия», 25 марта 1991 г.

<sup>110</sup> *Birman I.* Personal consumption in the USSR and the USA. N.Y., 1989, p. 155.

<sup>111</sup> Ханин Г. Советский экономический рост: анализ западных оценок. Новосибирск, 1993, с. 126.

<sup>112</sup> *Birman I.* Op. cit., p. 30–32.

<sup>113</sup> Белоусов А. Цит. соч., с. 17.

распространяться всеохватывающий товарный дефицит, типичное для военного времени рacionamento потребления продовольственных и даже части непродовольственных товаров. Постоянная нехватка товаров и неразвитость сферы услуг сочетались с очень высоким уровнем занятости в «общественном производстве»: она была почти всеобщей, причем занятость женщин в основных трудоспособных возрастах практически не отличалась от занятости мужчин. Ничего подобного не встречалось нигде в мире. В результате каждый «трудящийся» и особенно каждая «трудящаяся» должны были за пределами официального рабочего дня заниматься постоянным самообслуживанием, в частности, тратить огромное количество «свободного» времени на решение повседневных бытовых вопросов, «доставание» дефицитных товаров, отстоявание в бесконечных очередях, которые стали едва ли не самым ярким символом советского быта. Механизмы мобилизационной экономики неумолимо выжимали из «трудящихся» все соки, любые экономические затруднения отзывались, в первую очередь, на уровне и качестве жизни, которые, по стандартам промышленно развитых стран второй половины XX века, оставались в СССР весьма низкими.

Разумеется, население не оставалось совершенно пассивным перед лицом постоянных экономических ограничений, навязываемых системой, и, как могло, сопротивлялось им. Но при господстве централизованной экономики такое сопротивление неизбежно порождало уродливые «теневые» экономические формы, разраставшуюся коррупцию, что лишь еще больше усугубляло кризисное состояние системы.

### **Погружение в сон**

В последние десятилетия существования СССР лишенная внутренних побуждений к росту советская экономика с нарастающей скоростью деградировала, все показатели неизменно ухудшались. Как отмечал Ханин, к концу 80-х годов в советской экономической литературе было общепризнано, что «период 1961–1985 гг. характеризовался непрерывным падением темпов экономического развития»<sup>114</sup>, однако измерить степень этого падения непросто. И советским, и зарубежным специалистам всегда приходилось судить об экономике СССР, используя крайне неполную, а часто и намеренно искаженную информацию. Поэтому все имеющиеся оценки зависят от метода реконструкции реальной картины, различаются между собой и дают лишь приблизительное представление о том, что происходило на самом деле.

И тем не менее они не оставляют места для принципиальных разночтений. Все оценки, включая и официальные оценки ЦСУ СССР, указывают на быстрое ухудшение экономических показателей, разница заключается лишь в степени этого ухудшения. В частности, по всем оценкам, непрерывно падали темпы роста национального дохода и валового национального продукта (табл. 2.6). То же происходило и с темпами роста производственных ресурсов — капиталовложений (рост на 44% в 1971–1975 гг. и всего на 17% в 1981–1985), основных фондов (соответственно 52 и 37%), продукции добывающей промышленности (25 и 8%), занятости (6 и 2%). Фондоотдача и эффективность капиталовложений падали, по крайней мере, со второй половины 60-х годов<sup>115</sup>.

<sup>114</sup> Ханин Г. Советский экономический рост..., с. 191.

<sup>115</sup> Аганбегян А. Цит. соч., с. 109, 125.

Преимущество в темпах экономического роста, которым СССР некогда обладал, быстро испарялось. По расчетам Ф. Серо, национальный доход СССР в расчете на душу населения за период с 1913 по 1989 г. вырос в 4,6 раза, то есть больше, чем в США (3,8 раза) или Великобритании (3,3 раза). Но Франция (рост национального дохода в 5,1 раза), Германия (5,4), Италия (6,2) и особенно Япония (13,6 раза) значительно опережали СССР<sup>116</sup>. Соответственно перестал уменьшаться и даже начал увеличиваться разрыв между СССР и странами с рыночной экономикой. Если верить Ж. Соколову, советский ВВП в расчете на душу населения в 1950 г. составлял 28% американского. До середины 70-х годов это соотношение улучшалось и достигло 42%, после чего оно снова начало ухудшаться и к 1985 г. опустилось до 38%<sup>117</sup>.

**Таблица 2.6. Среднегодовые темпы прироста национального дохода и ВВП по разным оценкам, СССР, 1951–1985 гг., в %.**

Автор оценки	1951-1955	1956-1960	1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985
<b>Национальный доход</b>							
ЦСУ СССР	11,3	9,4	6,3	7,8	5,6	4,4	3,2
Ханин/Селюнин	9,3	9,3	4,4	4,1	3,2	1,0	0,6
<b>Валовой национальный продукт</b>							
ЦСУ СССР	-	-	-	-	-	4,8	3,7
ЦРУ США							
первоначальная оценка	5,5	5,9	5,0	5,2	3,7	2,7	-
пересмотренная оценка	-	-	-	4,9	3,0	1,9	1,8
Д. Стайнберг	-	-	-	4,8	2,1	1,6	1,0
Ж. Соколов	4,8	4,2	3,9	4,2	2,9	1,7	1,6
М. Харрисон	4,8	3,5	3,7	3,9	2,4	0,9	1,6

*Источники: Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 8; Европа и Россия. Опыт экономических преобразований, с. 104; Steinberg D. The Soviet Economy, 1970–1990, p. 182; Sokoloff G. La puissance pauvre, p. 787–790; Harrison M. Accounting for war: Soviet production, employment and the defence burden, 1940–1945. Cambridge, 1996, p. 298.*

<sup>116</sup> Seurot F. Op. cit., p. 47.

<sup>117</sup> Sokoloff G. La puissance pauvre. Une histoire de la Russie de 1815 à nos jours. Paris, 1993, p. 787–790.

## 2.6. К новой экономической модели

**Н**ельзя сказать, что руководство страны совсем не замечало неблагоприятий в экономическом развитии и не пыталось их преодолеть. Немалые усилия были предприняты уже Хрущевым. Здесь и использование чисто экстенсивных факторов, как в случае с освоением целинных земель в Казахстане, и структурно-технологические сдвиги в разных отраслях экономики (например, кампания по насаждению кукурузы в сельском хозяйстве или переход к индустриальным методам в строительстве), и попытки изменения системы организации и управления экономикой путем создания совнархозов. В некоторых действиях Хрущева просматривается стремление, может быть интуитивное, сломать жесткую управленческую вертикаль, ничем не ограниченную монополию центра, противопоставить ему множество принимающих решения относительно самостоятельных субъектов. Важно и то, что во времена Хрущева получил признание, правда, больше на словах, чем на деле, принцип экономической заинтересованности работника — он подчеркивался как противовес сталинскому принципу «голового энтузиазма». Постепенно из признания этого принципа выросли идеи более глубокой экономической реформы (они связывались с именем харьковского экономиста Е. Либермана), которую в середине 60-х годов, уже после ухода Хрущева, попытался осуществить тогдашний глава правительства Косыгин. Замысел реформы предполагал значительное расширение действия рыночных регуляторов, экономической самостоятельности хозяйственных единиц, и если бы реформа действительно осуществилась, страна сделала бы очень существенный шаг по пути перехода к нормальной современной экономике.

Этого, однако, не произошло. Реформа захлебнулась, натолкнувшись на сопротивление системы и не получив серьезной политической поддержки, а система приобрела еще большую жесткость, стала демонстрировать свое неприятие любых реформ. С этого времени началась откровенная экономическая деградация. Попытки воздействовать на экономику прежними методами становились все менее эффективными, потому что кончалось время, отпущенное мобилизационной модели экономического развития и сопутствовавшему ей централизованному планированию. По мере того как советская экономика по своим структурным и материально-техническим параметрам сближалась с экономикой западного типа, она все меньше нуждалась в искусственных государственно-монополистических подпорках, которые превращались в помеху. Кризис приобретал системный характер, но осознание этого факта с трудом давалось советской политической и экономической элите.

Иллюстрацией тогдашнего положения может служить эпизод с «Комиссией Кириллина», созданной в 1979 г. по указанию высшего руководства страны и подготовившей секретный доклад об ухудшении экономического положения СССР. В докладе отмечались экстенсивный характер экономики, падение темпов роста производительности труда, низкие уровень и качество жизни, сильное отставание по важнейшим показателям от экономически развитых стран. Хотя высокопоставленные авторы доклада опирались на официальную статистику, которая приукрашивала положение, доклад, видимо, давал представление о его серьезности и был «интересен... как до-



кументальное подтверждение: высшие руководители страны прекрасно знали, что экономика на краю пропасти и нужен крутой поворот»<sup>118</sup>. Поворота, однако, не произошло, доклад не имел последствий и остался неизвестен общественному мнению. Более того, он вызвал критику даже в том узком кругу, который был с ним знаком. В частности, в замечаниях Н. Байбакова, председателя Госплана СССР (он тоже был членом комиссии Кириллина), главным недостатком доклада был назван чрезмерный интерес к опыту США и Японии и говорилось, что «это отрицательно сказалось на предлагаемых в докладе мероприятиях, которые во многих случаях исходят из опыта капиталистической системы и не могут принести пользы в условиях социалистического способа производства»<sup>119</sup>.

На официальный уровень полупризнание кризиса вышло только при Горбачеве. Говоря о положении в стране, которое «сложилось к 80-м годам и сделало перестройку необходимой и неизбежной», он заявил: «В своем анализе мы прежде всего столкнулись с торможением роста экономики... Страна, прежде энергично догонявшая наиболее развитые страны мира, начала явно сдавать одну позицию за другой»<sup>120</sup>. Для официального партийного лидера середины 80-х годов — это довольно смелое заявление. Но, по существу, перед нами — не более, чем очередной плач об отставании, сопровождавшийся все той же верой в достаточность одних технологических изменений плюс всемогущество Советской власти. «В настоящее время мы особенно ощущаем..., что именно благодаря социалистической системе и плановой экономике нам гораздо легче осуществлять поворот в нашей структурной политике, чем в условиях частного предпринимательства...»<sup>121</sup>. Но как раз система-то и не годилась. Это стало ясно очень скоро.

В обстановке горбачевской гласности понадобилось очень немного времени, чтобы от робких полупризнаний серьезного экономического неблагополучия прийти к пониманию общего кризиса системы централизованного планирования. Сыграв свою роль в стремительном превращении аграрной экономики бывшего СССР в промышленную, она постепенно исчерпала свои возможности и превратилась в тормоз развития, что потребовало демонтажа системы, начавшегося — явно с опозданием — в конце 80-х годов. Ее предстояло глубоко реформировать, постепенно перевести страну из чрезвычайного режима экономического скачка в режим нормального развития. Только после проведения реформ созданный в чрезвычайных условиях производственный аппарат мог обрести второе дыхание, а экономическая революция в СССР или в странах — его преемниках — завершиться.

<sup>118</sup> Лацис О. Неуслышанное предупреждение. «Известия», 27 августа 1993 г.

<sup>119</sup> Там же.

<sup>120</sup> Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988, с. 13. Как жаловался Горбачев, даже занимая очень высокий пост, он не имел доступа ко всей экономической информации. Еще в 1983 г., тогдашний Генеральный секретарь Андропов «не разрешил ему и двум секретарям ЦК, занимающимся экономическими вопросами, ознакомиться ни с бюджетными проказателями, ни с данными о военных расходах. Советские лидеры не могли справиться с бюджетной проблемой, потому что ничего о ней не знали. Они сами себя обманывали, из всего делаая тайну». (Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М., 1996, с. 69).

<sup>121</sup> Там же, с. 33.



В свое время, в 20-е годы, доработка «проекта будущего», с которым большевики подошли к революции, потребовала нескольких лет уже после того, как они пришли к власти. У людей же, начавших демонтаж системы во второй половине 80-х годов и продолживших его в 90-е, вообще не было никакого проекта, да и не могло его быть, потому что всякая работа над такого рода проектами до начала «перестройки» была запретной. Были, конечно, не считавшиеся с официальными запретами диссиденты, но их энергия почти целиком уходила на критику сущего. Так что «проект» пришлось на скорую руку набрасывать тут же, в ходе его реализации, — и тут же непрерывно изменять и уточнять его.

Огромной стране предстояло совершить крутой поворот от одной экономической модели к другой. Реформы должны были глубоко затронуть отраслевую структуру народного хозяйства, отношения собственности, главные механизмы управления экономикой, основные экономические институты, они никак не обещали быть легкими. Не имея четкого плана действий и сложившихся социальных сил, кровно заинтересованных в его проведении в жизнь, страна была обречена на серию проб и ошибок, без которых невозможно почувствовать истинную меру сопротивления системы, понять его смысл, его объективную природу.

Никакие реформы не способны сходу преодолеть инерцию сложившихся за многие годы экономических отношений, воплотившихся в материальной структуре народного хозяйства: в соотношениях производства, потребления и накопления, первичного, вторичного и третичного секторов, мирного и военного производства и т. д. Структурные особенности экономики могут затруднить демонтаж всей системы, даже когда общество готово с ней расстаться. Чтобы избавиться от них в ходе реформ, «экономическое тело» должно подвергнуться сложнейшей хирургической операции. Надо разорвать замкнутое кольцо автономного военно-промышленного комплекса и подсоединить его, так сказать, на общих основаниях к единой кровеносной системе всего становящегося рыночным народного хозяйства. При этом огромная часть факторов производства, прежде всего труда и капитала, должна переместиться из отраслей, производящих вооружение и работающих на них, в отрасли, обслуживающие рынок потребительских товаров и услуг.

Если бы факторы производства обладали абсолютной мобильностью, включение механизмов рынка сделало бы их перераспределение в соответствии с новой системой предпочтений относительно простым делом, хотя и в этом случае легкость перемен не следует переоценивать. Сами рыночные предпочтения складываются постепенно, тоже путем проб и ошибок, и таким же путем определяются допустимые в данный момент границы чисто рыночного регулирования. Все это требует времени, отсюда и необходимость переходного периода даже и при идеальном течении реформ.

А ведь жизнь весьма далека от идеала. Говорить об абсолютной мобильности факторов производства не приходится даже теоретически. Они связаны, скованы существующей технологической, а в бывшем СССР — даже и географической структурой производства. Ее изменение невозможно без глубокой реконструкции всего производ-

ственного аппарата, а это требует огромных капиталовложений, намного больших, чем при рутинном развитии, идущем из года в год по заведенному канону. Набирающий силу рынок предъявляет все больший спрос на потребительские товары, орудия и средства производства, которые народное хозяйство не производит или производит в недостаточном количестве. Этот спрос частично покрывается за счет дорогостоящего импорта, частично остается непокрытым (спрос превышает предложение) — и то и другое вносит свой вклад в рост цен и инфляцию. Отрасли с низкой капиталоемкостью, например производство услуг, еще как-то могут развиваться в этих условиях, приспосабливаясь к рынку, особенно если они используют преимущества дарового труда на малых — семейных, кооперативных и т. п. предприятиях. Но предпосылки для подъема эффективных капиталоемких производств, отвечающих требованиям рынка, создаются лишь постепенно в ходе чего-то, похожего на повторное первоначальное накопление капитала. Одновременно часть капитала, материализованного в отраслях, не представляющих интереса для рынка, обесценивается, превращаясь при этом в тяжелый груз для обновляющейся экономики. Но нередко именно эти отрасли, группирующиеся вокруг ВПК с его издавна привилегированным положением, огромными технико-экономическими возможностями и довольно высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, защищены от давления новых обстоятельств значительно лучше, чем отрасли, производящие мирную продукцию, которые и испытывают часто наибольшие трудности. Переструктурирование экономики может, стало быть, тормозиться самими рыночными механизмами.

Трудности переходного периода усиливаются социальными напряжениями. Растут цены, инфляция и структурная безработица — следствие ограниченной профессионально-квалификационной или территориальной подвижности рабочей силы. Рушится вся прежняя система государственного патернализма. Значительные слои населения оказываются жертвами перемен, их уровень жизни падает. Трудности накапливаются, шок перемен создает обстановку кризиса, порождает настроения безысходности, недовольства реформами, сама ценностная основа которых в корне противоречит столь долго культивировавшимся и глубоко укоренившимся в массовом сознании «социалистическим» принципам.

Неодобрительное отношение к частной собственности и к рынку, с самого начала свойственное советской экономической политике, во многом было унаследовано от прошлого. Настоящий рынок пришел в Россию намного позднее, чем в Западную Европу, и даже в начале XX века был здесь развит недостаточно. Ленин не зря говорил о «медвежьем незнании условий и требований рынка»<sup>122</sup> в русской деревне. Деревня была настроена антирыночно, эти настроения проникали и в другие слои общества, тогда как контрволияние той части деревни, которая уже «раскрестьянилась» и успела оценить не только недостатки, но и достоинства товарно-денежных отношений, было пока невелико. Антирыночная, антисобственническая идеология в России уходила корнями в давние народные представления. По словам Бердяева, «западные понятия о собственности были чужды русскому народу, эти понятия были слабы даже у дворян. Земля Божья, и все трудящиеся, обрабатывающие землю, могут ею пользоваться. Наивный аграр-

<sup>122</sup> Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократов в первой русской революции, с. 266.

ный социализм всегда был присущ русским крестьянам<sup>123</sup>. Общинно-социалистические идеи разделялись не одним поколением русских революционеров и послужили благодатной почвой для западных социалистических утопий, которые проникли в Россию либо самостоятельно, либо через марксизм, также отдавший дань социалистическому утопизму. Как ни глубоко понимал Маркс природу товарно-денежных отношений, как ни высоко их ценил, а и он порой строил воздушные замки по поводу «непосредственно-общественного труда» в будущем и рассуждал о получении работниками предметов потребления из «общественных запасов» по предъявлении квитанции о выполненном ими количестве труда<sup>124</sup>. А Ленин, кажется, всерьез считал, что настанет время, когда золото будет использоваться для сооружения нужников<sup>125</sup>. Придя к власти, большевики были убеждены в скором отмирании денег, НЭП для многих из них стал тяжелой душевной травмой.

В советский период государственно-патерналистская, безрыночная экономическая модель, как мы видели, тоже не сразу обнаружила свою несостоятельность. Некоторое время она казалась весьма эффективной, а в каком-то смысле и была таковой, и это тоже осталось в памяти общества, по-своему закрепило давнюю этактистскую традицию. Она не может оборваться в один день. Даже при самой радикальной экономической либерализации, даже при полном ее успехе, на что сейчас трудно рассчитывать, значительная часть граждан России еще долго будет оставаться в оппозиции к частной собственности или рынку, искать государственного покровительства при решении личных или семейных экономических проблем. Почти нет сомнений, что эта оппозиция будет облекаться в социалистические одежды. При всей неопределенности термина «социализм» в его широком хождении, в экономическом контексте именно социализм обычно противопоставляется экономическому либерализму. Да и в «реальном социализме» в СССР повсеместное провиденциальное присутствие государства, пожалуй, только и было реальностью. Так что сторонники государственного вмешательства в экономику, ограничения «индивидуализма», «анархии производства», противники частной собственности и т. п. будут, скорее всего, группироваться вокруг социалистических лозунгов разных оттенков и получают немалую общественную поддержку.

На деле такие лозунги на всем постсоветском пространстве долгое время будут использовать, в первую очередь, силы реванша «бюрократического рынка», вчерашние «законные», государственные коррупционеры, ненавидящие новоиспеченных самостоятельных нуворишей, но не в меньшей мере и классических социал-демократов с их «гнилым либерализмом». Не исключено, однако, что со временем окрепнут и силы социал-демократической ориентации, которые также включатся в спор о будущей экономической модели, выступая с позиций умеренного государственного вмешательства в экономику. Такое развитие событий представляется вполне естественным. Вопрос о соотношении государственного и рыночного регулирования возник не сегодня и не в России, окончательный же ответ на него не найден до сих пор, да, видимо, его и не существует. Более или менее ясно, что рыночные регуляторы в обычных условиях должны

<sup>123</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 14.

<sup>124</sup> Маркс К. Критика Готской программы. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 18.

<sup>125</sup> Ленин В. И. О значении золота теперь и после полной победы социализма. // Полн. собр. сочинений, т. 44, с. 225–226.

преобладать, но и только. Брошюра Кейнса с вызывающим названием «Конец Laissez-faire» появилась в Англии — стране классического «манчестерства», и здесь же, как, впрочем, и во многих других европейских странах, весь XX век отмечен борьбой между сторонниками и противниками расширения государственного вмешательства в экономику — как в теории, так и на практике.

Тем более, не может быть иначе в России. Сейчас трудно оспорить крах полностью огосударственной экономики советского типа. На буквальном возвращении к ней едва ли способно настаивать разумное существо. Но ведь возможно возвращение частичное, возвращение наполовину или на четверть. Идеи государственного вмешательства в экономику не могут умереть в России, у них здесь глубокие основания — и субъективные, и объективные. Другое дело, что в нынешних условиях любая сколько-нибудь разумная позиция сторонников этих идей, выступающих под лозунгами социализма, вынуждена учитывать новые экономические реальности, масштабы и сложность народного хозяйства, опыт прошлых неудач. Она просто не может не стать более умеренной, гибкой, не может не сблизиться на многих направлениях с позицией либералов. Рано или поздно между «социалистами» и «либералами» должен завязаться конструктивный диалог. В конечном счете, «социалистическое» противостояние крайностям экономического либерализма, принося переменный успех обеим сторонам, может обеспечить реальные (а не только идейные, «научные») поиски наилучшего сочетания рыночной свободы и государственного вмешательства на каждом новом витке развития страны и ее экономики.

# ГЛАВА 3

## ГОРОДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: БУРГИ БЕЗ БУРЖУА

### 3.1. Модернизация и урбанизация

**Э**кономическая революция советского периода заложила материальный и социальный фундамент ускоренной модернизации и в то же время подтолкнула многие другие революции, давно назревавшие в России и ждавшие своего часа. Пожалуй, важнейшая из них — урбанизация, превращение сельского общества в городское. Именно урбанизация стала, по-видимому, центральным звеном модернизации советского общества. И именно города «сделались в конце концов главным двигателем самого значительного социального — а затем, возможно, и политического преобразования в России»<sup>1</sup>. Но в них же обнаружилась и главная слабость реформистского напора, незрелость советского городского общества.

Город и деревня противостоят друг другу прежде всего не как два типа населенных мест, но как два принципа организации социальной жизни, а переход от «сельских» общества и человека к «городским» образует один из главных векторов движения общества к новому качественному состоянию. Современный город плохо сочетается с остатками средневековья, он по сути своей враждебен всякой патриархальности и потому постоянно рождает и воспитывает все новых и новых агентов модернизации.

Эти свойства города отчасти определяются физическими особенностями современной городской среды — сложной структурой пространства, его насыщенностью материальными объектами, их разнообразием и пр. Уже в силу этих особенностей город накладывает свои, отличные от сельских, ограничения на жизнедеятельность человека, предъявляет свои требования к ней, заставляет менять сам тип организации индивидуальной и коллективной жизни. В итоге более сложным и дифференцированным становится не только физическое, но и социальное пространство, а это обесценивает прежние «простые» социальные регуляторы поведения людей. Перед каждым горожанином — в отличие от традиционного сельского жителя — открывается безграничный выбор поступков, карьер, линий поведения. В то же время жизнь в городском мире анонимна, общественные связи — опосредованы (рынком, на котором потребитель и производитель могут никогда не встретиться, средствами массовой коммуникации и т. п.). Социальный контроль сельского типа, непосредственная внешняя цензура поведения каждого здесь невозможны. Чтобы общество не вверглось в хаос,

<sup>1</sup> *Lewin M. La grande mutation soviétique. Paris, 1989, p. 50.*

нужны какие-то новые регулирующие механизмы, и они вырабатываются общественной практикой.

Вместе с городским социальным пространством получает небывалое развитие и внутреннее пространство личности городского человека, его самосознание, способность к рефлексии, к нравственному и эмоциональному переживанию и т. д. Как отмечал Г. Зиммель, «город приобретает совершенно новую ценность в мировой истории менталитета... Освобожденные от исторических связей, люди хотят теперь отличаться один от другого. Каждый индивид уже не „человек вообще“, и именно качественная уникальность, неповторимость характера составляют теперь основу его ценности»<sup>2</sup>.

Все это и делает возможными, более того, необходимыми новые принципы социального управления поведением людей, — но никак не отказ от такого управления. Меняются механизмы. Внешний контроль все больше уступает место самоконтролю, «стыд» перед другими при нарушении общественных норм — внутренне переживаемой «вине». Все поведение людей регулируется теперь «изнутри» гораздо больше, чем «извне», и такой способ регуляции воспринимается ими как свобода по сравнению с несвободой в условиях деревенской внешней цензуры. Так получает новое звучание средневековая максима: «воздух городов делает человека свободным».

Городская свобода — это особый способ существования человека в системе социальной регуляции городской жизнедеятельности, которая порождает и делает массовым новый тип личности — человека, несравненно более универсального и более инициативного, чем прежде, потенциально способного овладеть новым, небывалым многообразием внешнего мира, включиться в принципиально иную, намного более сложную, чем в прошлом, систему общественных связей. Такому человеку становится тесно в рамках традиционных «сельских» институциональных регуляторов, и он начинает избавляться от них и не потому — или не только потому, — что они не приносят достаточных богатства или военной мощи стране, но и потому (может быть, в первую очередь потому), что человек — просто как человек, как частное лицо — вырос из старых институциональных одежек. Модернизация из заботы государственной становится заботой личной, вопросом жизни и смерти каждого.

Урбанизация, таким образом, несет с собой очень большие перемены, а потому становится одним из источников конфликта внутри общества, особенно если протекает стремительно, не оставляя времени на постепенное освоение связанных с нею социальных нововведений. Многие социальные группы не понимают и не воспринимают этих нововведений, выступают с резкой критикой городов и городской жизни. Так было, например, в Германии в конце прошлого — начале нынешнего века. Бурный рост городов (между 1870 и 1910 гг. доля городского населения выросла с 36 до 60%; население 8 крупнейших городов увеличилось в 2,7 раза<sup>3</sup>) поставил перед обществом множество вопросов, они оказались в числе главных тем интеллектуальных и политических дебатов в вильгельмовской, а затем и послевиль-

<sup>2</sup> *Simmel G. Métropoles et mentalité. // Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, L'école de Chicago, Paris, 1984, p. 76.*

<sup>3</sup> *Williamson D. G. Bismarck and Germany 1862–1890. London & New York, 1986, p. 103.*

гельмовской Германии<sup>4</sup>. Отношение к городам, особенно крупным, было весьма противоречивым. Если Зиммель пытался осмыслить город как новую историческую ценность, то для Шпенглера город — символ упадка. «Вместо являющего многообразие форм, сросшегося с землей народа — новый кочевник, паразит, обитатель большого города, чистый, оторванный от традиций, возникающий в бесформенно флюктуирующей массе человек фактов, иррелигиозный, интеллигентный, бесплодный, исполненный глубокой антипатии к крестьянству (и к его высшей форме — поместному дворянству), следовательно, чудовищный шаг к неорганическому, к концу...»<sup>5</sup>. Но отказ от больших городов был уже, конечно, невозможен, и немецкие сторонники «третьего пути» ищут идеологического компромисса, совмещения сельских и городских ценностей. «Для настоящих „консервативных революционеров“... если деревня — это резервуар сил, то большой город, по словам Меллера ван ден Брука, — это „лаборатория“, „поле битвы современной жизни“»<sup>6</sup>.

Так же было в России, а затем и в СССР. Рост городов и городского населения в СССР — несомненное проявление модернизации, обойтись без них было нельзя. Но советское общество сохраняло все время подозрительное отношение к городам, пыталось управлять их развитием с помощью «мичуринских» методов — поддерживая одни свойства и вытравливая другие. Поэтому советская урбанизация, как и многое другое, была двусмысленной, означала одновременно и шаг вперед, и шаг назад, движение и в сторону Запада, и в противоположную. На то были и исторические, и более новые, актуальные причины.

### 3.2. Запаздывающая урбанизация

**К**ак и все остальное, урбанизация в старой России шла с большим запаздыванием. В XIX веке сельские западноевропейские общества быстро превращались в городские. Впереди шла Англия, и еще в 40-е годы XIX века Ф. Энгельс писал о ней как о стране, «не похожей ни на какую другую», с населением, которое «составляет совершенно другую нацию с другими нравами и другими потребностями, чем раньше»<sup>7</sup>. К 1920 г. города, насчитывающие 20 тыс. жителей и более, впитали уже 64% населения Англии, а 100 тыс. жителей и более — 50%<sup>8</sup>. Но к этому времени Англия, хотя и оставалась впереди всех, утрачивала все же свою исключительность. В Германии доля населения городов с населением 20 тыс. жителей и более достигла 40%, во Франции — 37, в Бельгии — 49, в Голландии — 45%<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> *Direux L.* Histoire culturelle de l'Allemagne 1919–1960 (RFA). Paris, 1989, p. 18.

<sup>5</sup> *Шпенглер О.* Закат Европы. Т. 1. М., 1993, с. 165.

<sup>6</sup> *Direux L.* Révolution conservatrice et modernité. // La Révolution Conservatrice Allemande sous la république de Weimar. Paris, 1992, p. 29.

<sup>7</sup> *Энгельс Ф.* Положение рабочего класса в Англии. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд., т. 2, с. 256.

<sup>8</sup> Growth of the world's urban and rural population, 1920–2000. UN, New York, 1969, p. 98, 100.

<sup>9</sup> Ibid.

В России же все было по-иному. По темпам урбанизации она сильно отставала от Запада. Конечно, города развивались и здесь. Но долгое время им не удавалось приобрести достаточного рыночно-экономического значения, административно-политические и военно-оборонные функции русских городов оттесняли их торгово-промышленные функции на второй план. В результате примерно во второй половине XVIII – первой половине XIX вв., именно тогда, когда шло назревание городского взрыва на Западе, темпы урбанизации в России, напротив, замедлились, доля городов в населении страны и ее торгово-промышленном потенциале сократилась<sup>10</sup>.

Положение стало меняться лишь во второй половине XIX века, после отмены крепостного права. Деревня стала выталкивать население, в ней становилось все больше людей, готовых к тому, чтобы — по соблазну или по необходимости — при первом же удобном случае порвать с крестьянским состоянием, сменить занятие, покинуть родное село и переселиться в город.

Обстоятельства, побуждавшие крестьян покидать родные сельские места и искать счастья вдали от них, хорошо известны, многократно описаны, едва ли стоит останавливаться на них подробно. В их числе и земельная теснота, аграрное перенаселение; и остатки крепостнических отношений, общинные узы, стеснявшие гражданские, в том числе и экономические права крестьян; и общая косность сельской жизни, неэффективность традиционного сельского хозяйства. Все это осознавалось нарастающим числом деревенских людей по мере того, как они знакомились с другими жизненными и хозяйственными укладами.

У жителей перенаселенных центральных районов России была серьезная отдушина — возможность переселения на свободные или слабо заселенные «ближние» южные и восточные окраины европейской части страны — в Новороссию, Астраханскую, Оренбургскую, Самарскую и Уфимскую губернии, а равно и на Северный Кавказ, в Сибирь, на Дальний Восток, в степную часть Средней Азии. Здесь повсюду можно было продолжать крестьянствовать, заниматься земледельческим трудом. Крестьяне широко использовали эту возможность. В 1897 г. в основных районах земледельческой колонизации проживало 5 млн. уроженцев других губерний, из которых 3,8 млн. — в сельской местности (14% сельского населения этих районов)<sup>11</sup>. В земледельческих переселениях участвовали миллионы людей, и это, конечно, ослабляло поток крестьян в города.

Ослабляло, но не прерывало. Земледельческие переселения привлекали, в первую очередь, крестьян, не хотевших отказываться от привычного экономического и жизненного уклада и не готовых к этому. В деревне, однако, было немало и тех, кто так или иначе вышел за пределы традиционного земледельческого труда, соприкоснулся с миром денег, разбогател или, напротив, разорился. Они знали уже и другие пути, которые нередко были или казались более доступными, более притягательными. Все или почти все они были связаны с городскими занятиями, с городскими способа-

<sup>10</sup> Миронов Б. Н. Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л., 1990, с. 231–233.

<sup>11</sup> Тихонов Б. В. Переселения в России во второй половине XIX в. М., 1978, с. 47.



ми зарабатывания денег. Да и соблазны были типично городскими. Так или иначе, но во второй половине XIX в. поток крестьян в города набирал силу.

Устремленное в города движение крестьян имело две основные формы: отхожие промыслы, при которых крестьянин в той или иной степени оставался сельским жителем, не порывал с деревней окончательно, и полное переселение в город.

Отходничество — давняя традиция русской деревни, но в пореформенное время оно приобрело новое дыхание. За 40 послереформенных лет число полученных крестьянами только краткосрочных (на срок до 1 года) паспортов — они служили официальным разрешением уйти на заработки — увеличилось, в расчете на тысячу сельских жителей, в 3,5 раза. А получались, правда, существенно реже, паспорта и на более длительные сроки<sup>12</sup>.

Надо, однако, сразу же заметить, что при всей стремительности этого роста, отхожие промыслы и в конце XIX века были хотя и заметным, но не таким уж всеохватывающим явлением, как это иногда представляется. П. Рындзюнский, например, утверждает, что «по всей Европейской России отходники составляли около 1/3 трудового народа»<sup>13</sup>. И треть — это все-таки меньшинство, но была ли треть? Если верить паспортной статистике, то в последнее десятилетие XIX века речь могла идти о вовлечении в отхожие промыслы лишь немногим более 10% всего сельского населения, т. е. от силы о 10 млн. человек. Но сельское население Европейской России в рабочем возрасте (от 15 до 60 лет) — а это ведь и был деревенский «трудовой народ» — насчитывало 60 млн. человек<sup>14</sup>. На долю отходников падает, стало быть, всего 16–17% — не одна треть, а всего лишь одна шестая.

Отходничество служило двойную службу. Оно, конечно, протоптывало крестьянам дорожку в города и многих из них вело к полному разрыву с деревней и окончательному превращению в горожан. Но оно же и замедляло такое превращение. Можно было как-то жить, имея городские заработки и оставаясь в то же время крестьянином и владельцем надельной земли, потому многие крестьяне — когда по своей воле, а когда и под давлением, — и не спешили делать последний шаг, удерживались от окончательного разрыва с землей. Такое промежуточное положение не могло длиться бесконечно, умножение числа отходников — полукрестьян-полугорожан — закладывало основы будущего роста городского населения. Но поначалу оно могло его и тормозить.

По данным переписи 1897 г., 47% городских жителей Российской империи (без Польши и Финляндии) и 48% городских жителей Европейской России были неместными уроженцами — в большинстве своем вчерашними обитателями бесчисленных российских сел и деревень. Какая-то часть из них и оставалась еще сельскими жителями, «отходниками», пребывающими в городах лишь временно. Однако «число лиц, зарегистрированных переписью 1897 г. временно пребывающими в городах, очень неве-

<sup>12</sup> Там же, с. 211–212.

<sup>13</sup> Рындзюнский П. Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века. (Взаимоотношение города и деревни в социально-экономическом строе России). М., 1983, с. 107.

<sup>14</sup> Рашин А. Г. Население России за 100 лет. М., 1956, с. 267.

лико: за редкими исключениями оно не превышало нескольких процентов от числа всех неместных уроженцев»<sup>15</sup>. В Петербурге, например, их было 4,7%, в Москве — 3, в Одессе — 2,5, в Киеве — 6,1, в Екатеринославе — 2,4, в Ростове-на-Дону — 1,8, в Иваново-Вознесенске — 2,9% и т. д.<sup>16</sup>.

Число городских жителей, а значит и неместных уроженцев, осевших в городах, скорее всего, занижено переписью. В конце XIX века в России, особенно в центральных промышленных губерниях, на Урале, в Донбассе, да и в других местах было немало промышленных центров, ставших уже, по существу, городами, но не признанных таковыми юридически. Доля недавних выходцев из деревни в них, как правило, была очень высока, но это не нашло отражения в материалах переписи. Были и другие причины преуменьшения числа горожан.

Однако точные цифры не столь уж важны, необходимо представлять себе общий порядок величин. При самом осторожном отношении к переписным данным, со всеми возможными поправками, число выходцев из деревни, фактически проживавших в городских поселениях, с учетом даже и тех, которые не имели официального статуса городов, едва ли превышало 8, от силы 9 миллионов человек.

Переселение в город не означало автоматического вступления в одно из городских сословий, оно было доступно далеко не каждому крестьянину. Поэтому непрерывно росло число живущих в городах лиц крестьянского сословия. С 1858 по 1897 г. оно увеличилось в 4,6 раза. Число же лиц иных сословий в городах выросло всего на 53%<sup>17</sup>, да и этот рост шел частично за счет крестьян, приобретавших сословные права мещан или купцов. Но и с учетом этого огромного роста в 1897 г. в пределах всей Российской империи к крестьянскому сословию относились 6,5 миллионов горожан (38,8% их общего числа)<sup>18</sup>, в Европейской России — 5,2 миллиона (43,5%)<sup>19</sup>. Эти данные лишней раз свидетельствуют о том, что приведенные выше оценки числа сельских жителей, ставших к началу нашего века горожанами (8–9 миллионов), во всяком случае, не занижены.

Восемь – девять миллионов переселившихся в города крестьян — это, конечно, немало. Во второй половине XIX века движение в города значило в переселениях крестьян в России намного больше, чем их миграции, связанные с земледельческой колонизацией. Несомненно и явное усиление притока крестьян в города к концу века. И все же преувеличивать масштабы их исхода из деревни в то время, видимо, не следует. Сельское население Российской империи (без Польши и Финляндии) насчитывало в 1897 г. 102 млн. человек. Сельские жители, расставшиеся с деревней, составляли менее 10, пусть даже 10% ее сохранившегося населения. Мог ли исход этих 10 процентов, к тому же постепенный, длившийся десятилетиями, серьезно раскочевать материк крестьянской жизни?

<sup>15</sup> Тихонов Б. В. Цит. соч., с. 59.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Рындзюнский П. Г. Цит. соч., с. 212.

<sup>18</sup> Рашин А. Г. Цит. соч., с. 122.

<sup>19</sup> Рындзюнский П. Г. Цит. соч., с. 212.

По мнению современников, видимо, мог. Одних это беспокоило, постоянно слышались жалобы на захирение и обезлюдение деревни, на подрыв тысячелетних устоев. Другие, напротив, приветствовали избавление от «идиотизма деревенской жизни», видели в нем залог долгожданных социальных перемен. В частности, на представления о далеко зашедшем разложении деревни опиралась вера в грядущую пролетарскую революцию.

Спор между сторонниками и противниками «устоев» не кончен и сейчас. Но если говорить о фактах, то, по сегодняшним меркам, исход крестьян из деревни в предреволюционные десятилетия выглядит не столь уж значительным. На самом кануне революции сельские жители все еще составляли подавляющее большинство населения страны. Беспокойство современников было, конечно, не напрасным. Пожалуй, уже и тогда океан крестьянской народной жизни в немалой степени был тронут гниением и распадом. И все же он не отхлынул еще от привычных берегов, многим казался неизбывным и вечным.

Если деревня хирела, то должны были тучнеть города. Так оно и было. Российская жизнь все более выходила из сел. Возникали новые города, пусть и не сразу признаваемые властями и статистикой. Развивалась промышленность, на место ярмарок приходили товарные и фондовые биржи, рос банковский капитал. Увеличивалось и связанное с новыми видами деятельности городское население.

По данным А. Рашина (табл. 3.1), примерно за пять предреволюционных десятилетий городское население России выросло более чем втрое — на 16 млн. человек.

**Таблица 3.1. Городское население Российской империи (без Польши и Финляндии), 1863–1913 гг.**

<i>Годы</i>	<i>Все население, млн. чел.</i>	<i>Городское население, млн. чел.</i>	<i>Доля городского населения в %</i>
<b>1863</b>	<b>70,0</b>		
<b>1867</b>		<b>7,4</b>	
<b>1885</b>	<b>98,7</b>	<b>11,6</b>	<b>11,8</b>
<b>1897</b>	<b>116,2</b>	<b>14,7</b>	<b>12,7</b>
<b>1913</b>	<b>155,4</b>	<b>23,3<sup>20</sup></b>	<b>15,0</b>

*Источник: Рашин А. Г. Население России за 100 лет, с. 26, 88.*

<sup>20</sup> Официальные советские публикации оценивали численность городского населения в 1913 г. в послевоенных (после 1945 г.) границах СССР в 28,5 млн. человек, а его долю — в 17,9% (См., напр.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР. Сводный том. М., 1962, с. 13). Возможно, здесь сказывается преемственность по отношению к дореволюционной официальной статистике, которая, по мнению А. Рашина (с. 25) и некоторых других авторов, завышала численность населения. Если принять официальные данные, рост оказывается несколько большим. Впрочем, с учетом неполного совпадения границ, различия не слишком существенны.

Особо надо сказать о росте населения крупных городов. По мнению Б. Миронова, замедление темпов урбанизации со второй половины XVIII века отчасти компенсировалось ростом крупных городов, по доле которых в населении Россия находилась примерно на уровне европейских стран<sup>21</sup>. Ограничимся лишь бесспорными крупными городами, насчитывающими не менее 100 тыс. жителей. В 1811 г. таких городов в России было всего два — Петербург и Москва. К 1863 г. к ним прибавилась Одесса. Но в 1885 г. — всего через 20 с небольшим лет — в России было уже 13 городов со сотысячным населением, в 1897 — 19, в 1914 — 29<sup>22</sup>. А Петербург и Москва ко времени переписи 1897 г. стали городами-миллионерами.

Ленин считал рост городов в России «самым наглядным выражением» роста торгово-промышленного населения, придавал ему очень большое значение<sup>23</sup>. У него, конечно, были все основания писать о быстром увеличении числа городских жителей, о «громадном росте крупных индустриальных центров»<sup>24</sup> и т. п. Но здесь, как и во многих других случаях, встает вопрос о мере этой «громадности». Если обладатель копейки находит еще одну, то его состояние увеличивается вдвое — громадный рост. Но это еще не значит, что он становится богачом.

Россия вступила в пореформенную эпоху с крайне малочисленным городским населением. За полстолетия оно выросло по меньшей мере втрое, но страна от этого не стала городской. Рост городов все еще казался многим чем-то противоестественным для России, большой город воспринимался как исключение, приличествующее разве что столице. А Белый иронизировал в романе «Петербург»: «Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных... Разительно от... всех отличается Петербург... Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек... Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду — существование полуторамиллионного московского населения, — то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет»<sup>25</sup>.

Основания для иронии, конечно, были. На протяжении всего XIX века численность и доля городских жителей России неуклонно росли, и в начале XX столетия многие россияне уже хорошо знали, что такое город, особенно крупный. Тем не менее, по мировым меркам, городская жизнь в России все еще была развита слабо. Накануне Первой мировой войны подавляющее большинство населения России, 80–85% его, было сельским.

<sup>21</sup> Миронов Б. Н. Цит. соч., с. 234–235.

<sup>22</sup> Рашин А. Г. Цит. соч., с. 99, 104–110.

<sup>23</sup> Ленин В. И. Развитие капитализма в России. // Полн. собр. сочинений, т. 3, с. 558.

<sup>24</sup> Там же, с. 493.

<sup>25</sup> Белый А. Петербург. М., 1978, с. 23–24.

### 3.3. Городской взрыв

**Э**а время революции и гражданской войны города обнищали и оголодали, часть горожан искала спасения у матери-деревни, так что доля городского населения даже сократилась. Если верить официальным данным, в 1920 г. она составила 15,3%, в 1922 — 16,2, и только к 1926 г. подошла к довоенному уровню — 17,9%<sup>26</sup>. Близился, однако, 1929 год — «год великого перелома».

Есть несколько оценок всего, а частично и городского населения СССР в границах до 1939 г. за период между переписями 1926 и 1939 гг. Некоторые из них приведены в табл. 3.2.

**Таблица 3.2. Численность всего и городского населения СССР по различным оценкам**

Год	Население, млн. чел. (а)		Доля городского населения в %	Население млн. чел. (б)		Доля городского населения в %	Все население млн. чел. (в)
	Все	Городское		Все	Городское		
1926	147,0	26,3	17,9	147,0	26,3	17,9	148,5
1929	154,3	27,6	17,9	153,4	28,3	18,4	154,7
1933	165,7	40,3	24,3				162,9
1937				163,8	46,6	28,4	162,5
1938				167,1	50,0	29,9	165,5
1939				170,6	56,1	32,9	168,5
1939				190,7*	60,4*	31,7	188,8**

\* В границах СССР после 17 сентября 1939 г.

\*\* В границах СССР 1946–1991 гг.

**Источники:**

(а) *Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. М., 1936, с. 542;*

(б) *Население СССР. 1987, с. 8;*

(в) *Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Население Советского Союза. М., 1993, с. 118.*

В последней колонке таблицы — сравнительно недавно появившиеся новые оценки численности населения СССР в 30-е годы. Они сделаны с использованием недоступной прежде информации, в частности «репрессированной» переписи 1937 г. Правда, сохранившиеся материалы переписи 1937 г. тоже, видимо, безупречны. Согласно данным, приведенным в одной из публикаций, доля городского населения

<sup>26</sup> Население СССР. 1987: Статистический сборник. М., 1988, с. 8.

по этой переписи составила 32%<sup>27</sup>. Авторы другой публикации данных переписи воздержались от уточнения численности городского населения 1937 г. «в силу существенных различий данных об этом в разных архивных таблицах. В то время не было четких критериев отнесения тех или иных населенных пунктов к городским поселениям... Не исключены волевые указания сверху, преследовавшие цель продемонстрировать успехи индустриализации»<sup>28</sup>.

После такого замечания судить об истинных масштабах урбанизации в тридцатые годы еще сложнее. И все же расхождения оценок в табл. 3.2 не настолько велики, чтобы поставить под сомнение общую картину роста городов в тот период. Даже если речь идет о «вилке» в несколько миллионов человек, стремительность роста городского населения поражает воображение. Всего за четыре года — с 1929 по 1933 — его прирост составил 12–13 млн. человек. А за десять лет — с 1929 по 1939 — 27–28 млн. Пусть даже 25 миллионов, если сделать поправку на «демонстрацию успехов индустриализации». Все равно это намного больше, чем за 50 предреволюционных лет.

То же и с крупными городами. Из 29 городов-стотысячников, с которыми Россия подошла к Первой мировой войне, в 1926 г. оставалось 24 (выпали Рига, Вильнюс и Кишинев, оказавшиеся за границей, а также Томск и Витебск, число жителей в которых опустилась ниже ста тысяч). Но зато добавилось 7 городов, перешедших стотысячный рубеж: Свердловск (Екатеринбург), Новосибирск (бывший Новониколаевск), Воронеж, Тверь, Сталин (бывшая Юзовка, впоследствии Сталино, затем Донецк), Владивосток, Самарканд. Так что всего в 1926 г. в тогдашних границах насчитывался 31 город-стотысячник. А в 1939 г. их стало уже 89! Семь из них появились в связи с расширением границ СССР в 1939 г. (Рига, Львов, Вильнюс, Таллинн, Каунас, Кишинев, Черновцы), но 51 — в результате стремительного роста их населения.

И это было только началом. Однажды придя в движение, страна не успокаивалась многие десятилетия. Как будто включили огромный насос, который безостановочно перекачивал миллионы и миллионы мужчин, женщин и детей из деревни в город, превращал селян в горожан.

Кому-то повезло, и он стал городским жителем просто потому, что его село по той или иной причине было преобразовано в город или «поселок городского типа», так что не пришлось, по крайней мере, покидать родные места. Но большинству этого избежать не удалось. Деревенский океан стал стремительно мелеть. Городское же население росло, как на дрожжах. Таблица 3.3 — краткая хроника этого роста. Всего быстрее росло население крупных городов (табл. 3.4). К концу 80-х годов на долю городов, насчитывающих не менее ста тысяч жителей, приходилось около 40% всего населения и 60% всех горожан.

<sup>27</sup> Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. Институт истории СССР. М., 1991, с. 60–61.

<sup>28</sup> Итоги Всесоюзной переписи населения 1937 г. // Перепись населения 1937 г. История и материалы. Госкомстат СССР. Экспресс-информация. Серия «История статистики», вып. 3–5 (Часть II). М., 1990, с. 66.

Таблица 3.3. Рост населения России, 1940–1990 гг.

Годы	Все население, млн. чел.	Городское население, млн. чел.	Доля городского населения, %	Прирост городского населения за 10 предыдущих лет, млн. чел.
1940	194,1	63,1	32,5	
1950	178,5	69,4	38,9	6,3
1960	212,4	103,6	48,8	34,2
1970	241,7	136,0	56,3	32,4
1980	264,5	166,2	62,8	30,2
1990	288,6	190,6	66,0	24,4

*Источник: Население СССР 1987, с. 8; Демографический ежегодник СССР. М., 1990, с. 7.*

Таблица 3.4. Города СССР с населением свыше 100 тысяч человек и города-миллионеры

Год	Все насе- ле- ние, млн. чел.	Города с населением 100 000 жителей и более			В том числе города с населением 1 000 000 жителей и более		
		Число городов	Населе- ние, млн. чел.	Доля во всем населе- нии, в %	Число городов	Населе- ние, млн. чел.	Доля во всем населе- нии, в %
1939*	170,6	82	7,0	15,8	2	7,5	4,5
1939	190,7	89	8,4	14,9	2	7,5	4,0
1959	208,8	148	8,6	23,3	3	9,1	4,4
1970	241,7	221	5,5	31,2	9	19,1	7,9
1979	262,4	270	6,9	36,9	18	31,7	12,1
1989	288,6	296	13,6	39,4	23	41,0	14,2

\* В границах СССР до 17 сентября 1939 г.

*Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР. Сводный том, с. 35; Население СССР 1987, с. 43; Демографический ежегодник СССР, с. 14–26.*

За пять десятилетий все население СССР увеличилось на 94,5 млн. человек, а городское — на 127,5 млн., разумеется, за счет деревни, население которой сократилось на 33 млн. В 1990 г. число сельских жителей на территории, близкой к территории бывшей Российской империи, было примерно таким же, что и сто лет назад, при том, что все население выросло в 2,3 раза. Но это — в целом по стране. В пределах же ее Европейской части и Сибири, где сто лет назад было сосредоточено приблизительно 85% сельского населения, оно сократилось на 23 млн. человек. В границах современной Российской Федерации его доля во всем населении упала до 26%.

Городской взрыв в СССР породил огромные экономические проблемы. Массовая миграция в города обесценивала сельские жилища, делала ненужной значительную их часть, а взамен требовала огромного жилищного и сопряженного с ним строительства в городах. На это нужны были громадные средства, а взять их было негде. При всей бедности крестьянского населения старой России, примитивности деревенских жилищ, крыша над головой у крестьянина все-таки была. Первая мировая и гражданская войны, послереволюционная разруха привели к утрате части жилищного фонда, но затем последовал период довольно оживленного строительства жилья (табл. 3.5). В 1918–1928 гг., по меньшей мере на три четверти, оно велось в деревне. Города же были в бедственном состоянии. В 20-е годы, по мере восстановления и роста промышленности, городское население увеличивалось, но уже тогда масштабы жилищного строительства в городах не соответствовали этому увеличению.

Как отмечалось в «Контрольных цифрах народного хозяйства СССР», накануне «великого перелома» «рост жилой площади все еще отстает от роста городского населения»<sup>29</sup>. Здесь же приводились некоторые примеры последствий такого отставания. «В Иваново-Вознесенске на одну душу рабочего населения, живущего в собственных домах и в домах, арендуемых у частных лиц, приходится 2,7–2,8 кв. м. Остаются тяжелыми жилищные условия на Урале, в Донбассе, в центрах южной металлопромышленности. Есть местности, где квартирами рабочих семей служат 2-х и 3-х этажные нары. В вагонах и землянках живет до 7,5 тысяч семей железнодорожников, причем число это до последнего года неуклонно возрастало». Общий вывод заключался в том, что «еще нельзя перейти к замедленным темпам роста жилищного строительства: в этой отрасли народного хозяйства восстановительный период еще не завершен»<sup>30</sup>.

Но именно темпы жилищного строительства резко замедлились в знаменитых первой и второй пятилетках. Общая площадь жилых домов, построенных с 1929 по 1937 г., составила всего 61% от того, что было построено за десятилетие с 1918 по 1928 г. Потребность же, напротив, была намного большей, потому что именно с 1929 г. началось великое переселение крестьян в города, и к концу второй пятилетки их население выросло примерно на 65%. В Российской Федерации, например, между

<sup>29</sup> Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1928–1929 год. М., 1929, с. 163.

<sup>30</sup> Там же, с. 164. Любопытно, что в этом выводе чувствуется полемика с самими «контрольными цифрами», помещенными здесь же. В 1926/1927 финансовом году затраты на жилищное строительство увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 31%, в 1927/1928 г. — на 23%, на 1928/1929 предусматривался рост всего на 13% (там же, с. 487).



1926 и 1939 гг. городское население выросло в 2,2 раза (на 19,9 млн. человек), а городской жилищный фонд — всего на 68%<sup>31</sup>. Прежним горожанам негде было жить, а теперь к ним приплюсовались многие миллионы новых, жилищное же строительство резко сократилось. Так возник невероятный жилищный кризис, с которым страна долго не могла справиться.

**Таблица 3.5. Строительство жилых домов в СССР, в млн. кв. м общей площади**

	<i>Всего</i>	<i>В городской местности</i>	<i>В сельской местности</i>	<i>Доля городской местности, в %</i>
1918-1928	203,0	51,2	151,8	25,2
1929-1932	56,9	40,2	16,7	70,7
1933-1937	67,3	44,3	23,0	65,8
1938-1941	81,6	45,2	36,4	55,4
1941-1945	102,5	54,9	47,6	53,6
1946-1950	200,9	117,1	83,8	58,3
1951-1955	240,5	178,1	62,4	74,1
1956-1960	474,1	241,7	232,4	51,0
1961-1965	490,6	291,6	199,0	59,4
1966-1970	518,5	335,5	183,0	64,7
1971-1975	544,8	377,4	167,4	69,3
1976-1980	527,3	378,7	148,6	71,8
1981-1985	552,2	384,8	167,4	69,7
1986-1990	630,4	431,9	198,5	68,5
1956-1985	3107,5	2009,7	1097,8	64,7
1956-1990	3737,9	2441,6	1296,3	65,3

**Примечание:** Прямыми данными о распределении строительства жилья между городом и селом до 1956 г. мы не располагаем. В публикации ЦСУ СССР выделено строительство «в колхозах (колхозами, колхозниками и сельской интеллигенцией)», которое мы условно и относим к сельскому. Когда речь идет о 20-х годах, эта рубрика, по-видимому, практически относится ко всему сельскому населению. В нее не вошли строительство домов рабочими и служащими совхозов и некоторые другие виды строительства в сельской местности, вследствие чего приведенная в таблице оценка сельского жилищного строительства до 1956 г. (цифры, набранные курсивом) несколько преуменьшена, а городского — преувеличена.

**Источники:** *Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг. М., 1972, с. 364; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 508.*

<sup>31</sup> Российский статистический ежегодник. 1994. М., 1994, с. 17, 99.

В послевоенный период, особенно со второй половины 50-х годов строили намного больше. Но к этому времени накопилась огромная неудовлетворенная потребность, усугубленная войной<sup>32</sup>. К концу 50-х годов, когда, наконец, развернулось массовое жилищное строительство, в городских поселениях СССР насчитывалось около 25 миллионов семей. Все или почти все они находились в крайне стесненных жилищных условиях, жили, как правило, в «коммунальных» квартирах, часто со многими соседями, в общежитиях, бараках, с очень низким, допотопным уровнем благоустройства и практически нуждались в новых квартирах. За 30 лет — с 1959 по 1989 г. число городских семей в СССР выросло вдвое и приблизилось к 50 миллионам. Таким образом, за это время надо было построить примерно 50 миллионов городских квартир, что и было сделано. По официальным данным, за 1956–1989 гг. в СССР было построено свыше 76 млн. квартир, и если считать, что соотношение городских и сельских квартир примерно соответствовало соотношению городского и сельского жилья, приведенному в табл. 3.5, то 50 млн. составили квартиры, построенные в городах и поселках городского типа. Это стало достижением, которое не следует недооценивать.

Хотя жилищная нужда никогда не была полностью изжита и в конце 80-х годов миллионы людей по всей стране по-прежнему ждали своей очереди на улучшение жилищных условий, живя в перенаселенных квартирах, бараках, «балках» и пр., качественно положение было совершенно иным, чем за тридцать лет до этого. В 1989 г. в отдельных квартирах или домах жило свыше 83% городских семей (в том числе в отдельных квартирах — около 67%). И даже если взять все семьи (городские и сельские), то 53% их общего числа — 38,6 млн. семей — жили в отдельных квартирах<sup>33</sup>. Это означало, что в результате массового жилищного строительства 60-х – 80-х годов, впервые в истории страны отдельная квартира стала основным типом городского семейного жилища, а обитающая в такой квартире малая нуклеарная семья — основным типом городской семьи, и даже количественно преобладающим типом семьи вообще. Казалось, что, по всем показателям, советское общество восьмидесятых годов можно было с определенностью назвать городским. Но на деле все обстояло сложнее.

### 3.4. Урбанизация в зеркале поколений

**Д**оля городского населения перешагнула пятидесятипроцентный рубеж в 1962 г., во времена хрущевских реформ. Городское общество не хуже и не лучше сельского, но оно иное, живет по другим правилам. Статистика, казалось бы, свидетельствует: страна вошла в городскую стадию развития, что и потребовало смены правил. В этом и был подспудный смысл реформ, может быть, и не вполне осознаваемый самими реформаторами. Если это так, то срыв реформ — историческая случайность, следствие борьбы за власть в высших ее эшелонах, тогда как общество в целом созрело для перемен.

<sup>32</sup> По официальным оценкам, в оккупированных в 1941–1943 гг. районах было полностью или частично разрушено и сожжено 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, свыше 6 млн. зданий и лишено крова около 25 млн. человек (Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 46).

<sup>33</sup> Народное хозяйство СССР в 1990 г. М., 1991, с. 185.

На самом деле, здесь нужна другая оптика, и она показывает, что нет, тогда еще не созрело.

Эту оптику предлагают таблица 3.6 и рис. 3.1 и 3.2. Они составлены по данным переписей населения 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годов и характеризуют долю городских жителей при рождении и затем на протяжении всей жизни в ряде последовательных поколений жителей Российской империи или СССР.

**Таблица 3.6. Доля горожан в населении различных возрастных групп по поколениям, в %**

<i>Поколения</i>	<i>При рождении</i>	<i>В возрасте</i>						
		<i>0-9</i>	<i>10-19</i>	<i>20-29</i>	<i>30-39</i>	<i>40-49</i>	<i>50-59</i>	<i>60-69</i>
1979-1988	59	60						
1969-1978	56	57	64					
1959-1968	47	48	58	67				
1949-1958	41	42	57	70	72			
1939-1948	...		47	66	70	71		
1929-1938	22	26		53	61	63	65	
1919-1928	13	14	30		53	59	61	63
1909-1918	14		15	39		52	56	58
1899-1908	12			22	36		47	51
1889-1898	9	9			22	34		42
1879-1888	9		11			21	32	
1869-1878	...			17			19	27
1859-1868	...				15			16
1849-1858	...					14		
1839-1848	...						13	
1829-1838	...							12

Даже поколения, появившиеся на свет в последние десятилетия прошлого века, по своему происхождению были по преимуществу сельскими, крестьянскими да и оставались таковыми большую часть жизни. Лишь к концу ее, после того, как период наибольшей жизненной активности был пройден, заметная часть доживших до старости людей из этих поколений оказались городскими жителями — скорее всего, приехав доживать свой век у укоренившихся в городе детей. Но во времена их молодости, после всех войн и революций второго десятилетия нашего века страна все еще

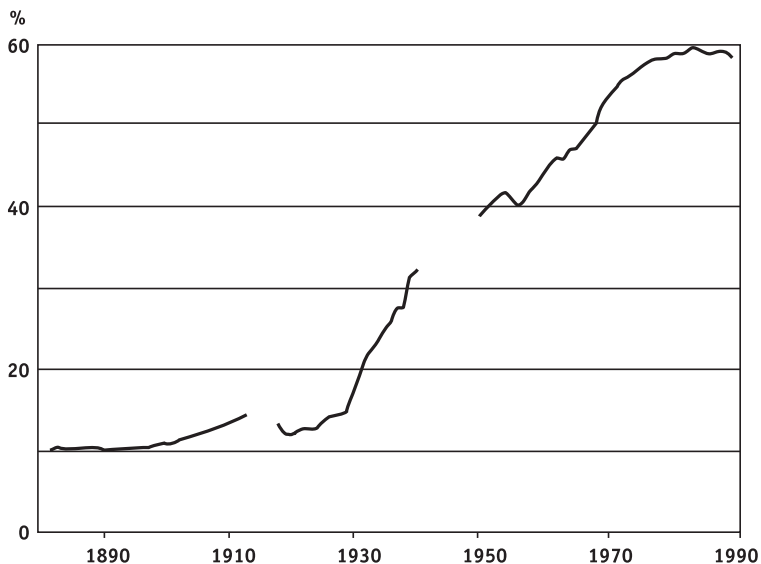


Рисунок 3.1. Доля детей, родившихся в городах в Российской империи и в СССР. Поколения 1880–1990 годов рождения

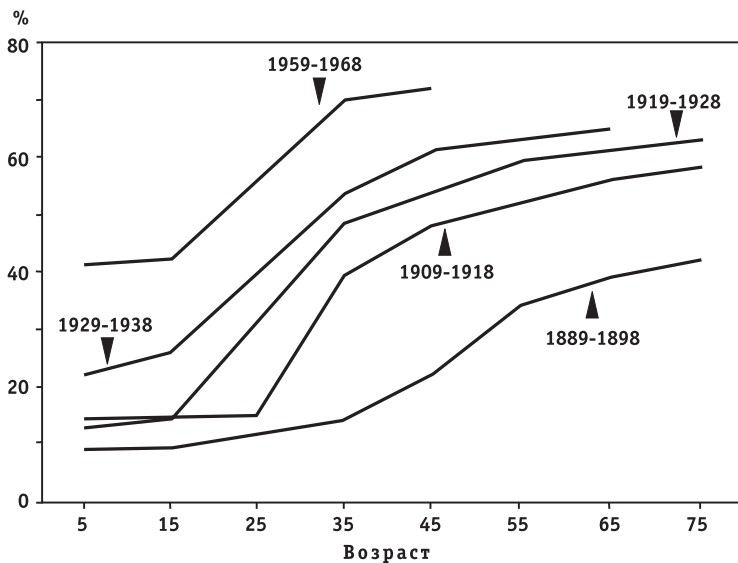


Рисунок 3.2. Доля городских жителей в разных возрастах в поколениях 1889–1898, 1909–1918, 1919–1928, 1929–1938 и 1959–1968 годов рождения. Российская империя и СССР.

оставалась крестьянской. Впрочем, теперь уже недолго. Начавшей успокаиваться и богатеть деревне двадцатых годов и в страшном сне не могла присниться та поистине головокружительная «городская карьера», которая ожидала поколения, появившиеся на свет в первые десятилетия века. Среди начавших жизнь в десятилетия двадцатых годов было не более 10–15% городских уроженцев. Но уже в детском возрасте многие из них были вовлечены в поток переселений в города, ибо на время их детства — 20-е — 30-е годы — пришелся пик миграций их родителей. А 40-е — 50-е годы были уже периодом их собственных самостоятельных переселений. В результате в свои зрелые годы пятьдесят, а то и более процентов их оказались горожанами. За первые четыре десятилетия жизни тех, кто родился в двадцатые годы, примерно половина состава поколений, точнее, той их части, которая выжила за это время, переместилась в города.

Тем и было предreshено все дальнейшее. В более молодых поколениях доля родившихся в городах быстро нарастала, у поколений сороковых годов процесс «раскрестьянивания» уже явно пошел на спад. Они изначально были более городскими: почти треть их исходной численности — горожане от рождения. А за первые сорок лет жизни в горожан превратились еще примерно 40% сельских уроженцев, то есть все же меньше, чем в поколениях двадцатых годов.

У поколений пятидесятих–шестидесятых годов доля тех, кто родился в городах, была уже настолько высока (она постепенно приближалась к половине), что последующее перемещение сельских уроженцев в города в прежних масштабах стало заведомо невозможным. И, наконец, в шестидесятые годы (впервые — в 1968 г.) число городских уроженцев превысило число родившихся в селе.

Теперь можно сравнить «поперечные» и «продольные» данные. Доля городских жителей в СССР в 1990 г. составила 66%. Но в какой мере все они были действительно «городскими»? Среди шестидесятилетних жителей страны было не более 15–17% коренных горожан. Среди 40-летних их уже примерно сорок процентов. И только среди 22-летних и более молодых — свыше половины. Но на долю этих последних приходится 37% всего населения, меньшинство. Так что, пожалуй, и к моменту распада СССР нельзя было сказать, что советское общество стало по преимуществу городским. Жители СССР все еще в большинстве были горожанами в первом поколении — наполовину или на три четверти горожане, а наполовину или на четверть крестьяне — несли на себе печать промежуточности, маргинальности. В какой-то мере эта печать наследовалась и их детьми.

И все же сдвиг колоссальный. Около 60% всех детей в бывшем СССР (а в России — все 70) рождались в городах и воспитывались в них и ими. Эта доля будет расти, в России, на Украине, в ряде других бывших республик СССР уроженцы городов скоро станут несомненным большинством народа. Исчерпывает ли, однако, этот количественный сдвиг все проблемы, связанные с завершением урбанизации и ее вкладом в модернизацию советского общества?

### 3.5. Урбанизация по-деревенски

**В** Западной Европе быстрому количественному росту городов в XIX–XX веках предшествовали столетия их качественного возвышения, оно было одной из главных осей складывания нового типа общества. По словам Броделя, уже в XV веке города на Западе навязывали себя деревням, подчиняя себе округа с помощью городских рынков. «Промышленные цены росли, цены сельскохозяйственные снижались. Таким образом города одерживали верх»<sup>34</sup>. За несколько веков влияние городов преобразило западноевропейское общество, так что их количественный рост в более близкие к нам времена оказался подготовленным и лишь закрепил, — разумеется, упрочив и усилив, — их главенствующее положение. К этому времени города изменили социальный состав населения, создали особый образ жизни, вскормили третье сословие, и в конце концов породили городское общество, в принципе отличное от сельского по способу жизнедеятельности.

Ничего этого нельзя сказать о российских городах. На исходе первой трети XIX века Чаадаев писал: «в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам»<sup>35</sup>. В словах Чаадаева слышится сожаление о неразвитости городской жизни в России, однако в целом тогдашнее — да и более позднее — русское общественное мнение было, скорее, враждебно городам, многим они казались чем-то чуждым, чужеродным России. От давних наивных протестов против них иной раз отдает пародией. И. Киреевский как-то писал М. Погодину: «Мы должны желать..., чтобы правительство... не позволяло фабрикам заводиться внутри городов и особенно столиц, когда они с такою же выгодой могут стоять за несколько верст от заставы»<sup>36</sup>. А Н. Федоров в конце XIX века вообще требовал отказа и от городов, и от фабрик. «Недостаточно одного ограничения прилива сельского населения в города (в эти морильни всего живого)..., необходим обязательный в видах спасения земли ежегодный набор в городах для перевода в села и на окраину с устройством кустарного производства вместо фабричного»<sup>37</sup>.

Киреевский, Федоров — славянофилы, «почвенники». Но сходные мотивы доносятся и из другого лагеря. Западник Н. Огарев также произносит суровый приговор Западу, где «город поглотил все». «От этого положение Западной Европы с каждым днем безвыходней. В нашем мире борьба естественно решается в пользу сел, потому что наши города только правительственная фантазия, а в действительности они не имеют ни значения, ни силы. Торговля наша производится посредством подвижных рынков (ярмарок)... Зачем нам города? Вся наша жизнь в селах... Нет! нет! ради истины и блага России — оставьте селы быть селами!»<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М., 1988, с. 123.

<sup>35</sup> Чаадаев П. Я. Философические письма. // Полн. собр. соч. и избранные письма. Т. 1. М., 1991, с. 324.

<sup>36</sup> Киреевский И. В. Полн. собр. соч. в двух томах. Т. 2. М., 1911, с. 249.

<sup>37</sup> Федоров Н. Ф. Выставка 1889 года. // Сочинения. М., 1982, с. 456.

<sup>38</sup> Огарев Н. П. Комиссии для составления положений о крестьянах. // Колокол, вып. II (1859), с. 417.

Заклинания противников роста городов не помогли. Урбанизация шла в дореволюционной России, она резко ускорилась с конца 20-х годов в СССР, и, если исходить из западного опыта, следовало ожидать и качественных перемен в самом обществе, в частности, ускоренного становления городских средних классов. В какой-то мере это и происходило — в силу законов конвергенции. Невозможно жить в городской и промышленной среде по сельским правилам, сохранять столь же простую социальную структуру и т. д. Конвергенция, впрочем, — вещь обоюдоострая. Если вылез из воды на сушу, расставайся с жабрами и обзаводись легкими, иначе не проживешь. Однако же кит — млекопитающее, а живет в воде и потому похож на рыбу. Не произошло ли нечто подобное и с советскими горожанами?

В результате массового перетока сельских жителей в города в двадцатые и особенно в тридцатые годы поколения 1920-х годов стали первыми в истории страны, которые, в пору их наибольшей жизненной активности (в возрасте от 20 до 50 лет), оказались по преимуществу городскими. Но это были такие городские поколения, в которых на каждого коренного горожанина в возрасте 20-50 лет приходилось 3-4 вчерашних сельских жителя. Нечто подобное наблюдалось только в предыдущей группе поколений, родившихся в 1910-е годы.

Для более ранних поколений отношение некоренные/коренные горожане не превышало два-три к одному, и чем дальше в глубь XIX века, тем оно меньше. Может показаться, что для них это соотношение было не очень важным, потому что горожане оставались в меньшинстве в своих поколениях до конца их жизни. Но, может быть, эта относительная монолитность малочисленных горожан, родившихся в последние десятилетия прошлого века, как раз и объясняет очень многое и в их судьбах, и в судьбе России.

Пик их активности пришелся на начало нынешнего столетия, и тогда они сыграли огромную роль в политической и духовной истории страны. Напомним лишь несколько всем известных имен. Некоторые принадлежат людям, родившимся еще в 60-е или в первой половине 70-х годов XIX века, а иногда и раньше. Таковы, например, Витте (1849), Плеханов (1856), Милюков (1859), Чехов (1860), Столыпин (1862), Кандинский (1866), Горький (1868), Ленин (1870), Бунин (1870), Скрябин (1871), Деникин (1872), Мартов (1873), Рахманинов (1873), Бердяев (1874), Колчак (1874). Но рядом с ними или за их спиной стоят и более молодые, их даты рождения группируются вокруг 1880 г. Врангель родился в 1878 г., Сталин, Троцкий и Савинков — в 1879 г., Керенский — в 1881, Каменев и Зиновьев — в 1883. И здесь же Малевич (1878), Блок (1880), Белый (1880), Гончарова (1881), Ларионов (1881), Стравинский (1882).

Политики, идеологи, деятели культуры, указующие путь народам, кажутся порой особыми людьми, представляющими лишь самих себя, свои личные амбиции и глубоко индивидуальные дарования. Но можно ли не видеть и того, как глубоко укоренены они в своем времени, как тесно связаны с поколениями, к которым принадлежат? И можно ли понять движение политических или общекультурных идей, деятельность вы-

дающихся лиц или изменения социальных институтов, не понимая, что происходит со сменяющимися друг друга поколениями людей?

Можно ли сегодня не задуматься, например, над тем, что идея пролетарской революции в России осияла жизненный путь, а нередко и жизненный подвиг людей, принадлежавших к поколениям, на девять десятых крестьянским? Да будь марксизм тысячу раз верным учением, в его первоизданном виде в этих поколениях он мог быть воспринят только чрезвычайно малочисленной интеллектуальной элитой, людьми, может быть, в меру своего понимания, и сострадавшими искренне этим самым девятидесятым своих собратьев, но жившими в совершенно ином, чем они, социокультурном пространстве. Стоило «революционной теории» выйти за пределы элитарных кружков и соприкоснуться с массовой крестьянской, а того хуже, люмпенской, маргинальной, уже не крестьянской и еще не городской идеологией и психологией, как она должна была неминуемо преобразоваться во что-то совершенно иное, в нечаевщину, угрюм-бурчеевщину, в новую религию, нивесть во что. В начале века Н. Бердяев писал, что марксизм в России подвергся народническому перерождению<sup>39</sup>, — и это еще самое слабое, что можно сказать сегодня, когда XX век приближается к своему завершению.

Ну, а либералы, на что могли рассчитывать они? Поколение Столыпина даже во время проведения знаменитой земельной реформы на 85% состояло из сельских жителей, прежде всего из крестьян-общинников. Были ли они, а в конечном счете, и все общество готовы к отказу от коренных устоев своего существования? Можно винить кого угодно в убийстве Столыпина, но столыпинская реформа забуксовала вследствие коллективного, массового неприятия ее крестьянами. Деревенский мир защищал себя — себя в том виде, в каком он привык быть всегда. Поэтому и живущее его соками общество в целом отторгало любые «городские» новшества, будь то монетарная экономика, гражданские свободы или художественный авангард.

Но Столыпин и Милюков, Ленин и Троцкий, Татлин и Маяковский тоже ведь не с неба свалились. Города — и не как «правительственная фантазия», а как порождение новых, буржуазных, что собственно и значит в переводе «городских», отношений — все-таки росли в России. То, что они развивались медленно, что жизнь в них менялась мало, лишь распаяло нетерпение новых горожан, которые уже почувствовали вкус новой жизни — новой экономики, новой гражданственности, новой эстетики. Немногочисленные, но чрезвычайно активные, ибо были, если так можно выразиться, на острие истории, они начали битву со «старым миром» и в конце концов выиграли ее. Одержали победу, которую сейчас невозможно отличить от поражения.

Они подготовили пришествие поколений первых «массовых» горожан, родившихся в десятые–двадцатые годы. У более молодых поколений тридцатых и последующих годов рождения численное преобладание горожан в возрастах наибольшей активности все время нарастало. Но отношение коренные/некоренные горожане в этих возрастах теперь как раз непрерывно падало. Уже для поколений 1930-х годов оно вер-

<sup>39</sup> Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда. // Вехи. Интеллигенция в России. М. 1991, с. 35.



нулось к величине два–три к одному, для более же поздних поколений ни при каких условиях не может достичь даже значения два к одному.

Выходит, что примерно в сороковые–пятидесятые годы XX века советские города оказались захваченными вчерашними крестьянами. Принесенная в жертву Молоху индустриализации, лишенная прав, измученная голодом, истекавшая кровью, разоренная войной, но не только ею деревня искала спасения в городах, продолжая и там служить тому же Молоху, неся на себе главную тяжесть «строительства социализма» и его защиты. Те, кто спасся, выжил и обосновался в городах, оказались на какое-то время в огромном численном превосходстве над коренными горожанами. А уж естественным следствием этого стал постепенный переход в их руки влияния и власти, которые сосредоточивались в городских центрах.

«Почитайте появляющиеся в советской печати однотипные некрологи номенклатурных чинов старшего поколения, — пишет М. Восленский в своем исследовании советской «номенклатуры», — вы увидите: подавляющее их большинство — выходцы из крестьян. Каково бывает соотношение рабочих и крестьян в номенклатуре, видно из следующего примера: в 1946 году в Минской области было 855 руководящих работников, в том числе из крестьян 709 (почти 80 процентов), а из рабочих — всего 58 человек»<sup>40</sup>.

Сейчас мы располагаем данными о происхождении высшей партийной элиты за весь советский период. В табл. 3.7 приведены данные о пополнении состава руководящих партийных органов — Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС с октября 1917 по 1989 г. включительно городскими и сельскими уроженцами. Самой высокой была доля городских уроженцев в первых составах партийного руководства времен революции и гражданской войны — как раз тогда, когда доля горожан в населении была самой низкой. Позднее, по мере того как доля городского населения росла, партийная элита все больше пополнялась за счет выходцев из деревни — в некоторые периоды больше, чем наполовину. Обращает на себя внимание также убывающая роль уроженцев крупных городов, особенно столиц, в то время как выходцы из малых городов и поселков, которые и в России, и в СССР часто не слишком отличались от деревни, появляются в партийном руководстве все чаще и чаще. За четыре десятилетия с 1950 по 1989 г. здесь появилось всего два уроженца Москвы и ни одного — Петербурга-Ленинграда, «колыбели революции». Из ста человек, пришедших за это время на высшие партийные посты, 47 родились в деревне и 17 — в рабочих поселках. Уроженцев же крупных городов, включая Москву, было всего 22, причем 9 из них пришли уже в горбачевское время — с 1985 по 1989 гг.

Налицо резкое расширение участия выходцев из деревни или полудеревни в партийном, а значит, и государственном руководстве по мере естественного расширения лидерства поколений десятых–двадцатых годов. В этом смысле хрущевское и послехрущевское время было, как никогда, сельским, у власти великой державы — и на уровне высшего руководства, и на всех иных уровнях, во всех областях жизни стояли деклассированные маргиналы, «выдвиженцы» из крестьян.

<sup>40</sup> Восленский М. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. М., 1991, с. 140–141.

Таблица 3.7. Городское и сельское происхождение партийной элиты РКП(б), ВКП(б), КПСС, 1917–1989 гг.

	<i>Год первого прихода на высший пост</i>										
	1917- 1919	1920- 1929	1930- 1939	1940- 1949	1950- 1959	1960- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1917- 1989	1917- 1929	1930- 1989
<b>Всего, человек</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>193</b>	<b>64</b>	<b>129</b>
из них:											
городские уроженцы	14	27	9	6	18	12	4	19	109	41	6
в том числе:											
— Москвы и Петербурга	4	5	4	3	1	-	-	1	18	9	9
— других крупных городов*	6	12	3	1	1	5	2	12	42	18	24
— прочих городов	3	5	2	2	6	3	2	3	26	8	18
— поселков	1	4	-	-	10	4	-	3	22	5	17
сельские уроженцы	4	20	6	8	16	11	7	13	85	24	61
<b>Всего, %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
из них:											
городские уроженцы	77,8	58,7	60,0	42,9	52,9	52,2	36,4	59,4	56,5	64,1	52,7
в том числе:											
— Москвы и Петербурга	22,2	10,9	26,7	21,4	2,9	-	-	3,1	9,3	14,1	7,0
— других крупных городов*	33,3	26,1	20,0	7,1	2,9	21,7	18,2	37,5	21,8	28,1	18,6
— прочих городов	16,7	10,9	13,3	14,3	17,6	13,0	18,2	9,4	13,5	12,5	14,0
— поселков	5,6	8,7	-	-	29,4	17,4	-	9,4	11,4	7,8	13,2
сельские уроженцы	22,2	43,5	40,0	57,1	47,1	47,8	63,6	40,6	44,9	37,5	47,3

\* к их числу отнесены дореволюционные губернские города, а также республиканские и областные центры советского времени

*Источник: Рассчитано по: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей. М., 1996.*

Изменения в составе высшей партийной элиты — лишь частный случай перемен, происходивших повсеместно. Страна урбанизировалась, но сами города «рурализовались», одеревенщивались, в этом заключалась одна из характерных черт дивергентного с Западом, городского развития. Может быть, главным проявлением «одеревенщивания» городов и главным тормозом углубления урбанизации была система экономических отношений, утвердившихся в стране и тоже наложивших «деревенский» отпечаток на жизнедеятельность городов и городскую среду — тем более, что эти отношения были хорошо понятны хлынувшим в города вчерашним крестьянам.

Современный город — стихия рыночных, денежных отношений, арена их триумфа, и именно в этом — главная сила его влияния на человека. Рынок, деньги, существовавшие испокон веков, на «городском» этапе истории становятся мощнейшим регулятором всей социальной жизни. Без универсальности денег немыслим и универсальный «городской» человек. А «противоречие между количественной границей и качественной безграничностью денег», о котором писал Маркс<sup>41</sup>, служит как бы зеркальным отражением противоречия существования индивидуального человека в мире универсальных возможностей, стало быть, в мире постоянного выбора. Выражая ту же мысль, Зиммель подчеркивал, что «во все времена большие города были зоной монетарной экономики», и связывал с этой их особенностью тип личности горожанина — рационального человека. «Чисто рациональный человек безразличен ко всему индивидуальному, потому что индивидуальные отношения, с точки зрения логического разума, неисчислимы. Подобным образом монетарный принцип не принимает во внимание индивидуального характера явлений»<sup>42</sup>.

Бурная урбанизация советского периода сопровождалась чем угодно, только не триумфом рыночных отношений. Подобно промышленности и сельскому хозяйству, а, может быть, еще и в большей степени, города были исключены из сферы рыночного регулирования. Считалось, что вопросы о том, где и какие строить заводы, решались центральными планирующими органами «на научной основе». Но на деле, в отсутствие рыночного ценообразования, позволяющего судить о спросе, предложении, издержках и т. п., эти органы просто не имели объективных критериев для принятия подобных решений. Зато свобода субъективных оценок, политического давления, коррупции в этих случаях была очень велика. В распределении капиталовложений в городскую промышленность и городское хозяйство царили случайность и произвол.

Экономика мстила за неуважение своих законов. Всевластие планового начала было фикцией, оборачивалось хаосом и бесконтрольностью. В 1931 г. Пленум ЦК ВКП(б) — тогда полный хозяин страны — принял решение «О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства в СССР», где, в частности, говорилось: «Пленум ЦК считает нецелесообразным нагромождение большого числа предприятий в ныне сложившихся крупных городских центрах и предлагает в дальнейшем не строить в этих городах новых промышленных предприятий, в первую очередь не строить их в Москве и Ленинграде, начиная с 1932 г.»<sup>43</sup>. С тех пор было принято бесчисленное

<sup>41</sup> Маркс К. Капитал. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 144.

<sup>42</sup> Simmel G. Op. cit., p. 63.

<sup>43</sup> О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства в СССР. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1970. Изд. 8-е, т. 4, с. 554.

множество подобных решений, постоянно расширявших круг городов, в которых следовало ограничивать промышленное строительство (например, в 1956 г. было принято постановление правительства о запрещении промышленного строительства в 48 крупных городах и о его ограничении еще в 23), и пролиты океаны публицистических и «научных» слез по поводу того, что эти решения никогда не выполнялись. Они и не могли выполняться, потому что по своей идеологии и методологии мало отличались от цитированной выше рекомендации И. Киреевского «не позволять фабрикам заводиться внутри городов и особенно столиц».

Такое же выхолащивание рыночных механизмов произошло и в повседневной жизни горожан. Как-то П. Столыпин привел в одном из своих выступлений в Государственной думе слова Достоевского (из «Записок из мертвого дома»): «деньги — это чеканенная свобода»<sup>44</sup>. Подавление монетарной экономики, почти полное исключение из сферы ее влияния городского развития, замена «игр обмена» «играми распределения» — все это обернулось огромной несвободой и для горожан, и для негорожан.

Ярким проявлением этой несвободы стала прописка и связанные с нею ограничения. Они появились в 1932 г. на самой заре советской урбанизации одновременно с введением паспортов. Впрочем, для России это не была такая уж новая мера. Даже после отмены крепостного права крестьянин не мог уйти в город — хотя бы временно, на заработки, — не получив паспортного документа, что требовало согласия сельского общества и хозяина крестьянского двора, причем такой документ выдавался на ограниченный срок и мог быть не продлен или даже отобран до истечения срока. Еще сложнее было окончательно выйти из сельского общества и вступить в одно из городских сословий. Существовавшие здесь правила основывались «на непризнании за крестьянами свободы передвижения, закрепляли их зависимость от «мира», сельской и волостной администрации, иногда также от губернского по крестьянским делам присутствия, утверждали связанность крестьянина как члена семейства. На деле официальные правила отягощались постоянными вымогательствами и незаконными поборами»<sup>45</sup>.

В конце XIX века все это рассматривалось как пережитки крепостного права, вызвало постоянные протесты со стороны самых разных политических сил. В начале 30-х годов XX века забытый, казалось бы, опыт царской администрации снова оказался полезным. Проживание в городе предполагало наличие паспорта со штампом о прописке. Прописка же во все большем числе городов становилась ограниченной, так что не только крестьянин не мог туда вселиться (у крестьян долгое время вообще не было паспортов), но и житель одного города не мог свободно переехать в другой. В лучшем случае, он мог сделать это с помощью обмена квартиры, лишней раз демонстрируя возможности натуральнохозяйственных отношений в XX веке.

Прописка была не просто полицейской мерой, как иногда думают, а хитрой частью механики прямого распределения, претендовавшего на то, чтобы вытеснить из социальной практики опосредующие рыночные механизмы. Она была чем-то вроде со-

<sup>44</sup> Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете 1906–1911. М., 1991, с. 105.

<sup>45</sup> Рындзюнский П. Г. Цит. соч., с. 209.

словной привилегии горожанина, ибо давала право требовать получения бесплатной квартиры, пользоваться разного рода городскими благами — неодинаковыми в разных городах — и т. п. Вообще, прописка служит хорошей иллюстрацией ублюдочных, как сказал бы Маркс, форм, сочетающих в себе новейшие достижения урбанизации (миллионные города-индустриальные центры) со средневековой архаикой (прямое распределение в натуральной форме, отсутствие свободы передвижения и пр.).

В СССР практически не существовало продажи недвижимости, в городах исчез рынок жилья — оно распределялось, «выдавалось», «получалось». При этом очень гордились бесплатностью квартир, низкой стоимостью коммунальных услуг, как будто за них и в самом деле никто не платил. Платили, конечно, все «трудящиеся» (в том числе и крестьяне, которым бесплатного государственного жилья не полагалось) через систему явных и неявных удержаний из заработанного ими, и здесь не было никаких исключений. А вот какое жилье получал человек и получал ли он его вообще, — это зависело от массы случайностей или волевых, субъективных решений, которые абсолютно не поддавались контролю со стороны гражданина.

Теоретически можно было ожидать, что, несмотря ни на что, оказавшись в мощном поле влияния городской среды, новоиспеченные горожане все же начнут быстро меняться, усваивать городские ценности, нормы поведения, эстетические критерии и т. п. Вселяясь в новую квартиру, каждая семья решала свои насущные жизненные задачи, которые могли казаться чисто материальными, инструментальными. Но из миллионов таких вселений складывался основополагающий сдвиг в облике общества, оно еще раз — и теперь уже окончательно — порывало со своим деревенским прошлым, усваивало новый образ жизни, новую систему внутри- и межсемейных отношений, новый круг потребностей, новую эстетику, вообще становилось совсем другим.

На практике все было не столь однозначно. Перемены в материальных условиях жизни были налицо. Благодаря крупномасштабному жилищному строительству 60-х – 80-х годов не только появлялись, но и удовлетворялись массовые «желания и потребности, которые ранее могли себе позволить лишь немногие». Здесь уместен «банальный пример», с помощью которого Ортега-и-Гассет пояснял свою мысль о демократизации, выравнивании условий жизни европейского населения. «Comtesse де Буань в своих „Мемуарах“ сообщает, что в 1820 году во всем Париже едва насчитывалось десять ванн комнат. А сейчас массы знакомы в достаточной степени с такой техникой, которой раньше пользовались лишь специалисты»<sup>46</sup>. В советских городах в послевоенный период десятки миллионов людей вселялись в квартиры, обладающие стандартным набором основных современных удобств (холодная и горячая вода, канализация, центральное отопление, газовая или электрическая плита) и тем самым приобщались к материальным условиям жизни, почти совершенно неизвестным поколению их родителей. Постепенно они осваивали свое новое жилое пространство, вырабатывали свое представление о его внутренней организации, убранстве и пр. Однако при этом они уже выходили за рамки официальных инструментальных ценностей советского общества и наталкивались на сопротивление системы.

<sup>46</sup> Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991, с. 51.

Советские газеты без конца воспевали наличники старой крестьянской избы и в то же время клеймили как презренный «вещизм» массовый интерес (часто, конечно, примитивный, но иначе и не могло быть) к предметной среде нового городского жилища. И это не было случайностью. Для советского общества урбанизация была побочным продуктом индустриализации. Если оно и решало городские проблемы, то только как утилитарные, инструментальные: «трудовым ресурсам», «рабочей силе» надо было где-то жить, значит, надо было строить города, возводить жилые дома, создавать необходимую техническую и социальную инфраструктуру. Город был местом удовлетворения излюбленных Госпланом «рациональных потребностей», но не более того. Собственно же жилая или городская среда, складывающаяся под влиянием не только необходимости, но и случайности, фантазии, прихоти и сама создающая потребности, еще не известные Госплану, не осознавалась как самостоятельная ценность. Соответственно и затраты на ее развитие — и материальные, и интеллектуальные — были ничтожными. Все, что касалось развития и благоустройства городов, делалось — в полном соответствии с приоритетами милитаризованной советской экономики — в минимальных, функционально необходимых пределах, самым дешевым способом.

Экономия сказывалась во всем. Вся страна — от Львова и Калининграда (Кенигсберга) до Душанбе и Владивостока застраивалась стандартными, похожими как близнецы, жилыми домами из дешевых панелей или силикатного кирпича (при очень низком качестве строительства). Печать той же стандартности и посредственности лежала и на общественных зданиях, на всей материальной среде городов — их планировке, архитектуре, способах освоения пространства и пр. Делая минимум необходимого, государство стремилось переложить как можно большую часть расходов и тягот городской жизни на плечи самого населения. В этом заключалось, в частности, объяснение «слободизации» страны, «массированного наплывания окраинной слободы на... городские центры»<sup>47</sup>.

Городское или связанное с городом жилищное строительство оплачивалось из двух главных источников. Одним из них были государственные и кооперативные предприятия и, в меньшей степени, жилищные кооперативы, другим — средства индивидуальных застройщиков и получаемый ими государственный кредит. В первом

<sup>47</sup> Глазычев В. Слободизация страны Гардарики. //Иное. Т. 1. М., 1995, с. 86. Эта слободизация не имела ничего общего с западной субурбанизацией, движущей силой которой был собственный автомобиль. Жители советской «субурбии» в массе своей не могли и помышлять об автомобиле, это были парии советских городов. Позволю себе процитировать свою давнюю статью на эту тему. Речь идет о «многочисленных одноэтажных поселках, окружающих наши большие города и очень тесно связанных с ними трудовыми связями». «Смысл создания и развития этих поселков был в их небольшой стоимости; государство почти не несло расходов в связи с их строительством и благоустройством, размещение же подобной застройки в пределах городов хотя и имело место, но противоречило интенсивному характеру освоения городских земель. Низкий уровень благоустройства этих поселков, их значительная удаленность от места работы и другие неудобства лишь частично компенсируются хорошими природными условиями, наличием приусадебных участков и т.п., в целом же жизнь в поселках связана со многими неудобствами, которых не знает житель города». (Вишневский А. Экономические проблемы развития форм городского расселения. //Проблемы современной урбанизации. М., 1972, с. 65). Одним из главных неудобств были ежедневные поездки на работу в города («трудо-

случае велось, как правило, строительство многоэтажных домов с соответствующей инфраструктурой, в результате складывалась и развивалась более или менее интенсивно освоенная городская среда. Во втором же случае была возможна только экстенсивная усадебная застройка одноэтажными домами, мало отличавшаяся, а то и вовсе не отличавшаяся от сельской. Такая застройка велась рабочими и служащими (в их число не входят колхозники и сельская интеллигенция) в городах (в больших городах — в основном на окраинах), в поселках городского типа, а также в пригородных деревнях<sup>48</sup>. Ее доля в некоторые периоды была очень высока: в 1938–1941 гг. — 24% всей общей площади построенных в стране жилых домов, в 1941–1945 — 25%, в 1946–1950 — 38%, в 1951–1955 — 37%, в 1956–1960 — 25%, в 1961–1965 — 17%. В последующем эта доля установилась примерно на уровне 8–10%<sup>49</sup>. В результате относительно современные городские ядра обрастали бесконечными полугородскими-полусельскими окраинами и пригородами, а они, в свою очередь, по-своему влияли на формирование городской среды, которая и без того развивалась в значительной степени под воздействием менталитета и эстетики новых горожан — вчерашних крестьян, часто враждебных самому городскому духу.

«Сельскость» этой среды бросалась в глаза и прежде. По впечатлениям иностранцев, относящимся к достаточно отдаленному прошлому, в отличие от европейских государств, где горожане стремились к более плотной застройке, к созданию особого мира, отличного от сельского, заполненного людьми и творениями их рук, в России города расплзались по земле, «оставляя между жилыми домами и общественными зданиями обширные пространства, которые население не может ни заполнить, ни оживить. Поэтому для иностранца, приезжающего из Европы, большинство городов... — это что-то незаполненное, пустынное, незавершенное; часто они напоминают свои собственные пригороды»<sup>50</sup>. Эти давние наблюдения не утратили смысла и после советской «городской революции», полноценной городской среды и городской инфраструктуры нельзя было найти почти ни в одном советском городе. Даже Москва и Ленинград все больше теряли свой столичный класс, старые исторические центры городов ветшали, а частично и разрушались, но это не считалось потерей. «Во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, чем центры города», — с гордостью говорил Сталин<sup>51</sup>. Между тем городская среда не только создается горожанами, но и создает их. Экстенсивная, однообразная, невыразительная даже в центрах городов застройка, вымирающие к вечеру улицы — не лучшее место для воспи-

вая маятниковая миграция»), занимавшие часто несколько часов. Маятниковая миграция была одним из способов дешевого привлечения рабочей силы для нужд ненасытной промышленности, позднее к маятниковым мигрантам добавились миллионы бесправных городских «лимитчиков» — чаще всего, выходцев из деревни, работавших в городах, но не имевших постоянной прописки в них, что обходилось государству еще дешевле.

<sup>48</sup> Например, из 94 млн. кв. м жилья, построенного рабочими и служащими в 1961–1965 гг., 43,2 млн. (45%) находилось в сельской местности, в основном, разумеется, пригородной. (Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг., М., 1972, с. 365).

<sup>49</sup> Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг., с. 364; Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 508.

<sup>50</sup> *Leroy-Beaulieu A. L'empire des tsars et les Russes. Paris, 1990, p. 225.*

<sup>51</sup> *Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. // Соч., т. 13, с. 335.*



тания активных и многомерных характеров, для организации разностороннего человеческого общения.

И еще одна черта указывала на неполноценный, «деревенский» характер советской урбанизации. Границы между городом и «сельской местностью» — не только физические. Европейский город изначально был носителем определенных прав своих жителей — городское право противопоставлялось деревенскому бесправию, город пользовался политической, правовой, экономической автономией по отношению к окружавшему его негороду. Такая автономия — сущностная особенность, выделяющая город как особый целостный сгусток социального пространства. В советское время никакой городской автономии не существовало. До 1936 г. не было даже городских советов — «только губернские, т. е. и этим город был как бы сплюснен и размазан по обширной территории»<sup>52</sup>. Появление городских советов тоже мало что изменило, потому что города оставались в «областном подчинении», к тому же и не в советах принимались главные решения — они полностью зависели от областного комитета партии. В. Глазычев точно указывает на типичное для инструментальной модернизации противоречие, которое — в очередной раз — заводило в тупик саму эту модернизацию: «с одной стороны, полагалось всемерно растить объем индустриально-городского населения, а с другой — всякая автономность города как социального института отрицалась *per se*, ничто уже не могло препятствовать торжеству слободизации страны»<sup>53</sup>.

### 3.6. Новые городские слои

**Н**о, может быть, самое важное следствие особого пути советской урбанизации и главный показатель незавершенности городской революции — отсутствие «средних» городских слоев. Еще Петра I, а затем Екатерину II занимала мысль «о создании среднего рода людей в смысле западноевропейской буржуазии»<sup>54</sup>. «Екатерина много хлопотала о так называемом третьем сословии; это третье сословие, т. е. городское промышленно-ремесленное, тогда, как известно, было модным словом в Западной Европе...; на третьем сословии покоились все надежды тогдашних либералов»<sup>55</sup>. Ключевский приводит выдержку из письма Екатерины ее французской корреспондентке мадам Жоффрен, убеждавшей императрицу в необходимости третьего сословия: «Обещаю вам, м-м, еще раз позаботиться об этом: но и как же будет мне трудно устроить это третье сословие в России»<sup>56</sup>.

Императрица знала, что говорила. Мысль о создании сильного третьего сословия принадлежала к числу тех «предположений или мечтаний» Екатерины, которые, по словам Ключевского, «были упразднены самой жизнью как излишние»<sup>57</sup>. «Мы не мо-

<sup>52</sup> Глазычев В. Цит. соч., с. 77.

<sup>53</sup> Там же, с. 87.

<sup>54</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1989, с. 283.

<sup>55</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1937, с. 162. В издании 1989 г. (Ч. V, с. 142–143) это место, как и приводимая далее цитата из письма Екатерины (примечание 56), даны в несколько иной редакции.

<sup>56</sup> Там же, с. 163.



жем определить, — писал он, — насколько успехи, сделанные городским классом при Екатерине, произошли от ее забот, насколько ими была обязана Россия естественному ходу дел, однако эти успехи становятся заметны, только они не оправдывают наших ожиданий... Городской класс составлял 1/25 всего податного населения империи»<sup>58</sup>.

С неоправдавшимися ожиданиями насчет третьего сословия России пришлось сталкиваться еще не раз. В свое время французский историк А. Леруа-Болье высказывал надежды (которые тогда многие питали и в России и вне ее), что реформы Александра II и общее буржуазное развитие страны изменят положение, приведут, наконец, к появлению сильного «среднего класса, крупной, а возможно еще больше мелкой буржуазии, служащей посредником между идеями верхов и нуждами низов. Только это может положить конец социальному дуализму, моральному расколу, который со времен Петра Великого составляет одну из бед России, препятствует упразднению привилегий и прогрессу равенства. Только тогда эта нация, разделенная внутри себя и еще сегодня расколотая на две части, бессильные порознь, сможет явить Европе меру своего гения»<sup>59</sup>.

Но рядом с надеждами шли и опасения по поводу того, что третье сословие может не прижиться в России. «Боже нас упаси от исполнения такого пожелания!» — воскликнул многие русские. Аристократы или демократы, они склонны очень плохо воспринимать это заимствованное у нас безобидное слово „буржуазия“, которым злоупотребляют самым странным, на западный взгляд, образом... Они испытывают страшное презрение к нашему „буржуазному“ обществу и нашей „буржуазной“ цивилизации, к нашим „буржуазным“ свободам и строю. Они искренне гордятся тем, что у них нет ничего подобного и не хотят походить на нас в этом смысле. В своем стремлении к единству и социальной однородности, в своей постоянной антипатии к классовым различиям, они смотрят на буржуазию как на что-то вроде новой касты или враждебной народу олигархии, не осознавая, что сближение классов, о котором они мечтают, обязательно приводит к появлению буржуазии, свободной от всех кастовых предрассудков, единственной, кто способен реализовать моральное единство нации, столь дорогое их сердцу»<sup>60</sup>. Наблюдения иностранца не расходились с «внутренними» оценками. «Слова „буржуа“, „буржуазный“ в России носили порицательный характер, в то время как на Западе эти слова означали почтенное общественное положение...» — писал Бердяев<sup>61</sup>.

Долгие десятилетия в неразвитости городов, в отсутствии в России буржуазии многие видели признак ее самобытности, залог того, что страна пойдет по иному, чем Запад, пути. Когда П. Струве в «Вехах» высказал убеждение в том, что в ходе эконо-

<sup>57</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1989, с. 283.

<sup>58</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1937, с. 162–163. В издании 1989 г.: «на 161½ млн. душ податного населения насчитано было немного более 700 тыс. ревизских душ городских состояний, т.е. менее 5%» (с. 143).

<sup>59</sup> Leroy-Beaulieu A. Op. cit., p. 243.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Бердяев Н. Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). Париж, 1946, с. 198–199.

мического развития русская интеллигенция «обуржуазится» и «втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества»<sup>62</sup>, это немедленно вызвало возражения. «Должно ли развитие капитализма привести к тому, что и русский интеллигент «обуржуазится», проникнется мещанским духом..?» — спрашивал М. Туган-Барановский<sup>63</sup>, напоминая слова Герцена о том, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации. «Мещанство» — главный враг, его отсутствие в России — предмет необъяснимой гордости едва ли не всех течений общественной мысли. Самые просвещенные русские философы и экономисты не желали видеть, что «мещанства» западного типа в России не вообще нет, а *еще* нет. Они были убеждены, что русское немещанство — не следствие слабой развитости городов, городского образа жизни и городских традиций в сельском обществе, а чуть ли не вечная метафизическая черта русского народа, причем черта положительная, способная оправдать немалые дикости отечественной жизни. «Русский народ в глубоких явлениях своего духа — наименее мещанский из народов, наименее детерминированный, наименее прикованный к ограниченным формам быта, наименее дорожащий установленными формами жизни», — утверждал Бердяев, видя в этом самостоятельное достоинство. «У русских отсутствуют буржуазные добродетели..., столь ценимые Западной Европой. Буржуазные же пороки у русских есть, именно пороки, которые такими и осознаются... Самый быт русский... бывал безобразен в такой степени, в какой этого не знали народы западной цивилизации. Но этот буржуазный быт не почитался святыней»<sup>64</sup>.

Признавая, что в Западной Европе мелкая буржуазия веками играла «промежуточную роль между высшими классами и народными массами и соединяла все слои населения в одно целое национальной культуры»<sup>65</sup>, Туган-Барановский подчеркивал, что там она «была всецело созданием городского цехового строя, которого Россия, даже в каких-либо зачатках, совершенно не знала»<sup>66</sup>. Купцы и промышленники, конечно, были в России, но по своему происхождению, положению в обществе и государстве, влиятельности, самостоятельности они были далеки от западноевропейских буржуа. Ричард Пайпс имел все основания назвать посвященную им главу своей книги «Буржуазия, которой не было»<sup>67</sup>. Но значило ли это, что ее и не будет?

Спору нет, фермер или лавочник — далеко не всегда аристократы духа. В разных странах они не раз ощущали себя «массами», собирались в фанатичные толпы, становились участниками факельных шествий и погромов, случалось, и опорой тоталитарных режимов. Нет никакой необходимости приукрашивать мелкого буржуа, часто и впрямь малосимпатичного. Но можно ли избежать «мещанства» только потому, что непривлекательны, ограничены, корыстны, вульгарны многие «мещане»? И неужто так уж привлекательны были все русские дворяне? В рассуждениях о мещанстве истори-

<sup>62</sup> Струве П. Б. Интеллигенция и революция. // Вехи..., с. 150.

<sup>63</sup> Туган-Барановский М. И. Интеллигенция и социализм. // Вехи..., с. 429.

<sup>64</sup> Бердяев Н. Русская идея..., с. 198–199.

<sup>65</sup> Туган-Барановский М. И. Цит. соч., с. 420.

<sup>66</sup> Там же, с. 421.

<sup>67</sup> Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993, с. 252.

ка или социолога речь вообще должна идти не об отдельных людях, а о социальном слое, который, достигнув определенной зрелости, по соображениям собственной выгоды, начинает играть стабилизирующую роль в обществах современного типа. История его становления — это история «среднего класса», который всего лишь «стоял за свои деловые интересы, а поскольку интересы эти требовали законопроявления и защиты прав личности, он боролся за общественное устройство, соответствующее идеалам, которые впоследствии стали называть либеральными. Коли дело обстояло так, есть смысл полагать, что между ставшей притчей во языцах неразвитостью законности и свободы личности в России и бессилием или апатией ее среднего класса существует отнюдь не поверхностная взаимосвязь»<sup>68</sup>.

Советский вариант модернизации предложил свою альтернативу становления современного общества — без среднего класса. Однородная масса крестьян превратилась в не менее однородную массу государственных рабочих и служащих. Насколько убедительной оказалась эта альтернатива? Внутреннее разнообразие общества, а значит, и его устойчивость оказались очень ограниченными. Оно способно было существовать только в условиях либо чрезвычайной мобилизации, либо застоя, либо нестабильности. Весь советский опыт да и первые годы опыта постсоветского как раз и убеждают, что при сохранении слабой расчлененности общества, отсутствии в нем внутренних социальных противовесов, устойчивой мещанской середины, средних слоев, предпочитающих осмотрительно держаться подальше от краев социального и политического спектра, сочетание стабильности и демократии в стране невозможно.

Городское население и старой России, и СССР всегда было слабо дифференцировано — и в имущественном, и в социально-профессиональном отношении. Еще более ста лет назад Леруа-Болье обращал внимание на чрезвычайную бедность российской городской социальной сцены. На ней выступали уже купцы и промышленники, но почти отсутствовали представители либеральных профессий: юристы, врачи, писатели, профессора, инженеры, нотариусы... «Россия никогда не знала этой аристократии мантии, которая по своему положению и духу занимала столь видное место в нашей старой Франции... В этом отношении Россия первой половины XIX века была еще позади Франции XVI века»<sup>69</sup>.

СССР и к концу 80-х годов XX века не вполне догнал Францию тех далеких времен. Конечно, где-нибудь в миллионном Харькове, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге можно было найти тысячи инженеров самых разных специальностей. Но отличие физика от химика в социальном плане не принципиально. А с «аристократией мантии» как было плохо, так и осталось. Статус адвоката, судьи, юрисконсульта, нотариуса был крайне низким, их роль — ничтожной, а от таких слов, как «биржевик», «банкир» или «торговец недвижимостью», веяло экзотикой чужой, неведомой и к тому же басурманской земли. Между тем, с их деятельностью связано нечто большее, чем технология обработки металла или создания ядерного реактора. Они — специалисты в области технологии жизни в сложном обществе. Эта технология, конечно, везде несовер-

<sup>68</sup> Там же.

<sup>69</sup> *Leroy-Beaulieu A. Op. cit., p. 225, 240.*

шенна, но все же в ней есть свои ноу-хау, порожденные столетиями развития современной городской цивилизации.

Разумеется, индустриализация и урбанизация делали свое дело, внутреннее разнообразие социальной системы увеличивалось, формирование городских средних слоев продвинулось довольно далеко и в советском обществе. Но что представляют собой новые городские слои с социальной и социокультурной точек зрения?

Если говорить о городском населении вообще, то прежде всего бросается в глаза его социокультурная маргинальность.

Переселение крестьянина в город — классический пример маргинализации человека, источник множества синдромов социальной дезадаптации. В СССР, как и везде, вчерашний крестьянин не становился автоматически «городским» индивидуализированным человеком. Поначалу это было лишь формальное превращение, что служило причиной огромных, хотя и не всегда осознаваемых социальных напряжений.

Маргинализировались целые поколения, десятки миллионов людей. С одной стороны, это не могло не привести к очень быстрому разрушению социокультурных стереотипов, выработывавшихся столетиями, к их забвению. Утрачивалась социальная память, а значит, и та почва, на которой естественным образом вырастает многообразие индивидуальных культурных образцов, передаваемых от родителей к детям, от старших к младшим. С другой же стороны, требование городской жизни — индивидуализация личности — плохо воспринималось поколениями, воспитанными на сельских принципах следования групповым стереотипам. Весь процесс социального следования оказался дезорганизованным, общество — дезориентированным.

По мере укоренения бывших крестьян, крестьянских детей и внуков в городах, их вращая в развивающуюся систему городских связей, маргинальность постепенно изживается, и можно надеяться на их все более полное «обуржуазение», превращение в те самые средние слои, о которых пеклась еще и Екатерина II.

Нельзя, однако, упускать из виду уже упоминавшуюся неполноценность системы внутренних связей советского городского общества, развитой в основном лишь постольку, поскольку развито разделение труда. Оно делает массовой фигуру специалиста, то есть человека, обладающего личным, неотторжимым достоянием — знанием, специальностью, квалификацией. В этом достоянии, особенно если речь идет о более редких, интеллектуальных и творческих профессиях, — одна из опор личной независимости, из которой вырастает гражданское самосознание средних классов.

Но еще П. Милюков, размышляя в начале века о будущем средних классов в России, писал, что «третье сословие нашего времени формируется из самых различных элементов русского прошлого, в нем намечаются те силы, которые создали культурную жизнь современной Европы: сила капитала и сила знания»<sup>70</sup>. Одна из этих сил начисто отсутствовала в советское время. Не было «капитала», собственности, не было экономической независимости, столь характерной для классических средних слоев в обществах западного типа. Практически все советские специалисты — от юриспруден-

<sup>70</sup> Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Часть I. Население, экономический, государственный и сословный строй. М., 1918, с. 251.

ции или джаза до торговли или пошива модной одежды — были государственными служащими. Об этом «парадоксе среднего класса» писал А. Амальрик в своей знаменитой книге «Просуществовал ли СССР до 1984 года?». «В нашей стране, поскольку мы все работаем на государство, у всех психология чиновников — у писателей, состоящих членами Союза писателей, ученых, работающих в государственном институте, рабочих или колхозников в такой же степени, как у чиновников КГБ или МВД. ... Так называемый средний класс не только не представляет исключения в этом отношении, но для него... эта психология в силу его социальной срединности как раз наиболее типична. А многие члены этого класса попросту являются функционерами партийного и государственного аппарата. Таким образом, ... хотя в нашей стране уже есть социальная среда, которой могли бы стать понятны принципы личной свободы, правопорядка и демократического управления, ... эта среда столь посредственна, ее мышление столь «очиновлено»..., что успехи демократического движения, опирающегося на этот социальный слой, представляются мне весьма проблематичными»<sup>71</sup>.

Эти слова Амальрика, написанные в 1969 г., оказались пророческими. Ничто не обозначилось ярче с началом горбачевских реформ, чем несостоятельность социальной среды, на которую, казалось бы, должны были опираться реформы, воскресающая (или нарождающаяся?) российская демократия, неготовность этой среды отстаивать «городские» либеральные ценности. Иначе и быть не могло. Каково общество, такковы и люди. А общество все еще оставалось промежуточным, полугородским-полудеревенским. Его все еще мучили фантомные боли, ежечасно напоминала о себе ампутированная деревня и «вновь, в который уже раз, мировой „город“ и его слабое проникновение в панслободскую реальность воспринимались как воплощение вселенского порока»<sup>72</sup>.

Тем не менее недооценивать совершившиеся перемены не следует. Городская революция в СССР не закончилась и пока действительно привела только к торжеству «панслободы». И все же вопрос В. Глазычева «вечна ли схема слободской организации субстрата культуры в пространстве России?»<sup>73</sup>, пожалуй, запоздал. Советское общество, по сравнению с исходным состоянием на рубеже второго и третьего десятилетий XX века, продвинулось по пути урбанизации очень далеко. Конечно, вследствие внутренней противоречивости советской модели урбанизации, в СССР, а значит, и в «пространстве России» была создана, в лучшем случае, лишь, так сказать, внешняя оболочка нового городского общества, его материальная форма. По сути же в нем было еще очень много сельского, оно оставалось слабо структурированным, слабо дифференцированным, средние городские слои едва обозначились. Но именно потому социальная жизнь урбанизовавшегося общества вступала во все большее противоречие с ее материальными условиями, советское общество все ближе подходило — и подошло — к той черте, за которой сохранение прежнего промежуточного, «слободского» положения было невозможно. Это тем более ощущается в новой, постсовет-

<sup>71</sup> Амальрик А. Просуществовал ли Советский Союз до 1984 года? // Погружение в трясину. М., 1991, с. 652–653.

<sup>72</sup> Глазычев В. Цит. соч., с. 85.

<sup>73</sup> Там же, с. 88.

ской ситуации. Завершение городской революции, предполагающее изживание «слободы», формирование полноценных средних городских слоев, становится безусловным требованием времени. Без этих слоев, без «третьего сословия» не обойтись, не выйти из тупика, не вдохнуть новую жизнь в каменные и металлические громады городов и заводов, созданию которых была жертвенно отдана жизнь застигнутых революцией крестьянских поколений.

## ГЛАВА 4

# ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИИ: ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СВОБОДА В НЕСВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

Превращение аграрного общества в промышленное, сельского — в городское было фоном, предпосылкой и в то же время результатом еще одного ряда перемен. Они совершались на «микроуровне», то есть на уровне каждого человека и каждой семьи, затрагивали глубинные, экзистенциальные пласты человеческого бытия, отношение людей к вопросам жизни, продолжения рода, любви, смерти. Эти перемены непосредственно сказались на частной жизни людей, на их брачном, прокреативном, сексуальном, семейном, жизнеохранительном поведении и чрезвычайно сильно повлияли на становление нового типа личности человека, его интеллектуального и эмоционального мира, на его индивидуальный жизненный путь. В конечном счете, демографическая модернизация — довольно условный термин, которым можно обозначить совокупность этих перемен, — стала еще одной важнейшей стороной всего обновления общества и человека.

Как и в случаях с экономической модернизацией и урбанизацией, демографическая модернизация в России — не простое заимствование, не слепое следование чужому примеру. Она — ответ общества на глубокий кризис его собственных традиционных демографических и семейных отношений. В конце XIX — начале XX века такой кризис в России достиг большой остроты.

### 4.1. Переворот в смертности

**О**дной из главных составляющих демографической модернизации в СССР, как и во всем мире, стало огромное снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Дело не просто в том, что в результате этого переворота люди стали жить дольше. Весь ход возобновления поколений стал несравненно более экономичным, чем прежде, и это резко расширило демографическую свободу человека, в частности, сделало ненужной прежнюю высокую рождаемость. Поэтому переворот в смертности послужил запалом более широкого модернизационного процесса — демографического перехода.

Как отмечал незадолго до революции известный демограф Новосельский, «русская смертность в общем типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономическом отношениях стран»<sup>1</sup>. На рубеже XIX и XX веков в Европейской

<sup>1</sup> Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. Пг., 1916, с. 179.

России из каждых 100 родившихся мальчиков только 70 доживали до одного года, 49 — до 20 лет, 36 — до 50; из каждых 100 родившихся девочек соответственно — 74, 53, и 39. Средняя продолжительность жизни составляла 31 год у мужчин, 33 года у женщин, по этому показателю передовые страны того времени превосходили Россию не менее, чем на 15 лет. В России сохранялась глубоко архаичная структура причин смерти, она формировалась под решающим воздействием экзогенных (внешних) факторов и обуславливала высокую смертность в детских и молодых возрастах. Даже в середине двадцатых годов в городских поселениях европейской части СССР только от туберкулеза погибало свыше 11% каждого поколения. Еще больше жизней (около 12%) уносила пневмония — одна из главных причин детской смертности: 70–80% умиравших от этой причины имели возраст до 10 лет, а 40–50% — до одного года. Огромное число детей погибало от инфекционных желудочных заболеваний и других болезней, только на долю умерших от скарлатины, дифтерии, дизентерии и брюшного тифа приходилось более 6% поколения<sup>2</sup>. Роль экзогенных причин смерти в сельской местности была, вероятно, еще большей.

Модернизация смертности объективно была одной из первостепенных задач общего обновления советского общества. Вслед за лидировавшими западными странами, ему предстояло осуществить эпидемиологический (санитарный) переход — от старой к новой структуре причин смерти, от старой к новой модели вымирания поколений, выиграв при этом, в среднем, несколько десятков лет жизни для каждого родившегося. В том, как решалась эта задача в СССР, с наибольшей ясностью отразились противоречия советской демографической модернизации.

Несомненно, в СССР предпринимались значительные и небезуспешные усилия в борьбе за сохранение жизни и здоровья людей. Однако эта борьба часто понималась узко технократически, строилась на заимствовании западных технологических подходов (которые могли какое-то время даже успешно развиваться в СССР), но без «социокультурного бульона», обеспечивавшего постоянное обновление и совершенствование стратегии борьбы со смертью. Уже в 20-е – 30-е годы звучала обеспокоенность тем, что социальное видение проблем здравоохранения часто подменяется медико-технологическим. Как писал один из авторов тех лет по поводу медицинской профилактики, «около нее слишком сильный запах карболки»<sup>3</sup>.

Между тем, одной из главных задач модернизации смертности было преодоление социальной и психологической инерции прошлого. Дореволюционному российскому обществу были свойственны пассивное смирение перед смертью, неверие в возможность ей противостоять и в то же время малая ценность жизни, нередко прямо пренебрежительное отношение к ней. Люди попросту не умели бороться за жизнь — свою и своих детей. «Если бы он знал, — говорил Г. Успенский о русском крестьянине, — ...что он может жалеть своих детей, умирающих теперь безо всякого внимания сотнями, тысячами..., что ему, мужику, можно заботиться вообще о себе, о своей семье, жене, детях, он бы давно заорал на весь мир... Он думает, что ничего этого ему нель-

<sup>2</sup> Бирюкова Р. Н. Таблицы смертности по причинам смерти. // Проблемы демографической статистики. М., 1959, с 339.

<sup>3</sup> Томилин С. А. Демография и социальная гигиена. М., 1973, с. 140.



зя...»<sup>4</sup>. Обобщая свои наблюдения жизни русской деревни в уже упоминавшейся концепции «власти земли», «ржаного поля», предписывающего все нормы поведения крестьянина, Успенский писал: «Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела...». Крестьянин привык выполнять приказания «ржаного поля и привык погибать, также исполняя с точностью свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предугазана»<sup>5</sup>.

Пассивность перед смертью — неотъемлемая черта всех холистских аграрных обществ, а избавление от нее наносит удар по всему их традиционному мирозданию. Не случайно поэтому активность в борьбе со смертью, кажущаяся столь естественной сегодня, еще сто лет назад нередко встречалась в России с неодобрением, родственным неодобрению Гоголем или К. Леонтьевым «скорости сообщений». Это неодобрение чувствуется, например, у Л. Толстого и ясно выражается устами его персонажей. Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты», осуждает свою жену за беспокойство о здоровье детей. «...Если бы она была совсем животное, она бы так не мучалась; если бы она была совсем человек, то у нее была бы вера в Бога и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти Бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезнь и смерть детей, а она этого не сделала». В другом рассказе Толстого, «Смерть Ивана Ильича», также сталкиваются два принципа в отношении к смерти. Отчаянию умирающего Ивана Ильича и суетности его близких противопоставляется величественно-спокойное отношение к надвигающейся смерти «буфетного мужика» Герасима, который один только «не лгал..., понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого». «Все умирать будем», — прямо сказал он Ивану Ильичу и то же повторил уже после его смерти: «Божья воля. Все там же будем». По мысли Толстого, суетная ложь окружающих низводит «страшный торжественный акт смерти» до уровня «случайной неприятности», ему явно больше по душе эпическое спокойствие Герасима.

Разумеется, в России и в прошлом веке не все разделяли взгляды Толстого, задумывались над корнями индивидуальной пассивности в борьбе со смертью, видели ее историческую природу. Как писал известный гигиенист Г. Хлопин, «сознание, что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите общества или государства, явилось прежде, чем каждый член общества из развитого чувства самосохранения научился ценить здоровье для себя лично»<sup>6</sup>. Отношение к смерти и борьбе с нею у Толстого несло на себе отпечаток традиционного для соборной, общинной России неодобрительного отношения к автономной индивидуальной активности. Но по мере того как подтачивались основания всего старого миропорядка, у такой активности появлялось все больше сторонников. В частности, в конце прошлого столетия в русской культуре начинает складываться новое понимание ценностей «жизнеохранительного поведения», вырабатывается его идеальный образ. Герой рассказа Чехова «Попрыгунья» доктор Дымов погибает от того, что «у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки». Гибель человека, ценою собственной жизни спасающего чужую, рассматривается здесь как

<sup>4</sup> Успенский Г. И. Без определенных занятий. // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 4, с. 463.

<sup>5</sup> Успенский Г. И. Из разговоров с приятелями (На тему о «власти земли»). // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 5, с. 260.

<sup>6</sup> Хлопин Г. В. Гигиена и санитария с исторической точки зрения. СПб., 1897, с. 4.

пример высокого служения, как героизм. Для тогдашней России это не просто новый взгляд на отношение человека к смерти. Он откровенно полемичен, оппозиционен по отношению к установкам традиционной культуры, видевшей в активной борьбе со смертью нечто не вполне нравственное.

Впрочем, не следует слишком упрощенно видеть и позицию Толстого. В ней была своя правота. Толстой видел приближающееся крушение целого мира и опасался его страшных последствий. Да, можно бросить вызов Богу, отвоевать у него несколько жизней. Но отобрав у Бога право распоряжаться человеческой жизнью, не присвоят ли люди это право себе, не откроют ли они тем самым путь вакханалии насилия? Опасения Толстого оказались не напрасными. Кто, однако, может проникнуть в замысел Бога, кому дано отличить его от дьявольского? Божье ли предначертание, дьявольская ли ловушка, но снижение смертности оказалось слишком большим соблазном для смертных. Вступив на путь активной борьбы за удлинение жизни, человечество сделало свой выбор, и теперь оно вряд ли от него откажется.

Развернувшаяся в СССР борьба против смерти несомненно продолжала «чеховскую», а не «толстовскую» линию, она сильно изменила общий социокультурный фон, идеология и психология пассивного ожидания смерти были основательно подорваны. Но полной переоценки ценностей все же не произошло да и не могло произойти. Экономические и политические реальности СССР не способствовали росту ценности жизни, который на Западе шел рука об руку с успехами медицины и здравоохранения и во многом определял общественные и индивидуальные приоритеты. Советское общество постоянно находилось в напряжении, в состоянии мобилизационной готовности, прошло через неоднократные резкие подъемы смертности, настоящие демографические катастрофы, которые сами по себе противоречили общему смыслу демографической модернизации. Эти катастрофы имели три главные причины.

Первая — войны. Общие учтенные безвозвратные потери только советской регулярной армии за 1918–1989 г. приближаются к 10 млн. человек<sup>7</sup> и превосходят потери любой другой европейской страны за три последних столетия<sup>8</sup>, потери же среди гражданского населения были еще большими. Мы еще вернемся к этому вопросу в гл. 10.

Вторая — политические репрессии. Первые десятилетия советской истории были отмечены кровавыми вспышками красного и белого террора, сопровождавшегося демографическими потерями. Особого размаха «красные» политические репрессии приобрели начиная с 1929 г. и проводились в массовых масштабах до самой смерти Сталина в 1953 г. Счет жертв репрессий, в том числе и обусловленных ими преждевременных смертей, идет на миллионы, но точное число все еще не известно, и до сих пор ощущается глухое противодействие выяснению истины.

Третья — голод, особенно голод 1932–1933 гг., когда в главнейших зерновых районах страны — на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, в Крыму, а также в кочевых

<sup>7</sup> Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М., 1993, с. 407.

<sup>8</sup> *Sivard R. L. World military and social expenditures 1991. 14th edition. Washington, World Priorities, 1991, p. 22–23.*

районах Казахстана миллионы людей, производивших продовольствие и кормивших страну, остались в полном смысле слова без куска хлеба. При этом руководством страны были заблокированы практически все способы помощи голодающим, а во многих случаях приняты меры к тому, чтобы они не смогли покинуть опустошенные села, где им оставалось только умирать. За один лишь голодный 1933 год число умерших выросло, по сравнению с тоже не очень благополучным 1932 годом, в 2,4 раза, или на 6,7 млн. человек<sup>9</sup>.

Полной статистики потерь бывшего СССР в социальных катастрофах XX века нет, судить о них можно лишь приблизительно. Приведем обобщенные оценки Максудова: примерно 10 миллионов преждевременно умерших, в основном в результате гражданской войны и голода 1921 г., за 1918–1926 годы; 7,5 миллионов (по более поздней оценке — 9,8) погибших от голода и репрессий за 1926–1938; 22,5–26,5 миллионов за 1939–1953 годы<sup>10</sup>. Всего получается не менее 40 миллионов жертв. «Почти половина мужчин и каждая четвертая женщина умерли за эти годы не своей смертью. А если взять только напряженные годы (1918–1922 и 1932–1949), 29 млн. мужчин погибло и лишь 20 млн. умерло в своей постели; 11 из 33 млн. женщин не прожили отпущенного им срока. Даже если принять минимальную цифру потерь, то и в этом случае они составят более трети умерших за эти годы»<sup>11</sup>. Более поздняя оценка, выполненная специалистами Госкомстата России, не слишком отличается от оценки Максудова: 7 млн. человек с 1927 по 1941 г., и 26–27 млн. с 1941 по 1945 г.<sup>12</sup>. Размеры потерь, вероятно, будут уточняться, но никакие уточнения не могут изменить общей картины: примерно за 40 лет, с начала Первой мировой войны до конца Второй, в Российской империи — СССР погибло, не дождавшись естественной смерти, 40, а то и 50 миллионов человек.

Кровопролитные войны, массовые политические репрессии, непосильные экономические нагрузки, идеология жертвенности и героизма на всем протяжении существования СССР блокировали серьезную перестройку системы ценностей в том, что касалось здоровья и жизни человека. Невысокая цена того и другого воздействовала на всю систему общественных приоритетов, облегчала привилегированное положение военно-промышленного комплекса, сдерживала активность защитников экологического благополучия, пагубно отражалась на индивидуальном жизнеохранительном поведении людей. Уже знакомое нам противоречие советской модернизации, сопряжение материально-технологического модернизма с пережитками социальной архаики: старой системы ценностей, безденежных отношений, ограниченной свободы индивидуального выбора, государственного патернализма, — обостряясь, заводило любое движение в тупик.

Поначалу все это не было очевидным. Эпидемиологический переход в СССР разворачивался довольно быстро — за счет общих изменений в образе жизни людей, роста их образованности и информированности, а также за счет проведения относительно дешевых, но крупномасштабных санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровле-

<sup>9</sup> Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Население Советского Союза 1921–1991. М., 1993, с. 48.

<sup>10</sup> Максудов С. Потери населения СССР. Venson, Vermont, 1989, с. 148, 187, 191, 200.

<sup>11</sup> Там же, с. 201.

<sup>12</sup> Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Цит. соч., с. 60, 77.

нию городской среды, массовой вакцинации населения и пр. Хотя реальная средняя продолжительность жизни многих поколений, попавших под жернова истории и пострадавших в годы демографических кризисов, была очень низкой, смертность в некризисные годы постепенно снижалась, а исчисленная для этих лет продолжительность жизни росла (табл. 4.1).

**Таблица 4.1. Ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи и в СССР, 1896/1897—1989 гг., в годах\***

<i>Годы</i>	<i>Мужчины</i>	<i>Женщины</i>	<i>Оба пола</i>
1896–1897	31,3	33,4	32,3
1926–1927	41,9	46,8	44,4
1938–1939	44,0	49,7	46,9
1958–1959	64,4	71,7	68,6
1964–1965	66,1	73,8	70,4
1978–1979	62,5	72,6	67,9
1989	64,6	74,0	69,5

\* Данные 1896–1897 гг. относятся к Европейской России, остальные — к СССР в границах соответствующих лет; 1938–1939 г. — в границах после 17 сентября 1939 г.

Как и в случае с экономическим ростом, увеличение продолжительности жизни еще не означало преодоления отставания от западных стран, ибо продолжительность жизни росла и там. Перед Второй мировой войной ожидаемая продолжительность жизни для обоих полов в передовых странах Запада составляла 63–64 года, отставание от них СССР соответственно — 16–17 лет. Оно стало сокращаться, видимо, лишь в 40-е – 50-е годы. Общее ослабление экономической и политической напряженности в стране и некоторые более конкретные сдвиги, такие, как внедрение в практику антибиотиков, позволили поставить под контроль многие внешние факторы смертности и ускорили формирование новой структуры патологии (а значит, и причин смерти), характерной для относительно поздних стадий эпидемиологического перехода. На первое место среди причин смерти вышли болезни системы кровообращения и новообразования. К середине 60-х годов (правда, по официальным, возможно, завышенным оценкам) резко сократилась младенческая смертность (до 26–27 на 1000 родившихся как в СССР, так и собственно в России), а продолжительность жизни выросла в СССР до 66 лет у мужчин и 74 лет у женщин, в России соответственно — до 65 и 73. СССР вошел, наконец, в «клуб» стран с низкой для того времени смертностью (средняя продолжительность жизни 65 лет и более). В начале 60-х годов среди 35 стран с самой высокой продолжительностью жизни он занимал 22 место, опережая в это время даже такие страны, как Австрия, Бельгия, Финляндия, Япония. Однако это относительно благоприятное положение сохранялось недолго.

Успехи в борьбе со смертью во многих странах, в том числе и в СССР, в середине XX века были достигнуты, благодаря определенной стратегии борьбы за здоровье и жизнь человека, в известном смысле патерналистской, основанной на массовых профилактических мероприятиях, которые не требовали большой активности со стороны каждого. Однако к середине 60-х годов возможности этой стратегии в богатых и развитых странах оказались, видимо, исчерпанными. Они вступили в стадию «второго эпидемиологического перехода», выработали новую стратегию действий, новый тип профилактики, направленной на уменьшение риска заболеваний неинфекционного происхождения, особенно сердечно-сосудистых заболеваний и рака, и предполагавшей более активное и сознательное отношение к своему здоровью со стороны каждого человека. Значительно выросли и расходы на охрану и восстановление здоровья, что, в свою очередь, способствовало повышению его общественной ценности.

В СССР же ответ на новые требования времени не был найден, страна стала пробуксовывать на наезженной колее, и ее снова обогнали по уровню ожидаемой продолжительности жизни западные страны, в том числе и такие, которые ранее отставали от СССР или были с ним примерно на одном уровне. К началу 80-х годов СССР уже не входил в «клуб» стран с самой низкой смертностью (тогда — 40 стран с ожидаемой продолжительностью жизни 70 лет и более), его отставание от них быстро нарастало. Как следует из рис. 4.1, на котором приведены данные о продолжительности жизни населения России (до революции — Европейской России, после революции — Российской Феде-

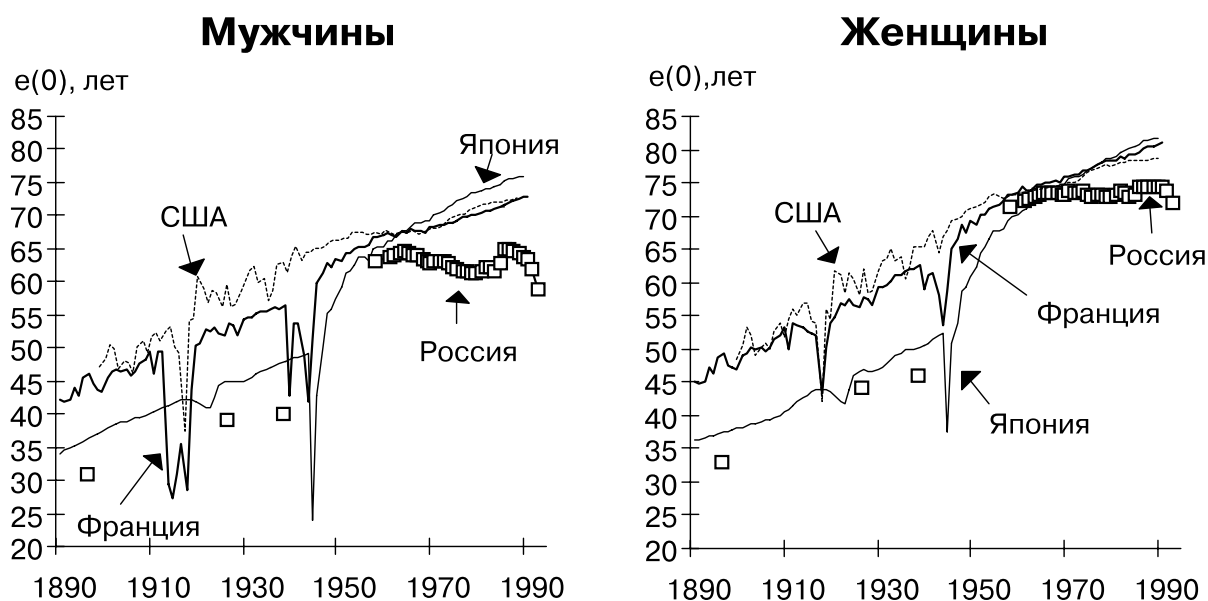


Рисунок 4.1. Изменения ожидаемой продолжительности жизни —  $e(0)$  — в России, США, Франции и Японии с 1890 года.

Источник: Милле Ф., Школьников В., Эртриш В., Валлен Ж. *Современные тенденции смертности по причинам смерти в России: 1965–1993*. Париж, 1996, с. 74.

рации: ее показатели смертности были близки к средним по СССР) за сто лет, сближение с западными странами оказалось кратковременным эпизодом, сменившимся новым ростом отставания. Особенно невыгодно для России сравнение с Японией, которая долгое время находилась на одном с нею уровне, а затем совершила стремительный прорыв и прочно заняла место страны с едва ли не самой низкой в мире смертностью.

К концу 80-х годов стало ясно, что неучастие СССР в мировых успехах в борьбе со смертью и связанное с этим новое отставание, все время растущее (табл. 4.2), — не случайный и временный эпизод, а проявление глубокого кризиса системы, следствие укорененных в ней отсталых, консервативных принципов социального взаимодействия.

**Таблица 4.2. Ожидаемая продолжительность жизни и младенческая смертность в СССР, России и некоторых европейских странах, 1960–1990 гг.**

Страна	Ожидаемая продолжительность жизни, лет				Младенческая смертность (на 1000 родившихся)	
	Мужчины		Женщины		1960	1990
	1960	1990	1960	1990		
СССР	65,3	64,3	72,7	73,9	35,3	21,8
Россия	63,3	63,8	71,8	74,2	36,6	17,6
Великобритания	67,9	72,9	73,7	78,5	22,5	7,9
Германия (ФРГ)	66,9	72,9	72,4	79,3	35,0	7,0
Греция	67,3	74,6	72,4	78,5	40,1	9,7
Испания	67,4	73,3	72,2	80,4	43,7	7,6
Италия	72,3	80,1	72,3	80,1	43,9	8,2
Португалия	61,2	70,4	66,8	77,4	77,5	10,9
Франция	66,9	72,7	73,6	80,9	27,5	7,3
Швеция	71,2*	74,8	74,9*	80,4	16,6	6,0

\* 1960–1964 гг.

*Источники: Recent demographic developments in Europe. 1996. Strasbourg, Council of Europe, 1996, table 4.2; Statistique d mographique 1996. Eurostat, Luxembourg, 1996, p. 170; Население России 1996, М., 1997, с. 166.*

Как ни гордились в СССР бесплатным здравоохранением и как ни велики были действительные заслуги этого здравоохранения на определенных этапах борьбы со смертью, в конце концов именно бесплатность и нерыночность медицины, равно как и уравнилельно-патерналистский характер социального обеспечения превратились в серьезное препятствие индивидуальной активности человека в борьбе за сохранение или

восстановление своего здоровья, за продление своей жизни, за здоровье и жизнь своих детей. Развитие здравоохранения, выделяемые ему ресурсы зависели от жестко монополизированных решений «центра». Никто не знал, сколько денег изымается у него на нужды здравоохранения и сколько действительно тратится на эти нужды, и не мог влиять на расходование средств. В результате централизованного распределения ресурсов здравоохранение, наряду с другими «непроизводительными» отраслями, получало лишь то небольшое, что оставалось от предельно милитаризованных «производственных» отраслей. Этот остаток явно не соответствовал масштабам новых задач по охране и восстановлению здоровья, выглядел просто жалким в сравнении с теми ресурсами, которые в это время шли на соответствующие нужды на Западе (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Рост душевых затрат на нужды здравоохранения в СССР, США и Франции, 1960–1990 гг.

Год	Расходы на душу населения			Рост по отношению к 1960 г.		
	СССР, рубли	США, доллары	Франция, франки	СССР	США	Франция
1960	27	143	242	1	1	1
1970	49	346	816	1,8	2,4	3,4
1980	72	1064	3566	2,7	7,4	14,7
1990	124	2601	9521	4,7	18,2	39,3

*Источники: Народное хозяйство СССР за разные годы; Statistical Abstract of the United States 1994. Washington, 1994, p. 109; Annuaire r trospectif de la France. S ries longues. 1948–1988, Paris, 1990, p. 190; Annuaire statistique de la France 1994, Paris, 1994, p. 241.*

Цифры, приведенные в табл. 4.3, не учитывают динамики цен и покупательной способности валют, поэтому их прямое сопоставление едва ли оправдано. Но важен порядок величин, и при любых оговорках ясно: 72 рубля 1980 г. были настолько меньше 1064 долларов или 3566 франков, что рассчитывать в борьбе за снижение смертности на одинаковый с американцами или французами результат не было никаких оснований. Существуют более тщательные сравнения затрат на здравоохранение в СССР и на Западе, они также указывают на огромный разрыв, пусть и не такой большой, как в табл. 4.3, но все же столь значительный, что даже специалисты отказывались в него верить. И. Бирман, критиковавший доклад ЦРУ США об уровне потребления в СССР в 1976 г. в основном за *завышение* этого уровня, полагал, что советские затраты на здравоохранение американские эксперты *занизили*, и он скорректировал оценки затрат на здравоохранение, сделанные ЦРУ, в сторону повышения (по оценкам ЦРУ душевые затраты на здравоохранение в СССР были примерно втрое ниже, чем в США, согласно Бирману — примерно в два — два с половиной раза ниже)<sup>13</sup>. Эти поправки вызвали сомнения Г. Ханина, который полагал, что Бирман «недооценивает пороки советского обра-

<sup>13</sup> Birman I. Personal consumption in the USSR and the USA. N.Y., 1989, p. 155.

зования и здравоохранения, которые, впрочем, особенно заметно проявились во второй половине 70-х годов и в 80-е годы»<sup>14</sup>.

Нищенский уровень здравоохранения был очень важным, но не единственным препятствием, на которое натолкнулась модернизация смертности в СССР, когда, пройдя период несомненных успехов, она застряла где-то на этапе «первого эпидемиологического перехода». Ибо «второй эпидемиологический переход», который никак не мог развернуться в СССР, был в принципе несовместим со всеобъемлющим патернализмом «социалистического» здравоохранения и вообще со всеми сохранявшимися и охранявшимися рудиментами старой системы ценностей. Новая стратегия борьбы со смертью требовала, чтобы на смену пассивному принятию проводимых органами здравоохранения мер пришла заинтересованная индивидуальная активность самого населения, направленная на оздоровление среды обитания, всего образа жизни, заботу о своем здоровье, искоренение вредных и внедрение полезных привычек и т. п. Но такие требования плохо сочетались с нараставшей социальной апатией, разочарованием в общественных идеалах «мобилизационного периода» советской истории. Застойные десятилетия, пришедшие на смену периоду «бури и натиска», консервировали маргинальность новых городских слоев, оказавшихся в культурной и идеологической пустоте, и также делали их неспособными к активной борьбе за сохранение своего здоровья и жизни. Алкоголизм и тесно связанная с ним чрезвычайно высокая смертность от несчастных случаев или насилия — прямое следствие этой общей социальной ситуации.

В результате, советское общество до последнего дня существования СССР так и не смогло перейти к давно назревшему этапу «второго эпидемиологического перехода» и продолжить перестройку определяющей уровень общественного здоровья структуры медицинской патологии и причин смерти. Модернизация всего процесса вымирания поколений осталась незавершенной. С одной стороны, не были до конца решены основные задачи ранних этапов эпидемиологического перехода и сохранялась высокая экзогенная смертность от инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварения, несчастных случаев и травм. С другой же стороны, общество не выработало эффективных средств борьбы с типичной для всех индустриальных стран эндогенной смертностью, она в СССР была намного более ранней, чем в Европе, Северной Америке или Японии.

Все это обернулось огромными демографическими, а значит, и экономическими потерями. Демографические потери от высокой смертности можно оценить, сравнивая фактическое число смертей с гипотетическим, каким оно могло бы быть, если бы возрастные коэффициенты смертности в России были такими же, как в типичных западных странах. Разницу между гипотетическим и фактическим числом смертей можно интерпретировать как «избыточную» смертность. Если принять за основу для сравнения уровни смертности Великобритании или Франции, то в 1965 г. «избыточные» смерти мужского населения РСФСР составляли 18% всех смертей, к 1975 г. эта доля повысилась до 34–35%, к 1984 — до 46–48%. Но особенно наглядно сравнение абсолютных чисел смертей. Так, приняв за основу для сравнения возрастные уровни смертности мужского

<sup>14</sup> Ханин Г. Советский экономический рост: анализ западных оценок. Новосибирск, 1993, с. 126.



населения Великобритании в соответствующие годы, получаем, что только за 10 лет с 1975 по 1985 г. и только у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет число «избыточных» смертей составило почти 1,6 млн. Это примерно соответствует совокупным потерям (включая потери гражданского населения) США, Великобритании и Франции во Второй мировой войне.

## 4. 2. Переворот в рождаемости

**В** начале XX века уровень рождаемости в России был одним из самых высоких в мировой истории. На рубеже столетий общий коэффициент рождаемости по 50 губерниям Европейской России был близок к 50 на тысячу человек населения<sup>15</sup>, тогда как в западноевропейских странах он колебался вокруг 30 на тысячу. Показатель итоговой (суммарной) рождаемости (число рождений на одну женщину), по некоторым оценкам, превышал 7<sup>16</sup>, число рождений на одну женщину, состоявшую в браке на протяжении всего периода плодovitости, было больше 9<sup>17</sup>.

Сохранение высокой рождаемости в России имело объективное оправдание в высокой смертности, но и то, и другое уже воспринималось в начале века как признаки отсталости. Снижение рождаемости в Европе было важной составляющей общей модернизации, сохранение высокой рождаемости в России — ее серьезной помехой. Как писал в начале века демограф П. Куркин, «существующий... уровень рождаемости... чрезмерно далеко отстоит от той ее нормы, при которой наибольший прирост населения достигается с наименьшими потерями, неизбежными в деле производства потомства... Есть полное основание... ожидать, что... улучшение экономических, гигиенических и т. д. условий... у нас в России, скорее всего, должно привести к понижению рождаемости..., к достижению той ее наиболее полезной нормы, которая обеспечила бы как удовлетворительный прирост, так и сохранение бесполезно растрчиваемых в настоящее время производительных сил населения и создание более крепкого и жизнеспособного потомства»<sup>18</sup>. П. Миллюков, говоря о высокой российской рождаемости, считал ее «биологической причиной... слабое развитие индивидуальности, экономической причиной — низкий уровень благосостояния и социальной — обособленность низшего общественного слоя и отсутствие надежды подняться выше своего положения»<sup>19</sup>.

Во второй половине XIX века рефлексия по поводу тягот высокой рождаемости и многодетности обнаруживается уже не у одних только образованных классов. О них все больше задумываются и крестьяне, в литературе того времени — у Л. Толстого, Г. Успенского, А. Энгельгардта, равно как и у менее известных авторов, изучавших жизнь русской

<sup>15</sup> *Рашин А. Г.* Население России за 100 лет. М., 1956, с. 168.

<sup>16</sup> *Kuczynsky R.* The measurement of population growth. N.Y.-London-Paris, 1969, с. 213.

<sup>17</sup> *Вишневецкий А. Г.* Ранние этапы становления нового типа рождаемости в СССР. // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977, с. 132–133.

<sup>18</sup> *Куркин П. И.* Статистика движения населения в Московской губернии в 1883–1897 гг. М., 1902, с. 87.

<sup>19</sup> *Миллюков П.* Очерки по истории русской культуры. Часть I. Население, экономический, государственный и сословный строй. М., 1918, с. 27.

деревни, — имеется множество свидетельств на этот счет. На первый план выходили обычно экономические трудности. «Жизнь крестьянская, — отмечал один из исследователей, — с каждым годом становится дороже... „Хорошо иметь детей — говорят крестьяне, — если их один, двое или, самое большее, трое. Больше этого они становятся родителям в тягость“. Дальнейшая плодовитость супругов-крестьян — божье наказание. Чем больше в семьях детей, тем больше бедности, недостатка и голода»<sup>20</sup>.

Постепенно приходило осознание и других — неэкономических — обременительных сторон высокой рождаемости, в частности, ее влияния на здоровье женщины. Авторы XIX века постоянно указывали на повсеместное распространение женских болезней как следствие раннего начала половой жизни и деторождения, частых родов, несоблюдения простейших гигиенических требований во время беременности и родов. «Так называемые женские болезни терзают огромное большинство деревенских женщин»<sup>21</sup>. «Каждому врачу, практиковавшему среди сельского населения, известно, насколько часто встречаются женские болезни...: большинство этих болезней обязано своим происхождением родовому акту»<sup>22</sup>. Часты были выкидыши, мертворождения. За рождение большого числа детей женщины платили дорогую цену, и это не могло не оставлять следа в народном сознании.

Пока сохранялась высокая смертность, критика высокой рождаемости могла звучать лишь очень приглушенно, но сам факт появления такой критики говорит о том, что высокая рождаемость все чаще воспринималась как демографическая архаика и что в обществе назревала готовность расстаться с нею. Это и произошло в СССР в 30-е — 50-е годы, причем снижению рождаемости здесь были свойственны те же черты и противоречия, что и другим модернизационным процессам, конвергентное с Западом развитие сочеталось с дивергентным.

Первые признаки снижения рождаемости в России появились к началу XX века, но они были едва заметны. Революция, Первая мировая и гражданская войны не могли, разумеется, не понизить рождаемость, но к середине 20-х годов восстановился ее очень высокий довоенный уровень. И лишь с конца 20-х годов началось его новое стремительное и теперь уже необратимое падение. Понадобилось всего три–четыре десятилетия, чтобы пробежать путь, который на Западе занял столетия. К концу 50-х годов Россия и другие европейские республики СССР по уровню рождаемости не отличались от западных стран (табл. 4.4).

Сто женщин из поколений, родившихся в России в последнем пятилетии XIX века, давали жизнь 408 детям<sup>23</sup>, тогда как их французские сверстницы — 210, шведские — 194, американские — 253<sup>24</sup>. Но уже для поколений, родившихся в 20-е годы, различия

<sup>20</sup> Степанов В. Сведения о родильных и крестильных обрядах в Клинском уезде Московской губернии. // Этнографическое обозрение, 1906, 3–4. М. 1907, с. 221.

<sup>21</sup> Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 5, с. 186.

<sup>22</sup> Афиногенов А. О. Жизнь женского населения Рязанского уезда в период детородной деятельности женщины и положение дела акушерской помощи этому населению. СПб., 1903, с. 60.

<sup>23</sup> Сколько детей будет в советской семье. М., 1977, с. 15.

<sup>24</sup> Festy P. La fécondité des pays occidentaux de 1870–1970. Travaux et documents, Cahier n° 85. Paris, 1979, p. 300–301.

практически исчезают. Число детей на сто замужних женщин из поколений, родившихся в середине 20-х годов, составило в России 227, на Украине 202, в Белоруссии 240 и т. д.<sup>25</sup>. Если же мы обратимся к поколениям женщин, родившихся около 1940 г., то увидим, что рождаемость в европейских республиках СССР во многих случаях опустилась ниже западных отметок. В России — 189 рождений на сто женщин, на Украине — 183, в Белоруссии — 195<sup>26</sup>, тогда как в Англии — 238, во Франции — 247, в Германии (ФРГ) — 197, в США (белое население) — 268 и т. д.<sup>27</sup>.

Таблица 4.4. Коэффициент суммарной рождаемости в России, на Украине и в некоторых западных странах

Годы	Россия	Украина	Велико-британия	Франция	Германия	США
1896–1900	7,06*	7,50	3,62	2,90	5,04	...
1926–1930	5,37*	5,27	2,01	2,30	2,10	3,29
1960	2,56	2,26	2,71	2,73	2,37**	3,65
1985	2,06	2,05	1,80	1,81	1,28**	1,84
1990	1,90	1,85	1,83	1,78	1,45**	2,08

\* Европейская Россия, включая Украину.

\*\* В границах ФРГ до воссоединения.

**Источники:** *Kuczynsky R. The measurement of population growth. N.Y.-London-Paris, 1969, с. 213; Птуха М. В. Очерки по статистике населения. М., 1960, с. 447; Chesnais J.-C. La transition démographique. Paris, 1986, p. 520–521; Recent demographic developments in Europe. 1995. Strasbourg, Council of Europe, 1995, p. 40, 267; Statistical Abstract of the United States 1994, p. 78.*

Стремительное снижение рождаемости вкупе с катастрофическими подъемами смертности, о которых говорилось выше, свели на нет демографический взрыв, свойственный большинству стран на сходных этапах демографического перехода. С сиюминутной точки зрения эпохи ускоренного «построения социализма», это было благом, ибо позволило избежать дополнительных экономических и социальных перегрузок, которые и так были весьма велики в этот период. С точки же зрения долговременных интересов СССР, а особенно России с ее огромными слабо заселенными просторами, необратимая потеря потенциального прироста населения была, скорее, проигрышем, нежели выигрышем.

Оценить этот потерянный прирост для России можно лишь приблизительно. Согласно С. Захарову, если исходить из предположения, что темпы изменения численности населения, наблюдавшиеся здесь в относительно спокойные годы между кризисами (в 1900–1913 гг. — 1,85%, в 1926 — 1,8%, в 1939 — 1,75%, в 1950 — 1,7%, в 1959 — 1,6%,

<sup>25</sup> Воспроизводство населения СССР. М., 1983, с. 231.

<sup>26</sup> Вишневикий А. Г. и др. Новейшие тенденции рождаемости в СССР. // Социологические исследования, 1988, 3, с. 60–61.

<sup>27</sup> Festy P. Op. cit., p. 300–301.

в 1979 — 0,7%, в 1991 — 0,35%), очерчивают минимальные границы темпов роста населения в условиях «нормальной» модернизационной эволюции российского общества, то можно получить кривую изменения гипотетических «бескризисных» темпов роста населения России (рис. 4. 2). Ниже они могли бы быть лишь при гипотезе более быстрого, чем на самом деле, перехода к низкой рождаемости, но для такого предположения нет оснований.

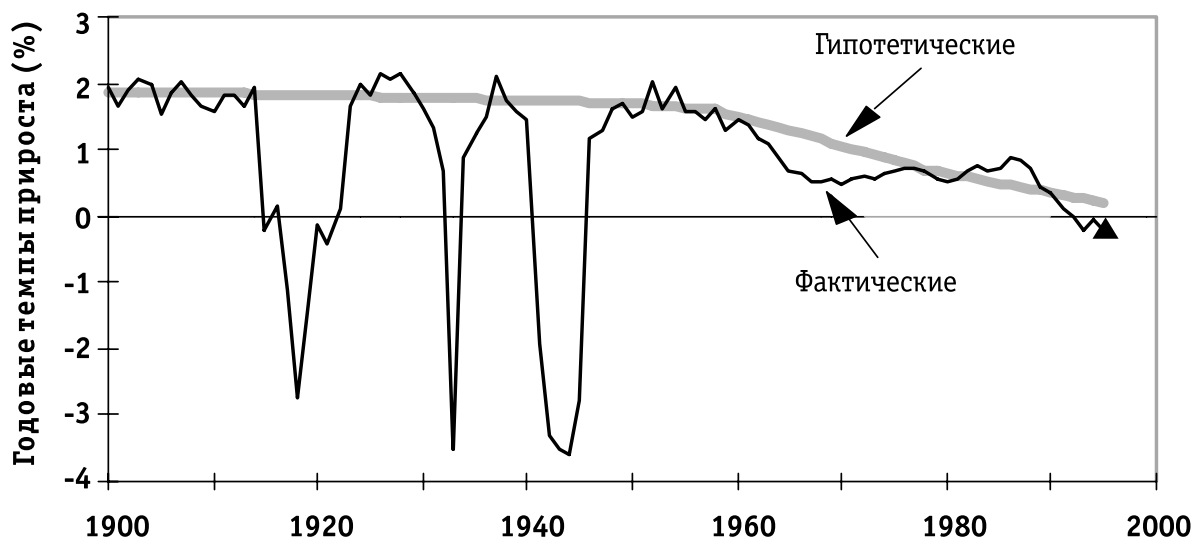


Рисунок 4.2. Фактические и гипотетические (при отсутствии демографических кризисов) темпы прироста численности населения на территории Российской Федерации в XX веке, %.

Источник: *Население России 1996. М., 1997, с. 8.*

Соответственно по-иному росла бы и абсолютная численность россиян (табл. 4.5). К 1995 г. она могла быть сопоставимой с численностью населения США и всего на 20 млн. меньше, чем фактическое население всего СССР накануне распада.

Тем не менее само по себе снижение рождаемости, быстрое приведение ее уровня в соответствие с новыми условиями демографического равновесия имело несомненный модернизационный смысл. Оно означало, что советское общество сразу же воспользовалось плодами демографической, а значит, и социальной свободы, расширившейся в результате снижения смертности. В очень большой мере этот социальный выигрыш был принесен на алтарь «построения социализма», советской мобилизационной экономики. Без него, в частности, невозможен был бы чрезвычайно высокий уровень занятости женщин, которым прославился бывший СССР. Но несомненно и то, что плоды новой демографической и социальной свободы ощутил и каждый человек, что она коренным образом изменила положение женщин и детей, открыла новые, пусть вначале лишь потенциальные, возможности самореализации личности, семейной и личной жизни.

Таблица 4.5. Фактическая и гипотетическая численность населения и накопленные демографические потери России в XX в., 1900–1995 гг., млн. человек

Год	Фактическая численность	Гипотетическая численность	Накопленные демографические потери
1900	71,1	71,1	-
1920	88,2	102,5	14,3
1940	110,1	145,9	35,8
1960	119,0	203,6	84,6
1980	139,0	254,1	115,1
1995	148,3	269,6	121,3

*Источник: Население России 1996, с. 8.*

### 4. 3. Неомальтузианство по-советски

Снижение рождаемости в СССР было еще одним проявлением «инструментально-го» обновления, сопровождавшегося постоянным стремлением властей да и самого общества сохранить старые способы культурной детерминации и практической реализации нового демографического поведения. СССР переходил к нему как страна догоняющего развития, при котором общество перепрыгивает через целые этапы, пройденные предшественниками, не имея накопленного ими опыта. Умеренное снижение рождаемости в Западной Европе началось давно, не позднее XVI века. Для этого здесь — задолго до Мальтуса — использовался «мальтузианский» способ откладывания браков, а то и полного отказа от них. «Мальтузианская» стратегия брачности-рождаемости подготовила и облегчила переход к новой, «неомальтузианской» стратегии сокращения рождаемости путем ее намеренного ограничения в браке. Последнее поначалу лишь дополняло старый способ откладывания браков и только постепенно стало его вытеснять.

В СССР все было по-иному. Выбрать «мальтузианский» вариант страна уже опоздала, ибо не знала поздней европейской брачности. Запад ушел далеко вперед по пути демографического перехода, чтобы сравняться с ним, требовались кардинальные и быстрые перемены прокреативного поведения, которые мог обеспечить только неомальтузианский выбор. В СССР он прокладывал себе дорогу с большим трудом.

Снижение рождаемости в СССР было закономерным следствием всей экономической и социальной политики властей и шло очень быстро. Но официальная советская идеология, как и во всем остальном половинчатая и противоречивая, полумодерни-

стская, полутрадиционалистская, на словах долгое время хранила верность «народному» идеалу многодетности, расшаркивалась перед ним, видела в высокой рождаемости предмет гордости. Как говорилось в послевоенном издании Большой Советской Энциклопедии, «высокая рождаемость в СССР является следствием непрерывного роста благосостояния трудящихся, заботы Коммунистической партии и Советского государства о здоровье населения, отсутствия безработицы»<sup>28</sup>. «Народное» (а скорее, все-таки псевдонародное) антимальтузианство усиливалось «теоретическим», характерным для марксистской идеологической традиции. В результате быстрое и повсеместное распространение неомальтузианской практики намеренного ограничения супругами числа рождений сопровождалось постоянным декларированием официального антимальтузианства. Вся история перестройки прокреативного поведения в СССР несет на себе печать этого противоречия.

Строгий запрет аборта, существовавший в дореволюционном российском законодательстве, уступил место его полной легализации в 1920 г. Но правительственное постановление, разрешающее аборт, было двусмысленным. Аборт никак не связывался с объективной необходимостью планирования семьи, и не ставился вопрос о том, что же может быть альтернативой ему. С другой стороны, постановление объявляло аборт «злом для коллектива», объясняло «моральными пережитками прошлого и тяжелыми экономическими условиями настоящего» и предсказывало его постепенное исчезновение<sup>29</sup>. Вопреки этим ожиданиям, аборт не только не исчез, но получил стремительное распространение в течение нескольких последующих десятилетий, при том, что либеральное законодательство в отношении аборта начала 20-х годов в 30-е годы сменилось запретительным и репрессивным. В этом нет ничего удивительного. Поспешная легализация аборта без понимания истинного смысла этой меры лишь создала иллюзию свободы прокреативного выбора, заблокировав при этом поиски альтернативных путей планирования семьи. Неподготовленность общества к столь радикальному решению, традиционное неприятие намеренного ограничения деторождения родителями вызвали реакцию отторжения — запрет аборта стал частью общей антимодернистской реакции тридцатых годов. Косвенно этот запрет распространился и на контрацепцию — в запретительном постановлении 1936 г., как и в разрешительном 1920 г., ни о какой альтернативе аборту не говорилось, а ссылки на «условия социализма», «повышение материального благосостояния трудящихся», «максимальное развитие сети родильных домов, детских яслей, детских садов»<sup>30</sup> имели смысл только в том случае, если противопоставлялись всякому ограничению деторождения. В условиях сталинского СССР это практически исключало любую активность, направленную на развитие контрацепции.

<sup>28</sup> БСЭ, второе издание. Т. 36. М., 1955, с. 615.

<sup>29</sup> Об искусственном прерывании беременности. Постановление НК здравоохранения и НК юстиции от 16 ноября 1920 г. // Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. М., 1958, с. 63–64.

<sup>30</sup> О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. // Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа, с. 265.

Если аборт можно было запретить, то с демографическими и социальными сдвигами, которые делали планирование семьи объективной необходимостью, нельзя было ничего поделать. Эта необходимость оказалась сильнее не только закона, но и традиции. Имеется множество свидетельств неприятия народной моралью мер предотвращения, а тем более прерывания беременности в дореволюционной России. Если же все-таки женщины тайком прибегали к ним, то примитивность используемых мер сама свидетельствовала об их малой распространенности<sup>31</sup>. Даже когда после революции (в 1920 г.) законодательные ограничения на аборт были сняты и стало возможно его производство врачом, население далеко не сразу воспользовалось этой возможностью. «Случаи искусственного выкидыша среди крестьянок, обследованных нами, не отмечены, — говорилось в отчете Института социальной гигиены (1926 г.). — Большая часть крестьянок до разрешения производить аборт легально и не знали о возможности искусственного прерывания беременности. Во время обследования встречались женщины, которые не знали о праве на аборт... Большинство женщин боятся операции: «выскабливая, потеряешь здоровье», «боюсь смерти», «носи да носи»... Нежелавшие иметь детей могли избавиться от родившихся уже, оставляя их без ухода: «больно жизнь хороша без детей», — говорила мать, у которой умерли все восемь рожденных ею»<sup>32</sup>.

Тем более удивительно, что уже в 1936 г. понадобилось законодательное запрещение аборта, которое, впрочем, не помешало его дальнейшему распространению. У миллионов семей часто не было иного выхода, нежели прервать незапланированную беременность, — вопреки закону и вопреки традиции, аборт стал едва ли не основным инструментом снижения рождаемости в СССР. Отмена в 1955 г. запрета на аборт была лишь признанием повсеместно распространившейся практики. Но при этом снова та же логика, что и в 1920 и 1936 гг.: аборт — зло, «предотвращение абортов может быть обеспечено путем дальнейшего расширения государственных мер поощрения материнства и мер воспитательного и разъяснительного характера»<sup>33</sup>. В 1955 г. вряд ли кто-нибудь ожидал, что женщины в России, на Украине или в Прибалтике станут рожать по 8 или 10 детей, но никаких указаний на то, как регулировать число детей иным способом, нежели аборт, и в чем здесь могут помочь «меры поощрения материнства», в Указе 1955 г. нет. По существу, это был указ, подталкивающий к абортам.

Последующие годы не принесли существенных изменений. Советское общество за семь десятилетий своего существования так и не смогло признать до конца права свободного прокреативного выбора женщины и семьи, обеспечить им условия, необходимые для реализации этого права, для свободного, сознательного и безопасного регулирования деторождения. После повторной легализации абортов в 1955 г. их число в СССР стало стремительно расти, достигнув в 60-е – 80-е годы 7–8 миллионов в год. «Вторая контрацептивная революция», совершившаяся на Западе и давшая женщинам весьма совершенные противозачаточные средства, миновала СССР, многие его бывшие республики стали мировыми рекордсменами по числу абортов. При примерно одинако-

<sup>31</sup> См.: Вишневский А. Г. Ранние этапы становления нового типа рождаемости в СССР. // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977, с. 126–128.

<sup>32</sup> Синкевич Г. П. Вологодская крестьянка и ее ребенок. М.-Л., 1929, с. 46.

<sup>33</sup> Об отмене запрещения абортов. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. // Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа, с. 333.

вом уровне рождаемости годовое число абортот на сто родов на рубеже 80-х и 90-х годов составляло в России 196, в Белорусии — 153, на Украине — 164, в Латвии — 126, в Эстонии — 117, тогда как в Швеции оно равнялось 30, в Италии — 29, в Великобритании — 23, во Франции — 21, в Финляндии — 20, в Австрии — 17, в Германии (ФРГ) — 11, в Нидерландах — 10<sup>34</sup>.

Все это не означало, что рождаемость в СССР не модернизировалась, а свобода прокреативного выбора родителей не получила общественного признания. Несмотря на постоянную официальную критику «неомальтузианства», советское общество или, во всяком случае, его «европейская» часть очень быстро стало по преимуществу таким же неомальтузианским, как и все западные. Но при этом планирование семьи, сделавшееся повседневной практикой миллионов, не получило должной институциональной, материальной и правовой поддержки и развивалось стихийно, сбиваясь поневоле на самый неэффективный, примитивный и опасный путь.

Распространение планирования семьи и снижение рождаемости отозвались на многих сторонах жизни человека и общества, но прежде всего и самым непосредственным образом они повлияли на институт семьи и семейные отношения людей.

#### 4. 4. Кризис патриархальной семьи

Господствующие образцы семейной жизни в дореволюционной России давала патриархальная крестьянская семья, по словам Б. Миронова, — «маленькое абсолютистское государство» и в то же время «община в миниатюре»<sup>35</sup>, кирпичик, из которого были построены сельский «мир» и все русское общество. Это и прежде подчеркивали разные авторы, размышлявшие об особенностях русской жизни. К. Кавелин, например, даже видел в такой семье источник своеобразия общественной жизни великороссов — в отличие, скажем, от украинцев. «В основе всех частных и общественных отношений, — писал он, — лежит один прототип, из которого все выводится, — именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами... Этот начальный общественный тип играет большую или меньшую роль во всех мало развитых обществах; но нигде он не получил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени на первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, как у великороссов»<sup>36</sup>.

И в конце XIX – начале XX века крестьянская семья все еще оставалась главным хранителем отшлифованной русской историей «частных и общественных отношений», выработанного веками «лада» народной жизни. Но сама эта жизнь быстро менялась, порожденные переменаами напряжения и противоречия, умножаясь и обостряясь, отзывались на семью, и она все больше превращалась в зеркало «русского кризиса», в котором отражался нараставший всеобщий разлад.

<sup>34</sup> Демографический ежегодник СССР. М., 1990, с. 359, 361; Recent demographic developments in Europe. 1995. Individual part.

<sup>35</sup> *Миронов Б. Н.* Семья: нужно ли оглядываться в прошлое? // В человеческом измерении. М., 1989, с. 228, 233.

<sup>36</sup> *Кавелин К.* Мысли и заметки о русской истории. // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. М., 1989, с. 197.



Спаянная с общиной традиционная крестьянская семья все больше вступала в противоречие с менявшимися гражданскими институтами. Это хорошо видно на примере дебатов по Столыпинской аграрной реформе в Государственной думе. Указ о реформе предусматривал передачу общинных земель в собственность крестьянам, но возник вопрос, должна ли эта собственность быть семейной или личной. Мнения депутатов разделились. Некоторые из них пытались отстоять семейную собственность, а с ней и старый принцип организации семейной жизни, но были совершенно беспомощны, когда надо было объяснить, кто будет субъектом собственности. «Я думаю, — наивно говорил один из них, — что если будет семейная собственность и если понадобится продать семейную землю для какого-нибудь благого дела или для покупки в другом месте земли, то в этом случае из семейства никто спорить и прекословить не будет и препятствия никакого не встретится»<sup>37</sup>.

Противники же семейной собственности, напротив, доказывали, что она не вписывается в логику гражданского права и что привычные крестьянам формы семейных отношений не могут быть с нею согласованы. Крестьянская семья в России была институтом, в котором «домохозяин, в известном отношении, функционировал как делегат власти, которую ему давал закон, а не частное его право на землю»<sup>38</sup>. Кто субъект права в условиях семейной собственности, не могут определить ни Сенат, ни юристы, поэтому, остроумно заметил один из депутатов, ее сторонники «предоставляют это сделать волоостным писарям»<sup>39</sup>.

Противники индивидуальной собственности на землю опасались, что она приведет к разрушению патриархальной семьи, и, видимо, были правы в своих опасениях. Но спасти эту семью все равно уже нельзя было. Она стала разрушаться и разрушилась, несмотря на то, что индивидуальная частная собственность на землю так никогда и не утвердилась в России. Патриархальная семья была взорвана изнутри, потому что изменились взаимное положение членов семьи, их роли и функции, вся система внутрисемейных отношений.

В старой семье торжествовал и усваивался с молоком матери главный принцип соборного, холистского мира: *человек для...* «Если мы захотим... вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, — писал в середине прошлого века И. Киреевский, — то заметим..., что каждый член семьи... никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти. Мысли о собственной выгоде совершенно отсек он от самого корня своих побуждений. Цельность семьи есть одна общая цель и пружина»<sup>40</sup>. *Человек для семьи* — таков описываемый и защищаемый Киреевским идеальный принцип семейной солидарности, основа вековых семейных устоев. Но он-то и оказался одной из главных жертв разраставшегося конфликта власти земли и власти денег, обострявшегося противоречия между общим и личным в семье. На рубеже веков это противоречие уже хорошо осознавалось.

<sup>37</sup> Прения по Указу 9 ноября 1906 г. в Государственной Думе. СПб., 1911, с. 56.

<sup>38</sup> Там же, с. 62.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> *Киреевский И. В.* О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. // *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979, с. 284.

«С каждым годом растет стремление крестьян веками выработанную форму общест-ва, большую семью, заменить новой, которая дает и больший простор инициативе отдельного лица, и возможность самостоятельного, независимого существования, растет стремление заменить большую семью малой»<sup>41</sup>. «Спросите любого из здешних крестьян, где лучше работать, в большой ли или в малой семье, он ответит вам всегда одно и то же: „в большой семье беспример лучше робить“... Но предложите крестьянину вопрос: „А где лучше жить — в большой семье или в маленькой?“ И он вам тот час же ответит: „не приведи бог никому жить в большой семье!“»<sup>42</sup>. «Все зашаталось, все рвется из тисков, из нескладных условий, требует своего; все это, задохнувшееся в деспотизме свекрови, мужа, жены, брата, рвется на свободу, не хочет покоряться...»<sup>43</sup>.

В этом «требует своего» там, где еще недавно торжествовало общее, — ключ к пониманию семейного разлада в российской деревне. До поры растворение человека в семье было оправдано экономической и демографической необходимостью, интересами физического выживания. Но стоило этим двум необходимым немного ослабеть, и жесткая предопределенность человеческой судьбы лишилась своего оправдания, привычные семейные отношения перестали удовлетворять людей, члены семьи начали «бунтовать». Тогда-то и вышел на поверхность скрытый конфликт большой и малой семьи, «работы» и «жизни», патриархальная семья оказалась в кризисе.

Быть может, главной силой, взорвавшей изнутри старинный семейный уклад и ускорившей его кризис, стала женщина. И. Киреевский находил «первый зародыш знаменитого впоследствии учения о всесторонней эмансипации женщины» в «нравственном гниении высшего класса» европейского общества<sup>44</sup>. Но, видимо, не только в европейской заразе и «высших классах» коренились причины нарастающей в России борьбы за расширение женских прав. В литературе конца прошлого — начала нынешнего века много писалось о «бабьем бунте» в русской деревне.

В патриархальной семье на женщину смотрели прежде всего как на семейную работницу, способность работать нередко была главным критерием при выборе невесты. «Женский труд в крестьянской семье и хозяйстве ужасен, поистине ужасен, — писал Глеб Успенский. — Глубокого уважения достойна всякая крестьянская женщина, потому что эпитет „мученица“, право, не преувеличение почти ко всякой крестьянской женщине»<sup>45</sup>. Мученицей делали женщину не только труд, но и несправедливость, зависимость ее от мужа, отца, свекрови и то, что ее роль работницы находилась в постоянном противоречии с ее же ролями жены и матери. «В большой семье ни сила, ни ум, ни характер, — ничто не спасет женщину от подчинения и связанных с ним притеснений... Значение ее как жены здесь стоит на втором плане. Ее муж — не главный в семье, а по-

<sup>41</sup> *Богаевский П. М.* Заметки о юридическом быте крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии. // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России (Обычное право, обряды, верования и пр.). Вып. I. Под ред. Н. Харузина. М., 1889, с. 5.

<sup>42</sup> *Тихонов В. П.* Материалы для изучения обычного права среди крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии. // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. III. Под ред. Н. Харузина. М., 1891, с. 65–66.

<sup>43</sup> *Успенский Г. И.* Через пень-колоду. // Собр. соч. в 9 томах. Т. 6, с. 235.

<sup>44</sup> *Киреевский И. В.* Цит. соч., с. 285.

<sup>45</sup> *Успенский Г. И.* Власть земли, с. 183.

тому и она должна определить свои отношения не к нему одному, а прежде всего к другим членам семьи», — утверждал автор конца прошлого века<sup>46</sup>.

По мере того, как вместе с рублем в деревню проникали городские заработки, городские формы труда и быта, вообще новые веяния городской жизни, по-новому воспринималось и положение женщин в семье, нарастало их недовольство. Интуитивное, плохо осмысленное, оно тем не менее было ответом на менявшиеся условия и само было частью перемен, которые подспудно вызревали в России, причем в тех общественных слоях, что и слухом не слыхивали о европейском «нравственном гниении». Протест против деспотизма патриархальной семьи был первым естественным проявлением такого недовольства. «Мужик каждый говорит, что все разделы идут от баб, потому что народ нынче „слаб“, а бабам воля дана большая, потому де, что царица малахвест бабам выдала, чтобы их не сечь...» «Весь бунт от баб: бабы теперь в деревне сильны»<sup>47</sup>. «Чья власть удивительно возросла — тихо, незаметно, под шум перемены отношений — это власть матери. Она отвоевала не только долю юридической свободы, но заставила поделиться мужа и верховными правами родительскими»<sup>48</sup>.

«Бабий бунт» в деревне — лишь одно, хотя и очень яркое проявление назревавших, начинавшихся семейных перемен. Рядом с «женской» их линией видна еще одна — «детская».

В народном сознании было глубоко укоренено представление о безграничных правах родителей по отношению к детям и столь же безграничном долге детей по отношению к родителям. Критические голоса раздавались еще в XVIII веке. (Отцовское наставление у А. Радищева: «Изжените из мыслей ваших, что вы есте под властью моею. Вы мне ничем не обязаны... Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а меньше всего за рождение... Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили...» и т. д.<sup>49</sup>) Но даже в конце XIX века родительская власть была очень велика. Все еще «встречалось выражение «отец заложил сына» (то есть отдал в работу на определенный срок, а деньги взял вперед)»<sup>50</sup>. Родителям принадлежало решающее слово, когда речь шла о женитьбе, а особенно о замужестве детей. Даже и более поздний автор отмечает — в 20-е годы XX века, — что «в крестьянском мировоззрении отсутствует пункт об ответственности родителей перед детьми, но зато ответственность детей перед родителями существует в преувеличенном виде»<sup>51</sup>.

И все же к концу XIX века старые семейные порядки в отношениях родителей и детей уже трещали по швам, ослабли и бывшее уважение родителей, и бывшая покорность им, хотя внешне многое еще сохранялось. «В отношениях детей к родителям до сих пор еще живет и действует в вопросе о браках принцип невмешательства детей в распоря-

<sup>46</sup> Желобовский А. И. Семья по воззрениям русского народа, выраженным в пословицах и других произведениях народно-поэтического творчества. Воронеж, 1892, с. 40.

<sup>47</sup> Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем 1872–1887. М., 1960, с. 359, 361.

<sup>48</sup> Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России ... Вып. I, с. 64.

<sup>49</sup> Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Гл. Крестьяцы.

<sup>50</sup> Богаевский П. М. Цит. соч, с. 19

<sup>51</sup> Внуков Р. Я. Противоречия старой крестьянской семьи. Орел, 1929, с. 17.

жение их судьбою. Для недалекого прошлого это можно было утверждать абсолютно — теперь не то... Все более и более захватывает себе право сельская молодежь, а в делах брака особенно падает авторитет родительский»<sup>52</sup>. «За последнее время все более и более обозначаются границы их [родителей] действительной власти»<sup>53</sup>. В одном из очерков Г. Успенский рассказывает о старике, которого, по его словам, сын выгнал из дому. Другой старик не верит ему. «Пустое... Это они так, ... славу о себе пускают... Как это он может отца своего прогнать, когда ему отец все предоставил?» Автор же замечает от себя: «Возможность существования легенды о том, что сын прогнал отца, возможность даже помощью ее распускать о себе хорошую молву невольно говорила о том, что в деревенских порядках не все хорошо и благополучно»<sup>54</sup>.

В той мере, в какой власть родителей еще сохранялась, она все больше держалась на одной лишь прямой экономической зависимости детей. «Не будь... материальной зависимости, изменись хотя немного экономический склад крестьянской жизни — и вы увидели бы, как открыто и бесцеремонно стали бы заявлять дети о своей свободе — требовать законных прав своих», писал автор конца прошлого века<sup>55</sup>. Позднее, уже в начале XX века подобная мысль звучала в некоторых выступлениях депутатов-крестьян в Государственной думе. «Не приносите вреда детям уменьшением власти родителей... Имейте в виду, что часто послушание детей, необходимое для благоденствия крестьянской семьи, находится в зависимости от прав родителей на имущество. Напрасно вы, левые, меня тут беспокоите, вы меня молчать не заставите. Я один из тех крестьян, которые правды, нелицемерного сочувствия ищут у подножия трона, а не в еврейской паутине, как вы»<sup>56</sup>. «Еврейская паутина» играет здесь ту же роль, что и «европейское гниение» у Киреевского: помогает представить кризис патриархальных семейных отношений как результат внешнего влияния, а не внутреннего развития.

И «бабий бунт», и непокорность детей, и умножавшиеся семейные разделы — все говорило о падении веса вековых заповедей семейной жизни, об усиливающемся ее разладе. Разлад нарастал в деревне, в городе же он и подавно был неминуем, обозначился раньше и породил более развитые формы рефлексии. Именно здесь, отчасти под влиянием внутренних перемен, но в немалой степени и под влиянием узнаваемых постепенно западных образцов, нарастает критика старых семейных форм и идет поиск новых. «С формами семьи связана была тирания, еще более страшная, чем тирания, связанная с формами государства. Иерархически организованная, авторитарная семья истязает и калечит человеческую личность. И эмансипационное движение, направленное против таких форм семьи..., есть борьба за достоинство человеческой личности... Нужно отстаивать более свободные формы семьи, менее авторитарные и менее иерархические»<sup>57</sup>.

<sup>52</sup> Звонков А. П. Современный брак и свадьба..., с. 68–69.

<sup>53</sup> Там же, с. 89.

<sup>54</sup> Успенский Г. И. Непорванные связи. // Собр. соч. в 9 томах. Т. 4, с. 299–300.

<sup>55</sup> Звонков А. П., Цит. соч., с. 93.

<sup>56</sup> Прения по Указу 9 ноября 1906 г. ..., с. 67

<sup>57</sup> Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Paris, 1939 (1972), с. 193–194.

Такие более свободные формы семьи и начали складываться исподволь в российском обществе, прежде всего в том его слое, который получил название «интеллигенции», здесь постепенно утверждалась «буржуазная», городская семья. Она, как правило, не похожа ни на традиционную крестьянскую, ни на старую барскую семью с ее многочисленными приживалами, дворней и т. д., невелика по размеру, состоит из супругов и небольшого числа детей. Но главное отличие — в характере отношений между мужем и женой, между родителями и детьми. В них гораздо больше интимности, демократизма, признания самоценности каждого члена семьи, будь то мужчина, женщина или ребенок. Такая семья и становится колыбелью нового фундаментального принципа семейных отношений, прямо противоположного прежнему: не *человек для семьи*, а *семья для человека*.

Литература донесла до нас образы — возможно, несколько идеализированные — демократической городской семьи типа описанной в «Возмездии» Блока или булгаковской семьи Турбиных. Однако семьи такого типа оставались все же довольно редким исключением в огромной крестьянской стране. Их роль образца для подражания могла быть лишь очень скромной, а постепенное распространение влияния этого образца на жизнь десятков миллионов семей требовало долгих десятилетий. Неудовлетворенность же семейной жизнью миллионов людей заставляла желать перемен немедленно, не считаясь с ценой, которой могли потребовать такие перемены, подогревала всеобщее нетерпение. Поэтому дни Турбиных оказались недолгими. Несоответствие между остротой накопившихся проблем (в том числе и семейных) и возможностями их постепенного решения в России начала XX века было чрезвычайно велико, оно привело к социальному взрыву, что на долгие годы перечеркнуло возможности эволюционного пути модернизации семейных отношений.

### 4. 5. Семейная революция

**В** первые послереволюционные годы исторически оправданная критика патриархальной семьи приобрела крайний характер и переросла в отрицание не только архаичных, отживших форм семьи и принципов семейных отношений, но и самого института семьи вообще. Официальные теоретики того времени были убеждены, что «в коммунистическом обществе вместе с окончательным исчезновением частной собственности и угнетения женщины, исчезнут и проституция, и семья»<sup>58</sup>. «Место семьи как замкнутого мелкого предприятия должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания»<sup>59</sup>. В массовой пропаганде и бытовой практике враждебность к семье нередко приобретала самые уродливые формы.

Антисемейное идеологическое поветрие было весьма далеко от реальных требований времени и в своем крайнем виде продержалось недолго. Уже в конце 20-х годов начинается движение маятника в противоположную сторону. Сперва — довольно осторожное. Поначалу критикуется не само направление движения, а его скорость, слишком быстрая, по сравнению со скоростью экономического развития: семья перестает выполнять свои функции, а государство еще не может взять их на себя. «В целях сжатия

<sup>58</sup> Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. М.-Пг., 1923, с. 174.

<sup>59</sup> Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991, с. 121.

этих «ножниц»... государство вынуждено консервировать семью»<sup>60</sup>. В 1930 г. ЦК ВКП(б) принимает решение, в котором, среди прочего, говорится: «ЦК отмечает, что наряду с ростом движения за социалистический быт имеют место крайне необоснованные полуфантастические, а потому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей „одним прыжком“ перескочить через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой — в необходимости в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрой индустриализации страны... К таким попыткам некоторых работников, скрывающих под „левой фразой“ свою оппортунистическую сущность, относятся... проекты перепланировки существующих городов и постройки новых исключительно за счет государства, с немедленным и полным обобществлением всех сторон быта трудящихся: питания, жилья, воспитания детей, с отделением их от родителей, с устранением бытовых связей членов семьи и административным запретом индивидуального приготовления пищи и др. Проведение этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств и жестокой дискредитации самой идеи социалистического переустройства быта»<sup>61</sup>.

Нельзя не заметить двусмысленности приведенных формулировок. В постановлении критикуется не столько идея полного обобществления быта, сколько ее несвоевременность. Коллективизация быта как бы отодвигается в будущее, ко временам большего богатства и большей подготовленности населения. В головах идеологов она продолжала жить очень долго. Еще в 1964 г. академик С. Струмилин утверждал, что семья «суживается до... семейной пары. А когда такие узкие семьи признают уже нецелесообразным расходовать массу труда на ведение у себя, всего на двоих, самостоятельного домашнего хозяйства, то тем самым и каждая отдельная семья как хозяйственная ячейка, сливаясь с другими и перерастая в большой хозяйственный коллектив, волеется в новую „задругу“ грядущей бытовой коммуны»<sup>62</sup>.

В 1964 г. такие взгляды имели под собой еще меньше почвы, чем в 1924, ибо теперь они были направлены не против устаревшей патриархальной семьи, а против семьи, прошедшей уже через многие этапы обновления, которое было неизбежным и необходимым ответом на кризис ее старой патриархальной формы. Обновлявшаяся семья в СССР двигалась в том же направлении, что и во всех странах европейской культуры. Постепенно уходил в прошлое принцип *человек для семьи*, общество и сама семья мало-помалу осваивали новый принцип: *семья для человека*. Но на этом пути семью подстерегали и новые трудности, выйдя из одного кризиса, она очень скоро попала в другой.

Полного признания в условиях советской консервативной модернизации новый принцип семейного существования получить не мог. Значительная часть общества была не готова к восприятию модернизационных перемен и внутренне сопротивлялась им.

<sup>60</sup> Вольфсон С. Я. Социология брака и семьи. (Опыт введения в марксистскую генеомию). Минск, 1929, с. 442.

<sup>61</sup> КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1983, с. 118–119.

<sup>62</sup> Струмилин С. Г. Наш мир через 20 лет. // Избранные произведения в 5 томах. Т. 5. М., 1965, с. 440.

Как и все остальные институты советского общества, семья жила между двух берегов, между двух культурных пространств, была чем-то промежуточным, маргинальным, и это стало главным источником ее нового кризиса. Уже в предреволюционной блоковской семье, оказавшейся на переломе эпох, «все часы были полны каким-то новым „двоеверьем“». Еще большее «двоеверье» наполняло жизнь семьи советской. Антисемейные догмы раннего советского времени не могли отменить подлинную жизнь десятков миллионов семей, но и сами не исчезали, оказались очень долговечными. Догмы и жизнь существовали в странном симбиозе, который оборачивался искаженным, фантастическим видением реальности. Маятник общественного сознания, качнувшегося в первые послереволюционные годы в сторону полного нигилизма по отношению к семье, двигался теперь в противоположную сторону: состав, функции, образ жизни семьи обновлялись, а ее идеология, декларируемые принципы семейных отношений становились все более консервативными. В середине 30-х годов Троцкий писал о «семейном Термидоре» в СССР, о «торжественной реабилитации семьи, происходящей одновременно — какое провиденциальное совпадение! — с реабилитацией рубля»<sup>63</sup>. «Брачно-семейное законодательство Октябрьской революции, некогда предмет ее законной гордости, переделывается и калечится путем широких заимствований из законодательной сокровищницы буржуазных стран»<sup>64</sup>.

На самом деле, до реабилитации семьи, по крайней мере, той семьи, которой принадлежало будущее, было так же далеко, как и до реабилитации рубля. Далеко было и до «законодательной сокровищницы буржуазных стран». Произошли лишь некоторые подвижки, призванные устранить антисемейные крайности революционной поры. В каком-то смысле эти подвижки и впрямь не были лишены привкуса «термидорианства». Постепенно утвердившимся в общественном сознании *теоретическим* антиподом патриархальной сельской семьи стала не созданная европейской историей автономная, суверенная городская семья, уже пустившая первые ростки в предреволюционной России, — она, напротив, критиковалась за «буржуазность», «индивидуализм» и пр. Перед мысленным взором советских идеологов, как и перед мысленным взором Троцкого, витала семья, окруженная патерналистской заботой государства, обстроенная разного рода коллективистскими формами (общественным воспитанием детей, коммунальным бытом и т. д.) — конструкция, напоминавшая идеализированное общинное устройство русской деревни с элементами средневековых утопий Кампанеллы или Кабэ либо антиутопии Замятина. Это не только не облегчило модернизацию института семьи, но проложило путь к консервированию его архаичных форм. *Практика* же, если не считать нескольких слабых попыток (например, хрущевские школы-интернаты), очень быстро отказалась от следования «теории» и во многом стала возрождать ценности патриархальной семьи. Запрет аборт, ограничение разводов, непризнание незарегистрированных браков, повышенное внимание к «моральному облику» при назначении на ответственные должности, вмешательство «общественности» в семейные дела, преувеличенное целомудрие официального искусства и многое другое хорошо вписывалось в традиционную систему представлений об идеальной, «добропорядочной», по деревенским меркам XIX века, семье и о методах социального контроля над нею. Постепенно сложилась

<sup>63</sup> Троцкий Л. Цит. соч., с. 127.

<sup>64</sup> Там же, с. 128.

«семейная идеология», возрождавшая принцип *человек для семьи* и ставшая одной из опор всей официальной идеологии, основанной на принципе *человек для...*

Подобная идеология и вытекающая из нее практика искали опоры в реликтах общественного сознания и до поры до времени находили ее. Освященные историей семейно-общинные коллективизм и эгалитаризм, равно как и постоянно декларируемая «чистота нравов», выглядели созвучными неопределенному «социалистическому идеалу». Как писали еще Маркс и Энгельс, «нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социалистический оттенок»<sup>65</sup>. Как крайне «революционная» антисемейная, так и консервативная просемейная идеологии сошлись в своем неприятии «семьи для человека» и, как могли, тормозили ее становление. Это помогло продлить дни старых принципов семейного существования, а тем самым и всего социального здания, сложенного из семейных «кирпичиков». По точному замечанию Б. Миронова, «авторитарность межличностных отношений, привычная для крестьянской семьи, сыграла роль важной психологической предпосылки установления авторитарного режима в стране. Широкие слои населения этот режим не пугал, не вызывал протеста, т. к. они с детства привыкли к авторитарным отношениям и просто не знали иных»<sup>66</sup>.

Население было инстинктивно враждебно многим демографическим и семейным переменам, ибо они вступали в непреодолимый конфликт с культурной традицией. В условиях этого конфликта десяткам миллионов людей пришлось на протяжении жизни переходить от усвоенных с детства ценностей и образцов поведения к новым, неизвестным — задача заведомо невыполнимая. Массовое сознание долго не могло освободиться от заветов патриархальности. Еще в 1989 г., во время одного из опросов на первое место среди качеств, которые матери хотели бы видеть у своих детей, вышло «уважение к родителям», что заставило вспомнить результаты сходной американской анкеты 1924 г. Тогда американские женщины поставили это качество на второе место, но в 1978 г. у американок оно оказалось на седьмом. А вот независимость характера и верность своим убеждениям, которые в 1978 г. поставили на первое место американские женщины, в советском опросе 1989 г. заняли пятую позицию<sup>67</sup>. В СССР целые поколения оказались маргинальными, потерявшими одну систему культурных ориентиров и не обретшими другую. В этом — главное отличие советского варианта демографического перехода от западноевропейского. Его совершали люди, внутренне менее свободные, чем на Западе, в силу чего они и не могли в той же мере воспользоваться внешней свободой, которую создавали объективные демографические перемены.

Но и не совершить его они не могли. Даже частичный возврат к принципу *человек для...* мог быть только временным. Модернизацию семьи он притормозил, но остановить ее он не мог. Старая патриархальная семья с присущими ей ценностями разрушалась, а если принять во внимание драматические обстоятельства, которыми сопровождалась гибель деревни в СССР, то и «уничтожалась». Но, вопреки представлениям революционных теоретиков, семья как институт не отмирала, а лишь видоизменялась: харак-

<sup>65</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. // Соч., т. 4, с. 449.

<sup>66</sup> Миронов Б. Н. Цит. соч., с. 239.

<sup>67</sup> Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. Отв. редактор Ю. А. Левада. М., 1993, с. 99.



терная для старой России многодетная, многопоколенная крестьянская семья дробилась и вытеснялась нуклеарной малодетной семьей городского типа.

Уже в довоенный период — между переписями 1926 и 1939 гг. — число городских семей увеличилось более чем вдвое, тогда как численность населения страны выросла не больше чем на 16%. В 1939 г. доля городских семей (в послевоенных границах СССР) в общем числе семей составляла 34 %, в 1959 г. — 48,4%, в 1970 г. — 58 %, в 1979 г. — 64%, в 1989 — 67,9%. Одновременно уменьшался средний размер семьи (в 1939 г. — 4,1 человека на семью; в 1959 г. — 3,7; в 1989 — 3,5), сокращалась доля крупных семей — с 5 и более членами (в 1939 г. их было более 35%, в 1959 — 26%, в 1989 — 18%)<sup>68</sup>. Еще более характерны данные по Российской Федерации (на среднесоюзные показатели сильно влияли южные республики СССР, где модернизация семьи шла намного медленнее). В начале 20-х годов, когда большинство семей были сельскими, их средний размер составлял 5,6 человека, в немногочисленных городских семьях было, в среднем, 3,9 человека<sup>69</sup>. В 1989 г. доля городских семей составляла 73,7%, средний размер семьи — 3,2 человека, доля семей с 5 и более членами — 12,6% (табл. 4.6).

**Таблица 4.6. Некоторые характеристики семей Российской Федерации, 1926–1989 гг.**

	1939	1959	1970	1979	1989
<b>Доля городских семей, %</b>	<b>35,4</b>	<b>53,0</b>	<b>63,6</b>	<b>69,6</b>	<b>73,7</b>
<b>Средний размер семьи, человек</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>городской</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>сельской</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>
<b>Доля семей с 5 и более членами, %</b>	<b>35,5</b>	<b>24,9</b>	<b>20,6</b>	<b>13,4</b>	<b>12,6</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>городских</b>	<b>23,6</b>	<b>20,4</b>	<b>15,7</b>	<b>11,</b>	<b>111,2</b>
<b>сельских</b>	<b>42,0</b>	<b>29,9</b>	<b>29,3</b>	<b>18,8</b>	<b>16,4</b>

*Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994, с. 404.*

Количественные сдвиги были неотделимы от глубоких качественных перемен в образе жизни большинства семей. Производственная деятельность вчерашних крестьян, оставаясь источником средств существования семьи, переместилась за ее пределы и превратилась для многих десятков миллионов новых горожан да и для значительной части сельских жителей — как мужчин, так и женщин, — в труд за зарплату. Снижение рождаемости сделало возможным почти поголовное вовлечение женщин во внедомаш-

<sup>68</sup> Волков А. Г. Семья — объект демографии. М., 1986, с. 52, 57; Вестник статистики, 1990, 6, с. 78.

<sup>69</sup> Васильева Э. К. Семья и ее функции. М., 1975, с. 34.

нее производство, в СССР занятость в нем женщин на протяжении десятилетий была выше, чем в любой другой стране, и в средних возрастах почти не отличалась от занятости мужчин. Семейные и производственные обязанности отделились друг от друга в пространстве и времени, их сочетание резко усложнилось. Основополагающие функции семьи, ее образ жизни, ритм формирования, семейные роли, внутрисемейные отношения, семейная мораль — все вступило в полосу обновления. К середине 80-х годов массовая советская семья уже очень мало напоминала любой из классических типов крестьянской семьи, на протяжении тысячелетий служившей моделью семьи вообще.

#### 4. 6. Революция чувств

**С**емейная революция, стоящая в ряду очевидных экономических и социальных перемен, неотделима и от глубинных сдвигов в личной жизни людей, в эмоциональном строе интимных человеческих отношений, связанных с полом.

Половое влечение человека — извечный источник борьбы «культуры» и «природы». Христианская культура в России, как и везде, на протяжении последнего тысячелетия наступала на природу, теснила ее, стремясь ввести естественную жизнь плоти в социально приемлемые границы. Но возможности культуры задавались уровнем исторического развития, большого выбора методов воздействия на половое поведение людей у нее не было. Главным из них было подавление плоти. Культура откровенно принижала все, что было связано с полом, самостоятельное значение плотского начала не признавалось, осуждалось как «похоть». Даже и в браке половая близость мужчины и женщины была не более, чем терпима, и то лишь потому, что приводила к рождению детей. Еще Л. Толстой полагал, что «деторождение в браке не есть блуд; но... в мнении о том, что плотское общение хотя бы и с женой, ради одной похоти, греховно, есть правда»<sup>70</sup>. «Человек, — утверждал он, — должен всегда..., — женат ли он или холостой — быть по возможности целомудренным... Если он может быть настолько сдержанным, что не знает женщины вообще, то это самое лучшее, что он может сделать»<sup>71</sup>.

Христианский идеал целомудрия и действительное поведение людей, конечно, не совпадали, «культура» и «природа» находились в непрестанном конфликте. Реальная жизнь не укладывалась в узкие рамки господствующей культурной нормы, то там, то здесь выплескивалась из них, так что никогда не было недостатка и в отклонениях от нормы, в «грехе».

Таким отклонением могло быть возвышение культурного идеала любви, романтизация вожделения, любовного чувства, оправдывающая неподчинение родителям, супружескую неверность, даже просто нелюбовь к жене или мужу, что тоже было грехом. Народное сознание оставляло место для воспевания телесной красоты, любви, страсти. «Суд разит — песня отпускает, — писал Герцен. — Церковь предаёт анафеме любовь вне брака — песня прокликает брак без любви»<sup>72</sup>. Но, пожалуй, более

<sup>70</sup> Толстой Л. Н. Мысли об отношениях между полами. // Полн. собр. соч. под ред. П. И. Бирюкова. т. 18. М., 1913, с. 221.

<sup>71</sup> Там же, с. 213.

<sup>72</sup> Герцен А. И. Былое и думы. // Собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 27.

частой формой отклонения от нормы — и словесной, и практической — было снижение идеала, его десакрализация, противопоставление ему грубой, возможно даже нарочито огрубленной, простоты нравов. Хороший пример такой десакрализации — собранные А. Афанасьевым в середине прошлого века эротические «Русские заветные сказки». Тогда они были изданы в Женеве, но больше ста лет не могли пробиться в родную страну, ибо оскорбляли стыдливость и патриотические чувства царских и советских цензоров. Грубоватая стихия эротической сказки, конечно, очень далека от парадной, официальной половой морали, но, как писал Афанасьев, отнюдь не дает оснований для «обвинения русского народа в грубом цинизме». «Эротическое содержание заветных русских сказок, не говоря ничего за или против нравственности русского народа, указывает просто только на ту сторону жизни, которая больше всего дает разгула юмору, сатире и иронии»<sup>73</sup>. Вся интонация афанасьевских сказок свидетельствует о том, что «природа» не подавлена «культурой», а лишь заключена в некую культурную оболочку, не очень к тому же прочную. Об этом, впрочем, говорят и сами нравы, никогда не отличавшиеся в России особой утонченностью. Новым для России XIX века оказывается не отклонение от культурной нормы, а нарастающая критика самой нормы.

Русское общество не могло рано или поздно не столкнуться с вызовом растущей половой свободы. Такая свобода — естественное следствие распада синкретического мира, в котором дозволенное половое поведение всегда спаяно с чем-то другим — с браком, рождением детей, иногда — с особенностями социального положения, религиозным ритуалом и пр. По мере перехода от «простого» к «сложному» обществу, социальный мир дифференцируется, половое поведение обособляется, становится самостоятельным, что требует и самостоятельной, «автономной» культурной оболочки для этого вида поведения, нового общепризнанного основания социального контроля над ним — взамен разрушенных устоев традиционной половой морали.

Общество искало, стихийно нащупывало, вырабатывало такое основание. Переосмысление «проблемы пола» нелегко давалось российскому девятнадцатому веку, впрочем, и двадцатому тоже, им трудно было принять новый, более свободный взгляд на отношения полов, который несла менявшаяся жизнь. Да и сама проблема была не всеми замечена. В. Розанов упрекал Писарева и Белинского, «о „поле“ сказавших не больше слов, чем об Аргентинской Республике, очевидно, не более о нем и думавших»<sup>74</sup>, своих современников — религиозных философов (Флоренского, Булгакова и других), которые «ничего не сказали, и главное, не скажут и потом ничего о браке, семье, поле», В. Соловьева, который написал философскую работу «Смысл любви», но «ни одной строчки в десяти томах «Сочинений» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене и вообще терниям и муке семьи»<sup>75</sup>. В свою очередь, Бердяев поддержал усилия Розанова, который «первый с невиданной смелостью нарушил условное лживое молчание» и «заявил во всеуслышанье, что половой вопрос — самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, чем так называемый

<sup>73</sup> Афанасьев А. Русские заветные сказки. Москва-Париж, 1992, с. X.

<sup>74</sup> Розанов В. В. Уединенное. // Розанов В. В. М., 1990, т. 2, с. 243.

<sup>75</sup> Розанов В. В. Опавшие листья. // Розанов В. В. М., 1990, т. 2, с. 577.

вопрос социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, получившие санкцию вопросы»<sup>76</sup>.

Сам тон этих замечаний говорит о том, что русское общество созрело для широкого обсуждения «полового вопроса». Но претензии философов и публицистов начала века на какое-то особое первенство в его постановке едва ли обоснованы — они давно были подняты в русской культуре, и не случайно почти все эти философы и публицисты выступали очень часто как интерпретаторы Пушкина, Толстого или Достоевского. Просто к началу XX века сама проблема приобрела другие общественные масштабы, из элитарной стала массовой. Русское общество оказалось на пороге смены или, во всяком случае, очень сильного обновления культурной, нравственной и правовой основы всей системы отношений между полами, вообще всех отношений, связанных с половой жизнью человека, — это и придало неновому уже вопросу новое, громкое общественное звучание.

Естественно, что порыв к обновлению натолкнулся на глубоко эшелонированную оборону традиционных культуры и половой морали, теснимых новой этикой половой жизни. Одна из «линий обороны» заключалась в том, чтобы вообще вывести вопросы пола за пределы мира культуры, истолковать их как «естественные» и потому подвластные вечным, а не исторически меняющимся законам: не что-то новое появилось, а «так всегда было». На это, в частности, были направлены усилия Розанова. Его обостренный интерес к вопросам пола мог иметь, конечно, какие-то личные причины, но сквозь трактовку им этих вопросов просвечивает расколотое сознание консерватора, живущего на переломе эпох и готового принять, оправдать, даже приветствовать «инструментальные» перемены, но при условии, что главные социальные установления прошлой жизни остаются нетронутыми.

«Вся-то область эта — биологическая, и не „моральная“ и не анти-„моральная“, а просто — своя, „другая“»<sup>77</sup>. В социальных ролях мужчин и женщин главное — их биологическая заданность, она больше всего и предопределяет успешность игриания ролей. «Наибольший самец и наибольшая самка суть: 1) герой, деятель; 2) семьянинка, домоводка»<sup>78</sup>. Во всех же случаях выхода за пределы ролей, их смешения надо искать не плоды неустанного вращения колеса истории, а следы извечного присутствия «содомистов», «третьего пола», «людей лунного света».

В начале XX века откровенные, нередко эпатажирующие рассуждения Розанова о вопросах пола могли казаться очень современными. Однако именно современность привлекала его меньше всего. Казалось, что Розанов восстанавливал пол в его правах, на деле же он осуждал современные формы раскрепощения пола или хотя бы его «одомашнивания», постоянно противопоставлял им добродетели половой жизни далекого прошлого, которые он сам выдумывал и ставил на котурны своей цветастой риторике. «Брак и семья в Европе органически, окончательно испорчены, и не расцветут, пока не отцветет Европа», — утверждал он, противопоставляя Европе мусульман и древних евреев, древнюю Грецию и древний Египет, о которых он мало что

<sup>76</sup> Бердяев Н. Метафизика пола и любви. // Русский эрос. М., 1991, с. 234

<sup>77</sup> Розанов В. Люди лунного света. // Розанов В. В. М., 1990, т. 2, с. 29–30.

<sup>78</sup> Там же, с. 33.

знал<sup>79</sup>. Он с презрением писал о «наших невских проститутках», «этих чахлах, намазанных, пьяных, скотски ругающихся и хватающих вас за рукав особах», и тут же — с восторгом, чуть ли не как о воплощении «вечной женственности» — о египетских ритуальных, храмовых проститутках, «редких и исключительных существах, которые неопределенно и беспредельно отдавались мужчинам»<sup>80</sup>. Он осуждал даже «еженощное спанье вместе жены и мужа», едва ли не ответственное за «обломовский характер русских», — а надо бы как «у древних греков, палестинских евреев и теперешних мусульман», у которых «муж посещает жену свою, живущую отдельно в своем шатре» — тогда и совокупление происходит лучше и народы обладают совсем не обломовским характером, а «высоким здоровьем и красотой»<sup>81</sup>. «Сексуальность, которую Розанов прославлял и стремился освободить от викторианских ограничений, не была выражением индивидуального желания или определяющей чертой современной освобожденной личности, но сходной с религиозной верой духовной силой, которая подпирает мощные иерархии традиционного общества»<sup>82</sup>.

«Патриархальный эротизм» Розанова представлял одну — консервативную, обороняющуюся — сторону в разыгрывавшемся в России культурном конфликте вокруг всего, что было связано с полом. Но будущее, по-видимому, принадлежало все-таки другой, наступавшей стороне. Она шла навстречу переменам и искала новой культурной, ценностной оболочки для старого, как мир, эротического влечения.

Такой «оболочкой», мало-помалу превратившейся в самую суть любовного чувства, в российской, как ранее в европейской культуре, стала «романтическая любовь», то, что Толстой называл любовью-влюблением, плотское влечение, обогащенное глубоким эмоциональным переживанием. И это произошло не в каких-то особо привилегированных слоях — их эмоциональная жизнь и прежде была более развитой, — коснулось не каких-то необычных, исключительных случаев. Нечто новое вошло в повседневную жизнь каждого, стало постепенно массовым достоянием — разумеется, прежде всего как идеальная норма, как ценность, но это не могло не влиять и на реальное массовое поведение. Оно никогда не соответствует идеалу, но всегда в той или иной степени ориентируется на него.

<sup>79</sup> Там же, с. 63. Розанов не знал, например, что в древнем Египте, над которым, «горело... чудное небо других звезд, другой луны и солнца» и где «рождались лучезарнейшие младенцы, каких видел мир», да и во многих других африканских странах все девочки («включая Нефертити и Клеопатру», — замечает Бенуат Грут) подвергались клиторидектомии с целью лишить их возможности, став женщинами, испытывать желание и получать удовольствие от полового акта — в соответствии с требованиями патриархальной морали, господствовавшей под «чудным небом других звезд» и кое-где дожившей до наших дней. Как писал в своей книге известный африканский лидер второй половины XX в. Джомо Кениата, ни один представитель его народа (кикуйю), достойный этого имени, не вступит в брак с женщиной, не прошедшей через такую операцию, ибо она есть «условие *sine qua non* получения полного нравственного и религиозного воспитания» (цит. по: *Grout B. Ainsi soit-elle. Paris, 1975, p. 105*). Подобная практика существует и сейчас, в конце XX в., во многих африканских и некоторых азиатских странах, и, если она сохранится, «более 2 млн. девочек ежегодно будут подвергаться риску увечья гениталий» (Отчет о мировом развитии — 1993. Всемирный Банк, Вашингтон, 1993, с. 52).

<sup>80</sup> *Розанов В. Люди лунного света, с. 38.*

<sup>81</sup> Там же, с. 62.

<sup>82</sup> *Engelstein L. The keys to happiness. Sex and the search for modernity in fin-de-si cle Russia. Itaka and London, 1992, p. 333.*

Перемены вызрели в повседневной жизни, потому что сама эта жизнь мало-помалу становилась иной. В России еще и в XIX веке молодые люди вступали в брак по выбору родителей (а до освобождения крестьян, бывало, и помещика), а не по своему собственному. Женщина могла уступить насилию, но не страсти. Любовное наслаждение не относилось к числу санкционированных культурой первостепенных супружеских ценностей, экономические и социальные соображения весили больше. Г. Успенский свидетельствовал, что семьи в русской деревне иной раз именовались «запряжками», причем наименования для семейных отношений так же нередко брались из сельскохозяйственного лексикона: женился — «влез в хомут», или «походи-ка в моих оглоблях», или «натрешь холку-то» и т. д.<sup>83</sup> — тут было не до любви. В брак вступали очень молодые, незрелые люди, почти дети, еще не готовые чувствовать по-настоящему. В этом сказывалась своя мудрость — женить старались помоложе — «пока половой инстинкт заглушает в парне все остальные соображения, пока воля послабее, чтоб не женился по собственному желанию да не выбрал неугодной жены»<sup>84</sup>. Ходу назад после женитьбы не было, оставалось жить по старинной формуле: «стерпится — слюбится». Следовало ли удивляться, что «попадаются жены, что по году и по два не зовут даже своих мужей по имени; долгое время дичатся их, избегают оставаться наедине; обращаются с ними грубо, как бы обиженные или раздраженные чем-либо»<sup>85</sup>. А что касается собственно «секса», то «сожитительство Ивана с женой в тесной связи с его сытостью или голодом, а также с выпивкой вина. Отъевшийся осенью Иван да еще после «шкалика» почти всегда неумерен. А Иван голодный, в рабочую пору, например, собственно не живет с женой. Жену, конечно, не спрашивают о ее желаниях»<sup>86</sup>.

Сама жизнь, таким образом, оставляла очень мало места для развитого любовного чувства, что и получало отражение в культуре, в санкционированном ею понижении ценности любви, ее трактовке как чисто плотской, в противопоставлении возвышенного духовного низкому телесному. А это неизбежно означало сохранение сильного напряжения, всегда грозившего выходом «природы» из-под контроля культуры. Пока в обществе сохранялась незыблемость принципа *человек для...*, удерживалось и хрупкое равновесие «верха» и «низа». Когда же развитие общества и человека стало мало-по-

<sup>83</sup> Успенский Г. И. Без определенных занятий. // Собр. соч. в 9 томах, т. 4, с. 447–448.

<sup>84</sup> Внуков Р. Я. Цит. соч., с. 25. Розанову ранние браки казались большим достоинством, он утверждал, что «религиозная чистота» брака «не может быть восстановлена никакими иными средствами, как отодвижением его осуществления к самому раннему (невинному) возрасту... Восстановление раннего «чистого» брака есть альфа восстановления глубоко потрясенной теперь семьи» (В Розанов. Женщина перед великою задачей. // Розанов В. В. М., 1990, т. 1, с. 231–232). А вот как видел ранние браки историк, описывавший реальную русскую семью до «потрясения». «Молодой человек после венца впервые встречался с существом слабым, робким, безмолвным, которое отдавали ему в полную власть», «с которым он прежде не привык встречаться как с существом свободным»; «человек вступал в общество прямо из детской, развитие физическое несколько не соответствовало духовному», и «он являлся перед обществом преимущественно своим физическим существом». «Главное зло для подобного общества заключалось в том, что человек входил в него нравственным недоноском». (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962, кн. 7, с. 128–131).

<sup>85</sup> Звонков А. П. Цит. соч., с. 127.

<sup>86</sup> Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь «Ивана». // Записки ИРГО по отделению этнографии. Т. 39. СПб., 1914, с. 59.

малу обесценивать этот принцип, равновесие нарушилось, и освященные традицией брак и семья стали восприниматься как тюрьма плоти. Бердяев писал, что в Новое время семья часто признается могилой любви<sup>87</sup>.

Западная Европа встретила с этой проблемой раньше, чем Россия. Здесь со времени Ренессанса начинают складываться новые представления о целостной, гармоничной личности, и приходит новое понимание эротического влечения, требующее «преодоления средневекового дуализма „верха“ и „низа“, путем слияния возвышенного чувства и физической сексуальности»<sup>88</sup>, приходит способность по-новому чувствовать, намного глубже и ярче, чем прежде, переживать любовное чувство. В России то же происходило в XIX веке — в эпоху стремительного роста гражданского самосознания русского человека. Менялись воззрения, менялось, по-видимому, и реальное поведение людей.

Историк Н. Костомаров, описывая домашнюю жизнь и семейные нравы XVI–XVII веков, отмечал, что «в отношениях между двумя полами... видели одно лишь животное влечение»<sup>89</sup>. С. Соловьев писал, что хотя церковь «старалась внушить, что брак есть таинство, к которому должно приступать с благоговением, но общество смотрело на него другим взглядом и выражало этот взгляд в „нелепых козлогласованиях и бесстыдных словесах“, которыми провожали жениха и невесту в церковь»<sup>90</sup>. У обоих авторов речь идет о допетровской эпохе, но их воззрения принадлежат XIX столетию, когда в России прокладывали себе дорогу новые представления об отношении полов и все лучше осознавалось, что в отношениях мужчин и женщин, соединенных не по их воле, должна была преобладать грубая чувственность, которую уже не мог довольствоваться обновляющийся человек.

Внутренний мир его личности разрастался, обогащался, индивидуальное, интимное приобретало все большую цену, глубже и полнее переживалось и эротическое влечение. Люди начинали задумываться о правах индивидуальных, избирательных, человеческих чувств, которые не признаются в мире соборного человека, не осознающего себя как автономную индивидуальность. В таком мире, говоря словами Герцена, «любовь к лицу» уступает место «вообще любви к полу». «Но именно только личное, индивидуальное и нравится, оно-то и дает колорит, tonus, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм — личный, наше счастье и несчастье — личное счастье и несчастье»<sup>91</sup>. Эротическое влечение срасталось с «любовью к лицу», «распятое тело воскресало... и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез»<sup>92</sup>.

Позиция Герцена — промежуточный итог изменений в русской культуре, которой уже с начала XIX века пришлось всерьез осваивать новую ситуацию, вырабатывать но-

<sup>87</sup> Бердяев Н. Метафизика пола и любви, с. 260.

<sup>88</sup> Кон И. С. В поисках себя. М., 1984, с. 111.

<sup>89</sup> Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1992, с. 200.

<sup>90</sup> Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962, кн. 7, с. 127.

<sup>91</sup> Герцен А. И. Былое и думы. // Собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 204.

<sup>92</sup> Там же, т. 8, с. 162.

вый язык, новую систему образов, новое зрение, новую мораль. Это — время создания первых шедевров русской любовной лирики. Еще Державин мог писать, обращаясь к своей невесте: «Как счастлив смертный, кто с тобой проводит время! /Счастливее того, кто нравится тебе». Здесь декларируемое счастье даже и не предполагает ответного чувства. Совсем не то у Пушкина:

Когда б вы знали, как ужасно  
Томиться жаждою любви,  
Пылать — и разумом всечасно  
Смирять волнение в крови;  
Желать обнять у вас колени  
И, зарыдав, у ваших ног  
Излить мольбы, признанья, пени,  
Все, все, что выразить бы мог...

Имея в виду эти и другие стихи Пушкина, А. Ахматова писала о создании в русской поэзии «языка любовных переживаний»<sup>93</sup>. Раньше он не был ей нужен, ибо он не был нужен обществу. Начиная с Пушкина, высокая русская культура стремилась заполнить пропасть между «низом» и «верхом», между чувственным и духовным, возвысить первое до второго, сблизить их — подобно цветаевской Федре:

Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,  
Утолить нашу душу!) нельзя, припадая к устам,  
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...  
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

Какое-то время многим пишущим людям казалось, что любовные переживания — «господское» дело, простой же народ и любит «по-простому», не поднимаясь выше уровня грубого чувственного влечения. В конце прошлого — начале нынешнего века многие наблюдатели народной жизни были убеждены, что нравы даже падают. «Печальные «грешки», к несчастью, с каждым годом все прибавляются и прибавляются. Все чаще и чаще можно встретить среди крестьян случаи супружеской неверности. Виновы тут и отхожие промыслы, и солдатчина, ранние браки здесь положительно растлевают нравственность сельской молодежи, в конец извращают ее. За последнее время выбивается наружу более грустное и оскорбительное явление снохачества»<sup>94</sup>. О снохачестве (сожительстве отца с женой сына) тогда много писали. По свидетельству автора конца XIX века, «часто приходится слышать распространенный по всей России рассказ о том, как тянули колокол и до тех пор не могли поднять его, пока не были удалены снохачи»<sup>95</sup>.

<sup>93</sup> Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977, с. 78, 80.

<sup>94</sup> Звонков А. П. Цит. соч., с. 129.

<sup>95</sup> Богаевский П. М. Цит. соч., с. 17.



Ни ранние браки, ни снохачество не были, конечно, новостью в русской деревне. Критика же «падения нравов», скорее всего, отражает сдвиги в общественном сознании, появление каких-то иных, более высоких моральных критериев. Но и реальное массовое поведение тоже, видимо, менялось, что давало пищу для критики. Во второй половине XIX века историческое движение захватило все слои русского общества, рано или поздно новый мир чувств должен был открыться и мещанину и крестьянину. Нравы стали меняться, становиться более свободными, нарушения вековых правил — более смелыми и открытыми.

Жалобы на падение нравов всегда слышны в переломные эпохи, столкновение старых и новых нравов — одна из сторон обычного для таких эпох конфликта внутри культуры. Нараставшая «революция чувств» расширяла и углубляла этот конфликт. По замечанию Бердяева, христианство создало не только монашеский аскетизм, отрицание пола и любви, — из христианства вышел и романтизм — «хранитель личного начала в поле и любви»<sup>96</sup>. Но даже если отрицание половой любви и ее романтизация выросли из одного корня, очевидно, что им не так просто ужиться друг с другом. Конфликт здесь неизбежен. Романтизация любви всегда и везде встречала сопротивление тех, кто видел в ней угрозу соборным нравственным устоям. Так было и в России. Пушкин, говоря о любовном чувстве с откровенностью, недоступной его предшественникам, окружил его не только ореолом возвышенности и чистоты, но и романтическим ореолом свободы. Последнее уже тогда не пришлось по душе поборникам принципа *человек для...* И. Киреевский хотел бы, чтобы автор «Цыган» представил в этой поэме «золотой век», «где страсти никогда не выходят из границ должного». Такая мысль, по его мнению, «могла бы иметь высокое поэтическое достоинство. Но здесь, к несчастью, прекрасный пол разрушает все очарование и между тем, как бедные цыганы любят „горестно и трудно“, их жены „как вольная луна на всю природу мимоходом изливают равное сияние“». Совместимо ли такое несовершенство женщин с таким совершенством народа?»<sup>97</sup>.

По мере того как любовное чувство приобретало все большие права и умножалось число связанных с этим конфликтов, усиливалась и реакция на эту новую ситуацию, проявлявшаяся, в частности, во все новых попытках сорвать с любви ее романтические покровы. Стихия страсти в романах Достоевского сеет вокруг себя беду, калечит человеческие судьбы. Мир страсти — это мир, в котором проматываются состояния, летят в огонь пачки денег, нарушаются обеты, оскорбляется добродетель, совершаются убийства. «Грнула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет», — вот страсть у Достоевского. Анализируя изображение любви у Достоевского, открывшего «в русской стихии начало страстное и сладострастное», Бердяев пишет, что «в русской любви есть что-то темное и мучительное, непросветленное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви»<sup>98</sup>.

Бердяев видит в этом «ущербность нашего духа», но не есть ли видение любви Достоевским и его интерпретация Бердяевым попросту лишь отражение конфликта двух

<sup>96</sup> Бердяев Н. Метафизика пола и любви, с. 246–247

<sup>97</sup> Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина. // Киреевский И. В. Критика и эстетика. с. 50.

<sup>98</sup> Бердяев Н. Любовь у Достоевского. // Русский эрос, с. 274.

культур и двух нравственностей, на который было обречено обновляющееся русское общество XIX–XX веков? Внутренняя напряженность такого конфликта не обязательно связана с его внешними масштабами, она может быть в большей степени обусловлена его новизной. Развитие конфликта в ограниченной социокультурной среде, например у городской интеллигенции, может породить решения, которые со временем окажутся пригодными и для других слоев общества, охваченных тем же конфликтом, но такие решения даются нелегко и находятся не в один прием.

Беззащитность человека перед любовной страстью, как она представлена в русской литературе, порой кажется чрезмерной. У Достоевского, строго говоря, вообще нет реальной страсти, а лишь окружающие ее громы и молнии, довольно искусственно связанные с поступками его персонажей, но зато всегда очень опасные. У Толстого, напротив, страстное любовное влечение предстает во всей его чувственной полноте, но тоже очень часто как непобедимый внутренний враг, «дьявол». Деромантизация любовного чувства, часто переплетающаяся с его романтизацией, глубоко укоренилась в русской культурной традиции и обнаруживается иногда самым неожиданным образом, например, у Набокова. В этом сказывается непреодоленная переходность культуры, ее неготовность порвать со старым порядком вещей в том, что касается половой жизни человека.

Эта неготовность была еще велика в предреволюционной России и дала себя знать очень скоро после революции. Антисемейный пафос ранней революционной поры был не в последнюю очередь связан с упрощенными до предела взглядами на отношения полов, нередко сводившими их к чистой физиологии — но, собственно, ничего иного и не могло остаться после демонстративного отказа от традиционной культуры, религии и т. п. Социологические опросы 20-х годов показывали значительное упрощение нравов городской молодежи: рост добрачных и внебрачных связей, причем не только у мужчин, но и у женщин, большую снисходительность к ним, оправдание поверхностных, мимолетных контактов. Все это казалось очень революционным, в либерализации половой жизни видели «сексуальную революцию», созвучную политической революции.

На самом деле, истинная революция могла совершиться и отчасти уже совершилась не в самом сексуальном поведении, а в механизмах социокультурного управления им. Перемены в поведении могли стать долговременными только в том случае, если изменились главные побуждения к нему, глубина любовного чувства и смысл эротического желания. Биологическая основа желания осталась та же, что была всегда, но над ним всегда надстраивается еще нечто, привнесенное культурой. В России к началу XX века эта надстройка изменилась, расширилась. С появлением и распространением золотой монеты «романтической любви», медная монета примитивного «секса» не перестала существовать, но сильно упала в цене. В этом и заключался главный — и действительно революционный — сдвиг. Он-то и позволяет резко ограничить поле внешних санкций, касающихся половой жизни. Половая мораль делается более свободной, человек сам становится контролером своего полового поведения, общество же при этом отнюдь не впадает в свальный грех. Эта перемена прочитывается как «сексуальная революция», но в основе ее лежит более важная, основополагающая *революция чувств*.

Если такая революция и началась в дореволюционной России, то она затронула лишь небольшую часть ее населения и не создала еще предпосылок, необходимых для массовых перемен полового и семейного поведения. Радикализм советской сексуальной революции начала 20-х годов был преждевременным. Конечно, и тогда были попытки вписать внезапно выросшую половую свободу в новый, «современный» культурный контекст, противопоставить свободный, но романтизированный «крылатый эрос» бескрылому, не поднимающемуся выше примитивного физиологического влечения. Однако сам новый культурный контекст еще отсутствовал или был крайне неразвитым, общество не было готово к большей половой свободе, как оно не было готово к большей индивидуальной свободе вообще. Поэтому очень скоро новая половая мораль стала трактоваться как проявление буржуазного эгоизма и индивидуализма — в ущерб интересам коллектива. Как писал один из авторов тех лет: «Пролетариат имеет все основания для того, чтобы вмешаться в хаотическое развертывание половой жизни». «Половая жизнь перестает быть „частным делом отдельного человека“». «Допустима половая жизнь лишь в том ее содержании, которое способствует росту коллективистских чувств, классовой организованности, производственно-творческой боевой готовности, остроте познания»<sup>99</sup>.

Дело кончилось отторжением всех социокультурных нововведений в области отношений полов и довольно жесткой традиционалистской реакцией<sup>100</sup>. Начиная с 30-х годов в официальной советской морали воцарились критерии целомудрия, которым позавидовала бы и викторианская Англия. Казенное ханжество проникло в частную жизнь граждан, пропитало литературу и искусство. В середине XX века Анна Ахматова, чьим голосом впервые в русской культуре заговорило женское любовное чувство, — подобно тому, как за сто лет до нее в поэзии Пушкина впервые выразилось чувство мужское, — была заклеена как «блудница»<sup>101</sup>. В послевоенные десятилетия, когда сексуальная революция развернулась во всем мире, лицемерная советская мораль продолжала отстаивать нормы полового поведения чуть ли не домостроевского образца.

Но теперь уже эти традиционные нормы не соответствовали духу изменившегося общества, ибо совершенно иной стала массовая повседневная практика. В стране, где практически все официальные и неофициальные супружеские пары регулируют деторождение, вряд ли кто-нибудь искренне думает, что зачатие есть единственная цель полового акта. Ясно и то, что обособление полового поведения вовсе не означает всеоб-

<sup>99</sup> Залкинд А. Б. Революция и молодежь. М., 1924, с. 55, 75, 90.

<sup>100</sup> Вот любопытный пример зарубежной реакции на эти перемены (середина 30-х годов): «В работе среди молодежи мы ссылались на свободу в сексуальной сфере, предоставленную в Советском Союзе молодым, что и нашло отражение в моей книге. Коммунистическая партия Германии в 1932 г. запретила распространение книги, а годом позже и нацисты внесли ее в список запрещенных». «Замешательство как в Советском Союзе, так и вне его ставит, таким образом, на повестку дня вопрос о советской сексуальной политике. Что случилось? Почему сексуальная реакция берет верх? Что следует делать?» «Нам приходится констатировать торможение сексуальной революции, более того, возвращение вспять к формам регулирования любовной жизни, основывающимся на авторитарной морали». «Мы не можем больше ссылаться на сексуальную свободу советской молодежи и видим смятение, которое охватило западноевропейскую молодежь, не понимающую, что происходит в СССР» (Райх В. Сексуальная революция. Спб.-М., 1997, 206–208).

<sup>101</sup> Жданов А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Правда», 21 сентября 1946 г.

щего перехода от упорядоченных половых отношений к случайным связям. От этого как раз удерживает возросшая требовательность к половому общению, к его качеству, связанному с ним эмоциональному переживанию. Но с изменением функционального смысла половой близости большее значение приобретает ее гедонистическая составляющая и полнее раскрывается эротическое начало половых отношений, в том числе, а может быть и в первую очередь, отношений супружеских, которым старая синкретическая традиция отказывала в праве быть самостоятельным источником наслаждения. С некоторым опозданием это историческое нововведение пришло и в СССР. С. Голод, ссылаясь на исследования сексологов и сексопатологов, отмечает значительные перемены в половом поведении супругов за несколько последних десятилетий<sup>102</sup>.

Разумеется, перемены в половом поведении затрагивают отнюдь не только область супружеского секса. Возвращаются многие элементы свободы половых отношений, которые существовали в России в двадцатые годы и тогда были откровением для всего мира, а в 80-е стали обычными для всего мира, но непонятными жителям СССР. Более терпимым становится отношение к внебрачным связям, к раннему началу половой жизни, к однополую сексу. Сопоставляя имеющуюся информацию о реальностях половой жизни в России и США в конце 80-х годов, И. Кон приходит к выводу, что, при всех возможных оговорках, «российские сексуальные ценности, установки и поведение очень сходны с западными и связаны с одинаковыми проблемами и противоречиями»<sup>103</sup>. Правда, он же отмечает, что российская половая культура в своей эволюции примерно на четверть века отстает от западной<sup>104</sup>.

С. Голод попытался дать количественную оценку сдвигов в «качестве» половой жизни за последние десятилетия. Он выделяет пять типов сексуальных отношений молодых людей, которые он — в зависимости от степени избирательности при выборе партнера, эмоциональной вовлеченности, истинной интимности отношений — называет «любовным», «гедонистическим», «познавательным», «рекреационным» и «релаксационным»<sup>105</sup>. Изучая с помощью специальных опросов, проведенных в 1965, 1972 и 1995 гг., реальное поведение молодежи (возраст начала половой жизни, отношение к добрачным связям, побудительные мотивы вступления в них, тип партнера), Голод отметил «непрерывный рост любовного типа, при некотором колебании гедонизма». В совокупности эти два типа составляли: в 1965 г. — 35%, в 1972 г. — 49%, в 1995 г. — 65%. Доля же тех, кто был вовлечен в отношения более примитивного типа — «рекреационный» и «релаксационный» — сокращалась (44% — в 1965 г., 39% — в 1972 г., 18% — в 1995 г.). Это дало основания утверждать, что, «несмотря на рост числа молодых людей, вовлеченных в сексуальные контакты до брака, и на снижение возраста начала указанной активности, качественная сторона сексуальных отношений в целом улучшается»<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> Голод С. И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. Спб., 1996, с. 165–166.

<sup>103</sup> Кон И. The sexual revolution in Russia. From the age of the czars to today. N.Y., 1995, p. 177.

<sup>104</sup> Ibid, p. 269.

<sup>105</sup> Голод С. И. Цит. соч., с. 68–69.

<sup>106</sup> Там же, с. 71.

## 4. 7. Второй демографический переход

**О**дин из главных смыслов демографической модернизации заключается в переносе центра тяжести социального контроля над демографическим и семейным поведением людей с социетального на индивидуальный уровень: контроль со стороны государства, церкви или соседской общины уступает место самоконтролю, и одновременно резко расширяется свобода индивидуального выбора во всем, что касается личной жизни человека.

Этот важнейший сдвиг — естественное следствие изменения объективных условий человеческого существования. Снижение смертности сделало ненужной прежнюю высокую рождаемость. Снижение рождаемости и распространение планирования семьи разрушило синкретизм демографического поведения, слитность трех его составляющих: матримониального, полового и прокреативного поведений, сделало их относительно независимыми друг от друга<sup>107</sup>. Таким образом был нанесен сильный удар по синкретизму всего традиционного мира и расширены предпосылки нового структурирования, рационализации массового поведения и одновременно его усложнения. Многократно увеличилось возможное разнообразие вариантов индивидуальных жизненных путей.

Не удивительно, что старая система отношений, норм, институтов, приспособленная к прежнему, более простому и менее разнообразному миру, оказалась в кризисе. Низкая и продолжающаяся снижаться рождаемость, все меньшее число зарегистрированных браков и рост числа свободных союзов и других форм совместной жизни, ослабление прочности брака и увеличение числа разводов и внебрачных рождений, растущее замещение семейной солидарности солидарностью социальной, эмансипация детей и пожилых, упрощение семейных нравов, гибкость семейной морали — признаки новейших перемен, которые затронули все звенья процесса формирования семьи, все стороны ее жизнедеятельности и очень плохо вписываются в казавшиеся незыблемыми тысячелетние нормы человеческого общежития. Везде, где такие перемены дают о себе знать, они нередко воспринимаются как свидетельства тяжелого кризиса современной семьи и даже всего современного общества.

Такому взгляду противостоит стремление к более уравновешенной оценке плодов модернизации. Разумеется, нельзя отрицать хорошо известных проблем, возникающих в связи с падением рождаемости, старением населения, нестабильностью брака, ростом числа свободных союзов и внебрачных рождений, большим числом искусственных аборт, распространением СПИДа и т. п. Но не следует забывать и о другой чаше весов, на которую ложатся приобретения XX века: расширение свободы выбора для мужчины и женщины как в семейной, так и в социальной области, равенство партнеров, большие возможности контактов между поколениями, удовлетворения личных потребностей, самореализации и т. д. Совокупность происходящих перемен иногда обозначают термином «второй демографический переход»<sup>108</sup>. Его смысл усматривают «в возрастающей ценности индивидуальной автономии и индивидуального права выбора» и ви-

<sup>107</sup> Вишневский А. Г. Демографическая революция. М., 1976, с. 114–118.

<sup>108</sup> Van de Kaa D.J. Europe's second demographic transition. Population Bulletin, Washington, 1987, (41) 1.

дят в нем естественный спутник модернизации и демократизации. Поэтому, полагает, в частности, бельгийских демограф Лестег, один из авторов концепции «второго демографического перехода», «то же, что сейчас обуславливает стремление к демократии в Восточной Европе, как и в других частях мира, прокладывает там путь и второму демографическому переходу. Эпоха растущего религиозного и политического контроля над индивидуальной жизнью человека, которая с такой жестокостью утвердилась на Западе со времен Реформации и Контрреформации и которая длилась до второй половины XX века, пришла к концу»<sup>109</sup>.

В самом деле, в России и в других бывших республиках СССР как позднего советского, так и постсоветского времени, налицо все признаки модернистских изменений, свойственных западным странам второй половины XX века. О некоторых из них, таких как резкое снижение рождаемости, уже говорилось выше. Перемены очень сильно затронули процесс заключения и распада браков. С одной стороны, снижение смертности значительно уменьшило вероятность прекращения брака вследствие овдовения, сейчас оно остается главной причиной прекращения брака лишь в старших возрастных группах. Для более молодых супругов роль овдовения намного меньше, чем прежде. Если в конце прошлого века из каждых 100 брачных пар, образованных сверстниками в возрасте 20 лет, имели шанс не распасться из-за смерти одного из супругов до достижения ими 50-летнего возраста лишь 54, и даже во второй половине 20-х годов нашего столетия — только 63, то к середине 80-х годов этот показатель повысился до 79<sup>110</sup>.

С другой стороны, резко возросла вероятность распада брака из-за развода. До революции Россия практически не знала развода, число разводов на 1000 брачных пар составило в 1897 г. 0,06, в 1913 г. — 0,15. В конце 70-х годов этот показатель был в сто раз выше: 15,2 на тысячу — в основном за счет европейских республик СССР, ибо в Закавказье и Средней Азии разводов все еще было немного. Важную компенсирующую роль играли повторные браки, в 1985 г. они составили 20% всех браков. Но если прежде они смягчали последствия овдовения, то теперь — в основном последствия развода. По оценке М.Тольца, при уровне брачности и разводимости 1978–1979 гг. имели шанс вступить в повторный брак после развода 40% мужчин и 34% женщин, при уровне 1988 г. — соответственно 73% мужчин и 52% женщин. Возможно, эти шансы были даже выше, потому что статистика учитывала только зарегистрированные браки разведенных, а на деле немалое число браков не получало юридического оформления.

Динамика браков и разводов свидетельствовала о растущей матримониальной мобильности населения, которая с неизбежностью расшатывала традиционный пожизненный брак. Это вызывало обычную в подобных случаях морализаторскую критику, рассуждения о «падении нравов», которая затрудняла понимание происходивших перемен во всей их совокупности. В действительности, если учесть долговременное совокупное действие всех изменений в брачной биографии людей на формирование и жизнь семей, то их общий итог был положительным. По сравнению с концом прошлого века, ожидаемая продолжительность жизни в браке выросла у мужчин примерно на 6, а у

<sup>109</sup> *Lesthaeghe R.* Der zweite demographische bergang in den westlichen L ndern: eine Deutung. Zeitschrift f r Bev lkerungswissenschaft, 1992, Vol. 18, 3, S. 350.

<sup>110</sup> *Вишневецкий А. Г., Тольц М. С.* Эволюция брачности и рождаемости в советский период. // Население СССР за 70 лет. М., 1988, с. 85.

женщин — на 5 лет<sup>111</sup>. Тем не менее расшатывание привычных способов формирования семьи продолжалось. Одним из его проявлений стало умножение нерегистрируемых брачных союзов.

В СССР не было никакой официальной статистики нерегистрируемых браков, об их числе можно было судить только косвенно, например, по числу внебрачных рождений. Но было ясно, что число таких браков растет, а общественное мнение становится более терпимым к ним. В 1989 г., по данным одного из опросов, 22,5% опрошенных считали неприемлемым брачное сожителство без официальной регистрации, однако, по мере перехода к более молодым возрастам, доля таких ответов быстро падала. Среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше их было 47,3%; среди молодежи в возрасте до 20 лет — только 13,8%. Этот же опрос показал, что более снисходительно относятся к незарегистрированным бракам люди с более высоким уровнем образования<sup>112</sup>. Большая терпимость к альтернативным формам семьи сочеталась с признанием семьи одной из важнейших ценностей: 89,5% опрошенных предпочитали вступить в брак и жить в семье. Общественное мнение было гораздо более терпимо к незарегистрированным бракам, нежели к сознательной бездетности<sup>113</sup>.

Российская микроперепись 1994 г. впервые позволила оценить долю лиц, живущих в незарегистрированном союзе. По данным микропереписи, на долю состоящих в таких союзах приходилось 6,5 % мужчин и 6,7% женщин, считавших себя состоящими в браке. Эти показатели близки к наблюдавшимся в середине 80-х годов в Великобритании, Франции, Нидерландах, заметно ниже, чем в Швеции (20%), Норвегии и Финляндии (по 11%), но выше, чем в Италии (1%), ФРГ (5%), Австрии (4%) и Венгрии (3%)<sup>114</sup>.

Смысл свободных сожителств может быть разным. В них может проявляться как действительное «падение нравов» и легкомысленное отношение к супружеским отношениям, так и, напротив, более ответственное отношение к ним, нежелание юридически оформлять не проверенную опытом совместной жизни связь. В обоих случаях они заменяют некоторое количество юридически оформленных союзов, одним из следствий чего может быть отмечаемое статистикой снижение брачности, ибо оно оценивается по данным о зарегистрированных браках.

С распространением незарегистрированных браков связан, по-видимому, и быстрый рост числа внебрачных рождений. Их доля была высока сразу после окончания Второй мировой войны (в Российской Федерации свыше 24% в 1945 г.). К 1970 г. она понизилась до 11 %. Но в 80-е годы эта доля снова стала быстро расти и к середине 90-х годов превысила 20%.

«Второй демографический переход» на Западе ознаменовался распространением раннего, часто до вступления в брак, отделения детей от родительской семьи. Для СССР это не было характерно. Но отделение от родителей молодых супругов, нетипичное для

<sup>111</sup> Там же, с. 92.

<sup>112</sup> *Мацковский М., Бодрова В.* Ценность семьи в сознании различных слоев населения. // *Семья в представлениях современного человека.* М., 1990, с.163.

<sup>113</sup> Там же, с. 157, 165.

<sup>114</sup> *La situation démographique dans l'Union européenne. Rapport 1994.* Luxembourg, 1995, p. 51.

дореволюционной крестьянской России, становилось все более обычным. А. Волков, специально изучавший вопрос на представительном статистическом материале, относящемся к первой половине 80-х годов, показал, что подавляющее большинство молодых супругов стремилось жить отдельно от родителей: живущие вместе с родителями, как правило, хотели отделиться, а живущие отдельно не хотели соединяться<sup>115</sup>. По данным Волкова, более 1/3 лиц, живших до брака вместе с родителями, отделялись от них сразу же после вступления в брак. За первые 10 лет брака от родителей отделялись 59% молодых семей, а так как еще примерно 16% таких семей за это время распались, то неотделенными от родителей по истечении 10 лет брака оставалось всего 25% семей. Процесс отделения детей был сильнее выражен в европейских республиках, особенно у городского населения и значительно слабее — в республиках азиатской части страны, в первую очередь, у сельских жителей<sup>116</sup>. На практике процесс разделения семей до известной степени сдерживался трудностями с получением жилья, если бы их не было, этот процесс, вероятно, шел бы еще более интенсивно.

Второй демографический переход — этап демографической модернизации, в который даже продвинутые западные общества вступили сравнительно недавно — в последней трети XX века. Советское общество также прошло по этому пути довольно далеко, что может показаться неожиданным, если учесть типичные для СССР реликтовые семейную идеологию и шкалу ценностей. Но, может быть, в этом сказались коренные особенности демографической модернизации, которая затрагивает буквально каждого и затрагивает очень глубоко.

«Закрутить гайки» семейной жизни в анонимном городском обществе намного сложнее, чем в условиях сельской общины. Живая семейная стихия в таком обществе гораздо меньше поддается тоталитарному контролю, чем, скажем, производство или распределение материальных благ либо поведение людей в служебной обстановке. Конечно, в СССР и семья не была обойдена вниманием тоталитарного государства, в 30-е – 50-е годы семейные свободы были сильно стеснены. Но все же частная жизнь не знала всепроникающего тоталитарного надзора, столь характерного для публичной жизни тех лет, а со временем первой ощутила признаки приближавшейся либерализации. В обществе, которое не признавало свободы торговли, свободы передвижения, свободы слова или печати, свободы совести, семья порой пользовалась довольно большой свободой. Возможно, это было следствием молчаливого компромисса, уступкой, которую тоталитарное государство делало своим гражданам для того, чтобы сохранить за собой контроль в экономике, политике, других областях, казавшихся более важными, и хоть как-то компенсировало отсутствие в СССР многих важнейших гражданских свобод. Имели значение и весьма неопределенные взаимные экономические обязательства членов семьи, незначительная роль института наследства при отсутствии частной собственности и т. п.

Так или иначе, но частная, семейная жизнь в СССР во многих ее проявлениях была более свободной по сравнению как с жизнедеятельностью других социальных институтов советского общества, так и с семейной жизнью большинства людей в недалеком

<sup>115</sup> Волков А. Г. Цит. соч., с. 219.

<sup>116</sup> Там же, с. 203, 216.



прошлом, в условиях довольно жесткой деревенской цензуры, а порой и с семейной жизнью граждан многих западных стран. Конечно, эта свобода была все же относительной, ограниченной подконтрольностью всех других областей советской жизни. Но постепенно она расширялась. Семья и ее члены, живущие в городских квартирах (все чаще в отдельных), в анонимном городском пространстве, в возрастающей степени чувствовали свою автономность, придавали все большее значение суверенитету семейной жизни, ее приватному характеру, личному и индивидуальному в ней. Частная жизнь людей, в том числе и привилегированных, верхушечных слоев советского общества, все хуже укладывалась в узкие рамки официальной советской семейной морали.

На этом противоречивом фоне постепенно складывалась новая социокультурная почва, на ней худо-бедно приживались традиции дореволюционной «буржуазной», городской семьи. Сильно подорванные, они все же не исчезли, сохранившиеся их ростки ожили и окрепли. Несмотря на все трудности и противоречия, советская городская семья развивалась конвергентно с европейской или североамериканской, приобретает, понимает, и все их проблемы. Такая семья проявляла себя как все более активная структурная единица общества, более целеустремленно отстаивала свои экономические интересы, организовывала свое потребление, материальную среду, в которой она жила, свое жилище, свое времяпровождение, лучше осознавала свою ответственность за материальное или служебное благополучие своих членов, их здоровье.

В конце концов, со всеми возможными и неизбежными оговорками, сфера семейного существования оказалась тем заповедным местом, где люди начали входить во вкус иной жизни, где с детства признавались уникальность и самоценность личности, свобода индивидуального выбора, правомерность неповторимых и разнообразных семейных мирков. Везде было «Мы», а здесь было «Я». Поэтому городская советская семья, пожалуй, раньше других институтов почувствовала вкус и групповой, и индивидуальной автономии, ощутила необходимость гражданского общества как единственно возможного способа организации частной жизни человека, вылупившегося из семейно-общинной матрешки. Ставшее сакраментальным упоминание о интеллигентских «кухонных» посиделках символически указывает на эту неожиданную встречу семейного и гражданского.

Перемены не были легкими. Они шли вразрез с требованиями мобилизационной экономики, ограничительно-патерналистскими установками советского общества, тоталитарной идеологией, собственно семейными традициями. Функции, состав, структура семьи были уже новыми, а социокультурные рамки ее повседневного существования еще несли на себе множество следов былой патриархальности, сохранялись сильные пережитки традиционных внутрисемейных отношений, старого распределения половых и возрастных ролей и пр. Свобода выбора в демографической или семейной областях оказывалась нередко достоянием людей с незрелым, «подростковым» сознанием. Все это служило источником новых напряжений и рассогласований в жизнедеятельности семьи, порой порождало ностальгию по старым добрым временам, давало основания для возрождения консервативных воззрений на семью и возобновления старых русских споров.

Еще Л. Толстой, человек весьма далекий от модернистского энтузиазма, понимал, что дни старой патриархальной семьи сочтены. «Семья эволюирует, и потому прежняя форма распадается... Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается. Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно то, что старая разлагается...»<sup>117</sup>. «Новые формы» не сложились окончательно и сегодня, эволюция семьи продолжается, продолжается и ее приспособление к меняющимся условиям человеческого бытия. Такое приспособление никогда не бывает простым, тем более оно не было простым в СССР. Советское общество стремительно вошло в полосу демографического обновления, не будучи вполне готовым к нему. Догоняющее развитие вообще постоянно порождает подобные неувязки. Социальные нововведения заимствуются у обогнавших обществ в готовом виде, что позволяет отставшим двигаться быстрее, минуя многие промежуточные этапы и не неся ненужных потерь. В этом — сильная сторона догоняющего развития. Но оно имеет и слабую сторону. Заимствованные нововведения переносятся на неподготовленную почву, порождая причудливый и нередко не самый удачный сплав старого и нового. Такого сомнительного сплава много еще в личной и семейной жизни даже и постсоветского человека, демографической и семейной революциям еще предстоит пройти свои завершающие стадии на просторах бывшего СССР. Но двигаться при этом надо вперед, а не назад — не к ограничению свободы индивидуального выбора, а к выработке у каждого человека способности сочетать свободу выбора с его ответственностью.

Между тем и в бывшем СССР, и в нынешней России были и есть люди, связывающие будущее семьи с возвратом, по крайней мере, частичным, к прошлому, к его семейным нравам, к «материнскому призванию женщины» и т. п. Вспоминают и Киреевского, его мысли о семье, полагая их важными «для понимания не только проблемы семьи. Они позволяют постигнуть, в частности, и то, почему в России — по аналогии с беспрекословной властью главы семьи — всегда существовала и в государстве склонность к единоличному управлению и, следовательно, почему в ней вряд ли когда-либо привьется буржуазная демократия западного типа. Русским людям всегда, особенно в критические моменты истории, нужен был народный вождь, правильно сознающий назревшие потребности страны и строго, но справедливо управляющий ею»<sup>118</sup>.

Силы традиционалистского реванша неизменно вплетают темы семьи, пола, эротики в общий контекст антимодернистского противостояния и, отказывая в будущем всему настоящему, настойчиво тянут в прошлое. Не признавая самоценности человека и свободы индивидуального выбора ни в чем, они не видят им места и в личной жизни, не признают «личного лиризма» и не доверяют ему<sup>119</sup>. «Очеловечивание» эротизма — главное направление развития европейской культуры — кажется им весьма подозри-

<sup>117</sup> Толстой Л. Н. Мысли об отношениях между полами, с. 247.

<sup>118</sup> Антонов М. Ф. Ложные маяки и вечные истины: пути выхода страны из кризиса и русская общественная мысль. М., 1991, с. 43.

<sup>119</sup> В середине 80-х годов в «Литературной газете» прошла любопытная дискуссия (ее начало — в «ЛГ» за 17 июля 1985 г.) о соотношении лирики и эпоса в современном искусстве. «Лирика, —

тельным, по их мнению, эротический импульс может толкать либо к надчеловеческому, либо к недочеловеческому, животному. В современной открытой культуре отношения полов они и видят лишь такое «животное», «распущенность», «бесстыдство». Противопоставляется же всему этому не свободное, но одухотворенное чувство, а расцвеченное на розановский манер скрытое от глаз и узаконенное сексуальное насилие прошлого. «Патриотическая эротика патриархальна. Мужчина в ней является основным и главным сексуальным полюсом... через благодать своей самодостаточности и полноты одухотворяет, преображает и искупает таинством любви женщину... Внутренняя принадлежность к патриархальному, «фаллоцентрическому», мужскому типу эротики и заставляет всех «правых», независимо от специфики их позиций, сходиться в одном — в борьбе с порнографизацией, сексуальной либерализацией и сексуальной революцией в обществе»<sup>120</sup>.

Фаллократическая «патриотическая» мысль очень легко перебрасывает мостки от своей семейно-эротической мифологии к политике: к «гротескному (? – А. В.), пародийному (? – А. В.), но все же в некоторой степени «почвенному» сталинскому «империализму», который был вынужден (? – А. В.) прибегать к насилию и абсурду для осуществления... глубинных эротических позывов имперской нации»; к «„конституционному“ приравниванию женщин к мужчинам, что отражает... наличие откровенного полового извращения у... „законодателей“»; к недвусмысленным намекам на то, что «чужеземно ориентированные поборники „правовых государств“ рано или поздно станут жертвой эротической агрессии имперских этносов»<sup>121</sup>.

Существует и реальная политическая консервативная оппозиция, пытающаяся действовать чисто парламентскими методами. Еще в 1992 г., вскоре после распада СССР, в Верховном Совете России был подготовлен проект Основ законодательства об охране семьи, суть которого сводилась к тому, что «семья является субъектом права и ячейкой государства». Подобно борцам против Столыпинской реформы в добрые старые време-

утверждал поэт А. Кушнер, — живет лишь там, где есть уважение к человеку... Тоталитарные режимы не заинтересованы в ней, они поощряют тяжелоатлетический вагнеровский эпос» (см.: *Кушнер А.* Аполлон в снегу. Л., 1991, с. 205–206). У эпоса, конечно, нашлись защитники, и к месту были упомянуты Махабхарата, Калевала и Слово о полку Игореве. Но подоплекой спора было все же сопоставление не литературных жанров, а взглядов на человека.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка  
Все, что было. Уйдешь, я умру».  
Улыбнулся спокойно и жутко  
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Трудно представить себе эти ахматовские слова в устах Ярославны. Для эпоса — мелковато. А для женщины или мужчины вполне эпической эпохи войн и революций XX в. — в них концентрация личного опыта, которому нет цены.

<sup>120</sup> *Дугин А.* Консервативная революция. М., 1994, с. 215–217. Эту тему, между прочим, в свое время неплохо эксплуатировал Гитлер. «Нужно освободить всю нашу общественную жизнь от затхлого удушья современной эротики, нужно очистить атмосферу от всех противоестественных и бесчестных пороков. Руководящей идеей должна быть систематическая забота о сохранении физического и морального здоровья нашего народа. Право индивидуальной свободы должно отступить на задний план перед обязанностью сохранения расы» (*Гитлер А.* Моя борьба. 1992, с. 213).

<sup>121</sup> *Дугин А.* Цит. соч., с. 213, 218–219.

на 3-й Государственной думы, авторы проекта настаивали на семейной собственности на квартиру, хозяйство, землю и пр. Предусматривалось, что личные доходы каждого члена семьи должны по закону складываться в общий семейный бюджет. Подчеркивалась предпочтительность воспитания детей в семье, а женщинам за домашний труд и воспитание детей предлагалось платить заработную плату. Женщина лишалась права самостоятельно принимать решение о рождении ребенка и т. д.<sup>122</sup>.

Проект не получил необходимой поддержки, но сходные проекты выдвигаются снова и снова, иногда поражая воображение неудержимой фантазией их авторов. Не исключено, что однажды законодатели не устоят перед напором «семейных» лоббистов и в чем-то пойдут им на уступки. Это послужит источником не одной личной трагедии, но мало что изменит по большому счету. Постсоветская семья никак не способна оправдать ностальгические надежды поборников вчерашнего дня. Ее будущее связано, скорее всего, с движением в противоположном направлении — к большей независимости семьи от государства и к большей свободе внутрисемейных отношений. Это движение предопределено одновременно и внутренними императивами эволюции института семьи, и главными ориентациями развития всех современных городских обществ. Пока оно в значительной мере тормозится экономическим и социальным кризисом постсоветского мира, общим убожеством материальных условий повседневной жизни, но именно напор со стороны семьи, которая переросла эти условия, может оказаться силой, способной придать динамизм реформам и ускорить выход из кризиса.

<sup>122</sup> «Известия», 25 ноября 1992.



# ГЛАВА 5

## КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СОБОРНЫЙ ЧЕЛОВЕК С УНИВЕРСИТЕТСКИМ ДИПЛОМОМ

### 5.1. Соборный человек

**М**ы хотим, писал Ленин в 1919 г., — строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены<sup>1</sup>. Что же это был за «материал»?

Пытаясь осмыслить особость России и ее исторического пути, один из основоположников славянофильства А. Хомяков развивал идею соборности, утраченной Западом, но сохранившейся в русском православии. Концепция соборности подчеркивала целостность, догматичность коллективного сознания, его неделимость, «единство во множестве»<sup>2</sup>. Сомнение в существующем догмате, «отрицание догмата как живого предания» было, согласно Хомякову, уделом протестантства, но «протестантство у нас невозможно и... мы не можем иметь ничего общего с реформой, ибо стоим на совершенно иной почве»<sup>3</sup>.

Учение Хомякова о соборности было философским, богословским, а не социальным. Г. Флоровский возражал П. Флоренскому, который «в учении о „соборности“... угадывает только маскированный социализм»<sup>4</sup>. Но, по-видимому, оно все же дало толчок для более расширительных, в том числе и «социалистических» толкований. «Хомяковская идея соборности... имеет значение и для учения об обществе. Это и есть русская коммунитарность, общинность, хоровое начало, единство любви и свободы, не имеющее никаких внешних гарантий... Общинный коммунитарный дух славянофилов противопоставляли западному рыцарству, которое обвиняли в нехристианском индивидуализме и гордости»<sup>5</sup>.

В развитии идеи соборности, в которой сегодня нередко видят чуть ли ни главное средоточие «русскости», с самого начала слышна уже знакомая нам русско-немецкая перекличка. Бердяев, Флоровский указывали на вероятную связь идей Хомякова с кни-

<sup>1</sup> Ленин В. И. Успехи и трудности Советской власти. // Полн. собр. сочинений, т. 38, с. 54.

<sup>2</sup> Хомяков А. Письмо о значении слов: «кафолический и соборный». // Сочинения. Богословские и церковно-публицистические статьи, Пг., 1915, с. 252.

<sup>3</sup> Хомяков А. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси. // А. Хомяков. О старом и новом. М., 1988, с. 60, 69

<sup>4</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (Вильнюс 1991), с. 278.

<sup>5</sup> Бердяев Н. Русская идея. (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). Париж, 1946, с. 53.

гой немецкого автора Мелера «Единство в Церкви или начало соборности»<sup>6</sup>. Речь идет, разумеется, не о заимствовании, а о «духовной встрече» Хомякова с Мелером, принадлежавшим «к тому поколению немецких католических богословов, которые ведут в те годы внутреннюю борьбу с веком Просвещения»<sup>7</sup>. По-видимому, концепция «соборности» возникает не случайно, служит осмыслению одного из основополагающих звеньев холистской, коллективистской системы ценностей в переломную эпоху, когда она вынуждена принять исторический вызов ереси индивидуализма и мобилизовать на свою защиту все силы традиционной культуры.

Эта культура отражает всеобщие принципы организации социальной жизни в относительно простых, слабо расчлененных и малоэффективных «сельских» обществах. Их свобода скована жесткими рамками экономической и демографической необходимости, им приходится вести постоянную коллективную борьбу за выживание, что и оправдывает подчинение безусловному императиву *человек для...*: для общества, для государства, для семьи и т. д. Отдельный человек всегда виден лишь сквозь призму интересов такого коллективного целого. На первом месте всегда — целостность, неделимость человеческих сообществ, их коллективное, хоровое, холистское бытие, «Мы», а не «Я».

Смысл соборности и раскрывается обычно через ее противопоставление принципу автономии личности, индивидуализму и пр. «Есть два типа самочувствия и самосознания — индивидуализм и кафоличность», — писал Флоровский<sup>8</sup>. «Словом „соборный“, — разъясняли евразийцы, — церковно-славянский Символ Веры передает греческое слово „кафолический“, „katholicos“. „Соборный“, или „katholicos“, значит „единый по всему и во всем“, „единый в целом и во всех частях“... Христианин понимает, что он не прав, если его индивидуальная, субъективная правда отрицает правду других. Он не утверждает своей субъективной правды самовольно, сознавая свою ограниченность и уповая, что Бог согласует истинное существо его правды с истинным существом правды всякого другого»<sup>9</sup>. Именно кафолическим, соборным самочувствием и самосознанием проникнуты, например, следующие слова Киреевского. «В России формы общежития, выражая общую цельность быта, никогда не принимали отдельного самостоятельного развития, оторванного от жизни всего народа... Никакая личность... никогда не искала выставить свою самородную особенность как какое-то достоинство; но все честолюбие частных лиц ограничивалось стремлением быть правильным выражением основного духа общества»<sup>10</sup>. Этому противопоставляется «весь частный и общественный быт Запада», ибо он «основывается на понятии

<sup>6</sup> Moehler J. A. Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Catholicismus. 1825. Как замечает Флоровский, «всего точнее передавать здесь термин „католицизм“ именно словом „соборность“» (Флоровский Г. Цит. соч., с. 278–279). Хомяков тоже писал о тождественности понятий «кафолический» и «соборность», ссылаясь на авторитет Кирилла и Мефодия. (См. Хомяков А. Письмо о значении..., с. 248, 251).

<sup>7</sup> Флоровский Г. Цит. соч., с. 279.

<sup>8</sup> Там же, с. 506.

<sup>9</sup> Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 367–368.

<sup>10</sup> Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 286–287.

о индивидуальной, отдельной независимости... Первый шаг каждого лица в обществе есть окружение себя крепостью, изнутри которой оно вступает в переговоры с другими и независимыми властями»<sup>11</sup>. Таким образом, логика соборной идеи вела к осмыслению определенного *человеческого типа*, которому русские поборники этой идеи придавали значение типа *национального*.

Нельзя, однако, постоянно не замечать, что эта логика была близка не одним только русским и что своего общинного, соборного человека порой искали и находили и на Западе. Гердер писал, что «общинный жизненный уклад германских народов был во всемирной истории той прочной оболочкой, внутри которой... развился общественный дух Европы»<sup>12</sup>, хотя ему и приходилось все время преодолевать противодействие народов «с уже установившимся укладом или с извращенной роскошеством и суеверием культурой»<sup>13</sup>, «варварского римского папства»<sup>14</sup> и т. д. Немецкий антииндивидуализм, конечно, отличался от русского<sup>15</sup>, но не всегда и не во всем, во взглядах на взаимодействие человека и общества сторонники русской и прусской идей были очень близки. «Не „Я“, но „Мы“, коллективное чувство, в котором каждое лицо совершенно растворяется. Дело не в человеческой единице, она должна жертвовать собой целому. Не каждый стоит за себя, а все за всех», — формулирует Шпенглер много лет спустя после Киреевского сущность прусской идеи, противопоставляя друг другу личную независимость и сверхличную общность, — ныне, пояснял он, их называют индивидуализмом и социализмом<sup>16</sup>. Активное противостояние индивидуализму во имя сохранения традиционного холистского миропонимания типично и для всех современных развивающихся стран. По-видимому, соборный человек — вовсе не национальный, а универсальный человеческий тип, складывающийся во всех аграрных, крестьянских обществах, каким и было еще русское общество XIX века.

У соборного человека своя картина мира, свой универсум ценностей. Каждая ячейка его мироздания и все оно в целом имеют моноцентрическое, пирамидальное строение, и вершина любой пирамиды всегда важнее всех других ее частей, от нее исходят порядок и власть. А. Ахиезер видит в соборности один из полюсов древнего «вечного идеала», на другом полюсе которого находился авторитаризм, освящающий единоличную власть

<sup>11</sup> Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову. // Киреевский И. В. Критика и эстетика, с. 147.

<sup>12</sup> Гердер И. Г. Идеи к философской истории человечества. М., 1977, с. 544.

<sup>13</sup> Там же, с. 539.

<sup>14</sup> Там же, с. 542.

<sup>15</sup> В Германии существовали прочные основы индивидуализма, заложенные Реформацией. Но, как утверждает Л. Дюмон, Реформация означала признание индивидуализма в самой важной тогда области религии, о социально-политической области речь не шла, вследствие чего «в Германии... лютеранский индивидуализм развился... в «пиетизм», в чисто внутренний индивидуализм, который не затрагивал чувства принадлежности к целостному культурному сообществу. Вызов, на который отвечал Гердер, был порожден противостоянием во второй половине XVIII в. между пиетизмом и тем, что можно назвать «второй» волной индивидуализма, поднятой Просвещением, а позднее Французской революцией. Эта волна, в отличие от предыдущей, затрагивала социально-политическую область и превращала «общину» в «общество». (Dumont L. Homo aequalis, II. L'idéologie allemande. Paris, 1991, p. 24). В России же не было и «первой» волны.

<sup>16</sup> Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, б.д., с. 54.



«первого лица»<sup>17</sup>. «Первичность Мы» не означает какого-либо ограничения этой власти и противостоит не ей, а своеволию массового индивидуального поведения. Именно оно подчинено не подлежащей обсуждению или анализу соборной норме, каждый должен быть «как все», стремиться сократить расстояние между Я и Мы, в идеале — уменьшить Я до его полного растворения в Мы. Это не исключает, конечно, нередкого несовпадения между идеалом и делом. Но для «идеального» соборного человека, как для толстовского Платона Каратаева, увиденного глазами Пьера Безухова, «жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Соборное сознание не стремится к пониманию внутренней сложности и противоречивости природного и социального мира, позволяет видеть мир только целостным, омысливать только нерасчлененными блоками. Синкретический менталитет не допускает анализа, социальной самокритики, оценивать для него значит морализировать. Он требует веры, делает возможным истолкование всего сущего только в терминах добра и зла, истинных и неистинных ценностей и т. п.

Разумеется, соборность — лишь идеальный принцип, который даже и в классических холистских обществах реализуется только с некоторым приближением, с неизбежными нарушениями, искажениями и пр. Но именно как принцип она соответствует требованиям традиционного «внешнего» социального контроля в простых обществах и потому сохраняет для них значение идеала, отраженного в той или иной форме во всех главных социальных установлениях. Так было и в России — до тех пор, пока экономические и прочие перемены не подорвали «власть земли» и не поставили под сомнение сам соборный идеал. Глеб Успенский, быть может, самый глубокий знаток русской пореформенной деревни, высоко ценил образ Платона Каратаева как воплощение народного, крестьянского типа. Но, обращаясь к нему, он всякий раз добавлял свои краски, которые лишали его благостности, видившейся Пьеру Безухову. «Мать-природа, воспитывающая миллионы нашего народа, вырабатывает миллионы таких типов, с одними и теми же духовными свойствами. „Он — частица“, „он сам по себе — ничто“, „он любовно живет со всем, с чем сталкивает жизнь“, и „ни на минуту не жалеет, разлучаясь“... Все может Платон: „Возьми и свяжи... Возьми и развяжи“, „застрели“, „освободи“, „бей“ — „бей сильней“ или „спасай“, „бросайся в воду, в огонь для спасения погибающего!“ — словом, все, что дает жизнь, все принимается, потому что ничто не имеет отдельного смысла, ни я, ни то, что дала жизнь... Сотни тысяч их умирает ежегодно по всей России — безмолвно, безропотно, как трава, и сотни тысяч, так же как трава, родятся»<sup>18</sup>.

Горькие размышления Г. Успенского, отражали, по-видимому, нараставшее общественное ощущение: массовый соборный человек, «человеческий материал» уже не соответствовал требованиям времени. Страна нуждалась в ускорении перемен, в обновлении, но их было «некем взять», в многолюдной России не хватало людей. «Люди, люди — это самое главное, — писал Достоевский. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а... только веками выделяются... Человек идеи и науки самостоятельной, че-

<sup>17</sup> Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России). Т. 1. Новосибирск, 1997, с. 85 и след.

<sup>18</sup> Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах, т. 5. М., 1956, с. 200–201.

ловек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всюю историческою жизнью страны... Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно<sup>19</sup>.

Впрочем, именно вторая половина XIX века, когда писал Достоевский, стала временем быстрых перемен в народной жизни, которые как раз и рождали новый массовый человеческий тип. В той мере, в какой модернизация затронула дореволюционную Россию, она диктовала свои условия и всему обществу, и каждому человеку. Торгово-промышленное и городское развитие требовало изменения типа межличностных связей и социального контроля, а значит, и смещения от холизма к индивидуализму — от общества приводных ремней, где импульсы движения в социальном поле поступают к каждому с вершины пирамиды, из центра того или иного уровня, к обществу людей, обладающих «встроенными» автономными двигателями и индивидуальной системой целеполагания, людей «самостоятельно деловых». Это означало конец соборного человека. Но скорость перемен никого не удовлетворяла. Только одни считали, что ускорять их «никак невозможно» — как Достоевский. Другие же хотели действовать «немедленно» — как Ленин.

## 5.2. Автономная личность: «лишний человек» и «мыслящий пролетарий»

**С**ам факт рефлексии по поводу соборности у Хомякова или Киреевского говорит о том, что время, когда она казалась естественной, как воздух, и потому не нуждалась в обсуждении, миновало не позднее первой половины XIX века. Уже тогда давно начавшееся подтачивание соборного идеала в России приобрело характер вызова, брошенного обществу новым типом людей, далеко отошедших от соборной нормы.

Появление их было естественным ответом на усложнение материальной и социальной среды, в которой жил европейский человек Нового времени, структуры его деятельности, недавно еще относительно простой и синкретической. Ее разные стороны обособились друг от друга. Разделились, разошлись во времени и пространстве, специализировались частная и общественная жизнь, экономическая и семейная, разум отделился от чувства, знание — от веры. В ответ на это разделение дифференцировались разные роли одного и того же человека, он как бы распался на несколько специализированных личин, которые могли оказаться в разладе друг с другом. Но это же открыло путь развитию «специализированных» индивидуальных способностей, склонностей, предпочтений и их бесчисленных неповторимых сочетаний, что одновременно сделало человека и более индивидуальным, и более универсальным, адаптивным.

Новый тип человеческой личности вызревал в Европе несколько веков, и одновременно менялись европейские культурные горизонты, освященные культурой картина мира и образ человека. С заметным опозданием время распада синкретического образа мира и синкретического соборного сознания, время человека, думающего, чувствующего и действующего по-новому, наступило и в России — но вначале лишь для очень узкой,

<sup>19</sup> Достоевский Ф. М. Мечты и грозы (Дневник писателя, 1873). // Полн. собр. соч. в 30 томах. Т. 21, с. 93.

привилегированной социальной среды. Люди из этой среды с удивлением обнаружили свое глубинное отличие от большинства народа, от остававшегося синкретическим простого человека, у которого чувство, мысль и долг слиты воедино и потому несамостоятельны, неразвиты, поверхностны. Это — время поворота в истории русской культуры, час, когда, по словам Белинского, «сближение с Европою должно было особенным образом отразиться в нашем обществе, — и Пушкин... уловил это отражение в лице Онегина»<sup>20</sup>. Согласно Белинскому, все творчество Пушкина и писателей его круга — свидетельство того, как культура осваивала новые для нее «разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно многосложные отношения людей, общественные и частные», какие «может подготовить только сильно развивающаяся или развившаяся цивилизация»<sup>21</sup>.

Уже в наше время Анна Ахматова исследовала связь «Евгения Онегина» Пушкина с романом Бенжамена Константа «Адольф», в котором автор впервые «показал... раздвоенность человеческой психики, соотношение сознательного и подсознательного, роль подавляемых чувств и разоблачил истинные побуждения человеческих действий»<sup>22</sup>. Подобно тому, как «Адольф» был первым психологическим романом в европейской литературе, «Онегин» был первым психологическим романом в России, первым ответом русской культуры на появление внутренне более сложной, противоречивой, рефлектирующей, спорящей с самой собой человеческой личности, свидетельством того, что уже в первой четверти XIX века русская культура восприняла ценности аналитического, критического, скептического, рационального мышления, и ценности интимного, лирического чувствования, а в какой-то мере и ценности целерационального действия.

Образование, литература, искусство, наука, сама жизнь стали воспроизводить и развивать эти ценности, распространять их в расширяющейся общественной среде. Все больше людей воспитывалось в новом культурном климате, который требовал и новой внутренней среды человеческой личности — сознания и психики, способных ориентироваться в разъятом на части, противоречивом и быстро меняющемся мире и, благодаря наличию внутренней доминанты, отображать его как нечто целостное. Все это усложняло и обогащало личность, а потому и повышало ее независимость, способность к автономному плаванию в житейском море. Оно и понятно: чем сложнее система, тем она гомеостатичнее, тем больше самоорганизуется и меньше зависит от управляющих воздействий извне. Весь XIX век русская культура осмысливала незнакомые ей прежде сложные, раздвоенные характеры, не только изображая их носителей, но и предлагая все новые и новые образы «целостного» человека для выгодного или невыгодного сравнения с ними — Тараса Бульбу, Платона Каратаева, мужика Марья, Обломова и т. д.

Было две причины появления нового человека в России: европейские влияния и усложнение самой российской жизни. Вначале главной была первая из этих причин. Че-

<sup>20</sup> Белинский В. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. // Собр. соч. в трех томах. М., 1948. Т. 1. с. 625.

<sup>21</sup> Белинский В. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая. // Собр. соч. в трех томах. Т. 3., с. 498.

<sup>22</sup> Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977, с. 62–63.

рез воспитание на западный манер весьма немногочисленные дворянские и околдворянские круги «с поспешностью измены»<sup>23</sup>, как выразился Герцен, восприняли западные культурные достижения и первыми почувствовали себя новыми людьми. «Отщепенцы всех сословий, эти новые люди, эти нравственные разночинцы составляли не сословие, а среду»<sup>24</sup>, в которой и совершался самый важный в русской истории сдвиг: складывался новый человеческий тип — противоположная соборной автономная личность. Эта среда служила лабораторией, в которой осмысливались проблемы новой, несоборной, индивидуалистической культуры. Придуманное Боборыкиным в 60-е годы прошлого века слово «интеллигенция», собственно, и указывает на эту среду «новых» людей, не просто образованных, — образованные люди были в России и прежде, — но мыслящих и чувствующих по-новому и, самое главное, живущих под небом каких-то иных ценностей. Многими чертами русский интеллигент уже и есть та автономная личность, которую создало докатившееся теперь и до России западное развитие.

Та — да не та. Ибо полная автономизация и переход из мира, в котором каждое действие было подчинено готовой синкретической норме, в мир, где цели и средства деятельности разделены и все действия «целерациональны», давались русской интеллигенции нелегко. В пору вызревания автономной личности в Западной Европе, особенно в тех ее частях, которые пережили Реформацию, очевидная роль экономических успехов придала особую важность одной из обособившихся человеческих ипостасей — экономической, все остальные были оттеснены на второй план. Новый человек стал восприниматься прежде всего как *человек экономический*, Homo economicus. Обособление и доминирование Homo economicus среди других человеческих личин сильно способствовали развитию ценностей рационализма и утилитаризма, с которыми был связан экономический успех. Но даже во времена наивысшего триумфа этого человеческого типа, экономическая ипостась была не более чем первой среди равных. В самой многоуровневой, многоипостасной структуре личности нового человека было заложено противоядие против чрезмерного преувеличения одной из ролей, неизбежность состязания ипостасей, а значит, и возможность перераспределения «весов» и достижения новой гармонии сильно усложнившейся внутренней среды личности. В этом — главный выигрыш Нового времени: многократно возросшие гибкость и эффективность деятельности, богатство и полнота жизни. В этом же, впрочем, и его главная культурная проблема — восстановление утраченной целостности картины мира и самой личности.

Когда русские дворяне стали заимствовать на Западе привлекавшие их культурные образцы, они имели дело уже с готовым результатом многовекового развития. Самостоятельной школы экономического человека Россия не прошла, и синкретизм здесь все еще проявлял удивительную жизнеспособность, потому что была жива питающая его почва — традиционная жизнь крестьянского большинства народа. Медленно отступая под натиском утилитаризма, синкретическое миропонимание долгое время сохраняло господствующее положение, продолжая влиять и на ту — намного меньшую — часть общества, которая уже осваивала рационалистическую и утилитаристскую оптику. Даже в радикальных декларациях сторонников новых ценностей разум и чувство, выгода и мораль все еще рассматриваются просто как разные «стороны» нерасчленимого цело-

<sup>23</sup> Герцен А. И. 1831–1864. // Собр. соч. в 9 томах. Т. 8, 1955, с. 41.

<sup>24</sup> Там же, с. 36.

го. «У новых людей добро и истина, честность и знание, характер и ум оказываются тождественными понятиями; чем умнее новый человек, тем он честнее, потому что тем меньше ошибок вкрадывается в расчеты. У нового человека нет причин для разлада между умом и чувством, потому что ум, направленный на любимый и полезный труд, всегда советует только то, что согласно с личной выгодой, совпадающей с истинными интересами человечества и, следовательно, с требованиями самой строгой справедливости и самого щекотливого нравственного чувства»<sup>25</sup>.

Новый русский человек все еще не мог окончательно сбросить с себя оболочку человека «ветхого», не мог взглянуть на общество, в котором жил, отстраненным критическим взглядом. Но и отступить от заимствованных ценностей рационализма и утилитаризма уже нельзя было — они обладали неодолимой силой, ибо были внутренне связаны с эффективностью деятельности. Отсюда — постоянные угрызания совести интеллигенции, не находящей в себе той «простоты и правды», какая виделась ей в крестьянской жизни, отсюда — «непостижимость» этой жизни и запоздалый крик души — тючевское «умом Россию не понять!». Утилитаризм и рационализм русской интеллигенции были еще нетвердыми, непрочными и легко могли превратиться — порой даже у одного и того же человека — в свою противоположность, в слепое иррациональное следование обычаю, религиозной или политической догме.

Целое столетие внимание культуры, ее творческая энергия были прикованы к этому слою людей, которые думали, чувствовали и действовали по-новому, являя миру примеры вполне «европейского», индивидуалистического, целерационального, «буржуазного» поведения, но в то же время и невероятное, необычное для Запада смятение их расколотого «Я». Все они одновременно и в настоящем — с его деньгами, расчетами, страстями, поисками свободы, верой в знание, и в прошлом — с его смирением, самоотречением, готовностью к опрощению, исканиями Бога, преувеличенными угрызаниями совести и неправдоподобными раскаяниями. Их новое, индивидуалистическое мироощущение входит в неразрешимый конфликт с соборной нормой, бунтует против нее и никак не может с нею порвать. Русская культурная элита XIX века, писатели, философы, художники были поглощены осмыслением этого конфликта и в то же время постоянно расширяли и углубляли его, ибо непрестанно демонстрировали публике образы и образцы «нового человека», притягивавшего жадный общественный интерес.

Становление автономной личности — главное звено «переворачивания» мира, его превращения из «общинноцентрического» в «человекоцентрический», перехода от закона человек для... к закону ...для человека. Оно остро ставит проблему самосознания человека, его отказа от растворения в социуме и ответственности перед самим собой, порождает ощущение, хорошо выраженное в стихах Марины Цветаевой: «Никто в наших письмах роясь, // Не понял до глубины, // Как мы вероломны, то есть — // Как сами себе верны». Русская культура в ее наиболее глубоких проявлениях приняла это «переворачивание», признала самоценность и нравственную автономию личности. Но именно эта новая обращенность человека на самого себя ставит главные вопросы, занимавшие русскую мысль на рубеже веков.

<sup>25</sup> Писарев Д. Мыслящий пролетариат. // Соч. в 4 томах. Т. 4. М., 1956, с. 24–25.

«Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — писал Кант, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»<sup>26</sup>. Загадка внутреннего нравственного закона встала перед русской культурой позднее, чем перед западноевропейской. Напряженные поиски «своей» разгадки были одновременно и поисками нравственного идеала, что нередко придавало культуре миссионерский, проповеднический характер. Это особенно хорошо видно на примере таких первостепенных для русской культуры фигур, как Толстой и Достоевский. Они вели свои поиски и свою проповедь с позиций христианства, но, если воспользоваться материалистическим представлением о религии как об иллюзорном отражении в головах людей земного мира, то можно сказать, что христианство Толстого или Достоевского было отражением нового, человекоцентрического мира, в противовес отражению мира общинноцентрического, соборного, которое лежало в основании официального православия и массового религиозного сознания. Это позволяет по-иному взглянуть и на привычное противопоставление теоцентризма антропоцентризму. Теоцентрический мир может быть конгруэнтен, подобен общинноцентрическому, и тогда он находится в глубоком противоречии с новым человекоцентрическим земным миром. Но если он подобен этому последнему, то между ними нет противоречия. За такой теоцентризм, по существу, и боролись Толстой и Достоевский. Позднее о том же говорил Бердяев: «Человек должен быть „теоцентричен“ и организовать себя на божественном начале...; общество же должно быть „антропоцентрично“ и организовываться на начале человечности»<sup>27</sup>.

И Толстой, и Достоевский видели две главные опасности, подстерегавшие нравственного человека: соблазн эгоистического индивидуализма, вседозволенности и соблазн рабского растворения в «бесспорном, общем и согласном» человеческом муравейнике. В первом случае, писал Толстой, «человек признает себя самодовлеющим существом, живущим в мире для приобретения в нем наибольшего возможного личного блага, независимо от того, насколько страдает от этого благо других существ». Во втором — «значение жизни признается не в благе одной отдельной личности, а в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, государства, даже человечества... Смысл жизни при этом... переносится из личности в семью, род, народ, государство, в известную совокупность личностей, благо которой и считается при этом целью существования»<sup>28</sup>. Истинное же христианство, согласно Толстому, требует, чтобы смысл жизни признавался человеком «уже не в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в служении той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой Воли»<sup>29</sup>. Для нас здесь важно указание на надындивидуальный источник человеческих ценностей, более абстрактный и более отдаленный, чем непосредственно контролирующее поведение каждого человеческие коллективы, ибо тем самым как раз и признается автономность личности, опирающейся на вну-

<sup>26</sup> Кант И. Критика практического разума. // Соч. в 6 томах, т. 4, ч. 1, с. 499.

<sup>27</sup> Бердяев Н. Самопознание (Опыт философской автобиографии). // Собр. соч., т. 1. Paris, 1949–1983, с. 322.

<sup>28</sup> Толстой Л. Н. Религия и нравственность. // Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 39. М., 1956, с. 8–9.

<sup>29</sup> Там же, с. 9.

трений, читай, полученный с какого-то очень высокого надындивидуального уровня нравственный закон.

С этой точки зрения, разные ответы на вопрос о природе надындивидуального нравственного закона, как «метафизические», так и «физические», материалистические, по сути, не так уж сильно различаются. Как писал Дюркгейм, «Кант постулирует Бога, потому что без этой гипотезы мораль непонятна. Мы постулируем общество, специфически отличающееся от индивидов, иначе мораль оказывается без объекта, долг — без точки приложения... Нужно выбирать между Богом и обществом... Этот выбор оставляет меня довольно равнодушным, так как в божестве я вижу лишь общество, преобразованное и осмысленное в форме символов»<sup>30</sup>. Если не те же, то созвучные мысли высказывались и в России. Говоря о «христианской идее этической равноценности и нравственной автономии» всех людей, С. Булгаков утверждал в начале века, что «в этом смысле новейшая европейская культура есть культура христианская, и основные постулаты этики христианства сливаются с основными постулатами учений современной демократии, экономической и политической, до полного отождествления»<sup>31</sup>.

Идея самоценности и нравственной автономии личности, может быть и утвердившаяся уже в «новейшей европейской культуре», и духовной, и светской, казалась далеко не столь очевидной в российских пределах, ибо в корне противоречила все еще господствовавшей здесь соборной идее, принципу *человек для...* Потому и понадобилась такая напряженная и драматическая борьба за утверждение нового для России личностного идеала, отстаивание его в очень глубоком смысле, свободном от влияния «текущих», сиюминутных проблем. Отстаивался **принцип**, и в этом непреходящее значение русских интеллектуальных и духовных исканий конца прошлого — начала нынешнего века. Плоды этих исканий вошли в русскую культуру навсегда. Выработанный ею идеал неотменим. Даже если на всю Россию, на деле, не окажется ни одного свободного человека, все равно идеал автономной самоценной личности не исчезнет с ее нравственного небосклона, как не исчезнут звезды со звездного неба. Но всех вопросов, порожденных ускорявшимся превращением автономной личности в массовый человеческий тип в России, выработка идеального эталона такой личности, разумеется, еще не решала.

### 5.3. Автономная личность: «грядущий Хам»

**П**ока «новый человек» в России всходил на западных дрожжах в колбе дворянской и околродворянской среды, это не могло поколебать принципов соборности, которыми жил «народ», т. е., по преимуществу, крестьянство. Все искания русской культуры XIX — начала XX века были освещены и освящены вопросами, рождавшимися внутри переломной социокультурной среды, составлявшей меньшинство народа. К ней же была обращена и проповедь Толстого или Достоевского. Остальная Россия, пресловутые «девять десятых» ее населения, находилась, как казалось, где-то в стороне от интеллигентских вопросов и исканий. XIX век делал границу между дву-

<sup>30</sup> Durkheim E. Sociologie et philosophie. Paris, 1963, p. 74–75.

<sup>31</sup> Булгаков С. Иван Карамазов в романе Достоевского «Братья Карамазовы» как философский тип. // О великом инквизиторе. Достоевский и последующие. М., 1991, с. 210.



мя Россиями все менее четкой, они начали перемешиваться, разрастались новые, пограничные, промежуточные социальные и социокультурные слои. Но для интеллигента «девять десятых» по-прежнему образовывали безбрежный океан «народа», в котором он выделял, по преимуществу, два отличных от него человеческих типа: крестьянина и «мещанина». И тот, и другой находились на периферии интереса новой русской культуры XIX века, нужны были ей прежде всего как фон, позволявший лучше оттенить особенности, достоинства и недостатки «новых людей». В русской литературе XIX века нет ни Робинзона Крузо, ни Гобсека, ни Пиквика, ни Саккара. Если кто и запомнился с той поры, так это немец Штольц — и то лишь из-за его противопоставления Обломову. Сам по себе Штольц, даже и русский, казался неинтересным литературе, слишком плоским для нее — скорее всего, потому, что не занял еще достаточно серьезного места в самой российской жизни.

Может быть, самое яркое изображение человеческих типов предреволюционной России, как они виделись в прошлом веке, — гигантская фреска «Братьев Карамазовых». Ее можно прочесть как социокультурную аллегория пореформенной России. Отец, Федор Карамазов — олицетворение ее далеко не благостного вчерашнего дня. Четыре брата — четыре типа действующих и определяющих будущее России социальных актеров: близкий к нравственному идеалу Алеша, соблазненный бесом индивидуальной вседозволенности и сбившийся на распутство Дмитрий, соблазняемый бесом порабащивающего личность социального муравейника, «социализма» Иван и растлеваемый Иваном маргинал «из народа» Смердяков. Вся типология разворачивается на узком пространстве дворянской и околослуживческой жизни, в ней нет места ни соборному крестьянству, ни утилитарно прагматичному «третьему сословию», и можно подумать, что они для будущего России не так уж и важны или, во всяком случае, что они не имеют отношения к тем внутренним проблемам, в которые погружены герои Достоевского.

То же и у Толстого. Внутренние проблемы, рефлексия, сомнения, поиски ответов на вечные вопросы, выработка нравственного идеала — удел «чистой» публики, и само творчество Толстого — это диалог с нею или, может быть, обращенный к ней монолог. Богатые аристократы у него извлекают нравственные уроки из прикосновения к народной жизни, но речь всегда идет об односторонних уроках. А разве бесчисленные Каратаевы не извлекали своих уроков из подобных встреч? Разве русскому крестьянину было на роду написано всегда оставаться «непостижимым, круглым и вечным», не замечая вблизи себя всего того, чего у него самого не было: власти, богатства, образованности, праздности, всей этой совершенно другой, соблазнительно свободной и легкой жизни? Разве не могли и у крестьян зародиться стремления разбогатеть, стать столь же свободными, получить образование, перенять привычки и нравы высших классов, их духовную жизнь? Так вопрос у Толстого не стоит. Пьер Безухов должен учиться у Платона Каратаева, не переставая все же быть образованным человеком с богатой духовной жизнью, а Каратаев вполне может оставаться Каратаевым. Ибо интеллигенту нужно искать смысл жизни, а «русский полуграмотный мужик-сектант без малейшего усилия мысли признает смысл жизни в том самом, в чем его пола-



гали величайшие мудрецы мира: Эпиктеты, Марки Аврелии, Сенеки, — в сознании себя орудием воли Божией, сыном Бога»<sup>32</sup>.

Между тем в XIX веке, особенно во второй его половине, экономическая и социальная жизнь России, включая и ее деревню, быстро усложнялась, и набирал силу уже не заемный, а свой собственный механизм перевертывания соборного мира, действовавший теперь не в ограниченной среде, а на всем социальном поле России. Это породило быстро разраставшийся кризис соборности, ибо ее принципы уже не соответствовали логике социального существования нарождавшегося массового человеческого типа. Соприкоснувшись с новой жизнью, люди «из народа» начинали осваивать ценности личностной автономии, в каком-то смысле тоже становиться «новыми людьми». Но и соборные начала русской жизни и русской культуры были очень сильны и не могли уйти с исторической сцены без сопротивления.

Это сопротивление шло «сверху» и «снизу». Сверху — т. е. из высших слоев общества, в частности, и от интеллигенции. «Новый человек», каким он сложился в России XIX века, хотя сам во многом уже не был «соборным», продолжал жить в дворянско-крестьянском мире, покоившемся на соборных основаниях. В большинстве случаев у него не было причин хотеть их разрушения, и это порождало странное искривление зрения даже у самых проницательных людей.

Вера в незыблемость, вечность старинного типа соборного крестьянина в России была глубоко укоренена в общественном сознании. Не только славянофилы, но и западники, как правило, не посягали на традиционный соборный идеал и в своих проектах будущего связывали обновление России с сохранением холистских принципов организации крестьянской общины или ремесленной артели, а значит и общинного человека-винтика, придумывали рассчитанные на него проекты некапиталистического развития России, общинного социализма и пр. А между тем время такого человека и его культуры уже кончалось. Даже если согласиться с тем, что в начале XIX века русская деревня была еще деревней соборного Платона Каратаева, к концу столетия, по многим и многим свидетельствам, она отошла от такого рода соборности очень далеко, а деревенский человеческий тип быстро менялся, двигаясь в сторону автономизации, приобретая черты индивидуализма, эгоизма, предприимчивости, рациональной расчетливости и пр. Один из наиболее авторитетных свидетелей — сам Толстой.

Его Каратаев оказался в армии, потому что попался на краже леса, его «секли, судили и отдали в солдаты». Он рассказывает об этом «изменяющимся от улыбки голосом»: «Думали горе, а радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшего сам-пят ребят, — а у меня, гляди, одна солдатка осталась». Этот рассказ как будто намеренно подтверждает слова Киреевского о русском крестьянине, который «никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти» и «охотно..., даже радостно... всегда готов добровольно пожертвовать собою за другого, когда видит в своей жертве общую пользу своей семье»<sup>33</sup>. Но у того же Толстого, в «Хаджи-Мурате», очень похожая история солдата Петра Авдеева представлена совсем по-иному, из благостно

<sup>32</sup> Толстой Л. Н. Религия и нравственность, с. 14.

<sup>33</sup> Киреевский И. В. О характере просвещения Европы..., с. 284–285.

умильной она превращается в беспощадно реалистическую. «Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребят сам-пять, а меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне, авось, попомнят мое добро». Но Авдеев не только не испытывает радости, но постоянно тоскует до того, что, как он сам говорит, «другой раз..., кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». «И больше с того и скучаю, что зачем, мол, ты за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже». Когда семья получает известие о том, что «Петруха убит на войне, защищая царя, отечество и веру православную», то мать «повыла, покуда было время, а потом взялась за работу», жена «тоже повыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она пожила только один годочек. Она... горько упрекала Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее... В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви». Здесь в размышлениях и действиях крестьянских персонажей нет ничего «непостижимого и круглого», напротив, все очень угловато и вполне постижимо.

Примеров такого трезвого, рационально-эгоистического мышления и поведения крестьян, их «своеволия», по крайней мере, в экономической и семейной жизни, становилось все больше, и соответственно разрастался кризис соборно-общинного мира русской деревни и деревенского человека. Когда с проявлениями нового, «несоборного» поведения у нарождавшегося из крестьянства третьего сословия — у крестьян, затронутых общими экономическими переменами, у недавних крестьян, ставших горожанами, у полукрестьян-полугорожан, вовлеченных в отхожие промыслы, у крестьян-«кулаков» или у купцов, живших уже по законам «власти денег», а не «власти земли», — сталкивались дворянские интеллигенты, они не узнавали в них повторения самих себя, не признавали за ними права на свободный выбор, которым сами они так дорожили, а объявляли их порождением буржуазности, всеми презираемой и проклинаемой.

На самом же деле настоящей буржуазии еще не было в России, она только маячила где-то на горизонте, но страшила русскую интеллигенцию как новая батыева конница. Даже и для новой дворянско-разночинной культуры нарождавшееся третье сословие существовало только в образе презренного «мещанина», «грядущего Хама». Насколько русская культура была склонна к романтизации крестьянина, а впоследствии рабочего или даже босяка, настолько же она была враждебна «мещанину», который на Западе и стал главным носителем принципа новой, недворянской индивидуальной автономии. Российские аристократизированные интеллигенты любили Европу и многое у нее брали. Но этос экономического человека, который на своих плечах поднял новую Европу, оставался непонятным русской интеллигенции. Она не желала видеть ничего положительного в его предусмотрительности, расчетливости, умеренности, осторожности, обязательности, во всем, в чем проявлялись внутренние регуляторы поведения человека, который должен полагаться на себя или равных себе (горизонтальное общество), а не на стоящих выше или ниже его

(вертикальное общество), и самостоятельно принимать решения, касающиеся своей собственной жизни.

Барское презрение к европейскому мещанину очень ярко выражено у Герцена, на его авторитет не раз ссылались и Леонтьев, и Мережковский, и многие другие критики русского мещанства. Но все-таки Герцен — не Леонтьев и не Мережковский, и его действительное отношение к мещанству было не таким простым. Его аристократической натуре претили посредственность и вульгарность буржуа, однако это не мешало ему видеть объективный смысл и перспективу происходивших перемен, «демократизации аристократии, аристократизации демократии»<sup>34</sup>. Он понимал, что мещанин — не пришелец с другой планеты, а вчерашний крестьянин, «прогнанный с земли, которую обрабатывал века для барина». «Как же ему не рваться в мещане? ... С мещанством стираются личности, но стертые люди сытее; платья дюжинные, незаказные, не по талии, но число носящих их больше. С мещанством стирается красота породы, но растет ее благосостояние... Во имя этого мещанство победит и должно победить. Нельзя сказать голодному — тебе больше к лицу голод, не ищи пищи»<sup>35</sup>. Он видел, что в Европе «за большинством, теперь господствующим, стоит еще большее большинство кандидатов на него, для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства — единственная цель стремлений, их хватит на десять перемен. Мир... весь пойдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие»<sup>36</sup>.

Напор вырастающего из крестьян массового «мещанства», — а больше вырастать ему было не из кого — свидетельство того, что граница между дворянско-разночинной интеллигенцией и «народом» была прорвана и принципы организации нового, индивидуалистического мира проникли в толщу соборного крестьянства. У «образованных классов» появился конкурент, это сулило конец привычных привилегий, неизбежный передел власти и собственности да и многое другое, с чем трудно было смириться дворянской России. Корни враждебности к мещанину так же, как и привязанности к «цветущей сложности» средневековья, — в стремлении к сохранению социального status quo, при котором лишь «некоторые свободны», к оправданию избранности немногих. Личность может быть автономной и самоценной, но это доступно не каждому — такова внутренняя логика и этой враждебности, и этой привязанности.

В свое время появление на исторической сцене европейской буржуазии не ставило под сомнение средневекового аристократического принципа избранности немногих, а приспособлялось к нему. Как подчеркивал М. Вебер, для которого идея «утверждения в избранности» была фундаментальной для понимания связи между протестантской этикой и духом капитализма<sup>37</sup>, учение об избранности к спасению было наиболее важным догматом кальвинизма<sup>38</sup>. В практической жизни это приводило, в конечном

<sup>34</sup> Герцен А. И. Концы и начала. // Собр. соч. в 30 томах, т. 16, с. М., 1959, с. 137.

<sup>35</sup> Там же, с. 137–138

<sup>36</sup> Там же, с. 138.

<sup>37</sup> См. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 161.

<sup>38</sup> Там же, с. 139.

счете, к оправданию избранности в посягательной жизни, «состояние религиозной избранности воспринималось как своего рода сословное качество»<sup>39</sup>. «Если Бог, перст которого пуританин усматривает во всех обстоятельствах своей жизни, представляет кому-нибудь из своих избранников какой-либо шанс для извлечения прибыли, то он совершает это, руководствуясь вполне определенными намерениями»<sup>40</sup>.

Лишь позднее, с ростом третьего сословия и началом его борьбы за политическую власть, идея избранности противопоставляется идея равенства, выработанная Просвещением и превратившаяся в один из лозунгов Французской революции, впрочем, далеко не всем понятный. По словам Токвиля, «у американцев имеется то огромное преимущество, что они достигли демократии, не испытав демократических революций, и что они не добивались равенства, а были равными с рождения»<sup>41</sup>. У европейцев этого преимущества не было, и восприятие идеи равенства — даже после Французской революции, может быть, даже особенно после нее, — давалось многим европейским, все еще полусредневековым, дворянско-крестьянским обществам с трудом. Это — проблематика Ницше.

Ницше протестовал против растворения личности в «стаде», но и сообщество равноправных и автономных индивидуальностей казалось ему невозможным. Он издевался над теми, в ком жила «инстинктивная враждебность ко всякой иной форме общества, кроме автономного стада», ко «всякому особому притязанию, всяким особым правам и привилегиям»<sup>42</sup>. По Ницше, быть личностью — это удел немногих избранных, для которых «в состав понятия о „счастье“ входит способность быть знатным, быть чем-то особенным, непохожим на других, быть изолированным и самостоятельным..., стоящим по ту сторону добра и зла»<sup>43</sup>. Все остальные не стоят больших забот, можно испытывать лишь отвращение или страх, предвидя «общее вырождение человека, вплоть до того „человека будущего“, который мерещится, в виде идеала, современным социалистическим идиотам и тупицам, вырождение человека до уровня совершеннейшего стадного животного..., карликового животного, с равными правами и требованиями»<sup>44</sup>. И остается уповать только на новых «философов и повелителей», способных «положить конец царству бессмыслицы и случая, которое до сих пор именовалось „историей“ и завершающей формой которой является бессмыслица господства „большинства“». Их образ «заставит побледнеть образы кого бы то ни было из живших доселе людей»<sup>45</sup>.

Тревожное беспокойство Ницше несомненно отвечало настроениям части русского общества, все больше осознававшего, что оно живет на бочке с порохом. Многих привлекала моральная проповедь Толстого, метафизические основания, на которые она опиралась, казались им очень глубокими. Но эти основания принимались далеко не всеми, в откровенном аморализме Ницше была своя огромная сила. Не случайно и в Рос-

<sup>39</sup> Там же, с. 161.

<sup>40</sup> Там же, с. 190.

<sup>41</sup> Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992, с. 375.

<sup>42</sup> Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. // Избранные произведения. Кн. вторая. М., 1990, с. 232.

<sup>43</sup> Там же, с. 251–252.

<sup>44</sup> Там же, с. 235.

<sup>45</sup> Там же, с. 232.

сии было немало людей, которые с большим интересом прислушивались не к христианским призывам Толстого или Достоевского, а к заземленным пророчествам Ницше: они открывали путь к определенному типу активного действия. Как отмечал Флоровский, «для девяностых годов равно характерны и влияние Толстого, и влияние Ницше. Влияние Ницше было все же сильнее»<sup>46</sup>.

Впрочем, в России были и свои пророки — открытые противники автономии личности за пределами избранного слоя. Таким был, например, К. Леонтьев, видевший во «всем, что усиливает личную свободу (т. е. своеволие) большинства», лишь «большее или меньшее расшатывание основ»<sup>47</sup>. Основы и впрямь расшатывались, приближая «демократическую революцию», в этом Леонтьев был, конечно, прав — и не одинок в своей правоте. «Русская революция уже назрела и вспыхнет скоро, — писал примерно в то же время Энгельс. — ...Раз начавшись, она увлечет за собой крестьян, и тогда вы увидите такие сцены, перед которыми побледнеют сцены 93 года»<sup>48</sup>.

Сохранение соборных начал казалось реальной альтернативой крестьянскому бунту, и на их защиту в той или иной форме поднялись чуть ли не все течения русской общественной мысли<sup>49</sup>. А то упорство, с которым даже прозападно ориентированные, европейски образованные, искренние и часто очень талантливые русские мыслители настаивали на возможности строить будущее на соборно-общинных основаниях прошлого, говорит, скорее всего, о том, что эти основания были еще достаточно прочны, так что уже появившиеся признаки упадка заставляли думать, скорее, об их восстановлении, нежели подрывали веру в их конечную жизнеспособность.

О том же свидетельствовало и естественное сопротивление размыванию соборных начал, которое шло «снизу», от самой народной культуры, ибо она также оставалась за бортом времени. Эта культура была создана «властью земли», поддерживала ее и сама на ней держалась. Но «власть земли» давно уже была теснима властью денег, даже деревенская, а тем более городская жизнь требовала перемен в экономических и семейных порядках, правосознании, образованности, подвижности большинства народа, и эти перемены происходили в России. Соответственно разрастался кризис соборно-общинного мира русской деревни и деревенского человека, умножались признаки его распада — в хозяйственной, общинной, семейной жизни. Но сохранялся еще какой-то общий традиционный фон, на котором такие признаки выглядели лишь прискорбными, осуждаемыми отступлениями от должного. Столыпинская реформа оказалась хоро-

<sup>46</sup> Флоровский Г. Цит. соч., с. 453.

<sup>47</sup> Леонтьев К. Чем и как либерализм наш вреден? // Избранное. М., 1993, с. 171.

<sup>48</sup> Энгельс Ф. Рабочее движение в Германии, Франции, Соединенных Штатах и России. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, М., 1961, с. 124.

<sup>49</sup> Едва ли не откровеннее всех о подоплеке и идеологии этого единения высказался — вскоре после потрясения 1905 г. — вдохновитель «Вех» М. Гершензон. «Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности... Что народная душа качественно другая — это нам и на ум не приходило». «Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не все сказать... Народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». (Гершензон М. Творческое самосознание. // Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909–1910, М., 1991, с. 98, 101).

шим пробным камнем, показала значительную еще прочность общинных порядков. Традиционная крестьянская культура защищала себя.

Таким образом, еще до революции возникло что-то вроде культурно-идеологического союза дворянско-интеллигентских «верхов» и крестьянских «низов» против буржуазной «середины», «центра», «мещанина», к тому же не очень четко представляемых. Мережковский призывал объединить силы «трех начал духовного благородства: ... земли, народа — живой плоти, ... церкви — живой души, ... интеллигенции — живого духа России» против трех начал «духовного мещанства»: «самодержавной казенщины», «православной казенщины» и самого страшного «хамства, идущего снизу, — хулиганства, босячества, черной сотни»<sup>50</sup>. А где же собственно «мещанин», новый миллионный горожанин, где городской рабочий, буржуа, где зарождавшийся средний класс?

У Герцена мещанин — часть реальной социальной структуры, у Мережковского — не более, чем метафора, только мешающая разглядеть новые социальные слои, затрудняющая понимание российским обществом новой для него задачи превращения элитарной автономной личности в преобладающий человеческий тип. Само по себе возникновение такой личности в России было революцией. Но теперь, совершившись в избранной среде, эта революция должна была приобрести другое измерение, стать массовой, перевернуть основания и содержание культуры, преобразовав ее из холистской в индивидуалистскую. Возможно, в этом была центральная задача всей разворачивавшейся русской революции, кое-кто ее так и понимал. «Одна и может быть главная причина нашей революции, — писал С. Витте, — это — запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно и сознания собственности и потребности гражданственности... Принципом индивидуальной собственности ныне слагаются все экономические отношения, на нем держится весь мир»<sup>51</sup>.

Но как можно было преодолеть такое «запоздание»? Развитие индивидуальности методом дорогостоящего воспитания на западный манер было доступно немногим. Собственная же «сложная» социальная среда, которая воспитывает автономную личность просто самой жизнью и потому хоть как-то, да отесывает каждого, — среда городская, конкурентная, рыночно-денежная, — была неразвита в России. К началу XX века Россия оказалась в тупике: для того, чтобы разблокировать становление автономной личности как массового человеческого типа, необходимо было ускорить экономическую и социальную модернизацию. Осуществить же такую модернизацию способны только «новые люди», а они-то как раз и не могли никак вылупиться в достаточном количестве из соборного целого.

## 5.4. Автономная личность: «Homo soveticus»

**Р**азорвать этот порочный круг и вознамерились большевики, когда принялись «строить социализм немедленно». Теоретически они понимали несовершенство «человеческого материала», которому предстояло решать эту задачу, но надеялись на быструю «культурную революцию». «У нас политический и социальный перево-

<sup>50</sup> Мережковский Д. Грядущий Хам. // Мережковский Д. Больная Россия. Л., 1991, с. 43.

<sup>51</sup> Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. Таллинн-Москва., 1994, с. 471.

рот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы, все-таки, теперь стоим», — писал Ленин<sup>52</sup>. Хотя понятие «культурная революция» у Ленина не расшифровано, по многим его высказываниям можно думать, что речь шла о распространении городской, «западной» культуры, которая и должна была ускорить формирование необходимого для построения социализма «нового человека». Для Ленина образцом такого человека был городской пролетарий (мысль сама по себе более чем спорная), но и Ленин признавал, что пролетариат в России немногочислен, что необходимо нести городскую культуру в деревню, «но это дело годов и годов»<sup>53</sup>. Годов и годов в запасе не было, и дело обернулось по-иному: деревенская культура на какое-то время захлестнула город.

«Построение социализма» в СССР было рассчитано на такие скорости и ритмы, которые не оставляли времени для полноценной «переделки человека». К тому же постепенно выяснилось, что это и не было необходимым звеном осуществления модернизационного проекта. После нескольких корректировок в 20-е годы он окончательно приобрел черты проекта инструментальной модернизации, при которой материально-технологический прогресс превращается в самоцель, а человек рассматривается прежде всего как средство. Это означало поворот (разумеется, замаскированный) к старой соборной идеологии и давало новое дыхание принципу *человек для...*

В результате развитие событий в России совпало с представлениями и пророчествами, весьма далекими от марксистских или большевистских, но настаивавшими на том, что индивидуализм автономной личности в России несовместим с интересами общественного целого. Вывод напрашивался сам собой: выпущенные на свободу индивиды не могут существовать как частные лица, а рано или поздно должны быть снова объединены в некое подобие крестьянских общин, ремесленных артелей или средневековых цехов. Эта идея высказывалась не раз. Еще К. Леонтьев предрекал, что после временных успехов «эмансипационного прогресса» «явится... рабство в новой форме, вероятно, — в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм — феодализм общин, в разнообразных и неравноправных отношениях между собой и ко власти общегосударственной поставленных»<sup>54</sup>.

Впрочем, такой поворот событий, неизбежный, видимо, при догоняющей модернизации, был свойствен не только России. Везде, где вызванное с помощью заимствований и искусственно ускоренное таким образом превращение общества из аграрного и сельского в промышленно-городское ведет к его глубокому переструктурированию, слишком большая часть общества одновременно оказывается на «ничьей земле», жить на которой крайне неуютно. Старые общинно-корпоративные связи разрушены, новая социальная структура еще не сложилась, миллионы, а то и десятки миллионов людей образуют аморфную, слабо структурированную массу. «Внутренняя среда» социальной системы частично утрачивает свои гомеостатические свойства. Любому обществу требуются время и опыт собственных ошибок, чтобы преодолеть неизбежный этап

<sup>52</sup> Ленин В. И. О кооперации. // Полн. собр. сочинений, т. 45, с. 377.

<sup>53</sup> Ленин В. И. VIII съезд РКП(б). Доклад о работе в деревне. // Полн. собр. сочинений, т. 38, с. 198.

<sup>54</sup> Леонтьев К. Цит. соч., с. 179.



социальной неустойчивости и выработать структуру общественных отношений, отвечающих новым условиям.

Слабо структурированные, теряющие механизмы саморегулирования «массы», легко поддающаяся под власть разрушительных инстинктов, городская толпа стали политической проблемой многих европейских стран. Она привлекала внимание еще в прошлом веке («бонапартизм»<sup>55</sup>), но интерес к ней особенно вырос уже в веке нынешнем, с его двадцатых годов. «Начиная со второй половины XIX века, — писал тогда Х. Ортега-и-Гассет, — перед „средним“ человеком, человеком-массой исчезают все препятствия... Нет никаких привилегированных групп: ни сословий, ни „каст“»<sup>56</sup>. «Все выравнивается: размеры состояний, культурные уровни различных общественных классов, стираются различия между полами»<sup>57</sup>. Место «народа», по словам Шпенглера, заняло теперь «городское население, неорганическая масса, нечто текучее»<sup>58</sup>. Безликая, неорганизованная и оторванная от корней масса не осознает своих истинных интересов, ведет себя подобно стихии, а это грозит обществу хаосом и распадом. Таково впечатление, вынесенное европейским «политическим классом» 20-х годов из только что миновавшего пароксизма войн и революций. Усилия тогдашней политической мысли явственно направлены на поиски способов надеть узду на разбушевавшиеся массы, восстановить утраченный порядок. Отсюда — внутреннее созвучие, явный или неявный обмен идеями между московским большевизмом, русскими эмигрантскими кругами на Западе, итальянским фашизмом, немецкими протонацистскими течениями и т. д.

Представители самых разных взглядов и политических течений — В. Ратенау и Бердяев, Меллер ван-ден Брук и «евразийцы», Муссолини и харбинские «русские фашисты» — связывали будущее послевоенной Европы с возрождением средневекового корпоративного строя. «Спасать государство и общество от окончательного разложения и развала, — утверждал Бердяев, — будут общественные союзы, в высшей степени жизненные, корпоративно-профессиональные, с одной стороны хозяйственные, с другой стороны духовные. Из этих союзов будет слагаться общество и государство нового средневековья»<sup>59</sup>. Евразийцы критиковали унаследованный от Французской революции «атомизм» и требовали борьбы «как с тенденцией установить священное и неприкосновенное право частной собственности», так и с тенденциями социализма, который, по их мнению, «подменял государственно-правовые отношения частно-правовыми»<sup>60</sup>. «При корпоративной системе население организовано, — писали авторы «Азбуки фашиз-

<sup>55</sup> «Бонапарт, становящийся во главе люмпен-пролетариата, находящий только в нем массовое отражение своих личных интересов, выходящий в этом отребье, в этих отбросах, в этой накалие всех классов единственный класс, на который он безусловно может опереться, — таков подлинный Бонапарт». (Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, М., 1957, с. 168).

<sup>56</sup> Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. // Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991, с. 83.

<sup>57</sup> Там же, с. 55.

<sup>58</sup> Шпенглер О. Закат Европы. Том 1. М., 1993, с. 540.

<sup>59</sup> Бердяев Н. Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. М., 1991, с. 30.

<sup>60</sup> Евразийство..., с. 410.



ма». — Каждый гражданин знает себе место в государстве и свои обязанности и права»<sup>61</sup>. Пропагандируя корпоративный строй, который считали нужным установить в России, они пытались внушить, что здесь существуют его собственные средневековые корни. «Наиболее полной фашистская идеология проявила себя во времена царя Алексея Михайловича, когда весь государственный строй того времени представлял не что иное, как прототип современной корпоративной системы»<sup>62</sup>.

Однако едва ли не первыми озаботились противостоянием «атомизму частных лиц» русские большевики. Уже в 1919 г. им было ясно, что «перед пролетарской властью стоит вопрос: каким образом включить... массу мелких производителей в общую систему строящегося социалистического хозяйства?»<sup>63</sup>. «Ленин, — писала Х. Арендт, — хватался сразу за все возможные виды дифференциаций — социальную, национальную, профессиональную, — дабы внести какую-то структуру в аморфное население, и, видимо, он был убежден, что в таком организованном расслоении кроется спасение революции... В этих чисто практических политических делах Ленин следовал интуиции большого государственного деятеля, а не своим марксистским убеждениям»<sup>64</sup>. Политическая интуиция, видимо, и привела в конце концов к кооперативному плану Ленина, его идеям о создании в России «строя цивилизованных кооператоров» и «участии в кооперации поголовно всего населения»<sup>65</sup>.

Во всех этих сходствах и пересечениях идей не было случайности. В корпорациях, всякого рода объединениях, союзах и т. п., которые позволяют власти иметь дело не с отдельными людьми, а с их корпоративными представителями, европейские политики и идеологи, включая и московских большевиков, видели путь к новому структурированию «масс» и восстановлению утраченного порядка. Стержнем, объединявшим очень разные, на первый взгляд, направления мысли и действия, были поиски возможностей модернизации, опирающейся не на автономное «частное лицо», а на соборного человека-винтика, включенного в какие-то новые формы коллективности, соответствующие промышленной и городской эпохе.

Разумеется, теперь это уже не соборный крестьянин прошлых веков, но и не индивидуалистический автономный человек, не «буржуа» или не вполне «буржуа» западного типа. Это новый, соборный же «простой человек», который сильно отличается от своего крестьянского предшественника, однако только внешними, инструментально существенными чертами. В советской версии будущего это прежде всего — промышленный рабочий, механическая деталь стальных пролетарских рядов, спаянных «сознательной дисциплиной», однородной массы марширующих в одинаковом ритме людей, в едином порыве заполняющих площади и стадионы, преданных идее и вождю, стоящих выше личных привязанностей и т. п. Апофеоз коллективизма («общие даже слезы из глаз») не позволяет разглядеть отдельного человека. По существу, это тот же общинный крес-

<sup>61</sup> Тараданов Г. В. (при участии Кибардина В. В.) Азбука фашизма. // Звезда и свастика. Больше-визм и русский фашизм. М., 1994, с. 228.

<sup>62</sup> Там же, с. 226.

<sup>63</sup> Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. // Звезда и свастика, с. 108.

<sup>64</sup> Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996, с. 424.

<sup>65</sup> Ленин В. И. О кооперации. // Полн. собр. сочинений, т. 45, с. 372–373.

тьянин, но переодетый в городскую одежду и получивший современное образование. Что же касается глубинных принципов социального существования, внутреннего мира, механизмов детерминации поведения, — он остается все тем же пассивным и непритязательным «человеком для...», стандартным винтиком социальной машины, неотличимым от другого такого же винтика. Попытка создания такого социокультурного кентавра, невиданного ранее Homo soveticus'a, и была предпринята в СССР.

Одним из главных инструментов осуществления этого замысла стала, как и предвидел Ленин, советская «культурная революция», «скачок от культурной отсталости большинства населения страны ко всеобщей высокой грамотности и созданию многочисленной новой, народной, социалистической интеллигенции»<sup>66</sup>. Но уже в этой формуле прочитывается ограниченность задуманной революции, ее заведомая направленность на решение чисто инструментальных задач, таких как рост образования, приобщение к современным техническим и научным знаниям, распространение бытовой, санитарной и физической культуры и т. п. В их решении в советское время и впрямь были достигнуты немалые успехи.

Однако даже и у этой сильно усеченной культурной революции была оборотная сторона. Логика Сталина, который непосредственно из роста числа учащихся или тиражей книг и газет выводил появление новой интеллигенции, «не знающей ярма эксплуатации, ненавидящей эксплуататоров и готовой служить народам СССР верой и правдой»<sup>67</sup>, оказалась очень уязвимой. Советская культурная революция и в самом деле вынесла на поверхность политической и общественной жизни миллионы «выдвиженцев», не слишком образованных («образованщина»), хотя и умеющих ненавидеть, и готовых служить. На первых порах это расширило базу и укрепило власть холистской винтичной идеологии и психологии, столь ценимых Сталиным. В приводившихся уже в гл. 2 его одобрительных словах о крестьянах, которые «требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства колхоза», слышится переключка с Киреевским, которому так нравилось, что в России «никакая личность... не искала выставить свою самородную особенность как какое-то достоинство»<sup>68</sup>, ощущается одинаково положительная оценка человека-винтика. Несомненно, эти же качества Сталин больше всего ценил и в служилой интеллигенции. Может быть, самая известная декларация такого инструментального взгляда на человека содержалась в одной из поздних речей Сталина, где он прямо употребил слово «винтик», желая подчеркнуть особые достоинства народа, победившего в величайшей из войн<sup>69</sup>. Видимо, и сам он испытывал полное удовлетворение, ощущая себя не более, чем отверткой<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> БСЭ, второе издание, М., 1953, т. 24, с. 37.

<sup>67</sup> Сталин И. В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1952, с. 628.

<sup>68</sup> Киреевский И. В. О характере просвещения Европы..., с. 286.

<sup>69</sup> Сталин И. В. Речь на приеме в Кремле 25 июня 1945 г. «Правда», 27 июня 1945 г.

<sup>70</sup> Еще в дореволюционной статье Сталин, противопоставляя марксизм анархизму, писал. «Краеугольный камень анархизма — л и ч н о с т ь, освобождение которой, по его мнению, является главным условием освобождения массы, коллектива... Его лозунг: „Все для личности“. Краеугольным же камнем марксизма является м а с с а, освобождение которой, по его мнению, является главным условием освобождения личности... Его лозунг: „Все для массы“» (Сталин И. Анархизм

Но вся эта винтично-отверточная логика требовала постоянной заботы о том, чтобы «новая» интеллигенция, нарождение которой Сталин объявил «одним из самых важных результатов культурной революции»<sup>71</sup>, не имела ничего общего со «старой», ошельмованной и оболганной. Она, согласно Сталину, «кормилась у имущих классов и обслуживала их», внушая «недоверие, переходившее нередко в ненависть, которое питали к ней революционные элементы нашей страны и прежде всего рабочие»<sup>72</sup>. За столь откровенным противопоставлением «новой» и «старой» интеллигенции угадывается общий замысел инструментальной культурной модернизации. Она не ограничивалась расширением круга «образованцев», людей, функционально необходимых для того, чтобы исправно крутились колеса современной государственной или промышленной машины. Надо было еще удержать их в этой винтичной роли, разделить универсальное инструментальное и «западное» ценностное содержание современной культуры и избавиться от последнего.

Советская «культурная революция» сопровождалась антиинтеллигентским террором, массовым физическим истреблением носителей европеизированной русской культуры, интеллектуальной и художественной элиты, просто широко образованных людей, подавлением свободы индивидуального научного и художественного творчества, нарастанием мертвящего консервативного догматизма. Из истории отечественной и мировой культуры были вычеркнуты сотни, а может быть, и тысячи блестящих имен, значительная часть культурного наследия всех народов СССР была изъята из обращения. На десятилетия чем-то почти обыденным стало регулярное государственно организованное шельмование крупнейших ученых, писателей, художников, целых научных направлений и художественных течений. В каком-то смысле всему этому противопоставлялся экстенсивный, количественный рост «инструментальных» возможностей в области образования, науки, искусства — числа школ, библиотек, музеев, театров и пр. Но противопоставление было кажущимся. Застой на «верхних этажах» культуры не мог не сказаться и на ее массовом уровне, на состоянии школьного образования, доверии к знаниям, культурных интересах большинства народа, на самом качестве культуры. В результате саморазвитие даже собственно инструментальной сферы культуры оказалось заблокированным, а итоги инструментальной культурной модернизации — половинчатыми, она осталась незавершенной.

Впрочем, даже если бы она и была завершена, это отнюдь не была та более глубокая революция, к которой давно уже шла Россия и которая должна была изменить не только «инструментальное», но и «ценностное» наполнение культуры, привести к замене холистских «сельских» культурных парадигм индивидуалистскими и либеральными

или социализм? // Соч., т. 1, с. 296). С анархизмом ли он спорил? Х. Арендт приводит слова Бакунина: «Я не хочу быть Я, я хочу быть Мы». (Арендт Х. Цит. соч., с. 438). Сталин хотел быть Я, при условии, что все остальные сливались в «массу», в неразличимое Мы, и даже не особенно скрывал это. Любопытно, что речь о «винтиках» была опубликована одновременно с указом о присвоении Сталину звания генералиссимуса, дистанция между винтиками и отверткой подчеркивалась со всей откровенностью.

<sup>71</sup> Сталин И. В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии..., с. 628.

<sup>72</sup> Там же, с. 647.

парадигмами современного городского общества. А эта более общая задача не только не поддавалась решению в те короткие сроки, которые могли быть отпущены ей в условиях стремительной советской модернизации, но и вообще не могла быть решена без отказа от коллективистско-социалистической утопии, за которой явно проглядывала законсервированная и перелицованная соборность.

Действительные или воображаемые успехи советской консервативной модернизации так же, как и «консервативных революций» в Италии и Германии, порождали некоторые иллюзии преодоления кризиса соборного идеала и его возрождения под знаменами социалистического коллективизма, корпоративизма, национализма. Потребовалось не слишком много времени, чтобы обнаружился общий знаменатель различных вариантов «нового средневековья» — тоталитаризм. Тоталитарные режимы показали свое истинное лицо, и иллюзии стали испаряться.

Претерпела изменения позиция поборников русской соборности в кругах русской эмиграции. Бердяев, отойдя в 30-е годы от взглядов, изложенных в «Новом средневековье», с особой силой настаивал на категорическом отказе от соборного принципа *человек для...* «Государство существует для человека, а не человек для государства»<sup>73</sup>. «Человек, человеческая личность есть верховная ценность, а не общности, не коллективные реальности..., как общество, нация, государство, цивилизация, церковь»<sup>74</sup>. И Флоровский подчеркивал, что «кафолическое сознание» не есть коллективное сознание..., — «я» не снимается и не растворяется в «мы» и не становится только пассивным медиумом родового сознания»<sup>75</sup>. В этих словах слышится полемика со славянофильской верой в личность, которая стремится быть лишь «правильным выражением основного духа общества».

Флоровский продолжает рассматривать соборность как высокий идеал, но не находит ее в народной жизни, отказывается в поисках ее следовать за Киреевским вовнутрь «крестьянской избы». «В славянофильском истолковании самая народная жизнь есть некая естественная соборность», а это — «опасный предрассудок», «обскурантизм»<sup>76</sup>, — утверждает он. Личное сознание «в кафолическом преображении» способно воспринимать и выражать сознание и жизнь целого, но этому еще «нужно вновь научиться... Нужно возрости до кафолического уровня, перерости свою субъективную узость, выйти из своего особого закоулка»<sup>77</sup>. Соборность, таким образом, из славянофильского идеала прошлого, следы которого можно обнаружить разве что в самых глубинах простонародной жизни, превращается в идеал будущего, осуществить который призваны интеллигенция, «верхний культурный слой», а отнюдь не простой народ. Сходные мотивы — и столь же метафизически-туманный идеал — мы находим и у Бердяева, на склоне жизни связывавшего будущее России «не с верой в русского мужика, как у Герцена, а с благой вестью в наступление Царства Божьего, с верой в существование иного мира, иного порядка бытия, который должен означать радикальное преображение этого мира»<sup>78</sup>.

<sup>73</sup> Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. Париж, 1972, с. 125.

<sup>74</sup> Там же, с. 26.

<sup>75</sup> Флоровский Г. Цит. соч., с. 506.

<sup>76</sup> Там же, с. 504.

<sup>77</sup> Там же, с. 506–507.

<sup>78</sup> Бердяев Н. Самопознание, с. 326–327.

А что происходило с соборно-коллективистским идеалом в советской действительности? Трагическая гибель деревни и превращение советского общества в промышленное и городское выбивали опору из-под ног соборного синкретизма, лишали смысла прежние механизмы социального контроля, соответствовавший им принцип *человек для...*, а значит, и вылепленный веками тип русского «соборного человека». Какое-то время он продлевал свое существование в промежуточной культуре горожан первого поколения, в их системе ценностей, воспоминаниях, ностальгии и т. п. В той мере, в какой консервативно-революционный замысел удалось осуществить в СССР, образовалась и промежуточная, внутренне противоречивая «культурная смесь», которая освящала неосуществимый идеал человеческой личности — «простого советского человека», *Homo soveticus'a*. В нем искусственно соединялись «инструментальные» достоинства современного городского жителя с коллективистскими крестьянскими добродетелями «соборного человека». Несмотря на свою искусственность, а может быть, именно благодаря ей, такой идеал был созвучен мироощущению промежуточных, сельско-городских поколений. По справедливому замечанию Ю. Левады, хотя характеристики *Homo soveticus'a* относятся прежде всего «к лозунгу, проекту, социальной норме», «в то же время — это реальные характеристики поведенческих структур общества»<sup>79</sup>.

## 5.5. Кризис советской соборности

**К**ак долго, однако, могло сохраняться пусть и неполное совпадение лозунга и реальности? «Простота» *Homo soveticus'a* предполагала «сложный набор взаимосвязанных значений: массовидный («как все»), деиндивидуализированный, противопоставленный всему элитарному и своеобразному, «прозрачный» (т. е. доступный для контроля сверху), примитивный по запросам (уровень выживания), созданный раз и навсегда и далее неизменный, легко управляемый (на деле подчиняемый примитивному механизму управления)»<sup>80</sup>. И все эти значения «простоты» оказывались в разладе с нараставшей сложностью менявшегося социального мира и все больше теряли смысл.

Очень большие изменения принесло образование, пусть даже и преследовавшее по преимуществу инструментальные цели. «Образование у нас кладет предел, за которым много гнусного не ходит»<sup>81</sup> — эта максима Герцена не вполне подтвердилась в советское время. Связанное с ростом образованности распространение ценностей рационализма и утилитаризма несло с собой несомненное повышение эффективности человеческой деятельности, однако оставляло открытым вопрос о ее нравственных основаниях. Знания теснили веру, секуляризация стала одним из важнейших звеньев культурной революции в СССР, но враждебное отношение советского режима к религии не противоречило опоре консервативной модернизации на традиционные механизмы. Речь шла, на самом деле, не об отказе от религии вообще, а о замене старой веры новой, а это только снижало освободительный потенциал знания, убивало сопряженный со знанием дух самовоспитания.

<sup>79</sup> Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. Отв. редактор Ю. А. Левада. М., 1993, с. 8.

<sup>80</sup> Там же.

<sup>81</sup> Герцен А.И. Концы и начала, с. 168.

Но в чем не могла не сказаться обновляющая сила образования, так это в разрушении синкретического менталитета. Оно повышало «разрешающую способность» человеческого сознания, и картина единичного, нерасчлененного, замкнутого, «геоцентрического», жестко детерминированного, малоподвижного мира постепенно уступала место иной картине. Приобщаясь к современным, пусть даже только естественнонаучным, знаниям, люди осмысливали — кто в большей, кто в меньшей степени — существование множества бесконечных, внутренне дифференцированных, подвижных, вероятностных, равноправных миров, по-новому ощущали и природный и социальный макрокосм, а это требовало изменения и структуры их индивидуального микрокосма. Он тоже должен был стать расчлененным, позволяющим функционально обособить разные стороны отношения человека с миром и сделать его поведение более гибким и разнообразным. Рациональное, эмоциональное и нравственное начала человеческой личности должны были развиваться, получить самостоятельное существование и в то же время не утратить своего внутреннего единства, без которого личность распадается.

К этому же подталкивали и все другие составляющие советской инструментальной модернизации. При всей ее половинчатости, она все глубже и глубже меняла условия повседневного существования человека, окружающий его мир становился все более сложным и расчлененным, навязывал свои правила игры, по которым и приходилось жить. По этим правилам, «цензор», в роли которого всегда выступало непосредственное социальное окружение, должен переместиться «вовнутрь», внутренней чертой личности должна стать и способность к целеполаганию в условиях многовариантного выбора, которого не знала прежняя жизнь. Идеальный «городской» человек совершает — или не совершает — те или иные поступки не потому, что ищет одобрения или боится осуждения соседей, начальства или Бога, а потому что может опереться на свое внутреннее убеждение или чувство, на усвоенную в ходе социализации развитую систему ценностей. «Внешний» социальный контроль, разумеется, не исчезает начисто, но его роль резко ослабевает.

По мере того как вчерашние крестьяне, их дети и внуки вращались в эту новую жизнь, они все меньше нуждались в указаниях «начальства», все больше ощущали себя автономными частными лицами, способными постоянно находить свой путь, осознаваемый как индивидуальное призвание. Привычная «соборная», «винтичная» дисциплина теперь все чаще воспринималась как помеха, вызвала протест и сопротивление. Остановить вызревание «нового человека», который шел на смену как прежнему соборному, так и промежуточному *Homo soveticus* было уже невозможно.

Разумеется, соборность, которая приобрела к этому времени новое обличье, превратившись, в соответствии с экономическими, политическими и военными императивами XX века, в государственную тотальность, не намерена была уступать. Государство заменило человеку сельскую общину и «улицу», надзиравшие за всеми событиями человеческой жизни в прошлом веке, продиктовало официальные культурные предпочтения, закрепленные в политике и идеологии. Они сложились во времена индустриализационных бури и натиска и эксплуатировали типичные для тогдашнего народного сознания соборно-коллективистские представления. Потеряв связь с питающей их жизнью,

которой больше не существовало, они окостенели в своем догматизме, а их историческая обреченность нередко оборачивалась повышенной агрессивностью по отношению к рационализму и утилитаризму крепнущей новой культуры.

Но сдержать ее напора они уже не могли. На какое-то время, на несколько послевоенных десятилетий, «хрущевских» и «брежневских», установилось зыбкое, кажущееся равновесие сил, но подспудно их соотношение менялось. Застой на покрывавшей тинной государственной поверхности не мог остановить жизни общества на глубине. «Новый» человек, индивидуалист и прагматик, набирал силу. Образ жизни людей, их потребности, вкусы, повседневное поведение, методы воспитания детей, психологические реакции, эстетические предпочтения все больше сближались с «западными», то есть все больше отвечали однотипной материальной и социальной среде индустриальных и постиндустриальных обществ. Советское общество все больше забывало свои старые «соборные» черты и превращалось в общество автономных индивидов.

Официальная идеология обычно отрицала сближение в развитии советского и западных обществ. Когда же сходство каких-то сторон образа жизни или поведения людей отрицать было уже невозможно, она объявляла его внешним, отражающим разные сущностные процессы. Например, утверждалось, что одни и те же перемены в демографическом поведении обусловлены ростом безработицы на Западе и ростом занятости в СССР. «Эти две противоположные тенденции могут вести, и действительно ведут, к сходному результату — снижению рождаемости»<sup>82</sup>. В брежневские времена не было большей идеологической ереси, чем «теория конвергенции» «социалистических» и «капиталистических» стран. На деле же происходило нечто большее, нежели конвергенция. Конвергенция — термин, заимствованный из биологии, — предполагает лишь внешнее сходство при сохранении принципиальных внутренних различий: живущие в воде млекопитающие развиваются конвергентно с рыбами, похожи на них, но остаются не рыбами, а млекопитающими. В СССР же человек менялся сущностно, внешними же, все более поверхностными становились политические различия между «социализмом» и «капитализмом». В конце концов они истончились до предела и исчезли в одночасье, как будто их и не было.

В той мере, в какой становление автономной личности все-таки шло в СССР, оно происходило в необычных, с точки зрения исторического опыта, условиях, ибо оставляло за скобками экономику и политику, более того, происходило даже вопреки им. Самостоятельное значение этих областей не следует переоценивать, они стоят дальше от экзистенциального в человеке, нежели, скажем, воспитание или семейная жизнь, и меньше влияют на формирование личности. Но исторически утверждение суверенитета личности началось именно с них. На Западе экономическая и политическая независимость «рыцаря», а затем и «буржуа» создали ту почву, на которой выросла нравственно автономная личность. На советскую же почву и даже раньше — на российскую — она была пересажена как уже имевшееся достижение, скопирована с готовых образцов, была неукорененной, слабой, неспособной отстаивать свои права, готовой к уступкам соборности и к соглашательству с нею.

<sup>82</sup> Боярский А. Я. Население и методы его изучения. М., 1975, с. 67.



Все это сказалось в пору горбачевских и последующих реформ. По своему глубинному смыслу они были ответом, скорее всего запоздалым, на эволюцию *Homo soveticus'a* от соборности к автономии. Но до полного завершения этого фундаментального сдвига далеко и сейчас. Принцип автономии личности в России все еще слабо укоренен, его сторонники не готовы окончательно расстаться с привычной соборно-патерналистской картиной мира. Не зря исследователи феномена *Homo soveticus'a* в конце 80-х годов отмечали «одну из важнейших... линий разлома в структуре ценностей и ориентаций современного человека советского: между ориентациями ценностными и инструментальными»<sup>83</sup>. «Признавая — по всей видимости — необходимость радикального разрыва с привычным «советским» образом жизни, он весьма плохо умеет это делать, опасается неизвестных и непредвиденных последствий перемен в экономике и политике»<sup>84</sup>.

Так оно и есть. Поколения, идущие на смену классическому «человеку советскому», несут на себе груз недавнего да и отдаленного прошлого, они все еще кентавры — наполовину государевы винтики, наполовину независимые частные лица. Но и остановить движение уже невозможно. Конечно, полностью соборные начала не будут изжиты никогда, в какой-то мере они не менее необходимы, чем начала личной автономии, которая тоже присутствовала в общественной жизни всегда. Сдвигаются лишь соотношения между тем и другим, переносится центр тяжести. Но это меняет все.

<sup>83</sup> Советский простой человек, с. 267.

<sup>84</sup> Там же.



# ГЛАВА 6

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: МАРГИНАЛЫ У ВЛАСТИ

### 6.1. Диктатура масс или диктатура «нового класса»?

**Е**вропейское развитие нескольких последних столетий принесло небывалые возможности производства, потребления, организации общественной и частной жизни, борьбы со смертью, внутреннего развития личности. И очень многие из этих возможностей сделались доступными рядовому человеку, практически каждому. Все больше и больше людей освобождались от изнурительного физического труда, угрозы смертельного голода, страшной нищеты, полного беззакония, знакомились с неизвестным прежде бытовым комфортом, получали образование, добивались политических прав. Такая всесторонняя демократизация — главное завоевание XIX – XX веков, неотъемлемая и, может быть, самая существенная сторона модернизации. Но она же — один из главных источников ее трудностей и проблем, в том числе и политических.

В ходе модернизации повседневное существование массового человека приобретало черты социальной свободы, доступной ранее лишь представителям немногочисленной знати; во многих случаях теперь эта свобода была даже большей. Под напором перемен трещали основы средневековой социальной организации, их замена становилась неизбежной. Новые организационные принципы вырабатывались постепенно практикой нескольких европейских стран, хотя их утверждение даже в этих странах было долгим и трудным. Человек, еще не вылупившийся — или не до конца вылупившийся — из средневековой общинно-корпоративной оболочки, не способен воспринять и реализовать в своей деятельности принципы экономической и политической демократии, они часто кажутся ему чудовищными и нелепыми. Но и следовать прежним холистским принципам он уже не может. Это — «эпоха линянья», которую наблюдал в Европе середины XIX века Герцен: «новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога — там трещина, тут трещина, но en gros она держится крепко и приросла глубоко. Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно»<sup>1</sup>.

В России-СССР непосредственным и совершенно естественным порождением «эпохи линянья» — и дореволюционной российской и, в особенности, послереволюционной советской — стал маргинальный, «полусоборный» человек. Он был весьма далек от того типа «сознательного рабочего», о котором постоянно упоминал Ленин и которо-

<sup>1</sup> Герцен А. И. Концы и начала. // Собр. соч. в 30 томах, т. 16, М., 1959, с. 172.

му неявно приписывались черты нового атомизированного европейского человека вперемешку с чертами «соборности», украшавшими образ идеального западного рабочего вторичными половыми признаками общинного коллективизма. Но именно этому незрелому, маргинальному человеку предстояло заполнить политическую сцену послереволюционной России, за кратчайшее время размножиться до большинства народа и сыграть бутафорскую роль носителя «диктатуры пролетариата».

В русской революции и диктатуре пролетариата можно усмотреть частный случай «перехода масс к неограниченной власти в обществе», о котором говорил Ортега-и-Гассет. «Подобные кризисы уже случались в истории... Имя их — восстание масс»<sup>2</sup>. Этот кризис, — полагал он, — следствие появления нового человеческого типа, нового племени, «новой черни». «„Новые“ люди — это варвары, выскочившие на сцену истории и дерзко и неудержимо заполнившие все историческое пространство»<sup>3</sup>. «Двумя самыми наглядными примерами этой сущностной регрессии являются большевизм и фашизм, два порождения „новой“ политики, возникшие в Европе и на ее периферии»<sup>4</sup>. Особую роль бесструктурных масс в европейской политической истории XX века подчеркивала и Ханна Арендт. «Падение охранительных стен между классами превратило сонные большинства, стоящие за всеми партиями, в одну громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов»<sup>5</sup>. Восстание масс «было результатом их атомизации, потери ими социального статуса и всего арсенала коммуникативных связей»<sup>6</sup>. «Главная черта человека массы — ... его изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений»<sup>7</sup>. «Для подъема нацистского движения в Германии и коммунистических движений в Европе после 1930 г. показательно, что они набирали своих членов из этой массы»<sup>8</sup> и строили свою стратегию на абсолютной преданности «полностью изолированной человеческой особи, которая при отсутствии всяких других социальных привязанностей, ... черпает чувство прочности своего места в мире единственно из своей принадлежности к движению, из своего членства в партии»<sup>9</sup>.

Кто же эти безликие массы, вдруг ставшие большинством, откуда они взялись? Где были раньше? Почему именно сейчас пробил их час? Слова Х. Арендт о том, что «массы выросли из осколков чрезвычайно атомизированного общества»<sup>10</sup>, мало что могут объяснить в России, ибо российское общество как раз не было атомизированным, а потому и не могло произвести таких осколков. Да и в других европейских странах, в которых «восстание масс» привело к установлению тоталитарных режимов, общества были гораздо менее атомизированными, нежели в «западных демократиях», где все обошлось.

<sup>2</sup> Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991, с. 40.

<sup>3</sup> Там же, с. 114.

<sup>4</sup> Там же, с. 119.

<sup>5</sup> Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996, с. 419.

<sup>6</sup> Там же, с. 465.

<sup>7</sup> Там же, с. 422.

<sup>8</sup> Там же, с. 414–415.

<sup>9</sup> Там же, с. 430.

<sup>10</sup> Там же, с. 422.

Дело, видимо, не столько в окончательной атомизированности, сколько в переходе к ней, переходе, который совершают вчерашние крестьяне, еще недавно бывшие большинством во всех европейских странах, а затем оторванные от корней, вытолкнутые из деревни в результате коренных перемен в европейской экономической жизни. И чем быстрее этот переход, тем больше опасность социальной промежуточности. Во всех европейских странах ускоренной модернизации, а в России — особенно, случилось то, чего опасался Глеб Успенский. «Оторвите крестьянина от земли, — писал, он — от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл „крестьянство“, — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него... Настает душевная пустота, „полная воля“, то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное „иди, куда хошь“...»<sup>11</sup>. Рухнули сами основы жизнедеятельности большинства народа, а значит, и опирающийся на них социальный порядок. Время перехода к иному порядку, задаваемому городской жизнедеятельностью, — это время междуцарствия, когда миллионы «новых людей» рвутся к реальным, хотя пока еще плохо понимаемым ими соблазнам и ценностям новой, городской жизни, сметая все на своем пути.

Это и впрямь время *восстания* масс, но можно ли говорить об их *диктатуре*? Если такая диктатура — в форме кратковременной власти разбушевавшейся толпы — и промелькнула кое-где в XX веке, то лишь для того, чтобы подготовить почву для жестких тоталитарных режимов, железной рукой ставивших человека толпы на свое место. Очень скоро стало ясно, что массы появились на политической сцене ненадолго и лишь в роли статистов. Исторический спектакль без них не мог состояться, но не они определяли его ход. Истинное место масс в политических процессах нашего столетия не может быть понято, если не рассматривать одновременно функции и роль **новых элит** и смысл **их** восстания и **их** диктатуры.

Новые элиты — такое же неизбежное порождение исторических перемен, как и новый автономный человек. По мере того, как он превращается во все более массовый человеческий тип и меняется «молекулярный состав» общества, из среды «новых людей» выделяются наиболее активные носители их интересов, ценностей, принципов, они приобретают все большее влияние и постепенно теснят прежнюю элиту, издавна контролирующую экономическую, политическую и духовную жизнь общества. Разумеется, та не уходит со сцены без сопротивления. Борьба растягивается на несколько поколений, идет с переменным успехом, в каждой стране по-своему, оставляет после себя цепь компромиссов, временных союзов, порожденных ими мифологий и идеологий, формирует сложное переплетение партийных позиций. Это — не просто борьба за влияние и власть, которая бывает всегда. Речь идет об изменении самого типа элиты, принципов ее формирования, характера функционирования — все это должно соответствовать основам жизнедеятельности обновляющегося общества. Только в таком случае можно говорить о модернизации элиты как необходимой части общей модернизации.

В России свой вклад в формирование новой элиты и ее борьбу за влияние и власть внесли все три исторических слоя новых людей, и все они, в известном смысле, не без

<sup>11</sup> Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах, т. 5. М., 1956, с.116.

оснований рассматривали эту борьбу как революционную. Под их воздействием складывались все революционные настроения в России.

Первоначально они отражали интересы новых в культурном, экономическом или социальном смысле слоев, дворянских или околodворянских, квазибуржуазных. Старая российская элита XVIII века — это поместное дворянство вполне традиционного склада. Но, как мы видели, в первой половине XIX века именно в этой среде появились новые люди, сильно затронутые западными культурными влияниями и выработавшие агрессивнo-критическое отношение к традиционной российской действительности. Чаадаев или декабристы не преследовали никаких личных интересов, если не считать того, что им вдруг стало душно в застойном российском социальном климате. Но постепенно к этому, тоже немаловажному, соображению стали добавляться и другие, более прагматические. Россия все же развивалась, а это вело к значительному расширению элитарных статусов. Рядом с привычной дворянской верхушкой все чаще появлялись богатые и средние купцы и промышленники. Страна европеизировалась, и ей нужно было все больше грамотных администраторов и офицеров, инженеров и учителей, журналистов и университетских профессоров. Частично они рекрутировались из дворян, но одних дворянских детей уже не хватало, вверх поднималось все больше выходцев из духовного сословия, из мещан, иногда и из крестьян, складывался слой разночинцев, «пролетариев умственного труда». Для крестьянина или городского простолюдина в России XIX века каждый студент — «барин», да и сами студенты склонны были смотреть на себя как на бар. Конечно, это уже далеко не те баре, каких знала екатерининская эпоха. Но старые барские претензии еще живы были в памяти, психологически русские разночинцы XIX века — это замысловатая смесь дворянина и буржуа, их западнические, откровенно буржуазные симпатии и пристрастия спорят с их собственными «антибуржуазностью», неистребимыми аристократическими замашками и притязаниями.

Вместе с новыми статусами появляются и новые способы их достижения, растет вертикальная социальная мобильность, почти неизвестная старому сословному обществу. Расширение каналов вертикальной мобильности прямо связано с переменами, в которых заинтересована новая элита и которым противостоит старая, теряющая, по крайней мере, часть своих привилегий. Поэтому стремление к переменам, к обновлению, смысл которого часто плохо осознается или осознается лишь в отдельных его проявлениях, становится религией нарождающихся элитарных групп, практически всей интеллигенции, и она включается в более или менее активную борьбу против сложившегося порядка вещей и олицетворяющей его власти.

Пока сила — на стороне старой элиты, она довольно успешно блокирует перемены, вновь прибывающие разночинцы видят перед собой почти непреодолимую стену. Стремясь изменить неблагоприятное соотношение сил, они ищут союзника в «народе», то есть, по преимуществу, в крестьянстве. В этом — главный секрет «народолюбия» русской интеллигенции, идеализации ею крестьянина. Убежденность интеллигенции в том, что она служит исключительно «народу», могла быть вполне искренней, но мера искренности не есть мера истинности. Она может отражать лишь глубину иллюзий. Городские разночинные революционеры, даже и искренне убежденные в своей преданности

делу народа, всегда видели себя его поводырями и, как правило, не отдавали себе отчета в том, что интересы «народа» и их собственные могут не совпадать или совпадать лишь отчасти. Тем не менее неудовлеторенность своим положением делала их более зоркими и по отношению к положению крестьянства, и в самом деле часто бедственному. У них нарастало ощущение социальной несправедливости, оно смешивалось с нетерпеливым стремлением ускорить перемены, порождая культурный нигилизм, а то и фанатический политический экстремизм, оправдывающий любое насилие. Они стремились уравнять силу действия с силой противодействия.

В России XIX века «революционер» — политический экстремист — становится типичной фигурой. Он искренне убежден, что борется с несправедливостью, как и в том, что в такой борьбе все средства хороши. Неразборчивость в средствах оправдывается неравенством сил. Одна из первых и наиболее известных деклараций революционаризма такого рода — «Катехизис революционера» С. Нечаева — окровенно стирает грань между политикой и уголовщиной. «Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы России... Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение... Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России»<sup>12</sup>. Нечаев подчеркнуто отмежевывается от революции «по западному классическому образцу» из-за их «куважения перед собственностью и перед традициями общественных порядков»<sup>13</sup>. Возможно, благодаря Нечаеву, России принадлежит сомнительное первенство в открытом выражении настроений «типично русского революционного фанатизма, который, по сути, предвкушал и жаждал не изменения социальных и политических условий, а радикального разрушения всех существующих убеждений, ценностей и институтов». Когда позднее, уже в XX века настало время толпы в некоторых странах Европы, «толпа попросту воспользовалась возможностями этого нового настроения и реализовала краткосрочный союз революционеров и преступников, который... присутствовал во многих революционных сектах царской России, но до поры до времени не проявлялся заметно на европейской сцене»<sup>14</sup>.

Нечаев — одиозная фигура российского революционного иконостаса, впоследствии многие революционеры отрешивались от «нечаевщины», по крайней мере на словах, но далеко не всегда на деле. Представители самых разных революционных сил время от времени прибегали к террористическим актам или «экспроприациям», не видя в этом большого греха и вызывая сочувствие публики. Б. Кистяковский писал в «Вехах», что русское общественное сознание «никогда не выдвигало идеала правовой личности». Даже Герцен, — говорил он, — «видел некоторое наше преимущество в том, что у нас нет прочного правопорядка»<sup>15</sup>. «Только новая волна западничества, хлынувшая в начале девяностых годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции... Но..., несмотря на школу марксизма, пройденную ею,

<sup>12</sup> Нечаев С. Катехизис революционера. Цит. по: Лурье Ф. М. Созидатель разрушения. СПб., 1994, с. 105.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Арендт Х. Цит. соч., с. 447.

<sup>15</sup> Кистяковский Б. В защиту права. // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991, с. 115.

отношение ее к праву осталось прежним»<sup>16</sup>. Русский марксизм стал приспосабливаться к привычным «кнечаевским» революционным понятиям. Кистяковский говорит о «чудовищной» идее господства силы и захватной власти вместо господства принципов права», выраженной в речи Плеханова еще в 1903 г. «Если бы в порыве революционного энтузиазма, — сказал тогда Плеханов, — народ выбрал очень хороший парламент..., то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели»<sup>17</sup>. Надо ли удивляться, что большевики так и поступили впоследствии с Учредительным собранием и что «революционное насилие» вообще заняло столь большое место в теории и практике большевизма, который пошел в этом отношении намного дальше меньшевика Плеханова? Сталин совершенно откровенно характеризовал свой идеал политической системы как «не ограниченное законом и опирающееся на насилие господство пролетариата над буржуазией, пользующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс»<sup>18</sup>.

Романтические, точнее, аристократически-романтические надежды на то, что многомиллионная Россия станет послушно следовать за «тончайшим слоем» пришедших к власти революционеров, решающих, какой парламент сохранить, а какой — разогнать, были наивны. Россия не была послушной патриархально-крестьянской страной уже в конце прошлого века, а тем более не стала ею, когда вошла в полосу социальных потрясений первой половины нынешнего. Именно тогда незрелое, упрощенное политическое и правовое сознание большевиков на деле соединилось с неразвитым, стихийным сознанием деклассированных, растревоженных войнами и революциями полугородских-полудеревенских, крестьянско-солдатских масс, а утвердившийся благодаря этому соединению режим стал осваивать классические приемы на словах поносимого Лениным «бонапартизма»: «эквilibрировать, чтобы не упасть, — заигрывать, чтобы управлять, — подкупать, чтобы нравиться, — брататься с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держаться не только на штыке»<sup>19</sup>. Это предопределило как временный успех «ленинской гвардии», так и ее последующую гибель.

Революционное обновление России открыло — и в этом был его главный смысл — новые каналы вертикальной социальной мобильности, притом впервые — для большинства. В них совершенно естественным образом устремился «народ», именем которого клялись несколько поколений русских полудворянских, полубуржуазных революционеров. Для них это оказалось полной неожиданностью.

Излюбленным образом сталинской эпохи был романтический образ Данко, ведущего за собою «народ» и освещающего дорогу поднятым над головой собственным сердцем. Возможно, именно так виделась русским революционерам их роль в надвигающихся на страну событиях в начале века. Но когда события наступили, общество не нуждалось ни в каких впереди идущих. Уже в первый год революции бушующие массы смели с политической арены представителей почти всех сложившихся в России революцион-

<sup>16</sup> Там же, с. 120.

<sup>17</sup> Там же, с. 122.

<sup>18</sup> Сталин И. В. Об основах ленинизма. // Сочинения, т. 6, с. 114.

<sup>19</sup> Ленин В. И. Об оценке текущего момента. // Полн. собр. сочинений, т. 17, с. 273–274.

ных течений. На какое-то время у власти задержались большевики, но ненадолго. «Ленинская гвардия... оказалась хрупким плотом на гребне вздымавшейся волны. Это была волна рвавшихся к власти и выгодным постам нахрапистых карьеристов и мещан (снова «мещане!» — А. В.), наскоро перекарсившихся в коммунистов... Каждого из них — и в отдельности, и дюжинами, и пачками — Ленин мог выгнать, арестовать, расстрелять. Но в целом они были неодолимы»<sup>20</sup>. С конца 20-х годов, со времен «великого перелома», началось стремительное расширение маргинальных слоев и их конечная победа над «тончайшим слоем старой партийной гвардии»<sup>21</sup> была предreshена простым количественным соотношением сил.

Уцелеть могли лишь те из «старой гвардии», кто переметнулся на сторону нового большинства. Это и предопределило выбор Сталина и всю его стратегию опоры на «массы» и на новую «маргинальную» элиту, которая его поддерживала и которая понимала и принимала только ограниченную «кинструментальную» модернизацию. Такая упрощенная и ускоренная модернизация отвечала историческому коллективному нетерпению, копившемуся в России с петровских времен, и одновременно банальному нетерпению миллионов, почувствовавших реальную возможность почти немедленных перемен в их сегодняшней, повседневной жизни. Говорить об их «нахрапистости» навивно. Они были не более нахрапистыми, чем народовольцы, бросавшие бомбу в царя, или эсэры и большевики со своими «эксами», они были лишь куда более многочисленными и менее образованными. Можно ли винить их за это? Из их среды и вышла новая политическая элита, она понимала и отстаивала их интересы, имела в их лице надежную социальную базу. Только она ее и имела в СССР в то время. Ее-то и олицетворял Сталин. «Сталинские назначенцы были людьми Сталина. Но и он был их человеком. Они составляли социальную опору его диктатуры, но не из трогательной любви к диктатору-грузину: они рассчитывали, что он обеспечит их коллективную диктатуру в стране. Подобострастно выполняя приказы вождя, они деловито исходили из того, что эти приказы отдаются в их интересах... Он был ставленником своих ставленников и знал, что они неуклонно выполняют его волю, лишь пока он выполняет их волю»<sup>22</sup>. Вольно или невольно, Восленский воспроизводит здесь цитируемую Х. Арендт формулу Гитлера из его речи перед штурмовиками СА: «все, что вы есть, вы есть со мною; все что я есть, я есть только с вами»<sup>23</sup>.

В главе 3 уже приводились данные о городском и сельском происхождении высшей коммунистической элиты СССР, которые давали ясное представление о том, что люди, стоявшие у руля «пролетарского государства», рекрутировались отнюдь не из главных мест сосредоточения пролетариата. Таблица 6.1. дополняет эту картину сведениями о

<sup>20</sup> Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991, с. 78–79.

<sup>21</sup> Ленин В. И. Об условиях приема новых членов в партию. // Полн. собр. сочинений, т. 45, с. 20.

<sup>22</sup> Восленский М. Цит. соч., с. 89–90.

<sup>23</sup> Арендт Х. Цит. соч., с. 432. Впрочем, все это было понятно и раньше. Еще Троцкий писал, что прежде, чем Сталин «нащупал свою дорогу, бюрократия нащупала его самого... Успех, который на него обрушился, был на первых порах неожиданностью для него самого. Это был дружный отклик нового правящего слоя, который стремился освободиться от старых принципов и от контроля масс и которому нужен был надежный третейский судья в его внутренних делах». (Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991, с. 80).



Таблица 6.1. Социальное происхождение партийной элиты РКП(б), ВКП (б), КПСС (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК), 1917–1989 гг.

	Год первого прихода на высший пост										
	1917- 1919	1920- 1929	1930- 1939	1940- 1949	1950- 1959	1960- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1917- 1989	1917- 1929	1930- 1989
<b>Всего, человек</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>193</b>	<b>64</b>	<b>129</b>
в том числе:											
из рабочих	2	13	5	2	12	5	2	10	51	15	36
из крестьян	2	14	3	7	15	11	7	9	68	16	52
из ремесленников	2	3	2	-	3	-	-	-	10	5	5
из служащих	6	8	4	3	3	5	2	2	33	14	19
из дворян или священнослужителей	2	3	-	-	-	-	-	-	5	5	-
из прочих	3	4	1	-	-	-	-	-	8	7	1
нет сведений	1	1	-	2	1	2	-	11	18	2	16
<b>Всего, %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
в том числе:											
из рабочих	11,1	28,3	33,3	14,3	35,3	21,7	18,2	31,3	26,4	23,4	27,9
из крестьян	11,1	30,4	20,0	50,0	44,1	47,8	63,6	28,1	35,2	25,0	40,3
из ремесленников	11,1	6,5	13,3	-	8,8	-	-	-	5,2	7,8	3,9
из служащих	33,3	17,4	26,7	21,4	8,8	21,7	18,2	6,3	17,1	21,9	14,7
из дворян или священнослужителей	11,1	6,5	-	-	-	-	-	-	2,6	7,8	-
из прочих	16,7	8,7	6,7	-	-	-	-	-	4,1	10,9	0,8
нет сведений	5,6	2,2	-	14,3	2,9	8,7	-	34,4	9,3	3,1	12,4

Источник: Рассчитано по: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей. М., 1996.

социальном происхождении партийных лидеров. В начальный период существования советского государства к его руководству пришло сравнительно много — около 30% — выходцев из «образованных» слоев, в самые первые годы — около 45%. Затем их приток стал сокращаться, главным поставщиком высших партийных кадров стали выходцы



из рабочих, а еще больше — из крестьян. С 1940 по 1980 г. выходцы из крестьян явно преобладали.

А какой была судьба первопроходцев, «ленинской гвардии»? На этот вопрос дает ответ, по крайней мере частичный, следующая таблица 6.2. Из 64 человек, пришедших на высшие партийные и государственные посты в 1917–1929 гг., во время революции, Гражданской войны и НЭПа, почти две трети (41 человек) погибли неестественной смертью, из них 36 человек (более 56%) были казнены по приговору суда как «враги народа» (в частности, люди из ближайшего окружения Ленина — Зиновьев, Каменев, Бухарин и др.), а в некоторых случаях убиты в тюрьме без всякого приговора (Сокольников), остальные покончили с собой (например, Орджоникидзе) или погибли при террористических актах, тоже организованных властями (самый известный пример — убийство Троцкого). Террор коснулся и некоторых высокопоставленных руководителей уже сталинского набора. В частности, из девяти, пришедших «наверх» с 1930 по 1935 г., выжил один Жданов. Но среди тех, кто поднялся к вершинам власти после 1937 г., жертвами репрессий стали единицы, некоторые из них были расстреляны уже в послесталинское время как виновники репрессий (Берия, Багиров).

То, что происходило на верхушке партийно-государственной пирамиды, было лишь отражением борьбы за власть между старой и новой элитами, развернувшейся на всех уровнях руководства. Х. Арендт полагала, что одно из самых важных «технических различий» между советским и нацистским режимами состояло в том, что «Сталин, смещая центр власти в рамках собственного движения с одного аппарата на другой, имел тенденцию ликвидировать аппарат вместе с его персоналом, тогда как Гитлер, при всех своих презрительных отзывах о людях, которые „не способны перепрыгнуть через собственную тень“, был готов продолжать использовать этих людей, пусть даже в другой функции»<sup>24</sup>. Трудно согласиться с тем, что речь здесь идет только о «технических» различиях или о личных особенностях Сталина и Гитлера. Дело, скорее, в том, что в нацистской Германии не было проблемы смены *типа* элиты, ибо гитлеровский режим с самого начала отвечал интересам и вожделениям городских масс, промежуточных слоев населения, сложившихся ранее, в бисмарковскую и версальскую эпохи. В России же в 1917 г. этих слоев еще почти не было, понадобилось два десятилетия и — как это ни парадоксально — мощная поддержка «ленинской гвардии», чтобы они образовались, созрели и вступили в борьбу за власть с нею. Впрочем, об этом пишет и сама Х. Арендт. «Чтобы превратить революционную диктатуру Ленина в полностью тоталитарное правление, Сталину сперва надо было искусственно создать то атомизированное общество, которое для нацистов в Германии приготовили исторические события»<sup>25</sup>.

Когда борьба за власть развернулась в полную силу, стало ясно, что вчерашние революционные властители не имели социальной опоры и не могли ничего противопоставить натиску своих исторических конкурентов. Очень скоро борьба приняла характер массовых и очень жестоких репрессий против ранней советской элиты, причем не только политической, но и связанной с нею экономической, культурной, научной и пр. Она была не просто отстранена от власти, но в значительной степени уничтожена физичес-

<sup>24</sup> Арендт Х. Цит. соч., с. 523–524.

<sup>25</sup> Там же, с. 423.

Таблица 6.2. Представители партийной элиты РКП(б), ВКП (б), КПСС (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК), умершие естественной смертью

	<i>Год первого прихода на высший пост</i>										
	<i>1917- 1919</i>	<i>1920- 1929</i>	<i>1930- 1939</i>	<i>1940- 1949</i>	<i>1950- 1959</i>	<i>1960- 1969</i>	<i>1970- 1979</i>	<i>1980- 1989</i>	<i>1917- 1989</i>	<i>1917- 1929</i>	<i>1930- 1989</i>
<b>Всего, человек</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>193</b>	<b>64</b>	<b>129</b>
<b>в т. ч. умерли неестественной смертью</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>12</b>
<b>из них:</b>											
<b>Казнены</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>10</b>
<b>Покончили с собой</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Погибли при теракте</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Всего, %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>в т.ч. умерли неестественной смертью</b>	<b>55,6</b>	<b>67,4</b>	<b>53,4</b>	<b>14,3</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,9</b>	<b>64,1</b>	<b>8,6</b>
<b>из них:</b>											
<b>Казнены</b>	<b>50,0</b>	<b>58,7</b>	<b>46,7</b>	<b>14,3</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,8</b>	<b>56,3</b>	<b>7,8</b>
<b>Покончили с собой</b>	<b>-</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>4,7</b>	<b>0,8</b>
<b>Погибли при теракте</b>	<b>5,6</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-</b>

*Источник: Рассчитано по: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей.*

ки. На разных уровнях власти осталось лишь небольшое число перебежчиков, которые должны были постоянно доказывать свою верность режиму, участвуя в его преступлениях, дрожа от страха и снося любые унижения. Так предательски смирились с арестом и отправкой в ГУЛАГ собственных жен высшие сановники режима Молотов, Калинин, Ворошилов, с вынужденным самоубийством своего брата — Каганович и т. д.

Именно новая советская элита, рожденная эпохой массового и — что очень важно — стремительного «линияния» общества, и стала на какое-то время надежной опорой политического режима, который она выдавала за «диктатуру пролетариата» и который издали мог казаться диктатурой масс. Этому способствовало и то, что представители правящей в СССР элиты и в самом деле часто были выходцами «из народа», как мы видели, по преимуществу из крестьян, но, бывало, и из рабочих. Когда М. Джилас в 50-е

годы назвал такую элиту новым господствующим классом, он шел против традиции, созданной критиками системы «изнутри». Еще Х. Раковский, одним из первых заговоривший вслух о «перерождении партийных кадров» в СССР вследствие функционального расслоения пришедшего к власти пролетариата и превращения некоторой его части «в агентов самой власти», с осторожностью выбирал выражения. «В пролетарском государстве, где капиталистическое накопление не позволено для членов правящей партии, — писал он, — упомянутая дифференциация является сначала функциональной, но потом превращается в социальную. Я не говорю — классовую, а социальную»<sup>26</sup>. Позднее Троцкий, очень резко критиковавший сталинский режим, утверждал тем не менее, что «в СССР нет имущих классов в собственном смысле слова», а есть «очень привилегированный командующий слой, который присваивает себе львиную долю в области потребления»<sup>27</sup>. Он предпочитал говорить не о классе (применительно к СССР это не вписывалось в теорию, которой он оставался верен), а лишь о слое «бюрократии», хотя по его же оценкам речь шла о 12–15% населения страны<sup>28</sup>.

Джилас же (а он тоже был критиком «изнутри» в силу как своего идейного воспитания, так и принадлежности к правящей верхушке социалистической Югославии) писал о **новом классе**. Дореволюционный русский капитализм, полагал он в частности, «был слишком слаб... чтобы совершить промышленную революцию. На такое мог пойти только новый класс... Этого класса еще не было. Истории безразлично, кто поведет процесс, важно сделать необходимое... Так произошло и в России... Революция создала силы: нужных ей производителей, нужные организации и идеи. Новый класс произрастал из объективных условий — волей, мыслью и поступком его вождей»<sup>29</sup>. Так как он утвердился у власти, опираясь, в первую очередь, на политические, а не на экономические рычаги, и это произошло в слабо структурированном обществе, его власть оказалась особенно деспотичной, а советский период стал временем редкостного для страны такого уровня развития безвластия и бесправия масс, их обмана и эксплуатации. Случайности в этом не было. Утверждение в России того, что впоследствии получило название «тоталитаризма», было подготовлено всей прошлой историей и запрограммировано на сто лет вперед, хорошо, если не на больше.

## 6.2. Тоталитарные идеологии

**И**звестные слова Б. Пастернака о Ленине: «он управлял движением мысли и только потому — страной» — очень точно указывают на важнейшую предпосылку становления и сохранения тоталитаризма, а именно на власть идеологии, идеократию. Крушение соборного мира многомиллионного крестьянства было одновременно и крушением привычных богов, обесценением устоявшихся идей, мифов, ценностей. Образовавшийся вакуум требовал заполнения, которое могло быть новым по содержа-

<sup>26</sup> Раковский Х. Письмо о причинах перерождения партии и государственного аппарата. // «Преданная революция» сегодня. Приложение к книге Л. Троцкого «Преданная революция». М., 1992, с. 48.

<sup>27</sup> Троцкий Л. Преданная революция, с. 19.

<sup>28</sup> Там же, с. 117.

<sup>29</sup> Джилас М. Новый класс. // Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992, с. 201.

нию, но не по форме. Синкретическое сознание людей не могло измениться с сегодня на завтра, новые идеологемы, чтобы быть воспринятыми, тоже должны были быть синкретическими, адресоваться одновременно и к рассудку, и к чувству, и к вере. Их надлежало сделать монолитными, простыми, понятными, иными словами, свести к короткому, не подлежащему обсуждению лозунгу. Но такая форма, в свою очередь, давит на содержание, ибо не всякое содержание свертывается в лозунг и, следовательно, может быть воспринято соборным или полусоборным сознанием. Поэтому и новизна содержания может быть только относительной. Можно заменить идею царя идеей президента или генерального секретаря, но в конкретном восприятии того, кто вчера еще жил идеей царя, новым будет только название.

Пройдя через революционные и военные потрясения начала века, соборный крестьянин, а затем только что народившийся, полусоборный, полуавтономный Homo soveticus в его массовом варианте оказались в кругу совершенно новых представлений и идей и стали фильтром, который ежедневно и ежечасно отсеивал те из них, что по форме либо по содержанию не соответствовали разрешающей способности все еще синкретического, по преимуществу, сознания. Отфильтрованные таким образом представления и идеи сложились в официальную идеологию, и она на какое-то время зажила жизнью новой абсолютной религии — тоже в полном согласии со свойствами синкретического миропонимания. Разумеется, там, где есть официальная религия, там всегда есть и ересь. Чрезмерно жесткая советская идеологическая схема постоянно рождала диссидентствующих оппонентов. Но еретические контридеологии, как правило, рождаются и живут по тем же законам, что и официальная, и так же точно отражают состояние общественного и индивидуального сознания. Они борются за владение теми же самыми умами.

В конце 1960-х годов А. Амальрик составил схему основных характерных для тогдашнего СССР идеологических течений, которой позднее — в середине 70-х годов — он придал более ясный и законченный вид. Схема представляет собой «колесо идеологий», основу которого образуют три главные «суперидеологии», три типа социальной философии, которые Амальрик обозначил как «марксизм», «национализм» и «либерализм». «Суперидеологии не отделены одна от другой непреходимыми преградами, в какой-то степени даже переходят одна в другую»<sup>30</sup> — потому и «колесо».

При всем многообразии постоянно менявшихся политико-идеологических позиций, столетние российские споры были «двухполюсными», это была борьба старого и нового, принимавшая форму противостояния своего и чужого. Схема же Амальрика — трехполюсная. Откуда взялся третий полюс? Дело, по-видимому, в том, что даже и «суперидеологии» — еще не самый верхний уровень описанной Амальриком структуры. Есть еще некий «метауровень», и он действительно знает только два полюса: либерализм и тоталитаризм, а уже внутри тоталитаризма можно различить две разные, но внутренне глубоко родственные суперидеологии, которые Амальрик и обозначил как марксизм и национализм. Это родство подчеркивал и сам Амальрик, когда утверждал, что в СССР в кризисных ситуациях всегда «больше шансов на выживание и победу будет у тех, кто

<sup>30</sup> Амальрик А. Идеология в советском обществе. // Погружение в трясины. М., 1991, с. 678.

будет руководствоваться идеологиями тоталитарными, а не плюралистическими, до-морощенно-восточными, а не чужеродно-западными и чисто политическими, а не этико-политическими»<sup>31</sup>. В постсталинском СССР этим условия, согласно Амальрику, больше всего отвечал «неосталинский национализм» — «своеобразный национал-большевизм» — «под знаменем марксизма», с одной стороны, и «пусть осенит нас знамя Суворова» — с другой, тянущийся в сторону все большего русского национализма с осовремененными старомосковскими идеями сильной «отеческой» власти»<sup>32</sup>.

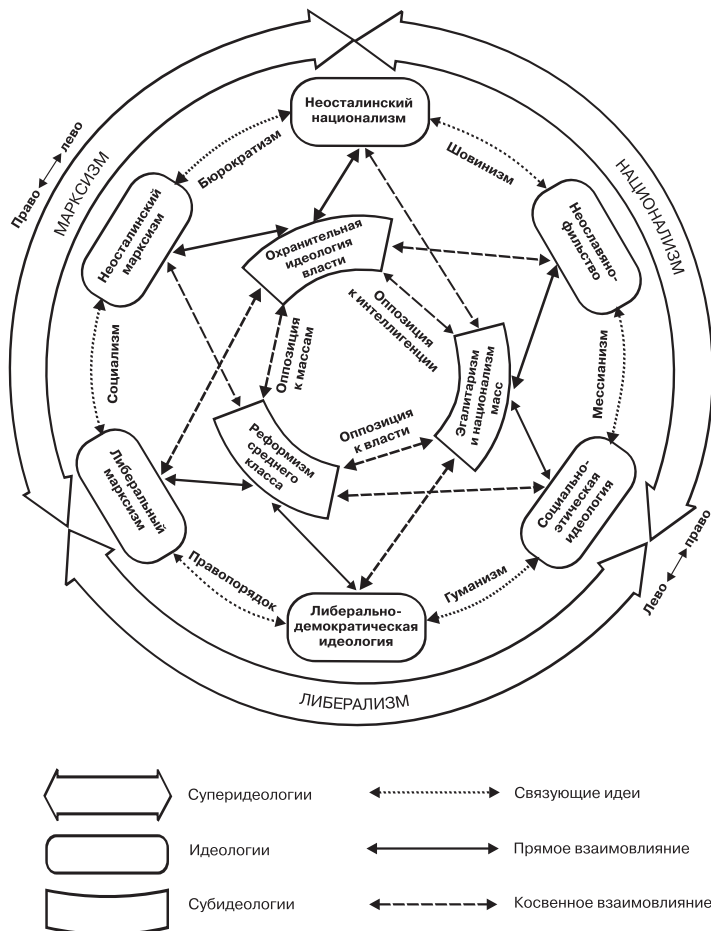


Рисунок 6.1. «Колесо идеологий» А. Амальрика

Источник: Амальрик А. *Идеология в советском обществе*, с. 678.

<sup>31</sup> Там же, с. 682.

<sup>32</sup> Там же, с. 678–679.

Либерализм как «суперидеология» в смысле Амальрика — это совокупность идей, отстаивающих принципы, формально провозглашенные во Франции в 1789 г. в Декларации прав человека и гражданина, но вырабатывавшиеся и углублявшиеся не одним поколением социальных мыслителей в странах более раннего капитализма — Голландии, Англии, Франции, Швейцарии и до и после Французской революции, а в XIX веке проверенные практикой этих и некоторых других стран, в частности, США. Таковы идеи политического плюрализма, гражданских прав и свобод, парламентской демократии и разделения властей, минимально необходимого вмешательства (но не невмешательства) государства в экономику и публичную жизнь, разделения государства и церкви и т. п. Логика либерализма — это логика сложной социальной системы с очень развитой и разнообразной внутренней средой, а потому и с высокой способностью к самоорганизации.

Если бы черепаха могла думать, то она безусловно пришла бы к выводу, что человек — существо, намного более беспомощное, чем она, ибо ему не на что опереть свое тело: у него нет внешнего каркаса. Идея позвоночника, служащего внутренней опорой, пожалуй, показалась бы ей странной, и она ни за что не отказалась бы от своего стеснительного, но надежного панциря в обмен на большую свободу жизнедеятельности позвоночных. Примерно такого рода рассуждения лежат в основе неприятия либерализма и массовым, и элитарным сознанием во всех странах ускоренного перехода от простого сельского к более сложному городскому обществу. Все тоталитарные идеологии питает и роднит прежде всего активное, агрессивное противостояние либеральным принципам.

После Первой мировой войны кризис охватил всю Европу и, по странному искривлению зрения, очень часто воспринимался как кризис западного либерализма и индивидуализма. Между тем наибольшей глубины кризис достиг в странах более позднего капитализма, таких как Германия, Италия или Россия, где ни то, ни другое не было развито, но быстро развивалось. Здесь с наибольшей силой проявился эффект человека-массы и обозначилось сильнейшее противостояние либеральным идеям. Ибо, как заметил Ортега-и-Гассет, либерализм «означает мирное сосуществование с противником, более того, он означает сосуществование со слабым противником... Масса... отвергает сосуществование с кем-либо, кроме нее самой, — ее питает смертельная ненависть ко всем, кто к ней не принадлежит»<sup>33</sup>.

Предреволюционная Россия развивалась по западному, капиталистическому пути, во многих отношениях это развитие было быстрым, успешным, укрепляло позиции прозападных либералов, их веру в возможности социальной самоорганизации, во власть денег, силу рынка, экономические принципы *Laissez faire*, ценности многопартийной демократии, одним словом, в нецентралистское общество, которое строится «снизу», от основания к вершине. Но такое развитие разрушало и ввергало в кризис традиционное социальное устройство, что неизбежно порождало внутреннее напряжение, конфликты, недовольство. Все это служило неплохим топливом для двигателей политического экстремизма, сочетавшего резкость социальной критики, часто оправданной, с несбыточными посулами.

<sup>33</sup> Там же, с. 103.

Пока революционная активность в России оставалась делом по преимуществу интеллигенции, экстремистские политические течения сосуществовали с более умеренными, либеральными и в целом значительно уступали им по популярности. Когда же в революцию пошел «народ», либеральные надежды стали вызывать все большие сомнения. События революции 1917 г., Гражданской войны, а затем и неудачная попытка сдвинуть Россию на либеральный путь во времена НЭПа окончательно вскрыли незрелость отечественного либерализма и его непригодность для России того времени, невосприимчивость тогдашнего большинства населения к рациональным доводам либеральной идеологии, а потому и утопичность российского либерального проекта начала XX века. Может быть, позвоночник и лучше внешнего панциря, но тогда внутренний хребет российского общества был еще слишком хрупким.

В результате либерализм надолго исчез с советской идеологической сцены, что, впрочем, не означало утраты им своего значения одного из полюсов советского идеологического универсума. Более того, здесь, как и в фашистской Италии или нацистской Германии, он приобрел некий высший метафизический смысл полюса абсолютного зла — объекта явного всеобщего презрения и источника тайных дьявольских искушений. Согласно Большой Советской Энциклопедии сталинских времен, либерализм «в широком смысле» был «синонимом примиренчества, терпимости к вредным, отрицательным явлениям и действиям, наносящим ущерб интересам государства, народа»<sup>34</sup>. (В статье Муссолини «Фашизм», написанной для итальянской энциклопедии, говорилось, что свойственные либерализму «агностицизм в области экономики..., равнодушие в области политики и морали ведут... к несомненному разрушению государств»<sup>35</sup>.)

Но коль скоро либеральный, «западнический», нецентралистский проект был отклонен жизнью, ему мог противостоять только проект централистского общества, которое строится «сверху» — от вершины к основанию. Теоретически он мог иметь многообразные варианты, на деле же опыт XX века указывает на две главные оси, вокруг которых группируются основные централистские проекты и соответствующие им идеологии, — они и обозначены в схеме Амальрика как марксизм и национализм. Различие заключается не в целях, а в средствах, в способах мобилизации социальных сил в нестабильном, переходном, модернизирующемся обществе. Не имея возможности осуществления глубинно революционного либерального проекта, стремящееся к модернизации советское общество вынуждено было довольствоваться поверхностно революционным, консервативно-революционным суррогатом. В этом — предел истинности всех тоталитарных, консервативно-революционных идеологий, их реализма.

Марксизм и национализм в схеме Амальрика — две разновидности таких идеологий. Их объединяет ставка на привычные, традиционные авторитарные методы мобилизации социальной энергии — жесткую вертикальную организацию общества в сочетании с доведенной до фанатизма верой. Разница же заключается в том, *во что* вера, а еще точнее, — вера **в какого врага**. Революционная вера — это всегда канализованное и определенным образом направленное недовольство масс, неизбежно обостряющееся при любом общественном кризисе. Когда речь идет о крупных системных кризи-

<sup>34</sup> БСЭ, 2-е издание. Т. 25. М., 1954, с. 73.

<sup>35</sup> *Mussolini*. Le fascisme. Doctrine, institutions. Paris, 1933, p. 48.



сах, существует множество линий разлома — источников напряжений и недовольства, а значит, и множество каналов, по которым это недовольство может быть направлено. Наличие одних трактовок не исключает других, все они обычно присутствуют в общественном сознании, конкурируют друг с другом, используются политическими силами в борьбе за влияние на массы.

Более или менее ясно, что, если говорить о марксизме как официальной советской идеологии, то речь идет не о марксистском учении в полном его объеме, а лишь о маске, по ряду причин удобной и для сторонников, и для противников этой идеологии. Судьба марксизма в России, как, впрочем, и в других странах, подтверждает слова самих Маркса и Энгельса о судьбе всякого рода коммунистических систем будущего, которые появлялись «в начале коммунистического движения». Они приводили пример «правоверных фурьеристов..., которые при всем своем правоверии являются прямыми антиподами Фурье», ибо «кистинное содержание всех составивших эпоху систем образуют потребности времени, в которое они возникли. В основе каждой из них лежит все предшествующее развитие нации»<sup>36</sup>.

По уже упоминавшимся причинам, возникший на немецкой почве марксизм предлагал ответы на вопросы, неизменно мучавшие и русских. Россия приняла его в полном смысле слова с распростертыми объятиями. «Марксизм в 90-е годы был пережит у нас как мировоззрение, как философская система. Тогдашний спор „марксистов“ и „народников“ был столкновением двух философских теорий, двух мировоззрительных стилей. Это было восстание новой метафизики против засилия морализма... Важна не догма марксизма, а его проблематика... Марксизм... был практически возвращением к онтологии, к действительности, к „бытию“... В марксизме были крипто-религиозные мотивы. Утопическое мессианство, прежде всего, и затем чувство общественной солидарности. И можно сказать, что именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону Православия (замечание Г. П. Федотова). Из марксизма вышли Булгаков, Бердяев, Франк, Струве... Все это были симптомы какого-то сдвига в глубинах»<sup>37</sup>.

Цитированные слова Флоровского показывают, насколько широкой могла быть аудитория марксизма в России. Он везде воспринимался как новое слово и, вероятно, и был таким новым словом, отвечавшим настроениям эпохи и находившим отзвук в самой разной интеллектуальной и политической среде. И, конечно, в первую очередь, он был отправной точкой не для поворота к Православию. Из марксизма вышли революционные партии России, в том числе и большевики, с энтузиазмом воспринявшие его антифеодальный, «прогрессистский» пафос. Отсюда — высокая оценка «исторической миссии капитализма» и принесенных им социальных перемен, свойственная Ленину дореволюционной поры. Критика всего средневекового строя русской жизни была вполне естественна в пору борьбы с самодержавием. Но позднее, выбирая свою политическую стратегию, большевики вынуждены были все больше учитывать и «потребности времени», и «предшествующее развитие нации», тогда им пригодились и «крипто-религиозные мотивы» марксизма. Как писал Бердяев, «большевизм гораздо более традиционен,

<sup>36</sup> Маркс К., Энгельс Ф. *Немецкая идеология*. // Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения*, М., 1955, т. 3, с. 463–464.

<sup>37</sup> Флоровский Г. *Пути русского богословия*, Париж. 1937 (Вильнюс 1991), с. 453–454.



чем это принято думать, он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма»<sup>38</sup>.

В СССР такой русифицированный марксизм превратился в официальную идеологию-религию. Он отождествлялся, в первую очередь, с «социализмом» и антикапитализмом, тогда как его связь с другими, «западными» чертами классического марксизма была резко ослаблена, сохранялась и вспоминалась лишь в той мере, в какой это оправдывалось прагматическими нуждами режима. Согласно Ленину, марксистом мог считаться только тот, «кто *распространяет* признание борьбы классов до признания *диктатуры пролетариата*»<sup>39</sup>. В период перехода от капитализма к коммунизму, писал Ленин, государство должно быть «по новому демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и по-новому диктаторским (против буржуазии)»<sup>40</sup>. Эта формула давала ответ на кардинальный вопрос марксистской веры: в какого врага верить? Верить надлежало в классового врага: с ним надо было бороться, против него надо было объединяться, его надо было постоянно искоренять. В этом — особенность мобилизационной схемы марксизма, в отличие от национализма, который развивает свой мобилизационный потенциал, объединяя силы против *другого врага*.

В крайнем, сталинском варианте диктатуры «пролетариев и неимущих вообще» — с точки зрения чистоты классового анализа, определение довольно расплывчатое, но удобное в стране, где почти нет пролетариата, — «марксистским» считалось все, что оправдывало политический тоталитаризм, милитаризм, однопартийную политическую систему и т. д.

Отличительной чертой марксизма обычно считается интернационализм, что и в самом деле соответствует логике *классовой борьбы*. Казалось, что приход к власти в послереволюционной России марксистской партии означал сокрушительное поражение русского и всех остальных российских национализмов. Это во многом соответствовало либеральным воззрениям эпохи, исходившим из представлений об исчерпанности потенциала национализма. П. Милюков, например, полагал в начале века, что Россия вступила в «критический» период своей истории, когда «эпоха самовозвеличения сменяется эпохой самокритики»<sup>41</sup> и на смену «национальному» приходит «общественное» (сегодня мы сказали бы «гражданское» — А. В.) самосознание. Милюков отчетливо видел конфликт между сторонниками «самовозвеличения» и «самокритики», но ему казалось, что в «новейший период нашей истории» в этом конфликте наступил решающий перелом. «Старые национальные идеалы уступили место в общественном мнении новым, которые подвергались упреку в „космополитизме“ со стороны „патриотов“ доброго старого времени. Число последних стало быстро уменьшаться»<sup>42</sup>.

На самом деле, до решающего перелома было еще далеко. Объективные причины возбуждения национальных чувств не только не исчезли, но, напротив, приобрели еще большее значение, ибо ускоренная модернизация, обостряя исторический спор внутри

<sup>38</sup> Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 89.

<sup>39</sup> Ленин В. И. Государство и революция. // Полн. собр. сочинений, т. 33, с. 34.

<sup>40</sup> Там же, с. 35.

<sup>41</sup> Милюков П. Очерки по истории русской культуры. М., 1992, с. 150.

<sup>42</sup> Там же.

общества и его культуры, очень сильно затрагивает и национальные чувства. Среди множества возможных позиций в этом споре неизбежны и такие, которые дают порождаемым модернизацией проблемам этническое, этнокультурное или этноконфессиональное толкование. Стоит такому толкованию появиться, как критика старины начинает восприниматься как неуважение к национальным или религиозным святыням, как оскорбление национальных чувств, которые становятся очень обостренными. А уж очень легкая в подобных условиях игра на этих чувствах в политических целях и порождает национализм — одно из самых мощных средств мобилизации социальных сил в напряженной, неустойчивой социальной обстановке. В противовес образу классового врага выдвигается не менее злобещий, но более удобный для определенных социальных слоев образ этнического (расового, этнокультурного, этнорелигиозного и т. п. — в зависимости от обстоятельств) врага. Это превращает национализм в альтернативу марксизму, в его конкурента в борьбе за влияние на массы.

В 20-е годы, когда победившие в России «красные» дорабатывали свой план мобилизации социальной энергии, основанный на постоянном возбуждении и обострении «классовой борьбы», побежденные и оказавшиеся в эмиграции «белые» разрабатывали свои альтернативы развития, которые если и отличались от большевистских, то лишь тем, что делали ставку не на классовые, а на этноконфессиональные чувства. «Коммунистической идеологии противопоставляется принципиально иная — сознательно религиозная, православная и не отвлеченно-интернациональная, а евразийско-русская»<sup>43</sup>, — писали евразийцы, вызываяще подчеркивая, что «православие не одно из многих равноценных христианских исповеданий», а «единственное по своей полноте и непорочности исповедание христианства. Вне его все — или язычество, или ересь, или раскол»<sup>44</sup>.

Таким образом, модернизирующееся российское общество разрабатывало оба главных направления мобилизационной идеологии. Правда, долгое время русский этноконфессиональный «патриотизм» явно проигрывал марксистскому «интернационализму» (в обоих случаях кавычки абсолютно необходимы). Нельзя сказать, что между ними не существовало никакого диалога: порой они дружелюбно переглядывались, не было недостатка и во взаимном довольно интенсивном обмене идеями, многие разграничительные линии давно стерлись. Но равенства, конечно, не было. «Интернационализм» захватил центральное место единственного официального правоверия, тогда как «патриотизм» довольствовался участью пусть и терпимой (а нередко и преследуемой), но периферийной ереси, был уделом политических и идеологических диссидентов. Кризис советского тоталитаризма в 80-е – 90-е годы подорвал положение и его официальной идеологии, что, естественно, способствовало подъему ее «патриотического» конкурента. Идеологическое поле стало все больше заполняться старыми, хотя и мало известными в СССР, а потому казавшимися оригинальными националистическими клише, созданными еще в 20-е годы. Вначале их освоение было уделом некоторых диссидентских движений, которым приходилось оглядываться на официальные власти, опасаться преследований, прибегать к эзопову языку и пр. С конца 80-х годов все эти препоны отпа-

<sup>43</sup> Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 361.

<sup>44</sup> Там же, с. 362.

ли, пропаганда «патриотических» идеалов резко усилилась, и они стали усваиваться многими недавними «интернационалистами»-марксистами, демонстрирующими либо свою внутреннюю симпатию к тоталитаризму в любой форме, либо попросту свою беспринципность, беспредельность своего чисто советского конформизма.

По общему правилу, русские «патриоты» демонстрируют враждебность тоталитарному «коммунистическому» режиму, но отнюдь не с антитоталитарных, либеральных позиций. По-прежнему либерализм для них — еще больший враг, так что национализм выступает не только, а может быть даже и не столько, в своем прямом качестве, сколько в виде понятной «народу» упаковки антилиберального натиска. В последнее время все более определенно обрисовываются два основных идейных источника «патриотических» программ (впрочем, их можно толковать и как один общий источник). С одной стороны, активно осваивается уже упоминавшееся наследие «евразийцев», еще в 20-е – 30-е годы искавших идеологического компромисса с большевиками на основе общего подхода к пониманию российской государственности. Главные привлекающие «патриотов» элементы «евразийства» — утверждение культурной и геополитической целостности и уникальности «России-Евразии», ее непохожести на «Запад» и противостояния ему, особого мессианского призвания России в мире, ее ответственности за имперское единство Евразии. Но, конечно, не лишено привлекательности и особое «государственничество» евразийцев (идеи партии-государства, государственной идеологии и пр.), легко вписывающееся в логику любой тоталитарной системы.

С другой же стороны, в воздухе снова носятся полузабытые мотивы российско-германской антизападной переключки, причем пронемецкие симпатии русских «патриотов» буквально не знают границ, хотя «на дне» поиска в Германии русских национальных идеалов лежат все те же маниакальные тоска по аристократизму, «антибуржуазность», антилиберализм и все, что с этим связано. Вот лишь одна небольшая иллюстрация подобной логики, может быть, несколько крайняя, но зато раскрывающая сразу многие карты. «В национал-социализме Гитлера было много отступлений от консервативно-революционной ортодоксии», — пишет современный *патриотический* автор, — но «в рамках национал-социалистического режима существовал некоторый интеллектуальный оазис, в котором концепции консервативной революции продолжали развиваться и исследоваться без каких-либо искажений, неизбежных в других более массовых проявлениях режима. Мы имеем в виду организацию Ваффен-СС... СС воспроизводило определенные стороны средневекового духовного рыцарского Ордена с типичными идеалами преодоления плоти, нестяжательства, дисциплины, медитативной практики. Естественно, такой подход в экономической сфере предполагал категорическое отрицание всех сугубо капиталистических основ социального устройства — гедонизм, плутократию, финансовый либерализм, свободный рынок, процентную систему и т. д.»<sup>45</sup>.

«Неискаженная» концепции консервативной революции эсэсовского образца, рассматривается, судя по всему, как наиболее подходящая для будущей России. При

<sup>45</sup> Дугин А. Консервативная революция. М., 1994, с. 24–25.

этом отмечается, что «в самом русском большевизме... легко можно обнаружить многие... мотивы, имеющие прямое отношение к «консервативной революции» (в частности, все то, что можно называть русским «национал-большевизмом» — от сменовеховцев до сегодняшних нео-сталинистов)»<sup>46</sup>. Но мысль о том, что «консервативно-революционных мотивов» не были чужды и старо-сталинисты, и сам Сталин, тщательно обходится. Признается, что «наиболее полным и тотальным воплощением... Третьего пути был германский «национал-социализм»<sup>47</sup>, но остается неясным, не был ли этот путь, более или менее полно, воплощен и в отечественных пределах. Одним словом, остается открытым довольно существенный вопрос: так ли велико отличие того, к чему призывают Россию некоторые «патриоты», от того, что в ней недавно было? А об этом стоит немного поговорить.

### 6.3. Социалистическое средневековье

**П**ервая половина XX века во многих странах Европы стала временем встречи пробудившихся политических инстинктов маргинализованных «масс» и созревших к этому времени тоталитарных идеологий. Их политическая ангажированность и антилиберальная направленность были созвучны настроениям масс, и поэтому именно такие идеологии зачастую направляли поиски причин европейского коллапса и путей его преодоления. В результате выход из кризиса связывали не с ускоренным развитием экономической и политической демократии, основанной на либеральных и индивидуалистских ценностях, а с возвратом к старым холистским устоям. Отсюда — уже упоминавшиеся симпатии к заветам средневековья, стремление к реабилитации его принципов и даже вера в его скорое возвращение. «Современный либерализм, — утверждал Меллер ван ден Брук в „Третьем Рейхе“, — начинается там, где индивид избавляется от средневековых уз... Но либеральная мысль здесь, как и везде, — это иллюзия, ибо средневековые узы были приобретением... Средневековые узы были могучим основанием могучей деятельности»<sup>48</sup>.

В общем европейском хоре слышны и русские голоса. «Грандиозное предприятие новой истории нужно ликвидировать, оно не удалось, — писал в 1923 г. Бердяев. — Новое средневековье преодолеет атомизм новой истории. Этот атомизм преодолевается или ложно — коммунизмом, или истинно — Церковью, соборностью»<sup>49</sup>. Такая позиция накладывает отпечаток на довольно противоречивую оценку Бердяевым — и не только им — событий, происходящих в СССР. Чтобы понять их, говорит он, нужно «перейти от астрономии новой истории к астрологии средневековья». «О русском коммунизме совсем нельзя мыслить в категориях новой истории, применять к нему категории свободы или равенства в духе французской революции, категории гуманистического мировоззрения, категории демократии и даже гуманистического социализма... Россия никогда не выходила окончательно из средневековья, из сакральной эпохи, и она как-то почти непосредственно перешла от остат-

<sup>46</sup> Там же, с. 14.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> Moeller van den Bruck A. Le Troisième Reich. Paris, 1933, p. 138.

<sup>49</sup> Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1991, с. 20, 27.

ков старого средневековья, от старой теократии, к новому средневековью, к новой сатанократии»<sup>50</sup>.

В словах Бердяева звучит не только осуждение русского коммунизма, но и готовность его «понять». На примере Бердяева времен «Нового средневековья», а еще больше на примере сменовеховцев и евразийцев, видно, что критика «новой сатанократии» даже представителями враждебной большевикам эмигрантской оппозиции подчас отвергала далеко не все стороны накатывавшегося на СССР средневековья. Она нередко выражала прямое сочувствие ему, оправдывала и общим кризисом «новой истории», и историческими особенностями России. Антилиберальные мотивы в такой критике часто звучали намного сильнее антитоталитарных. «Антигуманистические выводы, которые сделал из гуманизма коммунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее движением», — утверждал Бердяев<sup>51</sup>. При всей напряженности первой половины 20-х годов, они были все же чем-то вроде *belle époque* советской истории. Новый режим еще не оформился окончательно и не проявил себя в полной мере, внутри страны и в эмиграции были сильны надежды, что трудности, порожденные войнами и революциями, минуют, и Россия-СССР вот-вот укажет миру новый путь, свободный от пороков, свойственных прогнившему и погибающему Западу. В 20-е годы, в частности, открылась новая страница российско-немецкого диалога, немцы с особым вниманием и симпатией приглядываются к тому, что происходит в России.

Это относится отнюдь не только к прокоммунистической или социал-демократической среде. Для консервативного революционера А. Меллера ван ден Брука Россия — страна, которая продолжает борьбу, проигранную Германией. «Тогда как Ноябрьская революция в Германии „осталась революцией либеральной“, ... русский большевизм для автора „Третьего Рейха“ занимает в истории место аутентичного консервативного контрдвижения, движения консервативно-революционного»<sup>52</sup>. Для Геббельса образца 1925 г. (статья «Русский вопрос») Россия — «единственный союзник против дьявольских искушений и развращенности Запада»<sup>53</sup>. Для национал-большевика Э. Никиша она — наследница «пруссской идеи». «Россия подчинилась прусской мысли... Германия передала свою оригинальность России»<sup>54</sup>. «Россия становится более прусской, чем мы... В той мере, в какой русский большевизм был „марксистским“, речь шла об опрощенном марксизме»<sup>55</sup>. Возможно, представители разных, в том числе и протонацистских, политических сил и идеологических течений веймарской Германии часто видели в России то, что они хотели видеть, а не то, что в ней действительно было. Но внушавшее им симпатии отрицание «западного» экономического и политического либерализма, все признаки доминирования государства над обществом в Советской России, а затем и в СССР, конечно, не были ими придуманы.

<sup>50</sup> Там же, с. 12–13.

<sup>51</sup> Там же, с. 11.

<sup>52</sup> *Fayé J. P. Langages totalitaires*. Paris, 1972, p. 118.

<sup>53</sup> Цит. по: *Лакер У.* Россия и Германия — наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 47, 197.

<sup>54</sup> *Niekisch E.* «Hitler — une fatalité allemande» et autres écrits nationaux-bolcheviques. Puiseaux, 1991, p. 188–189.

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 188.

Именно эти черты становящегося в России нового порядка отвечали кругу представлений, давно развивавшихся и в Германии, и в России в ответ на идейный вызов века Просвещения и Французской революции и нашедших благодатную почву в недавно раскрестянившейся, прошедшей через стремительные перемены и к тому же потерпевшей военное поражение от «западных демократий» Германии. Настоящее по всем статьям проигрывало прошлому — таков был общий фон настроений веймарской поры. На этом ностальгическом, а часто и реваншистском фоне окрепло агрессивно-отрицательное отношение к индивидуализму, либерализму, западной парламентской демократии и т. п., столь созвучное все более прояснявшейся практике Советской России, а затем СССР. Многие тогдашние немецкие проекты будущего окрашены этими настроениями.

Если не «буржуазная демократия», без конца порицаемая в СССР, если не либерализм, постоянно поносимый в Германии<sup>56</sup>, тогда что же? Ответ единодушный и один тот же в обеих странах: *социализм*. В России — это официально провозглашенная доктрина, в Германии — ось всех обсуждающихся проектов. «Глубокое значение может иметь в Германии только социализм» (Шпенглер)<sup>57</sup>. «Мы смотрим на Россию потому, что эта страна, наиболее вероятно, вместе с нами встанет на путь, ведущий к социализму» (Геббельс)<sup>58</sup>. «Перед нами стоит вопрос о немецком социализме» (Меллер ван ден Брук)<sup>59</sup>. «Немецкий социализм... это — народный социализм... Он охватывает весь народ, все стороны его жизни» (Зомбарт)<sup>60</sup> и т. д.

В европейском сознании начала XX века идеи социализма были очень тесно связаны с марксизмом, хотя, конечно, они имели более долгую и сложную историю и уходили своими корнями в доиндустриальную или раннюю индустриальную эру. Об этом говорится и в «Коммунистическом манифесте», где «правильный» пролетарский социализм противопоставляется всем остальным, «неправильным». После Первой мировой войны в Германии многие политические и идейные течения резко отвернулись от марксизма, но отнюдь не от социализма, лозунги которого они широко использовали, всячески подчеркивая немарксистские линии его родословной. «Нужно освободить немецкий социализм от Маркса», писал Шпенглер. «Маркс был только отчимом социализма. В социализме есть более старые, более интенсивные, более глубокие черты, чем приписал ему своей критикой общества Маркс»<sup>61</sup>. «Фридрих-Вильгельм I-й, а не Маркс был... первым сознательным социалистом»<sup>62</sup>. Критикой марксизма и защитой социализма заполнены многие страницы тогдашней немецкой литературы, что само по себе требует объяснения. Чем не угодил Шпенглеру, Меллеру ван ден Бруку или даже бывшему активному марксисту Зомбарту Маркс и что так привлекало их в социализме?

<sup>56</sup> «В Германии есть ненавистные и обесславленные принципы, но презрение в Германии вызывает только либерализм» (Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, б.д., с. 58).

<sup>57</sup> Шпенглер О. Прусская идея и социализм, с. 58.

<sup>58</sup> Цит. по: Лакер У. Россия и Германия наставники Гитлера, с. 197.

<sup>59</sup> Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme. // Moeller van den Bruck A. La révolution des peuples jeunes. Puiseux, 1993, p. 209.

<sup>60</sup> Sombart W. Le socialisme allemand. Puiseux, 1990, p. 180.

<sup>61</sup> Шпенглер О. Цит. соч., с. 8–9.

<sup>62</sup> Там же, с. 70.

Классический марксизм — часть специфически немецкого противоречивого социокультурного контекста середины XIX века. В этом контексте легко понять антифеодальную направленность марксизма, четко выраженную преемственность по отношению к идеям Просвещения и Французской революции. Самые яркие страницы «Коммунистического манифеста» составляют гимн новому — буржуазному, рыночному порядку вещей, прочно утвердившемуся к западу от Рейна. Но с панегириком капитализму соседствует и его критика, нередко обостренная, чрезмерная, справедливая применительно не к капитализму вообще, а лишь к его ранним стадиям. Такая критика неизбежно преувеличивала отрицательные стороны капитализма и потому отказывала ему в будущем. Когда же речь заходит о будущем, на первый план в марксизме выдвигается его хилиастическая составляющая, и марксистский «проект» пронизывает дух средневековых утопий. Резкая критика капитализма в сочетании с холистско-казарменными средневековыми «социалистическими» идеалами, идущими от Кампанеллы, Томаса Мора или Кабе, образует идеологическую гремучую смесь, которую охотно восприняли и поборники «немецкого социализма», освобождавшие его от Маркса.

В социализме для них воплощалось все то, что могло быть противопоставлено «восстанию масс» и защитит от гибели аристократический дух и феодальные порядки старой Европы. Они постоянно подчеркивали, что речь идет о «немецком социализме», о воплощении «прусской идеи» и пр., но в главных чертах предлагавшегося ими порядка трудно найти что-либо исключительно национальное. Речь идет лишь об одном из двух комплексов идей, столкнувшихся в Европе XIX, а затем и XX веков, о духе средневековья в его противостоянии духу Нового времени. Немецкая версия «духа средневековья» отличается от русской, итальянской или любой другой только в деталях, тогда как все его национальные версии объединены главным: они борются против «атомизма новой истории», против индивидуализма «частных лиц», децентрализованных экономических решений, контроля общества над государством, парламентской демократии, свобод и прав личности.

«Немецкий социализм не атомизирует, он организует»<sup>63</sup>. Это «авторитарный социализм, по своему существу чуждый либерализму, поскольку речь идет об английском либерализме и французской демократии»<sup>64</sup>. Это торжество «прусской социалистической этики»: она «предназначена для немногих, которые прививают ее и таким путем принудительно подчиняют ей толпу», это — «борьба за счастье не отдельных лиц, а целого»<sup>65</sup>. Это идея корпоративного государства, которая «восходит к барону Штайну, так же, как мюнхенские советы 1918 г. восходят к корпорациям Средних веков». Это идея корпоративной «общинной экономики»<sup>66</sup>. Это «демократический-авторитарный режим»: его «образцовая модель... — католическая церковь с ее коллегиумом кардиналов на вершине. Прусская армия тоже может служить образцом»<sup>67</sup>. Это идея авторитарного руководителя, которому «вверяют жизнь... те, кто

<sup>63</sup> Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme, p. 209.

<sup>64</sup> Шпенглер О. Цит. соч., с. 27.

<sup>65</sup> Там же, с. 70.

<sup>66</sup> Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme, p. 209.

<sup>67</sup> Sombart W. Op. cit., p. 236.



следуют за ним»<sup>68</sup>. К «немецкому социализму» полностью применимы слова Муссолини об итальянском фашизме: «Мы представляем ясную, категорическую антитезу... всему миру бессмертных принципов 1789 года»<sup>69</sup>.

Язык советской идеологии тех лет был совершенно иным. На словах сохранялся опереженный пиетет по отношению к идеям европейского XIX века, который, по словам Ленина, «дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии»<sup>70</sup>. На деле же советский социализм, превратившись в инструмент традиционалистской индустриализации, «не столь уж отличной от abortивной крепостнической «индустриализации» петровских времен»<sup>71</sup>, знаменовал собой консервирование и защиту обреченных историей на гибель принципов и институтов доиндустриальных, сельских, феодальных обществ и в этом смысле тоже был абсолютно «ясной, категорической антитезой» всем контрсредневековым достижениям XIX века. Надо ли приводить примеры этой «антитезы»?

В экономике — это отказ от частной собственности и конкуренции; это резкое сокращение сферы торговли и денежного обращения; это отказ от фермерского «американского» пути в сельском хозяйстве в пользу «прусского» батрацко-колхозного; это распространение на всю экономику принципов планирования «в натуре», уместных разве что в крестьянском хозяйстве допромышленной эпохи.

В политике — это отказ от парламентской демократии и утверждение авторитарного политического режима, мало отличавшегося от царского самодержавия<sup>72</sup>; это неприятие принципа разделения властей и однопартийная система, воспроизводившая цезарепапистские принципы средневековых монархий, в которых политический контроль переплетался с религиозно-идеологическим, а единомыслие считалось обязательным; это духовная инквизиция, постоянная «охота на ведьм», политические преследования и чрезвычайно суровые репрессии, в некоторые периоды — с применением абсолютно средневековых пыток и истязаний.

В области прав человека — это фактический отказ от провозглашаемых на словах гражданских свобод; это полная зависимость человека от государственного патернализма; это преимущество «целесообразности» или «морали» перед законом; это вмешательство государственных или общественных организаций в личную жизнь граждан; это статусный характер элиты и вытекающее из него неравенство; это придание офи-

<sup>68</sup> Moeller van den Bruck A. Chaque peuple a son propre socialisme, p. 209.

<sup>69</sup> Mussolini. Op. cit, p. 74.

<sup>70</sup> Ленин В. И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства. // Полн. собр. сочинений, т. 38, с. 367.

<sup>71</sup> Левада Ю. Сталинские альтернативы. // Осмыслить культ Сталина. М., 1989, с. 455–456.

<sup>72</sup> Сталин находился у власти (считая с 1924 г.) 29 лет — столько же, сколько Николай I (с конца 1825 по 1855 г.), и больше, чем любой другой русский царь в XIX в.; бездарный Брежнев царствовал около 18 лет (1964–1982) — больше, чем Александр III (1881–1894). Трон Генерального секретаря был не менее прочен, чем царский, в большинстве случаев он был пожизненным.



циального значения этническим различиям; это ограничение прав передвижения с помощью паспортной системы, прописки, выездных виз.

Можно взять любую сторону жизни советского общества — в ней сразу же без труда обнаруживаются типичные средневековые черты, часто свидетельствующие об отказе даже от тех довольно скромных достижений, которые принес России XIX век. И это произошло не по чьему-то умыслу, а по причинам вполне объективным, «не под влиянием социалистических утопий, — как замечает Восленский, — а из чисто практических соображений»<sup>73</sup>. Политические расчеты большевиков, по необходимости, «опирались на ясно для них видимые феодальные структуры русского общества»<sup>74</sup>. А поэтому и совершенная ими Октябрьская революция «оказалась... объективно не продолжением антифеодальной революции», а ее противоположностью. Она «открыла... эру старательного уничтожения всех капиталистических, то есть антифеодальных элементов»<sup>75</sup>, «после нее было сведено на нет все достигнутое в борьбе против застарелых феодальных структур в России»<sup>76</sup>.

Общий строй социалистического средневековья predetermined и тип его элиты. Все советские модернизации, в силу их консервативности и инструментальности, были обречены на незавершенность, ибо не сопровождалась созданием встроенных в социальные процессы механизмов саморазвития. Это относится и к политической модернизации, которая привела к власти новую, демократическую по своему происхождению, элиту, но не создала демократических механизмов ее обновления. Напротив, новая правящая элита, «номенклатура», будучи естественным порождением централизованного государственного социализма, мгновенно переродилась и, как ничто другое, отражала средневековые черты системы. Главная особенность советской элиты заключалась в ее статусности, она напоминала феодальную аристократию, была «своеобразной системой ленов, предоставляемых соответствующим партийным комитетом — сюзереном его вассалам — членам номенклатуры этого комитета»<sup>77</sup>. Статусы не наследовались<sup>78</sup>, а предоставлялись «инстанциями», но в остальном разницы практически не было. Представители правящей страной партийно-государственной номенклатуры олицетворяли не свой капитал, не свои знания или способности, а свою должность. Им принадлежала монополия на власть, их отношение даже к другим элитарным слоям было примерно таким же, как у аристократии «ancien régime» к представителям третьего сословия. «Заведующий сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его приказа», — замечает Восленский<sup>79</sup>.

<sup>73</sup> Восленский М. Цит. соч., с. 591.

<sup>74</sup> Там же.

<sup>75</sup> Там же, с. 585.

<sup>76</sup> Там же, с. 591.

<sup>77</sup> Там же, с. 113.

<sup>78</sup> Впрочем, многочисленные проявления nepotизма — и не только в СССР, но на всем пространстве «социалистического» мира — от Румынии до Северной Кореи — были, видимо, не совсем случайными.

<sup>79</sup> Восленский М. Цит. соч., с. 114.

Номенклатура образовывала вертикальную иерархию, ее положение гораздо больше зависело от вышестоящего уровня, чем от реальных процессов, происходивших в ее отраслевом или территориальном «клене». Она была куда менее чувствительна к тому, что происходило на более низких уровнях иерархии (это было бы «либерализмом»), нежели к поведению ее верхних уровней («демократический централизм»), где принимались решения и утверждались назначения. Стабильность для нее была намного важнее, чем развитие, во всяком случае, спонтанное, от нее не зависящее. Если она и признавала нововведения, то только по команде сверху: они шли сверху вниз через представителей номенклатуры и позволяли им каждый раз выступать в роли маленьких Данко областного, районного или заводского масштаба. Этим оправдывались привилегии номенклатуры: как отказать в них людям, которые освещают вам дорогу своим собственным сердцем? Но развитие само по себе — точь в точь как в Средние века — не представляло для нее никакого интереса. Номенклатура и порождающий ее политический режим очень скоро превратились в главный источник застоя.

## 6.4. Тотальное государство

**И** все же новое, социалистическое средневековье не было точной копией старого. Его, может быть, самая главная особенность опиралась на сохраненные или восстановленные средневековые, феодальные структуры, на соборного человека и принципы его социальной жизнедеятельности, но сама она не была характерна для средневековья. Речь идет о всепроникающем присутствии государства, которое заставляет вспоминать, скорее, о тысячелетних восточных деспотиях, о древнем Вавилоне или древнем Египте, нежели о раздробленной феодальной Европе. Европейское феодальное государство всегда было ограничено в своих действиях распределением политических и экономических полномочий и прав между различными уровнями социальной пирамиды, «вольностями дворянства», общинной собственностью на землю и т. п. Оно определяло общие контуры внутренней и внешней политики, собирало налоги или вело войны, само могло быть крупным собственником, но не занималось организацией хозяйства в масштабах страны и не вмешивалось в частную жизнь подданных.

Новое европейское средневековье и в теории, и на практике характеризуется небывалым ростом амбиций государства. «Если либерализм означает индивида, фашизм означает государство» — разъяснял Муссолини<sup>80</sup>. «Для фашиста — все в государстве, и ничто ни человеческое, ни духовное не существует и а fortiori не имеет ценности вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен, а фашистское государство, соединение и средоточие всех ценностей, истолковывает, развивает и предопределяет всю жизнь народа»<sup>81</sup>.

Примерно такой же смысл имеет и немецкий вариант «тотального государства» Карла Шмита. Шмит особенно подчеркивал рост новых технических возможностей, новых инструментов государственной власти в XX веке — военной техники, техники «вли-

<sup>80</sup> *Mussolini*. Op. cit, p. 56.

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 20.

яния на массы» и т. п., — которые она должна сосредоточить в своих руках. Тотальное государство, говорил Шмит в 1932 г., это прежде всего сильное государство, подобно «фашистскому государству, которое называет себя „*stato totalitario*“, указывая тем самым прежде всего на то, что новые инструменты власти принадлежат исключительно государству и увеличивают его власть»<sup>82</sup>. «Такое государство ни в коем случае не допускает развития внутри себя враждебных или препятствующих ему сил или сил, несущих распад государственности. Оно не помышляет ни о том, чтобы уступить своим врагам и разрушителям новые инструменты власти, ни о том, чтобы дать похоронить свою собственную власть под дежурными словами вроде либерализма, правового государства или какими угодно другими»<sup>83</sup>.

В Германии идея государства соединяется с идеей «немецкого социализма». «Понятия государства и социализма, надо помнить об этом, едины»<sup>84</sup>. Образец государства — Пруссия, ибо она «была настоящим государством в самом глубоком смысле этого слова. Тут, строго говоря, вообще не существовало частных лиц. Каждый, живший в этом организме, функционировавшем с точностью хорошей машины, принадлежал к нему как его член»<sup>85</sup>. Однако нужные образцы можно найти не в одной лишь Пруссии и не только в прошлом. Не исключено, полагали некоторые немецкие авторы, что и опыт России «подтолкнет европейские государства на путь тотального государства»<sup>86</sup>. Для таких надежд были основания, ибо, пока немцы теоретизировали, в СССР шло стремительное огосударствление самых разных сторон жизни.

Система всепроникающего государственного контроля стала складываться в России очень скоро после прихода большевиков к власти и установления однопартийной системы. Она сразу же насторожила даже многих сторонников режима, его союзников, а тем более его врагов внутри страны или в эмиграции. Но она получила и немалую поддержку — прежде всего, в собственном «народе», в массовом сознании, а также, как мы видели, у фашиствующих немцев или итальянцев и даже во враждебной большевикам эмигрантской среде. Евразийский политический проект, противостоявший большевистскому, был симметричен, в главном тождествен ему, он был нацелен не на устранение тоталитаризма и замену его демократией, а на замену одного типа тоталитаризма другим, на возврат к «старой теократии», к идеократическому цезарепапизму, основанному на «православной идеологии». «Необходимо, — утверждали евразийцы, — создать новую партию, которая бы являлась носительницей этой новой идеологии и смогла занять место коммунистической... Мысля новую партию, как преемницу большевиков, мы уже придаем понятию партия совсем новый смысл, резко отличающий ее от политических партий в Европе. Она — партия особого рода, правительствующая и своей властью ни с какой другой партией не делящаяся, даже исключаяющая существование других таких же партий. Она — государственно-идеологический союз; но вместе с тем она раскидывает сеть своей организации по всей

<sup>82</sup> Цит. по: *Fayé J. P. Langages totalitaires*, p. 702.

<sup>83</sup> *Ibid.*, p. 705.

<sup>84</sup> *Sombart W.* *Op. cit.*, p. 196.

<sup>85</sup> *Шпенглер О.* *Цит. соч.*, с. 99.

<sup>86</sup> *Gunther G.* *Das werdende Reich.* Hamburg, 1932, p. 198 (Цит. по: *Fayé J. P. Langages totalitaires*, p. 297).

стране и нисходит до низов, не совпадая с государственным аппаратом, и определяется не функцией управления, а идеологией»<sup>87</sup>.

Мы видели, что в начале 20-х годов, когда возможности «тотального государства» еще не были ясны, будущее России, как и других европейских стран, нередко связывалось с возрождением средневекового корпоративного строя. Корпоративная идея и впрямь неплохо послужила в СССР, где были «коллективизированы» и таким образом поставлены под контроль не только крестьяне — тогда основной класс страны; коллективизированы были и городские ремесленники, и даже лица свободных профессий — писатели, художники, композиторы и т. п.

Тем не менее не этот путь оказался главным в СССР. По мере индустриализации, которая была тождественна расширению государственного сектора экономики, все многочисленнее становились государственные рабочие и служащие, которые постепенно стали большинством, так что прежние корпорации, рассчитанные все же на объединение частных лиц, хотя и сохранились, но утратили свое первоначальное значение главного посредника между государством и индивидом, и на первое место вышел прямой государственный контроль.

Экономическое огосударствление необыкновенно усилило «тотальность» советского государства, которое превратилось и в основного работодателя, и во всеобщего кормильца, и в распределителя всяческих благ, и в гаранта социального благополучия всех и каждого, и в хранителя моральных ценностей, и в опекуна личной жизни, и, конечно, в защитника от внешнего врага и т. д. Разумеется, все эти обязательства скорее провозглашались или, во всяком случае, молчаливо подразумевались официальной идеологией, нежели выполнялись в полной мере. Одни его функции вступали в противоречие с другими: стремление государства к максимальному объему инвестиций невозможно было совместить с его претензиями быть всеобщим благодетелем; государственная монополия на принятие всех сколько-нибудь существенных решений душила всякую инициативу граждан, а без этого не могло быть ни эффективной экономики, ни развитой социальной жизни, на организацию которых как раз и претендовало государство; огосударственные профсоюзы не могли находиться в оппозиции к государственному работодателю и даже и не пытались противостоять ему, защищая права работников, — этот перечень можно продолжать до бесконечности. Повсеместное экономическое присутствие государства хорошо сочеталось с его политической и идеологической вездесущностью и делало жизнь каждого почти полностью подконтрольной и зависящей от государственной бюрократии. Именно имея в виду всевластие бюрократической иерархии, Троцкий писал, что «режим получил „тоталитарный“ характер за несколько лет до того, как из Германии пришло это слово»<sup>88</sup>.

Тем не менее советский тоталитаризм не был абсолютно дисфункциональным, не отторгался массовым сознанием, более того, до поры до времени воспринимался им

<sup>87</sup> Евразийство..., с. 394–395. Ср. Сталин: «Руководителем государства, руководителем в системе диктатуры пролетариата является одна партия, партия пролетариата, партия коммунистов, которая не делит и не может делить руководства с другими партиями» (Сталин И. В. К вопросам ленинизма. // Соч., т. 8, с. 27).

<sup>88</sup> Троцкий Л. Цит. соч., с. 86.

как нечто положительное и входил в число важных общественных ценностей. Как отмечают авторы исследования феномена «простого советского человека», «государство для Homo soveticus'a — не один из ряда исторически сформировавшихся социальных институтов..., а некий суперинститут, всеобщий, универсальный как по своим функциям, так и по своей сфере деятельности. По сути дела, в облике государства в советском обществе выступает нерасчлененный на функциональные компоненты, универсальный институт досовременного патерналистского образца, который проникает во все уголки человеческого существования»<sup>89</sup>. Может быть, истинная роль государства и не была столь всеохватывающей, многие стороны частной, даже публичной жизни контролировались им все слабее и слабее. И все же «досовременный» синкретический образ «нерасчлененного» государства и в самом деле прочно удерживался в сознании советского человека, а реальная власть государства не оставляла места для экономической или политической инициативы частного лица. В экономике и политике его «Я» могло существовать только как неразличимая частица соборного, симфонического государственного целого.

Многие основополагающие характеристики личности и черты массового сознания были порождены или укреплены государственным патернализмом, отчасти унаследованным от прошлого, но чрезвычайно разросшимся в советское время. Положение каждого даже в его собственных глазах определялось не его неотторжимыми достижениями или правами, а его полученным из государственных рук статусом. «Это не аскриптивная иерархия традиционных обществ (наследуемые привилегии) и не достижительная иерархия общественных систем нового времени (распределение статусов в соответствии с плодами труда, капитала и знания). Фактор, структурирующий советское вертикальное общество..., — мера допущенности к властным привилегиям и сопутствующим им информационным, потребительским и др. дефицитам»<sup>90</sup>. Несмотря на постоянно декларируемое всеобщее равенство, положение в иерархии (теоретически доступное всем) служило оправданием любых привилегий. «Иерархический эгалитаризм» «отвергает лишь то неравенство, которое не соответствует принятой иерархии... За гранью допустимого оказываются в таком случае, во-первых, плоды всякого неординарного труда и таланта, во-вторых, доходы от собственности и экономических услуг, в-третьих, «слишком большие» привилегии у людей «недостаточно» высокого статуса»<sup>91</sup>. Таким образом самим обществом перечеркиваются все возможные варианты самостоятельного, независимого экономического «Я» и поощряется зависимое, сервильное «Я» послушного исполнителя воли, исходящей от безликого целого.

Сам факт пусть и временного, но все же довольно длительного существования тоталитарного режима в СССР, равно как и то, что он имел множество искренних сторонников, говорит о его функциональности. В чем заключались объективные функции тоталитаризма в СССР?

<sup>89</sup> Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. Отв. редактор Ю. А. Левада. М., 1993, с. 15–16.

<sup>90</sup> Там же, с. 18.

<sup>91</sup> Там же, с. 19.

Размышляя об условиях возникновения «тотальных государств», Восленский обращается к выводам историка Виттфогеля, который объяснял всепроникающую зависимость от государства в древних восточных деспотиях необходимостью постоянно возводить и поддерживать крупные ирригационные сооружения — от них зависела вся жизнь древних обществ («азиатский способ производства» у Маркса; Виттфогель говорит о «гидравлических обществах») <sup>92</sup>. Как замечает Восленский, «логика приводимого Виттфогелем материала... подталкивает к выводу: „азиатский способ производства“ возникал не только в обществах с ирригационным сельским хозяйством, это лишь частный случай. Общая же закономерность состоит в том, что тотальное огосударствление применяется для решения задач, требующих мобилизации всех сил общества» <sup>93</sup>. Впрочем, возможно, обнаружение этой связи и не требует столь далеких исторических сопоставлений, она кажется очевидной и, видимо, была ясна с самого начала. «После того, как Эрнст Юнгер выработал концепцию „тотальной мобилизации“, Карл Шмит ввел свою концепцию тотального государства», — писал немецкий автор еще в начале 30-х годов <sup>94</sup>. В СССР связь всевластия государства с мобилизационными пружинами специально не подчеркивалась, но именно здесь «тотальность» государства в наибольшей мере была предопределена общей мобилизационной моделью советской модернизации, и именно мобилизационная функция стала организующим звеном всей политической системы.

В условиях советской реальности мобилизационная модель модернизации с самого начала оказалась намертво спаянной с новой, номенклатурной элитой, по своему происхождению и функциям привязанной к централизму экономической и политической системы. Такая номенклатура была кровно заинтересована в продлении жизни мобилизационной модели даже тогда, когда ее основные, исторически оправданные задачи были выполнены, и искала для этого искусственные основания. Нужду в таких основаниях она почувствовала очень скоро и без труда нашла их в идеологии и психологии осажденной крепости, в том, что Ю. Левада метко назвал «истерическим изоляционизмом». Этот «продукт для чисто внутреннего пользования, для удобства властвования и разделения» <sup>95</sup>, оправдывал постоянную милитаризацию в мирное время. Приготовления к войне — едва ли не главное основание мобилизационной логики всех тоталитарных режимов. С этой точки зрения не столь уж важно, чем оправдываются такие приготовления: необходимостью обороны от постоянно наседающего врага, как это было в СССР, необходимостью завоевания нового жизненного пространства, как в гитлеровской Германии, или даже просто романтизацией войны и ее возведением в ранг почитаемого атрибута «настоящей жизни», свойственными многим идеологам тоталитаризма.

Восленский справедливо указывает на связь функционирования номенклатуры и милитаризации, он выводит ее непосредственно из стремления номенклатуры обладать материальными инструментами власти — вооружением, военной и полицейской техникой и т. п. <sup>96</sup>. Но, возможно, связь — более глубинная, внутренняя. Военное производ-

<sup>92</sup> Wittfogel K. W. Oriental despotism. New-Haven — Lole, 1976.

<sup>93</sup> Восленский М. Цит. соч., с. 579.

<sup>94</sup> Gunther G. Op. cit, p. 197 (Цит. по: Fayé J. P. Langages totalitaires, p. 294).

<sup>95</sup> Левада Ю. Сталинские альтернативы, с. 457–458.

<sup>96</sup> Восленский М. Цит. соч., с. 196.

ство служит основой тоталитаризма не потому, что поставляет танки или колючую проволоку, — и то, и другое можно, в крайнем случае, купить. Размышляя о связи между запоздалой промышленной революцией в России и политической революцией, приведшей к установлению диктатуры, А. Гершенкрон еще в 50-е годы замечал, что было бы наивно думать, будто диктатура может удержаться у власти только с помощью сильной армии или вездесущей тайной полиции. Она может сохранить власть «только если ей удастся заставить народ поверить в то, что она осуществляет важную социальную функцию, без нее невыполнимую... Если все силы народа направлены на индустриализацию и если эта индустриализация оправдывается счастьем и изобилием для будущих поколений и — что намного важнее — опасностью военной агрессии извне, диктаторская власть может не опасаться никакого вызова... Экономическая отсталость, быстрая индустриализация, жестокость диктатуры и угроза войны оказались неразделимо переплетенными в Советской России»<sup>97</sup>.

Защищая свои собственные, эгоистические интересы, номенклатура не желала и не могла признать кризиса породивших ее мобилизационной экономики и тотального государства. Она, как могла, оттягивала их крушение, находя их последнее оправдание во все большей милитаризации экономики. Но кризис от этого не только не исчезал, но становился все более острым, разрушал изнутри всю «консервативно-модернизационную» систему.

## 6.5. Кризис тоталитаризма

**Н**а протяжении какого-то времени советский политический режим отвечал объективным интересам или, по крайней мере, субъективным устремлениям очень широких социальных слоев, был функционален. Он обеспечил мобилизацию экономических ресурсов и социальной энергии для проведения инструментальной модернизации, все большее число людей получало доступ к ее плодам. В этом смысле общество быстро демократизировалось, в жизни десятков миллионов людей происходили скорые и весьма глубокие перемены. Они были сложными, многоплановыми, очень противоречивыми, общество платило за них дорогую цену. Но какое-то время их положительные последствия в массовом сознании явно преобладали над отрицательными.

Однако со временем стали все больше давать себя знать глубокие противоречия, изначально заложенные в основание советского строя. Его популярность держалась не только на реальных переменах. Огромную роль играли вселявшиеся ими надежды на новые перемены, на постоянное улучшение жизни. Эти надежды искусно поддерживались средствами пропаганды, но все реже и реже сбывались. Мобилизационные механизмы, позволяющие в критические моменты собрать все силы в единый кулак, не годятся для долговременного использования. Если время их жизни растягивается, они становятся дисфункциональными, неэффективными. Тем более это относится к советским мобилизационным механизмам полуфеодалного типа, больше ориентированным на сохранение, чем на перемены. А ведь изначальной целью системы были как раз ускоренные перемены. Здесь лежал главный корень проблемы: соединенные в одной модели модернизации революционные цели и консервативные средства во-

<sup>97</sup> Gershenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge, Mass., 1962, p. 28–29.



шли в неразрешимое противоречие между собой, рано или поздно должны были вступить в открытый конфликт. Он был неизбежен именно в силу успехов модернизации, пусть и половинчатых.

К концу XX века СССР во многих отношениях напоминал Россию в его начале — и очень сильно от нее отличался. Феодальный социализм восстановил многие основополагающие черты централистского вертикального российского общества начала века, но теперь им снова противостояли нарастающие силы горизонтальных связей и отношений, на этот раз куда более мощные. Хотя ни одна из революций, из которых складывалась советская модернизация, не была завершена, они все же подготовили, пусть и вчерне, новые материальные и духовные основы современной общественной жизни, несопоставимо более зрелые и всеохватывающие, чем те, которые смог оставить после себя до-революционный российский капитализм. Инструментальная модернизация не исчерпывает всех задач модернизации, но важна и она, и в той мере, в какой она все же состоялась в СССР, многие десятки миллионов людей получили доступ к ее плодам. Все это не могло не сказаться на состоянии переходного советского общества, породило силы его структурирования и демаргинализации, подготовило первые предпосылки для его вставания в новую социокультурную почву.

Может быть, самым главным звеном такого структурирования стали перемены, происходившие в среде самой номенклатурной элиты, «нового класса». По мнению Джиласа, этот класс был призван выполнить некоторую, в определенном смысле стандартную, историческую задачу (обеспечить промышленную революцию) там, где ее нельзя решить обычными «западными» методами. Но какая судьба ждала его после того, как задача будет выполнена? Что-то обязательно должно было измениться, и, пожалуй, можно было заранее предсказать крушение всей номенклатурной системы.

Хотя классическая номенклатура напоминала феодальную аристократию, на деле она была лишь ее функциональной имитацией, за ней не стояла реальная система отношений, которая придавала прочность феодализму. Даже во времена расцвета номенклатуры ее положение было непростым. В номенклатуру было трудно попасть, но из нее, как из бандитской шайки, нелегко было добровольно выйти. Обладая огромными, часто бесконтрольными правами по отношению к более низким уровням социальной иерархии, она столь же бесконтрольно зависела от ее более высоких уровней и отнюдь не была защищена от тоталитарного террора. Самые высокие иерархи режима жили в постоянном и небезосновательном страхе. Номенклатура никогда не знала нужды: времена партмаксимума оказались мимолетными, и она всегда имела множество материальных привилегий — банальных, но весьма существенных в бедной стране. В то же время режимом культивировался показной аскетизм, соответствовавший общему духу мобилизационного развития, во имя которого все должны были приносить жертвы, так что «законные» привилегии надлежало тщательно скрывать от посторонних глаз. К тому же их всегда можно было потерять, потому что это были привилегии не человека, а места, которое он занимал. Высокие номенклатурные чины и в



центре, и на местах нередко могли долго и бесконтрольно злоупотреблять своим служебным положением, обогащаться, воровать, развратничать, но, при желании, любого эпизода из личной жизни было достаточно, чтобы расправиться с неугодным «номенклатурщиком», свалить конкурента.

Какое-то время со всем этим приходилось мириться, но когда режим почувствовал себя прочным, а страна стала богаче, правящие слои оказались первыми, у кого появилось желание расслабиться, снять мобилизационное напряжение, обезопасить себя. Каждое новое поколение элиты расширяло пространство своей личной неприкосновенности, открыто узаконенных привилегий, дозволенного гедонизма, даже терпимого вольномыслия. Постепенно стал меняться и сам тип элиты, чему способствовали также и объективные перемены, имевшие своим следствием одновременно и усложнение общества, и усложнение человека.

Связка «милитаризм-мобилизация-централизм» образовывала становой хребет советского тоталитаризма, предопределяла вертикальную направленность всех его главных связей, строгую подчиненность нижних уровней системы верхним. Номенклатура была верным стражем этого породившего ее вертикального мира и готова была платить за его неизбежность отказом от продолжения модернизации, хотя бы и инструментальной, даже от технического прогресса. Она и делала это, когда тормозила развитие целых отраслей знания, научных или художественных направлений, препятствовала международным контактам специалистов и пр. Но совсем остановить развитие она, конечно, не могла — хотя бы из-за той важности, какую имеет технический прогресс для военного производства. Модернизационное развитие было затруднено, стеснено, но все же не прекратилось, а потому не прекратилось и непрерывное усложнение общества, а значит, укрепление его горизонтальных связей и обесценение вертикальных.

С развитием промышленности, городов, образования набрали силу локальные — региональные, отраслевые, комбинированные — центры экономической и социальной жизни, они стали сложными, внутренне расчлененными, способными к значительной хозяйственной и политической самостоятельности, к параллельному существованию и горизонтальному взаимодействию. Снова, как и в XIX веке, но в гораздо больших масштабах, увеличилось число элитарных статусов и сложились теперь уже довольно многочисленные слои с ними связанные. Они вербовались из вчерашних маргиналов и, конечно, несли на себе печать классического *Homo soveticus*. Кроме того, поначалу они выступали в привычной номенклатурной маске. Но их объективная природа была уже иной. Во-первых, новые поколения элиты во все возрастающей степени воплощали интересы системной самоорганизации, идущей «снизу», — в отличие от старой номенклатуры, которая реализовывала замыслы, исходившие «сверху». Во-вторых же, представители новых поколений элиты, в сравнении со своими отцами, чувствовали себя более независимо, ибо обладали собственным неотчуждаемым багажом: профессиональными знаниями, городской культурой, ощущением укорененности в новой социальной почве. В них с наибольшей отчетливостью отражался сдвиг в сторону автономии лично-

сти, который в менее выраженных формах затронул многие десятки миллионов горожан второго и третьего поколений.

Новая, уже не вполне номенклатурная, частично номенклатурная элита стала заполнять советскую политическую сцену начиная примерно с хрущевских времен. Тогда она была немногочисленной, но уже принесла с собой новые ощущения, взгляды, ценности, которые и предопределили порыв «шестидесятников». Понадобились десятилетия, чтобы она умножилась, вошла в силу, освободилась от многих иллюзий и смогла начать переустраивать мир по своему разумению. И, конечно, наивно было бы ожидать, что это разумение оправдает все надежды романтиков шестидесятничества, идет ли речь, скажем, об Евтушенко, Сахарове или Горбачеве. Тем не менее некоторые — и весьма немаловажные — надежды оно все-таки оправдало. В частности, новая элита достаточно решительно отвергла централизованную экономику, мобилизационную идеологию, политический тоталитаризм — все это более не соответствовало ее интересам. Но то, что она могла взять от этого породившего ее и теперь уходящего в прошлое мира, она взяла и внутреннего родства с ним пока не утратила.

Некогда Троцкий, бывший одним из создателей режима, а затем вынужденно ставший его критиком, со знанием дела указывал на связь между социальной функцией советской номенклатуры и ее корыстным интересом. Основой бюрократического командования, писал он, служит «бедность общества предметами потребления с вытекающей отсюда борьбой всех против всех»<sup>98</sup>. Демократия оказалась «стеснительной, даже невыносимой, когда в порядке дня стояло обслуживание привилегированных групп, наиболее нужных для обороны, для промышленности, для техники и науки. На этой совсем не „социалистической“ операции — отнять у десяти и дать одному — обособилась и выросла могущественная каста специалистов по распределению»<sup>99</sup>. «Таков исходный пункт власти советской бюрократии. Она „знает“, кому давать, а кто должен подождать»<sup>100</sup>. «Свое могущество, привилегии, идеологию, привычки, — утверждал Джилас, — новый класс черпает из некоей особой, специальной формы собственности. Это — коллективная собственность, то есть та, которой он управляет и которую распределяет „от имени“ нации, „от имени“ общества»<sup>101</sup>. О том же писал и Восленский: «социалистическая собственность — коллективная собственность номенклатуры»<sup>102</sup>. Насколько это было верно, стало ясно лишь тогда, когда назрел момент превращения этой коллективной собственности в частную, и номенклатурщики всех рангов с полной убежденностью в своих правах приступили к спешному дележу богатств огромной страны, а заодно и самой страны. Этот передел оказался очень простым, он был облегчен, подготовлен всей советской историей, которая приучила общество как ко всевластию номенклатуры, так и к безгласию «масс». Режим, который так любил выдавать себя за воплощение народовластия, именно с точки зрения народовластия оставил после себя абсолютную пустыню: ни идей, ни людей, ни институтов, которые могли бы хоть немного

<sup>98</sup> Троцкий Л. Цит. соч., с. 95.

<sup>99</sup> Там же, с. 53.

<sup>100</sup> Там же, с. 95.

<sup>101</sup> Джилас М. Цит. соч., с. 205.

<sup>102</sup> Восленский М. Цит. соч., с. 174.

продвинуть общество в направлении социальной демократии, способствовать самоорганизации большинства для защиты своих интересов, для создания нормальных противовесов безграничным аппетитам собственности и власти. Последние же имели очень мощную институциональную основу, которую предстояло лишь видоизменить, причем опираясь в значительной степени на тех же людей и на те же интересы, на которые еще вчера опирался «развитой социализм».

**Таблица 6.3. Советская номенклатура в постсоветской российской элите. 1995 г., в %**

	<i>Окружение президента</i>	<i>Лидеры партий</i>	<i>Регио- нальная элита</i>	<i>Правите- льство</i>	<i>Бизнес- элита</i>
<b>Всего из советской номенклатуры</b>	<b>75,5</b>	<b>57,1</b>	<b>82,3</b>	<b>74,3</b>	<b>61,0</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>партийной</b>	<b>21,2</b>	<b>65,0</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>	<b>13,1</b>
<b>косомольской</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>37,7</b>
<b>советской</b>	<b>63,6</b>	<b>25,0</b>	<b>78,6</b>	<b>26,9</b>	<b>3,3</b>
<b>хозяйственной</b>	<b>9,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>42,3</b>	<b>37,7</b>
<b>другой</b>	<b>6,1</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>30,8</b>	<b>8,2</b>

*Источник: Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту. Общественные науки и современность, 1995, 1, с. 65.*

Как видно из табл. 6.3, новая постсоветская политическая и экономическая элита складывалась в основном из прежней, советской. Это происходило не только в России и ощущалось на всех уровнях, вплоть до самых высших, что не совсем обычно и встречается в истории крушения политических режимов не так уж часто<sup>103</sup>. Оказавшись у власти в новой ситуации, бывшие советские руководители вовсе не пытались реставрировать режим, служа которому они сделали свою карьеру. Напротив, вполне искренне и с немалой деловитостью они стали приспосабливаться к новым

<sup>103</sup> К началу 1997 г. 7 из 15 постсоветских государств возглавляли люди, побывавшие в свое время в составе высшей партийной иерархии СССР и навеки вошедшие в число «229 кремлевских вождей»: — Алиев, Ельцин, Каримов, Лучинский, Назарбаев, Ниязов, Шеварднадзе. Два бывших «вождя» — Строев и Малафеев — были в это время председателями палат парламентов соответственно России и Белоруссии, а Примаков — российским министром иностранных дел. Еще один представитель последней кремлевской когорты — Муталибов — несколько ранее занимал пост президента Азербайджана. Литовским президентом был Бразаускас — некогда первый секретарь ЦК Компартии Литвы. Роль первых постсоветских президентов уже отыграли к этому времени Кравчук и Снегур — бывшие секретари центральных комитетов компартий Украины и Молдавии. Стоит перейти на чуть более низкие уровни власти, и список «новых прежних» станет бесконечным.

экономическим, политическим и идеологическим условиям, ничуть не смущаясь их «капиталистическими», «националистическими», «фундаменталистскими» и тому подобными проявлениями.

Если оставаться в плену ортодоксальной советской мифологии, то надо признать: то, что произошло с момента распада СССР, было поистине ужасно. Общенародное достояние, создававшееся жертвенным трудом нескольких поколений советских людей, строителей коммунизма, было «приватизировано», присвоено разбогатевшими «новыми русскими», «новыми украинцами» и т. д., причем очень часто — вчерашними бескомпромиссными борцами против частной собственности, а на развалинах советского общества воцарились неведомые ему социальное неравенство, капиталистическая эксплуатация и т. д.

Отказ от советской мифологии приводит к несколько иному взгляду на вещи. Ни жертвенный труд поколений, ни «приватизацию» (словечко Горбачева) оспорить, конечно, невозможно. Но значит ли это, что что-то отобрали **у народа**? Государственная собственность только называлась общенародной, но никогда таковой не была. «Ужасное» произошло намного раньше, когда тоталитарный государственный Левиафан присвоил себе все экономические и политические права в стране и привел ее к полному разорению. Могли ли энтузиасты тридцатых-сороковых годов предполагать, что их самоотверженный труд во имя ожидавшегося в скорости социализма будет иметь своим истинным следствием лишь то, что накачавший промышленные мускулы СССР превратится попросту в одного из крупнейших в мире торговцев оружием? Что он все больше будет зависеть от экспорта сырья и импорта продовольствия и машин, в том числе и для поддержания минимального технического уровня с такими жертвами создававшейся промышленности? Что к началу 80-х годов, после нескольких десятилетий мирной жизни, даже в крупнейших городах опустеют полки магазинов и начнет распространяться типичное для военного времени рационирование продовольствия? Что придется скрывать от самих себя и от всего мира показатели благосостояния или продолжительности жизни населения?

Новоявленные постсоветские «воротилы» отобрали собственность не у народа, а у государства. Не будем говорить о нравственной стороне этой экспроприации: и без того ясно, что речь идет не о веберовском аскетическом *служении* ранних протестантских предпринимателей. Но стоит отойти от свойственной соборному человеку склонности заменять анализ морализированием, хотя бы на время отвлечься от нравственного смысла происходящего передела — и приходится признать, что при всех невероятных издержках он все-таки подталкивает общество в направлении, подсказанном историей, к превращению его из вертикального в горизонтальное, из одноцентрового в многоцентровое, из строящегося сверху в строящееся снизу, а значит и к коренной модернизацию системы власти, к отказу от ее централистской модели, свойственной всем вариантам промежуточного, мобилизационного Третьего пути. Такие перемены — отнюдь не вопрос политических или идеологических симпатий и убеждений. Полицентрическая система управления более соответствует уровню сложности, разнообразия промышленно-городских обществ, в число которых уже прочно вошла Россия, несмотря на отме-

ченную выше незавершенность главных модернизационных процессов. Она более эффективна.

При переходе к новой модели социального управления власть и собственность рассредоточиваются, исчезает единый центр принятия всех решений, он заменяется бесконечным множеством таких центров. Соответственно изменяется и характер правящего класса. На смену относительно немногочисленной и строго иерархизированной партийно-советской аристократии приходит новая «буржуазная» элита, более многочисленная, независимая и открытая. В этом, собственно, и заключается смысл демократизации. Романтизация демократии в период борьбы за ее утверждение приписывает ей несуществующие добродетели, внутреннюю связь с нравственными ценностями, способность дать ответы на «вечные вопросы» и т. д. Это порождает в обществе несбыточные надежды, а в конечном счете, разочарование сторонников и злорадство противников демократии. Однако если сравнивать результаты экономической и политической демократизации в указанном выше смысле перехода от одноцентрового к многоцентровому социальному миру не с воображаемым будущим, а с реальным прошлым, то общество оказывается в несомненном выигрыше. В конечном счете, оно становится более эффективным, более динамичным и более богатым, повышается качество функционирования всех его подсистем, улучшается социальное самочувствие людей, ощущающих себя более свободными. Вечные же вопросы остаются, конечно, нерешенными — иначе они не были бы вечными.

Но даже и такой относительный выигрыш не может быть получен в одночасье. Начатая Горбачевым перестройка объективно не могла быть ничем иным, как одновременным преобразованием структуры власти и собственности (из моноцентрической в полицентрическую) и их переделом (преходом в руки новых элит). Нелепо было ожидать, что эта перестройка осуществится в соответствии с этическими идеалами «шестидесятников» — для этого в советском обществе не было никаких предпосылок. Одна контролировавшая страну мафия распалась на множество более мелких, как правило, вылупившихся из прежней большой, генетически и идейно связанных с ней, — ничего иного и не могло произойти. Но коль скоро это совершилось, уровень монополизма резко понизился, и возник полицентрический мир, живущий по иным законам, с которыми рано или поздно придется считаться всем его юридическим и физическим обитателям.

Децентрализация власти и собственности с одновременным их переделом — сегодняшней этап модернизации российского общества. Эти два процесса переплетаются между собой, переплетается и оппонирование им со стороны всех недовольных. Недовольство велико, потому что такие перемены вообще болезненны. В постсоветском же обществе они болезненны вдвойне, ибо советское общество, из которого оно вышло, делало все возможное, чтобы внутри него не сложились оппозиционные, реформаторские силы, идеологии, программы, политические фигуры, могущие быть востребованными в постсоветской ситуации. Не удивительно, что общество движется наощупь, методом проб и ошибок, с очень большими потерями, а это, естественно, подогревает массовое недовольство и усиливает критику происходящего.

Если очистить эту критику от романтической, демагогической и т. п. нагрузки, то есть только два ее основных варианта. Один признает необратимость отказа от прежней системы монопольной власти и собственности и делает ставку на создание правовых и вообще институциональных рамок для неидеализируемого полицентрического мира, основанного на борьбе всех против всех, с тем, чтобы придать этой борьбе относительно безопасные, неразрушительные, цивилизованные, правовые формы. Это и есть путь демократии.

Второй вариант критики исходит из неверия в силы самоорганизации российского общества, которое, по мнению сторонников такой критики, может управляться только «сверху» — мудрым вождем или монархом, стало быть, из идеи реванша моноцентрической системы власти и собственности под прежними или сменившимися лозунгами. Такая критика неизбежно связана с идеализацией патриархальных и государственно-патерналистских исторических образцов, в них видят наилучшую опору для достижения экономической и военной мощи, государственного величия и т. п. Это — уже пройденный однажды и показавший свою неэффективность, блокирующий модернизацию путь тоталитаризма. Но именно на нем энергично настаивают сторонники прежних или новых сценариев третьего пути.

ЧАСТЬ 1

Агония  
империи





# ГЛАВА 1

## ПОСТУПЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

### 7.1. «Мы расширили пределы...»

**Д**рамы российского догоняющего развития и советской консервативной модернизации разыгрывались на огромном пространстве самой большой в мире государственной территории Российской империи, а затем СССР. Эта территория была не просто сценой, подмостками исторического спектакля, но одновременно и его действующим лицом. Столетиями территориальный рост оставался одной из главных забот государства, одним из ведущих побуждений к соревнованию с ушедшей вперед Европой, заставляя до крайности напрягать силы общества.

История складывания и территориального расширения Российской империи вокруг ее древнего великорусского ядра хорошо известна. «Собирание Руси», начатое в XIV веке Иваном I (Калитой) с земель древних русских племен, а затем распространившееся и на земли нерусских соседей, продолжалось шесть столетий и наложило глубокий отпечаток на сознание русского общества, на идеологию русской государственности, утвердившейся после Петра I как государственность Российской империи.

Иван Грозный, первый русский царь, покорил Казанское и Астраханское ханства и присоединил к России обширные территории Поволжья, населенные татарами, башкирами, марийцами, чувашами, удмуртами, мордвой. Началось освоение Зауралья и Западной Сибири. Россия явственно обозначила свои интересы на юго-востоке, где, по словам П. Милюкова, продвижение шло «под прямым влиянием и контролем московского правительства, взявшего на себя оборону южной границы, а от обороны нечувствительно перешедшего к наступлению»<sup>1</sup>. Но одновременно стали ясны притязания России и на западном направлении. В XVII веке на юго-востоке она продвинулась до реки Урал, на западе же вышла к Балтийскому морю, отвоевала у Польши Смоленск и Чернигов, закрепила за собой Левобережную Украину и Киев.

В XVIII веке Россия, теперь уже Российская империя, снова раздвинула свои границы. После успешных войн с Турцией она утвердилась в Крыму, Прикубанье и на побережье Черного моря. В результате трех разделов Польши (1772, 1793, 1795) присоединила часть ее территории, а также Правобережные Украину и Белоруссию. В состав империи вошли Восточная Грузия, значительная часть Казахстана, Эстония, Литва и Латвия. Наконец, в XIX веке завершились длившееся несколько десятков лет покорение Кавказа, завоевание Средней Азии, был присоединен Дальний Восток.

<sup>1</sup> Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. Население, экономический, государственный и сословный строй. М., 1918, с. 55.

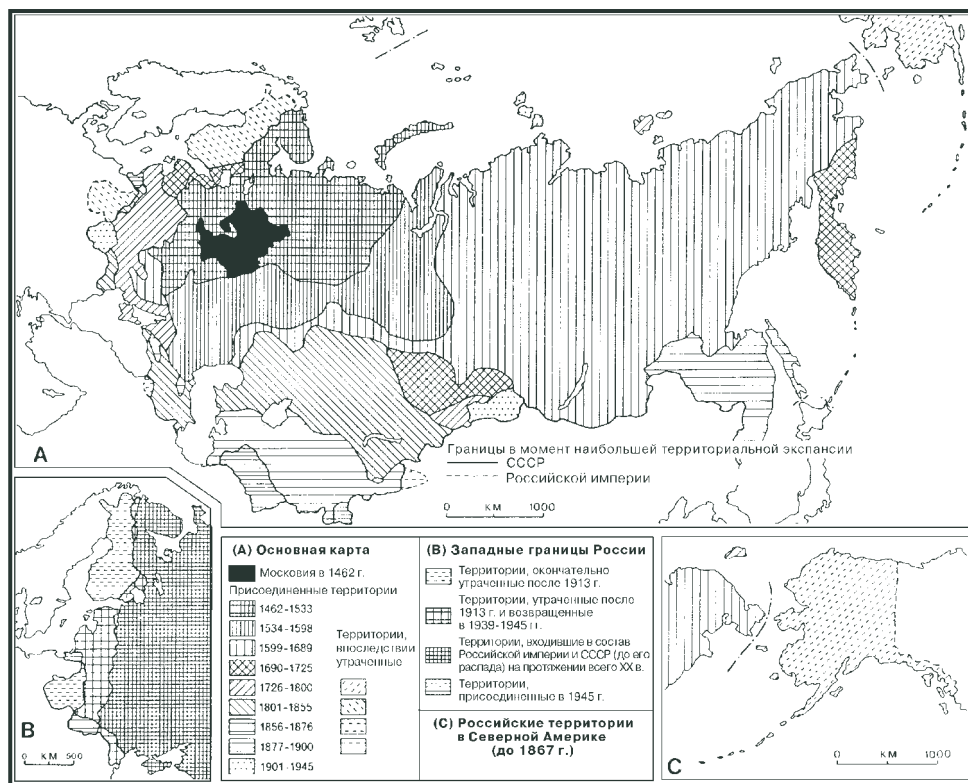


Рисунок 7.1. Расширение границ Московского государства, Российской империи и СССР

Источник: Dewdney J.C. USSR in maps. London-Sydney, 1982, p. 27.

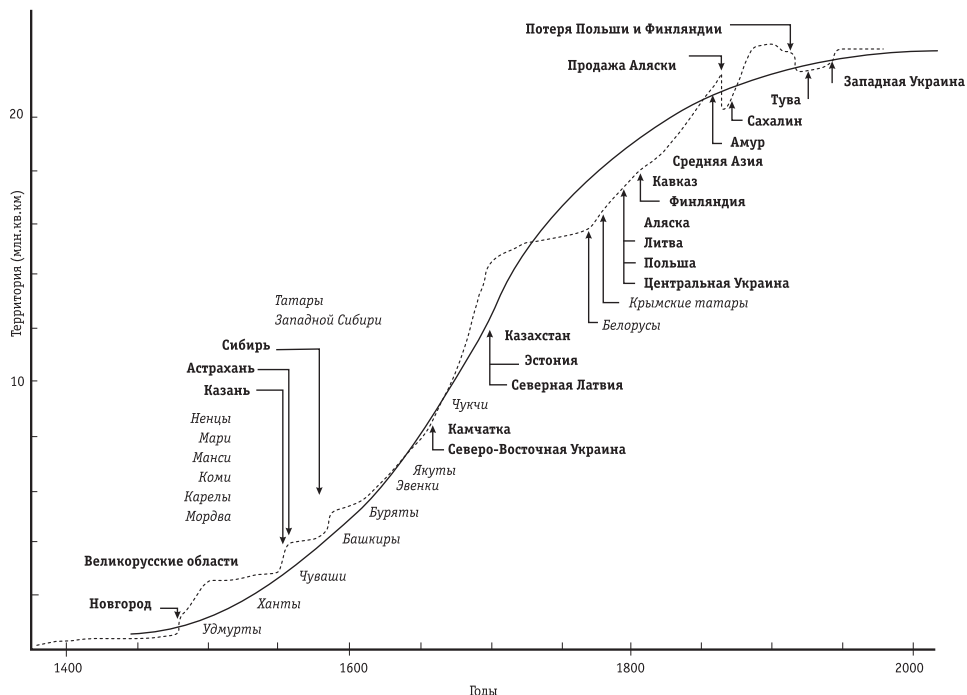


Рисунок 7.2. Включение земель и народов в состав Московского государства, Российской империи и СССР

Источник: Taagepera R. *An overview of the growth of the Russian Empire*. In: Rywkin M. (Ed.). *Russian colonial expansion to 1917*. London, 1988, p. 1.

Согласно Ключевскому, уже «к концу XVIII столетия Россия вступила в свои естественные и национальные границы почти на всем пространстве своей территории; она захватила много инородческих элементов и оставила за своими пределами очень мало частей русской национальности. Как скоро достигнуты были эти географические и национальные границы..., внешняя деятельность государства изменяется: объединившись, вобравши в себя всю русскую национальность, государство с этой минуты начинает освобождать другие национальности, родственные русской в религиозном или племенном смысле»<sup>2</sup>. В XX веке границы империи многим казались естественными уже почти в физико-географическом смысле. «Евразия в старом смысле слова, — писали евразийцы, — подразделяется уже не на Европу и Азию, а на 1) срединный континент, или собственно Евразию, и два периферических мира: 2) азиатский Китай, Индия, Иран и 3) европейский, граничащий с Евразией примерно по линии: реки Неман — Западный Буг — Сан — устье Дуная... Таким образом ... границы Евразии совпадают с границами Русской империи»<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V, М., 1937, с. 240.

<sup>3</sup> Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 377.

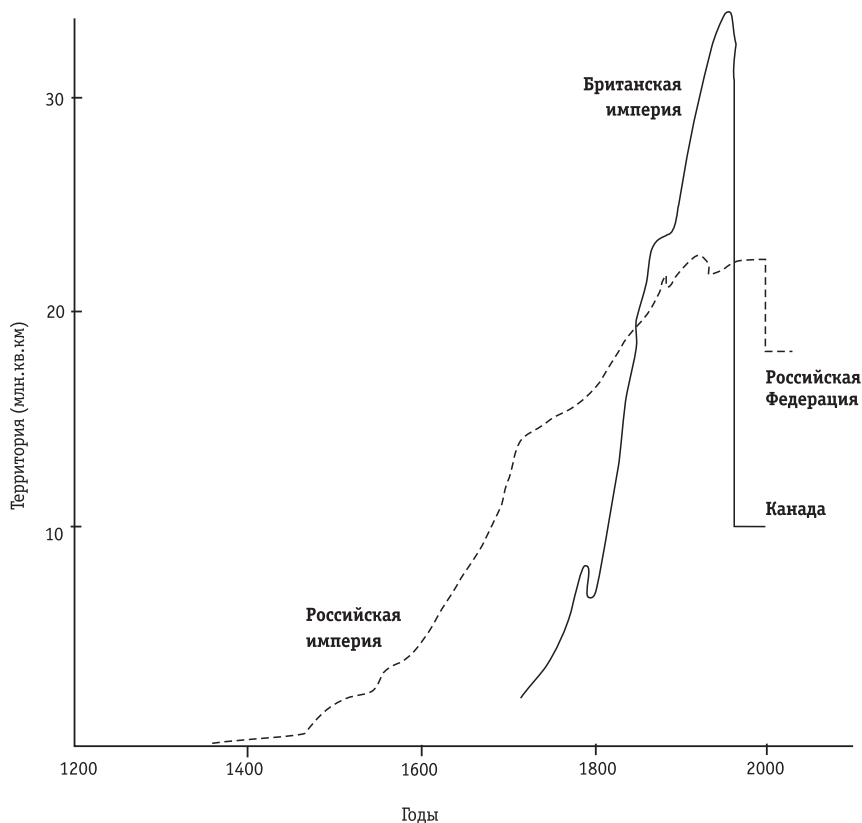


Рисунок 7.3. Территориальный рост Российской и Британской империй

Источник: Таагерера Р. *Op. cit.*, p. 5.

Последняя фраза выдает сокровенный имперский смысл всех концепций естественных границ России. Идеология естественных границ — не новость и не русское изобретение. Она возникла в истории многих стран как «впечатляющий довод в пользу географического детерминизма и государственного централизма... В философском плане она подразумевает Бога-географа, предписывающего народам место в постранстве. В политическом смысле она предугадывает конечную цель, миссию, которую надлежит выполнить: история народа не будет полной, пока он не достигнет своих крайних границ. Она предполагает стратегическую инверсию: сначала длящаяся веками наступательная политика; затем геостратегия обороны»<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Charnay J.-P. *Stratégie générative. De l'anthropologie à la géopolitique.* Paris, 1992, p. 172.

Концепция «естественных границ» — неотъемлемая часть имперского мировоззрения, характерного для российского сознания Петербургского периода, но не исчезнувшего по сей день. И сегодня можно слышать, что войны с Турцией, в результате которых «Россия получила выход на свои естественные рубежи: к Черному морю, включая Крым, и на Днестр», были оправданы тем, что «Россия задыхалась без выхода к Черному и Азовскому морям», а «к концу XIX века Российская империя достигла своего замысленного (?) или, как тогда говорили, «естественного» (для незащищенной огромной равнины) территориального объема: во многих местах до географических рубежей, поставленных самою природой»<sup>5</sup>. Логика «рубежей, поставленных самою природой», очень соблазнительна. Если в XVIII веке можно было задыхаться без Черного моря, то почему в XX нельзя задыхаться без Средиземного или без Индийского океана и не видеть в выходе к их берегам «задачи спасения русской нации»<sup>6</sup>?

Если границы империи и в самом деле до какого-то момента можно было уподобить естественным, то лишь в том смысле, в каком естественны границы реки, прокладываящей себе русло в более мягких, податливых породах и обходящей более твердые. К концу XIX века Российская империя захватила и включила в свои границы все, что смогла захватить, не наталкиваясь на непреодолимое сопротивление поглощаемых соседей или стоящих за ними держав. По мере роста империи «мягких пород» вблизи рубежей России оставалось все меньше, ее продвижение замедлялось и останавливалось, и она входила в свои окончательные границы — естественные не столько в географическом или этнографическом, сколько в историческом смысле — в смысле существующего в данный момент соотношения сил на направлениях возможной экспансии.

Это соотношение постоянно менялось, иногда довольно быстро, так что включение тех или иных территорий в состав империи или их выпадение из нее нередко могло выглядеть актом исторически случайным. На самом же деле за причудливой, постоянно меняющейся мозаикой бесчисленных союзов и коалиций, частных побед и поражений просматривается проявление сил самоорганизации мирового геополитического пространства и образующих его крупных «блоков», постоянное воссоздание системы противовесов, обеспечивающих его антиэнтропийное структурирование. В какой-то момент исторического времени Российская империя и стала одним из таких крупных геополитических блоков, формирующих систему всемирного геополитического равновесия, — в этом заключались и оправдание ее территориального роста, и его пределы.

Понятно, что в самой России рост империи воспринимался сквозь призму ее собственных интересов. Отечественные политики и идеологи видели в постоянном округлении российских владений безусловную пользу державы. Имперское и патриотическое начала сливались в русском сознании воедино. Постоянные территориальные приращения, сама огромность занимаемого пространства влияли не только на государственную мысль. Многочисленные военные победы наполняли гордостью русские сердца, страна привыкала ко все новым и новым захватам, которые становились для России как бы естественным способом существования, воспитывали самосознание общества, формировали его мирозерцание, его психический склад. «С внешней, пози-

<sup>5</sup> Солженицын А. И. Русский вопрос к концу XX века. «Новый мир», 1994, 7, с. 138, 145, 158.

<sup>6</sup> Жириновский В. В. Последний бросок на юг. М., 1993, с. 63.

тивно-научной точки зрения, — писал Бердяев, — огромные русские пространства представляются географическим фактором русской истории. Но с более глубокой, внутренней точки зрения сами эти пространства можно рассматривать как внутренний духовный факт в русской судьбе. Это — география русской души»<sup>7</sup>.

Созидание империи состояло, однако, не из одних побед. Оно было долгим, нелегким и далеко не бескровным, требовало от России и ее народа громадных усилий и жертв. Постепенно это осознавалось, единство имперского и патриотического начал мало-помалу стало вызывать сомнения. Только ли выигрыш несут России ее бесконечные территориальные приобретения? Так ли уж совпадают государственно-территориальные интересы России с интересами ее граждан? Не слишком ли тяжела поступь имперского Медного всадника для отдельной человеческой судьбы? Русские люди начинают размышлять над этим подобно тому, как размышлял персонаж Глеба Успенского, вспоминая «топорнейшую лекцию» своего школьного учителя. «Через каждые три фразы четвертая была непременно такая: «Мы расширили пределы „от“ „до“...». Затем следовали новые три фразы о мудром приказании и за ним опять та же четвертая о том, что после этого приказания только что расширенные пределы опять расширились еще дальше „от“ „до“ и все без малейших трудностей, даже как бы без людей, а с помощью какого-то «мы взяли» расширили»<sup>8</sup>. Но не без трудностей и не без людей шла колонизация российских просторов, тяжелым грузом лежала она на национальной экономике, постоянно перемалывала материальные и людские ресурсы, поглощала психическую энергию нации. «Огромные пространства легко давались русскому народу, но не легко давалась ему организация этих пространств... Размеры русского государства ставили русскому народу почти непосильные задачи, держали русский народ в непомерном напряжении. И в огромном деле создания и охранения своего государства русский народ истощал свои силы»<sup>9</sup>.

Рост территории Российской империи был очень быстрым. Правда, скажем, Британская империя росла еще быстрее (см. рис. 7.3.), но ее рост шел за счет колоний, тогда как Россия на ранних этапах своего роста расширяла, скорее, пространство метрополии. Только между 1600 и 1900 г. Российская империя присоединила 17 млн. кв. км новых земель, западные авторы подсчитали, что ее владения увеличивались, в среднем, на 57 тыс. кв. км в год<sup>10</sup>. К началу XX века она была самой большой по территории страной мира, занимала 22,3 млн. кв. км — одну шестую часть земной суши.

Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции 1917 г. сделали явным назревавший подспудно кризис внутриимперских отношений, что едва не привело к исчезновению империи. С конца 1917 г. началось ее разрушение. Столетиями входившие в состав унитарного государства населенные нерусскими народами, а иногда даже

<sup>7</sup> Бердяев Н. О власти пространства над русской душой. // Бердяев. Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918, с. 64.

<sup>8</sup> Успенский Г. И. Волей-неволей (Отрывок из записок Тяпушкина). // Собр. соч. в 9 томах, т. 6, М., 1956, с. 75.

<sup>9</sup> Бердяев Н. О власти пространства..., с. 62.

<sup>10</sup> Hauner M. What is Asia to us? Russia's Asian Heartland yesterday and today. London; New York, 1992, p. 69. По другим подсчетам — О. Субтельного, — с 1362 по 1914 г., территория России прирастала со средней скоростью 80 кв. км в день (Субтельный О. Україна. Історія. Київ, 1993, с. 223).

и русские земли стали провозглашать себя автономными областями или республиками, а часто даже и полностью независимыми государствами (Польша, Финляндия, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Туркестан, Татаро-Башкирия, Северный Кавказ, Грузия, Армения, Азербайджан, Дальневосточная республика, Бухара, Хива). Правда, степень распада империи не следует все же преувеличивать. Когда говорят, что за год территория России сократилась чуть ли не до размеров Московского государства, которые застал, вступая на престол, Иван Грозный<sup>11</sup>, то имеется в виду территория, которая, находилась под контролем правительства РСФСР в наиболее неблагоприятный для него период Гражданской войны. Ее границы определялись, скорее, ходом военных действий, нежели серьезными центробежными тенденциями. Хотя распад империи во время революции и Гражданской войны несомненно был связан с кризисом имперских отношений и имперского сознания, глубина и острота этого кризиса в России начала XX века все же не были такими, чтобы сделать распад окончательным. Империя разрушалась вследствие совпадения этого кризиса с рядом других — экономическим, социальным, военно-политическим. Когда же эти кризисы были преодолены, почти естественным образом началось и восстановление империи.

Этому способствовало то, что чаще всего независимость отделившихся государств была, скорее, декларирована, чем действительно достигнута. Иногда сразу же после провозглашения независимости, иногда некоторое время спустя к власти в них пришли большевики, подчинившиеся одному центру и проводившие одну политику. Теоретически признавая права народов на независимость, на практике они никогда с нею не мирились. Уже в 1920 г. Сталин, тогда народный комиссар РСФСР по делам национальностей, говорил о «так называемой независимости так называемых независимых Грузии, Армении, Польши, Финляндии и т. д.»<sup>12</sup>.

Впрочем и эта «так называемая» независимость во многих случаях просуществовала недолго. Часть новых государств на правах автономных были включены в состав РСФСР (Северный Кавказ, Туркестан, Татаро-Башкирия, Крым и т. д. — всего к моменту создания СССР в 1922 году в РСФСР насчитывалось около 20 автономий) или Закавказской Федерации (Грузия, Армения, Азербайджан). Украина и Белоруссия существовали наряду с РСФСР и ЗСФСР. В 1922 г. (для Хивы и Бухары — в 1924) кончилась и их независимость, был создан СССР. Тем не менее первоначально территория СССР довольно существенно отличалась от территории Российской империи. За его пределами остались Финляндия, территории, отошедшие к Польше, Румынии и Турции, а также образовавшие независимые государства Литва, Латвия и Эстония. В момент возникновения СССР его территория более чем на 800 тыс. кв. км уступала территории бывшей Российской империи. Территориальные потери составили менее 4%, но это были густонаселенные земли. В 1897 г. на них жило около 22 млн. человек (17,3% населения бывшей империи)<sup>13</sup>, в 1920 г., по оценкам, 28 млн. (те же 17,3%)<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> См. напр.: *Карр Э.* История Советской России. Большевицкая революция 1917–1923. Т. 1–2. М., 1990, с. 209.

<sup>12</sup> *Сталин И. В.* Политика Советской власти по национальному вопросу в России. // Соч., т. 4, с. 353.

<sup>13</sup> *Волков Е. З.* Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет. М.-Л., 1930, с. 14.

<sup>14</sup> Энциклопедический словарь Гранат, 7-е издание, т. 41, ч. 1, б. д., с. 318–319.

Лишь позднее, в ходе Второй мировой войны, СССР восстановил большую часть этих потерь, а после ее окончания приобрел даже некоторые новые территории. В 1939–1940 гг. в его состав были включены Литва, Латвия, Эстония, часть Западной Украины, Западная Белоруссия, часть Бессарабии и часть Финляндии, ранее принадлежавшие Российской империи, а кроме того Галиция<sup>15</sup> и Северная Буковина, в 1944 — Тува, в 1945 — Закарпатская Украина, часть Восточной Пруссии, Клайпедская область, Южный Сахалин и Курильские острова, не входившие ни в российские границы перед революцией, ни в советские границы после нее. По официальным советским оценкам, в 1939 г. на территориях, присоединенных в 1939 и в последующие годы, проживало 20,1 млн. человек<sup>16</sup> (12% населения СССР до изменения границ). Империя снова занимала одну шестую часть земной суши и была самым большим по территории государством мира.

В послевоенные десятилетия территория Советского Союза не изменялась, его границы казались необыкновенно прочными. Никто не пытался посягать на них. В то же время, хотя СССР распространял свое прямое влияние на ряд государств Восточной Европы и некоторые страны Азии и обладал огромной военной мощью, не ставился вопрос о расширении его границ. В этом смысле положение казалось исключительно устойчивым. И тем не менее в конце 1991 г. внутренний кризис советского строя привел к распаду СССР и образованию на его территории 15 независимых государств. Многовековая империя перестала существовать.

## 7.2. Восточнославянские колонизационные базы

Территориальный рост империи был связан прежде всего с историческими судьбами восточного славянства после завершения антитатаро-монгольской реконквисты. Разные части восточнославянского мира в разное время вносили свой вклад в формирование общего культурно-цивилизационного и государственно-правового пространства, которое оказалось, в конечном счете, в центре огромной империи, превратилось в ее географическую и духовную метрополию, никогда не имевшую, впрочем, четких территориальных границ. Это пространство отчасти было унаследовано еще от домонгольского периода, от Киевской Руси. Немалую роль сыграло и объединение в XIII–XIV веках западно-русских земель в Литовско-русском государстве, которое «создавало частью завоеванием Литвою различных русских земель и волостей, частью

<sup>15</sup> Вторая (входившая прежде в состав Австро-Венгрии, а после Первой мировой войны — Польши), меньшая по территории, но большая по населению часть «Западной Украины» — выражение, которое в советское время расплывчато толковалось как «историческое название части территории Украины, отошедшей по Рижскому мирному договору 1921 г. к буржуазной Польше» (Советский энциклопедический словарь, М., 1981, с. 455). В географическом смысле к Западной Украине следует, видимо, относить также Северную Буковину и Закарпатскую Украину. Первая между 1918 и 1940 г. принадлежала Румынии, вторая — между 1919 и 1938 — Чехословакии, затем — до 1945 г. — Венгрии.

<sup>16</sup> Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР. Сводный том. М., 1962, с. 13. В начале 90-х годов была выполнена новая оценка, мало отличавшаяся от прежней, — 20,3 млн. человек (см. Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Население Советского Союза. 1922–1991. М., 1993, с. 53. В этой книге упоминаются также и другие оценки — 24,5, 19,8 и 20,8 млн. (с. 51–52).



путем добровольного присоединения их к основному государственному ядру — Великому княжеству Литовскому в древнем и тесном смысле слова<sup>17</sup>. С XV века роль главного носителя и хранителя восточнославянской цивилизационной самобытности и восточнославянской государственности все больше переходит к великорусским областям, сложившимся вокруг Москвы и Новгорода и оформившимся при Иване Грозном в Московское царство. Но ядро Петербургской Российской империи было уже шире. В своей объединительной и колониационной деятельности она опиралась не только на великорусское население, но и на других наследников Киевской Руси — украинцев и белорусов. Эти три народа и стали главной силой расширения пределов империи. Их продвижение на все новые и новые земли либо увеличивало область их собственного расселения, границы метрополии, либо закрепляло присоединение колоний и других завоеванных территорий.

В. Семенов-Тянь-Шанский писал о четырех «чисто русских культурно-экономических колониационных базах» — очагах, которые, «посылая свои лучи во все стороны, поддерживают... прочность государственной территории и способствуют более равномерному ее заселению и культурно-экономическому развитию»<sup>18</sup>: Галицкой и Киево-Черниговской; Новгородско-Петроградской; Московской; Средне-волжской. «Только благодаря этим четырем базам, давшим возможность твердо укрепиться до самых берегов четырех морей, Европейская Россия и представляет ту культурно-экономическую массу, которая позволила ей стать в ряды великих держав мира»<sup>19</sup>. Само перечисление «колониационных баз» Семеновым-Тянь-Шанским говорит о том, что «чисто русские» означало для него «восточнославянские». В дореволюционной России все три восточнославянские ветви — великорусская, украинская и белорусская — рассматривались, в том числе и в официальных документах, например, в публикациях Всеобщей переписи населения 1897 г., как части единого русского народа.

Причисление к русским колониационным базам Галиции можно понять разве что в том смысле, что галицийские украинцы могли участвовать в польской колонизации нынешней территории Украины в XVII веке. Однако это не была российская колонизация, Галиция никогда не входила в состав Российского государства, а когда миграционное движение галицийских украинцев приобрело крупные масштабы, оно было направлено за океан. Но Киевско-Черниговские земли, наряду с другими, названными Семеновым-Тянь-Шанским, несомненно играли роль важнейшей восточнославянской колониационной базы и реализовали ее, находясь в составе Российской империи и участвуя в решении ее исторических задач. В завоевательно-колониационном движении империи участвовали не одни лишь восточные славяне, в это движение вовлекались и «кинородцы», но восточные славяне, прежде всего русские и украинцы, стали основной движущей силой колонизации. Роль белорусов, не столь многочисленных и, в отличие от русских и украинцев, не соседствовавших прямо с незаселенными или слабо заселенными степными просторами, была более скромной.

<sup>17</sup> Любавский М. К. Очерк истории Литовско-русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915, с. 35.

<sup>18</sup> Семенов-Тянь-Шанский В. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк по политической географии. Пг., 1915, с. 18.

<sup>19</sup> Там же.

Ни сама колонизация, ни формирование единой русско-украинско-белорусской метрополии не были следствием одного лишь географического соседства трех восточнославянских народов. Облегчавшая их взаимодействие близость имела более глубокие основания, коренилась в общности исторического прошлого, в конечном счете, в принадлежности к одному и тому же локальному цивилизационному полю. Восточнославянская цивилизация сложилась из разных исторических пластов. Среди них есть, возможно, очень древние. П. Милюков, например, пытался проследить связь славянской самобытности с особенностями неолитической унетицко-лужицкой культуры, обнаруженной в местах предполагаемой прародины славян<sup>20</sup>. Более близкий к нам исторический пласт — тысячелетняя земледельческая, крестьянская, сельская цивилизация восточных славян. Ее особенность едва ли следует преувеличивать. Все земледельческие, крестьянские, сельские общества имеют сходные черты: натуральное хозяйство со слабым развитием товарно-денежного обмена, традиционализм как основной механизм обеспечения культурной преемственности, холистская, «соборная» парадигма общественных отношений, низкая вертикальная мобильность и т. д. Но всегда есть и отличия — в образе жизни, социальных отношениях, верованиях, коллективной психологии, — связанные с прошлой традицией, особенностями природной среды, хозяйственной деятельностью, геополитического положения, с условиями развития государственности, с превратностями и случайностями мировой истории. В ходе размежевания с соседями такие отличия получают подчеркнутое выражение в культуре, в религии, приобретают символический смысл. Эти различия, их сохранение очень важны, ибо существование чего-то вроде сильно укрупненных «тотемов» охраняет местное своеобразие, а тем самым и мировое разнообразие. Без этого неизбежны всеобщее выравнивание, энтропийная смерть лишенного внутренней структуры погружающегося в хаос человеческого мира. Такой всемирный антиэнтропийный смысл имело и культурно-религиозное обособление восточного славянства, сохранявшееся при всех поворотах мировой истории.

Глубокий отпечаток на цивилизацию восточнославянского земледельца наложило многовековое соседство и соперничество со степным, кочевым Востоком. Но крестьянская-христианская, земледельческая Русь представляла исторически более высокий уровень развития по сравнению с кочевыми за ее южными и восточными границами «погаными» (язычниками), а это создавало надежный цивилизационный щит для нее. Азиатские влияния могли быть очень сильными. «Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом — это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни», — писал Ключевский<sup>21</sup>. Тем не менее тип цивилизации, усвоенный восточными славянами к началу второго тысячелетия, азиатские влияния изменить не смогли, и, в конце концов, не Азия колонизовала Россию, а Россия — кочевую Азию.

В историческом соревновании Россия опередила не одних лишь степных кочевников, начиная с какого-то времени, она обогнала и таких своих южных соседей, как Китай или Персия — страны древнейшей земледельческой культуры. В этом сказалось, ко-

<sup>20</sup> Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. М., 1993, с. 220 и след.; 322 и след.

<sup>21</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. I. М., 1987, с. 84.

нечно, пограничное положение восточного славянства: оно одновременно соседствовало с засыпавшим Востоком и с пробудившимся Западом. Через византийское христианство Киевская Русь восприняла, может быть и не без потерь, основополагающие принципы европейской культуры, зревшие еще в Древнем Риме, сама стала частью Европы — не в географическом только, но и в цивилизационном смысле. Как замечает Д. Лихачев, если говорить о внешних влияниях, то «Русь естественнее назвать Скандовизантией, нежели Евразией»<sup>22</sup>. Позднее, во времена подъема Литовско-русского, а затем Польско-литовского государств, европейский слой восточнославянской цивилизации впитал в себя влияния католицизма, западноевропейских Возрождения и Реформации. Отношение к Европе Москвы было более сложным. Защитные реакции по отношению к исторически более развитому и тем опасному Западу играли немалую роль в сохранении отличий от него. Отстранение от Запада охраняло, а, возможно, и усиливало восточнославянское цивилизационное своеобразие. Но полностью отгородиться от Европы было нельзя. Со времени Петра Великого сближение с Западом стало необратимым, культурные заимствования у него стали мало-помалу менять восточнославянский цивилизационный фон, на него накладывался, смешивался с ним новый, более современный европейский пласт. Действие и последствие петровских реформ, привязывавших Россию к Европе Нового времени, оказалось очень мощным. Модернизационная направленность реформ предопределила — не сразу, но в конечном счете — глубинную переделку всего строя жизни восточных славян. Древний цивилизационный слой у них был перекрыт современным, впитан и переработан им. Это послужило, в частности, одной из главных предпосылок колонизационной активности трех последних столетий.

### 7.3. Колонизация юга России

**В**осточнославянская колонизация началась давно, еще во времена древних Киева и Новгорода, но ускорилась, приобрела новое качество с XVI века после покорения татарских ханств Казани и Астрахани, а еще больше после побед над Турцией и присоединения — уже в конце XVIII века — Крыма. Колонизационное движение шло, так сказать, по всем румбам, но главными его направлениями стали восточное и южное. То ли оборонительная, то ли наступательная граница отодвигалась все далее на юг и на восток, а с ней двигались и люди.

Одним из главных этапов созидания империи стала колонизация юга Европейской России, когда были освоены большая часть территории современной Украины (включая преобладающую часть Новороссии), остальная часть Новороссии, а также степные районы Северного Кавказа.

Еще в XV веке огромные территории к северу от Черного и Азовского морей, формально находившиеся под контролем Москвы или Польско-литовского государства, подвергались систематическим набегам крымских татар и потому оставались слабо заселенными, а то и вовсе незаселенными. Несмотря на то, что в это время уже началось продвижение на юг и великорусского, и украинского населения, даже в середине

<sup>22</sup> Лихачев Д. С. Культура как целостная среда. «Новый мир», 1994, 8, с. 7.

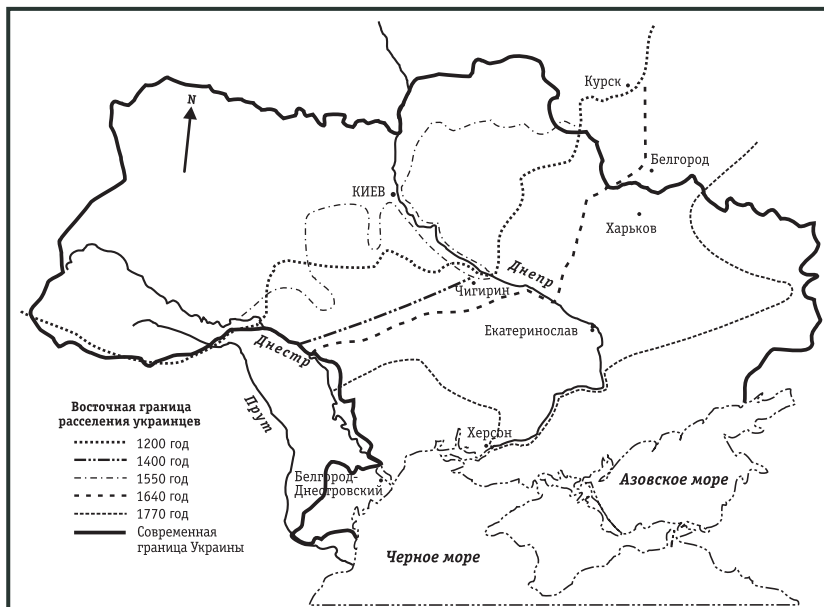


Рисунок 7.4. Украинская колонизация до 1770 года

**Источник:** Крипякевич І. *Історія української колонізації*. // Кубійович В. *Географія українських та суміжних земель*. Краків-Львів, 1943, р. 264.

XVI века южная граница оседлого населения в России проходила примерно на уровне Оки («Тульская линия»), а на Украине даже на правом берегу Днепра «под самым Житомиром жители „на селищах не смеют перед татарами жити“. Все пусто на восток от Винницы. На левом берегу только на Десне и за Десной ютятся несколько сел»<sup>23</sup>. Однако со второй половины XVI века продвижение на юг ускоряется, донские казаки выходят к низовьям Волги и Дона, на территорию Предкавказья и здесь встречаются со своими украинскими собратьями. «До 70-х годов XVII века, — пишет Милюков, — донцы могли расширять свою территорию колонизацией свободных земель. Но..., с царского же разрешения, надвигалась им наперерез с востока малорусская колонизация. К 1670-м годам она подошла к Дону очень близко»<sup>24</sup>.

Активная украинская колонизация правого, а затем и левого берегов Днепра набирала размах по мере усиливающегося давления России и Польши на крымских татар и стоявшую за их спиной Турцию<sup>25</sup>. Немалую роль сыграло и соперничество Рос-

<sup>23</sup> Милюков П. Н. *Очерки...* (1993). Т. 1, с. 457.

<sup>24</sup> Там же, с. 465.

<sup>25</sup> «Только после того, как Москва построила в 1550–1560 гг. укрепленную „Тульскую“ линию, доведя ее до Путивля, заселение этих мест пошло быстрее. Значительно позднее польское правительство принялось также за постройку укреплений на севере Полтавщины. Очевидец и участник

сии и Польши, экономическое и религиозное притеснение украинцев со стороны польских властей. Под влиянием политических событий продвижение украинского населения на восток то усиливалось, то ослабевало, но не прекращалось. Во второй половине XVII века были заселены почти вся будущая Харьковская губерния, юг Курской и запад Воронежской. «На землях Слободской Украины (район между Курском, Полтавой и Харьковом) миграция „черкасс“ со второй половины XVII в. сливается с московской колонизацией — наполовину правительственно-военной, наполовину вольно-народной»<sup>26</sup>.

Московское правительство не препятствовало украинской колонизации, более того, поддерживало ее, не делая разницы между украинцами и великороссами. Казачество — передовой отряд восточнославянской колонизации — с самого начала имело смешанное великорусско-украинское происхождение. Даже на Дону, по преимуществу великорусском, всегда присутствовали и украинцы. Упомянув о древнейшем казацком городке (Верхних Раздорах) как о пункте сосредоточения донских казаков, историк тут же добавляет, что «немного позже эта роль перешла к черкасскому городку, основанному, по некоторым известиям, выходцами из Малороссии в 1570 г.»<sup>27</sup>. Позднее «контингент донского казачества сильно увеличился... от прилива в его среду малорусских казаков после усмирения казацких восстаний первой половины XVII столетия»<sup>28</sup>. В начале XVIII в. Петр I, добивавшийся ограничения вольностей донских казаков, подверг их репрессиям и отобрал у них часть земель, которые «были поделены отчасти между малороссийской колонизацией..., отчасти между южно-великорусской (Воронежская провинция)»<sup>29</sup>. Украинцы принимали участие в формировании и терского казачества. А в конце XVIII века, при Екатерине II, расформировавшей Запорожскую сечь, было создано новое казачье войско — Черноморское, вскоре переселенное на Кубань для освоения созданной там очередной укрепленной линии. «Контингент военного люда для поселения по этой линии дал уже не Дон, а Запорожье и вообще Малороссия... В общей сложности на Кубань переселилось запорожцев из Турции и Малороссии более 100 тысяч человек»<sup>30</sup>. В 1860 г. Черноморское казачье войско было переименовано в Кубанское. Оно сыграло очень важную роль в покорении Кавказа — «честь выполнения этого славного дела, — говорилось в императорском рескрипте, — принадлежит преимущественно казакам Кубанского войска»<sup>31</sup>.

этой военной колонизации, французский инженер Боплан оставил нам живое свидетельство о ней. „В течение пятнадцати лет на службе у двух польских королей (1630–1647), — пишет он, — я основал более пятидесяти значительных слобод или колоний, образовавших, в свою очередь, в несколько лет до тысячи деревень, благодаря приросту новых поселений. Это население раздвинуло границы государства...; эта страна (большая часть которой заселена была при мне) составляет теперь неприступный оплот против могущества турок“ (*Милюков П. Н. Очерки... (1993). Т. 1, с. 457*).

<sup>26</sup> Покшишевский В. В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951, с. 12.

<sup>27</sup> Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. М., 1909, с. 278.

<sup>28</sup> Там же, с. 279.

<sup>29</sup> Милюков П. Н. Очерки... (1993). Т. 1, с. 466.

<sup>30</sup> Любавский М. К. Историческая география России..., с. 287–288.

<sup>31</sup> Цит. по: Куценко И. Я. Кубанское казачество. Краснодар, 1993, с. 213.

Одним из результатов колонизации XVII–XIX веков было то, что территория более или менее компактного расселения украинцев увеличилась не менее чем в два раза, распространившись на востоке до Дона и Кубани, на юге — до берегов Черного и Азовского морей. «Огромная территория, равная, примерно, половине Украины, присоединилась к ней с этнографической точки зрения»<sup>32</sup>. Нынешняя государственная территория Украины — в очень большой мере — результат этой колонизации. По словам О. Субтельного, «веками продвижение восточных славян на плодородные черноземы Юга и к Черному морю было постоянным фактором истории Украины. К концу XVIII в. эта цель была наконец достигнута. В основном благодаря усилиям русского имперского правительства, южная треть Украины была открыта для развития — достижение, сравнимое по своему значению с открытием американского Запада»<sup>33</sup>.

Восточнославянская колонизация шла такими темпами, что уже в XVIII веке «истощился... колонизационный материал — малорусский и великорусский»<sup>34</sup>. А поскольку колонизационные планы правительства оставались большими, «оно обратилось к заграничному переселенческому материалу»<sup>35</sup>, а также к бежавшим за границу раскольникам. Так в Новороссии и в Поволжье появились южные славяне (сербы, болгары), молдаване, гагаузы из тогдашних турецких и австрийских владений, греки и армяне из Крыма, немцы. Скажем, немцы в Поволжье появились в 1760-е годы в ответ на манифест Екатерины II, приглашавшей иностранных колонистов селиться на Волге южнее Самары. Позднее, уже в 80-е годы, правительство снова обратилось к иностранным колонистам-сектантам и отвело под их поселение более 500 тысяч десятин в Новороссийском крае. Стало быть, восточнославянская в своей основе колонизация издавна вовлекала в поток переселенцев не одних только великороссов, малороссов и в меньшей степени белорусов, хотя, конечно, они составляли большинство. К концу XIX века население всех прилегающих к Черному и Азовскому морям губерний было в основном украинско-русским.

Однако колонизационное движение не прекращалось. Оно шло волнами, только-только заселенные области сами становились районами выхода новых колонизационных потоков, и по-прежнему главную массу переселенцев составляли русские и украинцы. С 1896 по 1912 г., в период массовых крестьянских переселений в Сибирь, 42% из 4,5 млн. переселившихся сюда жителей Европейской России составляли выходцы из губерний, находившихся на территории современной Украины (за вычетом отошедшей к ней части Области войска Донского)<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> Полонська-Василенко Н. Історія України. Київ, 1992, т. 1, с. 465.

<sup>33</sup> Субтельний О. Україна. Історія. Київ, 1993, с. 237.

<sup>34</sup> Милюков П. Очерки... (1918). Ч. I, с. 63.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Покшишевский В. В. Цит. соч., с. 173.

## 7.4. Заселение Сибири

**П**ространство восточнославянской колонизации понемногу вбирало в себя некоторые азиатские элементы, даже оставаясь географически европейским. Подлинное же его превращение в «евразийское» началось с освоением Сибири. Поначалу оно воспринималось как простое продолжение предшествующей колонизации и лишь позднее стало осознаться как чуть ли не поворотная точка в истории России. «Московская власть едва ли предвидела, — писал Милюков, — что здесь создается то „жизненное пространство“, которое составит переход Москвы от „царства“ к „империи“»<sup>37</sup>.

В самом деле, с выходом за Урал рядом с Европейской Россией формально появилась Азиатская, в конце концов в несколько раз по территории превзошедшая ее. Но при этом и сама колонизация вступила в новый этап, приобрела иной характер. До тех пор, пока она разворачивалась к западу от Урала, речь шла о расширении области компактного расселения восточнославянских народов, отчасти перемешанных с находившимися на завоеванных землях угро-финнами и тюрками, по сути, о расширении территории единого более или менее равномерно заселенного государства. С Сибирью дело обстояло иначе.

Ее более или менее массовому заселению предшествовало длительное проникновение сюда отрядов московских войск и казаков, а вместе с ними и купцов, причем это движение происходило по преимуществу в северной части Сибири, в ее лесной зоне, где для массовой восточнославянской колонизации условий не было. Ибо в основе своей такая колонизация в России всегда была земледельческой, до перехода через Урал ей неизменно благоприятствовали климатические и почвенные условия огромной Восточноевропейской равнины. Что же касается беспредельных зауральских просторов, то лишь относительно малая часть их, правда, совсем не малая по абсолютным размерам, с учащающимися перерывами тянувшаяся вдоль пятидесятой параллели (к северу от нее) до самого Тихого океана, — южная Сибирь и южный Дальний Восток — более или менее отвечает требованиям европейского земледелия. Только эта полоса и была пригодна для массового крестьянского заселения. Отряды московских завоевателей вышли сюда, в западно-сибирскую и забайкальскую лесостепь, только во второй половине XVII века. Но их заселение с самого начала было затруднено огромностью расстояний, а также ограниченностью людских ресурсов в Европейской России: даже для многолюдной России Северная Азия была слишком велика.

Центральные районы Европейской России страдали от аграрного перенаселения, земледельческая колонизация окраинных территорий помогала несколько ослабить его. Но пригодные для крестьянских переселений земли были не только за Уралом. Помимо уже упоминавшейся колонизации южнорусских степей, немалую роль играли и переселения на другие, ближние «украины» европейской части страны — в Поволжье, Предуралье, на Северный Кавказ. А теперь появились и простиравшиеся за Уралом пло-

<sup>37</sup> Милюков П. Н. Очерки... (1993). Т. 1, с. 488.



дородные земли Сибири, Дальнего Востока, степной части Казахстана. В России просто не хватало населения, чтобы освоить эти огромные просторы.

Не удивительно, что заселение Азиатской России, в том числе и собственно Сибири и Дальнего Востока, шло медленно. В начале XVIII века (1710 г.) русское население Сибири насчитывало немногим более 300 тыс. человек<sup>38</sup>, «такой ничтожный результат... объясняется..., главным образом, ничтожностью русского колониционного фонда»<sup>39</sup>. До конца XVIII века прирост этого населения «не выходит из норм, обычных для одного лишь естественного»<sup>40</sup>, оно увеличилось, примерно, до 600 тыс. человек<sup>41</sup>. В XIX веке положение изменилось, но не так сильно, как иногда думают. В частности, на заселение Сибири и Дальнего Востока сравнительно мало повлияли крестьянские миграции конца XIX – начала XX веков, сконцентрированные к тому же в основном в степной и лесостепной зонах на границе Западной Сибири и Северного Казахстана. (Эта зона приняла львиную долю общего потока крестьян-переселенцев в Сибирь за период с 1861 по 1914 г. — 3,4 из 4,1 млн. человек<sup>42</sup>.)

Впоследствии «евразийцы» писали о двух европейских колониционных волнах, идущих одна на Восток, а другая на Запад от линии Неман — Западный Буг — Сан — устье Дуная «и сталкивающихся на берегах Берингова моря»<sup>43</sup>. Русские землепроходцы и в самом деле дошли до Берингова моря и даже дальше — до Калифорнии. Аляска до 1867 г. входила в состав Российской империи. Была и «восточная» колониционная волна. Но ее едва ли правомерно ставить в один ряд с «западной». Эта последняя была чрезвычайно мощной, она создала население США и Канады, Австралии и Новой Зеландии, повлияла на состав и численность населения Латинской Америки, Южной и Северной Африки, в полном смысле слова изменила лицо мира. Только с начала XIX в. и до начала Первой мировой войны из Европы за океан выехало более 50 млн. человек, из которых примерно две трети осели на новых местах<sup>44</sup>. За то же время — с 1800 по 1914 г. в Азиатскую Россию, преимущественно в Сибирь и на Дальний Восток, переселилось немногим более 7 млн. человек<sup>45</sup>, в том числе 3,7 млн. — после 1870 г.<sup>46</sup> В конце XIX века во всей Сибири вместе с Дальним Востоком насчитывалось лишь 5,8 млн. человек — 4,6% населения Российской империи и 6,2% населения Европейской России<sup>47</sup>, в 1913 г. — около 10 млн<sup>48</sup>.

<sup>38</sup> Покшишевский В. В. Цит. соч., с. 72.

<sup>39</sup> Любавский М. К. Историческая география России..., с. 341.

<sup>40</sup> Покшишевский В. В. Цит. соч., с. 101.

<sup>41</sup> Там же. По данным Кабузана, русское население Сибири в 1719 г. — 321 тыс. человек, в 1795 — 819 тыс. (Кабузан В. Русские в мире. Спб., 1996, с. 294).

<sup>42</sup> Там же, с. 170.

<sup>43</sup> Евразийство... с. 377.

<sup>44</sup> Народонаселение стран мира. Справочник. М., 1984, с. 403.

<sup>45</sup> Оболенский В. В. (Осинский) Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. М., 1928, с. 84–85.

<sup>46</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 320. По оценке Покшишевского, за 1861–1914 гг. — немногим более 4 млн. человек. (Покшишевский В. В. Цит. соч., с. 166).

<sup>47</sup> Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Краткие общие сведения по империи. Распределение населения по главнейшим сословиям, вероисповеданиям, родному языку и по некоторым занятиям. Спб., 1905, с. 5, 7.

<sup>48</sup> Рашин А. Население России за 100 лет. М., 1956, с. 26.



Ограниченность демографических ресурсов России была важным, но не единственным препятствием заселению Сибири. И завоевательные походы, и даже мирное переселенческое движение за Урал требовали огромного напряжения сил, были очень тяжелы для переселенцев, на которых ложилось основное бремя освоения новых земель. Крестьянские переселения были очень трудными, сопровождалась тяжелейшими лишениями, большими демографическими потерями. Многочисленные описания одних только условий переездов крестьянских семей<sup>49</sup> рисуют картины, сравнимые с теми, какие приводят авторы, описывающие транспортировку ссылавшихся кулаков или депортированных народов в сталинские времена. Очень нелегким было и обустройство после прибытия на место. Лишь в 90-е годы XIX века «под впечатлением тех страшных бедствий, которые претерпевали десятки тысяч переселенческих семей на своем многотрадном пути»<sup>50</sup>, государство заняло более активную позицию в смысле помощи переселенцам, хотя кардинальных перемен, по-видимому, все же не произошло.

В заселении Азиатской России немалая роль принадлежала ссылке и каторге. До 80-х годов XIX века число направившихся сюда заключенных и ссыльных превосходило, в некоторые десятилетия — в два-три раза, число осевших переселенцев-крестьян. С 1795 по 1858 г. на 350 тыс. ссыльных пришлось всего 167 тыс. переселенцев<sup>51</sup>. В целом же за 1800–1914 гг. заключенные и ссыльные составили примерно 18% всех, переместившихся из Европейской в Азиатскую Россию<sup>52</sup>. Помимо ссылки как формы наказания, существовало еще введенное в 1760 г. насильственное переселение в Сибирь крепостных крестьян, которые засчитывались помещикам за рекрут. «Колонизационная цель этого закона очевидна, и в значительной степени она была достигнута. Но — какой ценой? Для крестьян это была высшая точка их бесправия; для помещиков — удобный способ заменить поставку здоровых рекрут крестьянами, неспособными к работе и к военной службе... Подобным человеческим материалом правительство неоднократно пыталось заселить наиболее отдаленные и неудобные места... Поселенцы бедствовали, разбегались, вымирали»<sup>53</sup>. При всей значительности демографического вклада насильственных переселений всех видов, изменить положения с заселением Сибири коренным образом они не могли.

В свое время, размышляя о возможностях колонизации Сибири, М. Венюков полагал, что «на прилив свободных, образованных, а тем более зажиточных западно-европейских колонистов ей рассчитывать нечего... Из Европейской России также можно ожидать прихода только людей бедных и необразованных, хотя бы даже энергических, да и тех в небольшом числе»<sup>54</sup>. Он говорил о естественно-географических и нрав-

<sup>49</sup> См., напр., подборку таких описаний в книге А. Кауфмана «Переселение и колонизация». Спб., 1905, с. 35–40, 101–107. Кауфман приводит данные о том, что в некоторых переселенческих партиях за время переезда умирало 30–40% детей в возрасте до 8 лет, общая же смертность в конце 80-х – начале 90-х годов превышала 6, 7 иногда даже 8%.

<sup>50</sup> Кауфман А. Переселение и колонизация, с. 44.

<sup>51</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 309.

<sup>52</sup> Оболенский В. В. (Осинский) Цит. соч., с. 84–85.

<sup>53</sup> Милуков П. Н. Очерки... (1993). Т. 1, с. 500.

<sup>54</sup> Венюков М. И. Поступательное движение России в северной и восточной Азии. // Венюков М. Россия и Восток. Собрание географических и политических статей. Спб., 1877, с. 83–84.

ственно-политических препятствиях заселению Сибири, об отсутствии путей сообщения и капиталов для их строительства. Был, правда, случай, писал Венюков, когда американцы предложили (в 1857г.) за свой счет построить «рельсовый путь между Амуром и Байкалом, что много облегчило бы заселение Амурского края, то есть экономической и политической важнейшей части Азиатской России; но предложение... было отклонено, так как возникло опасение, что нравы, обычаи и понятия американцев могут принести больше нравственного вреда Забайкалью и Амурской стране, чем построенная ими железная дорога вещественной пользы»<sup>55</sup>.

Но ко всему этому Венюков, сравнивавший неуспехи сибирской колонизации с успехами североамериканской, добавлял указание на «странное, исключительно Сибири свойственное экономическое явление: отсутствие частной поземельной собственности... Вся необъятная площадь Сибири принадлежит государству или, собственно говоря, никому, потому что завладение землями свободно для каждого русского подданного, и даже можно сделать известный участок своим личным имуществом, распахав новь изпод леса, хотя все это не будет вечное, потомственное, а только фактически пожизненное владение. Государство сохраняет за собою право по истечении сорока лет взять эту землю безвозмездно назад. Для большинства русских простолюдинов, населяющих Сибирь, это условие пока не стеснительно; крестьянин даже доволен, что обширные земли вокруг его деревни составляют ее принадлежность на общинном праве: это дает ему возможность чаще переменять поля, не тратясь на удобрение истощившейся почвы. Но для крупного землевладельца, фермера и фабриканта такие хозяйственные условия крайне невыгодны»<sup>56</sup>. К началу XX века Сибирь оставалась крайне слабо заселенной, а освоенные здесь земли имели «вид постепенно суживающегося зазубренного меча, тончающего и слабеющего на своем восточном конце, вклинившегося между суровыми в климатическом отношении территориями севера Азии и исконными землями самого обширного государства желтой расы»<sup>57</sup>.

## 7.5. Продвижение на Кавказ и в Среднюю Азию

**Н**ам уже знакомы слова Ключевского о том, что, с конца XVIII века русское государство, «вобравши в себя всю русскую национальность..., начинает освобождать другие национальности, родственные русской в религиозном или племенном смысле» (разумеется, «русская национальность» у Ключевского — это все восточные славяне). В действительности же XIX век — время присоединения к России земель, населенных народами, весьма далекими в племенном, а в большинстве случаев и религиозном отношении. Главные из них — Кавказ и Средняя Азия.

Еще в XVI веке, когда Московское государство утвердилось в устье Волги, это, по словам С. Соловьева, открыло ему «целый мир мелких владений в Прикавказье: князья их ссорились друг с другом, терпели от крымцев, и потому, как скоро увидели у себя в соседстве могущественное государство, бросились к нему с просьбами о союзе, свобод-

<sup>55</sup> Там же, с. 84.

<sup>56</sup> Там же, с. 85–87.

<sup>57</sup> Семенов-Тянь-Шанский В. Цит. соч., с. 16.

ной торговле в Астрахани, некоторые с предложением подданства, и таким образом незаметно, волею-неволею затягивали Московское государство все далее и далее на восток, к Кавказу и за него»<sup>58</sup>.

Некогда, во времена Давида Строителя и царицы Тамары (XI–XIII вв.), в Закавказье существовало могущественное Грузинское царство, контролировавшее земли нынешних Грузии, Армении и Азербайджана. Позднее, особенно после завоевательных походов Тамерлана в XIV веке, оно распалось на части, не способные противодействовать давлению крупных держав, отстаивать свою реальную независимость, защитить себя от набегов северокавказских соседей. Персия и Турция не одно столетие вели борьбу за контроль над образовавшимися здесь княжествами и ханствами, а затем в эту борьбу включилась и Россия. Во второй половине XVIII века ее победы в русско-турецких войнах изменили военно-политический баланс в регионе, но не привели к восстановлению бывшего величия грузинских царей. Изменившаяся обстановка вынудила Грузию сначала к поиску российского покровительства (Георгиевский трактат 1783 г. о протекторате России над Восточно-Грузинским царством), а затем к присоединению к России — сперва Восточно-Грузинского царства (в 1801 г.), а затем и западно-грузинских земель — Мингрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и Ахалцихской области. Складывание «российской» Грузии растянулось на столетие, последней вошла в состав империи Аджария — уже в конце 70-х годов XIX века.

Соперничество между Россией, Турцией и Персией определило и судьбу Азербайджана. Еще в XVIII веке (в 1724 г.) он был разделен между этими тремя державами, в основном между Россией и Турцией. Двенадцать лет спустя Россия возвратила Персии прикаспийские области Азербайджана, а Персия отвоевала азербайджанские районы, захваченные Турцией, что тогда было выгодно России, заинтересованной в ослаблении Турции. Но борьба держав на этом не закончилась. В начале XIX века, после двух русско-персидских войн, земли северного Азербайджана снова отошли к России. По Туркманчайскому миру 1828 г. была установлена граница между Северным (российским) и южным (иранским) Азербайджаном по р. Аракс, дожившая до наших дней.

В результате всех этих подвижек в составе России оказались и зависившие от Грузии или непосредственно от Турции и Персии (Эриванское, Нахичеванское, Ганджинское, Карабахское ханства, Ахалцихская область) земли со значительным армянским населением. Армения тоже знала в прошлом периоды государственного могущества. Но постоянные войны с более сильными соседями, вторжения турок-сельджуков, а позднее татаро-монголов разрушили армянскую государственность. События конца XVIII – начала XIX веков привели Восточную Армению в состав России. После присоединения к ней Эриванского и Нахичеванского ханств из них была создана Армянская область, ставшая ядром будущего нового армянского государства.

Присоединение более крупных, имевших давние традиции собственной государственности закавказских владений оказалось более простым и совершилось раньше, нежели включение в состав империи раздробленного и полудикого горского Кавказа. Он был завоеван Россией в XIX веке в ходе кровопролитной войны, длившейся несколько

<sup>58</sup> Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. III, т. 6, М., 1960, с. 489.

десятилетий (1817–1864 гг.). Начиная войну, император Николай I писал генералу Паскевичу: «Предстоит вам другая задача... — это покорение горских народов или истребление непокорных»<sup>59</sup>. Эта задача была исполнена, хотя и не без труда. Несмотря на неравенство сил, горцы упорно сопротивлялись, даже терпя поражения, заставляли считаться с собой. Но в конце концов Кавказ был покорен. Русские войска добивались этого, как писал историк Е. Фелицын в начале XX в., «с неумолимой суровостью. Черкесские аулы выжигались сотнями, посеы их истреблялись или вытаптывались лошадьми, а жители, изъявившие покорность, выселялись на плоскость под управление наших приставов, непокорные же отправлялись на берег моря для переселения в Турцию»<sup>60</sup>.

Последним крупным приобретением Российской империи стала Средняя Азия, точнее ее часть, если отождествлять Среднюю Азию с Туркестаном, «состоящим из трех частей: древней Согдианы (Transoxiana — на латыни, Ma-wa ran Nahr [Мавараннахр] — по-арабски), к которой можно присоединить Хорезм и Хорасан; Yeti Su, или Семиречья; Восточного Туркестана (Синцзяна), или Кашгарии»<sup>61</sup>.

Российская империя приближалась к Туркестану постепенно, по мере расширения своих южных владений. Еще раньше в орбиту русского влияния попал Казахстан. Его присоединение к России началось в XVIII веке. В 1731 г. принял российское подданство хан Младшего жуза, в 1740 г. — в ее состав вошел Средний жуз, в 1846 г. — Старший жуз (Семиречье), находившийся под властью Коканда. Затем наступила очередь существовавших в первой половине XIX века собственно среднеазиатских ханств — Бухарского, Кокандского и Хивинского, а также нескольких более мелких полунезависимых владений. Прямая подготовка к их завоеванию началась в 30-е годы XIX в., с 50-х годов шел постепенный захват территорий. В 1854 г. был заложен форт Верный (Алма-Ата), в 1865 г. взят Ташкент, в 1868 — Самарканд. В 1868 г. признали вассальную зависимость от России Бухара и Коканд (несколько лет спустя — в 1876 г. Кокандское ханство было упразднено), а их земли, занятые до этого, присоединены к России. В 1873 г. установлена вассальная зависимость Хивинского ханства. В 1880–1881 гг. завоевана Туркмения. Присоединение Средней Азии далось России относительно легко, ее веса великой державы часто было достаточно, чтобы заставить отступить имевшихся в регионе конкурентов и решить многие вопросы средствами дипломатического нажима и выкручивания рук. Но не раз шло в ход и оружие, обращенное против несравненно более слабого противника. «В этом отношении Туркестан не может идти в сравнение с Кавказом. Нередко огромные города брались штурмом горстью людей, а десятки тысяч войска разбивались наголову при потере нескольких человек»<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Цит. по: Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Вильнюс, 1990, с. 86.

<sup>60</sup> Цит по: Касумов А. Х. Разные судьбы. Нальчик, 1967, с. 7.

<sup>61</sup> Hauner M. What is Asia to us... , p. 73.

<sup>62</sup> Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб., 1902, т. 34, с. 175. Вот несколько фрагментов из описания штурма, приведшего к захвату Геок-Тепе. Оно принадлежит перу участника штурма, впоследствии военного министра, Куропаткина. «Генерал Скобелев собрал под стены Денгиль-тепе 47 рот пехоты, 9 эскадронов и сотен конницы, 58 орудий, 5 картечных, 16 мортир, 227 офицеров, 6672 нижних чинов... Выпущено в день штурма снарядов 5604, ракет 224, патронов пехотных 273000, кавалерийских 125000... Во время штурма у неприятеля отбиты: два горных орудия... одно медное гладкое орудие, два чугунных замбурека... 1500 штук ружей, писто-

Считается, что присоединение Туркестана завершилось в 1885 г., когда окончательно определилась юго-западная граница «русского» Туркестана с Афганистаном, хотя оставались еще нерешенными некоторые пограничные вопросы на Памире. Здесь последний пограничный столб был врыт в 1895 г. «Российская империя завершила присоединение Средней Азии. Ее пограничная линия приняла окончательный характер»<sup>63</sup>. Впрочем, действительно ли она рассматривалась как окончательная? Ведь оставались еще китайская, иранская и афганская части Туркестана. Правда, уже в XIX веке раздавались голоса, предостерегавшие от проникновения в его восточную, китайскую часть. Ее покорение противно интересам России, писал более ста лет назад М. Венюков. «Наша теперешняя граница по Тянь-Шаню лучше, потому что совершенно определительна и недоступна, тогда как Джинтышар не имеет естественных пределов с востока. Кроме того, Россия уже сделала столько завоеваний в мусульманской Азии, что может желать только одного: не увеличивать без необходимости числа своих магометанских подданных, да еще таких беспокойных людей, какими всегда оказываются обитатели восточного Туркестана»<sup>64</sup>. Но в отношении южного Туркестана тот же Венюков был настроен более воинственно. Россия, полагал он, «не может еще остановиться в своем поступательном движении, пока не замкнет с юга степей, простирающихся до Хорасана и Гиндукуша»<sup>65</sup>. Рано или поздно она «должна исполнить свое призвание: занять Туркестан сполна»<sup>66</sup>.

Это призвание так и осталось неисполненным, но и без того среднеазиатские завоевания XIX века расширили ее территорию на полтора миллиона квадратных километров<sup>67</sup> и привели в ее состав более 5 млн. человек.

летов и шашек... Мы потеряли выбывшими из строя [убитыми и ранеными] офицеров 34, нижних чинов 364, лошадей 71... Потеря неприятеля во время бомбардирования, при штурме и преследовании, составила свыше 6000 человек... Преследование и рубка продолжались 15 верст... Еще оставшиеся сплоченными толпы текинцев были рассеяны, а значительную часть женщин удалось возвратит в крепость с целью иметь залог для возвращения жителей в свои жилища... Внутри крепости нами взято до 5000 женщин и детей. Все мужчины были убиты или бежали». (*Куропаткин А. Н. Завоевание Туркмении. Спб., 1899, с. 199–211*). Именно эту победу славил Достоевский. «Имя белого царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индейской императрицы, превыше даже самого калифова имени. Пусть калиф, но белый царь есть царь и калифу». (*Достоевский Ф. М. Геок-Тепе. Что такое Азия для нас? (Дневник писателя, 1881). // Полн. собр. соч., т. 27, с. 33, 38*).

<sup>63</sup> *Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. М., 1965, с. 404.*

<sup>64</sup> *Венюков М. И. Поступательное движение России в Средней Азии. // Венюков М. Россия и Восток, с. 195. Предостережения Венюкова не всем показались убедительными. Об этом говорят и провозглашение в Синьзяне вскоре после Второй мировой войны, не без помощи СССР, независимой республики Восточного Туркестана, и даже, как ни странно, мечтания постсоветских российских «геополитиков», вспоминающих идеи русских императоров о присоединении Синьзяна к России и полагающих, что «к этой линии следует вернуться» (*Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997, с. 362*).*

<sup>65</sup> *Венюков М. И. Поступательное движение России в Средней Азии, с. 173.*

<sup>66</sup> Там же, с. 198.

<sup>67</sup> Территория, как не преминул заметить автор энциклопедической статьи, равная «Германии, Франции и Австро-Венгрии вместе взятым». (*Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб., 1902, т. 34, с. 175*).

## 7.6. Оттеснение инородцев

**В** итоге нескольких веков восточнославянской, по преимуществу, колонизации, сопровождавшейся вхождением в состав империи народов, живших на присоединяемых землях, к концу XIX века население империи насчитывало 130 миллионов человек — около 8% мирового населения. В это время, свидетельствует перепись 1897 г., жители России говорили на 146 языках и наречиях. Русские (то есть, в терминах публикаций переписи, все восточные славяне — великороссы, малороссы и белорусы) составляли две трети населения империи (66,8%)<sup>68</sup>. Православных было чуть больше — свыше 69%. Кроме того, насчитывалось свыше 11% мусульман, свыше 9% католиков, около 3% протестантов, более 4% иудеев, были представители и других христианских и нехристианских конфессий (старообрядцы, армяно-грегориане, буддисты и пр.).

Такая пестрота этнического и религиозного состава порождала множество проблем, которые далеко не всегда получали мирное и безболезненное решение. Многие из них возникали в связи с самим фактом колонизации и непростыми отношениями между пришлыми колонизаторами и коренными жителями присоединяемых земель. Г. Федотов писал, что в умах русской интеллигенции «укоренилось... наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилем, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией»<sup>69</sup>. «Параллельный немецкому русский *Drang nach Osten*, — продолжает Федотов, — оставил меньше кровавых следов на страницах истории»<sup>70</sup>, но тоже не был мирным и бескровным.

Еще и сегодня жива мифология российского колониализма, наделяющая его чертами особой терпимости, гуманности по отношению к присоединяемым народам. «Царизм, — утверждает современный исследователь, — не делал в своей миграционной политике различий между народностями страны... Неславянские народы России были включены в основном в разряд государственных крестьян. Это открыло перед ними сравнительно широкие возможности заселять окраины страны. Ими в должной мере воспользовались татары, мордва, чуваша, молдаване, а из иностранных выходцев — болгары, греки и армяне»<sup>71</sup>.

Выше уже отмечалось, что русских и украинцев не хватало для заселения непрерывно разраставшихся российских просторов, и на каком-то этапе было просто необходимо обратиться к «иностранному переселенческому материалу». В результате в миграционное движение на «окраины» и были вовлечены перечисленные в предыдущем абзаце народы. Но само по себе это еще не означает отсутствия дискриминационной миграционной политики в другие периоды или по отношению к другим народам — ведь население России говорило чуть не на ста пятидесяти языках.

<sup>68</sup> Первая всеобщая перепись населения Российской империи..., таблица 1.

<sup>69</sup> Федотов Г. Судьба империй. // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993, с. 338.

<sup>70</sup> Там же.

<sup>71</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 108.

Как раз «миграционная политика» имперских властей, сами реальности миграций — давних и недавних — говорят о том, что различия между народностями были — и немалые. Печальную, хотя и не очень хорошо известную страницу русской колонизации составляет вытеснение значительной части населения колонизируемых земель, иногда обрекавшее его на жизнь в худших природных и экономических условиях, а нередко побуждавшее и вовсе покинуть земли своих предков.

Начиная с XV, но в основном в XVI веке в состав Московского государства, помимо восточнославянских земель, включаются и земли, заселенные неславянскими народами. Вначале это — северо-восточный угол Европы, где к тому времени жили народы **финно-угорской** группы; мордва, удмурты (вотяки), марийцы (черемисы), коми (зыряне). Наступление на финно-угорские народы имеет давнюю историю. Колонизация земель крупнейшего из них — мордвы — началась в XIII веке, «первые шаги, еще до татарского нашествия носили характер форменного завоевания»<sup>72</sup>. Во время татарского ига мордва платила ясак татарам, «после победы Дмитрия Донского мордовские земли стали переходить к московским служилым людям и татарским царевичам, перешедшим на московскую службу»<sup>73</sup>. Позднее проводилась активная политика обращения мордвы в христианство, часто под прямой угрозой силы.

Примерно так же обстояло дело и с другими финно-угорскими народами, а также с тюркоязычными чувашами. Их покорение было облегчено слабостью их социальной организации, политической и культурной несамостоятельностью, зависимостью от татарско-мусульманского мира, который сам был ослаблен. Все же и эта колонизация не была ни мирной, ни безобидной для коренного населения, которое, «особенно та его часть, которая могла и умела организовываться в более широкие племенные союзы, — не так легко уступала места славянской колонизации... оказывала более или менее сильное сопротивление»<sup>74</sup>. Терпя поражения, туземцы уходили в глубь лесов или перемещались на новые места — так шло их постепенное оттеснение. Лишь со временем колонизация приобрела более мирные формы, но не приостановилась. В XVII веке, пишет Милюков о марийцах (черемисах), московское правительство уже пыталось защитить их интересы, запрещало отчуждение их земель. Но оно «не могло остановить ни роста служилого сословия, ни внедрения русских колонистов в среду черемисских поселений... Численность русского населения постепенно растет, а численность черемисов соответственно убывает... Здесь играет роль не только вселение русских, но и обрусение черемисов... Меняется язык, отчасти и быт, но сохраняется антропологический тип — или появляются, благодаря смешанным бракам, смешанные формы»<sup>75</sup>.

В конце XVIII века продвижение русской колонизации в Нижнее Поволжье привело к ликвидации Калмыцкого ханства (1771 г.), после чего 200 тыс. **калмыков** (буддистов) эмигрировало в Джунгарию (северо-западный Китай)<sup>76</sup>.

<sup>72</sup> Милюков П. Н. Очерки... (1993). Т. 1, с. 477.

<sup>73</sup> Там же.

<sup>74</sup> Там же, с. 471.

<sup>75</sup> Там же, с. 474.

<sup>76</sup> Кабузан Н. Цит. соч., с. 106.



Непросто проходила колонизация **тюркско-мусульманского** мира. Некогда он складывался из поволжских и крымских татар, довольно тесно связанных между собой. В первой половине XVI века к западу от Урала существовали три татарские ханства: Казанское, Астраханское и Крымское, возникшие на развалинах Золотой Орды, причем в этот период все они находились в руках одной династии Гиреев. Победы Ивана Грозного рассекали этот мир. Поволжские (казанские и астраханские) татары вошли в состав России, самостоятельное же Крымское государство продолжало существовать еще более двух столетий. Оно, правда, находилось в вассальной зависимости от Османской империи, но это не только не мешало ему долгое время представлять серьезную самостоятельную угрозу для своих северных соседей — Московского и Польско-литовского государств, но даже усиливало ее. Крымское ханство контролировало все северное Причерноморье от Дуная до Дона, отодвинув довольно далеко к северу границы московского и польско-литовского контроля. «Своими набегами крымские ханы в течение XVI–XVIII веков держали в страхе окраины, а в XVI веке также и центральные области Польско-литовского и Московского государств. Еще в XVII веке крымцы хозяйничали на Украине. В начале XVIII века Слободскую Украину почти каждый год постигал татарский набег... В геополитическом смысле Крымское ханство в значительной мере восстановило юго-западную границу владений Золотой Орды»<sup>77</sup>. К этому нужно добавить, что крымские татары довольно свободно хозяйничали и на Северном Кавказе. Так, только за первую половину XVIII века и только на земли западных адыгов и кабардинцев крымским ханом было совершено семь длительных военных походов (в 1702, 1705, 1707, 1711, 1720, 1731, 1745 гг.), в большинстве вдохновляемых и поддерживаемых Турцией<sup>78</sup>. Все они сопровождались истреблением, уводом в плен и разорением местных жителей.

Завоевание Россией Крыма — деталь сложной глобальной геополитической мозаики, часть европейской антитурецкой реконкисты XVII–XVIII веков. Для России оно имело огромное стратегическое значение. Но интересно, что Ключевский, оправдывая прорыв России к Черному морю, ссылается не столько на военно-политические соображения, сколько на кажущуюся безупречной логику аграрной колонизации. «Крымские татары, сами не пользуясь плодородной почвой южной России, не позволяли пользоваться ею и русскому населению, вырывали эти обширные и плодородные степи из европейского хозяйственного оборота. Надо было оторвать у них и оградить от них эти степи. Но крымские татары находили себе поддержку в Константинополе; хозяйственное приобретение южнорусских степей могло быть достигнуто только борьбой с Турцией. Вот в чем состоял турецкий вопрос для правительств XVIII века, и тогда он не состоял ни в чем более»<sup>79</sup>. «Масса русского населения, некогда скученная на неплодородном верхневолжском суглинке, должна была перенести свой труд на южный плодородный чернозем, обработка которого невозможна была при господстве татар на юге России»<sup>80</sup>.

<sup>77</sup> Савицкий П. Н. Геополитические заметки по русской истории. «Вопросы истории», 1993, 11–12, с. 129.

<sup>78</sup> Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX века. М., 1974, с. 11–12.

<sup>79</sup> Ключевский В. Курс русской истории. М., 1937. Ч. V, с. 25–26.

<sup>80</sup> Там же, с. 27.



Присоединение Крыма, а вместе с ним и северного Причерноморья означало появление в составе Европейской России еще одной области с мусульманским населением и расширение всего мусульманского мира России, а покорение Кавказа снова значительно раздвинуло границы этого мира. Тем не менее, в конечном счете, мусульманское население Европейской России оказалось не очень многочисленным и, вследствие его значительного оттока за пределы империи, увеличивалось медленно.

Эмиграция мусульман началась в последней четверти XVIII века в связи с военными победами России над Турцией (Кучук-Карнаджийский договор 1774 г.), упразднением Крымского ханства и включением его территории в границы России (1783 г.). XIX век стал для Крыма столетием повальной эмиграции, «обычно происходившей при ужасающих условиях и заканчивавшейся значительными потерями. Первый массовый выезд... 1784–1787 годов был относительно небольшим, примерно 8 тыс. человек, все они нашли убежище в Турции. Второй, значительно больший, произошел после Ясского договора (6 января 1792 г.), который ознаменовал собой конец русско-турецкой войны 1788–1789 гг... Приблизительно 100–300 тыс. татар, в основном кочующие (ногайцы), из степей центральной и северной частей Крыма уехали в Османскую империю... В 1812 г. в результате еще одной русско-турецкой войны Ногайская орда Перекопа эмигрировала в Турцию. Следующая большая эмиграция произошла после окончания Крымской войны, в 1860–1863 гг. Опасаясь русской репрессии, около 140 тыс. крымских татар, почти 2/3 всего мусульманского населения, покинули свою родину. В 1864 г. татарская община составляла менее чем 120 тыс. человек... Две последующие волны эмиграции... во второй половине XIX в. способствовали еще большему сокращению крымско-татарской общины. Приблизительно 60 тыс. татар уехало в период 1874–1875 гг., опасаясь военной мобилизации и насильственного обращения в христианство. Следующие 20 тыс. человек покинули Крым в результате плохих условий его экономического развития»<sup>81</sup>.

Долговременный характер приобрело вытеснение со своих земель мусульманских народов Северного Кавказа. В этом вытеснении был один из смыслов длившейся несколько десятилетий Кавказской войны. Незадолго до ее окончания, в 1861 г., Александр II, подбадривая завоевателей своим рескриптом «О заселении Северного Кавказа», прямо говорил в нем: «Ныне с Божьей помощью дело полного завоевания Кавказа близко уже к окончанию. Остается несколько лет настойчивых усилий, чтобы совершенно вытеснить враждебных горцев с занимаемых ими плодородных стран и навсегда водворить на сих последних русское христианское население»<sup>82</sup>. «Вытеснение», начатое военными средствами, продолжалось и после окончания войны. Венюков, участник Кавказской войны, рассказывает в своих воспоминаниях, что граф Евдокимов, непосредственный исполнитель официального проекта заселения Западного Кавказа, «не слишком заботился об участии горцев, выселявшихся на прикубанскую низменность. Его твердым убеждением было, что самое лучшее последствие многолетней, дорого стоившей для России войны есть изгнание всех горцев за море. Поэтому на оставшихся за Ку-

<sup>81</sup> Беннигсен А. Исмаил бей Гаспринский и происхождение джадидского движения в России. // Гаспринский Исмаил бей. Россия и Восток. Казань, 1993, с. 82–83.

<sup>82</sup> Цит. по: Куценко И. Я. Цит. соч., с. 213.

банью, хотя бы и в качестве мирных подданных, он смотрел лишь как на неизбежное зло и делал, что мог, чтобы уменьшить их число и стеснить для них удобства жизни»<sup>83</sup>. При этом «освобождались значительные земельные пространства, необходимые царскому правительству как для поселения казачества, так и для раздачи семейных пожалований»<sup>84</sup>, что обычно не подчеркивалось. Позиция правительства в вопросе о вытеснении кавказских горцев была не только жестокой, но и лицемерной. А. Касумов цитирует любопытный документ, в котором говорится, что «для успеха дела необходимо, чтобы горцы не только не знали о желании нашем содействовать переселению, но местная власть должна, напротив, как бы отклонять их от этого намерения»<sup>85</sup>.

Масштабы оттока мусульман из Европейской части Российской империи не слишком хорошо изучены, оценки, приводимые в российских, западных и турецких источниках, нередко расходятся. Тем не менее после сопоставления разных источников приходится говорить о весьма крупных миграционных перемещениях. Российские авторы упоминают об эмиграции 200 тысяч крымских татар в 70-е – начале 80-х годов XVIII века, т.е. еще до присоединения Крыма в 1883 г.<sup>86</sup>, но в то же время отмечается, что в начале XIX века, по данным турецких переписей, в Европейской Турции, в основном в Румелии, было зарегистрировано 275 тыс. татар и буджакских ногайцев<sup>87</sup>. В конце 50-х – середине 60-х годов XIX в. из России в Турцию эмигрировало около 200 тысяч татар и ногайцев Таврической губернии<sup>88</sup>, а в 60-е – 90-е годы еще около 200 тысяч крымских татар и ногайцев переселилось в Турцию и около 400 тысяч горцев Западного Кавказа — в основном в Ливан, Сирию и другие страны Передней Азии<sup>89</sup>. Таким образом речь идет по меньшей мере о 800 тыс., с учетом же миграций конца XVIII века — более чем о миллионе человек.

Западные и турецкие источники приводят более высокие оценки исламской эмиграции из Российской империи. Говорится, например, о 300–500 тысячах иммигрантов в Турцию из Крыма, Казани, с Кавказа до конца XVIII века<sup>90</sup>. Отмечается, что только в 60-е годы XIX века турецкое правительство должно было разместить в Анатолии и Румелии примерно миллион эмигрантов из Крыма, Дагестана, Западного Кавказа, Кубани и т. д.<sup>91</sup>. В Турецкой энциклопедии только численность эмигрировавших из России кавказских мусульман (аварцев, черкесов и представителей других кавказских народов) оценивается в 1,5 млн. человек<sup>92</sup>. Иногда встречаются и еще более высокие

<sup>83</sup> Цит по: Касумов А. Х. Цит. соч., с. 7.

<sup>84</sup> Волкова Н. Г. Цит. соч., с. 220.

<sup>85</sup> Цит. по: Касумов А. Х. Цит. соч., с. 12.

<sup>86</sup> Брук С. И., Кабузан В. М. Миграционные процессы в России и СССР. М., 1991, с. 19.

<sup>87</sup> Там же, с. 69.

<sup>88</sup> Там же, с. 23.

<sup>89</sup> Там же, с. 42.

<sup>90</sup> Dumont P. L'émigration des Musulmans de Russie vers l'Empire Ottoman. Aperçu bibliographique des travaux en langue turque. // Les migrations internationales de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Paris, 1980, p. 212.

<sup>91</sup> Ibid, с. 213.

<sup>92</sup> Kazgan G. Migratory movements in the Ottoman Empire and the Turkish Republic from the end of the 18th century to the present day. // Les migrations internationales de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, p. 618.

оценки. Например, по оценкам турецкого переселенческого комитета, с 1816 по 1910 г. в Турцию разных кавказских племен переселилось около 691 тысячи дворов — более 3,1 млн. человек<sup>93</sup>.

Всего, по переписи 1897 г., в Европейской России насчитывалось менее 4% мусульман — 3,6 млн. человек, главным образом татары (около 2 млн.) и башкиры (1,4 млн.), а также казахи (киргиз-кайсаки). Они были сосредоточены в основном там же, где и финно-угорские народы — в Волжско-Уральском районе, единственном крупном районе Европейской России, где многочисленное славянское население жило вперемешку с неславянским, не составляя при этом явного большинства. В Казанской губернии на его долю приходилось 38,4% всего населения, в Уфимской — 38,2%. Относительно низкой (53,6%) была его доля и в Астраханской губернии, где жили казахи. Что же касается Крыма и Северного Кавказа, то во время переписи 1897 г. в Крыму оставалось всего 194 тыс. крымских татар (35,5% населения полуострова)<sup>94</sup>, а коренное население Северного Кавказа насчитывало 623 тыс. человек<sup>95</sup>. Выходит, что в Крыму и на Кавказе осталось меньше коренных жителей, чем уехало. Как писал автор начала века, «те, что прославились „проворством ног и силой длани“ — черкесы, эти „кавказцы“, „горцы“ *par excellence*, принадлежат ныне (за исключением кабардинцев) больше истории и литературе, нежели практической политике. Жалкие остатки адыгейских племен прозябают по заулкам Черноморской губернии и Кубанской области»<sup>96</sup>. «Ныне их всего на Кавказе... меньше, чем немцев»<sup>97</sup>.

С присоединением в XVIII–XIX веках Казахстана, а позднее, во второй половине XIX века, и Средней Азии в состав империи были включены еще несколько миллионов мусульман, составивших в то время значительную долю населения Азиатской России. Русского населения в этих краях поначалу было очень мало. Сетуя, что «до племенного преобладания над туземцами русским еще далеко», М. Венюков предлагал, «чтобы это преобладание было достигнуто... мирною заменою части туземного населения смешанно-русским... чрез водворение тех молодых мужчин, которые, будучи раз привлечены в Среднюю Азию службою, пожелали бы жениться на мусульманках и остаться в стране навсегда»<sup>98</sup>. Хотя массовой эмиграции здесь не было, оттеснение местных жителей, в частности казахов, с ценных земель шло полным ходом, что снова-таки вписывалось в казавшуюся безупречной логику земледельческой колонизации. А. Кауфман, говоря, что государственная поддержка крестьянских переселений шла навстречу «экономическим мотивам» и «политическим соображениям, в силу которых признается необходимым внедрять русских поселенцев в Закавказье и Туркестан»<sup>99</sup>, тут же критически отмечал, что «иногда... насущные интересы туземного населения приносились в жертву обрусительным видам общегосударственной политики, и ограниченные запасы свобод-

<sup>93</sup> Куценко И. Я. Цит. соч., с. 226.

<sup>94</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 297.

<sup>95</sup> Волкова Н. Г. Цит. соч., с. 245.

<sup>96</sup> Авалов З. Грузины. // Формы национального движения в современных государствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия. СПб., 1910, с. 473.

<sup>97</sup> Там же.

<sup>98</sup> Венюков М. И. Поступательное движение России в Средней Азии, с. 143.

<sup>99</sup> Кауфман А. А. Цит. соч., с. 7.

ных земель отдавались под русскую колонизацию без внимания к нуждам и потребностям местных безземельных и малоземельных крестьян»<sup>100</sup>. Тем не менее и он отстаивал принцип: «оставлять туземному населению... столько земли, сколько нужно, чтобы... вести хозяйство среднего размера и установившегося в данной местности типа, и в то же время не закрывать перед ним возможности перехода к более интенсивным формам скотоводческого хозяйства и к земледельческому быту, — весь же избыток земли... считать свободным государственным фондом, предназначенным служить прежде всего и более всего — потребностям переселенческого и колонизационного дела»<sup>101</sup>. Именно такая политика проводилась в жизнь и привела довольно быстро к заметному изменению этнической карты заселяемых земель. Казахское население в нынешних границах Казахстана составляло, по оценкам, в 1870 г. 2 млн. человек, в 1897 — 3,1 млн., в 1917 — 3,9 млн.<sup>102</sup>. Абсолютная численность его, стало быть, росла, но доля во всем населении, вследствие массового притока переселенцев, постоянно снижалась: в 1870 г. — 88%, в 1897 г. — 79, в 1917 — 61%. Доля же русских и украинцев достигла к этому времени 32%<sup>103</sup>.

Не была безболезненной и колонизация слабозаселенной **Сибири**. Здесь, как ранее в Европейской России, пришлое население, встречаясь с коренным, часто сталкивалось с его сопротивлением. Говоря о продвижении казацких конквистадорских отрядов, Венюков отмечал, что «начиная от приуральских вогулов и прииртышских татар и кончая чукчами, камчадалами и гиляками, они должны были победить в открытой борьбе целый ряд народов, которые далеко превосходили числом отважные их дружины. Дикокаменные киргизы на Енисее, буряты в Прибайкальской стране, якуты на Лене оказывались нередко такими противниками, что от них приходилось даже отсиживаться в крепостцах, или по-тогдашнему в острогах»<sup>104</sup>. Однако силы были слишком неравными, редкое, имевшее, как правило, примитивную экономическую и политическую организацию коренное население не могло серьезно противостоять напору российского государства, даже его передовым заставам. В итоге «часть инородческого населения крестилась, ассимилировалась с пришельцами... Но большая часть инородцев уходила с приближением русских подданных в глубь лесов и тундр, избегая насилий, что не всегда удавалось. На новых местах инородцы попадали обыкновенно в худшие условия, и потому, с распространением русской колонизации в Сибири, начался процесс вымирания инородцев, дрящщийся и до сих пор... Партии казаков, рыскавшие по лесной пустыни Сибири..., встречая инородческие юрты, сплошь и рядом брали ясак бабами и девками, которых уводили с собой в свои острожки и зимовья. Инородцам приходилось в одиночестве доканчивать свое жалкое существование. В 1641 г. в восьми волостях Тарского уезда умерло 147 ясачных инородцев: из них только у пяти остались жены и дети»<sup>105</sup>.

<sup>100</sup> Там же, с. 10.

<sup>101</sup> Там же, с. 10–11.

<sup>102</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 298. По другой оценке, в 1870 г. 2,6 млн. человек, в 1897 — 3,3 млн., в 1914 — 3,8 млн. (Алексеевко Н. В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981, с. 47).

<sup>103</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 298.

<sup>104</sup> Венюков М. И. Поступательное движение России в северной и восточной Азии, с. 70.

<sup>105</sup> Любавский М. К. Историческая география России..., с. 341–342.

Впрочем, и положение пришлого, «европейского» населения было непростым. Н. Ядринцев сравнивал его «сдвигающейся на восток колонной, сначала сплошной, потом суживающейся, наконец, совершенно теряющейся в пустыне, как теряется река в песчаной степи... Кругом этого русского населения и между ним по пустыням расположены инородцы, остатки финских, тюркских и монгольских племен... В общей... сложности все инородцы... своею численностью немного уступают русским... Русская народность не могла, однакож, поглотить инородцев, не смешиваясь с ними, не купив свою победу слитием, т. е. не окрасившись сама побежденным инородческим элементом»<sup>106</sup>. «Ныне даже есть местности, — писал Венюков, — где сами русские объякутились или омонголились, так что парни 15–17 лет еще не говорят по-русски»<sup>107</sup>.

Эта картина, может быть и верная для отдельных мест, была все-таки совершенно иной для Сибири в целом, по крайней мере к концу XIX века. По данным Всеобщей переписи населения 1897 г., доля восточных славян (по официальной терминологии того времени — русских) в населении Сибири составляла 81% — выше, чем в Европейской России. 95% из них приходилось на великороссов (этническая принадлежность определялась по родному языку; наверняка, какую-то часть великороссов составляли обрусевшие и сменившие язык потомки украинцев и белорусов). Еще полтора-два процента приходилось на других выходцев из «Европы»: евреев, поляков, латышей, немцев, эстонцев и т. д. На этом фоне совершенно терялись даже самые крупные коренные народы: буряты (5%), якуты (4%), сибирские татары (3,6%)<sup>108</sup>.

Почти сто лет, истекшие после первой переписи населения, не принесли принципиальных изменений. Население Азиатской России росло в основном за счет притока населения из ее европейской части, что лишь усиливало доминирование восточнославянского элемента. По последней советской переписи 1989 г., на его долю приходилось почти 89% всего населения зауральской России. 94% всех восточных славян декларировали себя русскими, свыше 97% назвали русский своим родным языком. Из других «европейцев» следует отметить около полумиллиона немцев, депортированных сюда во время Второй мировой войны (1,5% всего населения в 1989 г.). Доля бурятов упала до 1,2%, якутов — до 1,1%.

Особая страница имперской истории — вытеснение **еврейского** населения. С XIII–XIV веков оно сосредотачивалось в соседних с Россией Польше и Литве, власти которых благоприятно относились к его иммиграции, и уже тогда здесь сложилось самое многочисленное в Европе еврейское население. В России же до конца XVIII века оно было крайне незначительным. Но после раздела Польши и включения ее восточной части в состав Российской империи, последняя автоматически превратилась в страну с самым большим в мире еврейским населением, причем ее роль как главного очага еврейской диаспоры все время увеличивалась. Считается, что в 1800 г. в России было сосредоточено 23% всех живущих в мире евреев, а в 1880 г. доля России превысила 53%<sup>109</sup>.

<sup>106</sup> Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892, с. 87–88.

<sup>107</sup> Венюков М. И. Поступательное движение России в северной и восточной Азии, с. 77.

<sup>108</sup> Первая всеобщая перепись населения Российской империи..., таблица 1.

<sup>109</sup> Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1994, т. 7, с. 385.

Несмотря на столь внушительные размеры российской еврейской общины (5,2 млн. человек в 1897 г.), ей приходилось существовать в весьма неблагоприятных условиях, на которые она не могла повлиять. Эмансипация евреев, шедшая в Европе в XIX веке, не затронула России, где они были лишены важнейших экономических и гражданских прав. Одной из особенностей их положения было жестко ограниченное право передвижения. Включив польские, литовские, западноукраинские и белорусские земли в состав империи, царское правительство запретило жившим на них евреям переселяться во внутренние губернии России. В 1835 г. окончательно оформилась «черта оседлости» в составе 10 губерний Царства Польского и 15 украинских, белорусских и литовских губерний. В 1882 г. было принято «Временное положение», которое стесняло передвижения евреев и внутри черты оседлости: им было запрещено переселяться в сельские местности или владеть находящимся в них недвижимым имуществом, равно как и арендовать его там. Не более 15% евреев жило в деревне, основная масса еврейского населения «оказалась запертой в черте городов и местечек Западной России и Польши. Она была... отрезана от земледелия и ввергнута в жестокую конкуренцию между собой и с нееврейским городским мещанством черты оседлости, а также и с притекавшим в города обезземеленным крестьянством»<sup>110</sup>.

С 80-х годов прошлого столетия к гражданскому бесправию и экономической бесперспективности еврейского населения добавилось самое страшное бедствие: еврейские погромы. Волны массовых кровавых погромов сменялись периодами затишья, но в целом в течение почти 40 лет, начиная с 1881 г., погромы были довольно обыденным явлением российской действительности, она сама их питала. В напряженной, грозовой обстановке предреволюционной, а затем и революционной России погромы выполняли одновременно несколько функций. Они всегда строились на разжигании низменных инстинктов толпы и служили удобной, легко контролируемой и потому неопасной для правящего режима формой переключения народного недовольства, «выпускания пара»; пугалом для либерально-революционно настроенной части общества; поводом для демонстрации возможностей и авторитета властей, прекращавших или предупреждавших погромы, когда они считали нужным это сделать. Жертвами погромных насилий становились десятки и сотни тысяч людей. Только за 12 дней октября 1905 г., сразу после опубликования царского манифеста с обещанием конституции, по всей России произошло 690 погромов, погромная волна выплеснулась за пределы черты оседлости и докатилась до Томска; одних убитых было не менее 800, материально же пострадало свыше 200 тысяч человек<sup>111</sup>. Постоянная угроза погромов чрезвычайно усиливала ощущение безысходности и неустойчивости жизни евреев в России, все вместе заставляло искать выход в эмиграции, которая стала приобретать массовый характер после погромов начала 1880-х годов.

Отношение правительства к эмиграции евреев было столь же лицемерным и двусмысленным, как и к эмиграции мусульман. Дореволюционная Россия не знала права граждан на выезд из страны, любая эмиграция была незаконной. Лишь с конца XIX века начали появляться некоторые послабления, не изменившие, впрочем, общего смыс-

<sup>110</sup> Оболенский В. В. (Осинский). Цит. соч., с. 46, 49.

<sup>111</sup> Там же, с. 51.

ла закона. Первое такое официальное послабление было сделано в 1892 г. и касалось именно эмиграции евреев. Но уже за 10 лет до этого, в 1882 г., правительство устами министра внутренних дел Игнатъева заявило, что допуск евреев во внутренние губернии России невозможен, они могут принять участие только в заселении нуждающихся в колонизации районов империи (во время встречи с известным строителем железных дорог Поляковым Игнатъев назвал Среднюю Азию, в частности, оазис Ахал-Теке), но что западная граница открыта для них, никто и ничто не препятствует их эмиграции<sup>112</sup>. В то же время Александр III в беседе с еврейскими банкирами Гинзбургом и Заком призвал их употребить свое влияние с тем, чтобы остановить эмиграцию, что, по-видимому, и было сделано. В апреле 1882 г. в Петербурге состоялся съезд представителей еврейских общин, который принял решение «совершенно отвергнуть мысль об устройстве эмиграции как противоречащую достоинству русского государства (!) и исторически приобретенным евреями правам на их настоящее отечество»<sup>113</sup>.

Ответом на эту декларацию было принятое буквально через несколько дней после окончания съезда уже упоминавшееся дискриминационное «Временное положение». По словам крупнейшего еврейского историка С. Дубнова, «этот ответ был не чем иным, как официальным объявлением войны евреям»<sup>114</sup>, он предвещал новые правительственные меры против них. 80-е годы и в самом деле ознаменовались нарастанием антисемитизма в государственной политике и еще большим ухудшением условий жизни еврейского населения России. Ощущение безысходности усиливалось и все больше заставляло искать выхода в эмиграции. В 1891 г. барон М. Гирш основал в Лондоне «Еврейское Колонизационное Общество» (J.C.A., Jewish Colonisation Association), ставившее своей целью создание еврейских колоний в Аргентине и других американских странах. В 1992 г. деятельность Общества была узаконена в России специальным «Положением Комитета министров». Иными словами, идея исхода евреев из России получила сильную поддержку и в правительственной среде, где были люди, не скрывавшие своего желания избавиться от пятиmillionного еврейского населения. Выступавший от имени Еврейского Колонизационного Общества член английского парламента А. Уайт представил русскому правительству программу действий: перевезти в Аргентину 25 тыс. евреев в 1892 г. и в течение 25 лет довести общую численность эмигрантов до 3250 тыс. Но даже эти планы казались недостаточными властям. Во время их обсуждения в Комитете министров морской министр Чихачев предложил выделить средства для того, чтобы уже в 1892 г. довести число эмигрантов до 130 тысяч и поддерживать этот уровень в течение 25 лет<sup>115</sup>.

На деле размеры миграции поначалу были не очень большими и не сразу стали оказывать заметное влияние на численность еврейского населения России. Но масштабы эмиграции быстро нарастали. С 1881 по 1886 г. среднегодовое число еврейских эмигрантов составляло 12,9 тысяч, в следующие пять лет — 28,5, с 1891 по 1910 г. — 44,8, в пи-

<sup>112</sup> Дубнов С. М. Евреи в России и Западной Европе в эпоху антисемитской реакции. Кн. 1–3. Пг., 1923, с. 38–39, 50.

<sup>113</sup> Там же, с. 50.

<sup>114</sup> Там же.

<sup>115</sup> Там же, с. 120.



ковые 1906–1910 гг. — 75,1 ежегодно<sup>116</sup>. Общее число эмигрантов между 1881 и 1914 гг. оценивается примерно в два миллиона<sup>117</sup>, т. е. почти в две пятых от численности еврейского населения России в 1897 г. После 1900 г. миграционный отток евреев превысил их естественный прирост<sup>118</sup>. Основной страной иммиграции российских евреев были США. За период с 1871 по 1920 г. они составили 41,5% всех иммигрантов из России в США и 72,4% всех еврейских иммигрантов в США из Европы (включая Россию)<sup>119</sup>.

Вытеснение или оттеснение «инородцев», когда более, когда менее энергичное, — типичная черта российской имперской «миграционной политики». Но, конечно, нельзя всякую эмиграцию считать следствием такой политики. В XIX веке межгосударственные миграции в западных странах стали нормальной в правовом отношении формой поведения граждан, стремящихся решить с помощью эмиграции свои личные или семейные проблемы. В России же право на эмиграцию не признавалось, из нее можно было только незаконно сбежать. Но даже когда на исходе XIX столетия здесь стали появляться первые легальные возможности эмиграции, ее продолжали рассматривать как нечто исключительное, если и приемлемое, то только для «инородцев», исход которых из страны казался более или менее естественным. «В то время, как на Восток — в Сибирь — двигается коренное русское население, — писал автор начала XX века, — на запад — за границу — уходят инородцы. *Laissez faire, laissez passer* — есть максимум справедливости, которого можно ожидать от правительства в этом вопросе». По мнению другого автора, «для русской народности не существовало и не существует эмиграционного вопроса. Для России же как для государства эмиграционный вопрос существует, и желательно было бы скорейшее его разрешение»<sup>120</sup>.

В таком взгляде была двойная неправда. По оценке Осинского, с 1860 г. до начала Первой мировой войны основную массу осевших в Северной и Южной Америке эмигрантов из России действительно составляли нерусские: евреи (44%), поляки (25%), литовцы (8%), финны (7%), немцы (6%)<sup>121</sup>. Но поляки выезжали из Польши, литовцы — из Литвы, финны — из Финляндии. «Инородцами» здесь они могли сделаться разве что в распаленном имперскими амбициями воображении петербургских чиновников. То же относится и к крымским татарам, народам Северного Кавказа. Да и евреи, некогда пришедшие на земли, ставшие «чертой оседлости», из других краев, жили на них уже пять–шесть столетий. На свободных землях селились немецкие колонисты и тоже осваивали их вот уж больше ста лет.

Вторая же неправда заключалась в том, что эмиграционного вопроса якобы не существовало «для русской народности», то есть для великороссов, украинцев и белорусов. «Коренное население», отмечал Осинский, — «только запоздало вступлением на путь эмиграции и начало участвовать в ней большими партиями лишь после первой ре-

<sup>116</sup> Rogger H. Tsarist policy on Jewish emigration. *Soviet Jewish Affairs*, 1973, 3, p. 28; Краткая еврейская энциклопедия, т. 7, с. 383.

<sup>117</sup> Краткая еврейская энциклопедия, т. 7, с. 383.

<sup>118</sup> Там же, с. 384.

<sup>119</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 322.

<sup>120</sup> Цит. по: Оболенский В. В. (Осинский). Цит. соч., с. 22.

<sup>121</sup> Оболенский В. В. (Осинский). Цит. соч., с. 24.



волюции, начиная с 1907 г. В течение восьми лет до этого года в С.Ш. прибыло всего 21000 русских; за последующие семь лет приехало 144000 человек, и годовая средняя увеличилась в 9,5 раз<sup>122</sup>. Согласно Осинскому, до 1905 г. в русской эмиграции преобладали великороссы и белорусы, после 1905 г. на первое место вышли украинцы и белорусы<sup>123</sup>. Среди причин русской эмиграции иногда бывало и дискриминационное групповое вытеснение, сходное с вытеснением «инородцев» (религиозные сектанты, ущемленное в правах «киногороднее» население казачьих районов). Но по мере ее роста в ней все больше проявлялись черты более современной индивидуальной экономической эмиграции, нередко она представляла собой — по замыслу или фактически — лишь «временный отход на заработки, только не внутрь страны, а за границу»<sup>124</sup>. Такая эмиграция — признак новой эпохи. Другое дело, что эта новая эпоха только начиналась в России, тогда как традиции оттеснения или вытеснения «инородцев» имели давние прочные традиции.

Справедливость требует сказать, что оттеснение или вытеснение за пределы империи «инородцев», особенно тех, кто непригоден был к превращению в «государственных крестьян», — кавказских горцев, кочевников-ногайцев, еврейских ремесленников и т. д. — было не единственным компонентом разнонаправленных перемещений населения империи и не исключало одновременного привлечения из-за ее пределов новых подданных, на что могли быть и экономические и политические резоны. Это хорошо видно на примере иммиграции армян.

Появление значительного армянского населения в России относится к концу 20-х годов XIX века, когда в состав империи вошли армянские земли, до того принадлежавшие Персии или Турции. Эти перемены сопровождались массовыми переселениями персидских и турецких армян на теперь уже российские территории. До начала переселения в российском Закавказье было зарегистрировано 107 тыс. армян (а всего в России их насчитывалось 133 тыс. — примерно 6–7% всех живших в мире армян, тогда как более 80% их общего числа находилось в Турции). По оценкам, только в конце 20-х — начале 30-х годов XIX века в Закавказье прибыло около 200 тыс. армянских эмигрантов. Затем поток резко уменьшился, но все же не прекратился, и к 60-м годам XIX в. в России проживало уже более 530 тыс. армян, из которых почти 480 тыс. — в Закавказье<sup>125</sup>.

Середина 90-х годов ознаменовалась трагическими событиями в Турции. Власти агонизировавшей Оттоманской империи, опасаясь повторения в населенной армянами Восточной Анатолии болгарского сценария на Балканах, где восстание христианского населения Болгарии и Боснии повлекло за собой вмешательство России и потерю Турцией Балкан, пытались упредить события с помощью исламизации и туркизации страны. Организованные ими в 1894–1896 гг. вспышки геноцида унесли жизнь около 200 тысяч армян и подтолкнули их к новой массовой эмиграции в Россию, которая — в соответствии с той ролью защитницы единоверцев, какую ей отводило ее участие в реше-

<sup>122</sup> Там же, с. 22.

<sup>123</sup> Там же, с. 58.

<sup>124</sup> Там же, с. 74.

<sup>125</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 104–105.

нии «Восточного вопроса», — приняла эту эмиграцию. «Приток армян в Россию в начале XX в. был огромным... В Россию в 1897–1916 гг. прибыло несколько сот тысяч армян (около 500 тыс.)... В начале XX в. это был наиболее массовый приток из-за рубежа в Россию, в основном нелегальный, самовольный и очень плохо учтенный официальной статистикой»<sup>126</sup>.

Накануне Первой мировой войны в пределах Российской империи жило 1,8 млн. армян — немногим меньше, чем в Турции (2 млн.). Меньше чем за сто лет в российском Закавказье был создан новый национальный очаг армянского народа, который вскоре, после страшного геноцида 1915 г. в Турции, стал основным, землей обетованной для всех армян мира, единственным возможным оплотом их чаемой государственности. В каком-то смысле роль империи в формировании новой национальной территории армян, пусть и на землях, на которых некогда жили их предки, напоминает ее роль в формировании территории современной Украины. Правда, в отличие от Украины, объединить все исторические армянские территории в одно государственное целое не удалось.

## 7.7. Имперские традиции в СССР

**В** начале XX века А. Кауфман писал о крестьянском переселенческом движении как о «последнем акте... процесса колонизации русской государственной территории, который составляет такую существенную черту всей внутренней истории нашего отечества»<sup>127</sup>. Но история отечества продолжалась, а вместе с ней продолжалось — уже в советское время — и продвижение восточных славян в неславянские районы империи.

Иногда оно также было связано с аграрной колонизацией. Наиболее заметный эпизод — освоение целинных земель Казахстана в 50-е – 60-е годы. Между переписями населения 1959 и 1970 гг. численность русских в Казахстане выросла больше, чем на 1,5 миллиона человек, или на 39% (общая численность русских в СССР увеличилась за то же время всего на 13%), а всех восточных славян — на 1,8 миллиона (на 37%, в СССР — на 12%). Но все же в советский период приток «европейского», в основном восточнославянского, населения в Сибирь и в неславянские республики был связан преимущественно с промышленно-городским развитием окраинных районов СССР, которое подстегивалось центром в рамках общей политики экономической модернизации. В частности, резко ускорилась колонизация Сибири и Дальнего Востока, промышленное освоение и заселение которых было важной задачей всего советского периода. Хотя первые промышленные районы возникли здесь еще в XVIII веке, серьезного промышленного значения дореволюционная Сибирь не имела. За несколько десятилетий, начиная с конца двадцатых годов нынешнего столетия, к востоку от Урала был создан мощный промышленный потенциал, выросли крупные городские центры, стремительно увеличилось население. В 1926 г. оно составило 13 млн. человек, в 1939 — 15,7, в 1959 — 22,6, в 1979 — 27,9, в 1989 — 32,1 млн. человек.

<sup>126</sup> Там же, с. 203.

<sup>127</sup> Кауфман А. А. Цит. соч., с. 5.

До Первой мировой войны и в годы первых советских пятилеток индустриализация и урбанизация развертывались в основном на территории России и Украины, а после Второй мировой войны охватили всю территорию страны, в том числе и не очень еще готовые к этому «национальные окраины». Миграционные потоки устремились в растущие города и промышленные центры Белоруссии, Молдавии, Средней Азии, Казахстана. Далеко не весь приток населения в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию или Казахстан в первые послереволюционные десятилетия был добровольным. В этот период в гигантских, немислимых ранее масштабах были воспроизведены печальные традиции дореволюционного заселения Сибири каторжниками и ссыльными — значительную часть нового населения «окраин» составляли узники ГУЛАГа, «спецпоселенцы» из раскулаченных, целые депортированные народы, а также армия. «В 30-е годы (и до середины 50-х), — повествует историк, — особый размах приобрела специфическая, но исключительно действенная форма миграции — перемещение огромных масс спецпереселенцев (с их охраной) в северные и восточные регионы страны. Только с их помощью были освоены огромные территории, где практически отсутствовало устойчивое земледелие и куда добровольная миграция в те годы вряд ли могла широко развернуться»<sup>128</sup>. Действенность освоения окраин с помощью каторжников здесь, скорее всего, переоценивается, но сам факт, конечно, верен.

Немалую роль в росте населения и развитии хозяйства азиатской части России сыграла эвакуация сюда населения и промышленности из районов военных действий во время Второй мировой войны. В послевоенные десятилетия — вплоть до середины 80-х годов — обычной практикой были «комсомольские призывы» добровольцев на крупные сибирские стройки, связанные с освоением месторождений полезных ископаемых, прокладкой железных дорог, строительством гидроэлектростанций и пр.

Созданная модернизацией советского образца иммиграционная ниша добровольно или принудительно заполнялась «европейским» населением — как и прежде, в основном представителями наиболее многочисленных восточнославянских народов — русскими и украинцами, хотя их поток увлекал за собой и представителей других этносов — белорусов, татар, евреев, немцев, армян и т. д. Как правило, нерусское население, включенное в миграционные перемещения, либо изначально было населением русской культуры или, во всяком случае, русскоязычным, либо становилось таковым, расставшись с родной почвой и живя вдали от родины.

После Второй мировой войны вековое движение из восточнославянского центра на периферию империи некоторое время продолжалось, но в целом вторая половина XX столетия стала в этом смысле поворотным временем. Это особенно хорошо видно на примере собственно русских в современном ограниченном понимании. Их наибольший приток в республики пришелся на 60-е годы, когда увеличение численности русских за пределами России в 2,4 раза превзошло их естественный прирост. Но уже в 70-е годы этот приток замедлился, увеличение численности русских за пределами Российской Федерации превысило их естественный прирост уже только в 2 раза. В 80-е же годы это превышение исчезло, отток русских из России практически прекратился.

<sup>128</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 225.

Более того, к этому времени стало явственно ощущаться повсеместное вытеснение русских из республик, где их численность стала сокращаться, — сначала в Грузии, затем в Азербайджане, со второй половины 70-х годов — в Средней Азии. В 80-е годы численность русских увеличивалась только на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Молдавии. Украинцы же и белорусы продолжали переселяться почти во все неславянские республики и в 80-е годы. Например, в республиках Прибалтики численность украинцев за 1979–1989 гг. увеличилась на 34–39%, в Азербайджане на 22%, в Узбекистане на 35% (общее число украинцев в стране выросло на 4%). Примерно в полтора раза большим стало число белорусов в Средней Азии, Грузии и Азербайджане (при росте общего их числа в стране на 6%)<sup>129</sup>.

Но в целом эпоха восточнославянской колонизации, видимо, подошла к концу. К этому времени (1989 г.) за пределами Европейской части Российской Федерации, Украины и Белоруссии (которые в какой-то мере можно отождествить с «колонизационными базами» В. Семенова Тянь-Шанского), проживало около 22% всего восточнославянского населения СССР — 39,3 млн. русских (27% их общего числа), 3,6 млн. украинцев (8% всех советских украинцев), 0,7 млн. белорусов (7% советских белорусов).

При этом недонаселенность колонизованных азиатских просторов России так и не была преодолена. Россия остается относительно слабо заселенной страной, плотность населения здесь втрое ниже, чем в США, в 17 раз ниже, чем в Европейском Союзе и почти в 15 раз ниже, чем в соседнем Китае. Но если европейская часть России по плотности населения все же сопоставима со многими развитыми странами (здесь она примерно такая же, как в США), то в азиатской части, занимающей 75% территории страны, проживает всего 22% населения (чуть больше населения двух Голландий), а плотность населения чрезвычайно низка (2,5 человека на 1 кв. км). Демографический потенциал Сибири и Дальнего Востока явно недостаточен для освоения расположенных здесь природных богатств да и вообще для создания достаточно развитой, более или менее сплошной экономической и поселенческой структуры даже в пределах «главной полосы расселения». К этому надо добавить, что, начиная с 1989 г., впервые за многие годы, миграционный отток из азиатской части России превышает приток в нее, а с 1992 г. началось абсолютное сокращение численности населения Сибири и Дальнего Востока.

В 70-е – 80-е годы в СССР много говорилось и писалось о необходимости привлечения в «трудонедостаточные» районы — Центральную Россию, Сибирь, на Дальний Восток — населения из других частей СССР, особенно из перенаселенной Средней Азии. Нельзя сказать, что никакого движения в этом направлении не было, потоки мигрантов из неславянских республик в Россию и на Украину увеличивались. Только за 1979–1988 гг. численность молдаван в России увеличилась на 69% против 11% в своей республике, грузин и армян на 46% (в своих республиках — на 10 и 13), азербайджанцев в 2,2 раза (24%), узбеков и туркмен в 1,8 раза (34%), киргизов в 2,9 раза (33%), таджиков в 2,1 раза (46%)<sup>130</sup>. Но абсолютные размеры притока оставались небольшими и не оправдывали ожиданий Москвы. В качестве курьеза можно вспомнить опубликован-

<sup>129</sup> Зайончковская Ж. А. Миграция. // Население России 1994. М., 1994, с. 134.

<sup>130</sup> Там же, с. 137.

ное в одном из журналов предложение перераспределять в пользу «труднедостаточных» районов СССР 40% ежегодного прироста населения Средней Азии (примерно 3,4 млн. человек за 1985–2000 гг.)<sup>131</sup>. Реальных последствий подобные проекты почти не имели. К моменту распада СССР проникновение коренных жителей Средней Азии в районы преимущественно восточнославянского заселения не оставило заметного следа.

А вот вытеснение неславянских народов — иногда на худшие территории внутри Империи, а иногда и за ее пределы — продолжалось и в советское время. Советская власть пошла на то, чего никогда не позволяло себе даже не очень церемонившееся с инородцами царское правительство, — на депортацию целых народов.

В 1933 г. В. Арсеньев, знаменитый путешественник и писатель, направил доклад в Дальневосточный крайком ВКП(б), в котором обосновывал необходимость выселения живших на советском Дальнем Востоке корейцев. Привычно отмечая обычное у всех земледельческих народов стремление занять удобные земли, чем и «объясняется... оседание наших землеробов в южных частях Восточной Сибири»<sup>132</sup>, он обращал внимание начальства на то, что на Дальнем Востоке сталкиваются две колонизации — «одна с запада, переселенцами из европейской части Союза, другая с юга из японской Кореи... Корейцы — народ совершенно отличный от нас по характеру, по укладу жизни и по миросозерцанию... В наши пределы корейцев привлекают не политические убеждения (? — А. В.), а исключительно материальные выгоды. Они антропологически, этнографически, психически и по своему миросозерцанию стоят ближе к японцам, чем к нам. Рассчитывать, что корейцы скоро превратятся в советских граждан, нельзя. Нам некогда ждать, когда они изменят свои убеждения, характер и миросозерцание»<sup>133</sup>. Поэтому, утверждал Арсеньев, корейцы «должны быть отодвинуты в глубь страны, на Запад и на Север от Амура»<sup>134</sup>. В 1937 г. все жившие на советском Дальнем Востоке корейцы были «отодвинуты» в Казахстан, открыв тем самым список депортированных народов<sup>135</sup>.

«Корейский» опыт не пропал даром. Через несколько лет, во время Второй мировой войны, подобная участь постигла целую группу народов СССР. Предлогом послу-

<sup>131</sup> Зюзин Д. И. Варианты социально-экономического развития Среднеазиатского региона. Социологические исследования, 1986, 4, с. 19–22.

<sup>132</sup> Арсеньев В. К. Доклад Далькрайкому ВКП(б). 8 января 1933 г. Вестник Дальневосточного отделения РАН, 1995, 3, с. 97.

<sup>133</sup> Там же, с. 103.

<sup>134</sup> Там же.

<sup>135</sup> Правда, первые эксперименты советских этнических чисток — в меньших масштабах — к тому времени уже были проведены. Весной 1936 г. Совнарком СССР принял постановление о выселении с территории Украины в Казахстан «15000 польских и немецких хозяйств». Даже если согласиться с логикой «революционной бдительности», требовавшей отселения поляков из зоны строительства укрепрайонов на тогдашней границе с Польшей, невозможно понять, почему их надо было выселять именно в Казахстан «без права выезда из места поселений» и возлагать ответственность за организацию их жизни «по типу существующих сельскохозяйственных трудопоселков НКВД» на ГУЛАГ НКВД, а затем сохранять за ними статус спецпоселенцев много лет спустя после выигранной войны и после того, как граница с Польшей отодвинулась далеко на запад и стала безопасной. (См. Бугай Н. Ф. Л. Берия — И. Сталину. «Согласно Вашему указанию...». М., 1995, с. 9–11).

жило обвинение в сотрудничестве с фашистской Германией и вообще неблагонадежность, но по своему смыслу массовые депортации были прямым продолжением старой имперской политики оттеснения инородцев на менее благоприятные для жизни земли. В Сибирь, в малолюдные районы Казахстана и Средней Азии были выселены все крымские татары (но также и жившие в Крыму греки, армяне и пр.); народы Северного Кавказа — чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы; немцы — потомки колонистов екатерининских времен, жившие в разных районах России и Украины и имевшие свою автономную республику в среднем Поволжье; калмыки, с давних времен обитавшие в нижнем Поволжье; жившие в Грузии турки-месхетинцы, курды, хемшилы (исламизированные армяне); финны из Ленинградской области. Н. Бугай приводит данные из сохранившейся в архиве Верховного Совета СССР и датированной 16 декабря 1965 г. «Справки о количестве лиц некоторых категорий, выселенных на спецпоселение в северные и восточные районы страны с территории Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Армении и Псковской области за период с 1940 по 1953 год без права возвращения к прежним местам жительства». В «Справке» утверждается, что за эти годы из Украины было депортировано 570826 чел., из Литвы — 118599, из Латвии — 52541, из Эстонии — 32540, из Белоруссии — 60869, из Молдавии — 46474, из Армении — около 16000, из Псковской обл. РСФСР — 1604, из Северо-Кавказского региона — около 640000 граждан, принадлежавших к различным национальностям, из Крыма — около 230000<sup>136</sup>. Всего получается 1770 тыс. человек. Но в «Справке» не упомянуты корейцы и некоторые другие категории населения, высланные по этническому признаку до 1940 г., немцы, депортированные из европейской части РСФСР (кроме Северного Кавказа) и из Азербайджана и Грузии (а это — не менее 900 тыс. человек), не упомянуты калмыки, ингерманландцы и финны, турки-месхетинцы, курды и хемшилы, высланные из Грузии и т. д. Если все это учесть, число депортированных превышает свыше 3 млн. человек.

Десятилетия спустя, в ноябре 1989 г., Съездом народных депутатов СССР была принята декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», что создало правовую основу для восстановления исходного положения. Но вернуться к нему на деле во многих случаях было уже невозможно. Крым в еще большей степени, чем прежде, стал русско-украинским, земли немцев Поволжья были заняты русскими, земли ингушей — отданы Северной Осетии и т. д., возвращение высланных народов на родину наталкивалось на сопротивление новых хозяев.

Другой формой вытеснения этнических меньшинств в советское время, как и до революции, была их вынужденная или полувынужденная эмиграция. Казалось бы, массовые эмиграции не были характерны для советского периода, СССР очень быстро оказался отгороженным от всего мира, и выезд из него стал почти невозможным. Тем не менее иногда, по разным причинам, железный занавес оказывался прорванным на какое-то время, и возникали крупные потоки эмиграции. Участие в них многих этнических групп было непропорционально большим. Например, по некоторым оценкам, в 1931–1933 гг., спасаясь от голода, за рубеж — в Китай, Монголию, Афганистан, Иран, и Турцию — без-

<sup>136</sup> Бугай Н. Ф. Цит. соч., с. 6.

возвратно откочевало около 200 тыс. казахов<sup>137</sup>. Очень крупные «этнические» эмиграционные потоки были порождены Второй мировой войной и связанными с нею событиями. С территории СССР, как она сложилась после войны, было выселено около 900 тыс. немцев; за ее пределами оказалось примерно 2,3 млн. беженцев и перемещенных лиц — латышей, литовцев и эстонцев; в Польшу было перемещено около 4 млн. поляков из Западной Украины и Западной Белоруссии; из Карелии в Финляндию переселилось свыше 400 тыс. финнов и т. д.<sup>138</sup>

После того, как миграционные волны, поднятые Второй мировой войной, в основном улеглись, масштабы эмиграции из СССР резко сократились, но ее «этнический» характер стал даже более выраженным. В послевоенные десятилетия СССР в смысле эмиграции очень напоминал Российскую империю конца XIX века. Право граждан на эмиграцию не признавалось, но в порядке исключения и очень дозированно оно жаловалось представителям некоторых этнических и религиозных меньшинств.

Снова самую многочисленную группу эмигрантов составляли евреи. Их общая численность в СССР была намного меньше, чем в Российской империи (более 5 млн. перед Первой мировой войной). Перепись 1926 г. зафиксировала в СССР 2,7 млн. евреев, перепись 1939 г. — 3 млн.<sup>139</sup> Столь большое сокращение объяснялось главным образом тем, что в результате послереволюционного изменения границ примерно 55% еврейского населения Империи осталось за пределами СССР<sup>140</sup>, а в какой-то мере и ассимиляцией евреев в русской, украинской и белорусской среде. В результате нового пересмотра границ в 1939 г. и включения в состав СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и Прибалтики, еврейское население страны снова сильно выросло, а затем опять резко сократилось в результате огромных потерь во время Второй мировой войны. Эти потери (жертвы гитлеровского геноцида, участники боевых действий и пр.) оцениваются не менее чем в 2,5 млн. человек<sup>141</sup>. После войны численность еврейского населения СССР никогда даже близко не подошла к довоенной. Какое-то время она незначительно росла, затем стала убывать вследствие ассимиляционных процессов, возможно, отрицательного естественного прироста, обусловленного низкой рождаемостью, но также и значительной эмиграции.

Главным фактором эмиграции евреев стал государственный антисемитизм, сделавшийся в послевоенный период важным элементом внутренней политики режима. Он имел иные формы, нежели антисемитизм дореволюционной поры, в СССР в это время не было погромов, но получили широкое распространение различные способы дискриминации по этническому признаку, которая осуществлялась под постоянный аккомпанимент официальных интернационалистских деклараций. Незадолго до смерти Сталина

<sup>137</sup> Козыбаев М. К., Абылхожин Ж. Б., Татимов М. Б. Казахстанская трагедия. // Козыбаев М. К. История и современность. Алма-Ата, 1991, с. 226.

<sup>138</sup> Heitman S. The third Soviet emigration: Jewish, German and Armenian emigration from the USSR since World War II. Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1987, p. 10.

<sup>139</sup> Pincus B. The Jews of the Soviet Union. The history of a national minority. Cambridge, 1988, p. 89.

<sup>140</sup> Оболенский В. В. (Осинский). Цит. соч., с. 46.

<sup>141</sup> Pincus B. Op. cit., p. 261.



притеснение евреев получило особый размах, а его формы стали приобретать угрожающий характер подготовки общественного мнения к крайним мерам «крещения еврейского вопроса». Согласно некоторым, правда, пока слабо документированным свидетельствам, евреи должны были пополнить список депортированных народов СССР. Уже велась практическая подготовка этой акции, готовились железнодорожные составы и места приема, — ведь речь шла о высылке примерно двух миллионов человек. Возможно, сфабрикованное в 1952 г. «дело врачей» было задумано как начальная стадия и в то же время как дымовая завеса всей операции.

Если эта версия верна, то смерть Сталина спасла советских евреев от страшной трагедии, а режим — от еще одного мирового позора. Однако отказ от крайних мер, некоторое ослабление и более тщательная маскировка партийно-государственной линии на использование антисемитизма как одного из важных инструментов всеобщего зомбирования, отнюдь не означали отказа от этой линии в послесталинский период. Поэтому в еврейской среде, несмотря на далеко зашедшие процессы ассимиляции (почти сплошное русскоязычие, воспитание в русском культурном субстрате, безрелигиозность, которая сводила на нет культурное влияние иудаизма, смешанные браки и т. д.), а также несмотря на традиционно повышенные симпатии к режиму, на счет которого относились эмансипация евреев в первые послереволюционные десятилетия и спасение от гитлеровского геноцида, нарастало беспокойство и пробуждались уже забытые эмиграционные настроения.

Свободной эмиграции из СССР не существовало, но в ходе постоянной дипломатической игры с Западом советское правительство иногда слегка приоткрывало клапан для некоторых этнических или конфессиональных групп, в том числе и для евреев. Число эмигрантов-евреев за 1948–1990 гг. составило 592 тысячи, в том числе 301 тыс. — после 1986 г.<sup>142</sup> Согласно послевоенным переписям населения в 1959 г. в СССР насчитывалось 2,3 млн. евреев (1,1% населения СССР против 2,5% в 1940 г.), в 1970 г. — 2,2 млн., в 1979 — 1,8 млн., в 1989 г. — 1,4 млн. Но именно в это время эмиграция, наконец, стала свободной и резко выросла, так что численность евреев на территории СССР продолжала сокращаться и после его распада. По одной из оценок, к началу 1996 г. на территории бывшего СССР осталось всего 660 тыс. евреев, в том числе 360 тыс. в России<sup>143</sup>.

Вторую по численности группу эмигрантов послевоенного периода составляли немцы. В 1897 г. в Российской империи насчитывалось 1790,5 тыс. немцев, из которых 1312,2 тыс. жили в Европейской России, 407,3 — в Польских губерниях, 56,7 — на Кавказе, 5,4 — в Сибири и 8,9 тыс. — в Средней Азии<sup>144</sup>. Среди немцев Европейской России 165,6 тыс. составляли так называемые остзейские немцы, жившие в трех балтийских губерниях, присоединенных к России в XVIII веке. Остальные приехали в Россию добровольно по приглашению заинтересованного в них русского правительства — как крестьяне-колонисты (их было большинство) или лица свобод-

<sup>142</sup> *Heitman S.* Soviet emigration in 1990: a new «Fourth Wave»? Innovation (Vienna), 1991, n° 3/4, p. 2.

<sup>143</sup> *Tolts M.* The Jewish population of Russia, 1989–1995. Jews in Eastern Europe (Jerusalem), 3 (11), Winter 1996, p. 6.

<sup>144</sup> Первая всеобщая перепись населения Российской империи..., таблица 1.



ных профессий. И немецкое городское население, и немецкие крестьяне-колонисты пользовались рядом привилегий, изначально оговоренных во времена их появления в России. С точки зрения логики земледельческой цивилизации, немцы, как крестьяне, так и остзейские помещики, в отличие от евреев — городских жителей, были вполне «здоровым» элементом российского общества. В XIX веке немецкие колонисты пережили период расцвета, стали «хорошо организованным привилегированным классом, не похожим на русских крестьян, со своим внутренним самоуправлением, копировавшим институты их бывшей родины»<sup>145</sup>, число немецких поселений и их богатство быстро росли. Образованные слои немецкого населения играли важную роль в политической и культурной жизни России, их представители занимали весьма видные посты на самых высоких уровнях гражданской и военной иерархии, деятельность их нередко была очень успешной (классический пример — многолетняя государственная деятельность С. Ю. Витте). Все это свидетельствовало о значительной укорененности немцев в российском обществе.

Однако уже в конце XIX в. положение немцев начало меняться, возможно, не без влияния антинемецких настроений, вызываемых их привилегиями и успехами. Александр II не подтвердил освобождения немецких колонистов от военной службы, дарованного им Екатериной II, и это вызвало первую волну эмиграции из России, причем не в Германию, а в Америку. Антинемецкие настроения резко усилились с началом Первой мировой войны, стали нарастать официальные меры по экономической и политической дискриминации российских немцев. В 1916 г. был подготовлен проект закона, требовавшего их изгнания с Волги, но его вступлению в силу помешала Февральская революция.

После окончания Гражданской войны и установления границ СССР в его пределах остались территории, на которых в 1897 г. проживало 1030 тыс. немцев.<sup>146</sup> Тогда три четверти немецкого населения этих территорий были сосредоточены либо в Поволжье — в Самарской и Саратовской губерниях (391 тыс. человек, или 38%), либо на степном юге Европейской России — в Херсонской, Екатеринославской Таврической, Бессарабской губерниях и в Области Войска Донского (378 тыс., 37%)<sup>147</sup>. Переписью населения 1926 г. в тех же новых границах СССР было учтено 1193 тыс. немцев по критерию родного языка (как и при переписи 1897 г.) или 1238 тыс. по самоопределению. Таким образом, число немцев на сопоставимой территории выросло за 20 лет, самое большее, на 20%, тогда как, например, русских — на 42%, украинцев — на 54%, белорусов — на 32%<sup>148</sup>. Напротив, между переписями 1926 и 1939 гг., несмотря на потери, связанные с коллективизацией, раскулачиванием, которое сильно ударило по зажиточному немецкому крестьянству, и голодом 1932–1933 гг., численность немцев выросла на 15%, тогда как белорусов — всего на 11%, а численность украинцев сократилась на 10%<sup>149</sup>. Правда, численность русских за то же время и на

<sup>145</sup> *Fleischhauer I., Pincus B. The Soviet Germans: Past and present. London, 1986, p. 19.*

<sup>146</sup> Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вып. 4. Народность и родной язык населения СССР. М., 1928, табл. 1.

<sup>147</sup> Первая всеобщая перепись населения Российской империи..., таблица 1.

<sup>148</sup> Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вып. 4..., табл. 1.

<sup>149</sup> Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992, табл. 16.

той же территории увеличилась на 28%, но это во многом объясняется ассимиляцией с русскими украинцев и других народов, в том числе и немцев. К этому времени расселение немцев по территории страны стало более рассредоточенным. В республике Немцев Поволжья проживало немногим более четверти их общего числа (25,7%), 27,5% находились на Украине, 6,5% — в Казахстане. Среди украинских областей относительно высокой концентрацией немецкого населения выделялись Одесская (6,4% его общей численности) и Запорожская (6,3%). В России за пределами немецкой автономной республики следует отметить Омскую область (4,2% всего немецкого населения). Даже в 1939 г. среди немцев был всего 21% городских жителей (среди русских — 38%)<sup>150</sup>.

Чем объяснить очень малое приращение числа немцев между 1897 и 1926 гг. и относительно большое между 1926 и 1939 гг.? Немцы в России принадлежали к числу этнических групп с очень высоким естественным приростом (для 1927 г. он оценивался в 3,25%<sup>151</sup>), так что более медленное, по сравнению со славянскими народами, увеличение численности может объясняться либо значительной эмиграцией, либо активной ассимиляцией с русскими. И то, и другое было вполне естественным, ибо события времен Первой мировой войны показали, что быть немцем в России небезопасно. Но каково соотношение потерь немецкого населения от эмиграции и ассимиляции? Приводимые в литературе оценки числа эмигрантов — 20–30 тыс. человек за 1918–1933 гг., в том числе не более 25 тыс. до 1926 г.<sup>152</sup>, слишком малы, чтобы ими можно было объяснить сравнительно малую численность немцев в этом году. Скорее всего, имеет место значительная недооценка немецкой эмиграции периода Гражданской войны, а несомненно немцы выезжали в это время из России — хотя бы в составе белой эмиграции, к этому должно было подталкивать их социальное положение. Около 50 тыс. немцев были дворянами и почетными гражданами<sup>153</sup>. Немцы составляли значительную часть российского офицерского корпуса. По бдительным подсчетам сторонников «России для русских», в 1907 г. в нем находилось: «а) не православного вероисповедания: генералов (полных) — 22%, генерал-лейтенантов — 15%, генерал-майоров — 14,5%, капитанов — 15%; б) с не русскими фамилиями: генералов — 41%, генерал-лейтенантов — 36%, генерал-майоров — 37%, капитанов — 31%. Значительное число нерусских фамилий в генеральском составе носит следы немецкого происхождения»<sup>154</sup>. Офицеры-немцы принимали активное участие в белом движении и вынуждены были эмигрировать после поражения в Гражданской войне.

О недооценке эмиграции немецкой элиты можно судить и по изменению численности столичных немцев. В 1897 г. в Петербургской губернии насчитывалось 63,5 тыс. немцев (по родному языку), в том числе 50,8 тыс. — в Петербурге, в Московской — 19,1 тыс., в том числе 17,7 — в Москве. В 1926 г. в Ленинградской губернии оставалось всего 18 тыс. лиц с родным немецким языком и 25,2 тыс., считающих

<sup>150</sup> Там же, табл. 15, 16.

<sup>151</sup> Национальная политика ВКП(б) в цифрах. М., 1930, с. 40.

<sup>152</sup> *Fleischhauer I., Pincus B.* Op. cit., p. 62; *Heitman S.* The Third Soviet Emigration..., p. 10.

<sup>153</sup> *Остроух И. Г., Шервуд Е. А.* Немцы в России. Этнографическое обозрение, 1993, 3, с. 47.

<sup>154</sup> *Куропаткин А. Н.* Россия для русских. Задачи русской армии. Т. 3 т. СПб, 1910, с. 125.

себя немцами (в том числе в Ленинграде, соответственно — 11 и 16,9 тыс.), в Московской губернии — 6,8 тыс. и 10,8 тыс. (в Москве — 5,4 и 8,6 тыс.)<sup>155</sup>. Несомненно, имела место ассимиляция, но объяснить подобное сокращение численности за столь короткие сроки одной ассимиляцией, не предположив большой неучтенной эмиграции, едва ли возможно.

Изменение границ СССР в 1939 г., а затем в 1945 г. не привело к увеличению числа немцев в СССР. В соответствии с советско-германскими соглашениями 1939–1940 гг., около 400 тыс. немцев из вошедших в состав СССР Литвы, Латвии и Эстонии были перемещены за его пределы<sup>156</sup>. То же произошло впоследствии — в 1944–1945 гг. — с 500 тыс. немцев, высланных из Восточной Пруссии по решению Потсдамской конференции.

Судьба же собственно «советских» немцев (1427 тыс. по переписи 1939 г.)<sup>157</sup> сложилась по-иному. В конце 30-х годов, как и перед Первой мировой войной, власти стали исподволь нагнетать антинемецкие настроения. В 1936–1938 гг. были произведены первые депортации немцев (наряду с поляками) из приграничных районов, появились ограничения на службу немцев в армии<sup>158</sup>. Советско-германский пакт 1939 г. заставил несколько приглушить эти настроения — советское руководство демонстрировало дружелюбие к своим новым зарубежным партнерам и прекратило не только антинемецкие акции, но даже антифашистскую пропаганду. Однако с началом войны с Германией в июне 1941 г. судьба советских немцев была предreshена. Все они стали «спецпоселенцами», лишены права покидать отведенные им районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Часть советских немцев оказалась на оккупированной территории, главным образом на Украине, и примерно 350 тыс. человек было вывезено оттуда в Польшу и Германию. Кто-то из них впоследствии оказался на землях, занятых советскими войсками, а около 250 тыс. были переданы советским властям американцами и англичанами в соответствии с Ялтинскими соглашениями<sup>159</sup> и, по-видимому, почти все они попали в спецпоселения. К началу 1953 г. среди 1225 тыс. находившихся на спецпоселении немцев числилось 208 тысяч репатриированных<sup>160</sup>. Кроме того, в 1946–1951 гг. на режим спецпоселений — уже без всякой видимости оснований — перевели немцев, всегда живших в азиатской части СССР и не подвергавшихся высылке.

Статус «спецпоселенцев» не был отменен и после окончания войны, просуществовал до конца 1955 г. Но и тогда в постановлении об его отмене указывалось, что оно «не подразумевает возвращения конфискованной при депортации собственности и не дает

<sup>155</sup> Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1928, т. I, с. 117,119, т. II, с. 132,135.

<sup>156</sup> *Fleischhauer I., Pincus B.* Op. cit., p. 64.

<sup>157</sup> Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992, табл. 16.

<sup>158</sup> *Fleischhauer I., Pincus B.* Op. cit., p. 64.

<sup>159</sup> *Heitman S.* The third Soviet emigration..., p. 50. По другим данным, распределение было несколько иным: «около 200 тыс. было захвачено Красной Армией на территории Польши или Восточной Германии: а из остальных 150 тыс., оказавшихся в западных зонах Германии, примерно половина была передана союзниками в СССР» (*Полян П.* Жертвы двух диктатур. М., 1996, с. 68).

<sup>160</sup> *Земсков В. Н.* Спецпоселенцы. // Население России в 1920–1950-е годы: численность, потери, миграции. М., 1994, с. 166.

права возврата в исходные места депортации»<sup>161</sup>. И даже когда в августе 1964 г. Указ 1941 г. был полностью отменен, а немцы реабилитированы, вопрос о возвращении на прежние места проживания не стоял. Постепенно становилось ясно, что прежнее положение немцев уже никогда не будет восстановлено. Эмиграция на историческую родину стала осознаваться все большим числом немцев как единственный выход из тупика, в который их загнал советский режим. Однако эти настроения еще не были всеобщими. Под давлением ФРГ, с которой СССР вел дипломатическую игру, небольшому числу советских немцев удалось эмигрировать в 50-е годы (более 12 тыс. человек в 1958–1959 гг.). Подобным же образом в 1972–1980 гг. выехало еще 62 тыс.<sup>162</sup>, но большинство все же не связывало свое будущее с массовым исходом из страны, многие хотели возвратиться в свою загубленную республику, в другие районы, где они жили прежде. Из этого ничего не вышло. Хотя в 1974 г. немцам было разрешено селиться на прежних местах проживания, их земли и дома были уже заняты, попытки вернуться в Поволжье натолкнулись на враждебность местного населения. Несмотря на существование различных проектов обустройства немцев в СССР, репатриация в Германию оказалась практически единственным доступным для них путем. По данным переписей населения, численность немцев в СССР составляла в 1959 г. 1,6 млн., в 1970 — 1,8, в 1979 — 1,9, в 1989 г. — 2 миллиона человек. Но к концу 80-х годов уже всю развернулась эмиграция. Если за 1948–1986 гг. из СССР эмигрировало 106 тыс. немцев, то только за 1987–1990 гг. их эмиграция превысила 308 тыс. человек<sup>163</sup>. Положение немцев не изменилось и в постсоветское время, их исход из России и других постсоветских государств продолжается. В начале 1989 г. из 2039 тыс. советских немцев большинство проживало в Казахстане (958 тыс.), России (841 тыс.), и Киргизии (101 тыс.)<sup>164</sup>. По некоторым оценкам, за весь период с конца 40-х по 1996 г. из бывшего СССР и постсоветских государств выехало в Германию 1,55 млн. человек<sup>165</sup>. Если считать, что до 1991 г. выехало немногим более 400 тысяч, то получается, что за 1991–1996 гг. из постсоветских государств эмигрировало еще свыше 1,1 млн. Эмиграция продолжается. Какая-то часть немцев ассимилируется с русскими. Похоже, что двухсотлетняя история немцев в России подходит к концу.

Новым фактом послевоенного миграционного движения стал выезд армян. Сложившаяся в XIX веке традиция возвращения армян в Закавказье, сохранялась довольно долго и в советское время, когда, после недолгого периода государственной независимости, Армения существовала в качестве союзной республики СССР. Власти СССР по разным соображениям, среди которых все же, по-видимому, преобладали пропагандистские, поддерживали репатриацию армян, в некоторые периоды — очень активно. За весь советский период было три главные волны репатриации: в 1921–1936 гг. (42 тыс. чело-

<sup>161</sup> Репрессированные народы Советского Союза. Наследие сталинских депортаций. Отчет Хельсинкской группы по правам человека. 1991, с. 22.

<sup>162</sup> Münz R., Ohliger R. Deutsche Minderheiten in Ostmittel- und Osteuropa, Aussiedler in Deutschland. Demographie aktuell, 1997, Nr. 9, Humboldt-Universität zu Berlin, S. 10.

<sup>163</sup> Heitman S. Soviet emigration in 1990..., p. 2.

<sup>164</sup> Национальный состав населения СССР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1991, с. 5–19.

<sup>165</sup> Münz R., Ohliger R. Op. cit., S. 8.

век), в 1946 (самая большая волна, 90–100 тыс. человек) и в 1962–1982 (32 тыс.). Первая послевоенная волна прибывала в основном из Ливана и Сирии, а также из Ирана и Греции-Кипра. На эти страны пришлось примерно две трети всего потока, довольно значительной — по несколько тысяч человек — была также иммиграция из Франции, Египта, Болгарии, Румынии. Последнюю волну на три четверти составляли выходцы из Ирана. Общее число армянских репатриантов советского периода оценивается примерно в 180 тыс. человек<sup>166</sup>.

Однако прижиться в советской Армении репатриантам оказалось нелегко, и именно среди них или их детей стало нарастать стремление уехать из СССР. При первой же возможности, в 1956 г., возник и стал нарастать поток армянской эмиграции, в основном на Запад — во Францию, США, Австралию, Канаду. Общее число армянских эмигрантов за 1956–1989 гг. оценивается в 77 тыс. человек, подавляющее большинство — свыше 80% — уехало в США<sup>167</sup>.

За сорок с лишним лет — с 1948 по 1990 г. — из СССР эмигрировало немногим более 1,1 млн. человек, почти исключительно представители этнических меньшинств — евреи (52,1%), немцы (36,5%), армяне (7,4%), греки (2,1%); относительно небольшую группу эмигрантов составили конфессиональные группы — евангелисты и пятидесятники, уезжавшие по религиозным соображениям<sup>168</sup>.

Постоянное вытеснение неславянского населения вовсе не означало особой заботы о русских, украинцах или белорусах. В абсолютном исчислении они понесли гораздо большие потери — умершими от голода, репрессированными, депортированными, эмигрировавшими, — чем все перечисленные выше народы вместе взятые. Но демографические массы славян и неславян были неравными, так что общим результатом миграционных перемещений советского времени стало значительное изменение этнического состава населения многих районов СССР.

Так произошло, например, в Латвии и Эстонии. В 1939 г. латыши составляли 74,9% населения Латвии, русские — 9,6% (а вместе с белорусами 11%), эстонцы в Эстонии — 91,8%, русские — 4,6%. К 1989 г. в результате послевоенных миграций доля латышей в Латвии упала до 52%, эстонцев в Эстонии до 61,5%, доля русских выросла соответственно до 34 и 30,3% (вместе с украинцами и белорусами — до 42 и 35,2%)<sup>169</sup>. Из прибалтийских республик лишь Литва, где в 1959 г. почти две трети населения проживали в селе, а демографический рост был более высоким, чем у ее балтийских соседей, избежала массового притока мигрантов.

Другой типичный пример — население Казахстана. Мы видели, что его этнический состав быстро менялся еще до революции — вследствие массовых крестьянских переселений, и уже к 1917 г. доля казахов опустилась почти до 60%. К 1959 г. она снова резко упала и составила всего 30%, тогда как доля русских, украинцев и белорусов превы-

<sup>166</sup> Mouradian C. De Staline à Gorbatchev, histoire d'une république soviétique: l'Arménie. Paris, 1990, p. 172.

<sup>167</sup> Heitman S. Soviet emigration in 1990..., p. 2.

<sup>168</sup> Ibid.

<sup>169</sup> Кабузан В. Цит. соч., с. 343.

сила 52%. В 60-е – 80-е годы коренное население Казахстана переживало демографический взрыв, его естественный прирост был очень высоким, вследствие чего его доля в населении повысилась почти до 40%. Но она все равно оставалась ниже, чем совокупная доля русских, украинцев и белорусов (свыше 44% в 1989 г.).

Согласно последней советской переписи (1989 г.), население СССР достигло 287 млн. человек. Из-за демографического взрыва в Третьем мире доля СССР в мировом населении (5,5%) была меньше, чем доля Российской империи в начале века, но все же по численности населения это была третья — после Китая и Индии — держава мира. По принятой в переписи классификации, в стране проживало более 100 народов, из которых более 20 насчитывали свыше 1 млн. человек. Большинство населения относилось к славянской (70%) и тюркской (17%) группам, но имелось также по нескольку миллионов представителей иных языковых сообществ.

В результате многолетнего миграционного движения из русского и — более широко — из восточнославянского центра страны к ее периферии, а в какой-то мере и за счет встречного движения, население многих районов СССР в этническом отношении было очень смешанным. 60 миллионов человек — почти одна пятая всего населения — жили за пределами «своих» союзных республик. В частности, за пределами Российской Федерации проживало более 25 млн. русских (17,4% их общей численности в СССР), за пределами Украины — 6,8 млн. (15,3%) украинцев, за пределами Белоруссии — 2,1 млн. (21,3%) белорусов. Надо, правда, иметь в виду, что, покидая свои республики, украинцы и белорусы быстро русифицировались, меняли свое этническое самоопределение, так что в числе живущих в России и за ее пределами русских есть немало вчерашних украинцев и белорусов. Общее число восточных славян за пределами России, Украины и Белоруссии в 1989 г. составило 15,2 млн. человек (7,6 % их общей численности), а если ограничить Россию только ее европейской частью — по Урал включительно, — то 43,6 млн. (21,9 %). Эти цифры дают некоторое представление о количественных итогах многовековой восточнославянской колонизации, хотя и очень неполное, ибо и сама европейская территория России и Украины тоже в значительной степени создана колонизационным движением. Но главное даже не в этом. Истинные итоги колонизации вообще несводимы к одной или нескольким цифрам, они по сути своей не столько количественные, сколько качественные. Века существования Российской империи оставили глубокий след в истории многих народов и государств Европы и Азии, след сложный, противоречивый. Его еще предстоит осмыслить будущим исследователям.

# ГЛАВА I

## ИМПЕРИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

### 8.1. Восточнославянская метрополия

**Р**оссийская имперская экспансия имела своим следствием объединение и включение в единый общемировой контекст бескрайнего пространства Северной Азии, прежде слабо заселенного, а то и вовсе пустынного, оторванного от мировых цивилизационных центров. В том, что империя управлялась из Москвы или Петербурга, а не, скажем, из Константинополя, Киева или Кракова, был немалый элемент случайности, но само возникновение здесь единого политического целого и именно в форме империи было вполне закономерным.

В конце XIX – начале XX веков укрупненная территориальная структура империи представлялась следующим образом (табл. 8.1).

**Таблица 8.1. Население и территория Российской империи в конце XIX века**

	<i>Территория, тыс. кв. верст</i>	<i>Население, млн. человек</i>	<i>Плотность населения, чел. на 1 кв. версту</i>	<i>Доля городского населения, %</i>
Российская империя	19056	128924	6,8	13,0
в том числе:				
Европейская Россия	4243	94215	22,2	12,8
Польша	112	9456	84,8	21,7
Финляндия	292	2555	8,8	11,0
Кавказский край	411	9249	22,5	10,9
Сибирь	10923	5727	0,5	8,3
Среднеазиатские области	308	7722	2,5	12,1

*Источник: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXVIIA. СПб., 1899, статья «Россия», с. 76.*



Не в пример другим колониальным империям, Российская империя располагалась на сплошной, непрерывной территории, так что здесь не существовало очевидного с первого взгляда разделения на метрополию и колонии. Но, по сути, разные части империи находились, конечно, в неравном положении, одни имели явные признаки метрополии, тогда как другие несомненно обладали существенными чертами колонии.

С наибольшими основаниями в качестве метрополии можно было бы рассматривать выделявшиеся во всех дореволюционных описаниях 50 губерний Европейской России. Однако сама эта часть Империи была весьма неоднородной — как с точки зрения истории ее формирования, так и с точки зрения этнического и конфессионального состава населения и его отношения к имперскому центру. В то же время и за пределами Европейской России находились значительные пространства, которые ощущались более «коренными», нежели, скажем, Лифляндская, Курляндская, Эстляндская или Бессарабская губернии, входившие в ее состав.

По-видимому, если метрополия и существовала в Российской, а затем и в советской империи, то ее невозможно выделить по чисто территориальному признаку. Скорее, это было некое территориально-цивилизационное пространство, некоторая не имевшая четких географических границ область преимущественного расселения и жизнедеятельности основного имперского этноса (или основных этносов) — восточных славян. Само понятие метрополии при таком подходе становится довольно условным и расплывчатым, но, возможно, это соответствует известной неопределенности, недосказанности самой реальности. Многие части Российской империи занимали промежуточное положение, были в чем-то колониями, а в чем-то — частями метрополии, находились ближе то к одному, то к другому.

Как следует, например, определить истинный статус Сибири — «последнего продукта колониационного усилия России — и ее первой колонии»? С одной стороны, уже в XIX веке колонизация Сибири осознавалась русскими сибиряками как историческая миссия Европейской России, которая незримо присутствовала за ее спиной, они чувствовали себя представителями России. «С приобретением Сибири началось наступление на Азию европейского и русского мира»<sup>2</sup>. Новоявленное русское население Сибири выступало в качестве коллективного колонизатора по отношению к ранее укоренившимся здесь народам. Частично Сибирь выполняла функции метрополии — экономические, культурные, а иногда даже и административные — и по отношению к Казахстану и Средней Азии (Степной край с центром в Омске).

С другой же стороны, по мере того как «европейский и русский мир» укоренялся в Сибири и здесь складывались внутренние хозяйственные связи, свои экономические и культурные центры, возникали и местные центробежные (по отношению к метрополии) силы, которые не прочь были разыграть тему Сибири как колонии. Говоря о том, что «России суждена по положению колонизаторская роль и что она сама похожа, скорее, на огромную колонию между западом и востоком», Ядринцев заключал: «тем более

<sup>1</sup> Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. М., 1993, с. 488.

<sup>2</sup> Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892, с. 2–3.



характеристика колонии приложима к Сибири»<sup>3</sup>. Сибирские «областники» полагали, что интересы региона ущемляются центром, и подчеркивали противоположность интересов Сибири и метрополии. «Сибирское население вступает в конфликт не только с правительством, но и с своекорыстной и могущественной московской буржуазией, тут открывается отсутствие солидарности интересов сибирского крестьянина с интересами московского рабочего»<sup>4</sup>. Любопытен и интерес «областников» к судьбе бывших заокеанских колоний европейского заселения, упоминание о том, что обычно «история замлельских колоний кончается тем, что они отделяются от своих метрополий»<sup>5</sup>.

Еще более характерен пример Украины. Мы видели, что она была одной из главных колонизационных баз империи и, казалось бы, никак не могла рассматриваться как колония. Однако на протяжении всего XX в. тема колониальной эксплуатации Украины Россией постоянно возникает по мере развития украинского национализма и сепаратизма, а нередко входит и в более общий контекст внутриимперской политической борьбы. В октябре 1914 г. Ленин выступил в Цюрихе перед социал-демократической аудиторией с речью «Война и социал-демократия», в которой, в частности, противопоставлял положение украинцев в России и Австро-Венгрии и утверждал, что Украина «стала для России тем, чем для Англии была Ирландия: она нещадно эксплуатировалась, ничего не получая взамен». Ленин заявил, что интересы международного и русского пролетариата требуют завоевания Украиной государственной независимости<sup>6</sup>.

В то же время в украинофильской среде колониальное самоуничтожение порой соседствовало с имперским самовозвеличением. Пока колониальные империи как типичное явление международной жизни еще не были перечеркнуты историей, распад восточнославянского ядра империи и отделение Украины от России, которого добивались украинские сепаратисты, виделся им не как отделение колонии от метрополии, а как некое имперское «размножение делением», как раскол метрополии с последующим переделом владений Российской империи и превращением Украины в европейскую колониальную державу.

«Теперь азиатские кочевники присмирели, некоторые подались в турецкую землю, а в степи, где они когда-то гарцевали, стал издавна идти украинский хлебороб и селиться на них... Украинская колонизация теперь неудержимым потоком идет в Крым и на земли Северного Кавказа, и недолго, видимо, ждать, когда все их совсем зальет», — писал известный украинский географ С. Рудницкий<sup>7</sup>. Позднее, уже после революции<sup>8</sup>, он

<sup>3</sup> Там же, с. 698.

<sup>4</sup> Потанин Г. Областнические тенденции в Сибири. Томск, 1907, с. 55.

<sup>5</sup> Там же, с. 12.

<sup>6</sup> Serbin R. Lénine et la question Ukrainienne en 1914: le discours «séparatiste» de Zurich. Pluriel, 1981, 25, p. 83–84. Изложение речи Ленина, не вошедшей в советские издания его сочинений, было опубликовано рядом газет, в частности, социал-демократическими Arbeiter Zeitung (Австрия) и Vorwärts (Германия), а также выходившей в Вене на немецком языке украинской газетой Ukrainische Nachrichten. Позднее (в 1918 г.) Роза Люксембург говорила об украинском национализме как о «нелепой шутке нескольких университетских профессоров и студентов», которую «Ленин и К° своей доктринерской агитацией за «самоопределение до...» и т. п. искусственно превратили в политический фактор». (Цит. по: Карп Э. История Советской России. Большевицкая революция 1917–1923. Т. 1, 2. М., 1990, с. 371).

предсказывал «светлое будущее грядущей украинской колониальной экспансии» в самых разных направлениях. «Московская колонизация по климатическим и другим причинам уже в нижнем Поволжье не удастся, в Предкавказье — тем более, а других колониальных конкурентов из-за их малокультурности и малочисленности украинцы могут не опасаться. Уже сейчас украинцы составляют в Предкавказье безусловное большинство. Колонизированное Предкавказье дает украинскому народному корню основу для колониальной экспансии на Кавказе и в Закавказье»<sup>9</sup>. «Географическое положение Украины на пороге Центральной Азии также чрезвычайно способствует украинской колонизации в Туркестане и Средней Азии в целом, а также колонизации Сибири. Громадной, на много тысяч километров полосой тянутся земли украинских колоний вдоль южной границы Сибири, до самого Амура и за Амур, до берегов Японского моря... При благоприятных условиях украинский народ может найти достаточно сил, чтобы этот пока еще не сплошной ряд колониальных просторов от Каспия до Тихого океана превратить в сплошную полосу украинской территории на тысячи километров в длину и на сотни — в ширину»<sup>10</sup>. Украинский географ поглядывал и за пределы Российской империи, в частности, на Переднюю Азию. «Распространение украинской колониальной экспансии на этот архиважный географический узел, — писал он, — может принести неисчислимы полезные последствия»<sup>11</sup>.

Тем не менее вопрос о колониальной эксплуатации Украины Россией не сходит со страниц многих изданий, в том числе и достаточно серьезных. О. Субтельный посвящает ему особый раздел своей книги. В нем упоминается как позиция советских официальных исследователей (И. Гуржий и др.), считавших, что в экономическом контексте второй половины XIX века Украина находилась даже в лучших условиях, нежели Россия, так и более ранних, «досталинских» и антиимперских советских историков и экономистов как в России, так и на Украине, которые склонялись к видению дореволюционной Украины как колонии.

Если судить о статусе Украины, основываясь на критериях модернизации, последняя точка зрения едва ли оправдана — об этом говорит материал, приводимый самим Субтельным. Он указывает, в частности, что в течение какого-то времени на Украине развивались преимущественно сырьевые отрасли, так что в 1913 г. на долю Украины приходилось 70% добычи сырья в империи и только 15% мощностей обрабатывающей промышленности<sup>12</sup>. Но ведь это были ранние этапы индустриализации, когда в России вообще почти не было современной обрабатывающей промышленности, в частности, машиностроения, их только предстояло создать, и Украина готовила предпосылки для этого — может быть больше, чем любой другой район империи. Производство сырья, прежде всего угля и железной руды, росло здесь фантастическими темпами.

<sup>7</sup> Рудницький С. Коротка географія України. Київ-Львів, 1910, с. 8–9.

<sup>8</sup> После революции С. Рудницький был директором Института географии Украинской Академии наук. В 1933 г. он был арестован, в 1937 г. — расстрелян.

<sup>9</sup> Рудницький С. Основи землезнання України. [Друга книга. Антропогеографія України]. Прага, 1923, с. 335–336.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Субтельний О. Україна. Історія. Київ, 1993, с. 334.

Между 1870 и 1900 г. Донецкий угольный и Криворожский железорудный бассейны были «наиболее быстро растущими промышленными районами империи, а может быть, и мира»<sup>13</sup>. Если за эти же 30 лет «архаичным уральским заводам удалось увеличить производство железной руды только вчетверо, то на Украине оно увеличилось в 158 раз»<sup>14</sup>. Накануне Первой мировой войны Украина была крупнейшим производителем угля и черных металлов в Империи, а впоследствии стала первой «угольно-металлургической базой» советской индустриализации, что, в свою очередь, послужило главной основой превращения востока Украины в один из основных центров машиностроения СССР.

Уже предреволюционная Украина принадлежала к числу наиболее урбанизированных частей Европейской России. В 1913 г. 19,3% ее населения были городскими жителями (в Европейской России в целом — 15,3%)<sup>15</sup>. И в конце XIX века, и накануне революции три из шести крупнейших городов Европейской России находились на Украине<sup>16</sup>. Показатели смертности и продолжительности жизни на Украине были существенно более благоприятными, нежели во всей Европейской России (общий коэффициент смертности в 1900 г. на Украине — 26,4 на тысячу, в России — 31,1, в 1913 г. — соответственно 23,4 и 27,4. Ожидаемая продолжительность жизни новорожденного в 1896–1897 гг. на Украине для мужчин — 35,9, для женщин — 36,9 года; в Европейской России соответственно 31,3 и 33,4)<sup>17</sup>.

Все эти характеристики плохо сочетаются с трактовкой дореволюционной Украины как русской колонии. Скорее, напротив, как раз Украина может служить образцом того модернизационного подъема имперской метрополии, к которому привели два столетия догоняющего развития, подстегиваемого, не в последнюю очередь, имперскими амбициями Петербурга. Конечно, и пространство метрополии модернизировалось неравномерно, и здесь области быстрого промышленно-городского развития чередовались с застойными аграрными областями, но Украина на общем фоне была, скорее, в привилегированном положении.

## 8.2. Цивилизаторская миссия метрополии

**Н**еопределенность границ между метрополией и колониями имела двоякий смысл. Подобно тому, как Сибирь не была на сто процентов метрополией, так южные — кавказские или среднеазиатские — окраины империи не были на сто процентов колониями. Единство территории Российской империи создавало определенные предпосылки для интеграции вновь присоединенных земель в целостное государство и даже побуждало имперские власти заботиться о такой интеграции. Можно

<sup>13</sup> Там же, с. 331.

<sup>14</sup> Там же, с. 333–334.

<sup>15</sup> Рашин А. Г. Население России за 100 лет. М., 1956, с. 98; Население СССР 1987. Статистический сборник. М., 1988, с. 9.

<sup>16</sup> Рашин А. Г. Цит. соч., с. 107, 110.

<sup>17</sup> Птуха М. В. Смертность в России и на Украине. // Птуха М. В. Очерки по статистике населения. М., 1960, с. 351, 402; Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. Пг., 1916, с. 120, 125,

сказать, что в каком-то смысле они были заинтересованы в изживании колониального статуса присоединенных окраин. Однако такая заинтересованность всегда сталкивалась с другими выгодами и заинтересованностями метрополии, так что в итоге колониальное начало здесь резко преобладало.

В XIX веке, в пору главных колониальных захватов России, многие россияне были убеждены в ее высокой цивилизаторской миссии по отношению к присоединяемым землям и народам. Достоевскому эта миссия казалась важной и для самой России: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явемся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение... Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем и ей же пути ее разъяснила»<sup>18</sup>.

Говоря о продвижении России от Урала до Тихого океана, Венюков писал, что оно «создало историческую жизнь северной Азии»<sup>19</sup>. По словам Ядринцева, Россией «в прежних пустынях, где бродили звероловы и кочевые племена, положены начала культуры, возникла европейская гражданственность... Эта гражданственность и культура на севере Азии становится решающим фактом в истории народов и дает сразу перевес европейскому миру над азиатским»<sup>20</sup>. В проникновении в Среднюю Азию Венюков видел «последовательное водворение общечеловеческих бытовых потребностей и европейских способов к их удовлетворению в странах, где тысячелетия прошли без перемен... Народы Средней Азии отныне могут считать себя в периоде такого же сближения с передовыми нациями, как в начале нашего века кавказские племена и с конца прошлого индусы»<sup>21</sup>. Даже когда о цивилизаторской роли России писал завоеватель Туркестана и его первый генерал-губернатор К. П. фон Кауфман, это звучало не только как оправдание военного захвата. В его словах слышится искренняя и обычная для России того времени убежденность в необходимости прививать степным кочевникам начала «земледельческого быта», вера в то, что «умиротворение степи» и деятельность русской администрации «освободили и скотоводство, и земледелие у кочевников от насилий, до того делавших невозможностью правильное и спокойное развитие народной промышленности», и ввели «жизнь массы степного населения в широкое русло мирной гражданственности»<sup>22</sup>.

Постоянное подчеркивание цивилизаторской миссии колониализма, «бремени белого человека» всегда занимало важное место в системе доводов, оправдывающих европейскую колониальную экспансию, так что любые заявления на этот счет российских или советских политиков и идеологов надо воспринимать с большой осто-

<sup>18</sup> Достоевский Ф. М. Геок-Тепе. Что такое Азия для нас? (Дневник писателя, 1881). // Полн. собр. соч., 1984, т. 27, с. 36–38.

<sup>19</sup> Венюков М. И. Поступательное движение России в северной и восточной Азии. // Венюков М. Россия и Восток. Собрание географических и политических статей. СПб., 1877, с. 97

<sup>20</sup> Ядринцев Н. М. Цит. соч., с. 2–3.

<sup>21</sup> Венюков М. И. Поступательное движение России в Средней Азии. // Венюков М. Россия и Восток, с. 135–136.

<sup>22</sup> Цит. по: Кауфман А. А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края. СПб., 1903, с. 134.

рожностью. Распространение начал культуры и европейской гражданственности среди покоряемых народов было все же не главным движущим мотивом имперских завоеваний. Тем не менее цивилизаторская миссия Российской империи по отношению почти ко всем областям имперской периферии и даже по отношению ко многим частям метрополии не была и полным вымыслом. Она действительно осуществлялась, опираясь при этом на двуслойное основание послепетровской русской культуры — и не столько в силу исконной «русскости», сколько благодаря ее сближению с культурой европейской.

Размышляя о влиянии русской культуры на западно-украинскую, Драгоманов замечал: «Московский ладан оказался вовсе не к добру в истории галицкого возрождения; петербургское же окно в Европу оказало безмерные услуги даже в Львове, поскольку оно оказалось действительно проводником общечеловеческого света»<sup>23</sup>. Если российское европейство было столь важно даже для украинской элиты, уже в немалой степени европеизированной, то тем более притягательным оно должно было выглядеть для застойных поволжских, кавказских или среднеазиатских обществ, у которых тоже стала появляться новая элита, возникли религиозно-национальные движения. Как писал один из ведущих идеологов российского исламского просветительства Исмаил Бей Гаспралы (Гаспринский), «Провидение... делает Россию естественной посредницей между Европой и Азией, наукой и невежеством, движением и застоєм»<sup>24</sup>. Татары, говорил Гаспринский, хотели бы получать от России «не старую азиатскую, а новую европейскую монету», «т.е. распространение среди нас европейской науки и знаний вообще, а не простое господство и собирание податей»<sup>25</sup>.

Беда, однако, заключалась в том, что, по большому счету, Россия не в состоянии была ответить на эти ожидания. Как уже упоминалось, имперские власти были в известной степени заинтересованы в развитии всех частей империи, в преодолении отсталости и колониального статуса присоединенных окраин. Но эта заинтересованность вступала в противоречие с другими интересами, бывшими или считавшимися куда более важными, с откровенно великодержавными целями: новыми колониальными захватами, присоединением Константинополя и проливов и т. п. У имперских идеологов, озабоченных этими экспансионистскими интересами, «цивилизаторская миссия» вызывала непреодолимое раздражение. «Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить государство в восемьдесят миллионов... для того, чтобы потчевать европейской цивилизацией пять или шесть миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да пожалуй еще два-три миллиона монгольских кочевников... Нечего сказать, завидная роль, стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу нести, выносить крепостную долю, петровскую реформу, бироновщину и прочие эксперименты»<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Драгоманов М. П. Литературно-общественные партии в Галиции. // Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1. Центр и окраины. М., 1908, с. 456.

<sup>24</sup> Гаспринский Исмаил бей. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения. // Гаспринский Исмаил бей. Россия и Восток, Казань, 1993, с. 21.

<sup>25</sup> Там же, с. 26.

<sup>26</sup> Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1871, с. 62–63.

В итоге цивилизаторская миссия в отношении колониальных окраин всегда осуществлялась лишь в той мере, в какой метрополия располагала для этого силами и средствами, в основном уходившими на другие цели — военные или мирные. Силы и средства царской России, а впоследствии и СССР, были весьма ограниченными. Метрополия сама остро нуждалась в модернизации, которая, неизменно переплетаясь с милитаризацией, поглощала все экономические ресурсы империи. Это очень сильно ограничивало возможности модернизации имперских окраин, тем более, что сами они не проявляли большой модернизационной активности: отношение к экономическим и социальным нововведениям в метрополии и колониях было неодинаковым.

Семь советских десятилетий в чем-то изменили очень многое, но колониальный тип развития «национальных окраин» не был преодолен. При этом обвинение метрополии в чрезмерной эксплуатации колоний в своих интересах было бы, пожалуй, несправедливым. Главной «колонией», за счет которой удалось решить самые насущные проблемы экономической модернизации СССР, стала деревня, причем, в первую очередь, восточнославянская. Здесь снова приходится признать проницательность анализа Преображенского, который утверждал, что для СССР колониальный грабеж как источник первоначального накопления «с самого начала и навсегда закрыт», тогда как «обложение несоциалистических форм (читай, крестьянства. — А. В.) не только неизбежно должно иметь место в период первоначального социалистического накопления, но оно неизбежно должно получить огромную, прямо решающую роль в таких крестьянских странах, как Советский Союз»<sup>27</sup>. Когда же страна немного разбогатела, предпринимались немалые усилия, направленные на преодоление колониального статуса южных окраин. Но они имели ограниченный успех, в целом объективное разделение СССР на европейско-восточнославянскую метрополию и азиатские колонии, унаследованное от прошлого, сохранилось.

### 8.3. Восточнославянская метрополия и советская модель модернизации

**В** XIX веке главные очаги и центры модернизации были сосредоточены именно в восточнославянской или, если угодно, в европейской метрополии, в России и на Украине. Конечно, и пространство метрополии модернизировалось неравномерно, и здесь области быстрого промышленно-городского развития чередовались с застойными аграрными областями, но влияние новых экономических отношений, городской культуры, власть денег постепенно проникали повсюду, порождали новые интересы и стремления людей, разжигали их нетерпение. Здесь, как и везде, существовало ре-

<sup>27</sup> Преображенский Е. А. Основной закон социалистического накопления. // Преображенский Е. А., Бухарин Н. И. Пути развития: дискуссии 20-х годов. Л., 1990, с. 65. Не преминул подхватить эту идею разгромленной «левой оппозиции» и Сталин. «Колониальные грабежи исключаются всей нашей политикой. А займов нам не дают. Оставался в нашем распоряжении один единственный путь, указанный Лениным, а именно: поднятие своей промышленности, переоборудование своей промышленности на основе внутренних накоплений». (Сталин И. Троцкистская оппозиция прежде и теперь. Речь на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г. // Сталин И. В. Соч., т. 10, с. 198).

гиональное неравенство, и столичная элита стремилась использовать свое центральное положение в собственных интересах. В этом смысле претензии поднимавшихся региональных элит — и сибирской, и уральской, и украинской, и любой другой — к Петербургу и Москве были вполне оправданными. Но все эти элиты, и столичные, и региональные, действовали заодно в том смысле, что они подстегивали модернизацию, вовлекали в нее все новые и новые части империи, в первую очередь восточнославянские, хотя, конечно, отдельные центры модернизации были и в «инородческих» районах.

Противоречия догоняющего развития затрудняли понимание истинного смысла модернизации, вызвали противодействие, которое приобретало идеологическую окраску, зависевшую от условий места и времени, но всегда отражавшую неизбежный в подобных случаях конфликт двух культур. Подстилающий слой традиционной сельской культуры видели хорошо. Новый же, быстро нараставший слой промышленно-городской культуры, связанные с ним ценности часто не осознавались. Антимодернистские настроения (которые прочитывались как антизападные) были очень сильны в России, хотя могли, в зависимости от обстоятельств, приобретать и антирусское звучание. Такое противопоставление великорусскому — и притом очень долго — слышится даже у украинских авторов, подчеркивающих, что «богатая украинская народная культура в отличие от большинства интернациональных городских культур» создана в деревне, тогда как города, «с национальной точки зрения», были чужими на украинских землях. «И хотя мы начинаем все лучше понимать уже роль города для нации, хотя хотим превратиться в полноценное общество со всеми слоями, не быть только или почти только хлеборобской нацией, — а все же база нашей нации останется в деревне»<sup>28</sup>.

На деле же ко времени революции основы традиционной земледельческой жизни русского, украинского, белорусского народов были основательно подорваны десятилетиями пореформенного капиталистического развития. Россия все больше становилась промышленно-торговой и городской, умножалось и число сторонников перемен. Перемены ускорялись, но все казались очень медленными, нарастали нетерпение, готовность к жертвам во имя еще большего ускорения, рывка, скачка. Так складывалась почва, на которой впоследствии укоренилась советская, а по существу, советско-славянская мобилизационная модель модернизации-индустриализации.

Эта модель требовала огромных жертв, страшного напряжения сил, но, в известном смысле, она была задана всем предшествующим развитием. Напряжение и жертвы во имя государственного величия были привычны, не осознавались как нечто инородное, оправдывались давней верой в особое предназначение России. Великая, Малая и Белая Руси, особенно в тех их границах, которые существовали до 1939 г., приняли эту модель (что, конечно, не означает ее бесконфликтности, отсутствия экономического и политического насилия и сопротивления ему). Для десятков миллионов людей, вчерашних крестьян, созданная в советское время промышленность стала главными воротами, открывавшими доступ к новой для них жизни. В «социалистических преобразованиях» послереволюционных десятилетий — в быстром росте городов, новых удобств городской жизни, стремительном распространении образования, внезапно открывшихся бесчисленных каналах вертикальной мобильности, снижении смертности, росте военной

<sup>28</sup> Кубійович В. Географія українських та сумежних земель. Краків-Львів, 1943, с. 364.



мощи — во всем этом здесь видели — и не без оснований — плоды промышленного скачка, подтверждение правильности избранного пути.

Иначе обстояло дело с имперскими окраинами, в особенности восточными и южными, изначально населенными в основном неславянами — Поволжьем, Уралом, Сибирью, Кавказом, Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном и т. д. В XVIII, а тем более в XIX столетиях, восточнославянская метрополия была обращена к ним уже своим новым, европеизированным лицом. Она, конечно, не догнала Западную Европу, сохраняла немалую экономическую и культурную зависимость от нее. Тем не менее по отношению почти ко всем областям имперской периферии русский колониализм был передатчиком, в чем-то и оригинальным источником европейских экономических, политических и социальных нововведений, западных ценностей, по словам Г. Федотова, нес им «универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова»<sup>29</sup>, постепенно готовил эти области к модернизации и развитию. Это, вероятно, не относится к самым западным частям Империи. Принадлежа к Восточной Европе и тоже отставая от Западной, они тем не менее не нуждались в российском посредничестве. Южные же или восточные районы империи, если бы они дожили до XX века, оставаясь в сфере имперского влияния Турции, Персии или Китая, вряд ли продвинулись бы в своем развитии дальше, чем это удалось им сделать, идя вместе с Россией.

В то же время и слишком успешным продвижением по пути экономического и социального обновления колониальные окраины империи похвастаться не могли. Догоняющее развитие, которое несколько веков держало в напряжении восточнославянскую Россию, не играло большой роли в жизни неславянских народов ее восточных и южных колоний. Новые ценности промышленно-городской жизни здесь вообще долго не осознавались как ценности. «Все, что здесь доступно оку, спит, покой ценя...» — эти лермонтовские слова не совсем устарели и спустя сто лет после того, как были написаны. Даже элитарные слои населения, в основном традиционные, а тем более крестьянство, не ощущали острой потребности в модернизации. Соответственно и индустриализация не воспринималась ими как особое благо. Здесь, как и везде, она создавала возможности крупномасштабного исхода в города, массовой вертикальной мобильности, глубоких перемен в образе жизни, но даже и в первой половине XX века все это еще не назрело ни в Татарии или Башкирии, ни на Кавказе, ни тем более в Средней Азии, воспринималось как что-то ненужное, чужеродное. Ценности модернизации в колониальной части империи намного чаще, чем в метрополии, сталкивались с традиционными ценностями, не получали широкой общественной поддержки, встречали пассивное неприятие, а нередко вызывали и активное противодействие. Нельзя сказать, что кавказские или среднеазиатские общества начисто отвергали или отвергают перемены, не понимают значительности достижений «западной» цивилизации — пусть и в их советской упаковке. Тем не менее здесь все еще очень широки слои, не осознающие необходимости всестороннего радикального обновления и надеющиеся на решение острейших сегодняшних проблем при сохранении традиционного жизненного уклада. Поэтому долгое время промышленно-

<sup>29</sup> Федотов Г. Судьба империй. // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993, с. 337.



городское развитие во всех этих районах могло опираться почти исключительно на восточнославянское население, уже основательно «раскрестьянившееся», кто больше, кто меньше прошедшее городскую школу.

Своеобразие положения в Прибалтике, а отчасти и в Западной Украине было иным. В послевоенный период они тоже вынужденно следовали советской модели экономического развития. Конечно, и они нуждались в индустриализации и модернизации, без этого были обречены на роль аграрной окраины Европы, отставание от Запада было велико и здесь. Но той настоятельности, которая ощущалась в славянских республиках и предопределяла их выбор модели модернизации, здесь не было. Военная мощь великой державы не могла иметь особой цены в маленьких Литве, Латвии или Эстонии, равно как и в Галиции. Что же касается цивилизационных сдвигов, то многие из них совершились здесь и без индустриализации, вследствие давней приобщенности к европейскому развитию. Прибалтика опережала другие европейские районы империи и по уровню урбанизации, и по распространенности городского образа жизни, по развитости средних слоев, уровню образования, бытовой культуре. Она была намного более буржуазна. Никакой готовности к жертвам во имя промышленного скачка здесь не было, престиж промышленного или строительного рабочего, даже инженера ни при каких условиях не мог стать таким, как на Урале или в Донбассе. Поэтому индустриализация «по-советски» — с ее мобилизационным напряжением, упором на тяжелую промышленность, военное производство, с очень низкой оплатой труда и пр. — отторгалась местным населением, неотвратимо требовала населения пришлого, снова-таки восточнославянского.

Таким образом, в истории, в экономическом и социальном бытии как всей Российской (советской) империи, так и ее более «передовых» и более «отсталых», «колониальных» частей были заложены и стимулы, и границы имперской цивилизаторской миссии. Советская модель ускоренной консервативной модернизации, отвечала прежде всего историческим условиям, в которых оказались в первой половине XX века восточнославянские народы СССР и их имперская государственность. И для них эта модель была далеко не идеальной, внутренне противоречивой, способной приносить успех дорогой ценой и лишь очень непродолжительное время. Но ее эффективность особенно резко падала при перенесении советско-славянских образцов на социокультурную почву Прибалтики, Кавказа или Средней Азии. Исторические и культурные особенности модели, границы ее применимости обычно не осознавались, догматическая идеология истолковывала все ее черты как абсолютные и универсальные. Экономические, политические, культурные рецепты советской консервативной модернизации силой навязывались всем районам СССР, а нередко и другим странам, и такое навязывание стало одной из главных форм колониализма советского времени. Это встречало сопротивление, часто неосознанное, пассивное, проявляющееся в разных формах неучастия, но иногда принимавшее формы и более или менее открытого активного протеста. Протест подавлялся силой, с пассивным же неприятием коренным населением многих составных частей советской модернизации бороться было труднее. Дело нередко кончалось тем, что в Казахстан, Узбекистан или

Эстонию приезжали новые партии русских, украинцев и белорусов, на чьи плечи и ложилась, по крайней мере на первых порах, главная тяжесть освоения целинных земель, месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация железных дорог, плотин, шахт, заводов, атомных и прочих электростанций.

Все это, впрочем, не означает, что советская модель модернизации оказалась вовсе непригодной для неславянских народов СССР. Как было показано в первой части книги, она вообще была изначально противоречивой, в силу чего модернизация не была завершена нигде в СССР. Но совсем отказать этой модели в эффективности, пусть недолговременной и частичной, конечно, нельзя. Даже там, где она внедрялась принудительно и была намного менее действенной, чем в России или на Украине, десятилетия модернизации не были безрезультатными. Другое дело, что в разных районах СССР успехи и неудачи модернизации оказались разными — в зависимости от того, как единая модель «социалистических преобразований» сочеталась или не сочеталась со всей совокупностью местных условий.

## 8.4. Незавершенная модернизация: от Москвы до самых до окраин

Старая Российская империя отличалась большой неоднородностью частей. Но еще сто лет назад даже весьма значительные различия — экономические, культурные, языковые, религиозные и т. д. — внутри российского имперского мира всегда или почти всегда были различиями в пределах одного типа цивилизации. Все или почти все образовывавшие этот мир общества были аграрными, сельскими, холистскими, «вертикальными», основополагающие принципы их существования были весьма сходными. Даже и после 1917 г., в период первого крушения империи, русский центр был просто более крупной и влиятельной частью сравнительно однородного целого.

Когда же модернизация на территории бывшей Российской империи вступила в свою послереволюционную, очень активную стадию, эта относительная однородность нарушилась. Все новые и новые районы стали втягиваться в переход к промышленно-городскому обществу. А так как и исходные уровни развития, и скорости движения у них были разными, к межрегиональным или межэтническим различиям, существовавшим всегда, добавились новые, связанные с разной степенью продвинутости по пути модернизации. К середине 80-х годов результаты всех главных модернизационных «революций» — экономической, городской, демографической, культурной, политической — в республиках и регионах СССР оказались очень неодинаковыми.

### **Экономическая революция**

Накануне Первой мировой войны в 50 губерниях Европейской России лишь примерно 20% национального дохода создавалось в промышленности (без кустарной и ремесленного производства) и строительстве<sup>30</sup>, в целом по империи — без Польши и Финляндии — и того меньше. В этих отраслях было занято всего 9% всех работающих

<sup>30</sup> Вайнштейн А. Л. Народный доход России и СССР. История, методология исчисления, динамика. М., 1969, с. 62–63.

против 75% занятых в сельском хозяйстве<sup>31</sup>. Понятно, что как бы велики ни были региональные различия в промышленном развитии, это были количественные различия внутри одного — аграрного — типа экономики. Развернувшаяся в 30-е и последующие годы индустриализация придала им иной смысл — они стали приобретать характер качественных различий (в отраслевой структуре экономики вообще и промышленности в частности, в занятости населения, в отношении к промышленному труду и пр.) между промышленно развитыми и аграрными областями. Это было следствием естественной неравномерности промышленного развития регионов, усиленной разной степенью их готовности принять ускоренную индустриализацию советского типа.

Положение, сложившееся к 1985 г., иллюстрируют таблицы 8.2 и 8.3.

**Таблица 8.2. Отраслевая структура экономики СССР и некоторых республик в 1985 г. (доля отраслей в %)**

<i>Отрасли народного хозяйства</i>	<i>СССР</i>	<i>Белоруссия</i>	<i>Латвия</i>	<i>Узбекистан</i>
<b>В валовом национальном продукте</b>				
Промышленность	61,6	60,3	58,8	52,4
Сельское хозяйство	15,8	21,0	19,7	21,7
Прочие отрасли	23,1	18,7	21,5	25,9
<b>В национальном доходе</b>				
Промышленность	45,6	44,1	41,5	33,2
Сельское хозяйство	19,4	25,5	23,4	32,5
Прочие отрасли	35,0	30,8	35,1	34,3
<b>В числе занятых в материальном производстве</b>				
Промышленность	52,0*	40,3	44,8	20,9
Сельское хозяйство	27,4	30,3	21,0	52,0
Прочие отрасли	20,6	29,4	34,2	27,1
<b>В основных фондах</b>				
Промышленность	48,8	46,8	37,9	35,4
Сельское хозяйство	20,3	28,7	26,7	34,1
Прочие отрасли	30,9	24,5	35,4	30,7
<b>В производственных капиталовложениях **</b>				
Промышленность	48,9	46,1	44,4	30,8
Сельское хозяйство	25,4	24,6	24,7	53,7
Прочие отрасли	25,7	29,3	30,9	15,5

\* Промышленность и строительство. \*\* За 1981–1985 гг.

<sup>31</sup> Труд в СССР. Статистический сборник. М., 1988, с. 14.

В таблицах представлены три бывшие республики СССР: славянская Белоруссия, балтийская Латвия и среднеазиатский Узбекистан, олицетворяющие три различные ситуации. Даже наименее индустриализованная среди славянских республик Белоруссия почти по всем показателям развития промышленности: по ее доле в валовом общественном продукте, произведенном национальном доходе, производственных основных фондах, капиталовложениях производственного назначения превосходила намного раньше вступившую на путь индустриализации Латвию, не говоря уже об Узбекистане. Характерны различия и в отраслевой структуре самой промышленности. Хотя Латвия еще до революции была одним из центров российского машиностроения, теперь оно занимала в ее промышленности меньшее место, чем в Белоруссии. В Узбекистане же в структуре промышленности все еще преобладали легкая и пищевая отрасли, роль машиностроения оставалась довольно скромной.

В то же время Белоруссия, уступая Латвии по доле занятых в промышленности, существенно превосходила ее по доле занятых в сельском хозяйстве — следы совсем недавнего аграрного прошлого, признак временного, переходного состояния. Экономика же Узбекистана, несмотря на то, что, по официальному счету, вклад сельского хозяйства в национальный доход был несколько меньшим, чем промышленности, по типу экономики все еще оставалась преимущественно аграрной. На долю сельского хозяйства здесь приходилось больше половины занятых в материальном производстве, в аграрный сектор шло больше половины производственных инвестиций.

**Таблица 8.3. Отраслевая структура промышленности СССР и некоторых республик в 1985 г. (доля отраслей в %)**

<i>Отрасли промышленности</i>	<i>СССР</i>	<i>Белоруссия</i>	<i>Латвия</i>	<i>Узбекистан</i>
<b>В валовой продукции промышленности</b>				
Машиностроение	27,4	32,3	26,6	15,3
Легкая промышленность	14,6	23,7	20,2	38,9
Пищевая промышленность	15,2	17,1	25,3	16,4
Прочие отрасли	42,8	26,9	27,9	29,4
<b>В численности промышленно-производственного персонала</b>				
Машиностроение	...	46,6	39,9	29,9
Легкая промышленность	...	18,0	18,3	29,4
Пищевая промышленность	...	7,4	12,0	9,0
Прочие отрасли	...	28,0	29,8	31,7

## Городская революция

В середине XIX столетия доля городского населения во всех частях империи, за исключением двух столичных губерний, была настолько низкой (не выше 10–12%), что даже если между ними и существовали различия, они не могли иметь серьезных экономических или социокультурных последствий. К концу столетия положение стало меняться. Доля городского населения в прибалтийских губерниях быстро росла, а перед Первой мировой войной превысила уже 33%, поднялась она и в некоторых других регионах — в основном за счет быстрого роста крупных городов — Киева, Одессы, Тифлиса, Харькова и т. д. Но в целом успехи урбанизации к этому времени были весьма умеренными. В Европейской России было немногим более 15% горожан, в Сибири — около 12%<sup>32</sup>. Сравнительно высокой была доля городского населения на Кавказе — 14,5%, в Средней Азии — около 19%. Но в этом, видимо, сказывались давние восточные традиции торговой, городской жизни, а не влияние современного промышленно-городского развития. Еще в начале 20-х годов, выступая на одном из высоких партийных собраний, представитель Туркестана говорил: «У нас... нет подлинных городов в европейском смысле этого слова... Города являются главным образом посредническими пунктами сбыта товаров, продуктов промышленности центра в окраинную деревню. Вот почему города в просторечии у нас называют базарами»<sup>33</sup>. Большого потенциала городского роста в дореволюционной Средней Азии не было, как и повсюду в империи, большинство населения было однородно сельским.

Стремительная урбанизация послереволюционных десятилетий нарушила эту однородность. Доля городского населения росла повсеместно, но в одних случаях она достигала такого уровня, который позволял говорить о далеко зашедшем превращении сельского общества в городское, в других же — только о движении, порой не очень уверенном, в этом направлении. В 1959 г. лишь в трех республиках — Латвии, Эстонии и России — больше половины населения составляли городские жители. В 1989 г. таких республик было уже десять, причем в шести из них доля горожан превысила две трети (Россия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Армения). В то же время во всех республиках Средней Азии, а также в Молдавии доля городского населения не достигала и 50%.

Важны не только эти итоговые показатели, но и недавняя история их формирования. В Латвии и Эстонии, где доля городского населения была сравнительно высокой уже в начале века, она нарастала постепенно, без больших потрясений. За 1959–1989 гг. она увеличилась всего на 15–16 процентных пунктов. В России, которая теперь обогнала обе названные республики, рост составил 22 пункта. Очень быстро урбанизовались Молдавия, Литва и особенно Белоруссия (рост соответственно на 25, 29 и 35 пунктов). Если поставить рядом с ними Азербайджан (рост на 6 пунктов), Узбекистан (7), Киргизстан (4), Таджикистан (доля городского населения не изменилась) или Туркменистан (даже сократилась на один пункт), то становится яс-

<sup>32</sup> Рашин А. Г. Цит. соч., с. 101–102; Караханов М. К. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения. Ташкент, 1983, с. 90, 96.

<sup>33</sup> Тайны национальной политики ЦК РКП. Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в г. Москве 9–12 июня 1923 г. Стенографический отчет. М., 1992, с. 113.

ным не только количественный, но и качественный разрыв между республиками, переживающими разные этапы урбанизации.

### **Демографическая революция**

В свое время М. Птуха оценил уровни смертности и продолжительности жизни 11 крупнейших народностей Европейской России в конце XIX века. По его оценке, в наилучшем положении находились латыши (средняя продолжительность жизни мужчин 43 года, женщин — 47 лет), в наихудшем — русские (соответственно 27,5 года и 30 лет)<sup>34</sup>. Средняя продолжительность жизни, превышающая 40 лет, может рассматриваться как свидетельство начавшегося демографического перехода. В конце XIX века в России такое превышение наблюдалось для мужчин только у латышей, эстонцев, литовцев и молдаван, для женщин — у тех же народностей, а также у евреев. (По поводу низкой смертности молдаван Птуха замечал, что, возможно, она объясняется «недостатками статистической регистрации».) Таким образом, можно считать, что наблюдавшиеся в конце прошлого века различия в смертности народов России были в основном различиями в рамках одного — «традиционного» — типа смертности и лишь в некоторых случаях не очень сильно вышли за эти рамки вследствие начавшейся демографической модернизации.

То же было и с рождаемостью. Повсеместно — снова за исключением прибалтийских губерний — она была весьма высокой, что отражало однотипность демографического поведения представителей большинства населявших Россию народов. Косвенно об этом свидетельствуют данные о числе детей до 10 лет на 100 женщин в возрасте 20–49 лет по вероисповеданиям (1897 г.): у православных — 144, у католиков — 142, у мусульман — 142, у иудеев — 153, у лютеран — 116<sup>35</sup>. Как видим, лишь жившие преимущественно в Прибалтике лютеране выделяются на общем фоне более низким числом детей, что можно истолковать как начало или, по крайней мере, предвестие демографического перехода. У всех же остальных преобладают относительно многодетные семьи — верный признак традиционного типа рождаемости.

Положение — и с рождаемостью, и со смертностью — начало меняться лишь тогда, когда народы России один за другим стали активно входить в период демографической революции.

Сдвиги в смертности, «эпидемиологический переход», больше зависящие от изменения общих условий жизни (образования, санитарно-гигиенической обстановки, уровня развития медицины и здравоохранения и т. д.), нежели от индивидуального поведения людей, охватили все республики СССР. Все они более или менее успешно прошли через первые этапы эпидемиологического перехода, что и обеспечило повсюду отрыв от традиционных уровней смертности и продолжительности жизни. Хотя различия в показателях сохраняются и сейчас, это опять-таки различия в рамках одного, но теперь уже «современного» типа смертности.

Не то с рождаемостью. В демографическом поведении части населения бывшего СССР, в том числе и у славянских народов, еще в первые десятилетия XX века отличавшихся высокой неконтролируемой рождаемостью, теперь повсеместно

<sup>34</sup> Птуха М. В. Цит. соч., с. 261.

<sup>35</sup> Воспроизводство населения СССР. М., 1983, с. 135.

распространилось планирование семьи и резко упало число рождаемых детей. Этот сдвиг был неразрывно связан с выработкой нового типа сознания, освоением новой системы ценностей. Перемены в рождаемости и все, с ними связанное, внесли огромный вклад в обновление общества в Российской Федерации (в стороне остались некоторые национальные автономии), в других европейских республиках бывшего Союза. По уровню рождаемости они все сблизились между собой, и некогда особое положение Прибалтики перестало существовать.

Другая часть населения бывшего Советского Союза, в основном, хотя и не исключительно, народы мусульманской традиции, оказались не готовы к всесторонней демографической модернизации. Восприняв в той или иной мере достижения эпидемиологического перехода, они и сейчас еще с большим трудом осваивают практику планирования семьи, принцип свободы прокреативного выбора и все, что с этим связано. Рождаемость лишь недавно начала заметно снижаться в христианской Армении, еще позже — в мусульманском Азербайджане, почти не снижается у народов Средней Азии, у некоторых народов Северного Кавказа и т. п. В конце 80-х годов среднее число детей, рожденных за всю жизнь одной женщиной (коэффициент суммарной рождаемости), у русских составляло 1,9, у украинцев — 2, у латышей — 2,2, тогда как у узбеков — 4,7, у киргизов — 4,8, у туркмен — 4,9, у таджиков — 5,3<sup>36</sup>. Здесь различия, конечно, не просто количественные, речь идет о принципиально разных типах демографического поведения: один отвечает давним традициям народной культуры, унаследованным от прошлого образцам, другой во многом отрицает их, требует пересмотра казавшихся неизблемыми представлений о дозволенном и недозволенном во имя большего соответствия изменившимся жизненным реальностям.

### **Культурная революция**

Описанная в главе 5 «инструментальная» культурная революция происходила во всех частях СССР, и, казалось бы, созданный ею *Homo soveticus* должен был стать универсальным человеческим типом на всем пространстве бывшего Союза. На самом же деле, вследствие разных ресурсных возможностей районов империи, их разной готовности к модернизации и неодинаковости даже ее «инструментальных» результатов, соотношение традиционного и современного начал, соединившихся в «советском простом человеке», также было неодинаковым.

Различия инструментальных результатов сказывались в неравенстве уровней и качества образования, в неодинаковом распространении навыков бытовой или санитарной культуры и т. п. Но все же различия такого рода довольно быстро сглаживались, и не они были главными. С точки зрения общей социальной динамики, намного важнее глубинная перестройка всей социокультурной системы: переход от холистской к индивидуалистской парадигме, смена социокультурного типа личности и механизма социокультурного контроля. Именно этот переход и определял истинное содержание культурной революции, через которую должны были пройти в ходе модернизации почти все районы и народы СССР.

<sup>36</sup> Дарский Л., Андреев Е. Воспроизводство населения отдельных национальностей в СССР. Вестник статистики, 1991, 6.



В меньшей степени в этом нуждалось население протестантско-католической Прибалтики или униатской Западной Украины, в свое время испытывавшее сильное влияние Реформации. Но для всех остальных социокультурный переход и связанный с ним социокультурный раскол были неизбежны. В большинстве районов России, Украины, Белоруссии этот раскол достиг значительной глубины уже к концу XIX века, а его пик пришелся на первую половину XX столетия. На какое-то время установилось двоевластие старого и нового типов социокультурного контроля или, что то же, их безвластие, «внутренняя среда» социальной системы разрушилась, ее гомеостатические свойства были ослаблены. Большая часть населения страны оказалась в ничейном культурном пространстве и стала легкой добычей политического манипулирования. В последующем это культурное двоевластие-безвластие постепенно преодолевалось и жизнь, пусть и с трудом, входила мало-помалу в устойчивую послепереходную колею. В европейских республиках СССР большая часть населения преодолевала собственную маргинальность, промежуточность, «городское», индивидуалистское общественное становилось все более зрелым. Впрочем, и здесь становление новой социокультурной «внутренней среды», по-видимому, еще далеко не завершено, стало быть, не завершена и культурная революция.

Но у некоторой части даже российского населения в Поволжье, на Северном Кавказе, в Забайкалье, а тем более у населения таких частей СССР, как Средняя Азия или Закавказье, чаще всего у народов мусульманской, иногда буддистской культуры все происходило намного позднее. Здесь заимствованная инструментальная составляющая и общий консервативный характер советской культурной революции были выражены особенно ярко. Рост уровня образования, заметные перемены в образе жизни, в повседневном бытовом поведении сочетались с сохранением традиционной социокультурной основы и потому не требовали глубинного внутреннего напряжения всего общества. Кризис традиционализма назревал потепенно, по мере накопления социокультурной новизны, здесь в середине XX века пик раскола и раздвоения, маргинализации населения был еще впереди. Но он довольно быстро приближался, рано или поздно всем отстававшим субобществам советского универсума предстояло войти в опасный период социокультурной неустойчивости, острого социокультурного конфликта, и лишь преодолев его — не исключено, что дорогой ценой, — также перейти к становлению новой социокультурной «внутренней среды».

### ***Общие итоги***

Таким образом, степень незавершенности модернизации, характерная для всего советского общества конца XX века, была неодинаковой у разных его частей, ибо неодинаковым было преобразующее воздействие на них индустриализации, урбанизации, демографической или культурной революций да и многих других инновационных процессов. Само «советское общество» как нечто целостное было, до известной степени, мифом. На деле оно состояло из множества субобществ, пребывавших как бы в разных временных пространствах, в разных исторических эпохах и к тому же территориально локализованных.



К моменту распада Союза у этих субобществ были не только неодинаковые внутренние состояния, но и существенно разные конкретные практические интересы, реальные проблемы, свойственные тем этапам модернизации, на которых находилось каждое из них. Скажем, в то время, как в Центральной России да и во многих других районах европейской части бывшего СССР раздавались постоянные жалобы на обезлюдение деревни, нехватку рабочей силы, чрезмерную занятость женщин, падающую до недопустимо низкого уровня рождаемость, в республиках Средней Азии нарастали демографическое давление, аграрное перенаселение, скрытая, а отчасти и явная безработица, доля городского населения не увеличивалась, а иногда даже и сокращалась, сохранялись «допереходная» высокая рождаемость, традиционное положение женщины в семье и обществе. Ничего специфически «среднеазиатского» в этом не было, просто Россия или Украина прошли через эти этапы на одно–два поколения раньше и в иной исторической обстановке.

Существенными были различия в демографической, социальной и экономической динамике субобществ. Подойдя к завершению демографического перехода, большинство европейских народов христианской традиции, живших в бывшем СССР, вошли в полосу стабилизации численности населения, все более вероятной становилась его естественная убыль. У мусульманской же части населения Союза из-за задержки снижения рождаемости при быстром снижении смертности в это время происходил мощный демографический взрыв, их численность стремительно росла. Численность трех восточнославянских народов — русских, украинцев и белорусов — за 30 лет между переписями населения 1959 и 1989 гг. выросла всего на 25%, а их доля в населении страны упала с 76,2 до 69,7%. За это же время численность наиболее крупных мусульманских народов (за исключением татар) — узбеков, казахов, азербайджанцев, таджиков, туркмен и киргизов — увеличилась в 2,6 раза, а их доля возросла с 7,7 до 14,4%. (Численность татар, демографический переход у которых близок к завершению, росла умеренными темпами. В 1959 г. они были вторым по численности мусульманским народом СССР, в 1989 г. отодвинулись на четвертое место, а их доля в населении страны несколько уменьшилась.)

Рост демографического потенциала мог создавать ложное ощущение процветания таких районов, как, скажем, бывшие советские республики Средней Азии. В 1939 г. совокупная численность населения Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении составляла 10,5 млн. человек, в 1950 г. — 10,6 млн. Но за следующие 40 лет — к 1990 г. — она увеличилась до 33,6 млн. человек (в 3,2 раза), и ожидается, что к 2010 г. численность 1950 г. будет превышена здесь не менее чем в пять раз. Доля четырех республик в населении страны за те же 40 лет выросла с 5,9 до 11,6%. Но их доля в общем числе родившихся повысилась с 7 до 24% — огромный рост вклада региона в пополнение общесоюзных трудовых ресурсов или армейских контингентов.

Официальная пропаганда не придавала значения всем этим различиям, делала упор на силы сближения, которые и в самом деле всегда порождаются модернизацией. Много говорилось о едином экономическом, культурном, политическом пространстве. На

деле же негибкая советская модель модернизации, скорее, блокировала интеграционные тенденции, нежели способствовала их развитию. Сохранение и даже увеличение региональных различий в сочетании со слабостью интеграционных сил делали все более явной необоснованность многих давних надежд, связывавшихся со «строительством социализма в СССР». В ходу все еще были лозунги «выравнивания экономических уровней» регионов, «роста социальной однородности советского общества» и т. п. На деле же становилось все яснее, что рассчитывать на завершение или, по крайней мере, ускорение модернизации в метрополии при одновременном ее ускорении на отсталых окраинах не приходится. Сохранение империи и без того все больше становилось помехой модернизации ее более развитых частей. Невозможность сохранить империю и при этом избавиться в обозримом будущем от ее давней полуколониальной структуры стала одним из главных признаков кризиса, тупика, в который зашла советская модернизация. С наибольшей очевидностью этот тупик дал себя знать в Средней Азии.

## 8.5. Среднеазиатский тупик советской модернизации

**В** разные периоды российской, а особенно советской истории в Средней Азии<sup>37</sup> предпринимались немалые усилия, направленные на преодоление ее отсталости, они далеко не всегда были безуспешными. Бывшие советские республики Средней Азии по многим важным показателям развития выгодно отличаются даже от более преуспевающих в других отношениях сопредельных стран, таких как Турция и Иран. Скажем, в этих странах гораздо менее благоприятные, чем в Средней Азии, показатели смертности. Еще более выигрышно сравнение уровней образования: в Иране 46% всего взрослого населения (старше 15 лет) неграмотно, у женщин этот показатель поднимается до 57%. Соответствующие показатели в Пакистане — 65% и 79%, в Афганистане — 71% и 86%<sup>38</sup>. В республиках Средней Азии в 1989 г. от 84 до 87% населения старше 15 лет имели среднее или высшее образование, т. е., как минимум, окончили семилетнюю или восьмилетнюю школу. В экономической и социальной структуре, в политике и культуре, в повседневной жизни Средней Азии — повсюду были видны признаки «современности», все более широкие слои коренного населения с детства усваивали демократические, гражданские, светские ценности. Разумеется, в «современности» среднеазиатских обществ советского периода было много поверхностного, внешнего, но и в этом случае ее не следует недооценивать. Грань между «внешним» и «внутренним» подвижна, одно переходит в другое, маска порой прирастает к лицу так, что их невозможно разделить. В целом советская система несомненно смогла запустить механизм модернизации в Средней Азии. Но она не сумела довести ее до конца и в более развитых районах СССР, противоречивость и незавершенность модернизации в Средней Азии видны с особой наглядностью.

К концу 80-х годов по всем экономическим показателям она находилась позади европейских районов СССР. Сравнительные данные не свидетельствуют также об экономическом прогрессе, который привел бы к резкому отрыву от таких стран, как Турция и

<sup>37</sup> В СССР под Средней Азией понимались 4 республики (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения) с территорией 1,3 млн. кв. км и населением (в 1989 г.) 33,5 млн. человек.

<sup>38</sup> Social indicators of development 1994. World Bank, 1994.

Иран, использовавших иную модель развития. Лишь по сравнению с другими, более отсталыми соседями — Афганистаном и Пакистаном — республики советской Центральной Азии развивались успешно. Но в целом их экономика была отсталой и малоэффективной, по преимуществу аграрной. В середине 80-х годов, по советским оценкам того времени, вклад промышленности в произведенный национальный доход в четырех среднеазиатских республиках составлял 32% (по СССР в целом — 46%). Доля занятых в сельском хозяйстве колебалась от 34% в Киргизии до 42% в Таджикистане (в России — 14%, на Украине — 20%)<sup>39</sup>. Доля сельского населения в конце 80-х годов превышала 50–60% (в России — 26%, на Украине — 33%) и в некоторых республиках даже увеличивалась.

В системе связей с другими частями СССР республики Средней Азии выступали прежде всего как поставщики сырья. Олицетворением этой роли региона стала монокультура хлопка. В свое время, в середине XIX века, из-за гражданской войны в США нарушились поставки американского сырья, которое на 90% покрывало потребности хлопчатобумажной промышленности России. Тогда его заменил среднеазиатский хлопок, его ввоз увеличился в 4–5 раз. Постепенно в среднеазиатской экономике сложилось нечто вроде наркотического привыкания к относительным достоинствам монокультуры хлопка, выгодного и удобного для экспорта сырья. Этому особенно способствовала политика властей СССР, стремившихся к его «хлопковой независимости» и очень жестко проводивших свою линию.

В начале 30-х годов в опубликованных в Узбекистане директивах по составлению второго пятилетнего плана говорилось: «Узбекистан будет не только хлопковой базой СССР, не только будет представлять собой, как это многим хотелось бы, хлопковую колонию, но должен будет наравне с развитием хлопководства идти по пути высокого и интенсивного индустриального развития». Эти, казалось бы, вполне соответствовавшие духу времени планы один из участников обсуждения экономических перспектив Средней Азии назвал «совершенно чудовищным извращением националистического толка». «Жизнь жесточайшим образом бьет по борьбе контрреволюционного национализма против хлопка, ибо именно в борьбе за хлопковую независимость Советского Союза... социалистические республики Средней Азии... ликвидируют экономическую отсталость и успешно развернут социалистическую индустриализацию»<sup>40</sup>. Другой выступавший утверждал, что Средняя Азия должна не просто стать сырьевой хлопковой базой, но и «развернуть свою текстильную промышленность до такого уровня, который обеспечил бы потребность среденазиатских республик и близлежащих районов»<sup>41</sup>. Этого однако не произошло. С 1930-х годов страна, ранее ввозившая до 60% хлопкового сырья, перешла на почти полное самообеспечение. Накануне распада СССР он был третьим в мире производителем хлопка-сырца (после Китая и США), свыше 90% всего советского хлопка производилось в Средней Азии. Основные же текстильные центры были сосредоточены за ее пределами, на месте перерабатывалось лишь около 8% производимого здесь хлопкового волокна.

<sup>39</sup> Труд в СССР, с. 16.

<sup>40</sup> Средняя Азия. Труды Первой Всесоюзной конференции по развитию производительных сил Союза СССР. Т. VII. М., 1933, с. 14.

<sup>41</sup> Там же, с. 5.

В производстве хлопка с наглядностью проявлялись типичные черты колониальной экономики: стремление при минимальных вложениях использовать дешевые экстенсивные факторы производства: дешевый труд и «даровые» природные ресурсы. Еще в прошлом веке климатологи обращали внимание на неблагоприятный естественный водный баланс этого засушливого района, что могло привести «к весьма быстрому осушению страны, т. е. уничтожению бывших озер, обмелению рек и уменьшению Аральского моря или, что все равно, его отступанию»<sup>42</sup>. Энтузиасты русской колонизации Средней Азии легко отмахнулись от этих предостережений. «Принимавшееся ранее за факт постепенное обсыхание Туркестана, если иметь в виду более или менее близкое будущее, едва ли угрожает какою-либо опасностью самому Туркестану и русской его колонизации. Окончательное обсыхание если и происходит, то лишь с чрезвычайной медленностью, и результаты его сделаются заметными через столь значительный промежуток времени, на какой вовсе не могут распространяться наши расчеты»<sup>43</sup>.

Трудно сказать, какой промежуток времени мог считаться достаточным для расчетов авторами начала века, но к его концу результаты «сделались заметными». Постоянное расширение орошаемых земель под хлопок, увеличивало количество забираемой из рек на нужды полива воды, огромная часть которой терялась бесплодно из-за применения остальных технологий орошения. В конце концов это привело к экологической катастрофе. Аму-Дарья, древний Оксус, с незапамятных времен питавшая Аральское море, полностью высохла в ее нижнем течении. Ее дельта стала превращаться в засоленную пустыню, Аральское море начало исчезать с карты планеты.

Хлопок — может быть, самый характерный, но не единственный пример сырья, поставлявшегося Средней Азией. Ее сельское хозяйство производило на вывоз также натуральный шелк, шерсть, каракуль, растительное масло, фрукты, овощи и т. п. По некоторым расчетам, только переработкой поступавшего из Средней Азии сельскохозяйственного сырья в середине 80-х годов в других районах СССР было занято не менее 1 миллиона человек. Но сырье производила также и добывающая промышленность, отсюда шли уголь и газ, цветные металлы, химическое сырье. Структура капиталовложений в промышленность отражала явное предпочтение добывающим отраслям. Например, в Туркменистане в первой половине 80-х годов в эти отрасли было направлено 80% всех промышленных инвестиций. Такие же отрасли, как машиностроение, развивались слабо. Доля занятых в машиностроении в Туркменистане за 20 лет с 1965 по 1985 г. — выросла всего с 16,7 до 19%. В Узбекистане она уже в 1965 г. была выше — около 30%, но за последующие 20 лет не изменилась.

Колониальный тип развития Средней Азии сказывался и в соотношении ролей коренного и пришлого, «европейского» населения. Ядром советской модернизации была ускоренная индустриализация, но местное население участвовало в ней относительно слабо. Это отражалось в структуре занятости. Даже в конце 80-х годов среди занятых в промышленности в Киргизии было только 25% киргизов, в Узбекистане — 53% узбеков и т. д.<sup>44</sup>. В конечном счете, подталкиваемая извне модернизация и привела к появлению

<sup>42</sup> Цит. по: Кауфман А. А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края, с. 24.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Труд в СССР, с. 22.

значительной иммиграционной ниши, которая заполнялась населением европейской культуры, в основном русскоязычным<sup>45</sup>. В 1989 г. русскоязычные составляли 24% населения Среднеазиатско-казахстанского региона (47% в Казахстане и 13% в республиках Средней Азии), особенно высокой была их доля в крупных городах.

Оставаясь в поле влияния русской культуры, пришлое население мало интересовалось местными культурами, иногда очень древними и богатыми, местное и пришлое, «европейское» населения были разделены культурно-языковым барьером. Если этот барьер преодолевался, то лишь в одном направлении: местное население обычно осваивало русский язык, «русскоязычные» местных языков не знали. Впрочем, не следует переоценивать и знание русского языка. Перепись населения 1989 г. показала, что русским языком (в основном, как вторым) в Средней Азии владели 23,3% узбеков, 27,7% таджиков, 35,1% киргизов, 27,6% туркмен, 20,2% каракалпаков — во всех случаях речь идет о меньшинстве. Что же касается живших в Средней Азии русских, то свыше 95% из них заявили, что не владеют никаким другим (кроме русского) языком народов СССР.

Между местным и пришлым населением Средней Азии существовали контакты на бытовом уровне, но не очень глубокие. Об этом говорят, в частности, относительно редкие смешанные браки. Скажем, в Киргизии в 1989 г. 48% населения составляли не киргизы, в Узбекистане 29% — не узбеки. А в национально смешанные браки в этом году вступило всего 6% мужчин-киргизов, 6,5% узбеков<sup>46</sup>, причем и среди этих браков преобладали обычно браки не с русскоязычными, а с представителями культурно родственных соседних народов. Так, в 1985 г. среди смешанных супружеских пар, где одним из супругов был киргиз или киргизка, в 72 случаях из ста вторым супругом были узбечка (узбек), казашка (казак), таджичка (таджик), татарка (татарин), калмычка (калмык)<sup>47</sup>.

Промышленное и городское развитие, шедшее во многом за счет притока материальных и людских ресурсов извне, в какой-то мере консервировало уклад жизни коренного сельского населения. При всей его бедности, оно не знало угрозы разорения, не достигало той крайней черты, за которой массовая миграция в города становится безусловной экономической необходимостью. Деревня стагнировала, но силы выталкивания из нее были смягчены. Это благоприятствовало сохранению традиционных институциональных форм — общинных структур, пронизанных клановыми, родовыми и семейно-родственными связями; ограничения самостоятельности индивида; неравноправного положения женщины; многодетности и пр.

Все это соответствовало духу консервативной модернизации и даже в каком-то смысле говорило о ее достоинствах. Удалось внедрить многие звенья модернизации и при этом избежать резкого разрушения традиционного уклада, смягчить шок модерни-

<sup>45</sup> Впрочем, рост «колониального» компонента населения Средней Азии в советское время был связан не только с экономической модернизацией. Немалую роль играло и другое ее назначение, тоже типично колониальное. Средняя Азия (правда, не она одна) была чем-то вроде Новой Каледонии советского режима, местом размещения концентрационных лагерей ГУЛАГа и депортации «спецпереселенцев».

<sup>46</sup> Демографический ежегодник 1991. М., 1991, с. 402.

<sup>47</sup> Волков А. Г. Этнически смешанные семьи и межнациональные браки. // Семья и семейная политика. М., 1991, с. 79.

зации. Но, как и во всех других случаях, очень скоро дали знать о себе пределы такого типа развития. Оно не смогло вывести отсталые южные «национальные окраины» СССР из их полукOLONиального состояния, а значит, и изменить унаследованный СССР от Российской империи ее «полукOLONиальный» характер. А его сохранение указывает на еще один — и очень важный — аспект незавершенности советской модернизации в целом.

Кризис модернизации в Средней Азии обнаружился не сразу. Поначалу казалось, что развитие идет успешно, возможно, так оно и было. Но успехов развития, приведших к нарушению традиционных равновесий, оказалось недостаточно, чтобы создать новую равновесную систему. В результате стали возникать динамические несоответствия, которые порождали множество трудноразрешимых проблем. Отчетливо проявилась тормозящая роль взаимосвязанных и незавершенных модернизационных перемен: незавершенность культурной революции не позволяла преодолеть традиционные стереотипы поведения и довести до конца демографический переход, что привело к демографическому взрыву; в итоге стало увеличиваться рассогласование роста численности трудоспособного населения и числа рабочих мест (табл. 8.3). После 1970 г. «общественное производство» (т. е., по существу, все отрасли экономики за исключением личного «подсобного» сельского хозяйства) перестало поглощать прирост трудовых ресурсов, и они стали скапливаться в деревне, в подсобном сельском хозяйстве, мелком, неэффективном, страдавшем от отсутствия земли и воды. Средняя Азия все больше оказывалась в порочном круге воспроизводства бедности и отсталости.

**Таблица 8.3. Темпы прироста трудовых ресурсов и числа занятых в общественном производстве республик Средней Азии, %.**

Годы	Узбекистан	Киргизия	Таджикистан	Туркменистан
1965–1970	15,4/21,9	11,9/20,3	11,1/19,3	14,1/19,6
1970–1975	22,5/21,1	18,5/15,7	22,8/20,0	23,4/20,9
1975–1980	21,6/17,6	16,0/12,5	20,8/16,7	19,5/16,5
1980–1985	15,8/13,5	9,7/10,7	16,9/13,7	14,8/13,7

Числитель — прирост трудовых ресурсов; знаменатель — прирост числа занятых в общественном производстве и учащихся старше 16 лет.

В 70-е – 80-е годы Средняя Азия столкнулась с проблемой «источников накопления капитала», напоминавшей ту, перед которой СССР стоял в 20-е годы. Тогда ресурсы для нужд ускоренной модернизации были получены путем экспроприации крестьянства при сохранении очень низкого уровня жизни в городах. Тем не менее ресурсы оставались крайне ограниченными, а инвестиционная активность в тридцатые-пятидесятые годы распространилась в основном на те районы СССР, где капиталовложения могли быть использованы с наиболее высокой и быстрой отдачей. Сред-

няя Азия не принадлежала к их числу. Не принесли ей решения проблемы инвестиционных ресурсов и более спокойные шестидесятые–восемидесятые годы.

В соответствии с принятым в СССР национальным счетоводством, основным внутренним источником инвестиционных ресурсов был национальный доход. В 1985 г. произведенный национальный доход на душу населения в Средней Азии, по официальным исчислениям, составлял 1200 руб., на накопление расходовалось 350 руб. — и то, и другое намного меньше, чем в среднем по СССР (соответственно 2080 и 550 руб.). На потребление оставалось в Средней Азии 850, в СССР в целом — 1530 руб. Если бы накопление за счет внутренних источников в Средней Азии поднялось хотя бы до средне-союзного уровня, величина потребляемого национального дохода на душу населения сократилась бы до 650 руб. Рост инвестиций за счет внутренних источников был возможен, стало быть, только ценой резкого падения уровня жизни и без того весьма низкого. Стремительный рост населения требовал «демографических инвестиций», что накладывало дополнительные ограничения на использование наличных ресурсов в интересах экономического развития.

Пока существовал СССР, часть ресурсов его более богатых районов перераспределялась в пользу Средней Азии, но масштабы перераспределения никак не соответствовали потребностям среднеазиатской экономики. Как видно из иллюстрации, приведенной в табл. 8.4, темпы роста совокупного используемого национального дохода в Узбекистане, отчасти и благодаря помощи извне, были не самыми низкими. Но все съедал стремительный демографический рост, разрыв в душевых показателях не сокращался, а увеличивался. Механизм консервирования среднеазиатской бедности и отсталости предстает здесь со всей очевидностью.

Если верить советским оценкам того времени<sup>48</sup>, в 1985 г. совокупный использованный национальный доход в Средней Азии (в составе четырех республик) превышал произведенный в регионе на 7%. Для того же, чтобы душевая величина используемого здесь национального дохода приблизилась к среднесоюзной, это превышение должно было быть в десять раз большим (не 7%, а 70%). Нужно было бы систематически перераспределять в пользу Средней Азии около 5% национального дохода, произведенного в других республиках СССР. Но все они были далеко не богаты, обескровлены огромными военными расходами и просто не смогли бы обеспечить своими ресурсами 30–40 миллионов человек, расходующих на потребление и накопление в 1,7 раза больше своего национального дохода. А если учесть, что Средняя Азия была самой большой, но все же не единственной отсталой окраиной советской империи, то становится ясным, насколько задача изживания полукOLONиальной отсталости в СССР была далека от своего решения.

<sup>48</sup> Они основаны на данных советской государственной статистики и часто критиковались в Средней Азии как якобы занижающие ее вклад из-за неверной системы цен. Об этом говорил, например, на сессии Верховного Совета СССР С. Ниязов, тогда первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана («Известия», 2 июля 1987 г.). Однако расчеты западных экономистов с использованием мировых цен в основном подтвердили эти оценки для большинства республик Средней Азии (см., напр.: *Akakul D., Vaner S. La Turquie et le «monde turc»: approches politiques et économiques. Le trimestre du monde, 1992, 4e trimestre, p. 173–174.*



Таблица 8.4. Произведенный и использованный национальный доход на душу населения в СССР и некоторых республиках, 1985г.

	СССР	Белорус- сия	Латвия	Узбеки- стан
Национальный доход, тыс. руб.	2,05	1,97	2,24	1,30
— произведенный	2,08	2,23	2,93	1,20
— использованный	2,05	1,97	2,24	1,30
в том числе:				
на потребление	1,50	1,52	1,80	0,93
на накопление	0,55	0,45	0,44	0,37
Отношение использованного национального дохода к произведенному	0,98	0,88	0,76	1,08
Доля накопления в использованном национальном доходе, %	26,8	22,8	19,6	28,5
Среднегодовой рост				
— национального дохода	1,045	1,064	1,042	1,052
— населения	1,153	1,111	1,109	1,566
Среднегодовой рост произведенного национального дохода на единицу роста населения за 1970-1985 гг.	1,036	1,057	1,036	1,023

Это мало-помалу осознавалось в метрополии, где стали раздаваться голоса, призывавшие снять с России ответственность за решение среднеазиатских проблем. Россия стала уставать от своей «цивилизаторской миссии» и, в конечном счете, сама отделилась от Средней Азии.

## 8.6. Новые региональные элиты

**В** разделе 8.4. говорилось о региональных особенностях четырех незавершенных революций. Сейчас необходимо сказать и о пятой, политической. Приход к власти элиты нового типа на бескрайних просторах СССР в разных его частях протекал по-разному, да и сама эта элита была неодинаковой, имела разные интересы и устремления.

Рассмотренный только что пример Средней Азии свидетельствует: в СССР до последнего дня его существования сохранялись отсталые, полукOLONиальные районы, продвинувшиеся по пути модернизации намного меньше, чем европейская метрополия. Но одновременно он убеждает и в том, что даже и такие более отсталые районы все же шли



по этому пути и, как правило, тоже преодолели значительную его часть. Повсеместно, хотя и в разной степени, экономическое и сопряженное с ним развитие приводило к усложнению социально-территориальных подсистем, региональных субобществ, их дифференциации, к обогащению их внутренней среды, повышало роль протекающих в них процессов саморегулирования. А это, в свою очередь, имело своим следствием изменение структуры власти и появление региональных элит нового типа. И снова дело не в том, что такие элиты повсюду имели демократическое происхождение, были представлены в основном выходцами из крестьян, рабочих или немногочисленных средних слоев. Гораздо важнее то, что новыми были сами основания их существования и воспроизводства.

Прежние, дореволюционные региональные элиты были органической частью всей статусной иерархии полуфеодального, «вертикального» российского имперского общества. Иногда они противопоставляли себя империи, вели борьбу с имперским централизмом, пытались опереться на более широкие слои населения «своих» земель, отстаивали либо полную независимость, либо большую степень региональной самостоятельности и порой добивались требуемых уступок. Но главным внутренним мотивом такой борьбы всегда были их собственные «статусные» интересы. В конце концов, после более или менее длительного выяснения соотношения сил, и в имперской столице, и в «уделах» верх брали, как правило, прагматические соображения, коллективные классовые интересы. Взаимное давление заканчивалось нахождением приемлемого компромисса, региональные элиты получали свою долю полномочий и прав и естественно вписывались в общую имперскую пирамиду власти. Эта схема почти в равной степени относилась и к чисто великорусским областям, и к присоединяемым землям, населенным другими народами.

Размышляя о том, почему Украина казацких времен не смогла создать собственной государственности и потерпела поражения в «борьбе казацкого порядка с московскими государственными стремлениями», Драгоманов указывал на заинтересованность казацкой старшины в том, чтобы «сложиться по образцу польской шляхты и великорусских дворян в рабовладельческое или вообще привилегированное сословие». «После Мазепы уже не могло быть и речи о каком бы то ни было сепаратизме старшины малорусской, ни о ее тяготении к умиравшей тогда Польше... Старшина больше заботилась об уравнении прав ее с правами дворян великорусских, что и было исполнено»<sup>49</sup>. Поэтому украинской казацкой старшины, нередко несущей в своих именах следы старых турецких или татарских корней (Кочубей), влились в русское дворянство и надолго стали надежной опорой императорского трона.

То же самое происходило и с потомками татарских мурз, грузинских царей, прибалтийских баронов, польских шляхтичей, узбекских ханов и беев и т. д. Они переходили на службу к российским императорам, получали российское дворянское звание, нередко действовали на общеимперской сцене, становились преданнейшими российскими генералами или высокопоставленными чиновниками (Барклай-де-Толли, Багратион, Бенкендорф, Лорис-Меликов, Витте и т. д.). Но даже для чисто регио-

<sup>49</sup> Драгоманов М. П. Евреи и поляки в Юго-западном крае. // Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1. Центр и окраины, с. 251.

нальных или локальных элит, чьи интересы и деятельность не выходили за более или менее узкие территориальные границы, главным источником статусных привилегий были принадлежность к общеимперской элите и конкретное место в имперской пирамиде власти.

Капиталистическая модернизация России уже в XIX веке породила новый тип региональной элиты, ибо уже тогда стали появляться новые, мало зависящие от имперской вертикали, источники региональной элитарности. Развитие и диверсификация экономики, рост разделения труда и разнообразия видов деятельности в крупных городах, в губерниях и областях создали многочисленные неизвестные ранее каналы социальной мобильности, равно как и новые элитарные социальные статусы. Узкая дворянская верхушка — основа прежних губернских элит — стала растворяться в более широком элитарном слое, в который, помимо остатков старого дворянства, входила и буржуазия — купцы и промышленники, а также высшие чиновники, университетская профессура, деятели культуры, в какой-то мере вся разночинная интеллигенция.

Модернизация советского времени ускорила формирование новых региональных элит. Она усложняла жизнедеятельность городских и региональных систем, увеличивала их внутреннее разнообразие, пронизывала их горизонтальными экономическими, социальными и прочими связями. Все это с неизбежностью вело к возникновению или расширению множества независимых и рядоположенных элитарных социальных статусов, источником которых была сама региональная или локальная социальная ткань. В ней должно было найтись место не только для руководителей местных органов власти, но и для директоров крупных предприятий, председателей колхозов, редакторов газет, крупных ученых и писателей, знаменитостей артистического или спортивного мира и т. п.

Однако советская модернизация вела к развитию региональных элит лишь в той мере, в какой это соответствовало ее инструментальным целям. Там же, где это соответствие кончалось, развитие элит блокировалось. Региональная элита до конца оставалась по преимуществу статусной, «номенклатурной», напоминавшей элиту феодального общества. Она зависела от начальства, от его субъективных оценок, назначений, «пожалований» больше, чем от объективных результатов своей деятельности. Советский элитарный истеблишмент был моноцентрическим — как во времена самодержавия. Все эти его свойства воспроизводились — пожалуй, даже в усиленном виде — на региональных уровнях, где непосредственная зависимость каждого от местного централизованного «партийного руководства», местного ЦК или обкома коммунистической партии и персонально его первого секретаря — была особенно очевидной.

Сама «региональность» такой элиты в известном смысле была сомнительной. Во главе регионов обычно стояли наместники Москвы, нередко перемещавшиеся центром из региона в регион без всякой оглядки на их экономическую, национальную или культурную специфику. В Москве, пусть и при участии таких наместников, реша-

лось, кого назначить директорами крупнейших предприятий региона, кому считаться выдающимся местным писателем или композитором, кому быть академиком или президентом местной академии наук и т. п. В «национальных» республиках местная элита вербовалась по преимуществу из представителей коренных этносов (политика «национальных кадров»), но это не меняло ее номенклатурной сути. Как отмечал Восленский, вкрапление русской номенклатуры в республиках было «существенно по своему политическому весу, но сравнительно немногочисленно. Номенклатурасюзерен мудро старается не задевать национальных чувств местного населения». Что же касается самих местных номенклатурщиков, то «национальные чувства ими не владеют. Их интересует только власть и связанные с нею привилегии, так что они действительно интернационалисты»<sup>50</sup>.

Вся эта система имела известный смысл, когда внутренние силы регионов были неразвиты и в них возводились, порой на пустом месте, леса будущей региональной конструкции: создавалась система современного административного управления, строились первые заводы, открывались университеты или театры и пр. Но со временем раз созданные экономические, культурные и прочие конструкции начинали жить своей жизнью, которая к тому же перемешивалась с жизнью, существовавшей здесь и прежде. Рядом со старыми номенклатурными элитами, отчасти и внутри них складывались элиты нового типа, во многих отношениях глубже укорененные в новой собственно региональной почве. Интересы этих новых элит были двойственными.

С одной стороны, они были порождением модернизации и в целом безусловно принимали ее инструментальные результаты. В этом смысле они должны были быть заодно с номенклатурой и идти даже дальше нее в своем неприятии возрождения традиционалистских элит, пытавшихся опираться только на консервативную составляющую советской модернизации — на сохранявшуюся, а иногда и охранявшуюся социальную архаику, — но преувеличенно резко критиковавших многие ее инструментальные последствия. В то же время в своем региональном качестве новые местные элиты должны были выступать как противники номенклатуры, олицетворявшей централизм унитарного государства, и видеть союзников в традиционалистах, идеология которых всегда строилась на подчеркивании региональных и (или) этнических и этнорелигиозных особенностей.

В разных частях СССР двойственность новых региональных элит проявлялась по-разному — в зависимости от степени продвинутой по пути модернизации и реального соотношения модернистских и традиционалистских сил.

На одном полюсе находились республики Прибалтики. Элитарные слои нового типа здесь начали складываться давно, в целом не были порождением советской модернизации и потому не чувствовали своего заединства с номенклатурой, их несовместимость была очень сильной. В то же время в Прибалтике давно уже не существовало классического архаичного традиционализма. Отстаивание региональных интересов здесь, как и везде, сопровождалось подчеркиванием местных особенностей, но так как сами эти особенности ассоциировались с большей «европейскостью», их

<sup>50</sup> Восленский М. Номенклатура. М., 1991, с. 405.

подчеркивание не имело антимодернистской направленности. Раздвоенность новых элит в прибалтийских республиках была наименьшей.

Другой полюс образовывали республики Средней Азии. Здесь положение было намного сложнее. С самого начала появление в Туркестане России не могло обойтись без прививки застойным средневековым среднеазиатским ханствам пусть и небольшой дозы «западного» динамизма. А это, в свою очередь, пробуждало их внутренние силы, порождало собственную «вестернизированную» элиту, искавшую сближения с Россией и поддерживавшую интеграцию с нею. Здесь зрела почва для идеологии исламского просветительства, которая, как мы видели на примере Гаспринского, не была в России ни антимодернистской, ни антирусской, ни антиимперской и вела борьбу, скорее, с местным традиционализмом, нежели с западными цивилизационными влияниями. Самому Гаспринскому казалось исторически неизбежным, что «разрозненные ветки тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественного, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной, составной частью». Поэтому он считал, что «Россия еще не достигла своих исторических, естественных границ» в Средней Азии. «Граница, черта, разделяющая Туркмению и Среднюю Азию на две части — русскую и нерусскую, может быть политически необходима в настоящее время, но она неестественна, пока не охватит все татарские племена Азии... Пока русские границы, как наследие татар, не дойдут до исторических, естественных пределов их поселений, они не могут быть прочны»<sup>51</sup>.

До революции Средняя Азия получила от России не много «новой европейской монеты», на которую рассчитывал Гаспринский, мало изменилось и положение местных традиционных элит. Модернизация же советского периода, при всей ее непосредственности и незавершенности, и в Средней Азии зашла достаточно далеко, чтобы вызвать к жизни и расширить средние городские слои, способные отстаивать свои интересы, связанные в основном с современными устремлениями экономической, политической и культурной жизни, а значит, и ускорить складывание новых местных элит. И все же и в 80-е годы XX века средние слои и их элита здесь все еще были немногочисленными и неразвитыми. Новые элитарные группы еще не вполне вылупились из номенклатурной скорлупы, под защитой которой они созревали, несовместимость элит старого и нового типа, столь сильная в Прибалтике, в Средней Азии еще по-настоящему не дала себя знать. Зато традиционализм, на который могли опираться новые среднеазиатские элиты при отстаивании своих региональных интересов, был куда сильнее, чем в Прибалтике. В результате интересы этих элит оказались чрезвычайно противоречивыми, раздвоенными, их самосознание — расколотым.

Между двумя крайностями — прибалтийской и центральноазиатской — находились все остальные регионы СССР, в том числе и регионы собственно России, тоже часто неодинаковые. Изменение типа элиты и замещение старой элиты новой в том или ином регионе было тесно связано с успехами модернизации: чем ближе к завершению модернизация, тем дальше продвинуто и обновление элит. Но в целом новые элиты набирали силу повсеместно. Конечно, по-настоящему советская консервативная модернизация не могла быть завершена нигде, ее незавершенность тормозила

<sup>51</sup> Гаспринский Исмаил бей. Цит. соч., с. 17–18.

развитие современных элитарных групп, делала их полусовременными. Это ослабляло их напор, побуждало приспособляться к старым правилам игры и т. п. Тем не менее уйти от объективно неизбежного конфликта интересов централизма (его олицетворяла старая номенклатура) и регионализма, более близкого новым элитам, было нельзя. В обоих случаях будущее было за новыми элитами, ибо в их пользу менялась объективная расстановка сил, новые элиты чувствовали себя все более уверенно. Но и номенклатура — промежуточное звено между классической феодальной и новой «демократической» элитой — не намерена была так просто уйти с исторической сцены. Противостояние нарастало, а вместе с тем нарастал и кризис советской империи.

# ГЛАВА 9

## КРИЗИС ИМПЕРИИ

### 9.1. Кризис имперского централизма и федерализм

Главными проблемами Российской, как и любой другой империи, всегда были связаны с отношениями по вертикали — между отдельными частями империи и ее центром. Вертикальная ось управления естественна для допромышленных обществ, горизонтальные связи в них развиты слабо, все основные социальные институты — от семьи до государства — имеют вертикальную структуру. «Вертикальное» управление из имперского центра было силой, скреплявшей конгломераты населявших обширные пространства разнородных локальных обществ, которые платили отказом от значительной части своего суверенитета, а иногда и полной его потерей за относительную устойчивость существования, экономическое благополучие, внешнюю безопасность. То обстоятельство, что подобная «сделка», отказ от суверенитета могли быть недобровольными, порождало определенные внутренние напряжения, но ничего не меняло в сути дела. Чтобы укрепить свою власть, центр стремился к ограничению самостоятельности частей, ослаблению их особенности, своеобразия — отсюда русификаторство, насильственное обращение в православие и т. д. Составные части империи, напротив, боролись за сохранение культурной и религиозной самобытности, за расширение самостоятельности, иногда и за независимость. В конце концов, устанавливалось некоторое равновесие сил при сохранении достаточно сильной вертикальной доминанты, без чего империя вообще не могла бы существовать.

Коль скоро такая доминанта сохранялась, она, в свою очередь, способствовала внутриимперскому сплочению, защите и укреплению горизонтальных связей между различными частями империи, делала эти связи более устойчивыми, регулярными и безопасными. Горизонтальные связи не просто по-иному направлены, они имеют иную природу. Вертикальные связи — по преимуществу политические, административные, военные, религиозно-идеологические. Они отвечают духу «простых», холистских обществ, суть одновременно и порождение, и опора внутренне присущего им централизма и авторитаризма. Горизонтальные же связи усиливаются по мере усложнения социальной жизнедеятельности, их природа — рыночно-экономическая, технологическая, культурно-коммуникативная. С усилением этих связей в России развивались и горизонтальные силы притяжения и отталкивания, под влиянием которых переструктурировалась вся система общественных отношений. В итоге империя изживала саму себя. Раз-

витие и укрепление горизонтальных связей под имперским зонтиком обесценивало вертикальные связи, на которых держалась империя, и, в конечном счете, ставило под сомнение само ее существование.

Усиление горизонтальных линий взаимодействия между частями империи придавало новое значение межобластному разделению труда, владению местными ресурсами, росту богатства регионов и контролю над ним, увеличивало роль областных экономических, политических и культурных столиц, независимость областных элит. В то же время с учащением прямых межрегиональных контактов все чаще обнаруживалось столкновение интересов разных областей империи, все заметнее становилась неодинаковость их территорий, численностей населения, природных богатств, культур, а главное, уровней и особенностей исторического развития. Нарастало внутриимперское разнообразие, а вместе с ним и внутриимперская конкуренция. Петербург и Москва уже не воспринимались только как исключительные места средоточия имперского главенствования. Появилась новая система отсчета, в которой они были в первую очередь олицетворением своих собственных экономических и прочих возможностей, — конечно, самыми развитыми и богатыми, но в остальном — такими же, как все. Любая областная столица могла бросить им экономический, культурный а то и политический вызов. Самостоятельность отдельных частей империи, которые все меньше нуждались в посредничестве центра, становилась все более заметной, все лучше осознавалась, рычаги былой власти и былого контроля ускользали из рук центра, нарастал кризис имперского централизма.

Это происходило — с ускорением — на протяжении всего XIX века. Говоря о настроении дворянства — губернской «региональной элиты» екатерининской эпохи, классической имперской поры, — Ключевский замечал, что оно не стремилось к участию в центральном управлении страной, все его политические стремления были связаны с местным самоуправлением. «Дав нам в руки уезды, правьте, как знаете, столицей»<sup>1</sup>. Но уже в начале XIX века что-то начинает меняться, во взаимных отношениях центра и областей империи появляются новые проблемы, привлекающие внимание общества. Они занимали, например, Сперанского, декабристов, порождали разные взгляды. В частности, федералистский и унитаристский подходы к будущему государственному устройству России столкнулись в проектах, предложенных декабристами Никитой Муравьевым и Пестелем<sup>2</sup>.

Видимо, то, что было удобно в условиях относительно однотипного, самодостаточного помещичьего хозяйствования в XVIII веке, быстро теряло смысл по мере того, как развивались городские виды деятельности и экономическое пространство страны становилось все более насыщенными и неоднородным. Примерно к середине XIX века постепенная модернизация России привела к осознанию самостоятельных экономических интересов регионов, тогда-то в них пробудились силы самоорганизации, противостоявшие чрезмерному имперскому централизму. Региональный, в основном губернский, уровень стал одной из главных арен деятельности набиравших силу разночинно-буржуазных слоев, из которых складывались новые областные элиты. Осваивая открывшиеся

<sup>1</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V, М., 1937, с. 108.

<sup>2</sup> См.: Алексеев Н. Советский федерализм. Общественные науки и современность, 1992, 1, с. 112–113.

вследствие модернизации многочисленные каналы социального продвижения и обогащения, они здесь, как и везде, искали большей самостоятельности и начали бороться за усиление своего влияния в центре, — но не для того, чтобы овладеть центральной властью, а для того, чтобы усилить свои позиции в межрегиональной конкуренции.

Хорошим примером сравнительно раннего появления федералистских требований в самих регионах — и уже как практического течения — может служить сибирское «областничество». Как писал один из его активных сторонников Г. Потанин, «первый крик нарождающегося сибирского областничества, раздавшийся в 40-х годах [XIX в.]: „Естественное богатство Сибири есть достояние области!“ удачно сразу наметил область экономических интересов как базу сибирского областничества»<sup>3</sup>. Потанин подчеркивал естественность деления империи на отдельные области и экономического соперничества между ними. «Областническая тенденция, покоящаяся на экономическом соревновании частей государства, имеет право на столь же долгий срок существования, как само государство»<sup>4</sup>.

Областники, стало быть, не просто претендовали на автономию внутри своих областей, наподобие дворян екатерининской поры, а добивались расширения своих прав на общероссийской сцене. Эти устремления и сформировали идеологию федерализма, т. е. повышения статуса регионов (губерний, областей) до такого уровня, чтобы они могли, например, через своих представителей в верховных органах власти, эффективно отстаивать свои интересы и ограничивать всевластие центра. На протяжении XIX века, по мере вызревания новых региональных элит, федералистские требования звучали все громче. Их глубинный смысл всегда был один и тот же: передел экономической, а если можно, и политической власти между регионами и имперским центром в пользу регионов.

Сибирские регионалисты подчеркивали исключительно «территориальную» природу своих требований. «Уральский казак так же резко противопоставляет свое местное остальному русскому, как и украинофил, а между тем этот сепаратизм чувства образовался без всяких этнографических и традиционных источников»<sup>5</sup>. «Сибирь в ряду других областей, в которых проявляется стремление к областничеству или автономии, выделяется тем, что в ней эта идея не связывается и не связывалась с национальной идеей. Основа сибирской идеи чисто территориальная»<sup>6</sup>.

Жизнь показала, что сибирское областничество было, скорее, исключением, чем правилом. В большинстве окраинных районов империи территориальная идея очень скоро соединилась с национальной, что породило требования перехода к федеративному устройству Российского государства на национально-территориальной основе. Хотя выдвигавшие такие требования идеологи национальных движений обычно подчеркивали, что их федерализм не предполагает разрушения империи, это не вызывало большого доверия у «общероссийского», имперского истеблишмента того времени. Соединение «областнических» и «национальных» требований, как правило, воспринималось

<sup>3</sup> Потанин Г. Областнические тенденции в Сибири. Томск, 1907, с. 57–58.

<sup>4</sup> Там же, с. 56–57.

<sup>5</sup> Там же, с. 60.

<sup>6</sup> Там же, с. 58.



как угроза — по меньшей мере, потенциальная — целостности империи. Это порождало неприятие самой идеи федерализма, в котором тогдашнее общественное мнение склонно было видеть замаскированный сепаратизм. Не случайно, например, В. Семенов-Тянь-Шанский даже в научной статье, в которой он предлагал усовершенствовать районирование России и перейти к ее делению на штаты и территории, счел нужным подчеркнуть, что, «употребляя термин „штаты“,... весьма далек при этом от мысли о федеративном устройстве России, которое было бы для нее безусловно гибелью в смысле могущественного владения»<sup>7</sup>.

Неприятие федерализма было характерно для основных общеимперских политических сил предреволюционной поры. Автор тех лет, разграничивая две группы общеимперских политических партий — правительственную и оппозиционную, отмечал, что «правительственная группа» поддерживала во всем объеме старый курс имперской национальной политики. Даже самая левая среди них — Союз 17 октября — при некоторых расшаркиваниях в сторону местной автономии, высказывалась за «ограждение единства политического тела» России, за ее «сложившийся исторически унитарный характер» и за «отрицание идеи федерализма в применении к русскому государственному строю»<sup>8</sup>. Но и представители либерального крыла тогдашнего политического спектра — конституционные демократы, поддерживавшие в некоторых случаях требования местной автономии для отдельных народов (Польши, Литвы, Закавказья, Украины) и не исключавшие перехода к такой автономии в будущем, в практическом плане стояли на позициях унитарной «единой и неделимой» империи. В связи с обсуждением украинского вопроса в 1914 г. лидер конституционных демократов П. Милюков сказал, что «считает постановку вопроса о федеративной связи Украины с Россией вредной и будет бороться против нее..., не может признавать за всеми народностями, населяющими Россию, права на автономию»<sup>9</sup>. Либералы поддерживали идеи местного самоуправления территорий, права народов на культурное самоопределение, но не верили в возможность превращения России в федерацию, построенную на национальной основе. Как утверждал Ф. Кокошкин, ведущий теоретик кадетской партии по национальному вопросу, «разделение России по национальному принципу логически ведет... не к федеративному государству, сохраняющему за центральной государственной властью суверенитет, тогда как остальные части несuverенны, а к свободному союзу суверенных государств, соединенных на началах международного договора», в конечном счете — «к распадению России, к разрушению государственного единства и образованию союза самостоятельных национальных суверенных государств»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Семенов-Тянь-Шанский В. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк по политической географии. Пг., 1915, с. 23.

<sup>8</sup> Славинский М. Национальная структура России и великороссы. // Формы национального движения в современных государствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия. СПб., 1910, с. 295.

<sup>9</sup> О правах национальностей и децентрализации. Доклад бюро съезду земских и городских деятелей 12–15 сентября 1905 г. и постановления съезда. М., 1906, с. 32–33. (Цит. по: Шелохаев В. Национальный вопрос в России: либеральный вариант решения. «Кентавр», 1993, 2, с. 104)

<sup>10</sup> Кокошкин Ф. Автономия и федерация. Пг., 1917, с. 15–16.

Не слишком были расположены к федерализму и крайне левые партии. Правда, в программе партии социалистов-революционеров говорилось о «возможно более широком применении федеративного начала в отношениях между отдельными национальностями». «Но затронутого вопроса «о федеративном начале» ни в программе, ни где-либо в другом месте имперская партия социалистов-революционеров не развивает, и приведенная выше цитата стоит в программе одиноко и голо, как намек, как нечто, что должно было кристаллизироваться и не кристаллизовалось»<sup>11</sup>. Видимо, это нечто не кристаллизовалось и в программе социал-демократов, которая «скудно и неотчетливо говорит о национальном вопросе»<sup>12</sup>. Но у такого заметного социал-демократа, как Ленин, свой взгляд на будущее российского федерализма несомненно был. «Пока и поскольку разные нации составляют единое государство, — писал он в 1913 г., — марксисты ни в коем случае не будут проповедовать ни федеративного принципа, ни децентрализации»<sup>13</sup>.

И все же нельзя сказать, что в предреволюционную пору все позиции в противостоянии федерализма и унитаризма четко и окончательно определились. Хотя само противостояние было налицо, и оно, конечно, свидетельствовало о кризисе имперского централизма. Но, видимо, этот кризис зашел еще не слишком далеко, потому и унитаризм казался жизнеспособным, имел множество сторонников, а противники его были осторожны.

## 9.2. Кризис локализма и национальный ответ

**Т**ерриториальный централизм был не единственной опорой российского имперского здания. Другим, не менее важным его основанием была самодостаточность, замкнутость, в том числе и территориальная, всех звеньев вертикального общества — каждое из них имело относительно ограниченные контакты как с рядоположенными, так и с выше- и нижестоящими ее звеньями. Эту особенность вертикального общества можно назвать «локализмом». Централизм и локализм дополняли друг друга. Локализм облегчал имперское управление, которое опиралось на немногочисленную местную элиту, представлявшую подконтрольное ей территориальное звено системы. Зато централизм оберегал целостность и обособленность таких звеньев, их бесконфликтное сосуществование, равно как и устойчивое положение местных элит. Интересы центра и «мест» взаимно дополняли друг друга, но почти не пересекались. Что бы ни происходило в империи, «места», особенно если иметь в виду крестьянское большинство населения, продолжали жить, как жили.

Эта согласованность нарушилась, когда то же самое развитие горизонтальных связей, которое вызвало кризис централизма, поставило под сомнение и спаянные с ним принципы территориального локализма. Изолированность и самодостаточность местных миров стали исчезать. На смену локальной замкнутости пришли всеобщая подвижность, постоянное перемешивание выходцев из разных частей империи, их тесные кон-

<sup>11</sup> Славинский М. Цит. соч., с. 298.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу. // Полн. собр. сочинений, т. 24, с. 140.

такты — особенно в больших городах, разрушение всяких изначальных перегородок между людьми и т. д. Это произошло не сразу. В России XIX века крестьянин, даже живя и работая в городе, как правило, долго сохранял связь с родной деревней, часто и прямую зависимость от нее. Тем не менее, выйдя даже временно за пределы своей деревни или своего уезда, оказавшись в более широком и переменчивом мире, человек все меньше чувствовал себя принадлежностью ограниченного территориального, а нередко вместе с тем и этнокультурного, религиозного и т. п. целого. Рано или поздно связывавшая их пуповина обрывалась полностью. По мере того как такое освобождение становилось все более частым, разрастался кризис имперского локализма.

В классической имперской ситуации вполне можно ощущать себя человеком империи и в то же время сохранять свою этническую, религиозную, вообще «локальную» идентичность. Теперь это становилось все труднее, границы между «локальным», «региональным» и «центральным» не просто размывались, но связанные с ними интересы, ценности и пр. все чаще приходили в непосредственное столкновение. Менялись и условия межэтнического общения, а вместе с тем — не только внешняя, но и внутренняя среда этнических систем. Традиционные ценности культурной самобытности, местных обычаев и религии, родного языка и т. д., веками и тысячелетиями верой и правдой служившие даже малочисленным этносам и обеспечивавшие их выживание, вступали в конкуренцию с новыми ценностями универсализма и всеобщей подвижности без границ — и отступали перед ними.

Некогда для неграмотного крестьянина в любой части империи язык его отцов был естественным и единственно возможным. Но с появлением больших городов и железных дорог, с развитием письменной культуры и современного образования положение усложнилось. Для украинца, татарина или грузина, покинувшего свою деревню, чтобы выйти в большой имперский мир, знания только родного языка было недостаточно. Рост подвижности населения усиливал «имперскую» роль русского языка и в то же время умножал число тех, кто вынужден был пользоваться им, не будучи его естественным носителем. Незнание или слабое знание русского языка затрудняло социальную адаптацию, служило барьером на пути социального продвижения.

Подобные проблемы возникали и прежде. *Lingua franca*, некий общий язык, используемый на обширной территории, — не новость. Но прежде он был нужен лишь так называемым «образованным» людям, то есть привилегированному меньшинству. Нередко создавался даже искусственный языковой барьер, отделявший привилегированные классы от собственного народа, но сближавший их с привилегированными классами других народов или стран (например, французский язык у европейской аристократии). В России представители украинской, татарской, немецкой или грузинской элиты часто знали русский язык не хуже, а порой и лучше своего родного, точно так же, как узбекская элита говорила по-таджикски, а латышская или эстонская — по-немецки. Такое двуязычие было следствием образования, доступного, как правило, только детям из «хороших семей». Модернизация же — и в этом заключалась коренная новизна — потребовала массового образования для миллионов.

Эта задача уже сама по себе превышала экономические и культурные возможности России XIX века. А в той мере, в какой такие возможности все же существовали, это были прежде всего возможности образования на русском языке. Получить образование было трудно и выходцам из великорусских областей, но для всех остальных незнание или плохое знание русского языка было огромным дополнительным препятствием. Так поставленная жизнью проблема образования столкнула между собой местные и русский языки. Русский язык стал важным инструментом модернизации. Но преимущественно русскоязычное образование и все, что с этим связано (русскоязычная пресса, преобладание русскоязычной литературы всех видов и пр.), обесценивало местные языки, они оказывались неконкурентоспособными, скатывались на положение второразрядных, чего раньше не было. Это стало одним из очень важных проявлений кризиса локализма.

Чтобы избежать обесценения местных языков и связанной с этим архаизации местных культур, надо было развивать современное образование на этих языках, что тогда в большинстве случаев было невозможно. Это понимали и представители национальных культурных элит, они искали промежуточных решений. В частности, они настаивали на **начальном** образовании на родном языке, принимая неизбежность русского как языка более высоких уровней образования. Например, на Украине, по свидетельству Драгоманова, стремление внедрить украинский язык в школы, в суды и т. д. начало появляться в небольших украинофильских кружках только с 40-х годов XIX века. «Отправная точка таких идей была вовсе не национальная, не потребность удовлетворить интересы национальной интеллигенции, а чисто демократическая и утилитарная: потребность дать простому народу образование в самой доступной для него форме и дать ему возможность понимать и защищать свои права, предоставленные ему законами»<sup>14</sup>. «Никто не думал, — писал Костомаров, — что первоначальное образование, полученное малорусами на своем природном языке, могло изгнать и устранить из Малороссии язык общерусский: напротив, существовала уверенность, что, получив некоторые сведения на своем наречии, малоросс с большею охотой поделает читать по-русски и скорее научится русскому языку, приобревши уже до этого некоторую подготовку и развитие»<sup>15</sup>.

Примерно так же обстояло дело и с татарским языком. «Высшее образование в России немыслимо без общегосударственного языка, — утверждал Гаспринский, — но ничто не мешает для распространения элементарных знаний (народные школы, низшие ремесленные профессиональные школы) пользоваться татарским языком... Если русская литературная речь оказалась несостоятельной как орган начального образования среди русских же в Малороссии, то очевидно, что в отношении татар он пригоден еще менее»<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу. // Драгоманов М. П. Вибране. Київ, 1991, с. 538.

<sup>15</sup> Костомаров Н. Статья о малорусской литературе в издании Н. Гербеля «Поэзия славян». Цит. по: Драгоманов М. П. Политические сочинения. М., 1908. Т. 1, с. 256.

<sup>16</sup> Гаспринский Исмаил бей. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения. // Гаспринский Исмаил Бей. Россия и Восток, Казань, 1993, с. 49–50.

Языковая ситуация — лишь один из примеров того, как местное и имперское вступало в конкуренцию между собой, требуя сделать нелегкий выбор. То же было с религией, обычаями, правилами повседневной жизни и т. д. Переселившемуся в большой город или вообще включившемуся в систему городских отношений крестьянину была незнакома вся городская система социального общения, он оказывался «без языка» в широком смысле слова<sup>17</sup>. И дело было не только в инструментальной важности языка городской культуры — необходимого орудия повседневной жизни. Язык, культура, религия, традиции, обычаи — это еще и важнейшие сплачивающие начала, без которых немислимо существование социального целого. В таком качестве они превращаются в символы, приобретают значение первостепенной социокультурной ценности, с исповеданием которой люди связывают свое существование и как «Я», и как «Мы». Тысячелетиями эти древние интеграторы, выступая в разных сочетаниях и усиливая друг друга, охраняли внутреннюю целостность, системность локальных обществ, даже и разделенных порой силой внешних обстоятельств. Теперь же многие из этих интеграторов оказались под угрозой, у них появились мощные конкуренты, и стали исчезать прежние условия их бесспорного усвоения каждым новым поколением. Разрушение этнокультурной замкнутости, бывшее одной из сторон разрушения локальных миров вообще, породило, таким образом, одну из наиболее важных форм кризиса локализма, которую можно назвать «кризисом этнической идентичности» или кратко **«кризисом этничности»**.

Кризис этничности был частью всего кризиса, вызванного атомизацией общества и автономизацией личности, и притом частью особенно заметной: перемены, связанные со сменой этнокультурной среды и появлением неизбежной при этом напряженности межэтнических отношений, принадлежали к числу наиболее осязаемых. Этническая напряженность, именно по причине своей очевидности, стала своеобразным центром, к которому стягивались все другие социальные напряженности, становилась источником грозных разрушительных сил.

Способность общества найти ответ на этот вызов времени зависела от его готовности принять всю совокупность связанных с модернизацией перемен, все новые основания организации социального мира. Если такая готовность существовала, то и в кризисе этничности нетрудно было увидеть проявление очень глубоких, фундаментальных перемен, свидетельство обесценения самих этнических принципов социальной интеграции и необходимости перехода к иному **типу** интеграторов, к существенно иному, **неэтническим** механизмам социального сплочения. Именно такая, исторически новая задача была поставлена и разрешена рядом западных обществ, где и было выработано обобщающее такое решение понятие «нация».

Это понятие широко вошло в европейский политический словарь после Французской революции, а осмысление западного опыта национальных государств уже в прош-

<sup>17</sup> «Без языка» — название рассказа В. Короленко, повествующего о судьбе украинского крестьянина-эмигранта в Америке. Герой рассказа, разумеется, не знал английского языка, но, что еще важнее, он был носителем другого культурного кода. Оказавшись случайно в толпе протестующих демонстрантов и увидев полицейского, он поступил так, как привык поступать при виде представителя власти в своем глухом волынском селе: нагнулся, чтобы **поцеловать** ему руку. Но все окружающие восприняли этот жест, в соответствии со своим культурным кодом, как попытку **укусить** полицейского.

лом веке привело к выработке взгляда на нацию как на согражданство, как на совокупность граждан, демократически управляющих своим государством и имеющих равные права, не зависящие от цвета кожи, языка, религиозных убеждений, происхождения или обычаев бытового поведения. Такой взгляд уходил корнями в идеологию Просвещения и Французской революции. Уже для Сьейеса нация означала «un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature»<sup>18</sup> (сообщество живущих по общему закону и представленных одним законодательством). Почти сто лет спустя Э. Ренан, суммируя круг западных либеральных идей XIX века, характеризовал как «грубую ошибку» отождествление нации с антропологическими, этнографическими или лингвистическими группами. «Человек — не раб ни своей расы, ни своего языка, ни своей религии, ни течения рек, ни направления горных цепей». Ренан связывал реальность нации с двумя факторами: общим историческим опытом и согласием в настоящем, «желанием жить вместе, волей сохранять неделимым полученное наследие»<sup>19</sup>.

На первый взгляд может показаться странным замечание Ренана о том, что «забвение, ...даже историческая ошибка — важнейшие факторы создания нации, так что успехи исторических исследований представляют собой часто опасность для национальности»<sup>20</sup>. Но по сути речь здесь идет о том, что нации — продукт не столько всей истории народа или страны, сколько определенных и притом более поздних ее этапов. Становление наций совпадает со становлением гражданского общества и, возможно, общность усилий на этом участке исторического пути оказывается хотя и исторически случайным, но тем не менее более важным обстоятельством при определении внешних границ нации-государства, нежели многовековые народные традиции, язык или религия. Само рождение нации становится очень существенной частью общего исторического опыта, сопровождается небывалым по интенсивности созданием духовных, культурных ценностей, которые образуют ее неделимое достояние. Но даже и построенное на таком надежном основании здание нуждается в постоянной проверке на прочность. Желание людей жить вместе должно постоянно подтверждаться. Нация, говорил Ренан, это ежедневный плебисцит<sup>21</sup>.

«Ренану, — писал впоследствии Ортега-и-Гассет, — удалось найти то самое слово, которое, подобно волшебному фонарю, осветило суть проблемы, ибо понятие плебисцита позволяет нам пролить свет на сложную сущностную структуру нации, состоящую из двух ингредиентов. Первый из них — это совместное существование с целью осуществления единой всеобщей деятельности, второй — приверженность людей к осуществлению проекта этой деятельности»<sup>22</sup>. «Уже не старая, существующая с незапамятных времен, традиционная, обращенная в прошлое, одним словом, непроходимо косная общность дает название тому политическому сосуществованию, каким является Государство, а совсем другая... Это абсолютно новая общность людей, в трудах сегодняшне-

<sup>18</sup> Цит. по: *Forest Ph. Nations et nationalismes au XIXe siècle: quelques repères.* // *Forest Ph. Qu'est-ce qu'une Nation?* Paris, 1991, p. 5.

<sup>19</sup> *Renan E. Qu'est-ce qu'une Nation? et autres écrits politiques.* Paris, 1996, p. 240, 242.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 227.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 241.

<sup>22</sup> *Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.* // *Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы.* М., 1991, с. 212.

го дня выковыивающих свое будущее»<sup>23</sup>. Нация — в ренановском смысле — есть категория гражданского общества, которое основывается на ценностях, более универсальных, чем относительно локальные, унаследованные от далекого прошлого ценности языка, религии или древних обычаев.

Становление нации позволяет преодолеть кризис локализма и оттеснить локалистские ценности на более низкие места социальной шкалы. Но это вовсе не значит, что они исчезают, — во всех случаях речь идет лишь о смене преобладающих тенденций, приоритетов, а не о полной замене одного типа социальных интеграторов другим. По-видимому, не теряют своего значения ни народная культура, ни религиозная традиция, ни языковая близость. Более того, все это переосмысливается в условиях нового, лишённого внутренних перегородок социального пространства, отчасти преодолевается локальность и прежних интеграторов, вырабатываются общие для всех, говорящих на одном языке, лингвистические нормы, создаются сборники фольклора, хранилища памятников народного искусства и т. п. Ценность традиционных интеграторов, их влияние на жизнь людей, возможно, даже возрастает. Но при этом они все-таки утрачивают свою главенствующую роль, уступают ее новым способам сплочения: общенациональному самосознанию (сначала «я — француз», потом «я — бретонец»; сначала «я — американец», потом — «американец ирландского происхождения» или «афроамериканец»), гражданским законам, осознаваемым экономическим и политическим интересам, тем слоям культуры, которые сложились в период становления нации.

Нация появляется там, где кончается холистский мир больших и малых левиафанов, построенный по принципу *человек для...* В таком мире статус личности создается принадлежностью к общности, точнее, одновременно ко многим общностям-левиафанам — семье, общине, сословию, церкви и т. д., утрата даже одной из этих «принадлежностей» разрушает статус человека, что противоречит установке на сохранение неизменных статусов и жестких перегородок между ними. Поэтому принадлежность к общности — огромная ценность для каждого, опасность ее утраты тяжело переживается, способна побудить людей на активное и самоотверженное противодействие. В этом смысле общество малоподвижно, враждебно переменам. Но к переменам, не затрагивающим статус, люди довольно безразличны. Именно поэтому все прошлые интегрирующие общности экстерриториальны. Культура, язык, религия сами по себе не знают государственных границ. Христиане или мусульмане могут живот положить за веру, но это не мешает единоверцам жить в разных государствах. Жили, а кое-где спокойно живут и сейчас в разных странах люди, говорящие на одном языке. Считалось обычным, что династический брак мог привести к объединению двух государств, а при разделе наследства царствующих особ одно государство могло распастись на несколько новых. Что бы ни говорили о социально и культурно сплоченных сообществах прошлого, как бы их ни называли — народ, племя, этнос и т. д., — всем им свойственна одна и та же черта: с точки зрения государственности, они *делимы*.

Современный социальный мир организован по-иному. Он намного более сложен и динамичен, ориентирован на высокую подвижность и индивидуальную активность лю-

<sup>23</sup> Там же, с. 207.



дей, а значит и на устранение былой закреплённости статусов и жестких перегородок между ними. Ему и соответствует идея нации. Она отвергает все внутренние границы и перегородки, содержит в себе презумпцию равенства, одинаковости шансов для всех граждан (= представителей нации) независимо от происхождения, цвета кожи, вероисповедания и т. п. и предполагает намного большую внутреннюю сплочённость. Нации *неделимы*. Появление наций придает новый статус государственным, территориальным границам. Никаких внутренних перегородок и устойчивые внешние границы — таков принцип национального государства в противовес династическим государствам прошлого, в которых незыблемость внутренних перегородок сочеталась с зыбкостью, частой переменчивостью внешних рубежей.

### 9.3. Кризис локализма и националистический ответ

**П**редпосылки становления нации создаются, стало быть, историческим развитием и притом лишь на недавних его этапах, на которых и происходит превращение замкнутых, сельских, холистских, сословных и т. д. обществ в открытые, атомизированные, индивидуалистические, гражданские. Пока эти этапы не пройдены, современная нация не может сложиться, само это понятие не поддается заимствованию и переносу на неподготовленную почву. Идея нации как согражданства не воспринимается, а ответом на кризис этничности становятся попытки восстановить былое значение прежних этнических интеграторов.

Именно такой ответ был предложен Гердером еще в конце XVIII века в ходе то ли спора с идеями Просвещения, то ли приспособления их к немецкой почве. Концепция нации Ренана, возможно, вызревала именно в полемике с идеями Гердера, убежденного в том, что «Провидение разделило людей — лесами и горами, морями и пустынями, реками и климатическими зонами, но прежде всего оно разделило людей языками, склонностями, характерами»<sup>24</sup>. Для Гердера такое разделение было незыблемым, он не желал видеть или, во всяком случае, не одобрял исторических перемен, стиравших племенные границы. «Сама природа», полагал он, подсказывает «традицию воспитания человека для одной из форм человеческого счастья и образа жизни»<sup>25</sup>. Цель человеческого рода заключается в «счастье и человечности, какие возможны на этом месте, в этой степени, в этом звене цепи, охватывающей весь человеческий род... Где бы ты ни был рожден, кем бы ты ни был рожден, человек, ты всегда тот, кем должен был стать, — не бросай цепь, не старайся перешагнуть через нее, но прилепись к ней!»<sup>26</sup>. От общих религиозно-философских рассуждений было рукой подать до политических выводов: «самое естественное государство — такое, в котором живет один народ, с одним присущим ему национальным характером... Ничто так не противно самим целям правления, как неестественный рост государства, хаотическое смешение разных человеческих пород и племен под одним скипетром... Такие царства... словно символы монархий в видении пророка: голова льва, хвост дракона, крылья орла,

<sup>24</sup> Гердер И. Г. Идеи к философской истории человечества. М., 1977, с. 226.

<sup>25</sup> Там же, с. 231.

<sup>26</sup> Там же, с. 232.



лапы медведя — все соединено в одно целое, целое весьма непатриотического свойства»<sup>27</sup>. Гердер подчеркивал важность родных традиций, языка, литературы, фольклора. В племенном разделении народов, в неизбежности границ между ними он видел опору борьбы против «деспотизма, стремящегося поработить себе все человечество», и это, кажется, главный вид деспотизма, который его волновал.

Идеи Гердера долгое время больше соответствовали мироощущению народов Восточной Европы, нежели западное «гражданское» понимание нации. Это очень хорошо видно на примере Российской империи, где они постоянно возникали — в явном или неявном виде — и в великодержавных писаниях Данилевского, и в сепаратистских лозунгах «националов», и в теориях русских марксистов. Гражданская же концепция нации плохо, а часто и превратно понималась в России и плохо усваивалась здесь. В конце XIX начале XX века кризис этничности в России был налицо, но российское общество не было готово к его преодолению путем создания новых гражданских интеграторов и перехода к неэтнической нации, наподобие французской или американской. Его все еще полусредневековое, корпоративное сознание не способно было принять идеи принадлежности человека самому себе и его права выбирать себе национальность, менять ее на протяжении жизни, эмигрировать, «натурализоваться» и т. д. Для него, как для К. Леонтьева, «идея национальностей... в том виде, в каком она является в XIX веке, [была] ... идея... космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидającego»<sup>28</sup>.

Даже в начале XX века, когда термины «нация» и «национальность» использовались в России довольно широко, смысл их, как он здесь понимался, был очень размытым, ускользающим. «Антропология, — писал автор начала века, — до сих пор далеко не выяснила вопроса, что такое национальность...; самый вопрос о том, существует ли она как реальное антропологическое явление или же представление о национальном типе есть не более, чем одна из человеческих иллюзий, не может считаться окончательно решенным»<sup>29</sup>. Тот же автор отмечал, что русское словоупотребление было ближе не к английскому или французскому, отождествляющему нацию и государство, а к немецкому, при котором «„народ“ есть термин государственного права, а „нация“ — термин этнографический»<sup>30</sup>. «Мы тоже охотнее говорим о „народе“ в государственном смысле, чем в смысле этнографическом: для нас в понятие „русский народ“ может войти и поляк, и еврей, и украинец, тогда как говорить о „русской нации“ в этом смысле мы решительно не в состоянии... Слово „нация“ вообще звучит для нас как слово иностранное, недостаточно усвоенное русским языком и до сих пор ему чуждое»<sup>31</sup>.

<sup>27</sup> Там же, с. 250.

<sup>28</sup> Леонтьев К. Византизм и славянство. // Избранное. М., 1993, с. 41–42.

<sup>29</sup> Водовозов В. Национальность и государство. // Формы национального движения в современных государствах, с. 729.

<sup>30</sup> Там же, с. 730.

<sup>31</sup> Там же, с. 731. Водовозов говорит, таким образом, о «многонациональном народе». Евразийцы позднее писали о «многонародной нации». Предполагается, стало быть, что можно быть одновременно представителем и народа и нации, например, поляком и русским. Но что стоит на первом месте?

Не воспринимая идею западной нации, российское предреволюционное общество все еще с надеждой оглядывалось в прошлое и рассчитывало — в духе Гердера — преодолеть очевидный всем кризис этничности путем укрепления ослабевших этнических интеграторов старого типа. Этот путь казался тем более заманчивым, что он отвечал массовым настроениям. В многообразных проявлениях кризиса традиционного миропорядка упрощающее массовое сознание склонно было видеть лишь следствие разрушения прежних защитных перегородок и замутнения чистых народных источников хлынувшими извне потоками чуждых влияний, результат не собственного развития идущих по пути модернизации обществ, а злокозненного вмешательства извне. В глубоком **внутреннем** конфликте старого и нового видели лишь противоборство идеализируемого «своего» и критикуемого «чужого», а преодоление конфликта связывали с избавлением от навязывающих это «чужое» этнических врагов. Так складывались идеи, настроения и образы, которые питали мифологию этнической, часто понимаемой как расовая, исключительности, веру в свое этническое превосходство. Это был, если воспользоваться словами Х. Арендт, «псевдомистический вздор, обогащенный бесчисленными и произвольными историческими воспоминаниями», но, по ее же утверждению, он обладал огромной эмоциональной притягательностью и породил «новый рост националистических чувств, сила которых оказалась превосходным двигателем толпообразных масс и очень удачно подменила в роли эмоционального центра более старый национальный патриотизм»<sup>32</sup>.

Все эти чувства и настроения легко резонировали на любое этническое самовозвеличение, что обычно сочеталось с ростом высокомерия и враждебности по отношению к «чужим»: «инородцам», русским, полякам, евреям, немцам, армянам и т. д. Образовавшаяся идеологическая смесь проникала в национальные движения, возникавшие повсюду в империи для защиты интересов национальных меньшинств, все больше определяла их лозунги. С успехами модернизации поле кризиса этничности расширялось, а сам он обострялся, национальные движения, поначалу умеренные, радикализировались. От попыток защитить культурную самобытность своих народов, их язык и т. п. они переходили к лозунгу «национального освобождения», а, по существу, к требованию «чтобы политические и этнические единицы совпадали, а также чтобы управляемые и управляющие внутри данной политической единицы принадлежали к одному этносу»<sup>33</sup>, — в этом требовании Геллнер видит суть национализма. Такой этнический национализм лишь своим названием, только этимологически связан с понятием «нация». Его правильнее было бы называть «антинационализмом», ибо он противостоит созиданию современных наций как сообществ, отказывающихся от внутренних локалистских перегородок. Нация — результат модернизации, национализм — проявление антимодернистской реакции. Он стал главным порождением кризиса локализма, продуктом его агонии, отражением безотчетных и безнадежных попыток вернуться в навсегда распавшийся мир, разделенный непроницаемыми перегородками.

Такие попытки были в равной степени характерны и для антиимперских национальных движений, и для националистических защитников империи. Кризис этничности за-

<sup>32</sup> Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996, с. 312.

<sup>33</sup> Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991, с. 5.

тронул не только национальные меньшинства. Его не мог избежать и русский (великорусский) этнос, который оказался едва ли не в центре кризиса традиционного локализма. Все главные составляющие кризиса, вызванного разрушением этнокультурных перегородок и массовым выходом в подвижный конкурентный мир, были налицо и у него. Правда, русские не знали языковых трудностей, которые осложняли положение национальных меньшинств. Но зато самолюбие господствующего этноса страдало от необходимости участвовать в конкурентной борьбе и на равных основаниях со всеми добиваться положения, которое прежде принадлежало им «по праву», тем более, что конкуренция в очень сложной этнокультурной среде Российской империи оказалась непростой. Это открыто и, пожалуй, даже с преувеличением, признавали русские националисты, и в мыслях не желавшие допустить равенства всех народов империи. «Для скорейшего подъема духовных и материальных сил русского племени, — писал Куропаткин, — одного равенства в правах с более культурными иноземцами и инородцами недостаточно. Необходимо, чтобы русское племя в России пользовалось большими правами, чем инородцы и иноземцы»<sup>34</sup>.

«Ни с того, ни с сего делить добытые царственные права с покоренными народцами, — писал другой автор, — что же тут разумного, скажите на милость?... Сама природа выдвинула племя русское среди многих других, как наиболее крепкое и даровитое. Сама история доказала неравенство маленьких племен с нами. Скажите, — что ж тут разумного идти против природы и истории и утверждать равенство, которого нет?»<sup>35</sup> Выскомерное этническое самоутверждение, равно как и выставляемое напоказ нежелание видеть, что мир меняется, пронизывало идеологию многих проимперских партий, отражалось в их программах. «Русской народности, — говорилось в программе Союза русского народа, — ...принадлежит первенствующее значение в государственной жизни и в государственном строительстве. Союз не делает различия между великороссами, белорусами и малороссами... Русская народность есть народность державная; прочие народности в России пользуются правами гражданского равенства, за исключением евреев. Русский язык есть господствующий язык Российской империи для всех населяющих ее народов»<sup>36</sup>.

Русский национализм был естественным союзником имперского централизма — и тот, и другой были проявлением антимодернистской реакции и вели борьбу за возвращение к прошлому. Такая борьба в долгосрочном плане была совершенно безнадёжной, в конечном счете, союз двух обреченных мог только уменьшить центристские силы, удерживающие империю от распада, и увеличить силы центробежные, действовавшие в противоположном направлении, но националисты не хотели этого видеть.

Напрасно Милюков, выступая в Думе, призывал депутатов проникнуться российским, а не великорусским патриотизмом. «Если вы на место этого российского государственного патриотизма, — говорил он, — хотите поставить ваш великорусский, то вместо органического единства, к которому мы стремимся, вы можете получить толь-

<sup>34</sup> Куропаткин А. Н. Россия для русских. Задачи русской армии. Т. 3. СПб., 1910, с. 241.

<sup>35</sup> Цит. по: Славинский М. Национальная структура России и великороссы, с. 296–297.

<sup>36</sup> Там же, с. 295.

ко механический агломерат центробежных стремлений, которые вам придется насильственно, искусственно сдерживать, и вы придете к результату, противоположному вашим намерениям, вы из великой империи сделаете колосс на глиняных ногах»<sup>37</sup>. Великорусские «патриоты» были глухи ко всем предупреждениям и продолжали раскалывать империю, приближали ее к распаду. Механизм достижения этого результата был очень простым.

Сторонники имперского централизма были не единственными, кто пытался использовать в своих интересах мобилизационный потенциал национализма. По тому же пути пошли и их противники — сторонники федеративного устройства России. Казалось бы, для них этот путь был менее естественным, чем для унитаристов. Объективно федералистские и националистические силы и движения в Российской империи не были тождественны между собой, во многом они должны были, скорее, противостоять друг другу. Хотя и те, и другие были вызваны к жизни модернизацией, будущее первых было объективно связано с успехами модернизации и использованием ее плодов, вторые представляли антимодернистскую реакцию и были ориентированы на возврат к прошлому. Потенциально региональный федерализм и этнический национализм враждебны<sup>38</sup>.

Но в реальных условиях Российской империи начала XX века у федерализма и национализма были значительные области пересечения интересов, что и привело их к сближению. Региональные элиты очень быстро поняли, какую мощную поддержку в борьбе за передел власти и влияния между ними и имперским центром они могут получить со стороны национальных движений. Поэтому федералистские идеи недолго удержались в рамках идеологии чистого «областничества», т. е. расширения прав и возможностей областей вне связи с национальной идеей. Сблазн обращения к этническим чувствам был так велик, что даже русские сибирские «областники» предприняли попытку раздобыть себе «этническую родословную», выдвинув идею «образования путем скрещивания и местных физико-исторических и этнологических условий, однородной и несколько своеобразной областной народности»<sup>39</sup>. В невеликорусских же частях империи федерализм все больше окрашивался в национальные цвета и в конце XIX века почти полностью слился с национализмом. Региональные элиты почувствовали себя намного более уверенно, когда смогли опереться на национальные движения и ощутить себя одновременно и национальными элитами.

Симбиоз федерализма и национализма породил противоречивую концепцию «национально-территориальной автономии». Изначально регионалисты и националисты в России выступали от лица разных «совокупностей», границы территорий и этносов здесь никогда не совпадали. Объединившись под общими «национально-территори-

<sup>37</sup> Там же, с. 303.

<sup>38</sup> Это, между прочим, хорошо понимал Кокошкин. «Начало федеративное и начало национальное, — писал он, — не только не тождественны между собой, но при последовательном своем развитии могут вступить в непримиримое противоречие... Между федерализмом и национализмом... существуют противоречия, которые, быть может, ярче всего способны сказаться в России» (Кокошкин Ф. Цит. соч., с. 5).

<sup>39</sup> Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892, с. 95.

альными» лозунгами, они закрыли глаза на эту «неувязку», не говоря уже о более глубоких различиях и противоречиях федерализма и национализма, стали дружно поддерживать требования национального освобождения и национального самоопределения — «вплоть до образования отдельного государства». Так как Российская империя объединяла более ста этносов, то, доведенные до логического конца, эти требования означали бы создание более ста новых государств — идея безумная даже с чисто арифметической точки зрения. Рассуждая о своей будущей государственности, националисты, как правило, видели свои «великие» государства — «Великую Украину», «Великий Туркестан», «Великий Азербайджан» и т. д. — в границах, весьма спорных, с точки зрения их непосредственных соседей. Любое такое вновь организованное государство было бы многоэтнично, в нем немедленно определились бы свои национальные меньшинства, свои национальные движения и свои национализмы — и так до бесконечности. Никакого решения «национального вопроса» простое разделение империи на части не давало. Подобно коммунистическому, националистический образ будущего был абсолютно утопичен.

Но — тоже подобно коммунистической — националистическая идея обладала очень высоким политическим мобилизационным потенциалом. Она всегда объединяла вокруг себя массы людей, не сумевших приспособиться к переменам, испытывавших ностальгию по прошлому, по былой этнической обособленности, по возможности иметь привилегии без конкуренции и т. д., придавала определенность их неясным настроениям, разжигала их недовольство, спланивала их несбыточными посулами. Все это превращало национализм в серьезную идеологическую и политическую силу, общественным группам, ведущим борьбу за передел богатства и власти, трудно было удержаться от искушения вступить в союз с нею. Не удержался от искушения и российский федерализм, который рассчитывал с помощью такого союза укрепить свои силы. На деле же выиграл, скорее, национализм, тогда как федерализм оказался его заложником. Этому исходу в очень большой степени содействовали шовинистические сторонники допотопного имперского централизма.

Областнические требования, лежавшие в основе федерализма, соответствовали духу исторического развития, были прогрессивными. Отблеск этой прогрессивности лег и на поддерживающие эти требования «окраинные» национализмы, замаскировал их антимодернистскую сущность. У русского имперского национализма такой возможности не было, он выступал в своей обнаженной реакционности. По большому счету все национализмы стоили друг друга, но в конкретной российской обстановке великорусский национализм становился символом угнетения и реакции. Он исходил из тождества имперских и великорусских интересов, что сразу же превращало всех нерусских в граждан второго сорта. Его позиция исключала признание равноправия народов России и закрывала дверь для умеренного, либерального федерализма. Жесткая позиция великорусских шовинистов подталкивала все национальные движения к радикализации своих требований, ослабляла позиции либералов-федералистов и, напротив, повышала вес националистических доводов в пользу сепаратизма. Любой местный национализм был окружен ореолом борьбы за прогресс и национальное освобождение. Авторитет

антиимперских националистических идей, симпатии к ним росли, а вместе с тем рос и их политический вес, усиливалось и давление национализма на умеренный областнический федерализм.

Региональные требования повсюду стали превращаться в регионально-национальные, хотя поначалу они по-прежнему формулировались в федералистских терминах и не посягали на целостность империи. Даже в начале XX века для большинства национальных движений в Российской империи была характерна федералистская позиция. Почти все политические силы, включая самые левые, искали удовлетворения регионально-национальных требований, как правило, стремясь избежать разрушения имперских границ. Всего за несколько лет до революции в обзоре позиций национальных социалистических партий говорилось, что «постулат государственной независимости в настоящий момент не выдвигается никем (кроме лишь так называемой „революционной фракции“ ППС [Польской социалистической партии], отживающего обломка расколовшейся партии)»<sup>40</sup>. Тем не менее грань, отделявшая национально-территориальный федерализм от сепаратизма, была очень тонкой, под крышей умеренного федерализма вызревали крайние, сепаратистские настроения; они ждали своего часа. В конце концов этот час настал. После крушения центральной власти в 1917 г. программы всех национальных движений радикализировались, требования национально-территориальной автономии сменились требованиями полной независимости. Федерализм открыто уступил место сепаратизму.

#### 9.4. Между федерализмом и сепаратизмом: пример Украины

Одним из характерных примеров такого движения от федерализма к сепаратизму может служить Украина. Украинцы, или, согласно официальному дореволюционному названию, малороссы<sup>41</sup>, были вторым по численности этносом Российской империи. В 1897 г. в Российской империи насчитывалось 22,4 млн. украинцев (идентифицированных по родному языку), из которых 20,4 млн. жили в Европейской России, 1,3 млн. — на Кавказе, в основном северном, остальные — в польских губерниях (335 тыс.), в Сибири (223 тыс.) и в Средней Азии (102 тыс.). Хотя, как правило, украинцы жили вперемешку с великороссами, а часто и с представителями других народов, область их преобладающего расселения выделяется достаточно четко. Украинцы составляли больше половины жителей в 8 из 50 губерний Европейской России, еще в одной — Таврической — превышали 40% всего населения, а без Крыма — 60% (в Крыму преобладали татары). Эти девять губерний (Таврическая губерния — без Крыма) и вошли впоследствии в состав независимой, а затем советской Украинской республики. Еще одна территория с очень высокой долей украинского населения (свыше 47%) — Кубань

<sup>40</sup> *Медем Вл.* Национальные движения и национальные социалистические партии в России. // *Формы национального движения в современных государствах...*, с. 756.

<sup>41</sup> Названия Малая Россия и Великая Россия (Russia Minor и Russia Major) были впервые использованы константинопольским патриархом при разграничении галицкой и московской метрополий в XIV в., эта терминология стала официальной в России со времен царя Алексея Михайловича (после Переяславского договора 1654 г.). Украинцы, жившие в Австрийской империи, называли себя русинами, как и ранее — во времена Литовско-русского и Польско-литовского государств.

ская область — по дореволюционному районированию не входила в состав 50 губерний Европейской России, а относилась к Кавказу, впоследствии же осталась в составе Российской Федерации. Кроме того, были пограничные губернии — Курская, Донская и Воронежская, — где украинцы, как правило, жившие в нескольких пограничных уездах, составляли от 20 до 40% населения. К ним примыкала и Ставропольская губерния, тогда тоже относившаяся к Кавказу, более, чем на треть украинская, причем здесь украинцы составляли от 30 до 50% во всех уездах. Наконец, заметной была доля украинцев в двух польских губерниях — Люблинской и Седлецкой; в восточных уездах этих губерний украинцев было больше, чем поляков<sup>42</sup>. Позднее, в 1912 г., здесь была образована новая — Холмская губерния.

Помимо Российской империи значительное число украинцев жило в конце XIX — начале XX в<sup>еков</sup> за ее пределами, главным образом в Австро-Венгрии. По переписи населения 1910 г. их численность определялась — по «разговорному языку», т. е. на основе ответов на вопрос: «На каком языке вы обычно разговариваете» или по материнскому языку (в Венгрии), — примерно в 4 млн. человек, из которых 3,2 млн., в основном униаты, жили в Галиции, 0,3 млн., преимущественно православные, — в Буковине, почти 0,5 млн. (униаты) — в Венгрии, в Закарпатье<sup>43</sup>. Кроме того, несколько сот тысяч украинцев-эмигрантов было рассеяно по всему свету. Перед Первой мировой войной примерно 250–300 тыс. украинцев из Галиции и Закарпатья жили в США, около 170 тыс. — в Канаде, несколько десятков тысяч — в Бразилии<sup>44</sup>. Таким образом, в начале XX в. в мире насчитывалось примерно 26–27 млн. украинцев.

Хотя, как уже отмечалось, в России украинцы рассматривались как одна из ветвей русского народа, на Украине к этому времени уже сложилось представление об украинцах как о совершенно самостоятельном этносе. «Мы украинцы, земля, на которой мы живем, называется Украина, будь она под Российской державой, под Австрией или под Венгрией. Ибо хоть и делят ее границы, хоть разорвана она на клочки, но един народ, который ее населяет, едины язык, судьба и обычаи»<sup>45</sup>. Тогда подобный взгляд был относительно новым, он отражал итог довольно долгого периода развития украинского этнического самосознания.

Вопрос о едином украинском этносе приобрел остроту во второй половине XIX века, причем прежде всего в Галиции, ибо в Австро-Венгрии модернизация, а значит и пробуждение и активизация региональных элит зашли тогда дальше, чем в России. Для галицийских русинов первая задача в поисках большей самостоятельности заключалась в том, чтобы размежеваться с населявшими Западную Галицию поляками, которые преобладали в Галиции в целом, — вплоть до выделения населенной русинами Восточной Галиции в отдельную административную единицу в составе Австро-Венгрии. Польская региональная элита, занимавшая господствующее положение в регионе и имев-

<sup>42</sup> Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Краткие общие сведения по империи. Распределение населения по главнейшим сословиям, вероисповеданиям, родному языку и по некоторым занятиям. СПб., 1905, Табл. 1; *Фортуатов К.* Национальные области России. СПб., 1906, с. 7–11.

<sup>43</sup> *Auerbach B.* Les races et les nationalités en Autriche-Hongrie. Paris, 1917, p. 24, 257, 272, 342, 381.

<sup>44</sup> *Субтельний О.* Україна. Історія. Київ, 1993, с. 661, 666, 669.

<sup>45</sup> *Рудницький С.* Коротка географія України. Київ-Львів, 1910, с. 6.



шая большой вес в империи в целом, естественно, не хотела уступать своих привилегий, которым угрожала неожиданная активность русинов. Одна из линий ее обороны заключалась в том, что она отрицала само существование русинов как особого этноса, пыталась рассматривать их просто как разновидность поляков. Версия поляков и пропольски настроенных русинов в то время гласила: «русин, русняк и т. п. названия народные в Галиции составляют только разновидность поляка (*gente ruthenica, natione polonica*), как мазуры»<sup>46</sup>. Отталкиваясь от поляков и изыскивая исторические, этнографические и прочие доводы в пользу своей отдельности, галицийские русины, естественно, находили много общего между собой и своими восточными соседями, жившими в пределах Российской империи. Но подчеркивание такой общности не могло не встревожить австрийскую администрацию. По словам Драгоманова, поляки не преминули раздуть ее подозрительность, и на нее стала действовать «фраза, бывшая тогда в ходу у поляков, что «русин может быть только или поляком или москалем»<sup>47</sup>. Отсюда — паллиативная формула русинских патриотов: мы — русины, самостоятельное славянское племя, отличное от поляков и русских. Комментируя эту формулу, Драгоманов писал, что «под этими словами не лежало никаких ясных представлений ни о русских, ни о малороссах, ни о самом галицком народе... Если формула галицких патриотов 1848 года имела какую-нибудь цену и пользу, то только отрицательную: „мы не поляки“, это одно только и было ясно»<sup>48</sup>.

Тем не менее формула 1848 г. содержала еще самоопределение русинов как «части племени малорусского», что тоже смущало австрийские власти. Поэтому «официальный журнал, заведенный правительством для русинов при венской униатской семинарии, „Веденский Вестник“ начал проводить мысль об особенном народе рутенском, отдельном и от малороссов, а не только от русских..., об особенной трехмиллионной галицко-русской народности..., которая не имеет ничего общего с украинцами, всегда сопротивлявшимися унии и обнаруживавшими непокорный демократический дух»<sup>49</sup>.

Русинские патриоты не стремились к особому радикализму, ограничиваясь, в основном, чисто регионалистскими требованиями. Но поскольку австрийское правительство не шло навстречу даже этим требованиям, не соглашалось на административное разделение Галиции, их политическая игра усложнилась. Они стали искать средства давления на австрийские власти и нашли его в подчеркивании того обстоятельства, что «русины составляют часть однородного великого народа русского, имеющего в России отличное национальное правительство, могущественную литературу и национально настроенное общество, которые, то есть и правительство и общество, не оставят беспомощными своих братьев в Австрии, отданных на притеснение полякам, венграм и немцам»<sup>50</sup>.

«В этих обращениях взоров галицких патриотов на Россию было всегда своего рода двулличие или, по меньшей мере, не было прямоты и последовательности... Так называ-

<sup>46</sup> Драгоманов М. П. Русские в Галиции. // Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1. Центр и окраины. М., 1908, с. 288.

<sup>47</sup> Там же, с. 292.

<sup>48</sup> Там же, с. 286.

<sup>49</sup> Там же, с. 293.

<sup>50</sup> Там же, с. 294.



емые галицкие «москвофилы»... никогда не переставали писать в Вену самые усердные верноподданические заявления на немецком языке, в которых заявляли, что русский народ в Галиции ждет блага только от Цесаря из Вены. А в то же время в своих изданиях... галицкие литераторы говорили о России как о единственном государстве, где русский народ может пользоваться тем чуть не райским состоянием, коим теперь уже пользуется население России, о русском государе, как о единственном царе всего русского народа и т. д.»<sup>51</sup>.

Так или иначе, но реальная общественная и политическая жизнь Галиции во второй половине XIX века породила несколько версий «украинства», которые тем или иным способом, с тем или иным весом входили в идеологическую ткань всех последующих политических событий. По одной из них, существовал единый русский народ «от Карпат до Камчатки», и русины, так же, как и украинцы (малороссы), образовывали неотъемлемую часть этого народа. По другой версии, русины были частью единого украинского народа, самостоятельного, отдельного от русского (великорусского). Наконец, согласно третьей версии, не существовало и единого украинского народа, русины сами представляли собой самостоятельный, отличный от украинцев, этнос. В зависимости от места, времени и исторических обстоятельств та или иная версия приобретала больше или меньше сторонников как в Галиции, так и в восточной части Украины, больше или меньше влияла на политические события. В какой-то момент возобладала версия единого украинского народа, другие же версии, хотя и не совсем исчезли, явно отошли на второй план.

Сторонники этой победившей версии потратили немало сил, чтобы дать ей «научное» обоснование, убедить себя и других в том, что выбор был сделан на основании объективных критериев. Однако на самом деле подобный выбор находится, по видимому, за пределами научной объективности. В этом лишний раз убеждает рассмотрение противоречивых доводов, приводившихся для доказательства, с одной стороны, единства всех украинцев, а с другой — их отличия от русских и вообще кого бы то ни было.

Наиболее убедительным, почти бесспорным доводом служит единство языка. Несмотря на то, что языковые различия между великороссами, украинцами и белорусами были не очень большими и нередко трактовались как различия между наречиями русского языка, они существовали, сохранялись столетиями, казались незыблемыми. Именно языковое единство указывало, в частности, на общность украинцев, живших в разных странах и даже имевших разную веру. Никакие границы здесь не мешали. «Все, писанное живым малорусским языком в России... там [в Галиции], принимается как свое, родное», — утверждал в конце XIX века Драгоманов<sup>52</sup>. Родной язык непроницаемой, казалось бы, броней ограждал украинский этнос от чуждых влияний, делал его независимым от частых перемен государственных судеб, защищал его целостность и самобытность. Но именно эта броня и стала разрушаться в то время, когда историческое развитие пробудило волю украинского общества к большей самостоятельности.

<sup>51</sup> Там же, с. 299–300.

<sup>52</sup> Там же, с. 323–324.

Она была прочна до тех пор, пока украинское население в своем большинстве оставалось сельским, маломобильным и неграмотным, а традиционные этнические интеграторы не знали конкуренции и воспроизводились естественным образом вместе с привычными, мало менявшимися формами жизнедеятельности народа. Но уже в XIX веке, особенно во второй его половине, украинское общество было сильно затронуто общим для империи кризисом локализма. Резко выросшая подвижность населения начала размывать языковое единство украинцев, его объединяющее значение стало слабеть. Все более и более широкие слои украинского населения — в крупных городах, в Сибири, Казахстане, Канаде, а то и в собственной деревне — становятся двуязычными, а порой и вовсе забывают родной язык, переходя на русский, польский, немецкий или английский. Этническое и языковое самоопределение расходятся.

Уже в связи с переписью населения 1897 г., когда этническая идентификация производилась по родному языку, высказывались опасения, по поводу возможного преувеличения численности великороссов за счет включения в их число говорящих по-русски невеликороссов, в том числе и украинцев. Сходные проблемы возникали с языковой идентификацией украинцев в Австро-Венгрии при переписи 1910 г. да и при учете эмигрантов на Западе. Поэтому уже в начале века некоторые авторы, ссылаясь на языковую ассимиляцию части украинцев, заинтересованность властей в занижении их численности и пр., не соглашались с упоминавшейся выше оценкой числа украинцев в мире (26–27 млн.), давали свою, более высокую — до 34 млн. (Грушевский) и даже 37 млн. (Нечуй-Левицкий)<sup>53</sup>. Согласно советской переписи населения 1926 г., при которой отдельно задавались вопросы о родном языке и о национальной принадлежности, из 31,2 млн. человек, считавших себя украинцами, только 27,6 млн. (88%) назвали украинский своим родным языком<sup>54</sup>. В 1989 г. из 44,2 млн. — 35,8 (81%), в том числе, на Украине из 37,4 млн. — 32,8 (снова 88%)<sup>55</sup>. Что остается от украинства у потомка галицийских или полтавских крестьян, родившегося в Торонто, Владивостоке или даже Харькове и с детства говорящего по-английски (в первом случае) или по-русски?

Часто важным критерием этнического самоопределения может служить конфессиональная общность. Однако со времен Брестской церковной унии 1596 г. часть украинцев принадлежит к униатской церкви, другая осталась в православии, которое объединяло их с другими православными народами, в частности с русскими, отдаляя от униатов. Если добавить к этому безрелигиозность советского общества, то поиски конфессиональных основ украинского этнического единства едва ли окажутся успешными.

Обыденное сознание приписывает важное значение более или менее очевидным особенностям психологии, обычаев и т. п. Но у Милюкова, комментировавшего попытку Костомарова выявить психологические различия между украинцами и великороссами, были все основания не считать «научную почву достаточно подготовленной для изу-

<sup>53</sup> См. *Sembratovych R. Le tsarisme et l'Ukraine. Paris, 1907, p. 22–23, 29.*

<sup>54</sup> Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки, вып. 4. Народность и родной язык населения СССР. М., 1928, с. XXV.

<sup>55</sup> Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1991, с. 20, 78.

чения процессов создания и дифференциации народной психологии<sup>56</sup>. Различия в психологии или обычаях существуют внутри каждого народа. От кого больше отличались жители Центральной России — от полтавских хлеборобов или от северных поморов? Было ли сходство, скажем, черниговских крестьян с галицийскими большим, нежели с курскими или воронежскими? Скорее всего, нет. «Условия истории и быта Галиции с XVIII века, — писал Драгоманов, — были настолько несхожи с жизнью в Малороссии, что все отношения даже в народе, а особенно в высших классах, более тронутые общественной и политической историей..., в Галиции вовсе не похожи на малороссийские»<sup>57</sup>. Отнюдь не усилила общее украинское своеобразие и история нынешнего столетия, когда народные обычаи и традиции, некогда отвечавшие образу жизни украинского аграрного общества, прошли через горнило стремительной модернизации. Пусть даже мы согласимся с Рудницким, видевшим тысячелетнюю основу «совершенно оригинальной украинской этнологической культуры» в ее «самодостаточности, исключительно земледельческом характере, подчеркнутой несклонности, с одной стороны, к городской жизни, с другой — к степному кочевничеству»<sup>58</sup>, и откажем в этих чертах культуре великорусской или белорусской. Все равно, за последние шесть-семь десятилетий Украина навсегда перестала быть «исключительно хлеборобской», вошла в число промышленных и высоко урбанизированных стран, а это не могло не подорвать основы ее традиционной «этнологической культуры», а значит и какого-то особенного этнического единства.

Еще один путь к выявлению особого украинского этнического поля — размежевание истории культур. В годы революционных потрясений и кратковременного существования независимого украинского государства его глава, историк М. Грушевский, подчеркивал «глубокую антитезу... двух близких по крови, но различных по духу» восточнославянских народов — украинцев и русских<sup>59</sup>. «По сравнению с народом великорусским, — утверждал он, — украинский является народом западной культуры... Связанная тесно и непосредственно с Западной Европой..., Украина пережила, с небольшим опозданием, эпоху итальянско-германского возрождения (ренессанса), немецкой реформации и католической реакции, которая всей тяжестью упала на украинские земли в конце XVI в. В то время, как Московщина все больше растрчивала наследство, полученное от Киевской державы, и все глубже погружалась в восточные, вернее в средние и североазиатские влияния, Украина жила одной жизнью, одними идеями с Западом»<sup>60</sup>. «Украина XIX века была оторвана от Запада, от Европы и повернута лицом на Север, уткнута носом в глухой угол великорусской культуры и жизни»<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. М., 1993, с. 455.

<sup>57</sup> Драгоманов М. П. Русские в Галиции, с. 323–324.

<sup>58</sup> Рудницкий С. Основы землезнання України. [Друга книга. Антропологеографія України]. Прага, 1923, с. 302. По мнению Рудницкого, эти черты «очень способствовали формированию и сохранению своеобразного чисто арийского мировоззрения» (там же).

<sup>59</sup> Грушевський М. Кінець московської орієнтації. // Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії. К., 1991, с. 13.

<sup>60</sup> Грушевський М. Наша західна орієнтація. // Грушевський М. На порозі нової України..., с. 14.

<sup>61</sup> Там же, с. 16.

Спору нет, западнорусские земли всегда были ближе к Европе — и не только географически. Долгое время они раньше и полнее усваивали западные влияния, были посредниками в их проникновении в Москву. Церковная уния еще больше усилила здесь «западную ориентацию». Как писал Г. Флоровский, «с самого начала вопрос об Унии был поставлен как вопрос культурного самоопределения. Уния означала самовключение в западную традицию. Это было именно религиозно-культурное западничество»<sup>62</sup>. Но было ли оно естественно, органично для тогдашней Украины? Изменились ли к XVI веку условия настолько, чтобы оформившееся еще в X веке религиозно-культурное размежевание утратило смысл?

Оценивая культурно-религиозные события XVI века, Флоровский замечает, что это была «первая и открытая встреча с Западом. Можно было бы сказать, свободная встреча, — если бы она не окончилась не только пленом, но именно сдачей в плен. И потому эта встреча не могла быть творчески использована... Кругозор киевских эрудитов был достаточно широк, связь с Европой была очень оживленной, и до Киева легко доходили вести о новых движениях и исканиях на Западе. И, однако, была некая обреченность во всем этом движении. Это была псевдоморфоza религиозного сознания, псевдоморфоza православной мысли...»<sup>63</sup>. Украина не смогла включиться в движение Запада, киевская западная ориентация XVI в. оказалась, по-видимому, преждевременной, «верхушечной». «Беда наша была в том, — замечает Драгоманов, — что наше просветительское движение XVI в., на котором сказалось влияние европейского возрождения наук и реформации, не состоялось из-за Брестской Унии и вызванной ею православно-казацкой реакции»<sup>64</sup>. Флоровский пишет об отступничестве церковных иерархов, в культурно-религиозном плане «вся тяжесть самозащиты падает на церковный народ»<sup>65</sup>. Но последующие события показали, что и народ в более широком смысле не принял «западничества» и ответил на него массовым движением на восток и, в конечном счете, переходом под власть московского царя.

Одной из причин этого неприятия было, конечно, ухудшение экономического и социального положения западно-русского — украинского и белорусского — населения, особенно крестьян после образования в 1569 г. Польско-литовского государства. Но ведь и в Московском государстве, замечает Довнар-Запольский, «внутренние дела были едва ли не хуже»<sup>66</sup>. А «за пределами «высокой власти» московского государя все были басурмане: и поляки, и турки, татары и даже православные малорусы и белорусы, которых московские политики не могли отличить от соседних поляков и литовцев»<sup>67</sup>. И тем не менее, при всех превратностях противоречивых событий XVI–XVII столетий, да и позднее, граница между тремя восточнославянскими народами неизменно оказывалась менее важной, нежели межа, отделявшая их от западных европейских соседей, и при

<sup>62</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (Вильнюс, 1991), с. 41.

<sup>63</sup> Там же, с. 56.

<sup>64</sup> Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу. // Драгоманов М. П. Вибране. Київ, 1991, с. 535.

<sup>65</sup> Флоровский Г. Цит. соч., с. 31.

<sup>66</sup> Довнар-Запольский М. В. Белорусское прошлое. Исследования и статьи. Т. 1. Киев, 1909, с. 333.

<sup>67</sup> Там же.

всех последующих «встречах с Западом» проступали общие черты их особой, своеобразной социальности.

Эта общность проявилась и в реакции на петровские реформы. Они были огромным шагом навстречу Западу, но, в отличие от Брестской церковной унии, — не «сдачей в плен». Петр и его последователи стремились не просто заимствовать плоды западной учености, но, пересадив западные нововведения на русскую почву, в конце концов изменить саму эту почву, заставить ее плодоносить не хуже европейской, включиться в европейское движение. Пусть многое из задуманного не удалось, и задача оказалась гораздо сложнее, чем думалось реформаторам. Но это была не подражательная, а выдвинутая самой русской жизнью, творческая задача, и общество откликнулось на нее. При этом изменилось и соотношение киевского и московского, ставшего петербургско-московским, культурных пластов.

Великорусская культура много взяла от украинской, без этого фундамента могло не быть и всех ее последующих успехов. Еще и в XVII веке, писал Драгоманов, культурный уровень на Украине был выше московского «и украинцы много послужили тогда московской культуре»<sup>68</sup>. Но уже в ту пору Москва проложила свои собственные пути на Запад и в чем-то оказалась более восприимчивой к контактам с Европой и к ее новейшим культурным влияниям. Петровские же реформы сразу поставили перед Россией «задачи светские, широкие и свежие, рядом с которыми задачи поповско-казацкой Украины оказались узкими и устаревшими... В этой отсталости Украины по сравнению с Москвою можно и нужно винить исторические обстоятельства XVII в., которые не позволили казацкой Гетманщине превратиться в новоевропейское цивилизованное государство... Среди этих обстоятельств есть и вина перед Украиною Московского правительства. Но это не меняет того факта, что к концу XVII века в Московии сложились условия для культуры более широкой и свежей, по крайней мере, в высших слоях общества (в более низких украинцы и доньине культурнее москалей!) и что к этой культуре с XVIII в. украинцы потянулись добровольно»<sup>69</sup>.

Все это в гораздо меньшей мере относится к западной части земель, населенных украинцами и принадлежавших некогда Киевской Руси, но оставшихся за пределами России. Мысль Грушевского о западной ориентации украинской культуры, собственно, и относится прежде всего к Западной Украине, «в которой в XIII в. сосредоточилась украинская жизнь»<sup>70</sup>. О западных украинцах XIX века Драгоманов писал, что «если взять галичан, как они есть, „живьем“, то они окажутся в ином отношении больше похожи на поляков, словаков и т. д., чем на наших малороссов»<sup>71</sup>. Но уже тогда было ясно, что Западная Украина была не просто частью Запада — она была его окраиной, в ее западности было очень много провинциализма. Свет Запада был неплохим, но для Галиции или Буковины это был отраженный свет.

На «Востоке» же — в России — Восточная Украина была частью русского «центра», метрополии, украинцы вместе с великороссами образовывали ядро российского общест-

<sup>68</sup> Драгоманов М. П. Чудацькі думки..., с. 537.

<sup>69</sup> Там же, с. 536–537.

<sup>70</sup> Грушевський М. Наша західна орієнтація, с. 14.

<sup>71</sup> Драгоманов М. П. Русские в Галиции, с. 321.

ва. Украинцы и русские имели общую веру, следовали одним и тем же цивилизационным ценностям, жили в одной и той же экономической системе, принимали участие в создании и укреплении имперской государственности и т. д. Киев всегда был общепризнанной святыней, одной из духовных столиц империи. Самое же главное то, что оба народа на протяжении столетий совместно участвовали в решении главных исторических задач российского общества: колонизации и модернизации. Эти задачи, требовавшие огромного напряжения сил, порождали и внутреннее, духовное напряжение, неустанную работу ума и сердца, плодом которой и была новая русская культура, в такой же степени великорусская, как и украинская. Можно сколько угодно доказывать, что Гоголь и Достоевский — украинские писатели, а В. Соловьев — украинский философ, но это будет не в меньшей степени фальшиво, чем утверждение их исключительной «великорусскости». Они писали по-русски, но принадлежали единому обществу и отражали его общие идейные искания. Эта культурная общность (не исключавшая, конечно, и особенности) была важна и для Западной Украины. По ряду причин, в том числе и конъюнктурно-политических, Восточная Галиция в XIX веке стала на время «бастионом украинства». Но не чувствовала ли она всегда за своей спиной культурную опору российского украинства, сильного не своей многочисленностью и не самой по себе принадлежностью к царской империи, а участием в напряженном духовном труде российского общества, уходившего от своего средневековья. «Довольно припомнить, — писал Драгоманов, — что первые малорусские писатели и ученые родились на левом берегу Днепра и воспитались большей частью далеко от всякого польского влияния, в Полтаве, Харькове, даже Москве и Петербурге, и что до сих пор главная масса литераторов, этнографов и ученых малорусских почти исключительно состоит из левобережных уроженцев»<sup>72</sup>.

Проблема самоидентификации была не единственной, которая занимала украинское общество. Подъем национального движения породил в начале XX столетия планы объединения всех украинцев в едином государственном образовании, имеющем ту или иную степень самостоятельности. Поскольку прежде самостоятельного украинского государства не существовало, любые требования, касающиеся оформления украинской государственности сразу же упирались в вопрос о том, что считать Украиной, как провести ее границы. Предпринимались разные попытки ответить на этот вопрос. В частности, украинские географы пытались обосновать «естественные», физико-географические границы Украины, доказывая единство ее территории как особой морфологической области Европы<sup>73</sup>. Однако главным принципом, который отстаивали представители разных украинских движений, стал принцип «этнографических границ», который противопоставлялся принципу «исторических прав», а по существу, и европейскому принципу национальных государств. Под этнографическими понимались границы компактного расселения украинцев, как оно сложилось к началу XX века. Это расселение тщательно изучалось, составлялись специальные географические карты, на основе которых проводились границы Украины еще тогда, когда речь шла о создании национально-территориальных автономий внутри Российской империи и о размежевании Украины с другими

<sup>72</sup> Драгоманов М. П. Евреи и поляки в Юго-западном крае. // Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1, с. 250.

<sup>73</sup> См., напр.: Рудницький С. Коротка географія України, с. 8–9; Геріноквич В. Нарис економічної географії України. Частина географічна, т. II.

такими автономиями. Грушевский настаивал, например, на применении этого принципа при размежевании с Польшей, с чем не соглашались поляки. «Украинцы... признают законность требований автономии Польши в ее этнографических границах. С польской же стороны принцип этнографической территории подменяется принципом историческим: поляки требуют автономии для Польского королевства в границах, установленных Венским конгрессом»<sup>74</sup>.

С особой силой требование превращения этнографических границ в государственные зазвучало после провозглашения независимости Украины в 1917 г. При определении ее границ в них вошли 8 губерний бывшей Российской империи, в которых украинское население составляло большинство — Волынская, Екатеринославская, Киевская, Подольская, Полтавская, Харьковская и Черниговская, а также Таврическая (без Крыма), при этом предполагалось, что в дальнейшем границы будут уточняться с учетом того, что часть компактно заселенных украинцами территорий осталась за пределами Украины.

Позднее, при гетмане Скоропадском, была создана специальная комиссия, которая значительно расширила территориальные притязания Украинской республики. В частности, она провозгласила, что «границы неделимой Украины должны охватывать и населенные украинским народом земли бывшей Австро-Венгерской империи», а также, что «Крым и Кубань с Причерноморьем могут быть только федеральными частями Украины»<sup>75</sup>. Предложенная комиссией карта границ была подвергнута критике новой комиссией, указавшей на пропуск многих «украинских этнографических территорий». В ее заключении стоит отметить притязания на часть Кавказа и даже Закавказья. «На Северном Кавказе Украина должна включать западные части Ставропольской губернии, Терского округа и весь Кубанский округ, в котором российский т. наз. линейный элемент играет целиком подчиненную роль, представляя собой только острова среди украинской массы, продвинутой до самого Главного Кавказского хребта. За Кавказским хребтом в границы Украины должны входить вся Черноморская губерния и Сухумский округ, то есть юго-восточная граница Украины должна проходить по р. Ингури, за которой начинается этнографическая Мингрелия — часть Грузии. (Нынешний момент позволил грузинам захватить [не] только правый берег Ингури, но также и Очимчири, Сухум, Дранды, Сочи, то есть земли, которые лежат далеко за границами этнографической оседлости Мингрелии)»<sup>76</sup>.

Как ни странно, планы объединения украинской территории «от Карпат до Кавказа» в ее «этнографических границах» осуществились — хотя и не полностью, но в очень большой степени. Произошло это не сразу. Некогда Драгоманов полагал, что «единство политической жизни галичан с малороссами возможно только или вследствие трудновообразимой международной катастрофы, или как результат долговременной жизни,

<sup>74</sup> Грушевський М. Українці. // М. С. Грушевський. Історія України. Київ, 1992, с. 238.

<sup>75</sup> Государственные границы Украинской Народной Республики. Пояснительная записка. Подготовлена комиссией под председательством С. Шелухина при гетмане Скоропадском. «Розбудова держави», 1994, 6, с. 31–32.

<sup>76</sup> Пояснительная записка проф. Й. Пеленского по поводу этнографических границ целостной украинской территории (март 1919 г.). «Розбудова держави», 1994, 6, с. 35.



которая, может быть, изменит и малороссов и галичан так, что они не будут похожи на телерешних»<sup>77</sup>. Понадобились две труднообразимые мировые катастрофы, чтобы украинцы объединились в одном государстве. Первая, неудачная попытка такого объединения была связана с Первой мировой войной. Она привела лишь к новому раздроблению украинских земель. После распада Австро-Венгрии и короткого пребывания в составе независимой Украины Галиция была присоединена к Польше. Румыния получила Буковину и Бессарабию, Чехословакия — Закарпатье.

Вторая попытка была более удачной. Можно сказать, что мечты сторонников воссоединения всех украинских земель с наибольшей полнотой реализовал Сталин (или Сталин совместно с Гитлером). В ходе европейских перегруппировок, обусловленных сперва подготовкой, а затем завершением Второй мировой войны, в состав советской Украины в сентябре 1939 г. была включена принадлежавшая до этого Польше (по Рижскому договору 1921 г.) Западная Украина, в июне 1940 г. — относившиеся к Румынии Северная Буковина и часть Бессарабии, в 1945 г. — Закарпатская Украина (в прошлом принадлежавшая Венгрии, но в 1919–1938 гг. входившая в состав Чехословакии). Только на самом последнем акте формирования нынешней территории Украины не лежит тень мировых катастроф: в феврале 1954 г., по случаю празднования трехсотлетнего юбилея соединения Украины с Россией, Украине был передан Крым, никогда прежде не считавшийся украинской территорией и не имевший значительного украинского населения.

В то же время часть территории нынешнего Краснодарского края Российской Федерации, некогда заселенная украинцами, осталась за границей Украины. Выше уже упоминалось об украинском происхождении части кубанского, а в какой-то мере даже и донского и терского казачества. В 1926 г. территория бывших Донского, Терского и Кубанского казачьих войск входила в состав Северо-Кавказского края. Перепись населения зафиксировала здесь 2302 тыс. казаков, из которых 58% считали себя русскими, а 42% — украинцами, хотя более 30% казаков-украинцев назвали своим родным языком русский<sup>78</sup>. Всего же в Северо-Кавказском крае, согласно переписи 1926 г., проживало 3,1 млн. украинцев (37% населения края), живших к тому же весьма компактно в западной его части, где их доля достигала 80–90%<sup>79</sup>. Но впоследствии, по разным причинам, в частности и из-за изменившейся этнической самоидентификации населения, вероятно, не всегда добровольной, доля украинцев резко сократилась. Уже по переписи 1959 г. в Краснодарском крае она составила всего 4%<sup>80</sup>.

Вопрос о границах Украины и об объединении в этих границах всех украинцев не всегда связывался с вопросом о существовании ее как самостоятельного государства. В истории Украины, ее отношений с соседями — Россией, Польшей, Турцией — можно найти самые разные эпизоды борьбы, более или менее устойчивых политических сою-

<sup>77</sup> Драгоманов М. П. Русские в Галиции, с. 322.

<sup>78</sup> Казачество Северо-Кавказского края. Итоги переписи населения 1926 г. Ростов на Дону, 1928, с. 3.

<sup>79</sup> Гозулов А. И. Морфология населения. Ростов-на-Дону, 1929, с. 170.

<sup>80</sup> Подробнее об этом см.: Бежкович А. С. Современный этнический состав населения Краснодарского края. // Географическое общество СССР. Отделение этнографии. Доклады по этнографии, вып. 5. Л., 1967, с. 126–142.



зов, успешных и неудачных войн, политических интриг — во имя собственных интересов, большей самостоятельности — вплоть до создания независимого государства. И все же история украинского этноса относительно бедна попытками создать собственную государственность. Существовавшая с XVI по XVIII век. Запорожская Сечь обладала лишь ее некоторыми неразвитыми атрибутами. В XVI веке руководимое Хмельницким антипольское и антикатолическое движение содержало и требования некоторой государственной самостоятельности, но они были достаточно умеренными, не шли дальше той или иной степени автономии внутри России. В конечном счете, Украина не получила и этой автономии, сама Запорожская Сечь была упразднена Екатериной II, что не встретило сколько-нибудь сильного противодействия.

Вероятно, это объясняется относительной неразвитостью украинской аристократической элиты. Та же элита, которая существовала, часто украинско-польская или украинско-русская, по-видимому, была каким-то образом удовлетворена своим положением в тех государствах, в которых она жила, и не испытывала слишком большой заинтересованности в изменении *status quo*.

XIX век открыл совершенно иную, новую страницу в поисках государственного самоопределения Украины. Они были порождены кризисом обеих восточноевропейских империй и пробуждением в них антицентралистских сил. Постепенная модернизация российского и австровенгерского обществ, как и везде, привела к появлению нового, более широкого слоя региональной элиты, сделала необходимым передел власти да и изменение самой ее структуры, что может быть описано в терминах перехода от моноцентрического вертикального, «аристократического» к полицентрическому горизонтальному, «демократическому» обществу. Отстаивавшая свои интересы новая украинская элита искала опоры в пробуждении массовых национальных чувств, придававших этническую окраску общедемократическому движению. В Галиции, где главным конкурентом поднимавшейся украинской буржуазии была буржуазия польская, это нередко приводило к усилению пророссийских настроений. В левобережной же Украине, напротив, наиболее естественным был подъем настроений антирусских, вырабатывалась соответствующая идеология и мифология. «Люди оппозиции находили в прошлом Малороссии зародыши строя, к которому они стремились в силу новых европейских идей... На „москалей“, „московские порядки“ стали смотреть как на губителей „воли казацко-украинского народа“. Собственно, слово „народ“ тут ставилось по обычаю, а под ним разумелись только казаки или, еще чаще, старшина»<sup>81</sup>.

События на Украине развивались в целом по той же схеме, что и в других частях Европы. Согласно М. Хроху, изучавшему национальные движения меньшинств во многих европейских странах в XIX веке, все они проходили через три главных этапа: исследовательский и просветительский (этап А); патриотического оживления, когда группы патриотов «уже не довольствовались интересом к прошлому своей земли, языку и культуре, а видели свою миссию в распространении национального самосознания среди народа» (этап В); подъема массового национального движения (этап С)<sup>82</sup>. Этапы А и осо-

<sup>81</sup> Драгоманов М. П. Евреи и поляки в Юго-западном крае, с. 253.

<sup>82</sup> Hroch M. Social preconditions of national revival in Europe. A comparative analysis of the social composition of patriotic groups among the smaller European nations. Cambridge, 1985, p. 23.

бенно В очень важны для подготовки патриотических настроений, однако решающая роль принадлежит этапу С, на котором в дело вступают уже коренные интересы основных социальных групп. «Там, где национальные движения в фазе В были неспособны связать с национальным оживлением и истолковать в национальных терминах интересы конкретных классов и групп, из которых складывалась малая нация, они не могли и добиться успеха. Оживление, которое требовало внимания только к языку, национальной литературе или другим надструктурным атрибутам — истории, фольклору и т. д., — не могло само по себе привести народные слои под патриотические знамена: путь от этапа В к этапу С оказывался закрытым, в некоторых случаях обрывался»<sup>83</sup>. Однако и без двух первых этапов обойтись было нельзя, потому что они создавали «национальную упаковку», необходимую для политического действия. «То, что описывалось в сочинениях патриотов в свое время и косвенно представляется в работах историков как „национальный интерес“, есть трансформированный и сублимированный образ материальных интересов вполне определенных конкретных классов и групп»<sup>84</sup>.

На Украине все также началось с естественного на первом этапе интереса к просвещению на национальной основе, подчеркивания украинской самобытности, стремления к украинскому единству, растущего внимания к собственной истории и культуре, фольклору, с защиты от посторонних влияний родного языка и т. д. Выразителями этого интереса — тоже, как и везде, — стали представители складывающегося «среднего класса»: литераторы, университетская профессура, школьные учителя, священники, вообще «образованные люди». Они же часто превращались и в носителей политических идей, связывавших подъем национального начала с деятельностью, направленной на ослабление власти имперского центра<sup>85</sup>.

Подъем украинских национальных настроений в середине XIX века очень насторожил российских имперских политиков и вызвал резкую антиукраинскую реакцию, в конечном счете, лишь давшую моральное оправдание борьбе против притеснений украинства и укрепившую пробудившееся национальное чувство. Антиукраинские репрессии российского правительства только подталкивали радикализацию национальных требований, которые, в конце концов, вылились в лозунг «самостійної України». Он был выдвинут в 90-е годы XIX века как на востоке, так и на западе Украины. По утверждению историка Н. Полонской-Василенко, «стремление создать независимое государство, осознание потребности в нем — главное достижение украинского народа в XIX в.»<sup>86</sup>.

Долгое время, однако, радикальный лозунг «самостійності» был не единственным и даже не главным. Кризис имперских отношений еще не достиг кульминации, а никто

<sup>83</sup> Ibid., p. 185–186.

<sup>84</sup> Ibid., p. 185.

<sup>85</sup> О. Субтельный говорит о развитии на Украине XIX в. «идеи национального самосознания, которая базируется на этнической тождественности», указывая при этом на влияние идей Французской революции и концепции Гердера (*Субтельный О.* Цит. соч., с. 280). Оба эти влияния были, но подталкивали ли они в одном и том же направлении? Гердера, вероятно, и впрямь можно считать одним из основоположников этнической теории нации, но французы пошли по другому пути.

<sup>86</sup> Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 2. Київ, 1992, с. 332–333.

лучше тогдашней региональной элиты, в том числе и украинской, не понимал, какие огромные перспективы сулила возможность экономических и политических действий на всей имперской арене, если бы удалось хоть немного расширить права регионов. Отсюда — долго сохранявшаяся умеренность требований. Они были федералистскими, не шли дальше национально-территориальной автономии Украины в рамках федеративного Российского государства. «Формой, которая наилучшим образом обеспечивает беспрепятственное существование и развитие народностей и областей, — писал незадолго до революции Грушевский, — ...прогрессивная украинская платформа признает национально-территориальную автономию и федеративное устройство государства. Она провозглашает необходимость перестройки государства на принципах национально-территориальной автономии»<sup>87</sup>. По-видимому, федералистская программа отвечала более или менее массовым настроениям того времени, сепаратистские же лозунги не пользовались популярностью ни перед революцией, ни во время, ни после нее. «Украинское национальное движение на этом этапе не вызвало широкого отклика ни у крестьян, ни у промышленных рабочих. Оно оставалось занятием небольшой группы энтузиастов-интеллектуалов, состоявших главным образом из преподавателей самого разного уровня (от университетских профессоров до сельских учителей), литераторов и священников»<sup>88</sup>.

Но у украинского сепаратизма в его споре с более умеренным федерализмом был тот же могучий помощник, что и у всех других российских сепаратизмов — имперский великодержавный централизм. Его жесткая, не признающая никаких уступок унитаристская позиция постоянно подталкивала к ответной жесткости украинских националистических требований. Украинский национализм объективно подогревался ощущением ущербности положения новой украинской элиты и вообще всех пришедших в движение слоев украинского населения на общеимперской экономической и политической сцене. Когда русские «патриоты», признавая украинцев частью русского народа, не желали ничего слышать об украинском языке, они расписывались в своем стремлении закрепить эту ущербность, второсортность навсегда. Даже если сначала преследование украинского языка побуждало украинцев на борьбу только с культурным русификаторством, такая борьба, порождаемые ею настроения, в свою очередь, сплачивали более широкую оппозицию «москалям». Внутри нее уже трудно было отличить чистую любовь к родному языку и родному преданию от экономических и политических интересов поднимавшейся новой украинской элиты. На волне нараставшего общего кризиса империи она начинала искать радикальных путей создания своей собственной «сцены», где она сама была бы хозяином. А жесткая агрессивная позиция великорусских шовинистов как будто намеренно изо дня в день убеждала украинских сепаратистов и колеблющихся федералистов, что никакого другого пути Украине не оставлено.

В результате, несмотря на отсутствие массовых сепаратистских настроений, подспудная готовность принятия лозунга «самостійності» все же существовала и дала себя

<sup>87</sup> Грушевський М. Українці, с. 231–232.

<sup>88</sup> Карр Э. История Советской России. Большеви́стская революция 1917–1923. Т. 1, 2. М., 1990, с. 237.

знать, когда кризис империи достиг кульминации и разразилась революция. Украина провозгласила свою независимость, а недавний федералист Грушевский стал первым главой независимого Украинского государства. Но даже и тогда он считал возможным отстаивать эту независимость, «не разрывая с федералистской традицией как ведущей идеей... национально-политической жизни», и не исключал того, что Украина установит федеративную связь «с теми, с кем ей будет по дороге»<sup>89</sup>. Он как будто чувствовал, что спор федерализма и сепаратизма решен еще не окончательно.



Рисунок 9.1. Великая Украина в «этнографических границах»

Источник: Kowalewski Z. *L'Ukraine: r veil d'un peuple, reprise d'une m moire. H rodote, 1989, n° 54–55, p. 103.*

<sup>89</sup> Грушевський М. Українська самостійність й її історична необхідність. // Грушевський М. На порозі нової України..., с. 75–76.



Рисунок 9.2. Приблизительные границы «Великого Туркестана», республики Идель-Урал и «Великого Азербайджана»

Источник: *Bezanis L. Soviet Muslim emigres in the Republic of Turkey. «Central Asian Survey», 1994, 1, p. 180.*

## 9.5. «Русская марксистская теория нации»

**И** в самом деле, провозгласить самостоятельность и независимость многих частей империи оказалось легче, чем их сохранить. В большинстве случаев у региональных элит не нашлось ни нужной силы, ни достаточной социальной опоры для того, чтобы отстоять самостоятельность, а может быть, и их стремление к этому было не столь сильным и определенным. В начале 20-х годов большинство отсоединившихся частей империи снова оказались в границах единого государства.

Восстановление империи в советское время шло под федералистскими лозунгами. Хотя, как мы видели, еще в 1913 г. Ленин возражал против «федеративного принципа», в написанной им и принятой в январе 1918 г. Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа провозглашалось, что «Советская Российская республика учреждает-

как федерация Советских национальных республик»<sup>90</sup>. Этот принцип был воспроизведен и подтвержден в 1922 г. при создании СССР.

Советский федерализм пошел по тому заведомо противоречивому пути, на котором в дореволюционную пору настаивали федералистски настроенные представители национальных движений: воплотил в жизнь идею национально-территориальных автономий. Таким образом, он, как и эти движения, пытался решать одновременно два разных вопроса. Один из них — вопрос о перераспределении полномочий между центром и областями — возник вследствие усложнения всей пространственной организации общества и того, что мы назвали кризисом централизма. Другой — вопрос о новой самоидентификации — был вызван к жизни кризисом локализма: миллионы людей впервые вышли — и буквально, физически, и в более широком экономическом, социальном и культурном смысле — из замкнутой местной среды и оказались в непривычном, лишенном прежних перегородок, конкурентном пространстве, в котором им теперь предстояло жить.

Волею исторических обстоятельств оба вопроса соединились под крышей национальных движений, но соединились противоречивым, «консервативно-революционным» образом: решение модернизационной федералистской задачи (перемены) сочеталось со ставкой на сохранение, даже укрепление разрушавшихся этнических перегородок (отказ от перемен). Разумеется, эта противоречивая стратегия не была следствием чьего-то недопонимания — другими средствами решения своих задач тогдашнее российское общество не располагало. Путь был вынужденным, годился только как временный, промежуточный. Стоило краткосрочному симбиозу федерализма и национализма превратиться в основу долговременной стратегии, и тупик становился неминуемым. Именно это и произошло в советское время.

Когда после революции большевики перешли на позиции федерализма, они оказались неспособны критически отнестись к его противоречивому дореволюционному наследию. Ведь еще по словам дореволюционного комментатора, в социал-демократической программе, «охотно рисующей будущей социальной и политической строй в самых детальных подробностях, будущее национального вопроса осталось вне поля зрения; партия не сумела даже различить границ этого вопроса от соседнего, но далеко не идентичного с ним вопроса областного»<sup>91</sup>. Видит Бог, это была правда, тем более странная, что социал-демократы в обеих восточно-европейских империях — Австро-Венгрии и России — очень много занимались «национальным вопросом». Сейчас более чем ясно, насколько противоречивой была их тогдашняя позиция: они пытались совместить несовместимое.

<sup>90</sup> Ленин В. И. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. // Полн. собр. сочинений, т. 35, с. 221. Правда, и в это время Ленин не скрывал своих централистских убеждений. И в 1917 г., когда он писал «Государство и революцию», и в 1918 г., когда он переиздавал эту работу с некоторыми изменениями, он продолжал настаивать на том, что федерализм вытекает «из мелкобуржуазных воззрений анархизма» и что «только люди, полные мещанской „суеверной веры“ в государство, могут принимать уничтожение буржуазной машины за уничтожение централизма!» (Государство и революция. // Полн. собр. сочинений, т. 33, с. 53). Возможно, признание федерализма было для Ленина таким же маневром, как и признание «социализации земель».

<sup>91</sup> Славинский М. Цит. соч., с. 298.

С одной стороны, следуя марксистской идее единства исторического процесса, они высоко оценивали западный опыт создания национальных государств и считали, что он указывает на главное направление движения для всех стран. «Образование национальных государств, наиболее удовлетворяющих... требованиям современного капитализма, — писал Ленин незадолго до 1917 года, — является... тенденцией (стремлением) всякого национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому, и для всей Западной Европы — более того: для всего цивилизованного мира — типичным, нормальным для капиталистического периода, является поэтому национальное государство»<sup>92</sup>. Ленин с одобрением цитировал слова Каутского о том, что пестрые в национальном отношении государства — это всегда государства, «внутреннее сложение которых по тем или другим причинам осталось ненормальным или недоразвитым», «отсталым»<sup>93</sup>, и неоднократно подчеркивал, что «самоопределение наций» «в программе марксистов не может иметь, с историко-экономической точки зрения, иного значения кроме как политическое самоопределение, государственная самостоятельность, образование национального государства»<sup>94</sup>.

С другой же стороны, восточноевропейские марксисты вовсе не собирались расставаться со своими «лоскутными империями», «тюрьмами народов» и т. п. — они лишь рассчитывали их усовершенствовать, превратить империю в «союз». Каутский, например, был убежден в долговечности Австрийской империи. Признавая, что «Австрия являет собой проблему национальностей в ее наиболее сложной и трудной форме», он тем не менее утверждал: «Можно что угодно думать о дальнейших судьбах Австрии..., верным является лишь то, что при данном соотношении сил в этом государстве оно не стоит перед распадом»<sup>95</sup>. Как полагал О. Бауэр, «историческое развитие ведет не к распаду Австрии, в сохранении которой чисто экономически заинтересованы все ее народы, а к преобразованию Габсбургской монархии в союзное государство национальностей»<sup>96</sup>.

Не спешили хоронить свою империю и русские большевики, на словах занимавшие крайнюю позицию и требовавшие права наций на самоопределение и образование самостоятельных государств. Как замечает Авторханов, «Ленин боролся против царской империи не потому, что она империя, а потому, что она — царская»<sup>97</sup>. Выработанная Лениным перед Первой мировой войной и реализованная впоследствии в СССР программа национально-территориального устройства не предусматривала ни ликвидации империи, ни даже существенной ее реорганизации на каких-то менее «централистских» началах. Марксисты, — утверждал Ленин, — «относятся враждебно к федерации и децентрализации — по той простой причине, что капитализм требует для своего развития возможно более крупных и возможно более централизованных

<sup>92</sup> Ленин В. И. О праве наций на самоопределение. // Полн. собр. сочинений, т. 25, с. 259.

<sup>93</sup> Там же, с. 260.

<sup>94</sup> Там же, с. 263.

<sup>95</sup> Каутский К. Национальность и международность. // Марксизм и национальная проблема. Сборник первый. Харьков, 1924., с. 181.

<sup>96</sup> Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. (Изложение). // Марксизм и национальная проблема, с. 121.

<sup>97</sup> Авторханов А. Империя Кремля. Вильнюс, 1991, с. 9.

государств, при прочих равных условиях сознательный пролетариат всегда будет отстаивать более крупное государство. Он всегда будет бороться против средневекового партикуляризма, всегда будет приветствовать возможно тесное экономическое сплочение крупных территорий»<sup>98</sup>.

Все, что марксисты писали по национальному вопросу, они обычно окружали ореолом научности, постоянно приспособляя «теорию» к нуждам своей практической политики. В частности, австромарксисты потратили немало сил на теоретическое обоснование сохранения австро-венгерского территориального конгломерата. Обвиняя «косопополитический либерализм» в том, что он «поддерживал стремление греков, южноамериканских народов, итальянцев и мадьяр к государственной самостоятельности», О. Бауэр утверждал, что это не соответствовало новому этапу развития капитализма, идеал которого состоял теперь «уже не в национальном государстве, а в государстве национальностей»<sup>99</sup>. Примерно так же рассуждал и Ленин. Говоря о национальных государствах как общем для «всего цивилизованного мира» правиле, сам он это правило без труда обходил. Признав существование «двух исторических тенденций в национальном вопросе», — стремления к образованию национальных государств, с одной стороны, и «развития и учащения всяческих сношений между нациями, ломки национальных перегородок, создания интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.»<sup>100</sup> — с другой, он достаточно произвольно развел обе тенденции во времени и утверждал, что «первая преобладает в начале его [капитализма] развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм»<sup>101</sup>. Такой поворот мысли позволял в дальнейшем без конца признавать первую тенденцию, не забывая каждый раз подчеркнуть ее капиталистическую природу, но в нужный момент опереться на вторую, «социалистическую».

На самом деле ничего научного, специально «социалистического» или «марксистского» в подобных взглядах на будущее империй — хоть российской, хоть австрийской — не было. Каутский не скрывал, что и он, и О. Бауэр вступали в противоречие с Марксом и Энгельсом, точка зрения которых «стала в этом вопросе несостоятельной»<sup>102</sup>. А Бауэр утверждал, что «в борьбе с мадьярским сепаратизмом сама корона вынуждена выступить с идеей „Соединенных Штатов Великоавстрии“, с идеей единого союзного государства национальностей»<sup>103</sup>. Так что австромарксисты в каком-то смысле оказались на стороне короны и в то же время — в оппозиции к западному, либеральному варианту организации отношений между нацией и государством, который К. Реннер, а вслед за ним и О. Бауэр называли «централистски-атомистическим». Сейчас не важно, какие доводы приводили они против принципа, отвергающего национальные перегородки внутри государства и признающего лишь идею согражданства, достаточно отметить, что

<sup>98</sup> Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу. // Полн. собр. сочинений, т. 24, с. 143.

<sup>99</sup> Бауэр О. Цит. соч., с. 122.

<sup>100</sup> Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу, с. 124.

<sup>101</sup> Там же.

<sup>102</sup> Каутский К. Цит. соч., с. 145.

<sup>103</sup> Бауэр О. Цит. соч., с. 121.



они считали ее худшим вариантом, чем предлагавшееся ими «органическое регулирование» отношения нации к государству в рамках «государства национальностей». По-видимому, речь шла о достаточно распространенных идеях, которые, возможно, были совершенно утопическими, но носились в воздухе. На них и делали ставку политики, искавшие широкой общественной поддержки.

Так или иначе, но накануне Первой мировой войны будущее как Австро-Венгерской, так и Российской империй представлялось марксистским сторонникам «принципа национальности» в виде тем или иным способом организованных многонациональных государств. Как полагали австромарксисты, идея национальной автономии «дала принципу национальности новое направление»<sup>104</sup>. Для них она «не означала никоим образом преодоления идеи национального государства, а лишь приспособление этой идеи к особым отношениям Австрии, преобразование ее в союз национальных организаций — своего рода национальных государств»<sup>105</sup>. Ну а русские марксисты — те не просто на свой манер восприняли и развили эту идею, но, как они были уверены, воплотили ее в жизнь. СССР как раз и представлял собой, по замыслу, союз национальных государств. Однако был ли он им по существу?

Союз государств — вещь не новая, но что такое союз государств, составляющих в то же время единое государство, понять нелегко. Не лучше обстоит дело и с многонациональным государством — с «западной» точки зрения это — *contradictio in adjecto*, государство и нация — это одно и то же, *Etat-nation*. Чтобы уйти от всех подобных вопросов и противоречий, восточноевропейским, в том числе и русским марксистам, пришлось переопределить само понятие нации, сообщить ему смысл, противоположный западному, от которого они первоначально отталкивались.

В СССР теоретическое понимание «нового направления принципа национальности» получило свое логическое завершение. Произошла полная подмена понятий, слово «нация» приобрело иной смысл, совсем не тот, какой оно имело у Ренана, вообще, когда речь шла о национальных государствах. Нация оказалась полностью оторванной от государственной территории. Сталин, перечислявший различные признаки нации<sup>106</sup>, объявлял недопустимой ошибкой рассматривать даже в качестве одного из них наличие собственного национального государства<sup>107</sup>. Национальная принадлежность не предполагала никаких устойчивых гражданских связей человека с территорией его рождения или проживания. Быть украинцем или узбеком вовсе не означало быть гражданином Украины или Узбекистана, которые формально как раз и следовало рассматривать как объединенные союзом национальные государства. Это не означало также жить на Украине или в Узбекистане, говорить по-украински или по-узбекски, учиться в украинской или узбекской школе, знать украинскую или узбекскую историю и культуру. Что же это означало? Национальная принадлежность в СССР получила, если можно так сказать, этнобиологическую, близкую к расовой трактовку. Она назначалась раз и навсегда — «по крови», то есть по национальности одного из родителей, ни выбирать (помимо выбора

<sup>104</sup> Там же.

<sup>105</sup> Каутский К. Цит. соч., с. 184.

<sup>106</sup> Сталин И. В. Национальный вопрос и ленинизм. // Соч., т. 11, с. 333.

<sup>107</sup> Там же, с. 334.

между национальностью отца и матери), ни менять ее человек не мог. Она фиксировалась в паспорте, официально или полуофициально принималась во внимание — иногда с благими, иногда со злыми намерениями — на всех этапах деловой и гражданской биографии. Это, конечно, не нашитая на одежду желтая звезда, но что-то близкое ей по духу. Перегородки, которые прежде имели языковую, культурную, религиозную природу и которые не смогли устоять под напором модернизации, «создания интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.», о чем так красиво писал Ленин<sup>108</sup>, были заново восстановлены — уже на иной, неподвластной никаким историческим переменам основе.

Завершивший эту работу Сталин, скромно ссылавшийся на «единственно правильную» «русскую марксистскую теорию нации»<sup>109</sup>, несомненно преследовал вполне определенные прагматические политические цели. Следуя своему глубокому политическому инстинкту, он сделал все, чтобы сохранить порох в пороховницах национализма, мобилизационные возможности которого он хорошо понимал. Игра на национальных чувствах, натравливание одних народов на другие надолго стали неотъемлемой чертой политического руководства Сталина и его преемников. Преследования по национальному признаку были неизменной составной частью государственного террора — в его жесткой сталинской и более мягкой послесталинской формах. В области «национальной политики» были совершены едва ли не самые тяжкие преступления режима. Депортации целых народов, о которых говорилось выше, недалеко ушли от гитлеровского геноцида евреев, а может быть, по не осуществившемуся, к счастью, замыслу, они и были таким геноцидом<sup>110</sup>.

Сталин и его преемники, используя в своих интересах политический потенциал национализма и, казалось бы, легко его контролируя, подкармливали зверя, который рано или поздно должен был выйти из-под контроля и зажечь самостоятельную жизнь. В частности, неизбежен был новый союз между национализмом и федерализмом и, как следствие, новое сползание федерализма к сепаратизму.

## 9.6. Практика «национального строительства» в СССР

**П**ротиворечия федерализма и национализма дали себя знать сразу же после образования СССР. И без того не слишком мощная база умеренного, либерального федерализма была резко ослаблена в революционные годы (ее основу составляли слои, связанные с упраздненным капитализмом), тогда как представители национальных движений — тактических союзников большевиков, — казалось бы, напротив, укрепили свое положение. И «русская марксистская теория нации», делавшая ставку на национально-территориальные автономии, и практическое продвижение советской власти по пути создания таких автономий, вполне отвечали их чаяниям. Первые шаги

<sup>108</sup> Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу, с. 124.

<sup>109</sup> Сталин И. Национальный вопрос и ленинизм, с. 335.

<sup>110</sup> В это трудно поверить, но в издававшемся при жизни Сталина втором издании Большой Советской Энциклопедии репрессированные народы вообще не упоминаются, как будто их уже нет, никогда не было и не будет. Например, в т. 17 есть статья «Индейцы», в которой описывается исто-

выглядели многообещающими, и лишь позднее выяснилось, что путь был сомнительным и привел не туда, куда намеревались прийти его идеологи.

Последовательное проведение в жизнь принципа национально-территориальных автономий, которые трактовались как «государства», требовало — вполне в духе Гердера, — чтобы в каждом таком «государстве» жил «один народ, с одним присущим ему национальным характером». Уже само число населяющих Россию народов, равно как и чресполосица в их расселении, делали идею национально-территориальной автономии практически неосуществимой — ее последовательное проведение в жизнь вело к абсурду, в который немедленно и погрузились большевики.

Их конкретные представления о том, как надо действовать, были довольно смутными, отсутствовали понимание масштабов и сложности задачи, даже просто элементарные знания<sup>111</sup>. Сколько народов населяет страну и что это за народы, было, кажется, неясно и ее высшему руководству, идеологам «национального строительства». Сталин, начавший свою государственную карьеру на посту Народного комиссара по делам национальностей, постоянно называл совершенно разные, неизвестно откуда взятые цифры.

рия американских индейцев, говорится об их дискриминации и угнетении в США и Канаде и т. п. Но здесь же рядом должна быть статья «Ингуши» — ее нет. Так же точно нет статей «Балкарцы», «Калмыки», «Карачаевцы», «Чеченцы» (все эти статьи появились в специальном 51 томе БСЭ, вышедшем в 1958 г., но в них ничего не сказано о депортации). Не найти слова «чеченец» в статье «Грозный» и т. д. Через несколько лет после окончания войны, в 1948 г., указом Президиума Верховного Совета СССР было определено, что выселение всех народов произведено навечно (и это было снова подтверждено в 1951 г.), самовольный выезд из мест поселения карался 20 годами каторжных работ (Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993, с. 124–125).

<sup>111</sup> Стенограмма сохранила обмен репликами между участниками секретного совещания, на котором закладывались основы национальной стратегии СССР. «Смирнов (Марийская область, мариец). С присоединением к Марийской области новых волостей, по последнему декрету ВЦИК, в ней имеется до 400 тысяч человек населения, из них до 60% марийцев, до 35% русских и до 5% прочих... *Голос.* Мариец — это то, что называется мордвой? *Смирнов.* Нет, это черемисы, ветвь финского племени. *Голос.* А куда мордва делась? *Смирнов.* Такой республики нет».

Еще один фрагмент. «*Ходжанов* (представитель Туркестана, киргиз [т.е., видимо, казах. — А. В.]): «Везде вплоть до волостей государственным и обязательным языком в делопроизводстве пока что считается русский... Мы думаем в течение двух месяцев перейти на местный язык, начиная с уездов до волостей. *Голос.* Слишком быстро... *Ходжанов.* ... Мы хотим привычку выбить просто принуждением: не будешь писать — мы тебя арестуем. В течение двух лет мы предполагаем перейти во всем туркестанском масштабе на местные языки. Здесь будет некоторая трудность, когда будут конкурировать языки, но в течение двух лет мы думаем, что мы разрешим этот вопрос как-нибудь при помощи ЦК РКП. *Голос.* Какой язык выдвигается государственным? *Ходжанов.* В 1920 году говорили о тюркском языке, мы доказали, что такого нет. Сейчас особенно никакого языка не выдвигают. Когда выдвигался тюркский язык, он был олицетворен в узбекском. *Голос.* А теперь какой? *Ходжанов.* У нас три коренных языка и даже четыре, если считать и таджиков, которые имеют свой самостоятельный язык» (Тайны национальной политики ЦК РКП. Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в г. Москве 9–12 июня 1923 г. Стенографический отчет. М., 1992, с. 115, 219). Кажется странной оговорка: «если считать и таджиков» — ведь речь идет о древнейшем населении региона. Между прочим, сохранилась записка Ленина. «1. Поручить составить карту (этнографическую и проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению. 2. Детальнее рассмотреть условия слияния или разделения этих трех частей». (Полн. собр. сочинений, т. 41, с. 436). А где же «Таджикия»?

«В 1921 г., по его заявлению, в революции участвовало 20 национальностей (по переписи 1897 г. числилось 146 языков и наречий). В 1922 г., к образованию СССР, по заявлению Сталина, уже шли не менее 50 наций и народностей. В 1936 г. им же было окончательно установлено, что в СССР проживает около 60 наций, национальных групп и народностей. В то же время перепись 1926 г. выявила 185 национальностей»<sup>112</sup>.

Хотя еще в 1921 г. Ленин заявил, что «мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики или автономные области»<sup>113</sup>, создание новых национальных образований продолжалось, их число все время увеличивалось. Поскольку достигнуть однородного этнического состава в рамках более или менее крупных территориальных образований было невозможно, в 1919 г. была выдвинута идея предоставить возможность национальным группам создавать мелкие административно-территориальные образования — уезды, районы, волости. В конце концов дело дошло до сельских советов. На исходе 20-х годов в Российской Федерации насчитывалось 2930 национальных сельских органов власти, 110 национальных волостей, 33 национальных района и 2 национальных округа<sup>114</sup>. К числу национальных относились также русские районы, расположенные в национальных республиках. В 30-е годы число мелких национальных образований стало еще большим. В 1934 г. примерно каждый десятый район и каждый двенадцатый сельский совет имели статус национальных<sup>115</sup>. Итог всей кипучей, длившейся полтора десятилетия деятельности по созданию мелких национальных образований подводится одной эпической фразой: «в последующем партийные органы пришли к выводу, что эти национальные районы и советы были „искусственно созданными“»<sup>116</sup>. В конце 30-х годов они были ликвидированы.

Но более крупные национально-территориальные образования, число, статус, границы и иерархия которых продолжали меняться, сохранились и по-прежнему подерживали иллюзию собственной государственности населявших СССР народов. Территории республик, автономных областей и пр. были определены с некоторыми — далеко не исчерпывающими и не бесспорными — историческими основаниями и названиями, как правило, по имени традиционно жившего в их пределах и обычно наиболее многочисленного этноса. Реальная самостоятельность всех таких национально-территориальных образований была очень ограниченной, признавалась только во второстепенных делах, часто нужна была лишь для маскировки фактического унитаризма. И все же недооценивать ее значения не следует.

Провозглашая, пусть больше на словах, чем на деле, права национальных автономий и одновременно проводя в них политику модернизации, центральная власть советского времени нуждалась в новых национальных элитах, которые могли бы быть проводниками этой политики, создавала условия для роста «национальных кадров», рассчитывая

<sup>112</sup> Бугай Н. Ф., Меркулов Д. Х. Народы и власть: «социалистический эксперимент» (20-е годы). Майкоп, 1994, с. 15.

<sup>113</sup> Ленин В. И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции. // Полн. собр. сочинений, т. 44, с. 146.

<sup>114</sup> Бугай Н. Ф., Меркулов Д. Х. Цит. соч., с. 27.

<sup>115</sup> Вдовин А. И. Этнополитика и формирование новой государственности в России. «Кентавр», 1994, 1, с. 9.

<sup>116</sup> Бугай Н. Ф., Меркулов Д. Х. Цит. соч., с. 27.

на их преданность общесоюзной идее, на их вклад в укрепление центростремительных сил. Такой расчет оправдался лишь отчасти. По мере укрепления крупных национально-территориальных образований, прежде всего союзных, в меньшей степени автономных республик, по мере обновления их экономики и социальной структуры, национальные элиты становились все более многочисленными и независимыми, все более зрелыми и снова, как это было уже однажды в предреволюционные десятилетия, начинали осознавать свою этническую принадлежность либо как дополнительный козырь, либо как помеху в конкурентной борьбе. Соотношение плюсов и минусов складывалось по-разному, положение национальных элит, даже и выросших под опеку Центра, было противоречивым, питало не только центростремительные, но и центробежные силы. Последние естественным образом объединялись под знаменами большего государственного суверенитета их республик — вплоть до полной государственной независимости.

В этом не было ничего неожиданного, на опасность такого развития событий с самого начала указывали внешне враждебные, но внутренне родственные большевикам эмигранты-евразийцы. Хотя они уже в конце 20-х годов ясно осознавали призрачность советского федерализма («Россия ныне самое унитарное и еще вдобавок самое централистическое государство, — писал Н. Алексеев в 1927 г. — А все то, что советское правительство вещает о федерализме..., — чистый обман, придуманный хитрыми людьми для людей глупых»<sup>117</sup>), угроза националистического сепаратизма тревожила их намного больше, чем реальность унитаризма. Последнему они, по существу, давали индульгенцию: «упорно проводимое коммунистами начало централизма в законодательстве и в установлении „общих принципов“ политически является совершенно соответствующим условиям русской жизни»<sup>118</sup>. Сползание же к национализму их очень тревожило. «Создав в пределах Союза большое количество национальных республик..., коммунисты... способствовали пробуждению местного национализма, который не может не угрожать превращением в самостоятельную силу... Это чрезвычайно грозное явление, быть может одно из самых опасных для судеб не только Советского правительства, но и будущей России»<sup>119</sup>. «Политика Советского государства должна стремиться к постепенному преобразованию своего федерализма из национального в областной. Принципом федерации должна быть не национальность, но реальное географическое и экономическое целое в виде области или края»<sup>120</sup>.

Стоявшие у власти большевики не могли быть столь откровенными, как евразийцы, но многие из них, вероятно, думали так же, да и в реальной политике особого выбора у них не было. Утверждение «советского федерализма» сопровождалось громкой критикой унитаризма. Выступая на XII съезде РКП(б) в 1923 г., через несколько месяцев после создания Союза ССР, Сталин с негодованием говорил о том, что в стране «бродяга желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устроить Деникину, т.е. создать так называемую „единую и неделимую“»<sup>121</sup>. Эта мысль повторялась и в резолюции съезда. «Одним из ярких выражений наследства старого следует считать тот факт, что Союз Ре-

<sup>117</sup> Алексеев Н. Цит. соч., с. 110.

<sup>118</sup> Там же, с. 122.

<sup>119</sup> Там же, с. 117–118.

<sup>120</sup> Там же, с. 121.

<sup>121</sup> Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968, с. 481.

спублик расценивается значительной частью советских чиновников в центре и на местах не как союз равноправных государственных единиц, ...а как шаг к ликвидации этих республик, как начало образования так называемого „единого-неделимого“»<sup>122</sup>.

Если эти заклинания были искренними, то за ними не стояло ничего, кроме иллюзий. Реальный федерализм в СССР 20-х годов был невозможен по тем же причинам, по каким он не мог пробить себе дорогу в дореволюционной России: из-за все еще слабого собственного «веса» регионов и региональных элит. Федерализм не имел достаточной социальной базы и был обречен на сползание либо к националистическому сепаратизму, либо к унитаризму. Между этими крайностями и развернулась борьба за право выступать от имени декларируемого федерализма, причем «условия русской жизни», на которые пронциательно указывали евразийцы, практически предreshали победу унитаризма.

При всех поношениях «единой-неделимой», звучавших на XII съезде РКП(б), озабоченность ростом местных национализмов была слышна уже и там. Но съезд проходил на глазах у всего мира, там многое говорилось для публики<sup>123</sup>. Всего несколько месяцев спустя эта озабоченность была выражена в гораздо менее прикрытой форме на секретном совещании ЦК РКП, где унитаризм, по существу, открыл военные действия против местных национализмов. Совещанию был придан характер суда над конкретным носителем националистического зла — М. Султан-Галиевым, который, как заявил на совещании Троцкий, «на почве... своей национальной позиции... перешел ту грань, где недозволенная фракционная борьба превращается уже в прямую государственную измену». У местных партийных работников, по словам Троцкого, «на фланге национализма... не было достаточной бдительности», они «не развили в себе чуткости по отношению к... опасности... туземного национализма. И в ярком обнаружении этого — значение дела Султан-Галиева. Оно ставит надолго столб, напоминает, что у этого столба начинается обвал. Да, этот столб предостерегает товарищей национальных коммунистов от величайших опасностей»<sup>124</sup>. Июньское совещание 1923 г. было чем-то вроде практических занятий для съехавшихся в Москву представителей новых, партийных национальных элит — им был преподан урок того, как следует толковать решения съезда. Так было положено начало долговременной политике новых имперских властей, направленной на то, чтобы вырвать у федерализма его националистические зубы.

Какое-то время казалось, что эта политика принесла успех. Действительность быстро развеяла предреволюционные иллюзии сторонников национально-территориальной автономии, сохранявшиеся некоторое время и после революции. Сра-

<sup>122</sup> Там же, с. 695.

<sup>123</sup> Это, видимо, осознавалось уже и тогда. Иначе откуда бы возмущение Троцкого: «Товарищи националы... нередко заявляют: „...Многие ответственные работники из центра говорят, что решения XII съезда — это, дескать, только для внешней политики“. Кто это вам сказал? — спрашиваю. Почему вы не заявляете об этом официально, почему вы в ЦК партии не сообщаете, что такой-то член партии тогда-то и там-то сказал, что резолюция XII съезда по национальному вопросу... принята только для внешней политики... Если бы какой-либо ответственный работник повел такую линию, изображая важнейшее принципиальное решение, как уловку, ЦК предложил бы его исключить из партии» (Тайны национальной политики..., с. 79).

<sup>124</sup> Тайны национальной политики..., с. 74–75.

зу после создания СССР еще можно было думать, как думал украинский большевик Скрыпник (впоследствии покончивший с собой), что «свободные объединяющиеся республики остаются внутренне независимыми, вместе с тем передавая определенную долю своей суверенности своему Союзу Соц. Республик для экономической и политической борьбы вовне»<sup>125</sup>. Но очень скоро подобная точка зрения, «отмежевывающаяся и от конфедерации и от единого неделимства»<sup>126</sup>, стала крамольной. В СССР утвердился безграничный имперский унитаризм. К числу его наиболее очевидных проявлений относились непрерывное создание по воле Москвы новых и упразднение прежних территориально-национальных образований, произвольное установление и перекраивание их границ, депортации народов или значительных выделенных по этническому признаку групп, переименование городов, смена алфавитов, назначение марионеточных «национальных лидеров» и пр. Полное бесправие национальных образований всех уровней сказывалось постоянно в рутинном повседневном вмешательстве Центра в их экономическую и культурную жизнь, кадровую политику. Постепенно сложилась система новых национально-территориальных наместничеств, управлявшихся верными Москве и полностью зависившими от нее представителями местной элиты. Этнический сепаратизм был до предела ослаблен, загнан в подполье, перестал играть сколько-нибудь заметную роль. Но вместе с тем утратил свой напор и федерализм, превратившийся не более чем в декоративный фасад централистского унитарного государства. Долгое время никто не предполагал, что за этим благополучным фасадом назревал новый разрушительный кризис.

## 9.7. Кризис советского федерализма

**Н**акануне референдума 17 марта 1991 г., на который был вынесен вопрос о целесообразности сохранения СССР, одна из газет опубликовала карту страны с указанием 76 отмеченных к тому времени точек разгоревшихся или назревавших конфликтов на национальной почве. Все они были связаны с требованиями пересмотра границ, изменения административного статуса национально-территориальных образований или переселения тех или иных групп населения<sup>127</sup>. В 1993 г., когда СССР уже распался, были опубликованы результаты нового анализа ситуации: число таких точек в прежних границах СССР увеличилось до 173<sup>128</sup>. Многие конфликты к тому времени уже повлекли за собой человеческие жертвы, а в ряде случаев превратились в вооруженные столкновения с участием военных формирований. Все эти бесчисленные взаимные притязания и конфликты, не говоря уже о самом распаде Советского Союза, стали неоспоримым свидетельством полного краха советского федерализма. Но в чем была причина этого краха, чьим интересам он отвечал?

Как ни парадоксально это звучит, СССР перестал существовать не столько потому, что были велики силы, заинтересованные в его распаде, сколько потому, что были сла-

<sup>125</sup> Там же, с. 240–241.

<sup>126</sup> Там же.

<sup>127</sup> «Московские новости», 17 марта 1991 г.

<sup>128</sup> *Fragments d'Europe: Atlas de l'Europe médiane et orientale*. Sous dir. de M. Foucher. Paris, 1993, p. 246.



бы, неразвиты силы единения. В критический момент у советского федерализма не оказалось серьезных защитников, его взяли голыми руками.

Смысл федерализма заключается в поддержании равновесия интересов частей и целого. Модернизация была одной из главных осей, вокруг которых объединялись эти интересы и которая заставляла новые, советские региональные элиты ценить имперскую государственность. Идеология «классического» дореволюционного федерализма — до того, как он дал себя поглотить национализму, — также чаще всего не была ни антирусской, ни антиимперской, ни антимодернистской. Становящиеся региональные элиты не без оснований видели в тогдашней имперской метрополии локомотив собственной модернизации. Они не могли не осознавать возможностей, которые открывали перед ними имперское пространство и имперская мощь. Не могли не понимать и своей неготовности контролировать обстановку в регионах в случае социального взрыва, приближение которого ощущалось всеми. Федералистские идеи не были для них дипломатическим прикрытием сепаратизма, а представляли реальную ценность, ибо отвечали их коренным интересам.

То, что многие сторонники федерализма все же скатились к национализму и сепаратизму и действовали нередко против своих интересов, можно объяснить естественной тогда слабостью, неразвитостью, незрелостью, просто немногочисленностью новых региональных элит. Все это обусловило уступчивость вчерашних федералистов, их националистическую ангажированность в годы революционных потрясений.

Десятилетия ускоренной модернизации советского периода, казалось бы, должны были все изменить. На деле же больших изменений не произошло. Мощные промышленно-городские региональные комплексы СССР 60-х – 80-х годов выглядели органическими частями единого целого. На его сохранение были направлены главные политические и идеологические усилия советского руководства, вполне успешные, на взгляд не только сторонников, но и противников СССР. Многие западные критики советского федерализма были убеждены в том, что национальные республики — не более чем марионеточные образования, полностью зависящие от центра, а советская действительность, вроде бы, только и подтверждала эти обвинения. Национальная консолидация населения республик никогда — ни теоретически, ни практически — не стояла в повестке дня советской внутренней политики. Напротив, главной декларируемой заботой этой политики всегда была национальная консолидация всего населения СССР, правда, по-другому называемая. Когда советские политики и идеологи размышляли о его будущем, перед их мысленным взором обычно стояло нечто, очень похожее на западные нации, хотя сам термин «нация» в таком смысле в СССР обычно не употреблялся, «национальное» здесь, как мы видели, было синонимом «этнического». Тем не менее много говорилось и писалось о растущей социальной однородности советского общества, об интернационализации экономической и общественной жизни, о русском языке как языке межнационального общения, постоянно повторялись слова Ленина о «сближении и слиянии наций» и т. д. Более того, за несколько лет до распада Союза в СССР был введен в оборот пропагандистский тезис о якобы сложившейся «новой исторической общности людей — советском народе» — ее можно было трак-



товать как нечто, вроде американской или французской нации, к формированию которой и подошло население СССР. Если бы дело и в самом деле обстояло таким образом, Советский Союз оказался бы территориальным монолитом, прочности которого ничто не могло угрожать. Именно о таком исходе мечтали «евразийцы», предлагавшие рассматривать всю совокупность народов, населявших СССР, как его «национальный субстрат», «особую многонародную нацию»<sup>129</sup>.

Нельзя сказать, что для подобных ожиданий не было оснований. При всех хорошо известных различиях, в экономическом и социальном развитии СССР и западных стран было много общего, а это не могло не вести к их конвергентному развитию в самых разных областях, в том числе и в области национальных отношений. Вполне можно было ожидать, что экономическая и социальная модернизация окажет на советское общество примерно такое же воздействие, какое она оказала в свое время в странах Западной Европы. Ведь и в СССР уходило в прошлое старое крестьянство, тесно и устойчиво связанное с землей, с определенной территорией, объединенное «кровью и почвой». Оно уступало место новому подвижному населению, чьи связи с территорией определялись гораздо менее локализованными городскими видами деятельности, иным, чем прежде, типом сообщений между людьми, текущей «выгодой» и пр. Рушились многие внутренние перегородки между областями и народами, они сближались, рождались новые, иные, нежели прежде, силы интеграции, которые, казалось бы, должны были спекать выходцев из разных краев империи, из разных ее этносов в единую и неделимую нацию.

Несмотря на все это, СССР как будто все больше возвращался к положению начала века, когда центристские силы в Российской империи почти без боя уступили силам центробежным, федерализм — националистическому сепаратизму. Как отмечала Э. Каррер-Д'Анкокс, в СССР «модернизация не только не открывает пути к интеграции, но создает рамки для национализма, который утверждается в большей степени, чем прежде, а главное, более осознанно»<sup>130</sup>. Интеграционный потенциал советской модели модернизации, вопреки ожиданиям, оказался, по-видимому, очень слабым.

Разумеется, нельзя утверждать, что центристские силы в СССР вообще отсутствовали. При всей непоследовательности и незавершенности советской модернизации в Закавказье, на Северном Кавказе, в Средней Азии, она и там зашла достаточно далеко, чтобы вызвать к жизни и расширить средние городские слои. Их интересы, связанные в основном с современными устремлениями экономической, политической и культурной жизни, далеко не всегда делали их сторонниками разрушения союзного целого. Многие шедшие из Москвы импульсы вполне соответствовали этим интересам и нередко встречали на южных окраинах Союза понимание и одобрение. Поэтому средние слои на Кавказе или в Средней Азии, связанные с ними политические элиты не были чужды федералистских настроений. Но сами эти слои здесь все еще были немногочисленными и неразвитыми, во многом маргинальными. К тому же их

<sup>129</sup> Трубецкой Н. С. Общевразийский национализм. // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993, с. 95.

<sup>130</sup> Carrère d'Encausse H. L'empire éclaté. Paris, 1978, p. 272.

подъем происходил на общем кризисном фоне. Порожденный модернизацией внутренний кризис традиционных кавказских и среднеазиатских обществ разрастался, социокультурные силы поляризовались, их противостояние усиливалось, а вместе с тем усиливались и противоречивые тенденции социальной динамики.

Все жители СССР имели двойную самоидентификацию — этническую и гражданскую, причем и та, и другая были закреплены официально. Жизнь постоянно сталкивала между собой статусы представителя этноса и гражданина империи, ставя человека перед нелегким выбором.

С одной стороны, конкуренция за новые для них социальные статусы заставляла наиболее активные слои коренного населения большинства национальных образований перенимать многие черты образа жизни и идеологии «колонизаторов», в них быстро увеличивалось число своих проимперски настроенных «западников», русофилов, «коммунистов» (парадоксальным образом, часто эти понятия выступали как тождественные). Они были склонны видеть по преимуществу положительные стороны развития в рамках империи-союза и хотели бы лишь свободнее распоряжаться плодами этого развития.

С другой же стороны, сама природа нарастающей конкуренции требовала дистанцирования, противостояния, оппозиционности по отношению к «колонизаторам». Добиваясь перераспределения прав и полномочий в свою пользу как внутри республик, так и в масштабах всего СССР, автохтонные региональные элиты естественно прибегали к такому мощному источнику легитимизации своих требований, как традиционализм и этнический национализм. Кризис традиционного общества создавал для этого благоприятную почву: пробуждая защитные силы этого общества, он способствовал укреплению религиозного и культурного «фундаментализма». В этом же направлении нередко подталкивали и безумные репрессивные действия властей: они грубо попирали принципы интернационализма и федерализма, которые на словах постоянно декларировали, и одновременно, превратив этническую принадлежность в «священную корову», подсказывали путь консолидации вокруг национальной или религиозной идеи.

В руках местных элит оказывались крупные козыри. Правда, до поры до времени слишком активное использование этих козырей было небезопасно для них самих. Местные элиты не были заинтересованы в отказе от достижений модернизации, уже успели вкусить от ее плодов, хотели не возврата к прошлому, а большей власти и независимости в настоящем и будущем. Закавказью, Северному Кавказу, Средней Азии, некоторым другим районам еще только предстояло пройти многие решающие этапы модернизации, «зонтик» советской империи, несомненно облегчал эту задачу. Симбиоз модернизма и архаики, служивший питательной средой роста местных элит, был во многом искусственным, поддерживался сильным имперским центром. С исчезновением этой поддержки хрупкое равновесие могло нарушиться, а умеренные традиционализм и национализм, пока служившие вспомогательной силой регионализма, могли радикализироваться, превратиться в передовую силу антимодернистской реакции и приве-

сти к вытеснению и даже уничтожению новых региональных элит и к приостановке модернизации в целом.

Впрочем, если бы этого и не произошло, самостоятельность, доведенная до выхода из состава СССР, все равно сулила не только приобретения, но и потери. Даже и сохраняя власть в своих республиках и контроль над их экономикой, региональные элиты оказывались отрезанными от огромных ресурсов империи, на которые они привыкли смотреть как на свои. Может быть, наиболее ярким примером такого взгляда служит развернувшаяся незадолго до распада СССР борьба вокруг проекта переброски в засушливые районы Средней Азии вод сибирских рек. Среднеазиатские лидеры были главными сторонниками этого проекта, который, конечно, не предполагал, что Сибирь и Средняя Азия могут оказаться по разные стороны государственной границы. Поворот сибирских рек не состоялся, но доступ к другим ресурсам — сырьевым, технологическим, культурным и пр. — был открыт, во всех национальных образованиях сложился слой людей, которые ощущали себя гражданами огромной евразийской империи и потенциально могли претендовать на любое место в ней. Им было что терять, окажись они в замкнутом пространстве небольших и бедных азиатских государств.

Не удивительно поэтому, что те же среднеазиатские политические элиты были ориентированы не столько на выход из империи, сколько на перераспределение в своих интересах влияния и власти внутри нее. Сепаратистские настроения в Средней Азии или Казахстане не были сильными, традиционалистски настроенная часть общества едва ли была способна самостоятельно подвести свои республики к выходу из Союза, во всяком случае, тогда, когда это произошло на самом деле. Их выход из состава СССР в 1991 г. был практически вынужденным, но почти не вызвал сопротивления. По логике вещей, по крайней мере какая-то часть местных элит, преследуя свои собственные интересы, должна была поддерживать центростремительные силы, защищать союзное единство. Так оно и было, но их голос быстро слабел, заглушался другими, более громкими голосами.

В этом смысле характерна позиция первого президента независимого Казахстана, а до того — руководителя Компартии Казахстана Н. Назарбаева. Он был одним из наиболее последовательных сторонников сохранения Союза, неоднократно заявлял, что его «крайне беспокоят усиливающиеся сепаратистские и центробежные тенденции»<sup>131</sup>. По его инициативе Верховный Совет Казахстана принял обращение к Верховным Советам других союзных республик с призывом «сделать все возможное, чтобы предотвратить грядущую катастрофу — развал нашего великого союзного государства»<sup>132</sup>. В то же время Назарбаев достаточно глубоко понимал противоречивую основу, на которой держался Союз и выступал за ее обновление. В частности, он был убежден, что «идея рынка... далеко выходит за чисто экономические рамки и приобретает значение своеобразного консолидирующего стержня»<sup>133</sup>, который должен заменить консолидирующую силу «командно-административной системы». Но именно сопротивление системы вело к тому, что реформаторские иллюзии Назарбаева постепенно испарялись. «Разве ос-

<sup>131</sup> Назарбаев Н. Без правых и левых. М., 1991, с. 237.

<sup>132</sup> Там же, с. 248.

<sup>133</sup> Там же, с. 235.

лабла жесткая диктаторская хватка центрального аппарата? Разве поколебал декларированный суверенитет республик монолитные позиции ведомств? Скажу прямо — чихать они хотели на наш суверенитет!» — восклицал Назарбаев, выступая на IV Съезде народных депутатов СССР<sup>134</sup>. Соответственно смещались и акценты федералистской позиции Назарбаева, менялось его отношение к распаду Союза. «Я... не склонен паниковать, когда слышу, что наш Союз, дескать, разваливается. Не склонен также очень уж винить за это и центр... Рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Здание с неправильно заложенным фундаментом долго не простоит... Ведь не республики объединились вокруг центра, а центр «привязал» республики к себе. Вот и происходит теперь объективный процесс распада»<sup>135</sup>. Назарбаев уклонился от участия в Беловежской встрече, которая подвела черту под существованием СССР, впоследствии был одним из наиболее активных сторонников создания СНГ, но распад СССР воспринял как нечто неизбежное и необратимое.

Этот пример, как и многие другие, говорит о том, что сепаратистский напор к моменту распада СССР не был так уж силен. Советский Союз распался очень буднично, для большинства его жителей неожиданно, ни в центре, ни «на местах» это не вызвало никаких особых эмоций, соразмерных бесспорной исторической важности самого события. Создается впечатление, что к этому времени в Союзе уже не было достаточно влиятельных экономических или политических групп, чьи глубинные интересы серьезно затрагивались распадом СССР. А это и значит, что питавшие советский федерализм центристские силы почти сошли на нет.

Стоит ли этому удивляться? Все школьники в СССР были знакомы с «Манифестом Коммунистической партии», где говорится, что экономическая деятельность буржуазии сделала необходимой политическую централизацию, вследствие чего «независимые, связанные почти только союзными отношениями области... оказались сплоченными в одну нацию, с одним правительством, с одним законодательством, с одним национальным классовым интересом, с одной таможенной границей»<sup>136</sup>.

Экономическую деятельность буржуазии в СССР заменяла деятельность Госплана. Вся экономика, а по существу, вся страна, рассматривалась как один большой завод, внутри которого, конечно, очень важна горизонтальная технологическая кооперация. Соответственно и создавалось единое на всю страну технологическое пространство. Его пронизывали дороги и трубопроводы, внутри него перемещались люди и грузы, шел обмен деятельностью и т. д. Это технологическое пространство принято считать экономическим. На самом же деле оно было псевдоэкономическим, оно не было пространством внутреннего рынка, на котором определяются и сталкиваются экономические интересы конкретных людей или групп людей — собственников, непосредственно зависящих от всего, что происходит в этом пространстве, и способных активно воздействовать на его состояние. Соответственно не было и массового слоя носителей федералистской идеи, которые стремились бы к меньшей зависимости от центра во имя большей свободы действий на внутреннем рынке, но не желали терять этот рынок или дро-

<sup>134</sup> Там же, с. 240.

<sup>135</sup> Там же, с. 244.

<sup>136</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. // Соч., т. 4, с. 428.

бить его. Отсюда — слабость советского федерализма и объективно порождаемых им центростремительных сил.

Еще одним, может быть, дополнительным, но тоже очень важным объективным источником этой слабости была неодинаковая продвинутость разных частей СССР по пути модернизации. В одних его частях, например, в большинстве районов России, не говоря уже о Прибалтике, общество очень основательно «атомизировалось», индивидуализировалось, подошло к превращению в гражданское, а значит и в «нацию» в западном смысле этого слова. Другие же части бывшего Союза — Средняя Азия и некоторые другие — не были к этому готовы. Они жили еще по законам малоподвижных, аграрных, сельских обществ, жестко привязанных к определенной территории. Такие общества вполне могут существовать в рамках централизованных имперских структур, им империя не мешает. События показали, насколько ошибочными были те предостережения, которые связывали главную опасность целостности СССР с подъемом среднеазиатского национализма, исламского фундаментализма и пр. Опасность пришла с другой стороны — с «Запада», — понятие, которое на социокультурной карте СССР означало европейские республики, включая, видимо, и саму Россию. Громоздкая, не допускавшая гибких решений, равнявшаяся по отстающим унитарная империя была в тягосты прежде всего тем, кто созрел для быстрых перемен. Именно из-за неодинаковой готовности к переменам становилось невозможным взаимопонимание «Запада» и «Востока» в пределах бывшего Союза, что, конечно, усугубляло кризис имперской государственности. Самые глубинные основы жизнедеятельности, структурирования, политической организации западных, «национальных» и восточных, «донациональных» обществ — разные. Мысль о слиянии их в единый «советский народ», опору союзных центростремительных сил, была утопичной.

Возможно, именно динамическая неоднородность советского общества повлияла на позицию собственно России, которая странным образом оказалась одним из самых слабых звеньев союзного федерализма, что тоже стало неожиданностью. В упоминавшемся обращении Верховного Совета Казахстана, призывавшем «поставить прочный заслон центробежным силам», говорилось, что «кособая миссия в этом деле принадлежит народным депутатам РСФСР, поскольку именно народы России... могут и должны играть важную конструктивную роль в формировании обновленного Союза»<sup>137</sup>. Надежды на Россию не оправдались. Сепаратистские устремления, приведшие в 1991 г. к распаду СССР, легко достигли цели, прежде всего именно потому, что не встретили значительного сопротивления со стороны российской, преимущественно русской элиты, из которой в основном рекрутировалась и союзная элита.

Хотя все народы Советского Союза считались равноправными, исторические, географические и демографические основания объективно ставили русских в особое положение, которое советский режим пытался использовать в великодержавных, имперских целях. Не веря в реальный федерализм и естественные для него рыночные, гражданские, либеральные основания, не чувствуя под ногами новой, модернизированной почвы для укрепления прочности СССР, его руководство, как и во многих других случаях, сделало ставку на традиционные способы мобилизации социальной воли, возроди-

<sup>137</sup> Назарбаев Н. Цит. соч., с. 249.

ло, пусть и в несколько замаскированном виде, идею «державного» народа, чьи интересы в наибольшей степени совпадают с интересами империи. Этот поворот произошел постепенно, с наибольшей ясностью он был обозначен в речи Сталина в мае 1945 г., когда он назвал русский народ «руководящим народом», «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза»<sup>138</sup>. Позднее, в ходе десталинизации, наиболее одиозные формулировки исчезли из употребления, но концепция «старшего брата» жила очень долго и неизменно связывалась с защитой коренных интересов СССР. На деле же это означало привилегированное положение русской элиты и ее огромное преобладание на вершине союзной пирамиды власти.

Некоторое представление об этом преобладании дает национальный состав высшей партийной элиты за все время существования советской власти (табл. 9.1). Для страны, в которой насчитывалось свыше ста народов, национальное представительство в высшем эшелоне правящей партии было более чем скромным. В таблице перечислены десять национальностей, которые за все время с 1917 по 1991 г. имели в составе партийной верхушки более чем двух представителей. Кроме того, в высшем партийном руководстве за это время побывало двое немцев, двое поляков, два киргиза, два молдаванина и по одному представителю болгар, татар, финнов, литовцев, осетин, таджиков, туркмен и эстонцев.

В первое послереволюционное десятилетие в формировании высших партийных органов непропорционально большое место занимали русские и особенно евреи. Впоследствии приток евреев на партийный Олимп резко сократился, а после 1940 г. полностью прекратился. Но непропорционально большой приток русских не только сохранился, но даже усилился. Например, при том, что в 40-е – 80-е годы численность русских в СССР была примерно втрое больше, чем украинцев, число русских, поднявшихся на кремлевский верх, было вшестеро большим. Но все же украинцы и белорусы находились в сравнительно благоприятном положении, почти 84% всех, пришедших в руководящие органы ЦК с 1930 по 1989 г., составляли представители трех славянских народов, и только 16% оставалось на долю более чем ста остальных, из которых реально было представлено только девять. Попытка изменить положение была предпринята лишь в 1990 г., но СССР оставалось жить всего год.

Таблица 9.1 — не более чем иллюстрация общего положения. Столь же значительным было преобладание русских во всех союзных структурах — партийных, правительственных, армейских, научных и т. д. Напомним, что речь шла об этнических русских, чья родословная нередко тщательно проверялась. В этом смысле критерии были даже более жесткими, чем их представляли себе дореволюционные русские шовинисты. Генерал Куропаткин, воинствующий сторонник «России для русских», настаивая на том, «чтобы русское племя в России пользовалось большими правами, чем инородцы и иноземцы», в то же время полагал, что «приобщение к русской народности инородческих элементов очень желательно и полезно для России. Поэтому закрытие государственной службы для тех из них, которые не пожелают сделаться

<sup>138</sup> Сталин И. В. Выступление на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 г. // Сталин И. О Великой отечественной войне Советского Союза. М., 1952, с. 196.

Таблица 9.1. Национальный состав высшей партийной элиты РКП(б), ВКП(б), КПСС (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК), 1917–1989 гг.

Национальность	Год первого прихода на высший пост									
	1917-1919	1920-1929	1930-1939	1940-1949	1950-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1917-1989	1917-1991
<b>Всего, человек</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>229</b>
в том числе:										
русские	8	31	10	13	22	16	8	24	15	147
украинцы	2	2	-	1	5	3	1	3	1	18
евреи	5	5	2	-	-	-	-	-	0	12
белорусы	-	-	1	-	1	1	1	2	2	8
латыши	-	3	1	-	1	1	-	1	1	8
грузины	1	1	1	-	1	-	1	-	1	6
армяне	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4
узбеки	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
азербайджанцы	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
казахи	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
другие	2	3	-	-	1	1	-	1	9	16
<b>Всего, %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
в том числе:										
русские	44,4	67,4	66,7	92,9	64,7	69,6	72,7	75,0	41,7	64,2
украинцы	11,1	4,3	-	7,1	14,7	13,0	9,1	9,4	2,8	7,9
евреи	27,8	10,9	13,3	-	-	-	-	-	-	5,2
белорусы	-	-	6,7	-	2,9	4,3	9,1	6,3	5,6	3,5
латыши	-	6,5	6,7	-	2,9	4,3	-	3,1	2,8	3,5
грузины	5,6	2,	26,7	-	2,9	-	9,1	-	2,8	2,6
армяне	-	2,2	-	-	2,9	-	-	-	5,6	1,7
узбеки	-	-	-	-	2,9	4,3	-	-	5,6	1,7
азербайджанцы	-	-	-	-	2,9	-	-	3,1	2,8	1,3
казахи	-	-	-	-	2,9	-	-	3,1	5,6	1,3
другие	5,6	-	-	-	2,9	4,3	-	3,1	25,0	7,0

Источник: Рассчитано по: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей. М., 1996.



русскими, необходимо, но инородцы, которые сознательно выберут своим языком русский язык, свою родину Россию, — свою службу и деятельность только усилят русское племя»<sup>139</sup>. Для государственной службы в советское время часто надо было быть русским по крови<sup>140</sup>.

В ставке на русский национализм или, во всяком случае, на русские интересы — действительные или воображаемые — отразилась объективная слабость внутренних сил взаимного притяжения народов СССР. Она-то и подталкивала к возрождению старой имперской идеи: сохранение империи становилось как бы миссией самого многочисленного «руководящего народа». Эта идея отвечала глубинному инстинкту власти, которая заигрывала с массовыми настроениями, порождаемыми антимодернистской реакцией. Ее выбор был предопределен самой моделью консервативной модернизации с ее изначальной опорой одновременно на технологические нововведения и на социальную архаику. Но чисто «технологическая» модернизация невозможна. Развитие промышленности, рост городов, повышение уровня образования неизбежно порождали общественные слои, ориентированные на либеральные ценности гражданского общества, правового государства, коротко говоря, на всестороннее социальное обновление. Они были генетически враждебны тоталитаризму, опасны для него, тоталитарное государство делало все, чтобы воспрепятствовать их консолидации.

В каком-то смысле эта задача облегчалась тем, что те же самые модернизационные перемены, которые пробуждают либеральное гражданское самосознание, долгое время питают и силы, на которые может опираться самый жесткий тоталитаризм. В частности, они углубляют кризис этничности с присущим ему синдромом антимодернизма, с потенциалом недовольства, протеста, ксенофобии и пр. Этот потенциал умело использовался в политической игре, в борьбе с любыми попытками критики режима, либерального свободомыслия. Постоянно осуждаемый на словах этнический национализм — антипод гражданского общества — заставил с собой считаться, стал нужным, любимым детищем властей. Этого нельзя сказать о федерализме, который смело можно назвать их пасынком.

Не удивительно, что власти снова и снова пытались укрепить империю именно с помощью национализма, в первую очередь, — национализма «руководящего народа», то есть шли по пути, от которого предостерегал еще Миллюков. СССР превратился из «великой империи» в «колосс на глиняных ногах» и в конце концов рухнул в значительной степени из-за двусмысленной политико-идеологической позиции партийно-государственной имперской власти. Одной рукой поддерживая общесоюзную консолидацию, другой она конформистски подчеркивала первостепенное значение этничности и готовила тем самым почву для этнического сепаратизма, в том числе и русского.

<sup>139</sup> Куропаткин А. Н. Цит. соч., с. 241, 243.

<sup>140</sup> Речь идет отнюдь не только о самых высоких постах. Недавно стали известны некоторые подробности «карибского кризиса» 1962 г. На Кубу была тайно переброшена почти 50-тысячная группировка Советской армии, прошедшая очень тщательный отбор. Помимо всего прочего, «защищать кубинскую революцию запрещалось... евреям, немцам, татарам, корейцам, китайцам и „разным там прочим шведам“» («Литературная газета», 29 октября 1997 г.). Это считалось вполне нормальным.



Выше уже было достаточно сказано о роли России в созидании царской, а затем и советской империи. Это созидание было длительным, трудным и далеко не бескровным, обходилось России очень дорого. Но долгое время она несла имперское бремя едва ли не с радостью, замечая, казалось бы, только выгоды своего державного положения. Какие эмоции еще сто лет назад вызывали новые завоевания. «Где в Азии поселится «Урус», там сейчас становится земля русской», — ликовал Достоевский... В будущем Азия наш исход, ...там наши богатства, ...там у нас океан»<sup>141</sup>. Понадобилось немногим более ста лет, чтобы имперский энтузиазм Достоевского сменился больным стоном Солженицына. «Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель»<sup>142</sup>. В России стало множиться число выступлений, в которых доказывалось, что Россия находится в приниженном, по сравнению с другими республиками, положении, что они ее эксплуатируют, появились свои сепаратистские настроения. В конце концов, именно Россия стала инициатором ликвидации СССР и отделения от своих недавних «сестер». За ее формальной инициативой стояла воля значительной части российской политической, экономической и культурной элиты. Она очень легко склонилась к сепаратизму, тогда как серьезных защитников федерализма в ее рядах почти не нашлось.

Можно ли и в самом деле объяснить этот сепаратизм тем, что имперское бремя стало непосильным для России? Если и можно, то лишь отчасти. Было ведь не только бремя, были и общие выгоды — экономические, культурные, геополитические. Почему же они так мало значили для союзной элиты, не сумевшей ничего противопоставить натиску сепаратистов?

Скорее всего, дело было в том, что в СССР вообще не было ни союзной, ни региональных элит в современном смысле этого слова, не было средних общественных слоев, на которые такие элиты могли бы опираться, не было носителей «горизонтальных» интересов, тесно связанных с судьбами Союза. Реальные советские регионально-национальные элиты, так же, как и российско-союзная, были статусными, «номенклатурными», зависели от отношений с центром, от его благорасположения. Они чувствовали себя хорошо в рамках жесткой вертикальной пирамиды власти, типичной для всей советской системы, но мало что теряли, если, распадаясь, она просто дробилась на подобные же пирамиды меньших размеров. В малых пирамидах местные элиты оказываются ближе к вершине, распад СССР означал для них повышение статуса, что для них было главным. Укрепить же свои позиции, свою власть, легитимность которой прежде освящалась союзным центром, помогала опора на все тот же этнический национализм.

Нестатусной элиты, общественных слоев, состоящих из независимых частных лиц, из собственников, опирающихся на горизонтальные, безразличные к административным границам связи, в СССР не было или, во всяком случае, они были намного менее развиты, ибо очень слабо были развиты сами эти связи. Но только такие слои могут быть кровно заинтересованы в федерализме и служить ему надежной опорой.

<sup>141</sup> Достоевский Ф. М. Геок-Тепе. Что такое Азия для нас? (Дневник писателя, 1881). // Полн собр. соч., т. 27, с. 38.

<sup>142</sup> Солженицын А. Как нам обустроить Россию. М., 1991, с. 6–7.

Нерушимость СССР была одной из главных, постоянно декларируемых ценностей советского политического истеблишмента. Союз республик и впрямь выглядел необыкновенно прочным. Но это была прочность деревянной бочки, скрепленной снаружи железными обручами, а не прочность атома, целостность которого обеспечивается его внутренними силами. Огромные усилия и ресурсы были направлены на то, чтобы не заржавели и не ослабли внешние железные обручи, этой задаче была подчинена едва ли не вся конструкция советской мобилизационной модели. Но все оказалось тщетным, ибо сама эта модель была главной причиной недоразвитости куда более важных внутренних сил сцепления. В конце концов обручи слетели, бочка рассыпалась. И дело совсем не в том, что в Советском Союзе были плохие бондари. Просто ремесло бондаря и атомная физика — это не совсем одно и то же.

# ГЛАВА II

## ИМПЕРИЯ И МИР

### 10.1. Вхождение в мировую политику

**В**нутренняя жизнь Российской империи или СССР была неотделима от их участия в международном общезитии, от их отношений с ближними и дальними соседями, со всем миром.

Во внешней политике русских царей, как и во всякой политике, было много субъективного, сиюминутного, случайного. Но в целом она не могла быть и не была произвольной, имела объективный смысл, в конечном счете была направлена на собиание, объединение, а затем и оборону имперского пространства. Геополитическая «миссия» империи, имела свои географические и исторические основания и предопределяла основные линии российской геостратегии — ее цели, направления, выбор союзников и противников.

Интересы великорусской метрополии, которыми руководствовались первые русские цари, с течением времени все теснее сплетались с интересами имперского целого, часто даже отступая перед ними на второй план.

Раз возникнув, Российская империя жила по законам всех империй — законам гоббсовского мира войны всех против всех. Ее территориальная экспансия останавливалась только тогда, когда встречала действительно непреодолимые естественные пределы (Ледовитый и Тихий океаны) или наталкивалась на границы других крупных, способных отстоять свою целостность геополитических структур. Ее геостратегия по самой своей природе была — и не могла не быть — конфронтационной, направленной на изменение status quo: ведь создавалось нечто новое и создавалось не в полной пустоте. Поэтому выполнение имперской миссии России было невозможно без «железа и крови», без кровопролитных войн, сложных дипломатических интриг, без насилия над собственным, а тем более над покоряемыми народами. Все это было «бытом» империи, малоприятными фактами ее повседневной жизни, но не подрывало ее основ, имевших более высокое историческое оправдание.

По мере роста империи и расширения ее экономических и военно-политических возможностей, она постепенно превращалась в великую державу, все больше вовлекалась в мировые споры, участие в которых нередко склонна была рассматривать как продолжение своих внутренних дел, отстаивание своих жизненных интересов. Во

внешней политике России, в ее успехах и неудачах была своя логика — логика борьбы за существование в глобальных геополитических джунглях.

Имперская роль России вполне определилась лишь с середины XVI столетия. Но ее геополитические предпосылки зрели давно, еще со времен первого русского государства — Киевской Руси. Оно возникло и укрепилось в IX веке в Поднепровье, на главной восточноевропейской торговой оси того времени — пути «из варяг в греки». Этот меридионально направленный путь давал выход к Черному, Азовскому и Каспийскому морям, к рынкам Византии и арабского Востока и предопределял географию экономических и политических интересов Киева. Направление Восток-Запад, связи с Западной Европой были для него тогда менее важными.

Относительная изоляция от запада Европы и все более тесные связи с ее юго-востоком, на котором господствовала Византия, вовлекли Киевскую Русь в зону греческого геополитического и культурного влияния и привели, в конечном счете, к принятию православия (988 г.). Это, в свою очередь, было частью активной христианизации Восточной Европы в X–XI вв. и в то же время геополитического размежевания между европейским востоком и западом по всему фронту от Балтики до Средиземноморья. И то, и другое было во многом связано с усиливавшейся германской экспансией. Более близкие славянские соседи немцев — поляки, чехи, хорваты — пытались противостоять их напору, приняв католичество, что, впрочем, не устраняло существовавшей исторической и социокультурной дистанции. Другие, как правило, географически более удаленные от германских границ, — болгары, сербы, а также румыны (не славяне), искали поддержки у Византии, опоры — в греческом православии и тем еще больше увеличивали эту дистанцию между собой и «Западом». Киевская Русь вошла в православие всего 22 года спустя после того, как Польша приняла католичество (966 г.) и 26 лет спустя после провозглашения Оттоном I Священной Римской империи германского народа (962 г.), — вряд ли речь идет о случайном совпадении событий.

Русская земледельческая, оседлая цивилизация и порожденная ею государственность складывались в борьбе со «степью», кочевниками-скотоводами, изнурявшими Древнюю Русь постоянными набегами. Татаро-монгольское нашествие было частью этой борьбы, не вполне завершившейся и после освобождения от татаро-монгольского ига. Тем не менее, эта страница русской да и мировой истории в основном была перевернута в XVI веке, когда появление огнестрельного оружия и особенно артиллерии — европейского изобретения XIV столетия, навсегда лишило военного преимущества полчища азиатских конных лучников и положило конец их вторжениям. По словам Р. Груссе, «орудийная пальба, которой Иван Грозный рассеял последних наследников Золотой Орды, а китайский император Канси устрасил калмыков, ознаменовала окончание целой эпохи мировой истории... В несколько часов традиционное превосходство кочевников стало достоянием неправдоподобного прошлого»<sup>1</sup>. Русская победа над «степью» была частью каких-то очень глубоких перемен, имевших планетарный масштаб, но еще не выводила Россию за пределы решения ее собственных, локальных задач.

<sup>1</sup> Grousset R. Bilan de l'histoire. Paris, 1946, p. 278.

Целую эпоху в русской истории составила борьба Москвы с Литвой и Польшей. Княжеские уособицы и татарское нашествие разорили наследие Киева, единство русских земель распалось. Когда пришло время, их новое объединение взяли на себя другие центры. На северо-востоке бывшей Киевской Руси таким центром стала Москва, на западе на эту роль выдвинулось Великое княжество Литовское, которое постепенно превратилось в литовско-русское государство, занимавшее территории нынешних Литвы и Белоруссии, большей части Украины и некоторой части России — до нынешних Калуги, Тулы и Орла. Литовские князья первыми нанесли поражения татарам, в частности, одержали крупную победу на р. Снигоды в 1362 г., «за четверть века до Куликовской битвы, которая, таким образом, явилась лишь последствием и развитием того подрыва военной силы Орды, начало которой положила Литва»<sup>2</sup>. Объединение западно-русских земель вокруг Литвы «в известном смысле было только повторением того, что происходило на той же западнорусской территории в IX и начале X в., ...было, в сущности, восстановлением разрушенного политического единства киевской эпохи, нахождением утраченного политического средоточия»<sup>3</sup>.

К XV веку на Востоке Европы существовало два центра государственного объединения восточных славян, а в каком-то смысле и два претендента на объединение всего восточноевропейского, а в дальнейшем и евразийского пространства. Начавшееся в XIV веке сближение Литвы и Польши, которое через два столетия привело к Люблинской унии 1569 г. и образованию Речи Посполитой, на первый взгляд, резко усилило позиции единого польско-литовского государства в этом геополитическом соперничестве. На самом же деле, очень скоро дал себя знать культурно-цивилизационный разлом, который проходил через новое государственное образование, проявилась несовместимость католиков-поляков и православных наследников Киевской Руси, римской и византийской политических традиций.

Хотя в период образования и расширения Великого княжества Литовского в центре объединительного процесса стояли литовские князья, восточнославянские формы социальности и восточнославянская культура с самого начала занимали важное место в создаваемом ими государстве. Со временем же, особенно в XIV веке, «русская стихия окончательно возобладавала в этом государственном союзе... Русские порядки, русские учреждения, русский язык и вера не только не колебались в собственно русских областях, но распространялись и в самой Литве»<sup>4</sup>. (Понятие «русский» употребляется здесь в расширительном смысле, как синоним восточнославянского. В более узком смысле следует говорить прежде всего о белорусах и о белорусском языке, на котором «писан целый ряд грамот, договоров, литературных памятников и даже известный Литовский статут; он был государственным языком в средние века, до начала XVIII века, на всем обширном пространстве Литвы и Белоруссии»<sup>5</sup>). Со временем, однако, рост польского

<sup>2</sup> Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Справочник. Выпуск II, Книга 1. Войны и мирные договоры. М., 1995, с. 339–340.

<sup>3</sup> Любавский М. К. Очерк истории Литовско-русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915, с. 36.

<sup>4</sup> Там же, с. 41.

<sup>5</sup> Довнар-Запольский М. В. Белорусское прошлое. Исследования и статьи. Т. 1. Киев, 1909, с. 338. «Белорусский язык... был придворным и административным языком Ягеллонов со времени образо-

политического и культурно-религиозного влияния, в частности, обращение язычников-литовцев в католичество, привел к падению «русского» влияния, а затем и к гонениям против православия и православных. Это имело своим естественным следствием усиление центробежных тенденций, что подрывало внутренние силы Речи Посполитой и ее надежды на восточноевропейское геополитическое лидерство, обрекало ее на геополитическое поражение. Попытки сблизить католиков и православных с помощью церковной унии имели ограниченный успех, внутреннее отторжение православных украинцев и белорусов в Польско-литовском государстве сделало их внешнее отторжение лишь вопросом времени. Этому сильно способствовало наличие московского объединяющего центра, который, в свою очередь, усиливался за счет слабеющих соперников.

Противостояние Литве и Польше было очень важно для Москвы, но это все еще была, скорее, «региональная» борьба — внутри восточноевропейского пространства за лидерство в нем («домашний старый спор», «семейная вражда», — писал Пушкин), — нежели выход на всемирную геополитическую арену. Географическая, частично этнолингвистическая (поляки — славяне, литовцы — нет), но самое главное, историческая (более позднее, чем на западе и юге Европы, становление государственности, решение общих задач в период антитатарской реконкиты, противостояние германской экспансии) близость делали границу между Россией, с одной стороны, Литвой и Польшей — с другой, менее значительной, чем их общая граница с более зрелым германским миром. Все время существовала тенденция к стиранию первой из этих границ, к замене двух границ одной, которая и становилась, в конце концов, крайней западной границей имперского российского пространства.

По мере завершения антитатарской реконкиты, по мере того как чаша весов и в соперничестве с «клитвой» стала склоняться в пользу Москвы, она получала все новые и новые основания осознавать себя законным преемником павшего в 1453 г. Константинополя. Претенденты на эту роль среди православных государств были и раньше — Болгария X–XIV, Сербия XII–XIV веков.<sup>6</sup> Но надо было сокрушить Византию, а они не смогли этого сделать. Впрочем, если бы это и удалось, они все равно пали бы под ударами турок, как пала вскоре сама Византия. Иное дело Россия в XVI столетии. К этому времени Константинополь утратил свою роль лидера православного мира и стал Стамбулом, стольным городом мусульманской Османской империи. В Европе сложилось новое соотношение сил и появились новые геополитические полюсы. В центральной Европе таким полюсом стала Вена, превратившаяся в центр сопротивления турецкой экспансии и столицу разноплеменной империи. И тогда же, в первой половине XVI ве-

вания литовско-белорусской диархии в 1447 г.; он продолжал играть эту роль до 1697 г., когда польские короли заявили, что это не более чем «польский диалект»... По отношению к польскому и русскому был тем же, что провансальский по отношению к итальянскому и французскому» (*Van Gennep A. Traité comparatif des nationalités. T. 1. Les éléments extérieurs de la nationalité. Paris, 1922, p. 70*).

<sup>6</sup> «Болгария — первое большое славянское государство, первая сознательная попытка создать Империю, повторить — в славянстве — византийский опыт. И именно этот болгарский пролог определяет в той или иной мере все будущее славянского Православия». «К середине 12-го века Сербия имеет уже все элементы государственности и для нее наступает время — воплощать все ту же византийскую теократию, вступить в число возможных наследниц Византии». (*Штеман А. Исторический путь Православия. М., 1993, с. 305, 314*).

ке, в далекой Московии родилась идея «Третьего Рима», возвестившая о появлении в Европе еще одного геополитического центра — российского.

Миссия «Третьего Рима» не была выдумана, она была подсказана жизнью. На тысячи верст к востоку от Москвы лежали слабо заселенные, а то и вовсе незаселенные земли. Жившие на этих просторах народы нередко знали лишь относительно примитивные формы хозяйственной и политической жизни. В XVI веке таких районов немало было по всему земному шару, но их время подходило к концу. Наступала новая эпоха всемирной истории. Она несла гораздо более тесные, нежели прежде, связи между разными частями света, проникновение европейцев в самые отдаленные уголки мира, колонизацию ими всех слабо освоенных или менее развитых районов планеты. Не могли миновать этой судьбы и просторы Северной Азии.

Московия была крайним восточным форпостом европейской, христианской цивилизации, само развитие которой было связано со смещением центров мировой истории на север. За этим стояло, по-видимому, общее ослабление зависимости человека от природных ограничений вследствие накопления опыта и знаний, развития агрикультуры, мореплавания, военной техники, промышленности, торговли. Опираясь на все эти достижения, западные европейцы открыли новую страницу в освоении земных просторов, подобно тому, как это сделали в свое время неолитические обитатели восточного Средиземноморья, Индии или Китая, первыми научившиеся возделывать землю и обрабатывать металлы и заложившие тем самым основы всех аграрных обществ.

Распространение высокоадаптивной христианской цивилизации среди недавних европейских «варваров» положило начало новому обживанию севера планеты. Русская экспансия на север и восток, пусть и с большим отставанием во времени, — лишь часть этого общего движения. Россия могла быть вовлечена в него одним из двух способов:

— либо быть колонизованной вместе с североазиатскими пространствами просто как их часть кем-нибудь из своих европейских соседей, например, германцами или поляками;

— либо самой выступить в качестве колонизирующей державы, организатора нового единого геополитического «большого пространства» восточной Европы — северной Азии.

Мог осуществиться любой из этих двух вариантов. Никакие исторические события не предопределены однозначно, можно говорить лишь о большей или меньшей их вероятности, в истории очень велика роль случайности. В силу вполне конкретных географических и исторических обстоятельств, вероятность второго пути в XVI веке оказалась большей. Он и осуществился. Москва к тому времени была во многих отношениях подготовлена к своей цивилизационной и геополитической миссии — если это не осознавалось ясно, то предощущалось. Отсюда, в частности, и идея Третьего Рима, которая, возникнув как религиозно-церковная, уже к концу XVI столетия, видимо, не без влияния успешной завоевательской деятельности Ивана IV (Грозного) «окончательно переродилась из апокалиптической догадки в правительственную идеологию»<sup>7</sup>. Пона-

<sup>7</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (Вильнюс, 1991), с. 29.

добилось, однако, еще немало времени, прежде чем Московское царство превратилось в петербургскую Российскую империю, которая и осуществила в полной мере объединение и освоение североазиатского пространства.

Это потребовало от России немалого напряжения. Как бы ни складывались ее внутренние, домашние события, кухня мировой политики уже давно находилась в Европе, и нельзя было стать мировой державой, не заняв перворазрядного места в балансе европейских военно-политических сил. Россия и заняла его в начале XVIII века после побед Петра I над шведами. Еще недавно могущественная, Швеция перешла в число второразрядных европейских стран, тогда как Россия вышла в первый ряд. Последующее прочное и долговременное вхождение России в качестве перворазрядной силы в европейскую, а тем самым и мировую политику было связано с ее борьбой против турецкой Османской империи. После успешного для европейцев завершения в XIII веке антиарабской и в XV веке антитатарской реконкисты Турция оставалась единственной серьезно угрожавшей христианской Европе внешней силой.

Восточная и Центральная Европа испытывала нарастающее давление со стороны турок, начиная с XIV века. В результате их завоеваний к началу XVI века в состав Османской империи входили уже все континентальные области Греции, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания. В вассальной зависимости оказались Молдавия и Валахия. В течение XVI–XVII веков под власть Турции перешли почти все острова и часть побережья Адриатического моря. Кроме того, в конце XV века Турция подчинила себе Крымское ханство. Могущественная Порта имела владения не только на европейском континенте. В XVI веке она распространила свою власть почти на все арабские страны — Сирию, Египет, Алжир, Тунис, Триполитанию, вытеснив оттуда европейцев. Турки вторглись в Иран, Армению, Курдистан, Западную Грузию, овладели прибрежной Аравией, вышли к Персидскому заливу. Они рвались в центр Европы, несколько раз осаждали Вену.

Хотя главным препятствием на пути турецкой экспансии стала Австрия, борьба с мусульманской Турцией была общеевропейским делом. Первые военные столкновения русских с турками произошли еще в XVII в. (взятие Азова казаками в 1637 г. и их «Азовское сидение» до 1643 г.), не слишком удачными были войны с Турцией Петра I, который сначала взял, а потом потерял Азов. Но именно в годы правления Петра или несколько ранее Турция потерпела ряд крупных военных поражений от европейских войск (в 1683 г. — под Веной, в 1697 г. — возле г. Сента на Тиссе, в 1716 г. — у Петервардайна на Саве) и начала терять свои европейские владения, отходившие к Австрии, Польше или России. К тому времени, когда Россия развернула крупные наступательные операции против Турции, Высокая Порта уже прошла пик своего могущества. Но все же она была еще сильна, и Россия оказалась мощным союзником европейских антитурецких сил. С 1735 по 1878 г. Россия воевала с Турцией шесть раз (не считая Крымской войны), и хотя не все эти войны были одинаково успешными, в целом Россия очень сильно потеснила Турцию в Причерноморье и на Балканах.



Воюя с Турцией, Россия преследовала свои собственные цели, но неизбежно втягивалась при этом в сложную систему европейских союзов и противостояний, возникавших в связи с борьбой против Турции, дележом ее наследства, а также общим изменением баланса сил в Европе. Чувствуя себя уже полноправной европейской державой, Россия активно участвовала в многочисленных коалициях времен наполеоновских войн, стала одним из главных победителей Наполеона. Политический и военный вес России неуклонно увеличивался, она привыкла ощущать себя великой державой, способной оказывать огромное влияние на мировую политику.

## 10.2. Геополитические козыри России

**У**же победы Петра над шведами ясно показали, что, подобно Франции и Англии, Россия обладает достаточными силами, чтобы действовать «как великая держава, не зависящая от внешней поддержки»<sup>8</sup>. В то же время авторы, признающие первостепенную роль России в европейской политике XVIII–XIX веков, обычно отмечают при этом и ее бедность, экономическую отсталость. Существовали, стало быть, обстоятельства, которые противостояли бедности и отсталости и позволяли России выступать — по крайней мере, во внешнеполитической области — наравне с более богатыми и развитыми европейскими странами.

Одним из таких обстоятельств было географическое положение России. Восточнославянская цивилизация, российская государственность сложились и развивались вдали от крупных океанских просторов, игравших столь важную роль в жизни прибрежных западноевропейских народов — англичан, испанцев, португальцев, итальянцев, французов, голландцев. Положение России в чем-то было сходно с положением Германии — она тоже была повернута к неудобным северным морям, а ее морской фронт был небольшим, по сравнению с протяженными сухопутными границами. Все это не благоприятствовало развитию мореходства, а позднее — превращению в морскую державу, способную к заморской и заокеанской колониальной экспансии. Но Германия была зажата в центре Европы, окружена сильными соседями с более удачливой геополитической судьбой. Россия же, еще менее морская, чем Германия, находилась на западном краю огромного слабозаселенного материка — «там у нас океан», говорил Достоевский. Освоение этого сухопутного «океана» в какой-то мере уравнивало геополитические шансы России даже с шансами британской владычицы морей, давало в руки России несомненные козыри, с помощью которых она и превратилась в великую державу.

Российские владения расширялись во всех направлениях, но главным все-таки было восточное, на нем Россия почти не встречала сопротивления. После покорения сибирских татар в XVI веке встававшие на пути русского продвижения к Тихому океану противники «выглядели не политическими силами, а просто компонентами сопротивлявшихся освоению ландшафтов, „этно-экоценозов“»<sup>9</sup>. Со временем сами бескрайние пространства империи стали ее важным геополитическим преимуществом. Огромности

<sup>8</sup> Kennedy P. The rise and the fall of the great powers. Economic changes and military conflicts from 1500 to 2000. London, 1988, p. 107.

<sup>9</sup> Цымбурский В. Остров Россия. Перспективы российской геополитики. Полис, 1993, 5, с. 9.

непрерывного и постоянно разраставшегося континентального массива, находившегося под контролем России, постепенно стали придавать необыкновенное, почти мистическое значение.

В каком-то смысле мистика российского геополитического пространства получила в начале XX века теоретическое обоснование под пером английского географа Х. Макиндера. Долгое время успешное распространение по всему миру власти морских держав, особенно островной Англии, внушало мысль о принципиальных стратегических преимуществах прибрежного географического положения. Но территориальная экспансия России делала эту мысль не совсем бесспорной, постепенно стал выработываться новый взгляд на соотношение сил морских и континентальных держав. Х. Арндт приводит слова польского публициста 40-х годов XIX века: «идея Англии..., выраженной словами „Я хочу править морями“, противостояла идея России: „Я хочу править землей“». Пангерманисты и панслависты, пишет она, исходя из «континентальности» своих государств, считали себя вынужденными искать колонии на континенте и были убеждены, что в конце концов «огромное превосходство земли над морем..., высшее значение власти над сушей по сравнению с властью над морем» ... станут очевидными для всех. Первенство в развитии этих идей принадлежало панславистам, которые «выразили эти геополитические идеи почти за 40 лет до того, как пангерманизм начал «мыслить в категориях континентов»<sup>10</sup>.

С идеей континентального превосходства соглашались не все. Противоположной точки зрения придерживался, в частности, американский адмирал А. Мэхэн, изложивший свои взгляды в известной книге на эту тему<sup>11</sup> и ряде других сочинений. По мнению М. Хаунера, именно Мэхэн был «одним из первых стратегически мыслящих людей, ясно осознавших фундаментальную геостратегическую дилемму России как единой евроазиатской державы: трудность ведения войны одновременно в двух крайних точках ее территории. Он сомневался... в ее способности совмещать экспансию на Дальнем Востоке и в направлении Персидского залива»<sup>12</sup>. Макиндер же опасался как раз новых возможностей континентальной мощи. Как и многие его соотечественники, он был удивлен и обеспокоен неожиданным усилением Германии, в конце XIX века уже готовившейся вступить в борьбу с Британией за европейское, а значит, и мировое лидерство. Это менявшееся соотношение сил Макиндер и попытался осмыслить в геополитических терминах (хотя сам он не употреблял слово «геополитика»). Согласно Макиндеру, к началу XX века подошла к концу четырехвековая эра политического могущества государств прибрежной Европы, и сложилась новая обстановка, ставившая в более выгодное положение континентальные державы. Сама «континентальность» превратилась в едва ли не решающий источник силы в борьбе за мировое господство, а центр мировой истории переместился в континентальную Азию, где и возникла новая географическая ось истории, *хартленд* (Heartland),

<sup>10</sup> Арндт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996, с. 308.

<sup>11</sup> Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю. 1666–1783. М.-Л., 1941. Американское издание (Mahan A. The influence of sea power upon history. 1666–1783) появилось в 1890 г., первое русское издание — в 1895.

<sup>12</sup> Hauner M. What is Asia to us? Russia's Asian Heartland yesterday and today. London and New York, 1992, p. 136.

«Евро-Азия», расположенная в сердце *Мирового острова* — Евразии вместе с Африкой. Этот хартленд находился на территории России.

Казалось бы, какая связь между российским хартлендом и немецкой угрозой Британии? По Макиндеру, главная опасность Британии исходила из возможного объединения сил Германии и России, которое ему представлялось вначале как следствие возможного подчинения России более сильной Германии и перехода к последней контроля над хартлендом. И Германия и Россия были для Макиндера странами Восточной Европы, отсюда и его обобщение главной геополитической проблемы XX века: «Кто правит Восточной Европой, тот господствует над хартлендом; кто правит хартлендом, тот господствует над Мировым островом; кто правит Мировым островом, тот господствует надо всем миром»<sup>13</sup>.

В схеме Макиндера отразился образ однополюсного, европоцентристского мира, сложившегося в XIX веке и казавшегося незыблемым еще в начале XX. Ни одна европейская страна не правила миром в одиночку, существовал некий клуб европейских стран — хозяев мира. Разные члены клуба обладали разным весом. Англия занимала в нем особое, привилегированное место и, конечно, не была заинтересована в изменении сложившихся соотношений — в отличие от Германии, которая опоздала к дележу колониального пирога. В этом заключался источник мирового конфликта, хорошо известный любому советскому студенту, изучавшему работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Англичанин Макиндер опасался передела мира в пользу Германии, но сохранение в будущем единственного центра мирового господства — если не западно-, то восточноевропейского — не вызывало у него сомнения. То, что он придавал особое значение географическим, а не историческим основаниям такой опасности, не модернизации Германии или России и связанному с этим высвобождению социальной энергии масс, не неравномерности развития капитализма, как Ленин, и т. п., было уже второстепенным обстоятельством. Когда история обесценила первую посылку теории Макиндера, утратила смысл и вторая, геополитическая часть его схемы. Что толку в контроле над хартлендом, если разрушается сама идея мирового господства?

Однако на протяжении всей первой половины XX века в мировой политике сохранялась европоцентристская инерция предыдущих столетий, опыт которых придавал видимость истинности запоздалым обобщениям Макиндера и вытекавшему из них преувеличению значения континентальных российских территорий. Многие из русских политически мыслящих людей, задолго до Макиндера, рассуждали и действовали так, как если бы они следовали советам английского географа. Может быть, самый наглядный пример таких рассуждений и действий — среднеазиатская политика России во второй половине XIX века, ибо что, как не Средняя Азия, находилось в самом сердце Мирового острова? В присоединении Средней Азии тогда многие в России видели реванш за поражение в Крымской войне и одновременно пролог к новым завоеваниям. «Англичан бояться — никуда не ходить», — подбадривал завоевателей Достоевский<sup>14</sup>, и в этом «никуда» улавливались далеко идущие планы. Средняя Азия казалась важной не столько

<sup>13</sup> Mackinder H. Democratic ideals and reality. NY, 1942, p. 150.

<sup>14</sup> Достоевский Ф. М. Геок-Тепе. Что такое Азия для нас? (Дневник писателя, 1881). // Полн. собр. соч., 1984, т. 27, с. 40.

сама по себе, сколько как промежуточный этап на пути к новым завоеваниям, проникновению в Индию, выходу к Индийскому океану и Персидскому заливу, не в последнюю очередь — и как мощный инструмент давления на Англию. Данилевский, например, был убежден, что «поход в Индию есть вещь совершенно возможная», а последствия такого похода, «предпринятого даже с малыми силами и даже неудачного, были бы самые гибельные для английского могущества»<sup>15</sup>. «Поход в Индию есть единственное оборонительное средство России в войне с Англией»<sup>16</sup>.

Конечно, истинный вес британского могущества был куда серьезней, чем он выглядел у Достоевского или Данилевского, но все же выгоды геополитического положения России в ее соперничестве с Англией тоже были реальностью, они тревожили англичан. Индия на протяжении своей истории пережила не одно вторжение с севера. Хотя она и защищена труднопроходимыми горами, давно был известен путь, по которому военное проникновение в Индию через горы было возможно. Он получил название Индо-персидского коридора<sup>17</sup>, приближение к нему России беспокоило британских политиков. В 1885 г. русско-английский вооруженный конфликт в районе Кушки едва не перерос в войну, но «правительство России, спохватившись, немедленно предприняло дипломатические шаги по мирному урегулированию конфликта»<sup>18</sup>.

В последующие годы был заключен ряд соглашений о разграничении сфер влияния России и Англии в Центральной Азии, но угроза российского вторжения в Индию с севера не исчезла полностью. Кроме того, выход России в Среднюю Азию расширял ее возможности действовать и на ближневосточном направлении, что тоже не могло нравиться английским политикам. Они искали более радикального ответа на среднеазиатский вызов России и нашли его как раз тогда, когда Макиндер впервые изложил концепцию хартленда. Он сделал это в лекции «Географическая ось истории», прочитанной в Королевском Географическом обществе 25 января 1904 г., где он утверждал, в частности, что, благодаря появлению железных дорог, континентальная Россия способна успешно вести военные действия в далекой Манчжурии, подобно тому, как морская Англия могла делать это в Южной Африке<sup>19</sup>. Через два дня, 27 января 1904 г., началась Русско-японская война, которая, казалось бы, полностью опровергла главную идею Макиндера и, напротив, подтвердила правоту адмирала Мэхэна. Согласно Мэхэну, противостоять напору России на Ближнем Востоке Англии было труднее, чем на тихоокеанском направлении, где интересы России сталкивались с интересами не только Британии, но и Японии, США, а возможно, и Германии. Отсюда вытекал простой рецепт: отвлечь силы

<sup>15</sup> Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1871, с. 476–477.

<sup>16</sup> Там же, с. 477.

<sup>17</sup> Русские и английские историки, пишет Хаунер, насчитали около 20 вторжений в Индию с севера, все они происходили через Индо-персидский коридор, стержневую территорию, расположенную в узловой точке Центральной Азии между Тураном, Ираном и Хиндом и известную с XVIII в. как Афганистан. Русско-английское соперничество из-за Индо-иранского коридора получило название Большой Игры (Great Game). (Hauner M. Op. cit., p. 74, 76).

<sup>18</sup> Похлебкин В. В. Цит. соч., с. 754.

<sup>19</sup> Mackinder H. The geographical pivot of history. // Mackinder H. The scope and methods of geography and The geographical pivot of history. London, 1951 p. 41.

России на Дальний Восток с тем, чтобы парализовать ее стремление проникнуть в Индию, к Персидскому заливу или к черноморским проливам. Именно в этом, утверждает Хаунер, заключался главный смысл англо-японского союза 1902 г. и последовавшей затем Русско-японской войны<sup>20</sup>.

Эта война, таким образом, сама стала завершением определенного этапа обсуждения темы хартленда — обсуждения, развернувшегося до того, как появились само это понятие и вся схема Макиндера, — и не в Королевском Географическом обществе, а в реальной мировой политике. Война показала ограниченность слишком обобщенного взгляда на соотношение мировых геополитических масс и заставила задуматься над слабыми сторонами географического положения России «от моря и до моря», над незащищенностью, уязвимостью ее восточной части. В. Семенов-Тянь-Шанский, сравнивавший колонизованные районы Сибири с суживающимся к востоку зазубренным мечом, замечал, что «при всяком столкновении с внешними врагами... очень легко обрубить конец такого меча. Правда, сопротивление, по мере дальнейшего обрубления, будет расти в геометрической прогрессии, но ведь и обрубки только одного конца вполне достаточно для того, чтобы уничтожить всю суть системы „от моря до моря“»<sup>21</sup>.

К выводам, созвучным взглядам Мэхэна, а не Макиндера, пришел и генерал Куропаткин. Пытаясь осмыслить уроки Русско-японской войны, он признал слабость геополитического положения России, невозможность для нее воевать на два фронта. Поэтому, утверждал он, «очевидна... полная необходимость прийти, наконец, к соглашению с Австрией и Германиею по делам Ближнего Востока, чтобы иметь возможность распоряжаться всеми силами на Дальнем Востоке»<sup>22</sup>. Надо также, «чтобы вредная химера возможного похода русских в Индию исчезла и заменилась сознанием общности интересов России и Англии в Азии»<sup>23</sup>. Относительная слабость России, мировые и европейские реальности побуждали к осторожности, заставляли избегать явной вражды с Англией, а то и искать союза с нею. Поэтому на идее российского вторжения в Индию и ее связи с завоеванием Средней Азии лучше было не настаивать открыто. В начале XX века, когда на горизонте уже маячила Первая мировая война, известный востоковед А. Снесарев, тогда подполковник Генерального штаба, повторяя доводы другого знатока, генерала Терентьева<sup>24</sup>, объяснял, что завоевание Средней Азии было вынужденным для России, спровоцированным плохим поведением киргизов, кокандцев или бухарцев, а также интригами Англии, которую беспокоило приближение России к Индии. Об Индии же «никто не думал; ее никто не знал... В завоевании нами Средней Азии было достаточно своего политического смысла, чтобы навязывать еще какой-то иной»<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Hauner M. Op. cit., p. 137.

<sup>21</sup> Семенов-Тянь-Шанский В. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк по политической географии. Пг., 1915, с. 16.

<sup>22</sup> Куропаткин А. Н. Россия для русских. Задачи русской армии. СПб., 1910, т. 3. с. 248.

<sup>23</sup> Там же, с. 251.

<sup>24</sup> См.: Терентьев М. А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875, с. 271–272.

<sup>25</sup> Снесарев А. Е. Англо-русское соглашение 1907 года. СПб., 1908, с. 13.

У нас будет случай убедиться, что подобные заявления не были вполне искренними — тот же Снесарев еще вернется к идее «индийского похода». Тем не менее можно сказать, что тот этап противостояния океанского «кита» и континентального «слона», который закончился Русско-японской войной, отнюдь не подтвердил правильности схемы Макиндера. Да и все дальнейшее развитие событий показало, что либо контроль над хартлендом не был таким важным геополитическим козырем, как казалось Макиндеру или его последователям, либо вообще значение такого рода козырей преувеличено, и исход мировых споров решают другие факторы. Более того, наступил момент, когда многие прежние геополитические козыри России-СССР сильно обесценились, а из-под слоя давней геополитической мифологии стали проступать очевидные слабости, уязвимые и даже опасные черты географического положения огромной евроазиатской державы.

### 10.3. Российская империя в клубе европейского империализма

**Э**то было, конечно, знамение новой эпохи. В XIX, как и в предыдущие столетия, выгоды географического положения России стоили многого, российские политики неплохо пользовались ими, неуклонно расширяя территорию державы. Тем не менее и тогда дело было не только в географии. Россия не одна граничила с Сибирью или Центральной Азией. Свои притязания на североазиатские или центральноазиатские просторы, на контроль над хартлендом могли иметь и другие сопредельные государства — многолюдный Китай, Сефевидская и постсефевидская Персия, Османская империя. Если в XVIII–XIX веках они не предъявляли таких притязаний, то, главным образом, по внутренним причинам. Их архаичные средневековые общества утратили свой динамизм, время крупных предприятий для них прошло.

Россия же, все больше поворачиваясь к Европе, все больше дружа и враждуя с нею, поневоле впитывала опыт новой европейской цивилизации. Благодаря петровским и последующим реформам, она хотя и не догнала Европу, но во многом уже отошла от средневековой архаики, в немалой степени европеизировалась, модернизировалась, потому и была не чета ни Китаю, ни Турции, ни Персии. Можно сказать, что превращение России в великую державу было следствием ее геополитического положения, помноженного на (неполную) европеизацию. В завоевании русскими Сибири, Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока было много общего с завоеванием Нового Света и захватом колоний западными европейцами. По существу, это были звенья одного и того же процесса мировой экспансии более развитой европейской цивилизации, захвата и колонизации слабо заселенных и плохо защищенных территорий за пределами Европы. Россия стала великой державой XVIII–XX веков именно как европейская страна, как член европейского клуба хозяев мира, как один из главных участников его раздела. В этом качестве Россия была связана с Европой глубинными общими интересами. И Европа признавала эту общность интересов, видела в России серьезного партнера, с которым считалась и на которого иной раз делала ставку.

Но даже и в минуты своих самых больших триумфов российский империализм был младшим партнером империализма западноевропейского. Россия оставалась все же страной полуевропейской, экономически и социально отсталой, не могла тягаться с Англией или Францией на мировой арене.

Экономические возможности России — а они становились все более важным условием военно-политической мощи — всегда были ограниченными. До промышленной революции в Англии, а затем и в других странах Западной Европы Россия еще занимала довольно заметное место в мировом индустриальном производстве. В каком-то смысле она сохраняла неплохое положение на мировом фоне и в XIX веке. За полтора столетия с 1750 по 1900 г. доля Китая в мировой промышленной продукции уменьшилась более чем в пять раз, доля же России даже выросла — в этом сказались плоды модернизации. Но в сравнении с такими странами, как Британия, Германия, тем более США, промышленная мощь России выглядела все более незначительной (табл. 10.1).

**Таблица 10.1. Доля некоторых стран в мировом промышленном производстве, 1750–1900 гг., в %**

	1750	1800	1860	1900
Россия	5,0	5,6	7,0	8,8
Британия	1,9	4,3	19,9	18,5
Франция	4,0	4,2	7,9	6,8
Габсбургская империя	2,9	3,2	4,2	4,7
Германские государства/ Германия	2,9	3,5	4,9	13,2
США	0,1	0,8	7,2	23,6
Япония	3,8	3,5	2,6	2,4
Китай	32,8	33,3	19,7	6,2

*Источник: Kennedy P. The rise and the fall of the great powers, p. 149.*

При любом сравнении России с европейскими державами, с которыми ей приходилось соревноваться, проступали черты бедности. Совокупный валовой национальный продукт России был не маленьким. В пятидесятые годы XIX века, во времена Крымской войны, он был примерно таким же, как в Англии, и это создавало иллюзию равенства возможностей. Но валовой продукт на душу населения был несравненно меньшим (табл. 10.2), а это решало все. Расходы России на ведение Крымской войны составили за 1852–1856 гг. 144,5 млн. фунтов стерлингов, тогда как ее главные противники — Англия и Франция — затратили на эту войну свыше 309 млн. фунтов<sup>26</sup>. Они и оказались победителями.

<sup>26</sup> Kennedy P. Op. cit., p. 176.



Таблица 10.2. Валовой национальный продукт крупных европейских стран на душу населения, 1830–1890, в долларах США (доллары и цены 1960 г.)

	1830	1850	1870	1890
Россия	170	175	250	182
Британия	346	458	628	785
Франция	264	333	437	515
Германия	245	308	426	537
Габсбургская империя	250	283	305	361
Италия	265	277	312	311

*Источник: Kennedy P. The rise and the fall of the great powers, p. 171.*

Россия гордилась своим флотом, с помощью которого она одерживала морские победы над турками. Но могла ли она тягаться с европейскими флотами? К концу наполеоновских войн Россия имела 40 боевых кораблей, Франция — 80, а Англия — 214<sup>27</sup>. Крымская война, помимо всего прочего, выявила военно-техническое отставание России. Надо было перевооружаться, переоснащать армию, строить флот. Средств на все это не было, относительная военная слабость России с неизбежностью нарастала. Еще в 1880 г. по тоннажу своего военно-морского флота Россия более чем в три раза уступала Англии, но все же обладала третьим по водоизмещению флотом в мире. Через 30 лет, к 1910 г., тоннаж российского военно-морского флота увеличился вдвое, но разрыв с Англией не уменьшился, а Россия с третьего места опустилась на шестое, пропустив вперед Германию, США и Японию<sup>28</sup>.

Все эти неблагоприятные для России обстоятельства не могли не влиять на характер ее отношений с европейскими партнерами. Ее огромный территориальный рост облегчался тем, что крупные европейские геополитические интересы в XVII–XIX веках были сосредоточены на западе и юге, продвижение России на восток не особенно беспокоило европейцев, в каком-то смысле было даже выгодно им. Россия прикрывала Европу с востока и в то же время сама меньше вмешивалась в европейские дела. Но ее попытки раздвинуть свои границы на западе и юге, затрагивавшие интересы европейских держав, как правило, блокировалось ими, и тут Россия ничего не могла поделать. Так что преимущественно восточный вектор русского колониализма был, в известном смысле, вынужденным.

Отношения с Европой были, таким образом, довольно двусмысленными, и это с давних пор обусловило противоречивость российского взгляда на Европу, сложную смесь любви и ненависти.

<sup>27</sup> Ibid., p. 99.

<sup>28</sup> Ibid, p. 203.



С одной стороны, любовь. По крайней мере, со времен Петра I Россия ощущала себя ученицей Европы, многое в ней ценила, многое заимствовала. Привязанность к Европе и европейским ценностям подчеркивали самые бесспорные патриоты России. «Нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, — писал Достоевский. — ...Европа нам почти так же всем дорога, как Россия»<sup>29</sup>.

От Европы Россия и впрямь никак не могла отказаться. Мир XIX века был однополюсным, европоцентристским. Россия понимала свою бесспорную уже к тому времени принадлежность к европейской цивилизации и исходящую от этого силу, партнерством с Европой, с «Западом» приходилось дорожить. Этого не скрывали и идеологи российского империализма, имевшего виды на раздел власти и влияния «между теми народами или группами народов, которые в настоящем периоде всемирной истории могут считаться активными ее деятелями: Европою, славянством и Америкою»<sup>30</sup>. Данилевский, откровенный ненавистник Европы, отнюдь не отказывался от членства в клубе европейских «активных», «исторических» народов, которым он противопоставлял народы «неисторические», «предназначенные к тому, чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с тою историческою народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений»<sup>31</sup>.

Но всегда была и другая сторона отношений между Россией и Европой, питавшая их взаимную враждебность. Все-таки речь шла о партнерах по дележу, у каждого из которых были немалые аппетиты. Европа не была едина. Разные европейские силы постоянно стремились привлечь Россию на свою сторону. Она же, преследуя — и не без успеха — свои цели, охотно участвовала в европейских играх, часто меняя пристрастия. Уступчивость европейских держав имела свои пределы, они побаивались «русского медведя» и всегда болезненно реагировали на его активность на западных или южных границах, нередко сплачивались для противодействия российскому продвижению на этих направлениях. К российской же экспансии в казавшихся столь далекими северной и центральной Азии они были намного более терпимы, тем паче, что и не могли ей воспрепятствовать. Таким образом, европейские колониальные державы, «таласократии», чьи экспансионистские усилия были направлены тогда на заморские американские, азиатские и африканские земли, молчаливо признавали партнерство России в разделе мира, уступали ей далеко не маленькую «нишу» в глобальном пространстве.

Однако логика империализма всегда одинакова: он ненасытен. С трудом осваивая свои огромные владения, имперская Россия не была удовлетворена ими. Истинная цена нефтяных и прочих кладовых Сибири или Казахстана стала ясна намного позднее, по меркам XIX века российские североазиатские земли не шли ни в какое сравнение с роскошными американскими, азиатскими или африканскими приобретениями европейских держав. Россия рвалась к Средиземному морю и Индийскому океану, искала способов повысить свой европейский статус, потеснив, сколько возможно, своих

<sup>29</sup> Достоевский Ф. М. Мы в Европе лишь стрючки. (Дневник писателя, 1877). // Полн. собр. соч. М., 1983, т. 25, с. 23.

<sup>30</sup> Данилевский Н. Я. Цит. соч., с. 451.

<sup>31</sup> Там же, с. 24.

постоянно меняющихся союзников и противников. Между тем Индия оставалась недоступной, Турция продолжала властвовать в «Константинополе», сохраняла контроль над Дарданеллами и Босфором — выходом в Средиземное море, России не удавалось утвердиться даже на Балканах.

Привыкшей к постоянному расширению границ России трудно было признать, что ее имперские притязания не соответствуют ее экономическим и военным возможностям, а ее военно-политический потенциал намного ниже, чем у других крупных европейских держав. У российских империалистических идеологов и политиков складывался своеобразный комплекс неполноценности, который находил выражение в повышенной враждебности к Европе, в основном, правда, на словах.

«Какую же роль предоставляет нам Европа на всемирно-историческом театре? — вошел с бессильной ёрнической иронией Данилевский. — Быть носителем и распространителем европейской цивилизации на Востоке... Но позвольте, ... какой же это Восток? Мы было и думали начать с Турции... Куда? Не в свое дело не соваться! кричит Европа... Принялись мы также за Кавказ — тоже ведь Восток. Очень маменька гневаться изволили: не трогайте, кричала, рыцарей, паладинов свободы... ну да на этот раз, слава Богу, не послушали, забыли свое европейское призвание... Ну так в Персии нельзя ли позаняться разбрасыванием семян цивилизации и европеизма? Немцы, пожалуй, и позволили бы... — из уважения к англичанам нельзя... В Китай что ли прикажете? Ни-ни, вовсе незачем туда забираться... Да где же, Господи, наш-то Восток, который нам на роду написано цивилизовать? Средняя Азия, вот ваше место; всяк сверчок знай свой шесток... Там и есть ваша историческая миссия — вот что говорит Европа, а за нею и наши европейцы»<sup>32</sup>.

К концу XIX века закончился длившийся несколько веков раздел планеты между колониальными державами, и мир оказался на пороге какого-то нового этапа глобальной геостратегии, тогда не вполне еще ясного. Лишь во второй половине XX века он определился как этап деколонизации и появления самостоятельных геополитических полюсов за пределами Европы и Северной Америки. Но долгое время европейское геополитическое сознание оставалось в плену давней инерции, будущее виделось как прямое продолжение прошлого. Из факта завершения раздела мира между «историческими народами» те из них, кто считал себя обделенными, делали вывод о неизбежности его передела. Не было исключением и российское имперское сознание.

Более столетия назад Данилевский с прямотой человека, не ведающего сомнений, начертал основные линии российской имперской великодержавной «европейско-мировой» геостратегии. Их можно свести к нескольким рекомендациям.

1. Россия — не европейская страна, ее интересы не имеют ничего общего с европейскими. «Нам необходимо... отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами»<sup>33</sup>.

2. Россия заинтересована во внутриевропейской нестабильности. «Равновесие политических сил Европы вредно, даже губительно для России, а нарушение его с чьей бы

<sup>32</sup> Там же, с. 62–63.

<sup>33</sup> Там же, с. 475.

то ни было стороны — выгодно и благотельно»<sup>34</sup>. «Нам необходимо ...приобрести совершенную свободу действия, полную возможность соединяться с каждым европейским государством, под единственным условием, чтобы такой союз был нам выгоден, ни мало не взирая на то, какой политический принцип представляет в данное время то или другое государство»<sup>35</sup>.

3. Россия заинтересована в расширении своих владений и своего влияния за счет враждебной ей Европы. С этой целью Данилевский разработал проект Славянской конфедерации в составе Российской империи, славянских стран Восточной Европы, а также Венгрии, Румынии, Греции и «Константинополя» с прилегающим районом «под политическим водительством и гегемониею России, на что Россия имеет законнейшие права»<sup>36</sup>.

4. Россия должна использовать рост своего веса в Европе для расширения своих неевропейских владений. «Всеславянский союз имел бы своим результатом... равный и справедливый раздел власти и влияния между... Европою, славянством и Америкою... Власти или влиянию Европы подлежали бы преимущественно Африка, Австралия и южные полуострова Азиатского материка; Американским штатам — Америка; славянству — западная, средняя и восточная Азия, т. е. весь этот материк за исключением Аравии и обоих индийских полуостровов»<sup>37</sup>.

Данилевский был «кабинетным» идеологом, защищавшим некую общую обскурантистскую систему взглядов<sup>38</sup>. Он больше заботился о том, чтобы его позиция по каждому вопросу соответствовала этой системе, нежели чтобы она отвечала действительным требованиям жизни. Он не желал видеть, что никакой «свободы действий» Россия в своих отношениях с Европой никогда не имела и не могла иметь, а за заключение нужных ей политических и военных союзов платила по самым высоким ставкам. И платила, в отличие, например, от Англии, не деньгами, а единственными имевшимися у нее в изобилии экстенсивными стратегическими ресурсами — территориальными и людскими. На их использовании держалась ее военная сила, ими компенсировалась бедность, экономическая и технологическая отсталость.

Можно как угодно относиться к стратегии «заманивания» Наполеона (а потом и Гитлера) в глубь страны, но очевидно, что никакая другая европейская держава не могла позволить себе такой стратегии просто из-за ограниченности территории. Даже самая большая из них, Германия или Франция, отдай она половину того, что от-

<sup>34</sup> Там же, с. 472.

<sup>35</sup> Там же, с. 475.

<sup>36</sup> Там же, с. 410.

<sup>37</sup> Там же, с. 451.

<sup>38</sup> По своей основной профессии Н. Данилевский был биологом, и его главный вклад в эту науку заключался в написании сочинения против дарвинизма. Философско-исторические воззрения Данилевского строились вокруг концепции «культурно-исторических типов», которая вписывается в общую линию консервативной реакции на универсалистские идеи европейского Просвещения и занимает место где-то между Гердером и Шпенглером. «Большей клятвы не могло бы быть наложено на человечество, как осуществление на земле единой общечеловеческой цивилизации» (Россия и Европа..., с. 453) — такова главная посылка и главный вывод историко-философских размышлений Данилевского. Что же касается его политических взглядов, относящихся к теме данной

давала в ходе боевых действий Россия, оказалась бы полностью захваченной<sup>39</sup>. Россия же выживала и, в конце концов, побеждала. Превращение огромной части страны в арену боевых действий, ее временная оккупация, связанные с этим потери мирного населения, разрушения, разорение хозяйства были несомненным «вкладом» России в изматывание противника. Но все это не проходило бесследно, страна долго потом приходила в себя, залечивая страшные раны, которых не знали ее союзники. Наполеон был разгромлен не одной Россией, да она и не была главным его противником. Главным врагом была Англия, она же, как и Россия, оказалась в числе победителей Наполеона. Если Россия гордится Бородиным, то на счету Англии Трафальгар и Ватерлоо. Однако Англия не знала ни разорительного нашествия вражеских армий, ни пожара собственной столицы, на ее землю вообще не ступил ни один французский солдат.

Главной же «валютой», которой Россия платила по своим европейским векселям, была жизнь русских солдат. В XIX веке ее армия, как правило, намного превосходила по своей численности армию какой угодно европейской державы (табл. 10.3), а русское правительство всегда было готово к расходованию «живой силы» в любом европейском конфликте. «Огромные жертвы, принесенные русским населением на внешние предприятия в XIX столетии, — писал накануне Первой мировой войны Куропаткин, — были тем более тягостны, что приносились не только в видах укрепления русского государства, но главным образом для устройства и укрепления других государств и народов. С этой, чуждой русской национальной политике, целью русские люди в XVIII и XIX столетиях обильно проливали кровь в Турции, Австрии, Пруссии, Италии, Швейцарии, Голландии, Франции... В XVIII и XIX столетиях в течение веденных Россией войн было выставлено до 10 мил. воинов, из коих многие сотни тысяч или вовсе не возвратились домой, или вернулись инвалидами»<sup>40</sup>.

Говоря о жертвах военных предприятий России в XIX веке, Куропаткин несомненно был прав. Россия никогда не жалела «живую силу», ее людские потери всегда были очень большими. Огромными они были в войнах с Наполеоном, причем отнюдь не только в Отечественной войне 1812 г., как часто думают, — на нее пришлось меньше половины прямых военных потерь. Людские жертвы Англии — основного противника Напо-

главы, то это был откровенный империалист, отождествлявший силу и право, надменно-оскорбительный по отношению к более слабым. Вот, например, одно из его многочисленных высказываний о событиях русской истории. «При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у нее были развязаны руки, и она была единственным судьбою в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из своего, что могла..., ибо тогда не бродили еще гуманные идеи в русских головах». (Россия и Европа..., с. 29).

<sup>39</sup> Во время Второй мировой войны было оккупировано около 2 тыс. кв. км советской территории — в 3,5 раза больше нынешней территории самой пространной европейской страны — Франции, больше, чем совокупная территория Германии и всех захваченных ею и ее союзниками европейских стран: Австрии, Бельгии, Греции, Дании (без Гренландии), Нидерландов, Норвегии (без Шпицбергена), Польши, Франции, Чехословакии, Югославии. На оккупированной части СССР осталось (за вычетом эвакуированных) около 80 млн. человек — больше, чем население любой европейской страны.

<sup>40</sup> Куропаткин А. Н. Цит. соч., с. 27.

леона — были намного меньшими<sup>41</sup>. Не жалела Россия своих солдат и позднее. По расчетам Б. Урланиса, за сто лет, предшествовавших Первой мировой войне (1815–1914 гг.), Россия потеряла убитыми и умершими в войнах больше, чем любая другая воевавшая крупная европейская страна<sup>42</sup>.

**Таблица 10.3. Численность военнослужащих в крупных европейских государствах, 1816–1880, тыс. человек**

	1816	1830	1860	1880
Россия	800	826	862	909
Франция	132	259	608	544
Британия	255	140	347	248
Габсбургская империя	220	273	306	273
Пруссия/Германия	130	130	201	430

*Источник: Kennedy P. The rise and the fall of the great powers, p. 154.*

И все же в устах Куропаткина плач по понесенным жертвам звучит не слишком убедительно. Трудно поверить, что российская дипломатия, ввязываясь постоянно в европейские союзы и коалиции, на стороне которых она воевала, вовсе не следовала при этом целям и интересам имперской России. И, пожалуй, никто не знал этого лучше Куропаткина. Имперская политика до революции всегда строилась на сочетании военной силы и дипломатии, предполагавшей союз с одной или несколькими европейскими странами. Большинство войн послепетровской России велось либо в прямом союзе с какими-либо европейскими государствами (некоторые войны с Турцией, с Наполеоном, Первая мировая война), либо при уверенности в нейтралитете крупных европейских держав. Когда же это правило не соблюдалось, Россия терпела поражения (Крымская, Русско-японская войны).

В этом, собственно, и заключался главный урок, который извлек сам Куропаткин из поражения в Русско-японской войне. Имея на своем счету не одну победу над беззащитными жителями Туркестана, но, потерпев поражение при встрече с серьезным противником под Ляояном и Мукденом, он, казалось бы, должен был стать ненавистником Англии, все время возникавшей у него на пути. Она блокировала дальнейшее продвижение России в Туркестане в 80-е годы XIX века, она же стояла за спиной Японии во время проигранной Русско-японской войны. Однако уроки противостояния России европейским державам были слишком наглядными, и генерал сделал из них надлежащие выводы. «Поддержка Японии Англией составляет результат тяжело-

<sup>41</sup> Согласно Б. Урланису, Англия, воюя с Францией с 1793 по 1815 г., потеряла 312 тыс. человек. Потери России в войнах с Наполеоном составили 450 тыс. человек, из них только 120 тыс. человек в ходе кампании 1812 г. (Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960, с. 345–348).

<sup>42</sup> Урланис Б. Ц. Цит. соч., с. 369.

го недоразумения»<sup>43</sup>, — утверждал он, противопоставляя разобщенности и враждебности России и европейских государств идею их союза, который должен принять на себя «охрану спокойствия европейских государств в Азии»<sup>44</sup>. Трезво оценивая соотношение мировых сил, Куропаткин осуждал идею создания славянского союза как невыгодного европейским державам, ибо он «самым существенным образом мог нарушить, разрушением Турции и захватом Константинополя, экономические интересы этих держав»<sup>45</sup>.

Бывшего военного министра гораздо больше тревожило то, что «вооруженные плодами европейской культуры, в том числе и по военной части, народы других материков, кроме европейского, начинают давать отпор европейскому товару и европейскому штыку»<sup>46</sup> и «открыто готовят силы с целью загнать старушку Европу в ее географический чулок, обречь ее на скромное существование на незначительной территории»<sup>47</sup>. Поэтому ему «представлялось желательным, чтобы в XX веке народы европейского союза пришли к соглашению с союзом американских государств для удержания в европейских и американских руках господствующего положения на тихоокеанском побережье и для сохранения за европейскими державами пользования богатствами Америки, сырыми и обработанными»<sup>48</sup>.

Не успев как следует оплакать русскую кровь, пролитую во имя «чуждой русской национальной политике цели» в XVIII и XIX веках на полях Европы, Куропаткин, таким образом, откровенно выражал готовность к новым кровопролитиям во имя европейской империалистической солидарности в наступавшем XX веке — на этот раз в любой точке земного шара.

## 10.4. СССР на пути ко Второй мировой войне

**П**ревращение Российской империи в СССР поначалу не внесло принципиальных изменений в геостратегическую логику сменившего российский советского империализма. СССР унаследовал великодержавное положение царской России, ее непомерные территориальные претензии и ее двусмысленные отношения с Западом. Существенно изменился только словарь. В новых условиях понадобилась и новая мифология: «Запад» превратился в мир капитализма, а панславянская солидарность уступила место интернационально-пролетарской. Но суть дела осталась прежней, что быстро подметили евразийцы, пронизательные во всем, что касалось обнаружения ими в действиях большевиков своих излюбленных государственно-имперских идей. «Они [большевики] ведут борьбу с „капитализмом“. Но „капитализм“, поскольку он мыслится конкретно, и есть синоним современной Европы. Борьба с ним есть борьба с „европеизмом“ в Европе и в Евразии... Большевики вы-

<sup>43</sup> Куропаткин А. Н. Цит. соч., с. 254.

<sup>44</sup> Там же, с. 252.

<sup>45</sup> Там же, с. 248.

<sup>46</sup> Там же, с. 253.

<sup>47</sup> Там же, с. 254.

<sup>48</sup> Там же, с. 255.

ступают против „капитализма“, т.е. против европейского капитализма, а потому и против европейского социализма»<sup>49</sup>.

На деле «борьба с капитализмом» между двумя мировыми войнами приобрела обычный для российской имперской традиции характер внутривосточных интриг с частой сменой союзников и противников. Еще не закончилась Гражданская война, империя еще не восстановила свою собственную территориальную целостность, а ее стратеги уже задумывались о возвращении — под новыми лозунгами — к прежним направлениям имперской экспансии, тянулись к теплым морям, к возобновлению «Большой игры» вокруг Индо-персидского коридора — даже с большей откровенностью, чем прежде.

В 1919 г. воодушевляемый идеей мировой революции военный руководитель Советской России Троцкий намеревается формировать кавалерийские корпуса для отправки в Индию и Китай, и тогда уже известный нам востоковед Снесарев, до революции ставший генералом, а теперь и начальником Академии Генерального штаба Красной Армии, вспоминает, что еще «Крымская война... выявила смысл наших будущих походов в Индию, т.е. вскрыла существо среднеазиатской проблемы». Ибо уже тогда стало ясно, «что дорога к восстановлению нашего международного равновесия с Англией пролегла по Средней Азии, а не направлялась, как раньше, к Средиземному морю»<sup>50</sup>. Завоевание и последующее изучение Средней Азии «объяснили нам — русским, а затем и всему миру все значение тех областей, которые здесь заключаются, и выяснили вместе с тем центр их общей ценности». «Многогранная и необъятная ценность Индии вызывает... со стороны России... естественное тяготение к странам, окружающим Индию, не для того, чтобы овладеть ими, *проку в них мало* (подчеркнуто нами. — А. В.), а чтобы иметь возможность влиять на Индию, или, буде возможно, захватить ее»<sup>51</sup>.

Тон Снесарева образца 1919 г. на редкость агрессивен. «В наших ли интересах, т.е. в интересах ли республики атаковать Индию, или больше интереса и смысла англичанам атаковать наш Туркестан? Я утверждаю, что вторая возможность совершенно исключается... Отсюда я делаю вывод, что не имеет и смысла изучать Средний Восток под углом зрения, что англичане могут двинуться на Туркестан, т.е. под углом обороны нами Туркестана от англичан. Остается рассмотрение этих стран под углом возможности осуществления огромной операции, направленной на Индию»<sup>52</sup>.

Знали ли Троцкий или Снесарев о теории Макиндера? Скорее всего, нет. Как утверждает Хаунер, нет никаких следов того, что эта теория привлекла чье-либо внимание в России как до, так и после революции. По-видимому, не были знакомы с ней и эмигранты-«евразийцы», включая и их главного «географического» идеолога П. Савицкого<sup>53</sup>. А между тем в советской внешней политике между двумя мировыми войнами постоянно

<sup>49</sup> Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 402–403.

<sup>50</sup> Снесарев А. Е. Авганистан. М., 1921, с. 224.

<sup>51</sup> Там же, с. 16.

<sup>52</sup> Там же, с. 18.

<sup>53</sup> Hauner M. Op. cit., p. 148–149, 157.



возникает чисто «макиндеровская» линия континентального противостояния «западным демократиям».

Индийские мечтания Снесарева, довольно бездарные<sup>54</sup>, стоят в этом ряду, но не они определяют большую политику эпохи. Гораздо важнее была постоянно просыпавшаяся тяга к советско-германскому сближению. Макиндер, и в 1919 г. опасавшийся объединения двух континентальных держав под германским господством, видел противоядие такому сближению в создании пояса независимых государств, отделявшего Германию от России. Такой пояс и в самом деле был создан, но это не помешало двум державам уже в 20-е годы начать нащупывать пути военного сближения<sup>55</sup>.

Согласно официальному, весьма противоречивому советскому мифу сталинских времен, страны-победительницы в Первой мировой войне навязали Германии «импери-

<sup>54</sup> Снесарев, продолжая линию российских имперских стратегов XIX в., не желал замечать более позднего опыта начала XX столетия. Тогда Англия нашла эффективный ответ на русский вызов в Средней Азии, английские империалисты переиграли русских. Надежды, возлагавшиеся в России на Среднюю Азию, не оправдались и в последующем. По большей части, она служила глубоким тылом, а не плацдармом для проведения крупных наступательных операций. Возможно, военные штабисты и не забывали о стратегическом значении среднеазиатских границ или «Индо-персидского коридора», а книга Снесарева штудировалась разработчиками идеи советского вторжения в Афганистан, с помощью которого удалось превратить относительно спокойный тыл в незаживающую кровоточащую рану. Но главные внутренние и внешнеполитические задачи, которые на протяжении ста лет приходилось решать России (СССР), требовали сосредоточения сил и средств в других местах. К тому же после Второй мировой войны изменилась общая обстановка в мире, Средняя Азия перестала быть фронтом русско-британского соперничества, да и само это соперничество в его прежнем виде потеряло смысл. Под сомнением оказалась и роль Средней Азии как глубинной, недосыгаемой для противника сердцевины евроазиатского континента в борьбе мирового Хартленда с мировым Римлендом («береговыми» странами). Во времена «холодной войны» в Средней Азии размещалась очень незначительная часть советских военных сил, сосредоточенных в основном на европейском и дальневосточном потенциальных театрах военных действий. Даже вторжение в Афганистан свидетельствует, скорее, о третьестепенности южного театра в глазах советских военных стратегов, рассчитывавших на маленькую, победоносную локальную войну. Средняя Азия никогда не играла той внешнеполитической роли, которую отводили ей русские участники «большой игры» XIX в., энтузиасты выхода России к теплым морям или похода в Индию.

<sup>55</sup> Для большевиков известным оправданием такого сближения, по крайней мере моральным, могла бы служить романтическая надежда увидеть в Германии союзника по будущей мировой революции. Но были ли они такими уж романтиками? Москва откровенно играла на уязвленном национальном чувстве, столь характерном для Веймарской Германии, и, постоянно декларируя свою приверженность пролетарскому интернационализму, готова была сделать ставку на немецкий национализм и его противоестественный, казалось бы, симбиоз с большевизмом. Не над этим ли трудился московский эмиссар, «сوراتник Ленина» Карл Радек, пестовавший первых немецких национал-большевиков? Для них же «мировая революция» была не более чем путем к достижению результата, которого так опасался Макиндер: объединения сил Германии и России под руководством Германии против «Запада». «Германия передала свою оригинальность России, — писал лидер немецких национал-большевиков Э. Никиш. — Стремясь к общности судьбы с последней, она сохраняет надежду вновь ее обрести... Если кому-то суждено, во имя собственного блага, пронести со всей своей мощью факел всемирной революции, то это будет немецкий народ... Речь идет о рождении нового культурного универсума, который вначале займет место рядом с культурой Запада. Но когда эта западная культура будет превзойдена, читай выродится, он придет ей на смену. Славянские и германские боги еще достаточно сильны, чтобы созидать». (Niekisch E. «Hitler — une fatalité allemande» et autres écrits nationaux-bolcheviques. Puisseaux, 1991, p. 189–190).



алистический» Версальский договор 1919 г. и в то же время оказали «огромную помощь германским империалистам в их политике восстановления военно-промышленного потенциала, подрыва Версальского мирного договора», стремясь направить агрессию Германии против СССР<sup>56</sup>. Советская же дипломатия, заключив в 1922 г. Рапалльский договор с Германией, одержала крупную победу, ибо «прорвала враждебный фронт капиталистических государств и установила нормальные мирные отношения с одной из крупнейших стран Европы» и при этом помогла Германии, «ослабленной войной, послевоенным кризисом и международной изоляцией»<sup>57</sup>. Сами эти формулы плохо вяжутся одна с другой, но еще меньше они вяжутся с действительностью, потому что сам Советский Союз в 20-е годы всюду развивал военное сотрудничество с Германией и активно способствовал возрождению ее военно-промышленного потенциала — в обход Версальского договора. «В середине 1923 г. „Юнкерс“ получает возможность строить самолеты в Филях под Москвой. В 1924 г. в Липецке открывается тренировочный центр для немецких летчиков. Русские и немецкие химики совместно испытывают отравляющие вещества. Крупн строит артиллерийские заводы в советской Средней Азии»<sup>58</sup>. «Основная идея сотрудничества опиралась для нас на полезность привлечения иностранного капитала к делу повышения обороноспособности страны; для них — она вытекала из необходимости иметь совершенно укрытую базу для нелегальных вооружений. В строгой конспирации были заинтересованы в одинаковой степени и мы, и они», — докладывал И. Уншлихт Сталину в конце 1926 г.<sup>59</sup>.

Приход Гитлера к власти, казалось бы, напрочь исключил возможность сотрудничества двух режимов, клявшихся в верности совершенно различным ценностям. Но разве еще Данилевский не рекомендовал искать любых выгодных союзов, «не взирая на то, какой политический принцип представляет в данное время то или другое государство»? Только Данилевский, видимо, полагал, что он один додумался до такого хитрого внешнеполитического рецепта, а глупые европейцы всегда будут упускать свою выгоду, тогда как Россия всегда будет ее получать. Европейцы же были себе на уме.

Если идеи Макиндера до поры до времени не вызывали заметного интереса в России-СССР, то этого нельзя сказать о Германии. Макиндер как бы указывал на объективное основание ее будущего величия, поэтому его теория казалась очень заманчивой в послеверсальской Германии и грела душу немецких геополитиков в период между двумя мировыми войнами. В частности, она широко использовалась теоретиками «Оси», стремившимися нанизать на эту «ось» и советский хартленд и едва не преуспевшими в этом. «Основываясь на трудах англичанина Макиндера, — утверждал немецкий геополитик генерал Хаусхофер в 1940 г., вскоре после заключения советско-германского пакта, — мы пропагандировали во всем мире идею союза между нынешними державами оси Германия-Россия-Япония, который дает единственную возможность успешно противостоять... Англии и Америке... Представление о Евразии... дает нам всем возможности долговременного расширения жизненного прост-

<sup>56</sup> БСЭ, 2-е издание, т. 7, 1951, с. 516.

<sup>57</sup> БСЭ, 2-е издание, т. 36, 1955, с. 26.

<sup>58</sup> Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 1995, т. 1, с. 223.

<sup>59</sup> Дьяков Ю. Л., Бушуева Т. С. Фашистский меч ковался в СССР. М., 1992, с. 71–72.

ранства и уже довольно давно соблазняет многие умы»<sup>60</sup>. «Наши союзники, — писал Хаусхофер ранее, — ...враги наших врагов; мы найдем их не в последнюю очередь на Дальнем Востоке, в подъеме паназиатского движения, а также в Японии...; полезно и продуманное сотрудничество с имеющим свои нужды в земельном пространстве русским народом, каким бы ни был политический режим, советский, или иной»<sup>61</sup>.

Р. Арон, размышляя о природе геополитических идей, говорил, что для них пространство — не *театр*, на котором разворачиваются те или иные события, а самостоятельная цель, *ставка* в игре<sup>62</sup>. Есть два типа геополитической логики: логика *жизненно-го пространства* и логика *естественных границ*<sup>63</sup>. То, что немецкие геополитики исповедовали логику жизненного пространства для Германии, хорошо известно. Но что имел в виду Хаусхофер, когда говорил о «нужде в земельном пространстве русского народа»? От недостатка пространства Россия как будто никогда не страдала. Уж не намекал ли он на нарушенные после Первой мировой войны «естественные границы» Российской империи? Эти «нарушения» сыграли немалую роль в создании пояса независимых государств, разделивших тогда Германию и СССР.

Независимость государств Восточной Европы не давала покоя советским стратегам конца 30-х годов, они искали путей установить над ними контроль. Чего было больше в этом стремлении — заботы о безопасности западных границ СССР, о чем говорила официальная советская версия, или великодержавного желания любой ценой восстановить, а буде возможно, и раздвинуть границы царской империи? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, сейчас можно утверждать, что была достигнута только вторая цель, и то, как показала история, лишь временно.

Летом 1939 г. советское руководство одновременно вело переговоры о создании системы коллективной безопасности в Европе с Англией и Францией и готовило почву для подписания пакта о ненападении с Германией. Переговоры с Англией и Францией зашли в тупик из-за того, что они не соглашались дать гарантии против «косвенной агрессии» Латвии, Эстонии и Финляндии (то есть против появления в них «анти-советских правительств») и добиться согласия Польши и Румынии на пропуск через их территорию советских войск. И в самих этих странах, и у английских и французских политиков существовали далеко не безосновательные опасения, что такого рода обязательства могут поставить под сомнение саму независимость этих государств. Как заявил польский маршал Рыдз-Смиглы, «с немцами мы рискуем потерять нашу свободу, а с русскими утратить нашу душу»<sup>64</sup>. 21 августа 1939 г. переговоры с Англией и Францией были прерваны. Ворошилов, руководитель советской делегации на переговорах, объяснял это тем, что отказ Англии, Франции и Польши пропустить советские войска через польскую территорию делает невозможным военное сотрудничество

<sup>60</sup> *Haushofer K. Le Bloc continental. Europe centrale — Eurasie — Japon. // Haushofer K. De la géopolitique. Paris, 1986, p. 127.*

<sup>61</sup> *Haushofer K. Les bases géographiques de la politique étrangère. // Haushofer K. De la géopolitique, p. 209.*

<sup>62</sup> *Aron R. Paix et guerre entre les nations. Paris, 1984, p. 204.*

<sup>63</sup> *Ibid, p. 203.*

<sup>64</sup> *См.: Bonnet G. Fin d'une Europe. De Munich à la guerre. Genève, 1948, p. 284.*

СССР с этими странами, так как СССР «не имеет общей границы с агрессором» и потому не сможет оказать им военную помощь<sup>65</sup>.

Через день после прекращения переговоров с Англией и Францией — 23 августа — в Москву прибыл Риббентроп и были подписаны заранее подготовленные и одобренные Сталиным и Гитлером Пакт о ненападении и секретный протокол к нему. СССР и Германия не стали пререкаться по поводу судьбы восточноевропейских государств, тем более спрашивать их мнения. Они протянули друг другу руки через их головы и спокойно стерли часть из них с карты Европы. Не стало Польши, Литвы, Латвии, Эстонии (Чехословакия перестала существовать еще раньше). Зато СССР получил, наконец, вождеденную «общую границу с агрессором» — «протяженностью свыше 3000 км, где в каждом пункте Советский Союз был открыт для вторжения»<sup>66</sup>. Советско-германское соглашение 1939 г. позволило хитрому Сталину в значительной степени восстановить прежние границы Российской империи (только Финляндия заупрямилась). Но одновременно оно «обеспечило Германии спокойную уверенность на Востоке» (с гордостью докладывал Молотов Верховному Совету СССР за десять месяцев до начала войны)<sup>67</sup>, то есть дало возможность перехитренному Гитлеру немедленно начать Вторую мировую войну, расширить, наконец, жизненное пространство Германии и «со спокойной уверенностью» подготовиться к **вероломному**<sup>68</sup> нападению на СССР.

Внешнеполитическая переориентация советского руководства в конце тридцатых годов, явно ошибочная, невыгодная для СССР, подставившая его под удар, едва не оказавшийся смертельным, не поддается объяснению без учета внутривнутриполитических событий. В частности, открытый союз с фашизмом едва ли был бы возможен без кадрового переворота 1937 г. Устраненный тогда Сталиным правящий слой хотя и был уже к этому времени достаточно соглашательским, все же слишком долго воспитывался — и воспитывал других — в духе антифашистских идей, чтобы с сегодня на завтра перейти в другую веру. Однако сам этот переворот был лишь одним из завершающих эпизодов давно начавшегося перехода власти в руки массовых маргинальных слоев и связанной с этим мутации советского режима. Сменились не просто люди, сменилась вся система политических ценностей и — в соответствии с «консервативно-революционной» логикой —

<sup>65</sup> Внешняя политика СССР. Сборник документов. Т. IV (1935–июнь 1941). М., 1946, с. 444.

<sup>66</sup> Геллер М., Некрич А. Цит. соч., с. 377. Эта граница к началу войны была очень слабо укреплена, хотя старая граница была разоружена. За два месяца до начала войны начальник Главного политического управления Красной Армии сообщал наркому обороны, что «укрепленные районы, строящиеся на наших западных границах, в большинстве своем небоеспособны» (там же, с. 401). Разоружение границы было лишь частью общего разоружения СССР в предвоенные годы, оно включало в себя также массовые репрессии против офицерского корпуса и ошибочные шаги при реорганизации армии, столь же массовые репрессии против научно-технических кадров, замедление промышленного роста, снятие с производства некоторых ценных видов вооружения, пренебрежение данными разведки, а главное, конечно, моральное разоружение, связанное с необъяснимым доверием к не заслуживавшему никакого доверия потенциальному противнику. Признаки некоторого выправления положения стали заметны только в первой половине 1941 г., но было уже поздно.

<sup>67</sup> Цит. по: Геллер М., Некрич А. Цит. соч., с. 380.

<sup>68</sup> Советская пропаганда всегда особенно подчеркивала это вероломство. Можно подумать, что до 22 июня 1941 г. у Гитлера была безупречная репутация человека, на которого во всем можно положиться.

возродились старые взгляды на соотношения личности и государства, старое прочтение русской истории, старое понимание имперских интересов, старая великодержавная идеология и т. д.

И во внутривполитическом, и во внешнеполитическом плане советский тоталитаризм все больше ощущал свое родство с фашистским тоталитаризмом германского или итальянского типа — и внутреннюю антипатию к «западным демократиям». Политическая практика Гитлера или Муссолини была Сталину намного ближе, понятнее, чем американская или английская. Его симпатии к ним, стремление к сотрудничеству становились искренними. Поэтому ему не надо было лицемерить больше обычного, когда он на банкете после подписания Пакта поднял бокал за здоровье Гитлера («я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье») или когда, прощаясь с Риббентропом, «гарантировал своим честным словом, что Советский Союз не подведет своего товарища»<sup>69</sup>. Взаимное родство чувствовали и на другой стороне, Гитлер говорил Муссолини, что «Россия совершает поворот чрезвычайной важности; похоже, что путь, на который встал Сталин, ведет к чему-то вроде славяно-московского национализма и удаляется от иудео-интернационалистского большевизма». Муссолини же, начиная с октября 1939 г., принялся «разъяснять итальянцам, что большевизм в России умер и уступил место славянскому типу фашизма»<sup>70</sup>.

## 10.5. Уроки Второй мировой войны

**В**торая мировая война составляет одну из самых трагических и противоречивых страниц в общей и военной истории России и СССР. Согласно официальной советской версии, СССР одержал в этой войне невиданную победу чуть ли не в единоборстве с превосходящим его по силе противником. Об этом говорил, в частности, в написанной вскоре после войны книге один из руководителей советской военной экономики Н. Вознесенский. «Если капиталистическая Германия оказалась разгромленной, то это свидетельствует о новой величайшей силе, которая в **единоборстве** (подчеркнуто нами — *А.В.*) с Германией оказалась победителем. Этой силой является Союз Советских Социалистических Республик»<sup>71</sup>. Однако тот же самый Вознесенский, в той же самой книге утверждал и другое. Он отмечал, что Вторая мировая война выявила «противоречия... между блоком буржуазно-демократических государств, с одной стороны, и блоком фашистских государств, с другой» и что «эти противоречия оказались своеобразным резервом социалистического государства»; который и был использован «в интересах разгрома гитлеровской Германии, а затем и в интересах поражения японского империализма»<sup>72</sup>. «Сравнение производительных сил стран, участвовавших во второй мировой войне, — писал Вознесенский, — показывает величайшие преимущества коалиции демократических государств, которые обладали значительно превосходящими возможностями и резервами в экономике и технике для победы в мировой войне»<sup>73</sup>.

<sup>69</sup> Цит. по: Геллер М., Некрич А. Цит. соч., с. 365.

<sup>70</sup> См.: Rossi A. Deux ans d'alliance germano-soviétique. Paris, 1949, p. 90.

<sup>71</sup> Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948, с.169.

<sup>72</sup> Там же, с. 5.

<sup>73</sup> Там же, с. 19.

Если это последнее утверждение справедливо, то выходит, что СССР понес невероятные, невиданные потери, воюя на заведомо более сильной стороне.

В табл. 10.4. приведена одна из новейших оценок соотношения экономических весов воевавших во Второй мировой войне сторон. Из нее следует, что накануне нападения Германии на СССР экономическая мощь этих двух стран была примерно равной, возможно, даже СССР обладал некоторым преимуществом. Правда, в это время Германия уже широко использовала экономические возможности оккупированных ею европейских стран, чему Советский Союз, превратившийся в 1939 г. в кратковременного друга Германии (видимо, тоже в порядке использования «своеобразного резерва социалистического государства»), в немалой степени содействовал. Помогал он Германии и непосредственно<sup>74</sup>. Однако совокупное экономическое превосходство союзных держав над державами Оси и тогда уже было бесспорным и с каждым годом войны нарастало. Положение же Советского Союза ухудшалось, ибо он оказался неготовым к войне и в первые же ее месяцы понес огромные территориальные, экономические и людские потери<sup>75</sup>.

Ценой невероятного напряжения сил и немислимых жертв к началу 1943 г. СССР удалось остановить продвижение немцев, отстоять Ленинград и разгромить немцев под Москвой и Сталинградом. Однако и после этого немецкая армия сохраняла немалую мощь, важнейшие районы СССР оставались оккупированными, закрепление успехов и продолжение войны требовало наращивания экономических и военных усилий. По

<sup>74</sup> Советские историки упрекали западные державы в том, что накануне войны они поставляли Германии дефицитное сырье. Скажем, главным поставщиком нефтепродуктов были США, в 1938 г. Германия получила 984 тыс. т американских нефтепродуктов. Но следовало бы добавить, что после подписания Пакта 1939 г. в немецкие резервуары поступило еще и 865 тыс. т советской нефти, так что германские танки и самолеты, которые в 1941 г. пересекли границу СССР (а не США), были в немалой доле заправлены бакинским горючим. Готовившаяся к нападению на Советский Союз Германия получала из него медь, никель, платину, марганцевую и хромовую руду, фосфаты, хлопок, лен, лес. Никогда не страдая избытком продовольствия, СССР поставил немцам 1,5 млн. т зерна, тогда как в 1938 г. весь германский импорт пшеницы составил 1,3 млн. т. (*Яковлев Н.* Последние дни мира. Август 1939 г. // Против фальсификации истории Второй мировой войны. М., 1964, с. 167; *Некрич А.* 1941, 22 июня. М., 1995, с. 41).

<sup>75</sup> Согласно Вознесенскому, на территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 г., проживало до войны около 40% всего населения страны, производилось 63% угля, 68% чугуна, 58% стали, 60% алюминия, 38% зерна, 84% сахара, находилось 38% поголовья крупного рогатого скота и 60% поголовья свиней, 41% железнодорожных путей СССР (*Вознесенский Н.* Цит. соч., с. 42). К этому времени продвижение немецких войск в глубь территории СССР еще не закончилось, и потери продолжали расти. Советские потери не только уменьшали экономические возможности СССР, но, в какой-то мере, увеличивали ресурсы противника — материальные и даже людские. По оценке П. Поляна, в годы войны на территорию Германии и ее союзников было перемещено около 8,7 млн. человек — военнопленных и гражданского населения (*Полян П.* Жертвы двух диктатур, 1996, с. 69), встречаются и более высокие оценки. Для сравнения укажем, что на восток — в тыловые районы СССР — из зоны военных действий было эвакуировано не более 12–13 млн. человек (Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987, с. 43). Значительная часть советских граждан работала в немецкой экономике, особенно в промышленности. В 1943–1944 гг. они составляли треть и даже больше от всех иностранных рабочих в Рейхе, при том, что к концу войны здесь каждый пятый рабочий был иностранным (*Полян П.* Цит. соч., с. 119, 153). Кроме того, к концу войны не менее 1 млн. советских граждан в той или иной форме действовали на стороне немецкой армии (там же, с. 58–59).

официальным оценкам, уже к середине 1942 г. утраченные мощности военной промышленности удалось не только восстановить, но и превзойти<sup>76</sup>. Продукция машиностроения увеличивалась на протяжении всех лет войны, в 1943 г. оборонные отрасли производили вдвое больше, чем в 1940 г. Но мобилизация внутренних экономических ресурсов к этому времени была доведена до предела, необходимый для успешного продолжения войны рост производства вооружения был возможен только за счет сокращения производства всего остального, без чего страна и ее население также не могли существовать. Продукция сельского хозяйства в 1942–1943 гг. не достигала и 40% довоенного уровня, резко снизилось производство в невоенных отраслях промышленности<sup>77</sup>. Казалось, что Советский Союз вот-вот окажется в состоянии экономического и военного коллапса. Однако этого не произошло, а 1943 г. стал «годом коренного перелома» в военной экономике СССР<sup>78</sup>. Вознесенский объясняет это чудо преимуществами социалистической системы хозяйства, западные же экономисты придают решающую роль экономической помощи союзников.

**Таблица 10.4. Внутренний валовой продукт стран — главных участников Второй мировой войны (миллиарды международных долларов в ценах 1985 г.)**

	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
<b>СССР</b>	<b>308</b>	<b>345</b>	<b>297</b>	<b>227</b>	<b>252</b>	<b>300</b>	<b>284</b>
<b>США</b>	<b>788</b>	<b>851</b>	<b>1001</b>	<b>1190</b>	<b>1407</b>	<b>1522</b>	<b>1494</b>
<b>Великобритания</b>	<b>215</b>	<b>237</b>	<b>258</b>	<b>265</b>	<b>271</b>	<b>260</b>	<b>249</b>
<b>Итого Союзные державы</b>	<b>1311</b>	<b>1433</b>	<b>1557</b>	<b>1681</b>	<b>1929</b>	<b>2081</b>	<b>2026</b>
<b>Германия</b>	<b>271</b>	<b>273</b>	<b>290</b>	<b>294</b>	<b>300</b>	<b>308</b>	<b>216</b>
<b>Италия</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>102</b>	<b>83</b>	<b>65</b>
<b>Япония</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>143</b>	<b>136</b>	<b>68</b>
<b>Итого державы Оси</b>	<b>521</b>	<b>528</b>	<b>545</b>	<b>547</b>	<b>544</b>	<b>527</b>	<b>349</b>
<b>Соотношения:</b>							
<b>Союзники/державы Оси</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,8</b>
<b>СССР/ Германия</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>

*Источник: Harrison M. Accounting for war: Soviet production, employment and the defence burden, 1940–1945. Cambridge, 1996, p. 124.*

Официальные советские оценки этой роли и ее оценки западными экономистами сильно расходятся. Согласно официальной точке зрения, «советское государство, опи-

<sup>76</sup> Вознесенский Н. Цит. соч., с. 43.

<sup>77</sup> Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 43–44.

<sup>78</sup> Вознесенский Н. Цит. соч., с. 29.

раясь на собственные ресурсы, решило труднейшую проблему перевооружения и материального обеспечения многомиллионной армии. Поставки по ленд-лизу в СССР составляли около 4% производства промышленной продукции нашей страны»<sup>79</sup>. Впервые эта оценка была приведена в книге Н. Вознесенского<sup>80</sup> и просуществовала в советском официальном сознании более 40 лет.

Сколько именно процентов от промышленной или сельскохозяйственной продукции СССР составили поставки союзников, не выяснено и по сей день. Но это, видимо, и не главный вопрос, хотя поставки были немалыми. Их объем вначале небольшой, быстро нарастал. Американские поставки по ленд-лизу за все время войны составили 10,7 млрд. долларов, кроме того, была еще английская помощь на сумму в 312 млн. фунтов стерлингов (всего выходит около 12 млрд. долларов)<sup>81</sup>. По оценке М. Харрисона, чистый импорт составил 5% от внутреннего валового продукта СССР в 1942 г. и 10% в 1943 и 1944 гг.<sup>82</sup>

Но важен не только, а может быть даже и не столько объем помощи, сколько ее структура и качественный уровень. Хорошо известна притча о войне, проигранной из-за того, что в кузнице не было гвоздя. Во время войны в советской экономике образовались «узкие места», которые невозможно было расширить собственными силами. Вознесенский писал, что к ноябрю 1941 г. «выпуск проката черных металлов — основы военной промышленности — уменьшился против июня 1941 года в 3,1 раза; производство проката цветных металлов, без которых невозможно военное производство, за тот же период сократилось в 430 раз; производство шарикоподшипников, без которых нельзя выпускать ни самолетов, ни танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз»<sup>83</sup>. Еще важнее более общее замечание о том, что особенностью военного времени стало «изменение соотношения и размеров накопления и личного потребления в пользу специфически военного потребления. При этом значительная доля общественного продукта идет на производство военной техники, которая непосредственно не воспроизводит основных фондов страны»<sup>84</sup>. В экономике СССР возникли критические напряжения, которые, по-видимому, и удалось ослабить благодаря экономической помощи союзников.

Начиная с 1942 г., эта помощь, главным образом, американская, обеспечила масштабные поставки не только и даже не столько вооружения, сколько многих важных видов промышленного оборудования, сырья и продовольствия. (В 1942 г. товары гражданского или двойного назначения составили 49% американского экспорта в СССР, в 1943 — 67%, в 1944 — 73%, в 1945 — свыше 80%<sup>85</sup>.) За 1942–1945 гг. в СССР было произведено 92 железнодорожных локомотива, а получено по американскому ленд-лизу 1981; произведено (в основном в 1945 г.) 1087 вагонов, а получе-

<sup>79</sup> Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 44.

<sup>80</sup> Вознесенский Н. Цит. соч, с. 74.

<sup>81</sup> Harrison M. Accounting for war..., p. 132.

<sup>82</sup> Ibid., p. 110.

<sup>83</sup> Вознесенский Н. Цит. соч, с. 43.

<sup>84</sup> Там же, с. 28.

<sup>85</sup> Harrison M. Op. cit., p. 133.



но 11 тысяч, произведено 204 тысячи грузовиков и автобусов, получено 375 тысяч одних только грузовиков, произведено 15,5 тысяч тракторов (половина — в 1945 г.), получено 8 тысяч. За время войны СССР получил по ленд-лизу 720 тысяч тонн цветных металлов<sup>86</sup>. Между 1942 и 1945 гг. около трети советских заводов были переоснащены новейшим американским оборудованием<sup>87</sup>. В 1943–1944 гг. из США в СССР было экспортировано сельскохозяйственных продуктов на 1,2 млрд. долларов<sup>88</sup>. Помощь союзников значительно расширила возможности экономического маневра в СССР и позволила расходовать получаемые ресурсы на тех направлениях, которые в данный момент представлялись особенно важными. Если верить Харрисону, который сделал приблизительную оценку расходования союзнической помощи, ее вклад во все виды потребления, включая и военное, был небольшим — 3,5–4%. Зато она позволила осуществить свыше трех четвертей капиталовложений военных лет<sup>89</sup>, без которых вся военная экономика была бы обречена на застой.

Оставим специалистам дальнейшее выяснение истинного вклада экономической помощи союзников в военные победы СССР и задумаемся над общим смыслом этой помощи. Нет сомнения, что она была частью собственной стратегии союзников во Второй мировой войне. Эта стратегия учитывала многие обстоятельства, в том числе и тактику Советского Союза. Сталину казалось, что он сложно лавировал между рифами предвоенной международной обстановки, всякий раз добиваясь каких-то выгод. Узколобый семинарист, опьяненный своими успехами в аппаратных кремлевских играх, он думал, что легко переиграет искушенных британских и прочих западных политиков. Они же искусно подталкивали его в мышеловку, которая и захлопнулась 22 июня 1941 года. Зачем англичанам или американцам было воевать с немцами, на эту роль вполне годились русские, которые сделали все, чтобы облегчить нападение на себя.

Разумеется, союзники были заинтересованы в победе над Германией и сделали все необходимое и достаточное, чтобы выиграть войну. Но не более того. Американцы и англичане берегли своих солдат. Они предпочитали поддерживать прямые военные усилия СССР, наращивая тем временем материальное превосходство над противником для нанесения решающего удара с наименьшими людскими потерями. По оценке Харрисона, достигнутое при существенной помощи союзников совокупное производство вооружений в СССР за все годы войны обеспечило его двойное превосходство над Германией на ее восточном фронте<sup>90</sup>. Количество же оружия, произведенного за то же время в США и Англии, превышало его производство в трех державах Оси (Германии, Италии и Японии) в семь раз<sup>91</sup>.

<sup>86</sup> Sapir J. Les fluctuations économiques en URSS, 1941–1985. Paris, 1989, p. 49; Harrison M. Op. cit., p. 196–197.

<sup>87</sup> Sapir J., Badower A., Crespeau M. L'expérience soviétique et sa remise en cause. Paris, 1994, p. 51.

<sup>88</sup> Harrison M. Op. cit., p. 133.

<sup>89</sup> Ibid., p. 142.

<sup>90</sup> Это соответствует официальной советской оценке, согласно которой «Советский Союз в годы войны создал почти в 2 раза больше вооружения и боевой техники», чем Германия (Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 44).

<sup>91</sup> The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945. Ed. by R. W. Davies, M. Harrison, S. G. Wheatcroft. Cambridge, 1994, p. 242.



История войны дает все основания говорить о «специализации союзников», о «разделении труда» между ними. «Существовала реальная, практическая рабочая логика, выражавшаяся в разделении труда между объединившимися партнерами. В этом союзе богатая, в изобилии располагавшая капиталами экономика США специализировалась на производстве капиталоемких изделий, таких, как оборудование и вооружение, высококачественные материалы и горючее, а также высококачественное концентрированное и пригодное для длительного хранения продовольствие. Советский Союз продолжал производить широкий спектр военных и гражданских товаров и услуг, но, по сравнению с союзниками, специализировался на трудоемких боевых действиях»<sup>92</sup>. «По-видимому, помощь союзников СССР сделала возможным разделение труда, благодаря которому была выиграна война. Без этого каждой из союзнических сторон воевать было бы труднее. Русским пришлось бы сражаться, опираясь на свои собственные ресурсы, недостаточные ни по количеству, ни по качеству, и их борьба была бы менее успешной и, возможно, зашла бы в тупик. Британцы и американцы были бы вынуждены больше вести сражений, убивать немцев и гибнуть от них... Возможно, в 1942 и 1943 гг. вместо боев немногих в ночном небе над германскими городами им пришлось бы вести многолюдные сражения на полях битв в Кенте или Сассексе. Возможно, к ожесточенности и интенсивности боев добавился бы еще оккупационный режим на южном побережье Англии с концентрационными лагерями на кентском побережье и телами повешенных на телеграфных столбах в деревнях Уильшира»<sup>93</sup>.

Этого-то как раз и не произошло. Основная тяжесть прямых военных действий, оккупация, концентрационные лагеря и виселицы достались Советскому Союзу. Разгром немецких армий под Москвой и Сталинградом, а позднее штурм Берлина и многих других европейских столиц говорят о том, что свою роль в системе разделения труда между союзниками он выполнил.

И сильные, и слабые стороны действий СССР в войне отражали тогдашнее состояние советского общества, промежуточные результаты его противоречивой модернизации. Конечно, современная промышленность в СССР к началу 40-х годов была еще слаба. Но все же она уже существовала. Никакая помощь союзников не могла бы предотвратить поражение СССР, если бы у него не было к этому времени своих промышленных кадров, своих ученых и конструкторов, своего опыта стремительного возведения огромных заводов на пустом месте, если бы не было новых промышленно-сырьевых баз на востоке страны. Но, парадоксальным образом, эти инструментальные достижения модернизации сочетались с сохранением социальной архаики, которая, главным образом, и отличала советский способ ведения войны от англо-американского, хотя, может быть, в чем-то сближала с немецким.

Военные действия с советской стороны вела крестьянская армия, большинство солдат да, вероятно, и офицеров составляли крестьяне или очень недавние горожане. Вынося на своих плечах главную тяжесть ускоренной индустриализации 30-х годов, они

<sup>92</sup> *Harrison M.* Op. cit., p. 149–150. «Трудоемкие боевые действия» (labour-intensive activity of fighting) — то ли дань экономическому жаргону, то ли эвфемизм, позволяющий избежать «специализации на проливании крови» или чего-то в этом роде.

<sup>93</sup> *Harrison M.* Op. cit., p. 151–152.

приняли на себя и главный удар войны. Вспомним еще раз размышления Глеба Успенского о русском крестьянине, о Платоне Каратаеве. «„Он — частица“, „он сам по себе — ничто“... Такая частица мрет массами на Шипке, в снегах Кавказа, в песках Средней Азии... В Крымскую войну таких Платонов умирало без следа, без жалобы — тысячи, десятки тысяч»<sup>94</sup>. На полях Второй мировой войны остались миллионы советских «Платонов», за что они и удостоились благодарности Верховного Главнокомандующего — и именно в качестве «частиц», «винтиков» советской военной машины.

Но и сам Сталин, и его маршалы, другие советские руководители, при всех их нередко выдающихся личных качествах, были «частицами» того же самого общества и вели себя в соответствии с его внутренними законами. «Все это черты чисто наши, родные, российские, — писал Г. Успенский о „Платоне“... — Это все — наше, но это не все. А тот тип, который гонит Платона и по горам и по степям?... Тот, кто неотступно следует по его пятам, глядя, как он мрет тысячами, и только облизывается, видя, что от этих смертей увеличивается и толстеет его карман?... Разве это не наш тип?... Нет, именно Платон, именно его философия, именно его безропотное, бессловесное служение „всему, что дает жизнь“, выкормила у нас другой тип хищника для хищничества, артиста притеснения, виртуоза терзания... Отделять эти два типа друг от друга невозможно — они всегда существовали рядом друг с другом»<sup>95</sup>. Конечно, никто не станет утверждать, что Жуков, штурмуя Берлин, думал о своем кармане или что он был «хищником для хищничества». Но и он был выкормлен той же философией и был готов гнать «Платона» по горам и по степям, чего бы это ни стоило.

В конечном счете, несмотря на успехи «инструментальной» модернизации, позволившей Советскому Союзу выигрывать сражения с помощью современной военной техники и самостоятельно создавать эту технику, в ходе Второй мировой войны и после ее окончания СССР занял положение, обычное для старой Российской империи. Он оказался в стане победителей, в роли бесспорной великой державы, оплатив выигрышный союз привычной монетой: разоренной военными действиями территорией и немереными людскими жертвами.

Огромность этих жертв долго скрывалась. Вскоре после войны Сталин заявил, что СССР «безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу — около семи миллионов человек»<sup>96</sup> — несуразность этой оценки была ясна уже и тогда<sup>97</sup>. В мае 1947 г., выступая по московскому радио, историк Е. Тарле, скорее всего, не случайно, упомянул о «положивших свои жизни 7 миллионах солдат»<sup>98</sup>. Тем не менее в СССР сталинская оценка дожила до начала 60-х годов, когда в обиход была введена новая цифра — 20 миллионов.<sup>99</sup> Но к

<sup>94</sup> Успенский Г. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах, т. 5. М., 1956, с. 200–201.

<sup>95</sup> Там же, с. 201.

<sup>96</sup> Сталин И. Интервью с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля. Большевик, 1946, 5, с. 3.

<sup>97</sup> Она была настолько нелепа, что ее даже не вполне поняли. В США слово люди перевели как тег (мужчины), по-видимому думая, что речь идет все же только об участниках боевых действий. (Roof M. The Russian population enigma reconsidered. Population Studies, 1960, Vol. XIV, 1, p. 5).

<sup>98</sup> Roof M. Op. cit., p. 5.

<sup>99</sup> См. Хрущев Н. С. Письмо премьер-министру Швеции Т. Эрландеру. «Международная жизнь», 1961, 12, с. 8.

тому времени на Западе уже давно была дана достаточно точная оценка советских военных потерь — ее сделал и опубликовал в США еще в 1948 г. Н. Тимашев. В СССР же понадобилось еще более 40 лет, чтобы прийти к тому же результату (см. табл. 10.5.).

**Таблица 10.5. Людские потери СССР во Второй мировой войне по разным оценкам (в миллионах человек)**

	<i>Тимашев, 1948</i>	<i>Андреев и соавт., 1990</i>	<i>Скоррек- тирован- ная оценка Андреева и соавт.</i>
<b>Численность населения на 1 января 1946 г.</b>			
Предполагаемая при отсутствии войны	218,5	209,6	209,6
Фактическая	181,0	170,5	171,5
<b>Разница</b>	<b>37,5</b>	<b>39,1</b>	<b>38,1</b>
<b>В том числе:</b>			
Дефицит рождений	10,9	12,4	12,4
<b>Разница</b>	<b>26,6</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>
<b>В том числе за счет:</b>			
Прямых военных потерь	7,0	8,7	9,5
Избыточных смертей гражданского населения	18,3	?	15,7
<b>Итого собственно потери</b>	<b>25,3</b>	<b>?</b>	<b>25,2</b>
Эмиграции	1,3	?	1,5

*Источники: Timasheff N.S. The postwar population of the Soviet Union. The American Journal of Sociology, 1948, v. 54, 2, p. 153–155; Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. История населения СССР 1920–1959 гг. // Госкомстат СССР. Экспресс-информация. Серия «История статистики», вып. 3–5 (часть 1). М., 1990, с. 121. См. также: Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. Население Советского Союза 1922–1991. М., 1993, с. 74–77<sup>100</sup>.*

Согласно публиковавшимся в разное время сводным оценкам людских потерь во Второй мировой войне, на долю СССР пришлось от трети до половины всех мировых потерь. Сталин сказал в 1946 г., что потери СССР были большими, чем совокупные потери США и Англии, но он не сказал, во сколько раз большими. Ибо это могло бросить тень на его гениальное водительство, говорить пришлось бы даже не о разгах, а о десятках раз (табл. 10.6).

<sup>100</sup> Корректировка в последней колонке таблицы предложена нами исходя из следующих соображений. В варианте Андреева и соавторов фактическая численность населения на начало 1946 г. найдена расчетным путем, на основе данных переписи 1959 г. При этом расчет делался так, как если бы между 1946 и 1959 г. не было никакой миграции. На самом же деле за это время из СССР эмигрировало не менее 1,2 млн. человек: примерно 900 тыс. поляков, около 300 тыс. японцев, а также некоторое число чехов и украинцев, переселившихся в Чехословакию (Кабузан Н. Русские

Таблица 10.6. Мировые людские потери в ходе Второй мировой войны по различным оценкам (в тысячах человек)

	Б. Урланис		Р. Сивард		Ж. Дельма	
	Все потери	Военные потери	Все потери	Военные потери	Все потери	Военные потери
СССР	20000	10000	17000	8500	26000	8600
Германия	6500	4500	6221	4750	6000	4000
Польша	5000	123	6600	600	6000	300
Югославия	1700	300	1400	400	1500	300
Франция	600	250	650	200	5800	293
США		251	408	408		
Великобритания		264	450	350		
Китай	10000	2500	2200	1350	1450	?
Япония	2350	2000	2000	1500	2630	1950
Другие страны и потери, не распределенные по странам	...	...	800	150	...	...
<b>Весь мир</b>	<b>50117</b>	<b>21822</b>	<b>51760</b>	<b>20724</b>	<b>50000</b>	<b>менее 20000</b>

*Источники: Urlanis B. Guerres et population. Moscou, 1972, p. 321. Приведенные в таблице сводные данные отсутствуют в русском издании 1960 г. и в переиздании 1994 г.; Sivard R. L. World Military and Social Expenditures. 14th edition. Washington, 1991, p. 22–25; Delmas J. Une hécatombe humaine. // L'état du monde en 1945. Paris, 1994, p. 45.*

в мире. СПб., 1996, с. 233–235). Правда, имела место и иммиграция, в частности, армян. Но она была значительно меньшей, так что население СССР за это время уменьшилось, по крайней мере, на 1 миллион в результате эмиграции, и этот миллион надо **прибавить** к расчетной численности населения 1946 г. — соответственно на миллион уменьшается величина убыли населения во время войны. Нуждается в корректировке и оценка прямых военных потерь. Тимашев приравнял их сталинским 7 миллионам, заметив однако, что это — «явное преуменьшение» (*Timasheff N. Op. cit.*, p. 153). Андреев и соавторы приняли без критики некогда секретные данные, опубликованные в авторитетном исследовании военных историков (Гриф секретности снят. М., 1993, с. 131). Но Максудов справедливо отметил, что эти данные не охватывают потери ополченцев, партизан и некоторые другие категории лиц, так или иначе принимавших участие в военных действиях. Скажем, авторы исследования включили в число **немецких** безвозвратных потерь 215 тыс. власовцев и участников других подобных формирований. В то же время он попытался учесть тех, кто вернулся из плена. Так появилась цифра 9,5 млн. (*Максудов С. Потери населения СССР в годы Второй мировой войны. Население и общество, 1995, 5, с. 2*). Наконец, в расчете Андреева и соавторов не разделены смерти гражданских лиц и эмиграция, хотя это можно сделать. Оценка Андреева и др. строится на сопоставлении расчетной численности населения 1946 г. с предполагаемой численностью населения 1939 г., эволюционирующего в мирных условиях. Из населения на обе даты исключены выселившиеся из СССР в связи с изменением границ немцы, японцы и финны. Но другие группы населения, мигрировавшие между 1939 и 1946 гг., следует учесть. Это около 900 тыс. по-

Пятнадцать лет спустя после начала войны в поколениях, родившихся между 1900 и 1925 гг. и составлявших основу призывных контингентов военного времени, в Германии число женщин превышало число мужчин на 3,3 миллиона. В СССР же это превышение составляло 13,1 миллиона человек (перед войной, как видно из табл. 10.7, большого превышения не было). При этом надо учитывать, что в СССР и потери женского населения были намного большими, чем в Германии, так как в СССР война гораздо сильнее затронула мирное население. Например, главными жертвами геноцида евреев или блокады Ленинграда в указанных поколениях были именно женщины, ибо мужчины находились в армии. Поэтому истинная разница в потерях мужского населения СССР и Германии была даже большей, чем можно судить по послевоенному соотношению полов.

**Таблица 10.7. Число мужчин на 1000 женщин в поколениях, наиболее пострадавших в результате Второй мировой войны, в конце 30-х и на рубеже 50–60-х годов**

Поколения	СССР					Германия	
	1939		1959			Поколения	1960
	СССР в границах до 1939	СССР в границах после 1945	СССР	Россия	Украина		
1919–1923	977	980	641	626	631	1920–1924	713
1914–1918	912	913	624	616	600	1915–1919	702
1909–1913	946	944	623	598	610	1910–1914	723
1904–1908	985	981	623	571	639	1905–1909	778
1899–1903	891	890	502	453	539	1900–1904	842

**Источники:** *Рассчитано по: Андреев и др. Население Советского Союза 1922–1991, с. 131–132; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 2, М., 1972, с. 12, 16, 20; The sex and age distribution of the world populations. The 1992 revision. UN, NY, 1993, p. 190.*

М. Харрисон попытался выразить все связанные с войной потери СССР в денежной форме и пришел к выводу, что за время войны была утрачена примерно одна пятая часть предвоенного человеческого капитала и на четверть сократился капитал в материальной форме<sup>101</sup>. С точки зрения динамики валового внутреннего продукта на душу населения в 1940–1950 гг., «влияние войны на советскую экономику больше соответст-

ляков, выехавших в 1944–1945 гг. (*Piesowicz K. Welkie ruchy migracyjne w latach 1945–1950. Studia demograficzne, 1988, Nr 4/94, s. 55*), около 500 тыс. советских граждан, оказавшихся за границей и не вернувшихся в СССР, некоторые менее крупные группы эмигрантов. Оценка совокупной эмиграции военных лет в 1,5 млн. человек не кажется чрезмерной и не слишком отличается от давней оценки Е. Кулишера, которую и использовал Тимашев (*Kulisher E. Europe on the Move. NY, 1948, p. 274–288*).

<sup>101</sup> *Harrison M. Op. cit., p. 162.*

вовало опыту побежденных стран, нежели опыту победителей, Британии или США»<sup>102</sup>. «Хотя довоенные уровень ВВП, численность населения и пр. были скоро превзойдены, Советский Союз *никогда* не вернулся на свою довоенную экономическую траекторию»<sup>103</sup>. Можно спорить о том, в какой мере это было следствием военных потерь, но то, что они оказали очень сильное отрицательное воздействие на послевоенное развитие СССР, едва ли может вызвать сомнение. Не исключено, что «эхо» материальных, а особенно человеческих потерь во Второй мировой войне слышится в России и до сих пор.

## 10.6. Уроки холодной войны

**У**роки войны можно было прочитать по-разному. Как они были прочитаны в СССР? Победа в войне породила в массовом сознании, равно как и в сознании советской политической элиты, иллюзию необыкновенной военной мощи Советского Союза. Хотя официальная пропаганда стремилась преуменьшить масштабы военных потерь, народная память сохраняла представление об их истинных колоссальных размерах, а под пером официальных идеологов огромность потерь превратилась в нечто вроде предмета гордости. Потери рассматривались как мерило вклада в победу. Но если считать, что вклад СССР в победу над державами Оси был пропорционален понесенным жертвам, то следовало признать непобедимой и его военную мощь. Примерно такой была, по-видимому, логика послевоенного советского руководства, которое решило, что СССР может теперь обойтись без западных союзников, выступить как неевропейская, «незападная» держава и реализовать иную модель глобальной стратегии, нежели та, какой он придерживался до сих пор: не поиск союзов с одними западными странами против других, тоже западных, а борьба за мировое господство с опорой на «незападный» мир.

Нельзя сказать, чтобы это была очень новая идея. Генерал Куропаткин был не единственным, кто понял в начале XX века, что «народы других материков начинают давать отпор европейскому товару и европейскому штыку». Куропаткин делал из этого вывод о необходимости соглашения «европейского союза» с «союзом американских государств» в интересах сохранения однополюсного европоцентристского, а с включением Северной Америки, «североцентристского» мира, призывал к солидарности «народов белой расы против народов желтой расы и чернокожих»<sup>104</sup>. Но в России (как и в Европе в целом) было немало идеологов и политиков, которые хотели бы еще глубже реструктурировать систему международных отношений, сложившуюся в XIX веке, разрушить европоцентристскую, становившуюся североцентристской, модель мира — только не с тем, чтобы вообще отказаться от однополюсной модели, а с тем, чтобы сохранить ее, сместив центр мирового господства. В этой схеме «народы желтой расы и чернокожие» превращались в союзников одних «народов белой расы» против других — разумеется, со сменой словаря.

Эта идея содержалась, в частности, уже в большевистской теории мировой революции. Согласно Ленину, центр мирового революционного движения переместился в Рос-

<sup>102</sup> Ibid., p. 167.

<sup>103</sup> Ibid., p. 165.

<sup>104</sup> Куропаткин А. Н. Цит. соч., с. 255.

сию, и самой историей ей было предугазано возглавить освободительное движение колониальных народов против мирового империализма, который, как и отметили немедленно «евразийцы», отождествлялся тогда прежде всего с Европой.

Сами «евразийцы» предложили собственный вариант той же самой идеи. Если прежде, утверждал один из их главных идеологов князь Н. Трубецкой, «можно было говорить о том, что интересы России сходятся или расходятся с интересами того или иного европейского государства», то теперь Россию ждет будущее «уже не великой европейской державы, а огромной колониальной страны, стоящей *во главе* (подчеркнуто нами. — А. В.) своих азиатских сестер в их совместной борьбе против романо-германцев и европейской цивилизации. В победоносном исходе этой борьбы — единственная надежда на спасение России... „Азиатская ориентация“ становится единственно возможной для настоящего русского националиста»<sup>105</sup>. Вышедшая в 1920 г. книга Трубецкого «Европа и человечество», замечает Хаунер, звучала «как комбинация Данилевского и призывов Второго конгресса Коминтерна»<sup>106</sup>.

Впрочем, не надо думать, что идея опоры на неевропейские силы в борьбе с европейскими противниками была чисто русским или советским достоянием. Подобный подход не был чужд и другому претенденту на планетарное господство, главному противнику СССР во Второй мировой войне. Геополитическая риторика гитлеровской Германии перед войной нередко напоминала соответствующую советскую риторику, выражавшую претензии на мировое лидерство в борьбе с колониализмом под лозунгом солидарности всех обиженных и угнетенных. «Нужны крупные идеи, простые, доступные народу. Самая крупная из них следующая: объяснить необходимость защищать и расширять жизненное пространство... К счастью, мы не одни в наших усилиях добиться права самим распоряжаться собой, свободы распоряжаться своим жизненным пространством по своим собственным законам... Три пятых человечества стремятся к этой же цели. Усилия долговременной внешней политики должны быть направлены на совместные с ними поиски путей, которые ведут к свободе»<sup>107</sup>. Мы уже видели, что Хаусхофер намеревался искать союзников в паназиатском движении, а также в Японии и России. Смысл таких союзов, в том числе и только что заключенного тогда союза с СССР, был все тот же: перераспределение власти в однополюсном мире. «Мы сможем получить наши колонии только в жесткой борьбе, только создав мощное давление; мы сможем их вернуть только сойдясь лицом к лицу с некоей колониальной державой, и только в этом случае... мы сможем восстановить наше участие в африканском сотрудничестве, каким его видит Фюрер... Оно невозможно без мощной поддержки, с помощью которой мы обеспечили наше европейское жизненное пространство на востоке и которая заставит западные державы уступить... Именно к этому сводится решающий геополитический поворот 1939 года»<sup>108</sup>.

Надеждам Хаусхофера сокрушить западные демократии с помощью «трех пятых человечества» и за счет этого расширить жизненное пространство Германии, не да-

<sup>105</sup> Трубецкой Н. С. «Русская проблема». //Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993, с. 53–54.

<sup>106</sup> Hauner M. Op. cit., p. 60.

<sup>107</sup> Haushofer K. Op. cit., p. 208–209.

<sup>108</sup> Ibid., p. 135–136. Имеется в виду советско-германский пакт о ненападении.



но было осуществиться. Советскому же Союзу, в отличие от Германии, до известной степени удалось воплотить в жизнь идею опоры на незападный мир. Какое-то время казалось, что после Второй мировой войны осуществились наихудшие опасения Макиндера (или, в каком-то смысле, надежды Хаусхофера). Контроль над Восточной Европой, а, по Макиндеру, это означало и контроль над хартлендом, стало быть, и над «Мировым островом», и надо всем миром, оказался в одних руках — правда, не в немецких, как обычно ожидали, а в советских. СССР создал мощный антизападный фронт (не этого ли хотел Хаусхофер?), противостоявший «атлантизму», который к этому времени полностью заместил «европеизм». На какое-то время он возглавил огромный «антиимпериалистический» блок, включивший в себя, помимо СССР, ряд стран Восточной и Центральной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе Китай<sup>109</sup>. Островки «свободы» (как снова не вспомнить Хаусхофера?) стали появляться в Африке и Америке. В Европе он почти выполнил заветы Данилевского: внешние европейские границы советского блока сразу после Второй мировой войны отличались от границ «Славянской федерации» Данилевского только за счет Финляндии и Греции (хотя и здесь, как известно, попытки выйти на обозначенные Данилевским рубежи были, но оказались неудачными), да Царьград с проливами все еще оставался вне досягаемости. Зато власть Москвы распространилась на Восточную Германию, чего Данилевский, верный европейскому этикету и пропрусским симпатиям, не предлагал.

Тем не менее, в конечном счете, послевоенная геостратегия СССР оказалась ошибочной и привела его к поражению в «холодной войне».

Ошибочной оказалась ставка на единство интересов разных частей «мировой социалистической системы», в частности СССР и Китая. Наивно было думать, что огромный Китай, занимающей самостоятельное цивилизационное и геополитическое пространство, станет послушно двигаться в фарватере советской внешней политики, тем более что СССР и Китай стояли и перед совершенно разными внутренними задачами.

Ошибочной оказалась попытка подчинить себе страны Восточной Европы. Здесь в действиях СССР проявилась (разумеется, без всяких ссылок на Макиндера или Хаусхофера, скорее, интуитивно, чем осознанно) все та же устаревшая «макиндеровская» или, точнее, антимакиндеровская логика. Советский Союз не удовлетворялся восстановлением, хотя бы частичным, пояса самостоятельных восточноевропейских стран, ролью освободителя и гаранта их целостности и независимости. Напротив, он сделал все, чтобы превратить эту независимость в чистую формальность, стал грубо вмешиваться в их внутренние дела, насильственно насаждать в восточноевропейской «зоне влияния» советскую модель социализма. Она совершенно не соответствовала условиям и нуждам этих стран, особенно более модернизированных, «западных», таких, как Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Польша, обрекала их на движение не вперед, а назад. Восточная Европа постепенно превратилась в зону сопротивления. В ней быстро нарастали силы отталкивания, которые сводили на нет силы сближения, порожденные недавней совместной борьбой против герман-

<sup>109</sup> В 1950 г. «социалистический лагерь» объединял почти 900 млн. человек. В 1985 г. в тех же границах жило 1,6 млрд. человек, но былого единства уже не было.



ского «нового порядка» в Европе, а отчасти и более давним историческим опытом противостояния германской и турецкой экспансии.

Ошибочным оказалось и понимание объективных условий, интересов и возможностей стран Третьего мира. Большинство из них отнюдь не поспешили примкнуть к «социалистическому лагерю» и признать лидерство Москвы, размахивавшей флагами «антиколониализма», «национально-освободительных движений» и пр. Гораздо более дружно они объединились вокруг лозунга неприсоединения и, по возможности, дистанцировались от обоих противостоящих блоков. Но реальное расстояние оказалось неодинаковым. Борьба за влияние в Третьем мире не прекратилась, а истинные возможности СССР и его западных конкурентов были разными. Предоставить серьезную экономическую помощь развивающимся странам СССР, в отличие от США и его союзников, не мог, так как сам был беден. Да это и не входило в его планы, ибо главным полем «соревнования двух систем» для него давно уже стала военно-стратегическая область — на всех остальных полях СССР явно терпел поражение. Открыто отдавая предпочтение политике перед экономикой, СССР тратил огромные средства на поддержку бесперспективных политических режимов в ряде «дружественных» развивающихся стран — исключительно в интересах сохранения конфронтации с Западом, но даже политическая отдача этих затрат была очень низкой. В какой-то мере неприсоединившиеся страны пользовались распреей между двумя блоками, возможно, даже иногда играли на их противоречиях в своих интересах. Но при этом реальное присутствие и влияние западного блока в Третьем мире было намного большим, чем советского, а сам этот мир, как правило, все более уверенно двигался по «капиталистическому», а не «социалистическому» пути.

Но, может быть, главной причиной поражения СССР в холодной войне стало само вступление в эту войну, вытекавшее из ошибочного понимания планетарной геополитической обстановки второй половины XX столетия. Истинной, хотя и весьма нереалистической целью долговременной политики Кремля было «похоронить капитализм», т.е. «Запад», своего главного геополитического конкурента, и восстановить однополюсный мир, подобный европоцентристскому миру XIX века, но с новым центром принятия решений, который, разумеется, должен был находиться в Москве. Основной просчет заключался даже не в том, что у Москвы не было для этого достаточных сил, а в том, что такая цель была в принципе недостижимой. Возвращение в прошлое столетие было невозможно, макиндеровского мира с единственным центром мирового господства больше не существовало. Вторая половина XX века породила принципиально новый императив — императив многополюсного, избегающего глобальных противоборств мира. Все страны, в том числе и те, которые и сами непрочь были бы занять место единственного центра принятия глобальных решений, стали приспособляться к этому новому способу международного общежития. Мир бурлил сотнями локальных конфликтов, экономическая конкуренция между странами иногда приобретала очень острые формы, но никто не помышлял о том, чтобы силой воспрепятствовать становлению или росту самостоятельных региональных центров принятия экономических или политических решений.

Только СССР упорно продолжал следовать прежнему курсу, деля мир на «два лагеря», которые, по всей логике развития событий, должны были рано или поздно сойтись в решающей схватке. Серьезных шансов на победу у СССР никогда не было, зато в его политике было много элементов «нечаевщины», которые отчасти компенсировали его слабость. Ставка на «слихой разбойничий мир» в международных масштабах, поддержка любых антизападных выступлений и движений, даже откровенного полуполитического-полууголовного терроризма, ядерный шантаж, демонстративная несговорчивость советской дипломатии — все это делало СССР опасным противником. Исходом борьбы «лагерей» могла стать победа одного из них или гибель обоих, а эта альтернатива никогда не устраивала. С Советским Союзом, обладавшим огромным ядерным арсеналом, приходилось считаться.

Только много ли выиграл от этого сам Советский Союз? Как и можно было предвидеть, противостоять в одиночку всему Западу оказалось для него непосильной задачей. На поддержание своего положения одной из двух мировых сверхдержав он расходовал огромные средства, но явно переоценил при этом собственные возможности. В истощенной военными и другими «великодержавными» расходами стране нарастали и обострялись внутренние проблемы, она подошла к границе своих экстенсивных ресурсов и разорилась.

## 10.7. Вариации на темы будущего

**Р**аспад СССР и конец холодной войны создали новую обстановку для России, для бывших республик СССР, для Восточной Европы и для всего мира. Возникла историческая развилка, появились новые варианты развития европейской и глобальной геополитической ситуации. Что станет с контролировавшимся СССР «Евразийским пространством»? Как будут складываться его отношения с внешним миром? Сохранится ли оно как нечто целостное или отойдет по частям к соседним «большим пространствам»? Какое место займет в нем Россия? Существуют разные ответы на эти вопросы, разные проекты, разные сценарии будущего.

### *Возвращение в Европу*

Поражение в холодной войне и критика «изнутри» советского империализма обусловили появление противоположных ему по смыслу, миролюбивых, основанных на отказе от противостояния Западу внешнеполитических проектов. В их основе лежали идеи сотрудничества «Востока» и «Запада», сталкивающихся с одними и теми же глобальными вызовами.

Подобные идеи вдохновляли в середине 80-х годов инициаторов советской «перестройки», провозгласивших эру «нового мышления», «общеевропейского дома» и пр. Отказ от борьбы с атлантистским Западом и сближение с ним казались естественной альтернативой прежнему глобальному противостоянию, разорившему страну и угрожавшему всемирной ядерной катастрофой. Тогда еще существовал СССР, и считалось, что он и будет единственным или, по крайней мере, основным субъектом сотрудничества с Запа-

дом. При этом не предполагалось слияние с ним, стирание всех границ между «социально-политическими системами». «Перестроечная» геополитическая мысль поначалу считала незбылемым или, во всяком случае, очень долговременным деление человечества на три мира — социалистический, капиталистический и развивающийся — и видела в существовании социалистического блока залог независимости развивающихся стран. «Никому не дано закрыть мир социализма, развивающийся мир или мир развитого капитализма, — писал Горбачев. — А ведь существует такая, с позволения сказать, точка зрения, что социализм — историческая случайность и его пора отправить на свалку. И тогда «третий мир» станет ручным. Все вернется на круги своя — можно и дальше благоденствовать за счет других»<sup>110</sup>. Горбачев, кажется, всерьез считал «второй» (социалистический) мир единственным защитником «третьего», который тем временем мало-помалу превращался в «первый». «Новое мышление» Горбачева допускало лишь, «чтобы мирное соревнование общественных систем развивалось нестесненно, чтобы оно поощряло взаимовыгодное сотрудничество, а не конфронтацию и гонку вооружений»<sup>111</sup>.

Последующее развитие стерло казавшиеся вечными политико-идеологические границы, отделявшие «мир социализма» от других миров, и открыло пути такого взаимодействия «Востока» и «Запада», какое прежде казалось немислимим. Рядом с проектами неконфронтационного сотрудничества между ними стали появляться проекты военно-политического союза, вступления России и других постсоветских государств в НАТО, совместного участия в наведении порядка в других районах планеты и пр. Но одновременно на пути подобного рода проектов стали обнаруживаться и подводные камни.

Нет сомнения, что евроатлантическое сотрудничество с участием России и других государств — наследников бывшего СССР — может быть очень полезно с точки зрения ответа на экономические, социальные, культурные, экологические, демографические вызовы приближающегося XXI века. Даже просто отказ от гонки вооружений увеличивает совокупные ресурсы, которые можно направить на экономическое развитие или защиту окружающей среды. Однако достаточно ли для этого простого «возвращения» к сотрудничеству, которое некогда существовало, — включая и сотрудничество в разделе мира, подавлении революционных движений, подготовке войн?

Есть, по меньшей мере, два опасных направления развития мировой обстановки после окончания холодной войны. Одно из них связано с отношениями Севера и Юга. «Возвращаясь в Европу», постсоветское пространство замыкает «северное кольцо» планеты. Оно становится частью Севера и при этом в каком-то смысле воспроизводится прежняя «европоцентристская» (теперь «североцентристская») структура мира. Не усилит ли это конфронтацию Север — Юг при явном преимуществе Севера? Не поведет ли к возникновению неокOLONIALИСТСКИХ «сфер влияния»? Так ли уж был неправ Горбачев, опасавшийся за судьбу «Третьего мира»?

Идеология либеральных «евроатлантиских» проектов отвечает на эти вопросы примерно следующим образом. Юг уже не представляет собой прежней легкой добы-

<sup>110</sup> Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988, с. 138.

<sup>111</sup> Там же, с. 264.

чи, напротив, его мощь растет, и он может даже сам угрожать Северу, особенно в случае резкого обострения и без того трудно разрешимых экономических, демографических и социальных проблем в какой-либо из его огромных частей. Поэтому речь идет не о новом переделе Юга, а о совместной помощи в решении этих проблем, не в последнюю очередь с целью предотвращения социального взрыва в Третьем мире, чреватого общей угрозой западным ценностям, западному образу жизни, всей западной цивилизации. Эта угроза сплачивает страны Севера (включая Россию и другие постсоветские государства, по крайней мере, европейские), порождает силы, которые их соединяют более, нежели разъединяют. Новая обстановка способствует относительно мирной экспансии западной цивилизации, но в этом нет ничего плохого ни для Запада, ни для Востока (Юга). Постепенно на Юге складываются свои области модернизации (например, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии), и со временем граница между Севером и Югом соотрется.

Вторая опасность связана со взаимоотношениями внутри самого Севера. Он и сейчас неоднороден. Есть, по крайней мере, три «Севера» — США, Европа и Япония, каждая из этих частей имеет собственные экономические и политические интересы, между ними идет довольно напряженное соперничество. Соотношение сил меняется, и безусловное лидерство США все больше ставится под сомнение — как это было в начале века с лидерством Британии. Во времена холодной войны наличие «второго полюса» в виде Советского Союза, Варшавского пакта и пр. сплачивало остальные части Севера перед лицом общей опасности и отодвигало разногласия на второй план. Но теперь советская угроза отпала, а вместе с ней отпали и многие внешние побуждения к сближению. Если Россия — одна или вместе с другими частями бывшего СССР — войдет в состав Севера, даже и отказавшись от советского конфронтационного наследия, огромное пространство Восточной Европы и Северной Азии все равно останется носителем своих собственных интересов. Система отношений между частями Севера усложнится, а это может усилить его внутренние напряжения и даже поставить под угрозу его единство. Не возникнут ли внутри кажущегося солидарным Севера новые противостояния, подобные прежним внутриевропейским, которые уже дважды привели к мировым войнам?

Теоретически есть либеральный ответ и на этот вопрос. Более сложные системы и более устойчивы. Наличие неоднородных частей, меняющееся соотношение их сил как раз и свидетельствует о развитии Севера в направлении многополярности. Добавление России, которая способна превратиться в один из равноправных полюсов Севера, только усиливает эту тенденцию и приближает мир к устойчивому равновесию. Конечно, эгоизм интересов и связанные с этим разногласия не исчезают. Но прежние, военные способы их преодоления уже не имеют смысла. Мировых колониальных империй, основанных на прямых территориальных захватах, больше нет. Даже если вопрос о зонах влияния возникает, он переносится в экономическую и культурную плоскость, но не порождает проблем глобального военного противостояния. Уже сам факт прекращения холодной войны и резкого ослабления ядерной опасности подтверждает правильность такой логики.

Оптимистическую картину начала третьего тысячелетия легче нарисовать, чем воплотить в жизнь. Как ни заманчива либеральная логика благополучного «конца истории», полной гарантии безоблачного будущего она не дает. Вызовы, перед которыми стоит человечество, остаются очень серьезными. Среди них есть и вызовы, порожденные концом холодной войны и разрушением двухполюсного мира. Не отрицая этих вызовов, либеральная, «западническая» мысль склонна считать, что общий баланс совершившихся перемен — положительный. Глобальные проблемы не исчезли, но искать их решения стало немного легче.

### ***Третий русский империализм***

Оптимистический сценарий миролюбивого «возвращения в Европу» — не единственный из занимающих внимание постсоветских политиков. Поражение в холодной войне, распад СССР и утрата им, а стало быть и его преемницей Россией, положения одной из двух мировых супердержав болезненно воспринимаются частью российского постсоветского общества. В России существуют естественные для нынешнего периода ее истории настроения великодержавного реванша, довольно громко звучат голоса критиков и противников отказа от вошедшего в привычку противостояния Западу. Они не придают значения растущей многополюсности мира либо оспаривают ее, зато подчеркнута драматизируют опасности возвращения к миру однополюсному, где, по их мнению, безраздельно господствуют США. Время от времени напоминают о себе мозговые центры, которые разрабатывают новые империалистские сценарии, опирающиеся на национал-патриотические, шовинистские идеи, призванные заменить прежние сценарии, проводившиеся в жизнь под вылинявшими со временем лозунгами пролетарского интернационализма и национально-освободительной борьбы колониальных народов. Используя употребленное в другом контексте выражение А. Зубова («третий русский национализм»), можно говорить о нащупывании геостратегии третьего — после царского и советского — русского империализма.

В 1994 г. французская газета «Монд» опубликовала копию карты Европы будущего, которую Жириновский вручил шведскому дипломату, посетившему штаб-квартиру ЛДПР. Бравой рукой Жириновский начертил (и подписал) свой план европейской перекройки. Западная половина Польши отходит к Германии, к которой к тому же присоединяются Австрия, Чешская Республика и Словения; ей возвращается Восточная Пруссия с Кенигсбергом. Но и Россия не остается внакладе. Она вбирает в себя Украину (от которой отрезается и передается Польше изрядный кусок, включая Львов), Белоруссию, три балтийские государства (Таллинн и Каунас, в порядке исключения, превращаются в города-государства «наподобие Люксембурга или Лихтенштейна»), а также Словакию. Восстанавливается «Великая Болгария» за счет поглощения бывшей югославской Македонии и территорий, отторгаемых от Турции, Греции и Румынии. То, что остается от бывшей Югославии, делится между Сербией и Хорватией, еще одна часть Румынии отдается Венгрии. Замыслы Жириновского, замечает газета, — не просто плод воображения, ибо они воспроизводят элементы реальной карты Европы, какой она была примерно пятьдесят лет назад<sup>112</sup>.

<sup>112</sup> «Le Monde», 29 janvier 1994.

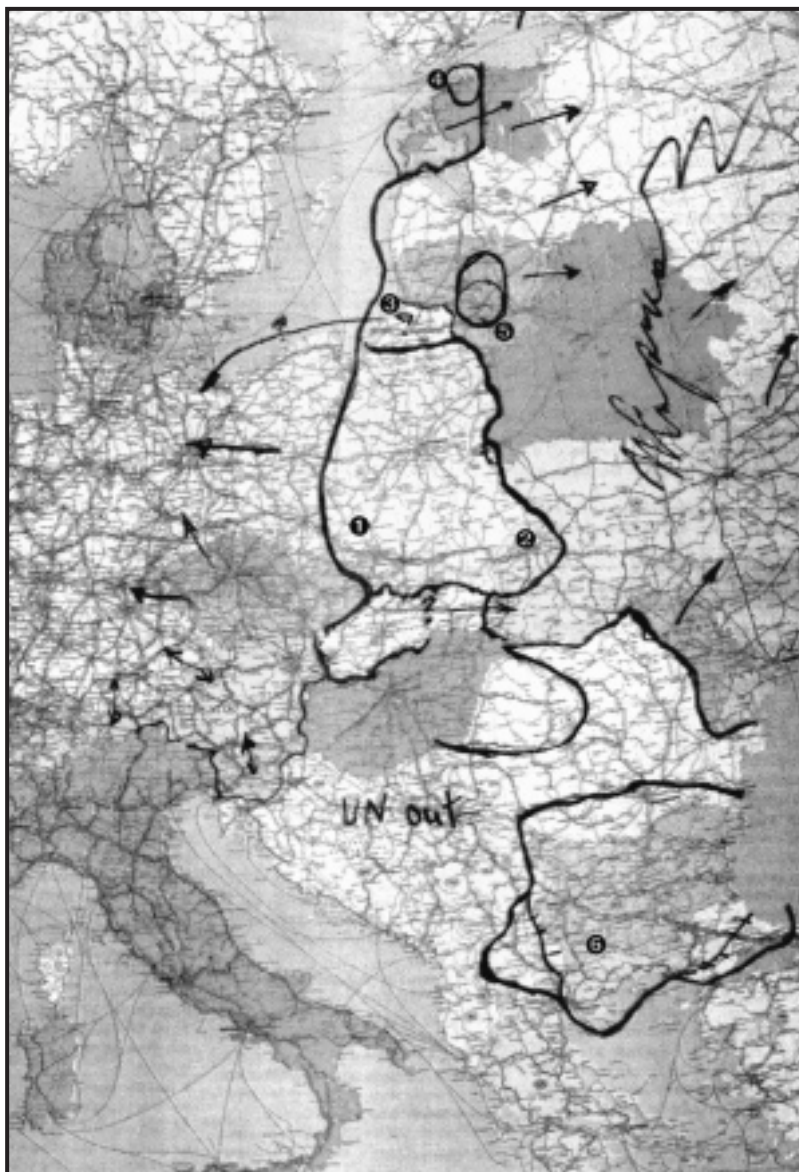


Рисунок 10.1. Будущая Европа по Жириновскому  
Источник: «Le Monde», 29 janvier 1994.



Открытая демонстрация некоторыми российскими деятелями симпатий к «новому европейскому порядку» времен оккупации Европы нацистской Германией — отнюдь не случайный или редкий эпизод. Она вполне созвучна геополитическим проектам, которые вынашиваются определенной частью российского политического истеблишмента. Материал для конструирования таких проектов заимствуется из разных источников — от Данилевского и евразийцев до геополитиков Третьего Рейха и европейских «новых правых». Предлагаемые сценарии также обычно вращаются вокруг идеи возвращения России на Запад (или на Север) с последующим его расколом, «похищения Европы» с продолжающейся борьбой за влияние на Юге. России, как в недавнем прошлом СССР, отводится роль главного форпоста против «атлантизма», «американизма», «мондиализма» и т. п. — теперь уже во главе всей Европы.

В «неоклассическом» варианте такие сценарии означают не что иное, как возрождение одноцентрового мира начала столетия, восстановление — с поправками, учитывающими реальности конца XX века, — того, чего либеральный проект надеется избежать: старого клуба хозяев мира со свойственной ему и сегодня смертельно опасной для человечества системой внутренних отношений. Трудно выразить эту идею яснее и откровеннее, чем это сделал простодушный враг «мондиализма» Жириновский. «Идея мирового господства — порочная. Лучше — разделение сфер влияния. И по принципу: север — юг... Нужно договориться..., что мы разделяем всю планету, сферы экономического влияния и действуем в направлении север — юг. Японцы и китайцы — вниз, на Юго-Восточную Азию, Филиппины, Малайзию, Индонезию, Австралию. Россия — на юг — Афганистан, Иран, Турция. Западная Европа — на юг — африканский континент. И, наконец, Канада и США — на юг — это вся Латинская Америка»<sup>113</sup>.

В том особом мире, где Жириновский может считаться либеральным демократом, неизбежен и свой антилиберальный полюс, для которого даже схема раздела мира по варианту Данилевского-Хаусхофера-Жириновского — проявление слабости, недопустимая уступка дьявольскому «мондиализму». Душа может успокоиться, только если будет воссоздана империя, претендующая на мировое господство. «Эта империя... должна стратегически и пространственно превосходить предшествующий вариант (СССР)..., должна быть евразийской, великоконтинентальной, а в перспективе — Мировой. Битва за мировое господство русских не закончилась»<sup>114</sup>.

Конечно, разночтения в книге будущего, которую пишут сегодня российские имперские реваншисты, не следует преувеличивать. В основном они — заединщики, дружно рвущиеся, по крайней мере на словах, заново переделить мир и установить в нем новый порядок. Их роднит стремление переписать историю XX века, пересмотреть итоги Второй мировой войны, реабилитировать тоталитаризм и милитаризм во всех их видах. Умеренными не назовешь никого из них. Но даже на таком в целом беспокойном фоне нынешних имперских и полумперских проектов нельзя не заметить идеологических и политических течений, выделяющихся особой крайностью позиций. Порой эти позиции кажутся оригинальными, да они и в самом деле оригинальны для России, где все же не

<sup>113</sup> Жириновский В.В. Последний бросок на юг. М., 1993, с. 71–72.

<sup>114</sup> Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997, с. 213.

принято было ставить под сомнение ни окончательный выбор стороны, на какой СССР воевал во Второй мировой войне, ни ее с таким трудом достигнутые результаты. Но именно это делают некоторые новейшие российские «геополитики». Их Мекка — германо-советский пакт 1939 г., их главное горе — несостоявшееся братство Сталина и Гитлера. «Нашей общей трагедией стало то, что силы всемирного заговора смогли развести наши страны и направить в 1941 году всю мощь германского вермахта не против истинного врага немецкого народа — международной финансовой олигархии, а на Советский Союз, его естественный союзник»<sup>115</sup>.

Но беду еще можно поправить, даже несмотря на то, что возможности, существовавшие во времена СССР, были упущены. Вскоре после его распада самые разные издания — «Советская Россия» и «День», «Наш современник» и «Элементы» — принялись ностальгически популяризировать идеи практически неизвестного на Западе бельгийского автора Ж. Тириара, «рыцаря Европы», полагавшего что «для реализации идеи объединения Европы нужна помощь Советской армии»<sup>116</sup>. Во время Второй мировой войны этот «Ленин европейской национальной революции» принадлежал к «кругам СС..., пытавшимся... изменить логику абсурдной и самоубийственной войны с Востоком и, сместив Гитлера и англофильское лобби вокруг него, вместе с советскими солдатами совершить великий *Drang nach Westen*, чтобы навсегда покончить с англо-саксонской плутократией и завершить войну не в расчлененном Берлине, но вместе с русскими войти в поверженный Лондон и поставленный на колени Нью-Йорк»<sup>117</sup>. Позднее Тириар развивал идеи «Евро-советской империи от Владивостока до Дублина». «С геополитической точки зрения, — пересказывает позицию Тириара «патриотический» геополитический журнал, — СССР является наследником Третьего рейха. Ему ничего другого не остается, как, двигаясь с востока на запад, выполнить то, что Третий рейх не сумел проделать, двигаясь с запада на восток»<sup>118</sup>.

Подобные публикации послужили камертоном, на который настраивалась разработка более обстоятельных, продуманных до деталей проектов возвращения к положению, существовавшему между сентябрем 1939 и июнем 1941 г. Тут уж ни о какой оригинальности говорить не приходится — идет простое извлечение из нафталина подзабытых нацистско-большевистских замыслов (частично реализованных тогда) конца 30-х годов. Вот основные звенья одного из таких проектов. Создание на месте СССР новой империи, которая «не может быть никакой иной, кроме как Русской»<sup>119</sup>. Создание Европейской империи под руководством Германии, ибо «только Германия и немецкий народ обладают всеми необходимыми качествами для эффективной интеграции этого геополитического региона»<sup>120</sup>. «Создание прочной геополитической и стра-



тегической оси Москва-Берлин», ибо «в нынешних условиях трудно ожидать от Европы подлинного геополитического и национального пробуждения без революционного воздействия русского фактора»<sup>121</sup>. «Заведомое развешивание иллюзии промежуточных государств относительно их потенциальной независимости от геополитически могущественных соседей. Необходимо создать непосредственную и ясную границу между дружественными Россией и Средней Европой (Германией)»<sup>122</sup>. Создание оси Москва-Токио<sup>123</sup> и возрождение японского экспансионизма в тихоокеанском бассейне. «Федерация тихоокеанского пространства вокруг Японии была основной идеей т.н. «паназиаатского проекта», начавшего реализовываться в 30-е – 40-е годы и прерванного лишь из-за поражения стран оси в войне. К этому паназиатскому проекту необходимо вернуться сегодня»<sup>124</sup>. Создание оси Москва-Тегеран, ибо Иран для Азии — это то же, что Германия для Европы. К тому же «иранский ислам — наилучшая версия ислама для вхождения в континентальный блок, и именно эта версия должна быть приоритетно подержана Москвой». Поэтому «Москва... должна ... делегировать Тегерану миссию наведения „иранского мира“ (Pax Persica)» в Центральной Азии<sup>125</sup>. И, наконец, венец всех этих усилий — подрыв мощи США «вплоть до полного разрушения этой геополитической конструкции»<sup>126</sup>.

Победоносный имперский проект имеет подварианты. Например, в другой его версии несколько больше внимания уделяется Китаю и Индии — странам с населением 2,2 млрд. человек — более трети мирового населения, в 15 раз больше, чем в России. Они рассматриваются как естественные союзники между собой и, конечно, с Россией — разумеется, под ее руководством. Но в остальном — идеи те же. «Нашими естественными стратегическими союзниками должны быть Германия и Япония... Представим себе, какие геополитические последствия для всего мира могли бы иметь... российские инициативы: 1. Образование военно-политического союза Германии, России и Японии, т.е. создание оси «Берлин-Москва-Токио». 2. Защита этой оси с юга блоком Россия-Китай-Индия, открывающим Китаю путь территориальной экспансии на Запад через Южный Казахстан и Иран на Турцию и закрепляющим ведущую роль Индии в субрегионе полуострова Индостан. 3. Совместный с Германией и Японией „пердел“ сфер влияния в Европе, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке»<sup>127</sup>.

Российские «патриоты» призывают «японский и немецкий народы отказаться от порождающих их конституций, ограничивающих эти две великие страны в свободе внутрен-

<sup>115</sup> Митрофанов А. В. АнтиНАТО. Новая идея российской геополитики. Тактика и стратегия на современном этапе. М., 1997, с. 21. «Направить на естественный союзник» звучит немножко по-немецки, но для настоящего русского патриота, тем более депутата Государственной Думы, это, конечно, не беда.

<sup>116</sup> Тезисы Жана Тириара. Элементы, 1993, 1, с. 8.

<sup>117</sup> Дугин А. Консервативная революция. М., 1994, с. 72.

<sup>118</sup> Тезисы Жана Тириара, с. 5.

<sup>119</sup> Дугин А. Основы геополитики, с. 215.

<sup>120</sup> Там же, с. 220.

<sup>121</sup> Там же, с. 222.

<sup>122</sup> Там же, с. 226.

<sup>123</sup> В данном случае добросовестное следование схеме «великого Хаусхофера» заставляет автора

ней и внешней политики»<sup>128</sup>. Необходим «официальный отказ от всех соглашений, определяющих и закрепляющих послевоенные границы как в Европе, так и в Азии»<sup>129</sup>. Польша должна «незамедлительно вернуть все немецкие (включая часть Восточной Пруссии) и белорусские земли». России следует начать переговоры с Германией «об урегулировании вопроса российской части Восточной Пруссии»<sup>130</sup>. Ее «целесообразно вернуть ... Германии... Для того, чтобы это действие не стало бы восприниматься русскими как очередной шаг в геополитической капитуляции, Европе имеет смысл предложить России другие территориальные аннексии или иные формы расширения стратегической зоны влияния»<sup>131</sup>. «Страны Прибалтики, Польша, Молдавия и Украина... должны подвергнуться геополитической трансформации»<sup>132</sup>. Необходимо выработать «согласованный подход по Прибалтике и Украине, по немецким землям в составе Франции и Чешской Республики». «Пусть попробуют доказать, что идея атлантизма будет немцам ближе идеи национального возрождения!!!»<sup>133</sup>.

Амбициозность имперско-патриотических внешнеполитических проектов может сравниться разве что с их невыполнимостью. Кажется, что их авторы оторваны от реальности еще больше, чем Данилевский или Хаусхофер. Впрочем, возможно, это и не совсем так. В «третьем русском империализме» есть что-то бутафорское, что-то от дымовой завесы, скрывающей некие неназываемые или нечетко называемые цели. Планируя всемирное кровопролитие на весь XXI век, российские «геополитики» едва ли и в самом деле собираются немедленно маршировать к Индийскому океану или Персидскому заливу, воевать с Китаем или аннексировать Финляндию. Суть дела, видимо, в другом.

Разумеется, они были бы не прочь восстановить распавшуюся империю. И есть своя логика в том, что центр тяжести направленных на эту цель пропагандистских усилий смещается с обесценившихся внутривнутриполитических («братство народов», «совместное построение коммунизма» и пр.) на внешнеполитические доводы, подводящие к якобы объективному требованию «воссоединения евразийских территорий под покровительством России как „оси Истории“»<sup>134</sup>. Но за великодержавной геополитической риторикой еще более ясно просматриваются внутривнутриполитические цели, стремление вернуться к проверенной стратегии «косажденной крепости», восстановить утраченное «оборонное сознание» и создать таким образом предпосылки для реванша тоталитаризма.

По сути, речь идет о *геополитической утопии*, которая предлагается взамен потевшей привлекательность хилиастической утопии построения царства Божия на земле. Геополитика возводится в ранг мировоззрения, универсальной идеологии, призванной заменить «марксизм» в не отвыкшем еще от идеократии постсоветском российском

основательно попотеть, чтобы, вопреки своей собственной континенталистской логике, сделать выбор между Токио и Пекином в пользу Токио. Тем не менее выбор сделан, и автор лишь замечает, сурово насулив брови, что «в случае активного противодействия евразийским проектам, с Китаем придется обращаться как с геополитическим противником со всеми вытекающими отсюда последствиями» (с. 236).

<sup>124</sup> Дугин А. Основы геополитики, с. 233.

<sup>125</sup> Там же, с. 242, 244.

<sup>126</sup> Там же, с. 248.

обществе и возродить забываемое мобилизационное напряжение. Диковатые проекты «геополитиков» должны оправдывать навязывание России новой идеократии, не слишком, впрочем, отличной от старой. Теперь ей предлагается нечто вроде придуманной еще евразийцами смеси православия с большевизмом. Несмотря на «во многом национал-коммунистический» характер советской идеологии, подлинная «идеология национал-большевизма... так и не была сформулирована»<sup>135</sup>, сожалеют «геополитики» и выкладывают на прилавок слегка подправленные евразийские рецепты. «В рамках русского этноса русский национализм должен быть единственной и тотальной идеологией..., всегда остающейся постоянной во всем, что касается постановки категории „нации“ над категорией „индивидуальности“». В конечном счете, должен быть выдвинут радикальный лозунг: «нация — все, индивидуум — ничто»<sup>136</sup>. «Осуществление такого национализма в политике должно означать тотальное воцерковление русских и превращение всех культурных институтов в продолжение Единой Церкви... Воцерковлению... подлежат не индивидуумы, но вся русская культура, наука, мысль вместе взятые»<sup>137</sup>. Все это, по-видимому, снова должно стать «колесиком и винтиком» одного единого, великого, но на этот раз церковного механизма, составной частью организованной, планомерной, объединенной националистической партийной работы<sup>138</sup>.

Христианское смирение будущих воцерковленных завоевателей мира хорошо сочетается с их целомудрием. «Патриоты-традиционалисты» «в вопросах пола однозначно настаивают на внутренней концентрации эротического импульса и на его сакрализации. В пределе... это означает тотальную переориентацию секса в духовную сферу»<sup>139</sup>. В духовной же сфере эротической кульминацией, оказывается, как раз и служит Империя, ибо «высшей формой планетарной эротики, макрокосмической сексуальности является имперостроительный импульс, который ведет к объединению гигантских географических, этнических и культурных пространств под эгидой единого правителя»<sup>140</sup>. «Россия была одной из последних Империй, которая сохраняла сугубо имперскую эротическую специфику намного дольше других государств». Распад Империи, «наносающий удар в самый центр эротической стихии ее жителей», порождает реакции, которые проявляются «в течение долгих веков после гибели Империи как постоянное и настойчивое стремление к Реставрации»<sup>141</sup>. Поэтому «эротическая программа» русских патриотов вызывает «к древним, глубинным энергиям великой имперской расы»<sup>142</sup>, а «эротизм становится для нас почти единственным средством для реального выбора, который решит окончательно судьбу нашей Державы и нашей Имперской Расы»<sup>143</sup>.

<sup>127</sup> Митрофанов А. В. АнтиНАТО, с. 19–20.

<sup>128</sup> Там же, с. 21.

<sup>129</sup> Там же, с. 16–17.

<sup>130</sup> Там же, с. 18.

<sup>131</sup> Дугин А. Основы геополитики, с. 228.

<sup>132</sup> Там же.

<sup>133</sup> Митрофанов А. В. АнтиНАТО, с. 18.

<sup>134</sup> Там же.

<sup>135</sup> Дугин А. Основы геополитики, с. 203.

<sup>136</sup> Там же, с. 257.

<sup>137</sup> Там же, с. 256.

Внешнеполитические и внутривнутриполитические мотивы в рассуждениях «геополитиков» все время перемешиваются, так как «национальные тенденции политической оппозиции внутри России с необходимостью... солидарны со всеми антимондиалистскими проектами геополитической интеграции вне России»<sup>144</sup>. Геополитические доводы используются как инструмент психологического давления на внутривнутриполитических противников, а — в случае успеха — и для оправдания будущего внутривнутриполитического террора. «Пока геополитические диверсанты дышат, Россия задыхается. Она сможет вздохнуть свободно и начать столь необходимое для нее „собрание Империи“ как только „подрывники“ испустят дух»<sup>145</sup>. «Тот, кто знает логику действия великих эротических энергий, легко может предвидеть, что чужеземно ориентированные поборники „правовых государств“ рано или поздно станут жертвой эротической агрессии имперских этносов»<sup>146</sup>. «Тот, кто действует против Евразийского Имперского Проекта, действует против своего народа, против своего государства, против национальных и социальных интересов России. Вполне справедливо считать таких персонажей „преступниками против Родины“ и поступать с ними по законам военного времени... Всенародный Суд над ними... должен вершиться не по законам абстрактного права, но по законам Русской Исторической Правды, по законам нашего Большого Пространства»<sup>147</sup>.

К сожалению, обилие заглавных букв — не единственная сила «геополитиков». Как ни примитивен их раздражительный замысел, как ни нелепа его псевдорелигиозная, мистическая оболочка, как ни несбыточна утопия новой великой империи, у них все-таки есть потенциальные сторонники. Оказавшиеся на экономической или культурной обочине общества «массы» всегда восприимчивы к «великим проектам», особенно если им не предлагают ничего другого. Может быть, число людей, готовых надеть военную форму и отправиться на завоевание мира, не так уж велико в сегодняшней России. Но при этом нельзя отрицать, что великодержавные лозунги отвечают настроением части общества, и это приходится учитывать всем актерам, действующим на российской политической сцене. Идеология «патриотического» внешнеполитического проекта проникает, пусть пока и в не очень больших дозах, в сознание конформистской интеллигенции, российской политической элиты, в какой-то мере материализуется в официальной политике России. Так что и «геополитики» не остаются совсем неслышанными. Хотя им, конечно, хотелось бы большего. Намного большего.

### **Островная утопия**

Естественной реакцией на опасный во всех отношениях имперский реваншизм является появление противоположных ему по смыслу изоляционистских проектов. «Среди всех нынешних искушений России самые опасные... искушения „третьеримством“, „собранием земель“ и реинтеграцией союзных пространств», — заявляет современный автор<sup>148</sup> и предлагает свой образ геополитического будущего России. Раз уж ее судьба

<sup>138</sup> Найдутся, возможно, нервные интеллигенты, которых встревожит такая перспектива, но им следует прочесть статью Ленина «Партийная организация и партийная литература» и успокоиться.

<sup>139</sup> Дугин А. Консервативная революция, с. 214.

<sup>140</sup> Там же, с. 217.

<sup>141</sup> Там же, с. 218.

как супердержавы не сложилась, а ее империя распалась, почему бы России, все еще обладающей самой большой на планете территорией, самым большим в Европе населением, огромными природными ресурсами и отнюдь не самым маленьким ядерным потенциалом, не обособиться еще больше от покинувших ее «братских республик» да и от всего мира? Почему бы не «вывести Россию из ареала столкновения ислама с либерализмом, ставя ее вообще вне распри „имущего“ и „неимущего“ миров»<sup>149</sup>, и не зажить в городом одиночестве, постепенно по-новому решая «вопрос об Океане для острова России»<sup>150</sup>?

Ниточка этой идеи тянется в 70-е годы, когда «начинает неожиданно громко звучать голос русского изоляционизма с обертонами редуционистского „отречения от империи“»<sup>151</sup>. Он звучал, например, в некоторых самиздатовских изданиях, в частности, в журнале «Вече» — его редакция «не желала идентифицировать себя с „мессианистами“ и подчеркивала идеологическую преемственность по отношению к Данилевскому, который «отвергал любой национальный мессианизм»<sup>152</sup>. Но все же тогда речь шла (как и у Данилевского) об имперском изоляционизме. «Славянской Федерации» у Данилевского, СССР у авторов «Вече» предписывалось «закрыв на замок границы... титанической империи, спокойно ждать, пока Запад окончательно „сгниет“ под давлением своих внутренних противоречий»<sup>153</sup>.

Теперь же приходится искать место «вне распри „имущего“ и „неимущего“ миров» для России в более узких географических рамках. Однако вся остальная схема остается прежней, включая и видоизмененное воспроизведение давней «изоляционистской» риторики Данилевского. «Для нас благоприятно положение дел, когда революционаризм не может взорвать миропорядка, но и лидеры „центра“ не могут быть уверены в том что диктуемые ими правила не будут подвергнуты критике оружием уже на ближайшей периферии, а то и в собственных цитаделях Запада. Это затяжное нестабильное равновесие не за наш счет даст России время, а при ловкой политике — и свободу рук для проведения подлинных реформ, гармонизирующих метаморфозу страны... На любые... столкновения западного легитимизма с бунтом нам следовало бы реагировать максимально деидеологизированно, вне любых общих принципов, но исходя только из собственной заинтересованности, а при отсутствии таковой — из обстоятельств дела, чаще всего подсказывающих нейтралитет, хотя и не всегда»<sup>154</sup>.

Если что и может смутить сегодня наше изоляционистское смирение, так это неблагоприятный геополитический баланс на юго-восточных границах «кострова». «На юге Сибири, а не на западе и даже не в Средней Азии, у „острова Россия“ обозначается „геополитический Сиваш“, где на наши пространства надвигается соседняя этноцивилизационная платформа... В конце концов количественный перевес китайцев и их преобла-

<sup>142</sup> Там же, с. 219.

<sup>143</sup> Там же, с. 220.

<sup>144</sup> Геополитические проблемы ближнего зарубежья. «Элементы», 1993, 3, с. 19–20.

<sup>145</sup> Россия и пространство. «Элементы», 1993, 4. Геополитические тетради, с. 35.

<sup>146</sup> Дугин А. Консервативная революция, с. 219.

<sup>147</sup> Там же.

дание в хозяйстве края, вместе с притяжением его к Китаю как к товарной и технологической метрополии, должны дать качественный эффект смещения границ»<sup>155</sup>. Что же противопоставляется этой, в общем вполне реальной опасности? «Приоритет внутренней геополитики», нацеленной на сдвиг к «своему востоку».

Если бы Россия занимала только свою европейскую территорию — по Урал включительно, многие современные вопросы отпали бы, путь интеграции с Европой был бы едва ли не единственным. Но Россия обременена Сибирью, которая и сообщает всей стране ее неповторимую геополитическую особенность. «Россия возникает в полноте необходимых и достаточных геополитических характеристик... в течение XVI в., и последней среди этих характеристик стал выход русских в земли Заволжья и Зауралья. Россия не присоединяла Сибири — она создавалась Сибирью так же, как маргинализацией Восточной Европы в системе западного мира-экономики»<sup>156</sup>. Худо ли, хорошо ли, но история выкроила таким образом кусок мирового пространства под названием «Россия», отделила его от других и заставила жить своей особой жизнью. Учитывая же фундаментальную роль Сибири, Россия может, не теряя своей геополитической идентичности, отступить на Восток, сместив туда и центр страны — в район Новосибирска, а может быть, и восточнее<sup>157</sup>. С таким развитием событий связывается возможность «новых отношений с Американами и той же старой Европой, и обретения себя... в мировом раскладе первой половины XXI в.»<sup>158</sup>.

Идеи «обретения себя» Россией и одновременно защиты от китайской опасности с помощью сдвига на восток имеют, возможно, тот же источник, что и изоляционистские замыслы. «Раздел России на европейско-урбанизированную и сибирско-православную — ...ось либеральной утопии „Вече“... Новая азиатская Россия должна была, по крайней мере, временно принести в жертву свою европейскую праматерь». «Предлагая план создания в Сибири „второй России“, авторы „Вече“... надеялись превратить Сибирь в русскую крепость, способную «противопоставить китайскому „людскому морю“, готовящемуся „густой волной“ покатиться по просторам Сибири», традиционную патриархальную стойкость русского солдата-мужика и его православный энтузиазм». «Только Сибирь могла бы спасти и свободу, и Отечество, и советскую амбицию»<sup>159</sup>.

Сибирь — могучий тыл, в который вся страна может отступить, чтобы перегруппировать силы и обновиться. Таков идеальный образ. А какова действительность? Мы уже видели, что России так никогда и не удалось по-настоящему заселить и освоить свою азиатскую часть. Слабость утончающегося к востоку меча русской колонизации явственно ощутилась уже в начале нашего столетия, когда об этом и писал В. Семенов-Тянь-Шанский. Она снова дала о себе знать во время Второй мировой войны, когда в самые тяжелые моменты немецкого наступления приходилось опасаться японского второго фронта и держать на Дальнем Востоке огромную армию. Если эта тема не привле-

<sup>148</sup> Цымбурский В. Метаморфоза России: новые синтезы и старые искушения. // Вестник Московского университета. Сер. 12, Социально-политические исследования. 1994, 3, с. 6.

<sup>149</sup> Цымбурский В. Остров Россия, с. 22.

<sup>150</sup> Там же.

<sup>151</sup> Там же, с. 17.

кала большого внимания в послевоенные десятилетия, то лишь потому, что Сибирь и Дальний Восток были частью супердержавы, нападать на которую уж во всяком случае никто не стал бы.

Но за это время стратегическое положение Сибири и Дальнего Востока не улучшилось. Рост их населения замедлился, а сейчас оно и вовсе убывает. До недавнего времени слабая заселенность азиатской части России могла рассматриваться прежде всего как ее внутренняя проблема — с точки зрения неравномерности размещения производства, недоиспользования сибирских ресурсов и т.п. Распад СССР, а также политические, экономические и демографические изменения в южных и восточных сопредельных странах все более усиливают внешнеполитическое значение сибирского малолюдья. Демографический взрыв в Китае и в Южно-Центральной Азии за несколько десятилетий резко изменил и продолжает изменять соотношение демографических масс вдоль всей южной границы России, которая еще недавно была по преимуществу южной границей СССР (табл. 10.8.)<sup>160</sup>. Одновременно быстро растет и военно-экономический потенциал южных и восточных соседей России.

**Таблица 10.8. Население России и ее южных и восточных соседей, 1950–2050 гг., млн. человек.**

<i>Страны или группы стран</i>	<i>1950</i>	<i>1990</i>	<i>2000 (прогноз)</i>	<i>2050 (прогноз)</i>
<b>Бывший СССР</b>	<b>180,3</b>	<b>288,6</b>	<b>[293,3]</b>	<b>[291,4]</b>
<b>Россия</b>	<b>101,2</b>	<b>147,9</b>	<b>146,2</b>	<b>114,3</b>
<b>Китай</b>	<b>554,8</b>	<b>1155,3</b>	<b>1276,3</b>	<b>1516,7</b>
<b>Япония</b>	<b>83,6</b>	<b>123,8</b>	<b>126,4</b>	<b>109,5</b>
<b>Центральная Азия*</b>	<b>17,5</b>	<b>50,4</b>	<b>57,4</b>	<b>94,8</b>
<b>Южно-Центральная Азия**</b>	<b>82,9</b>	<b>246,3</b>	<b>315,4</b>	<b>683,8</b>

\* Казахстан и бывшие советские республики Средней Азии.

\*\* Центральная Азия, Иран, Афганистан и Пакистан.

*Источник: UN World Population Prospects: the 1996 Revision, Annex I. Demographic indicators. UN, NY, 1996, Table A.4 (Medium variant).*

Особенно показательно положение в районах, примыкающих к российско-китайской границе на Дальнем Востоке. Здесь, к югу от Амура, находятся три провинции се-

<sup>152</sup> Янов А. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988, с. 176.

<sup>153</sup> Там же, с. 175.

<sup>154</sup> Цымбурский В. Метаморфоза России... Социально-политические исследования. 1994, 4, с. 38.

<sup>155</sup> Там же, Социально-политические исследования. 1994, 3, с. 10.

<sup>156</sup> Там же, с. 21.

<sup>157</sup> Цымбурский В. Остров Россия, с. 22.

<sup>158</sup> Там же.



веро-восточного Китая (Манчжурия) с население около 100 млн. человек<sup>161</sup> (в 1907 г. было около 17 млн.<sup>162</sup>). Плотность населения здесь почти в сто раз выше, чем на российском Дальнем Востоке, и почти в 35 раз выше, чем, в среднем, в трех расположенных вдоль границы федеративных землях — Амурской области, Хабаровском и Приморском краях (3,7 человека на 1 кв. км).

Конечно, отношения с сопредельными странами определяются не одними демографическими факторами и даже не ими в первую очередь. Но и недооценивать их значение, видимо, не следует. Существование проблемы Сибири не секрет для мира и даже некоторый источник беспокойства для него. «Сибирь станет крупной ставкой в игре XXI века... Если Сибирь будет потеряна Россией, она не останется долго без хозяина. Ее богатства, как и ее стратегическое положение делают ее объектом вожделения для тюрко-монгольского мира, граничащего с ней на юго-западе, для Китая на юге, наконец, для Японии, которая смотрит на нее с востока... От того, кто будет владеть Сибирью, зависит будущее мира и прежде всего будущее граничащей с нею Европы»<sup>163</sup>. Размышления на тему Сибири появляются и у российских авторов, у них начинает звучать то же беспокойство: «растущий дефицит населения, особенно к востоку от Урала... ухудшает шансы России не только освоить, но и сохранить за собой этот богатейший регион»<sup>164</sup>. Это же беспокойство слышится и у В. Цымбурского и отражается в его проекте «сжатия» российского пространства. «Видя у России европейскую, евразийскую, „римскую“ и подобные континентальные миссии, мы кончим тем, что потеряем Сибирь, а с ней потеряем и Россию»<sup>165</sup>, утверждает он и потому декларирует отказ от всех старых мессианских претензий и нечто вроде изоляционистского ухода России в сибирский скит, на свой «остров», «восточный крен с опорой на Сибирь».

Речь идет о сосредоточении «основной геополитической энергии страны на плавном повышении хозяйственного и демографического удельного веса Сибири», о «смещении центра страны, завершающем ее метаморфозу»<sup>166</sup>, что само по себе достаточно утопично. Но надо ли говорить, что даже если вся Россия переселится за Урал, это не слишком сильно изменит соотношение «антропомасс» или экономических потенциалов Сибири и Китая? Поэтому, коль скоро сдвиг на восток декларирован, естественным образом начинает слабеть изоляционистский заряд, и сами собой возникают «новые синтезы и старые искушения», не так уж далеко отстоящие от привычных синтезов и искушений «нашего великоимперского, западноцентристского 300-летия»<sup>167</sup>.

Если что и меняется немного, так это география предпочтений. С одной стороны, требуется «признать наш уход из Европы как решение, вычлняющее Россию с ее праг-

<sup>159</sup> Янов А. Цит. соч., с. 183, 184. Янов цитирует «Вече» и «Вольное слово».

<sup>160</sup> Демографический взрыв на южных границах СССР, как и во всем развивающемся мире, вызван объективными историческими причинами, избежать его было нельзя. Но можно было смягчить, ослабить его мерами своевременной и разумной демографической политики, чего добивались западные страны. Официальный же СССР, повсюду искавший конфронтации с Западом, резко противился этому, бездумно действуя против своих собственных долговременных интересов. В частности, жесткая «антимальтузианская» позиция СССР, по-видимому, повлияла на демографическую политику Китая, где в свое время отказались от курса на планирование семьи и вернулись к нему значительно позднее. В 1950 г. в Китае было 555 млн. человек, в 1994 — 1,2 миллиарда.



матикой из пространства континента»<sup>168</sup>. С другой же стороны, «исключительно многое могло бы зависеть от достижения взаимодействия с Японией как со страной „центра“ (в смысле „западоцентризма“, т.е. как с „западной“ страной — А. В.)... Составляя на первых порах противовес неотменимому континенталистскому присутствию Китая, японское участие [в российской экономике] могло бы дать толчок к активизации американских и западноевропейских конкурентов Японии. Усилия России надо направить на то, чтобы подключить „мировое цивилизованное“ к развитию нашего востока не как штаб „нового порядка“, а как сообщество конкурирующих сил, где каждая в конечном счете пытается действовать в своих непосредственно обозреваемых интересах»<sup>169</sup>.

Сама по себе идея создать в Сибири условия для международного сотрудничества, а значит и соперничества, не лишена смысла. Но почему надо увязывать эту задачу с нереалистической перспективой «сдвига на восток»? И каким образом этот сдвиг сам по себе освободит Россию от ставшего привычным ««подсоединения» к экономике Запада в маргинальной роли одного из поставщиков энергоносителей и импортера высокотехнологичной продукции»<sup>170</sup>? Ведь само взаимодействие с Западом не отвергается. Чем предлагаемое движение на «Запад» через Сибирь и Японию лучше, чем вековое — через Европу? В. Цымбурский хочет оборвать дурную бесконечность российских «циклов похищения Европы», а попросту говоря, участия России в европейских военных конфликтах. Доброе намерение. Однако пока никто и не приглашает ее к такому участию — разве что наши собственные доморощенные «геополитики». Правда, экстраполяционная логика Цымбурского все равно заставляет его опасаться нового «цикла»: три уже было, стало быть, возможен и четвертый, которого и надо страшиться как «плевок против конъюнктурного ветра мировой и русской истории»<sup>171</sup>. Что ж, гарантий против такого «плевок» никто, конечно, дать не может. А разве есть гарантии, что Дальний Восток, Тихоокеанский регион будут в XXI веке самым спокойным местом в мире и что, сдвинувшись на «свой восток», Россия окажется вне мировых циклов и вне любых военных конфликтов?

Той Европы, какая существовала даже в начале нашего столетия, больше нет, ее место в мире занял «Запад», или «Север». Мировые ставки укрупнились, а роль отдельных государств, даже крупных, стала намного меньшей. Всем приходится искать себе союзников, Россия не исключение. Поэтому предлагаемое «островитянство», если бы оно было осуществимо, могло бы означать лишь еще одну попытку России использовать огромность своих территорий как стратегический ресурс и, осуществив «сибирский гамбит», найти себе новых геополитических союзников на востоке, например, в лице той же Японии. Но надо ли, вслед за Данилевским, наивно думать, что только мы можем быть хитрыми и коварными? Что Россию только и ждут на Дальнем Востоке? Сдвинуться на восток и обнажить запад? Такие подвижки могли бы повлиять на расклад сил внутри «Севера», но вовсе не обязательно в пользу России. Всегда найдутся претенденты

<sup>161</sup> China's 4th national population census data sheet. Beijing, 1990.

<sup>162</sup> Cagnat R., Jan M. Le milieu des empires. Entre URSS, Chine et Islam, le destin de l'Asie centrale. Paris. 1990, p. 89.

<sup>163</sup> Béhar P. Une géopolitique pour l'Europe. Vers une nouvelle Eurasie? Paris, 1992, p. 143, 145.

<sup>164</sup> Сорокин К. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996, с. 22.

на воплощение в жизнь все того же «великого проекта Хаусхофера» — и не обязательно в редакции журнала «Элементы», которая, кажется, считает себя уполномоченным представителем российского хартленда. Хартленд — вещь мифологическая, а Сибирь — вполне реальная и очень заманчивая «ставка в игре XXI века». Попытка создания континентальной «оси» Германия-Россия-Япония в XXI веке привела бы к полному нарушению сложившегося глобального геополитического баланса, а в конечном счете, возможно, и к финальной мировой катастрофе. Но если бы она удалась, она не оставила бы места независимости многих государств, нанизанных на «ось» силою географических обстоятельств, — и как бы островной России, исповедующей идею нестабильного равновесия за чужой счет, самой не оказаться на этом шампуре.

### **Евразийский союз?**

И империалистские, и, как ни странно, изоляционистские проекты несут в себе опасность крупномасштабных сдвигов в соотношении мировых сил, нарушения и без того хрупкого глобального равновесия. Осознание такой опасности подталкивает к своеобразному геополитическому консерватизму, к поискам путей реабилитации, восстановления целостности и самостоятельности постимперского, «евразийского» геополитического пространства — но таких путей, какие не вели бы к резкому нарушению глобального status quo, а напротив, способствовали его сохранению либо постепенной мирной эволюции.

Если исходить из общего движения мира к многополярности и в то же время не идеализировать без меры международные отношения будущего столетия, то наиболее естественным представляется сохранение за всем постсоветским пространством — а не только за Россией — роли одного из нескольких крупных региональных полюсов, конструктивно участвующих в поддержании мирового геополитического равновесия и в то же время не забывающих о своих собственных интересах. Речь идет о системе коллективной безопасности постсоветского пространства, черпающего силу внутри самого себя, а не в дестабилизирующих союзах с другими геополитическими структурами. При определенных условиях подобное решение может быть выгодно не только наследникам бывшего СССР, но и его главным стратегическим противникам, отнюдь не заинтересованным в превращении одной шестой части земной суши в геополитическую воронку, способную в XXI веке поставить на грань исчезновения человеческую цивилизацию. В этом таятся глубинные основания их отношения к России. Слабая Россия, не способная нести свою долю ответственности за поддержание мирового баланса сил, не нужна никому. Но и сильная Россия нужна миру не всякая. Сильная, но агрессивная, авторитарная Россия, продолжающая настаивать на своих великодержавных амбициях, пытающаяся диктовать свою волю на просторах бывшего СССР, опасна для всех — и ближних, и дальних, она способна только распухать своих вчерашних друзей и союзников. Демократическая и либеральная Россия, отказавшаяся от былых имперских притязаний, но добившаяся внутренних успехов, обладающая сильной экономикой и развитыми демократическими институтами, напротив, способна стать естественным центром притяжения для всего региона, глав-

<sup>165</sup> Цымбурский В. Метаморфоза России... Социально-политические исследования. 1994, 3, с. 11.

<sup>166</sup> Там же.

ным поборником переустройства всей системы отношений на посттоталитарных просторах бывшего СССР.

Снова «центр»? Нет ли в самом этом слове намек на нашаривание нового образа того, что уже существовало, на хотя бы частичное воссоздание прошлого, пусть и с приставкой «нео»: российского неокOLONиализма, неоимпериализма и т. д.? Трудный вопрос. Стоит ли делать вид, что огромное неравенство между Россией и другими бывшими республиками СССР в территории, населении, экономическом или военном потенциалах и т. д. — несущественно и никогда не будет играть роли? Да и психологическая инерция «первой среди равных» долго будет еще давать себя знать. Так что какие-то «нео»-посягательства, скорее всего, неизбежны, и, при желании, их всегда можно будет оправдать именно объективной «центральнойностью» России. А если кто-нибудь об этом забудет, то ему всегда напомнят что нужно российские имперские «геополитики».

Идея создания на месте СССР Евразийского союза звучала еще у Горбачева и у Сахарова (хотя понимали его они, скорее всего, по-разному). Провозглашенный, но малоэффективный пока СНГ можно было бы рассматривать как зародыш такого союза, связывать с ним поиски нового, неимперского компромисса между геополитическими соседями в постсоветском пространстве. Но коль скоро сам такой компромисс есть часть общего реформаторского, либерального проекта, связанных с ним поисков «открытого общества», неимперских и неконфронтационных стратегий во внешней политике, в том числе и в отношениях с «ближним зарубежьем», он не воспринимается антиреформаторскими силами, оказавшимися в оппозиции внутри страны и ищущими централистского, имперского реванша. Идеологизированные «геополитики» намеренно демонстрируют великодержавное высокомерие и крайнюю агрессивность по отношению к «ближнему зарубежью», старательно разрушают идею неимперского союза.

«Нечто под названием СНГ на протяжении непродолжительной истории своего существования последовательно доказывает свою бесполезность, недееспособность и, во многих отношениях, вредность для нашей страны... Единственно разумным стало бы решение о неучастии России в СНГ и переходе на построение системы двухсторонних связей нашей страны со всеми бывшими союзными республиками... Сейчас интересам России отвечало бы максимальное дистанцирование от этих „друзей“... Объявление некоторого района мира сферой интересов России должно повлечь за собой поддержание порядка на ней собственными внутренними ресурсами и силами. Особенно, если речь идет о жизненных интересах России в отношении территории стран СНГ. Если нет возможности здесь столкнуть между собой конкурирующие национальные элиты, то следует без промедления нанести превентивный ядерный удар по силам и базам конкретной антирусской группировки, либо их зарубежных подстрекателей... К примеру, возможен вариант точечного уничтожения литовского парламента во время его заседания нейтронным зарядом»<sup>172</sup>. Со сладострастным смакованием перечисляются разные варианты мести республикам-отступникам. Предлагается, например, ликвидировать Казахстан, разделив его территорию с Китаем, «отдавая должное геополитическим инте-

<sup>167</sup> Там же, с. 3.

ресам последнего в его продвижении на Запад»; «великодушно вернуть» Азербайджан Ирану, поскольку до 1825 г.<sup>173</sup> он принадлежал Персидской империи; способствовать отчленению от Грузии Абхазии и Южной Осетии<sup>174</sup> и т. д. — подобными текстами исписываются десятки страниц.

Следствием столь жесткой имперской позиции русских «патриотов» и в самой России (в какой-то, пусть пока и ограниченной мере, она влияет и на официальную политику Москвы), а тем более за ее пределами может быть только ослабление сторонников либеральной постсоветской интеграции по европейскому образцу при одновременном сближении и укреплении всех сил, противостоящих такой интеграции. В самом деле, зачем соседям России снова рисковать своею независимостью, вступая в новый союз с открытым претендентом на региональное господство, создавая вместе с ним систему коллективной безопасности и т. д.?

И все же разрушительную силу, пусть и немалую, риторики сторонников имперского реванша и даже их некоторых действий не следует переоценивать. Стремление держаться подальше от России — не единственный рефлекс, который вызвало в бывших республиках СССР их внезапное превращение в независимые государства. На то есть свои и геополитические, и внутривнутриполитические резоны.

Оттого, что СССР прекратил свое существование, проблемы взаимодействия его бывших частей с сопредельными геополитическими метаструктурами не исчезли, а такое взаимодействие не всегда бывает мирным. Именно на границах Больших пространств нередко возникают зоны особенно сильных военно-политических напряжений. Странно было бы думать, что государства, образовавшиеся после распада СССР, окажутся в мире, лишенном противостояния и вражды, и не столкнутся с попытками экономической, политической и даже военной экспансии со стороны более сильных соседей. На первый взгляд кажется, что это — уже не проблема целостного «Евразийского пространства», нередко прямо отождествляемого с распавшейся империей, — большинство новых государств только и думают о том, как бы скорее его покинуть. Но так ли это? Геополитические пространства — историческая и географическая данность, покинуть свое пространство не так просто.

Выйдя из состава СССР, его бывшие республики не сменили своего географического места на планете и не лишились оснований искать наилучших условий существования в той геополитической среде, которая их окружает. Сейчас чувство региональной общности экономических, культурных или военно-политических интересов ослаблено. По понятным причинам, распад СССР сопровождается усилением центробежных тенденций, на первый план выходит то, что разделяет отдельные части бывшего Союза, а не то, что их объединяет. Но это вовсе не значит, что напрочь исчезли объективные интересы, подталкивающие ко взаимодействию и компромиссу, — они лишь ищут новой формы воплощения.

Вернемся еще раз ко взаимоотношениям России с теперь уже независимыми государствами Центральной Азии (Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном и

<sup>168</sup> Цымбурский В. Циклы похищения Европы. (Большое примечание к «Острову Россия»). //Иное. Т. 2. Россия как субъект. М., 1995, с. 254.

Туркменией). Их обособление во многом было обусловлено политической конъюнктурой, сложившейся в СССР к началу 90-х годов: ослаблением центральной власти, демонстрационным эффектом успехов прибалтийского сепаратизма, выходом на свободу в самой Центральной Азии националистических и религиозных настроений, может быть и не очень массовых, но, в силу длительного бескомпромиссного противодействия властей, приобрели энергию туго сжатой пружины. Действовали, однако, и другие факторы, не столь конъюнктурные. Важнейшим среди них была, пожалуй, менявшаяся позиция самой России, ослабление ее заинтересованности в сохранении государственного единства с Центральной Азией.

Положение России в ее роли имперской метрополии по отношению к республикам Центральной Азии к этому времени стало достаточно сложным. С одной стороны, их отпадение от СССР грозило России серьезными экономическими, внутривнутриполитическими, геополитическими и прочими осложнениями, которые — поскольку этот вариант осуществился — не замедлили дать о себе знать. Здесь и разрыв хозяйственных связей, и потеря важных источников сырья, немалой части промышленного потенциала, десятилетиями создававшегося за счет «централизованных капиталовложений», и судьба миллионов «русскаяязычных», живущих в этих республиках, да и местной пророссийски ориентированной элиты, и резкое сокращение демографического потенциала, и неизбежное усиление позиций мусульманских стран на южной границе России при вероятном обострении отношений с ними.

Но если бы республики Центральной Азии остались в составе империи и СССР сохранились бы в той или иной форме, перспективы России были бы еще более тревожными. Опираясь на свой растущий демографический потенциал, постепенно модернизируясь, эти республики изнутри добивались бы все нового и нового перераспределения влияния и ресурсов в свою пользу. Не случайно, например, в последние годы существования СССР не раз высказывалась возникшая намного раньше идея переноса столицы Союза из Москвы на Волгу. Возрождались и другие идеи евразийцев, призывавших Россию к переориентации на Восток. В конце XX века все это означало бы для России не только сохранение огромного экономического бремени, но и нарастание политического и социокультурного давления на нее. Она продвинулась намного дальше Центральной Азии по пути «кинструментальной» модернизации и подошла к осознанию новых для себя задач модернизации социальной: перехода к рыночной экономике, правовому государству, гражданскому обществу. В Центральной Азии настоятельность этих задач ощущалась гораздо слабее. Если бы Россия и Центральная Азия оставались в составе одного государства, Россия из последних сил тянула бы Центральную Азию вперед, а та, может быть с не меньшей энергией, тянула бы Россию назад, что долго бы еще тормозило общее движение. Так что в Беловежских соглашениях, при всей их небесспорности и внешней легковесности, несомненно нашел отражение и инстинкт самосохранения России, отпечатались ее глубинные современные интересы. По-видимому, установление новой дистанции между Россией и Центральной Азией исторически назрело.

Но стал ли 1991 год концом их совместной истории? Сколь бы противоречивыми ни были цивилизаторская миссия империи и ее результаты в Центральной Азии, отде-

<sup>169</sup> Там же.

<sup>170</sup> Цымбурский В. Метаморфоза России... Социально-политические исследования. 1994, 3, с. 3.

лившись от России, центральноазиатские страны лишились мощного локомотива развития. Что ждет их теперь? Как сложится судьба модернизации — главной оси, вокруг которой в любом случае будет вращаться вся проблематика развития региона в ближайшие десятилетия? Торможение модернизации, а в худшем случае, ее приостановка, сопровождающаяся жесткой антимодернистской реакцией, вполне возможны. Нельзя исключить даже крайнего варианта развития событий: прихода к власти традиционалистских элит и полной смены стратегии: стопроцентной «деколонизации» ценой отказа от модернизации и вообще всех «западных» ценностей, возврата в прошлое, закрытости общества и пр. Но этот вариант маловероятен, а как долговременный — и вовсе невероятен. На деле, скорее всего, появятся (похоже, уже появляются) новые разновидности все той же консервативной модернизации, различные смешанные варианты, комбинации разной степени прагматического инструментального модернизма с коммунистическим, религиозным, этническим или каким-либо иным фундаментализмом и опирающимся на него политическим авторитаризмом.

Опыт СССР показал, насколько труден этот путь, не будет он простым и в постсоветской Центральной Азии. Она все еще бедна, а средние слои слишком слабы, чтобы служить надежной опорой для модернизированной политической элиты, способной уверенно вести свои государства по пути экономических и политических реформ. Не имея достаточной социальной базы внутри своих стран, испытывая постоянный дефицит материальных и интеллектуальных ресурсов, она может оставаться у власти только при наличии внешней поддержки и почти естественным образом будет вынуждена искать ее прежде всего в бывшей метрополии. Разумеется, можно попытаться найти другую метрополию, например, переориентироваться на Турцию или Иран, но характер отношений с ними не будет иным, а модернизаторский потенциал Турции или Ирана несравним с российским. Немало стоят и общая история последнего столетия, довольно широкое распространение русского языка и русской культуры, даже остатки советского менталитета — совместного с Россией наследия недавнего прошлого.

Таким образом, объективные интересы модернизации подталкивают и будут подталкивать страны Центральной Азии к восстановлению — в той или иной мере, конечно, — прежних отношений с Россией, несмотря на их противоречивость, на свойственный им налет колониализма. Свой долговременный интерес есть здесь и у России: одно дело иметь на своих южных границах современные цивилизованные государства, другое — непредсказуемые средневековые автократии.

Центральная Азия — это пять из пятнадцати бывших республик СССР. Но объективная заинтересованность в более тесном взаимодействии с Россией и между собой есть не только у них. Уже отмечалось, что, входя в состав СССР и все больше испытывая гнетущее влияние его устаревшей экономической и политической системы, тяготясь давлением безграничного московского централизма, бывшие республики тем не менее были сособственниками беспредельных просторов и огромных ресурсов Союза. Общим достоянием была и его военная мощь — отдельные части ее и думать забыли о безопасности своих внешних границ. Совершенно естественно, что все бывшие республики (включая и Россию), стремясь избавиться от нежелательных сторон их прежних взаимо-

отношений, были бы непрочь хотя бы частично сохранить положительные стороны былого «братства». Теперь Украина, Узбекистан или Грузия не могут смотреть на Сибирь как на свою собственность, но все же полная переориентация Сибири, скажем, на Японию или Китай больно задела бы их интересы. То же можно сказать, к примеру, и об интересах России в Средней Азии или на Украине. Есть очень много экономических, социокультурных, военно-политических и прочих оснований для того, чтобы принадлежность к геополитическому субрегиону и особые права внутри него воспринимались всеми его частями как серьезные ценности. А это естественным образом означает заинтересованность в сохранении целостности геополитического пространства и его относительной отделенности от других таких же пространств — разумеется, без той жесткой закрытости, которую создавал «железный занавес».

Все это говорится не для того, чтобы подвести читателя к выводу о необходимости восстановления прежнего СССР. Но важно осознать, что сейчас, как и прежде, на просторах бывшей империи действуют не только центробежные, но и центростремительные силы. Пренебрегать не следует ни теми, ни другими, их равновесие устанавливается в ходе самоорганизации всей геополитической системы и не так уж сильно зависит от мнений и поступков отдельных актеров, выступающих на политической сцене. К концу XX века многие правила мировой игры изменились, она приобрела иной масштаб, и все европейские государства почувствовали себя слишком маленькими, чтобы действовать на мировой арене в одиночку. Европейский Союз — региональный ответ на эту новую ситуацию. Постсоветские страны стоят перед тем же вызовом. Некоторые из них уже заняли очередь в Европейский Союз — вместе с большинством стран Восточной Европы. Покинув один лагерь, в который они были загнаны насильно, они торопятся войти в другой — на этот раз добровольно.

Такова логика истории, но ведь она не упраздняет логику географии. Все постсоветские страны никогда не смогут войти в Европейский Союз, им поневоле придется подумать о создании чего-то подобного на своем собственном географическом пространстве. Новизна обстановки не в том, что отпала необходимость в организации евразийского пространства и защите его интересов как целого, а в том, что решение этих задач должно опираться на иные, чем прежде, основания. Империя была исторически необходимым компромиссом интересов центра и окраин. Теперь нужен новый компромисс, исключающий сами понятия центра и периферии. Эпоха монополярной геополитической ответственности Петербурга или Москвы, эпоха отождествления российских и евразийских интересов закончилась. Другие евразийские государства также не могут быть безразличны к будущему геополитического пространства, в которое их вписала историческая судьба, и способны разделить с Россией ответственность за это будущее. Это и значит, что пришло время коллективной евразийской безопасности, сам ее субъект должен стать коллективным. Предстоит непростой и небыстрый путь к созданию системы такой безопасности, которая должна сохранить преемственность по отношению к одним чертам геополитической стратегии имперских времен и одновременно резко отмежеваться от других ее черт, бессмысленных самим временем.





# ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

## ОГЛЯНИСЬ БЕЗ ГНЕВА

**И**стория не знает сослагательного наклонения. Но велико искушение хотя бы мысленно переиграть уже сыгранный исторический спектакль, а человек слаб. Потому и появляются бесчисленные версии того, что могло бы быть, если бы... Как сложилась бы новейшая история России, если бы ей дано было прожить двадцатый век заново?

Могла ли Россия по-прежнему оставаться Россией серпа — аграрной, сельской, крестьянской? Едва ли. Ее превращение в промышленную и городскую к началу века уже назрело, было подготовлено всей послепетровской историей, его же требовали и тогдашние европейские и мировые реальности — и экономические, и культурные, и военные. Это превращение и было главной революцией, которую предстояло пережить России и которую она в действительности пережила в XX столетии.

Могла ли такая революция, по смыслу своему, пускавшая под нож вековой уклад российской жизни, разрушавшая его устои, выводящая из исторической игры целые общественные слои, — могла ли она быть безболезненной, бескровной? Едва ли. Российское общество подошло к 1917 году, к пику революции, расколотым надвое: одна его часть была готова к штурму старого мира, другая — к его защите. Старая Россия стояла бы немного, если бы, подойдя к порогу неизбежных перемен, она не создала сил, способных осуществить эти перемены, не выдвинула годных для этого людей, не породила нужных идей. Но и в том случае, если бы в критическую минуту у старого мира России не нашлось стойких и убежденных защитников, цена ей тоже была бы невелика.

Состав обоих лагерей постоянно менялся. В каждом из них были люди, готовые идти до мыслимого и даже немислимого конца, равно как те, кто не мог шагнуть дальше того или иного предела и, достигнув его, выходил из игры или переходил в противоположный лагерь. Но сами лагеря, группировавшиеся вокруг полюсов расколотого мира, неизменно сохранялись, и у каждого была своя правда. При том, что историческая правда была на стороне поборников нового, их правда была глубокой лишь до тех пор, пока она могла сосуществовать с глубокой же правдой их консервативных противников. Стоило этой взаимной дополнительности нарушиться и одной из двух правд потерять право на существование, как и вторая лишилась своей глубины и превратилась в набор непродуктивных банальностей.

Потому и в Гражданской войне, где сторонники обеих правд сошлись с оружием в руках, не могло быть победителей. Внешний факт победы красных над белыми ничего не решал — когда воодушевленные победой красные остались наедине со своей правдой, у них в руках оказалась лишь ее дешевая оболочка. Но победы в Гражданской войне белые, с ними произошло бы то же самое. Военная победа одной из сторон не могла изменить соотношения глубинных общественных сил, которые одни только и определяют ход истории.

События 1917 года преобразили Россию необратимо, они разрушили все нагромодившиеся к тому времени препоны модернизации и сделали ее ускорение неизбежным. Но одно дело убрать препятствия, а другое — увеличить напор перемен: этого за один год не сделаешь. Большевики были полны готовности ускорить обновление России, подстегнуть «клячу историю», но им очень скоро пришлось притормаживать, приводя ритм и глубину преобразований в соответствие с истинными возможностями страны и ее народа. «Левой! Левой!» — призывал Маяковский в духе первых революционных лет, а в жизни все громче слышалось: «Правой! Правой!» В конце концов коммунисты в России стали носителями правой идеологии, так они воспринимались критиками режима накануне распада СССР, и то, что впоследствии они стали рассматриваться как представители «левой оппозиции», никак не оправдывается глубоко консервативной — к тому времени — сущностью их идеологии и политики.

Но если предположить, что восемьдесят лет назад события повернулись бы по-иному и какой-нибудь антипод Маяковского написал бы «Правый марш» с призывом распрячь «клячу историю» и вернуться к закону, «данному Адамом и Евой», то он тоже наверняка был бы разочарован. Окажись у власти в России открытые защитники прошлого и противники перемен, они быстро расправились бы с носителями слишком революционных идей в политике, экономике или культуре (в основном с теми же, с кем и расправились большевики сталинского разлива), а затем начали бы «леветь», втягиваясь в столь необходимую России модернизацию и, в конце концов, пришли бы, — двигаясь с другой стороны, — к тому же консервативно-модернизационному компромиссу. Внешний рисунок российской истории XX века был бы иным, но лишь в деталях. При всей невероятности масштабов долговременного «красного террора», нельзя поручиться, что «белый террор» был бы более умеренным. Предреволюционный раскол общества был очень глубоким, белым победителям пришлось бы опираться на те же социальные слои, на которые опирались и красные, а параноики были не только у большевиков.

Глубинные же экономические и социальные перемены оказались бы, скорее всего, очень сходными с теми, что и имели место на самом деле. Россия могла продвинуться по пути модернизации немного больше или немного меньше. Зная условия старта в начале столетия, при самом большом разгуле фантазии, трудно представить себе Россию конца XX века опередившей США или Западную Европу по уровню развития промышленности, науки или либеральных институтов. Возможно было лишь сокращение разрыва, оно и произошло.

«Условия старта», а не чьи-то недомыслие или злая воля предопределили глубокую противоречивость советского варианта «консервативной модернизации». Она позволила СССР воспринять, а отчасти даже и развить многие инструментальные достижения западных обществ (современные технологии, внешние формы жизни, науку, образование и пр.), но не смогла создать адекватных социальных механизмов их саморазвития (рыночной экономики, современной социальной структуры, современных институтов гражданского общества, политической демократии и т. д.).

Экономическая модернизация превратила страну из аграрной в индустриальную, дала ей основные элементы современной технологической цивилизации. Но она не создала социальных механизмов, обеспечивающих саморазвитие экономической системы промышленных обществ, — частной собственности и рынка.

Городская модернизация переместила десятки миллионов людей из деревни в город, изменила условия их повседневного социального общения и подчинила его технологии городской жизни. Но она не создала носителей специфических городских отношений — средних городских слоев, способных самостоятельно поддерживать и развивать социальную организацию и культуру городского общества.

Демографическая модернизация изменила условия воспроизводства человеческого рода, а потому и условия частной, интимной жизни людей. Но и она осталась незавершенной, ибо развивалась в обстановке, которая противоречила главному принципу демографической модернизации, — принципу свободы индивидуального выбора во всем, что касается личной жизни человека.

Культурная модернизация обеспечила стремительный рост образования, приобщение к современным техническим и научным знаниям, другие инструментальные изменения, без которых невозможно становление современного типа культуры, а значит и типа личности. Но она не привела к вытеснению средневековой холистской культурной парадигмы современной индивидуалистской, породила *Homo soveticus* — промежуточный тип личности, сочетающий в себе черты современности и традиционной «соборности».

Политическая модернизация открыла новые каналы вертикальной социальной мобильности, притом впервые — для большинства народа и привела к власти новую, демократическую по своему происхождению, политическую элиту. Но она не создала демократических механизмов ее функционирования и обновления. Новая элита осталась «статусной», зависящей только от вышестоящего уровня, и быстро переродилась. Это привело к утверждению политического режима «нового средневековья», принявшего в XX веке форму тоталитаризма.

Какую бы составную часть осуществленных перемен мы ни взяли, в каждом случае, после короткого периода успехов модернизационные инструментальные цели вступали в непреодолимое противоречие с консервативными социальными средствами, дальнейшие прогрессивные изменения оказывались блокированными, модернизация оставалась незавершенной, заходила в тупик. В конечном счете, это привело к кризису системы и потребовало ее полного реформирования.

И без того глубокий системный кризис был усугублен огромной территориальной неоднородностью СССР.

Советская модель модернизации, ядро которой составляла ускоренная индустриализация с особым упором на развитие тяжелой промышленности, сложилась в XX веке, но имела корни и в прошлом. Само стремление к модернизации, равно как и способы достижения этой цели были во многом продиктованы ролью царской или советской империи как мировой великой державы. Эта роль была лучше понята населению восточнославянской метрополии, до известной степени отвечала его устремлениям и историческому опыту, поэтому оно с большей готовностью приняло и советскую модель модернизации. Но полуколонийными окраинами империи эта модель воспринималась с трудом. Хотя по отношению к большинству из них империя выполняла цивилизаторскую, модернизаторскую миссию, ее цивилизаторские возможности были ограничены. Поэтому «пять модернизаций», которые прокладывали себе дорогу во всех частях империи, на ее окраинах были еще более «консервативными», нежели в центре. Незавершенность модернизации, зашедшей в тупик повсюду в СССР, была особенно велика на его среднеазиатской или кавказской периферии, как и в некоторых внутренних «национальных» районах.

Хотя требования имперского существования сыграли огромную роль в подстегивании советской модернизации, именно модернизация, в конечном счете, привела к распаду империи. Она породила или усилила как центростремительные, так и центробежные силы, от соотношения которых зависела, в конечном счете, судьба империи. Консервативный характер советской модернизации ограничил возможности роста центростремительных сил и связанного с ними федерализма и, напротив, создал благоприятные предпосылки для укрепления центробежных сил, национализма и сепаратизма. Когда экономическая и политическая стратегия, вдохновляемая великодержавными амбициями, истожила СССР, он стал легкой добычей сепаратизма, которому слабый, фиктивный федерализм не смог ничего противопоставить.

Это стало лишь еще одним доказательством того, что к концу XX века возможности советской модели модернизации были полностью исчерпаны. Продолжение модернизации, которая ни в одной из частей бывшего СССР не была завершена, требовало смены модели и выработки такого курса развития, который позволил бы, с одной стороны, сохранить основные достижения «инструментальной» модернизации советского времени, а с другой — развить адекватные им, но не существовавшие в СССР социальные группы, социальные механизмы и институты, которые сделали бы постсоветские общества способными к саморазвитию.

Таковы задачи, с которыми сегодняшняя Россия выходит на новую линию старта. Дверь в новое столетие и в новое тысячелетие она открывает, стоя на плечах своего XX века, страшного, трагического, залитого кровью, но далеко не бессмысленного. По меньшей мере два главных результата столетнего развития навсегда отделили ее от ее собственного прошлого и перевели в разряд «развитых» стран, благодаря чему она — только теперь! — может на равных вступить в конкуренцию с любой другой страной мира.

Один из этих результатов — больше материальный, технологический, вообще связанный с преобладавшей «инструментальной» стороной советской модернизации. При всех своих огрехах, недочетах и отставаниях, нынешняя российская экономика, не в пример дореволюционной, обладает мощным промышленным, техническим, научным стартовым капиталом. Он позволяет войти в XXI век не с истерическим надрывом нищего, готового снять последнюю рубашку и с себя, и с ближнего, чтобы выжить, а со спокойным и трезвым расчетом собственника, пусть и не очень богатого, но способного потратиться чтобы честно приумножить нажитое. Само наличие такого исходного, стартового капитала ничего еще не гарантирует. Его легко можно разбазарить, пустить по ветру, просадить в военных играх. Но шанс он дает, а дальше — дело за отечественными Платонами да Невтонами, а может быть и за ненавистными Тит Титычами.

Второй результат — больше социальный. Структура общества стала иной, навсегда исчезла ставшая опасной поляризация дворянско-крестьянского мира, и начала заполняться социальная «середина». Пусть в России еще и нет настоящего среднего класса, но как «протокласс» он уже существует, и стабилизирующее влияние этого открытого социального слоя уже дает себя знать. «Раскачать» общество сегодня не так просто, новая гражданская война — едва ли возможна. Последняя надежда мечтающих о власти экстремистов всех окрасок — старая, начавшаяся в 1917 году, если не раньше, гражданская война, которую они никак не хотят закончить. До последнего своего вздоха ее поддерживала советская власть, непрестанно выискивая в собственном народе инакомыслящих, «контрреволюционеров», «агентов мирового империализма», отступников от официальной «социалистической» веры. Сегодня лозунги, риторику, а если повезет, то и политику давно отшумевших лет пытаются воскресить постсоветские попугаи из заново сформировавшихся «красного» и «белого» станов. Каждый новый поворот сегодняшней российской политики они прочитывают с помощью словаря конца десятих — начала двадцатых годов, картинно и каррикатурно группируясь вокруг могил Ленина и Николая II, но легко сходясь на тайном или явном поклонении Сталину, незаменимому идолу перманентной гражданской войны.

Только все это едва ли отвечает глубинным интересам все более многочисленной социальной середины. Было бы большим заблуждением делать *моральную* ставку на человека «среднего класса», видеть в этом человеческом типе венец социального творения, создавать очередную утопию, способную привести к новым разочарованиям. Масовое становление среднего класса поначалу может сопровождаться осознанием эгоистических индивидуальных интересов отдельно взятого «буржуа», а не общих, коллективных интересов всего этого слоя. В таких случаях появляется «готовность на все», склонность примыкать к любой политической стае и шагать по трупам во имя личной выгоды, продолжать, а не кончать гражданскую войну. На это открыто рассчитывают сегодняшние экстремисты, видящие себя во главе «молодых волков».

Но как бы им не ошибиться. Российский средний класс сегодня начинается не с нуля, шагание по трупам уже было, в обществе вырабатывается нечто, вроде иммунитета от повторного заболевания. В этом нет никакой мистики, а есть накапливающееся, подтвержденное собственным опытом, понимание того, что социальные джунгли, в которых

идет непрерывная открытая борьба всех против всех, для всех и опасны. В результате вырабатываются правила игры, которые вводят поиски собственной выгоды в некоторые признаваемые всеми рамки. С чем-то все равно приходится мириться, но сознание, что «ворюга милей, чем кровопийца» становится все более твердым.

Так что, если на что-то и можно делать ставку, говоря о будущем России, то на коллективный *интерес* среднего класса. Хотя снова нужно сказать, что расширение и укрепление средних слоев — это не безусловная гарантия скорого выхода России из дурной бесконечности противостояния полюсов расколотого общества, а только шанс, возможность, которой надо суметь распорядиться.

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

## А

Абылхожин Ж. 263  
Авалов З. 251  
Аврелий М. 169  
Аврех А. 41  
Авторханов А. 244, 335  
Аганбегян А. 68, 70  
Акимов А. 61  
Александр II 106, 249, 265  
Александр III 208, 255  
Алексеев Н. 303, 341  
Алексеевко Н. 252  
Алексей Михайлович 177, 372  
Алиев Г. 219  
Амальрик А. 110, 196, 197, 198, 199  
Андреев Е. 86, 116, 232, 287, 387, 389  
Андропов Ю. 73  
Антонов М. 155  
Арендт Х. 177, 179, 186, 189, 191, 193,  
314, 362  
Арон Р. 378  
Арсеньев В. 261  
Афанасьев А. 140  
Афиногенов А. 123  
Ахиезер А. 39, 160, 161  
Ахматова А. 145, 148, 163

## Б

Баггер Х. 15, 17  
Багиров М. 193  
Багратион П. 297  
Байбаков Н. 73  
Бакунин М. 179  
Барклай-де-Толли М. 297  
Бауэр О. 335, 336  
Бежкович А. 328  
Белинский В. 140, 163  
Белоусов А. 60, 63, 69  
Белый А. 86, 96  
Бенкендорф А. 297  
Беннигсен А. 249  
Бердяев Н. 15, 28, 30, 75, 76, 96, 97,  
106, 107, 133, 140, 142, 144, 146,  
158, 166, 176, 180, 200, 201, 204,  
205, 230  
Берия Л. 193, 261  
Бирман И. 69, 120,  
Бирюков П. 139  
Бирюкова Р. 113  
Бисмарк О. 47  
Блок А. 96, 134  
Боборыкин П. 164  
Богаевский П. 131, 132, 145  
Бодрова В. 152  
Бонапарт Л. 176  
Боярский А. 183  
Бразаускас А. 219  
Брежнев Л. 208  
Бродель Ф. 20, 95  
Брокгауз Ф. А. 244, 245, 271  
Брук С. 250  
Буань (де) Л. 102  
Бугай Н. 261, 340  
Булгаков С. 6, 140, 167, 200  
Булганин Н. 67

Бунин И. 96  
Бухарин Н. 42, 49 50, 134, 177,  
193, 278  
Бушуева Т. 377

## В

Вагнер А. 47  
Вайнштейн Альб. 13, 53, 57, 282  
Валлен Ж. 118  
Васильева Э. 138  
Вдовин А. 340  
Вебер М. 171  
Венюков М. 241, 242, 245, 249, 251,  
252, 253, 276  
Витте С. 38, 39, 42, 46, 96, 174, 265, 297  
Виттфогель К. 214  
Вишневский А. 103, 122, 124, 128,  
150, 151  
Внуков Р. 132, 143  
Водовозов В. 313  
Вознесенский Н. 66, 381, 382, 383  
Волков А. 138, 153, 293  
Волков Е. 231  
Волкова Н. 248, 250, 251  
Вольфсон С. 135  
Ворошилов К. 194, 378  
Восленский М. 98, 191, 209, 214, 218,  
299  
Врангель П. 96  
Вышнеградский И. 37, 42

## Г

Гаспринский (Гаспралы) И. 249, 277,  
300, 308  
Геббельс Й. 33, 205, 206  
Геллер М. 377, 379, 380  
Геллнер Э. 314  
Гербель Н. 308  
Гердер И. 160, 312, 313, 314, 330, 371  
Геринкович (Геринкович) В. 326  
Герцен А. 107, 139, 144, 164, 171, 174,  
180, 181, 185, 189

Гершензон М. 173  
Гершенкрон А. 215  
Гинзбург 255  
Гирш М. 255  
Гитлер А. 33, 156, 193, 203, 205, 328,  
371, 377, 379, 380, 400, 400  
Глазычев В. 103, 105, 110  
Гоголь Н. 7, 28, 114, 326  
Гозулов А. 328  
Голод С. 149  
Гончарова Н. 96  
Горбачев М. 69, 73, 218, 220, 221, 395,  
411  
Гордон Л. 44  
Горький М. 20, 96  
Гранат 231  
Груссе Р. 356  
Грут Б. 142  
Грушевский (Грушевський) М. 322, 323,  
325, 327, 331, 332  
Гуржий И. 274

## Д

Давид Строитель 243  
Данилевский Н. 277, 313, 364, 369,  
370, 371, 377, 391, 392, 399, 402,  
405, 409  
Дарский Л. 86, 116, 231, 287, 387  
Дельма Ж. 388  
Деникин А. 96, 341  
Державин Г. 145  
Джилас М. 194, 195, 216, 218  
Дмитрий Донской 247  
Довнар-Запольский М. 324, 357  
Достоевский Ф. 32, 34, 101, 141, 146,  
147, 161, 162, 166, 167, 168, 173,  
245, 276, 326, 353, 361, 363, 369  
Драгоманов М. 277, 297, 308, 320, 321,  
323, 324, 325, 326, 328  
Дубнов С. 255  
Дугин А. 156, 203, 245, 399, 400,  
401, 402, 403, 404



Дьяков Ю. 377  
Дюмон Л. 31, 160  
Дюпе Л. 33  
Дюркгейм Э. 167

## Е

Евдокимов Н. 249  
Евтушенко Е. 218  
Екатерина II 105, 106, 109, 237, 238,  
265, 329  
Ельцин Б. 219  
Ефрон И. А. 244, 245, 271

## Ж

Жданов А. 148, 193  
Желобовский А. 132  
Жириновский В. 229, 397, 398, 399  
Жоффрен М.-Т. 105  
Жуков Г. 386

## З

Зайончковская Ж. 260  
Залкинд А. 148  
Замятин Е. 136  
Захаров С. 124  
Звонков А. 132, 133, 143, 145  
Земсков В. 267  
Зиммель Г. 79, 80, 100  
Зиновьев Г. 96, 193  
Зомбарт В. 50, 206, 207  
Зубов А. 397  
Зюзин Д. 261

## И

Иван I (Калита) 225  
Иван IV (Грозный) 225, 231, 233, 248,  
356, 359  
Игнатъев Н. 255

## К

Кабе Э. 136, 207  
Кабузан В. 240, 241, 246, 247, 250, 252,  
256, 258, 259, 269, 387  
Кавелин К. 129  
Каганович Л. 194  
Калинин М. 194  
Каменев Л. 96, 193  
Кампанелла Т. 136, 207  
Кандинский В. 96  
Канси 356  
Кант И. 166, 167  
Караханов М. 285  
Каримов И. 219  
Карр Э. 41, 46, 231, 273, 331  
Каррер-Д'Анкокс Э. 345  
Касумов А. 244, 250  
Каутский К. 335, 336, 337  
Кауфман А. 241, 251, 258, 276, 292  
Кауфман К. 276  
Кейнс Дж. М. 51, 77  
Кениата Дж. 142  
Керенский А. 96  
Кибардин В. 177  
Кингсли Ч. 63  
Киреевский И. 19, 95, 101, 130, 131,  
133, 146, 155, 159, 160, 162, 169,  
178, 180  
Кирилл 159  
Кириллин В. 73  
Кистяковский Б. 189  
Клеопатра 142  
Клопов Э. 44  
Клюев Н. 35  
Ключевский В. 11, 15, 17, 18, 22, 105,  
106, 227, 234, 242, 248, 303  
Козыбаев М. 263  
Кокошкин Ф. 305, 316  
Колчак А. 96  
Кон И. 144, 149  
Констан Б. 163  
Корнаи Я. 59

Короленко В. 309  
Костомаров Н. 144, 308, 322  
Косыгин А. 72  
Кочубей В. 297  
Коэн С. 42, 43  
Кравчук Л. 219  
Крупп 377  
Крыпьякевич И. (Крипьякевич И.) 236  
Крыштановская О. 219  
Кубийович (Кубийович) В. 236, 279  
Кулишер Е. 389  
Куркин П. 122  
Куропаткин А. 244, 245, 266, 315, 350,  
352, 365, 372, 373, 374, 390  
Кустодиев Б. 35  
Куценко И. 237, 249, 251  
Кушнер А. 156

## Л

Лакер У. 205, 206  
Ларин Ю. 45  
Ларионов М. 96  
Лацис О. 73  
Левада Ю. 137, 181, 208, 213, 214  
Ленин В. 25, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 45,  
47, 48, 49, 54, 75, 76, 85, 96, 97, 158,  
162, 175, 177, 178, 185, 190, 191,  
193, 195, 200, 201, 208, 273, 278,  
306, 333, 334, 335, 336, 339, 340,  
363, 376, 390, 400, 403, 420  
Леонтьев К. 23, 27, 28, 114, 171, 173,  
175, 313  
Лермонтов М. 163  
Леруа-Болье А. 106, 108  
Лестег Р. 151  
Либерман Е. 72  
Лихачев Д. 235  
Ломоносов М. 38  
Лорис-Меликов М. 297  
Лурье Ф. 189  
Лучинский П. 219

Любавский М. 233, 237, 240, 252, 357  
Люксембург Р. 273  
Лященко П. 12, 13, 37, 40

## М

Мазепа И. 297  
Макиндер Х. 362, 363, 364, 365, 366,  
375, 376, 377, 392  
Максудов С. 116, 388  
Малафеев Л. 219  
Малевич К. 96  
Малыгин В. 63  
Мальтус Т.-Р. 126  
Манн Т. 32  
Марков Н. (Марков 2-й) 38  
Маркс К. 76, 80, 100, 102, 137, 173,  
176, 200, 206, 207, 214, 336, 348  
Мартов Л. 96  
Мацковский М. 152  
Маяковский В. 97, 417  
Медем В. 318  
Мелер Й. 159  
Меллер ван ден Брук А. 33, 80, 176,  
204, 205, 206  
Мережковский Д. 171, 174  
Меркулов Д. 340  
Мефодий 159  
Мигулин П. 12, 14  
Милле Ф. 118  
Милов Л. 21  
Милюков П. 11, 25, 26, 27, 28, 96, 97,  
109, 122, 201, 225, 234, 236, 238,  
239, 241, 247, 272, 305, 315, 322, 323,  
352  
Миронов Б. 81, 85, 129, 137  
Митрофанов А. 400, 401, 402, 411, 412  
Молер А. 33  
Молотов В. 36, 194, 379  
Мор Т. 207  
Морис Ф. 63  
Муравьев Н. 303

Муссолини Б. 176, 199, 208, 210, 380  
Муталибов А. 219  
Мэхэн А. 362, 365, 364, 365

## Н

Набоков В. 147  
Назарбаев Н. 219, 347, 348, 349  
Найшуль В. 53  
Наполеон 16, 22, 361, 371, 372, 373  
Некрич А. 377, 379, 380, 381  
Нефертити 142  
Нечаев С. 189  
Нечуй-Левицкий И. 322  
Никиш Э. 205, 376  
Николай I 208, 244  
Николай II 420  
Ницше Ф. 172  
Ниязов С. 219, 295  
Новосельский С. 112, 275

## О

Оболенский (Осинский) В. 240, 241,  
254, 256, 257, 263  
Огарев Н. 95  
Ожегов А. 63  
Орджоникидзе С. 193  
Ортега-и-Гассет Х. 102, 176, 186, 198, 310  
Ослунд А. 73  
Остроух И. 266  
Оттон I 356  
Оуэн Р. 63

## П

Пайпс Р. 107  
Паскевич И. 244  
Пастернак Б. 195  
Пеленский Й. 327  
Пестель П. 303  
Петр I (Великий) 15, 16, 17, 18, 35, 46,  
47, 105, 106, 225, 235, 237, 325,  
360, 361, 369

Писарев Д. 140, 165  
Плеханов Г. 49, 96, 190  
Погодин М. 95  
Покшишевский В. 237, 238, 240  
Полонська-Василенко Н. 238, 330  
Поляков С. 255  
Полян П. 267, 381  
Попов В. 52  
Потанин Г. 273, 304  
Похлебкин В. 357, 364  
Преображенский Е. 42, 43, 47, 48, 49,  
177, 278  
Примаков Е. 219  
Птуха М. 124, 275, 286  
Пушкин А. 141, 145, 146, 148, 163, 358

## Р

Радек К. 376  
Радищев А. 132  
Райх В. 148  
Раковский Х. 195  
Ратенау В. 176  
Рахманинов С. 96  
Рашин А. 82, 83, 84, 85, 122, 240, 275,  
285  
Ренан Э. 310, 312, 337  
Реннер К. 336  
Риббентроп И. 379  
Розанов В. 140, 141, 142, 143  
Рормозер Г. 32  
Рудницкий (Рудницкий) С. 273, 274,  
319, 323, 326  
Рыдз-Смиглы Э. 378  
Рындзюнский П. 82, 83, 101

## С

Савинков Б. 96  
Савицкий П. 248, 375  
Самарин Ю. 32  
Салихов Б. 63  
Сахаров А. 68, 218, 411  
Селюнин В. 71

Семенов-Тянь-Шанский В. 233, 242, 260,  
305, 365, 406  
Семенова-Тянь-Шанская О. 143  
Сенека 169  
Сен-Симон А. 63  
Серо Ф. 71  
Сивард Р. 388  
Синкевич Г. 128  
Скобелев М. 244  
Скоропадский П. 327  
Скрыпник Н. 343  
Скрябин А. 96  
Славинский М. 305, 306, 315, 334  
Снегур М. 219  
Снесарев А. 365, 375, 376  
Соколов Ж. 71  
Сокольников Г. 193  
Солженицын А. 6, 229, 353  
Соловьев В. 28, 29, 140  
Соловьев С. 15, 17, 143, 144, 242, 243,  
326  
Сорокин К. 408  
Спеклер М. 63  
Сперанский М. 303  
Стайнберг Д. 62, 63, 71  
Сталин И. 36, 43, 44, 54, 65, 67, 96,  
104, 115, 178, 179, 190, 191, 193,  
204, 208, 212, 231, 261, 264, 278,  
328, 337, 338, 339, 341, 350, 377,  
379, 380, 386, 400, 420  
Степанов В. 123  
Столыпин П. 39, 44, 40, 44, 96, 97, 101  
Стравинский И. 96  
Строев Е. 219  
Струве П. 47, 106, 107, 200  
Струмилин С. 135  
Субтельный (Субтельный) О. 230, 238,  
274, 319, 330  
Суворов А. 197  
Султан-Галиев М. 342  
Съейес Э. 310  
Сюттон Э. 65, 66, 67

## Т

Тамара 243  
Тамерлан 243  
Тараданов Г. 177  
Тарле Е. 386  
Татимов М. 263  
Татлин Е. 97  
Тацит К. 21  
Терентьев М. 365  
Тимашев Н. 387, 388, 389  
Тириар Ж. 400  
Тихонов Б. 81, 83  
Тихонов В. 131  
Токвиль А. 172  
Толстой Л. 114, 115, 122, 139, 141, 147,  
155, 166, 167, 168, 169, 172, 173  
Тольц М. 151  
Томилин С. 113  
Троцкий Л. 36, 96, 97, 134, 136, 191,  
193, 195, 212, 218, 342, 375  
Трубецкой Н. 345, 391  
Туган-Барановский М. 107

## У

Уайт А. 255  
Уншлихт И. 377  
Урланис Б. 373, 388  
Успенский Г. 20, 22, 25, 113, 114, 122,  
123, 131, 133, 143, 161, 187, 230,  
386

## Ф

Фальцман В. 67  
Федоров Н. 95  
Федотов Г. 200, 246, 280  
Фелицын Е. 244  
Флоренский П. 140, 158  
Флоровский Г. 15, 158, 159, 173, 180,  
200, 324, 359  
Фортунатов К. 319  
Франк С. 200

Фридрих-Вильгельм I 206  
Фурье Ш. 63, 200

## Х

Хайек Ф. 49  
Халфин Н. 245  
Ханин Г. 55, 66, 69, 70, 71, 120, 121  
Харрисон М. 71, 383, 384, 389  
Харузин Н. 131  
Харькова Т. 86, 116, 232, 387  
Хаунер М. 362, 364, 365, 375, 391  
Хаусхофер К. 377, 391, 392, 399, 401, 402, 410  
Хлопин Г. 114  
Хмельницкий Б. 329  
Ходжанов 339  
Хомяков А. 19, 158, 159, 162  
Хромов П. 13  
Хрох М. 329  
Хрущев Н. 54, 72, 386

## Ц

Цветаева М. 165  
Цезарь Ю. 21  
Цымбургский В. 361, 404, 405, 406, 408, 409

## Ч

Чаадаев П. 95  
Чернев А. 99, 192, 194, 351  
Чернов В. 29  
Чернышев И. 39  
Черчилль У. 386  
Чехов А. 96, 114  
Чихачев Н. 255

## Ш

Шеварднадзе Э. 219  
Шелохаев В. 305  
Шелухин С. 327  
Шервуд Е. 266

Школьников В. 118  
Шмелев Н. 52  
Шмеман А. 358  
Шмит К. 210, 211, 214  
Шпенглер О. 32, 33, 35, 46, 80, 160, 176, 206, 207, 211, 371  
Штайн (Штейн) Г. 207

## Э

Энгельгардт А. 122, 132  
Энгельс Ф. 76, 80, 100, 137, 173, 176, 200, 336, 348  
Эпиктет 169  
Эрландер Т. 386  
Эртриш В. 118

## Ю

Юнгер Э. 214

## Я

Ядринцев Н. 253, 272, 273, 276, 316  
Яковлев Н. 381  
Янов А. 16, 405, 406

## А

Akagul D. 295  
Aron R. 378  
Auerbach B. 319

## В

Badower A. 384  
Béhar P. 408  
Bezanis L. 333  
Birman I. 69, 120  
Bismarck O. 46, 79

Black C. 12, 55  
Bonnet G. 378  
Boulangier P.-M. 13

## C

Cagnat R. 408  
Carrère d'Encausse H. 345  
Charnay J.-P. 228  
Chesnais J.-C. 124  
Collier P. 64  
Crespeau M. 384

## D

Davies R. 55, 56, 384  
Dawson W. 46  
Delmas J. 388  
Dewdney J. 226  
Dumont L. 31, 160  
Dumont P. 250  
Dupeux L. 33, 80  
Durkheim E. 167

## E

Engelstein L. 142

## F

Fayé J. 205, 211  
Festy P. 123, 124  
Fleischhauer I. 265, 266, 267  
Forest Ph. 310  
Foucher M. 343

## G

Gerschenkron A. 215  
Goeldel D. 33  
Gorbatchev M. 269  
Groult B. 142  
Grafmeyer Y. 79  
Grousset R. 356  
Gunther G. 211, 214

## H

Harrison M. 55, 56, 71, 382, 383, 384,  
385, 389  
Hauner M. 230, 244, 362, 364, 365,  
375, 391  
Haushofer K. 378, 391  
Heitman S. 263, 264, 266, 267, 268, 269  
Hitler A. 205  
Hroch M. 329

## J

Jan M. 408  
Joseph I 79

## K

Kazgan G. 250  
Kennedy P. 361, 367, 368, 373  
Kon I. 149  
Kowalewski Z. 332  
Kuczynsky R. 122, 124  
Kulisher E. 389

## L

Lénine V. 273  
Leroy-Beaulieu A. 104, 106, 108  
Lesthaeghe R. 151  
Lewin M. 78

## M

Mackinder H. 363, 364  
Mahan A. 362  
Milioukov P. 11, 25  
Moehler J. 159  
Moeller van den Bruck A. 204, 206, 207,  
208  
Mohler A. 32, 33  
Mouradian C. 269  
Münz R. 268, 269  
Mussolini B. 199, 208, 210

## N

Niekisch E. 205, 376

## O

Ohliger R. 268

## P

Piesowicz K. 389

Pincus B. 263, 265, 266, 267

## R

Reichel P. 33

Renan E. 310

Rogger H. 256

Roof M. 386

Rossi A. 380

Rywkin M. 227

## S

Sapir J. 384

Schroeder G. 68

Sembratovyтч R. 322

Serbin R. 273

Seurot F. 59, 63, 65, 71

Simmel G. 79, 100

Sivard R. 115, 388

Sokoloff G. 13, 71

Sombart W. 50, 206, 207, 211

Staline J. 269

Steinberg D. 62, 63, 71

Strouve P. 48

Sutton A. 65, 66, 67

## T

Taagepera R. 227, 228

Tabutin D. 13

Timasheff N. 387, 388

Tolts M. 264

## U

Uralnis B. 388

## V

Van Gennep A. 358

Van de Kaa D. 150

Vaner S. 295

## W

Wagner A. 47

Weatcroft S. 55, 56, 384

Williamson D. 79

Wittfogel K. 214

Вишневский Анатолий Григорьевич  
СЕРП И РУБЛЬ:  
Консервативная модернизация в СССР

---

Художник: *С. В. Митурич*

Редактор: *Г. Л. Павлова*

Изготовление оригинал-макета: *М. В. Лаврушина*

Корректоры: *И. А. Матвеева, М. Н. Васильева*

Производство: *Л. Э. Подберезин, М. В. Чурилова*

Главный редактор издательства: *Е. В. Пермяков*

Директор издательства: *Д. С. Ицкович*

О-Г-И

1998



ЛР № 065416 от 22.09.97.

Сдано в набор 17.03. 98. Подписано в печать 15.9.98. Формат 70x100/16.  
Гарнитура OfficinaSans. Объем 34,83 усл. печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Тираж 3000 экз.

Заказ №

*Налоговая льгота — общероссийский классификатор  
продукции ОК-005-93, том 2, код 953000*

**Объединенное гуманитарное издательство,**

107005, Москва, Лефортовский пер. д. 12/50, стр. 1..

Тел.: 238-38-78; факс: 238-47-63; e-mail: iz@zhurnal.ru